Герберт Джордж

Уэллс



УТОПИЯ-МОДЕРН
ОБЛИК ГРЯДУЩЕГО

Утопия-модерн. Облик грядущего
Герберт Уэллс

Аннотация
Герберт Джордж Уэллс. Утопия-модерн. Облик грядущего
Утопия-модерн
- Примечание для читателя
- Голос автора
- Глава первая. Границы Утопии
  - § 1
  - § 2
  - § 3
  - § 4
  - § 5
  - § 6
  - § 7
- Глава вторая. О свободах
  - § 1
  - § 2
  - § 3
  - § 4
  - § 5
  - § 6
  - § 7

Глава третья. Экономика Утопии
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
Глава четвертая. Зов природы
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
Глава пятая. Провалы в Утопии
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
Глава шестая. «Женская доля» в Утопии
§ 1
§ 2

§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Глава седьмая. Реакция на Утопию
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
Глава восьмая. Мое утопическое «я»
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Глава девятая. Самураи Утопии
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7

§ 8
Глава десятая. Расы в Утопии
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Глава одиннадцатая. Крах иллюзий
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Облик грядущего
Книга сновидений доктора Филипа Рейвена
Часть первая. Сегодня и завтра: наступала Эпоха разочарования
Глава 1. Хронологическая заметка
Глава 2. Как впервые появились идея и надежда на современное Мировое государство
Глава 3. Как накапливались диспропорции старого порядка
Глава 4. Ранние попытки понять и разобраться с диспропорциями; критика Карла Маркса и Генри Джорджа
Глава 5. Как конкуренция и денежная неэф-

фективность подорвали старый порядок
Глава 6. Парадокс перепроизводства и его отношение к войне
Глава 7. Великая война 1914–1918 годов
Глава 8. Импульс к отмене войны, Корабль мира Генри Форда
Глава 9. Как военная промышленность напрямую поддерживала военное напряжение
Глава 10. Версаль: посевная площадка для бедствий
Глава 11. Импульс отменить войну: почему Лиге Наций не удалось успокоить мир
Глава 12. Финансовый крах и моральный дух общества после Версаля
Глава 13. 1933 год: «Прогресс» останавливается
Часть вторая. Послезавтра: Эпоха разочарований
Глава 1. Лондонская конференция: крах старых правительств; распространение диктатур и фашизма
Глава 2. Ослабление старой образовательной традиции
Глава 3. Распад и кристаллизация в социальной магме; гангстеры и воинствующие политические организации

Глава 4. Изменения в военной практике после Мировой войны
Глава 5. Угасающее видение мирового порядка: Япония возвращается к войне
Глава 6. Ослабление западной хватки в Азии
Глава 7. Современное государство и Германия
Глава 8. Заметка о ненависти и жестокости
Глава 9. Ураган последней войны, 1940–1950 гг
Глава 10. Бродячая смерть
Глава 11. Европа в 1960 году
Глава 12. Ликвидация Америки
Часть третья. Мировое восстановление: рождение Современного государства
Глава 1. План Современного государства разработан
Глава 2. Мысль и действие: новая революционная модель
Глава 3. Технический революционер
Глава 4. Пророки, пионеры, фанатики и мертвецы
Глава 5. Первая конференция в Басре: 1965 год
Глава 6. Как росло сопротивление контролю на морских и воздушных коммуникациях
Глава 7. Интеллектуальный антагонизм к Современному государству

Глава 8. Вторая конференция в Басре, 1978 год
Глава 9. «Три курса действий»
Глава 10. План на всю жизнь
Глава 11. Как началась настоящая борьба за власть
Часть четвертая. Воинство Современного государства
Глава 1. Пробел в тексте
Глава 2. Мелодраматическая интерлюдия
Глава 3. Бесполезное восстание
Глава 4. Обучение человечества
Примечание редактора
Глава 5. Текст возобновился: тирания Второго совета
Глава 6. Эстетическое разочарование: записные книжки Аристона Теотокопулоса
Глава 7. Межевская декларация
Часть пятая. Современное государство контролирует все
Глава 1. Утро понедельника в сотворении нового мира
Глава 2. Управление планетой
Глава 3. Геогоническое планирование
Глава 4. Изменения в контроле за поведением
Глава 5. Организация изобилия
Глава 6. Обычный человек становится старше

и мудрее
Глава 7. Язык и умственный рост
Глава 8. Сублимация интереса
Глава 9. Новый исторический этап

Аннотация

Герберт Уэллс (1866–1946) не только прославился своими научно-фантастическими и социальными романами, но и стал одним из первых адептов футурологии – науки, призванной наметить магистральные направления будущего человечества.

В романах «Утопия-модерн» и «Облик грядущего» Уэллс пытается заглянуть за рубеж первых десятилетий XX века и ответить на важные вопросы:

Какие конфликты ждут народы Европы в будущем?

Что принесет людям научно-технический прогресс?

Где пролегает грань между эстетическим совершенством и утилитарностью?

На какие жертвы придется пойти обществу ради всеобщего процветания?

Герберт Джордж Уэллс
Утопия-модерн. Облик грядущего

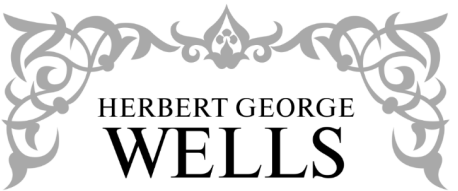
Перевод с английского *Г. Шокина* («Утопия-модерн»), *В. Трушникова* («Облик грядущего»)

© Перевод. Г. Шокин, 2025
© Перевод. В. Трушников, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

⁂

Герберт Джордж

Уэллс



HERBERT GEORGE WELLS

A MODERN UTOPIA
THE SHAPE OF THINGS TO COME





Герберт Джордж

Уэллс

УТОПИЯ-МОДЕРН
ОБЛИК ГРЯДУЩЕГО

Издательство АСТ
Москва

Утопия-модерн[1]

[1] Notes: 1

Такой выбор перевода названия обусловлен двумя факторами: описываемая утопия, увы, «современна» Уэллсу, но уже не современна нам, да и слово «модерн» прочнейшим образом вошло в русскоязычный обиход и не вызывает проблем с пониманием. — *Здесь и далее примечания переводчика, где не оговорено другое.*

Примечание для читателя

Эта книга, по всей вероятности, является последней из серии сочинений, началом которых, если не принимать во внимание некоторые ранее разрозненные эссе, были мои «Предвидения»[2]. Первоначально я планировал, что «Предвидения» будут единственным отступлением от моего искусства или ремесла (назовите как хотите) писателя с богатым воображением. Я написал эту книгу для того, чтобы прояснить путаницу в своем уме по поводу бесчисленных социальных и политических вопросов, вопросов, которые я не мог не включить в свою работу, которых мне было неприятно касаться глупо-случайным образом и к которым никто, насколько мне известно, не обращался таким образом, который меня бы устроил. Но «Предвидения» не достигли своей цели. У меня медлительный конструктивный, нерешительный склад ума,

---

[2] Notes: 2

На русском языке данное объемное эссе издавалось в 1902 году: Уэльс Г. Предвидения. О воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль — от автора романа *«Борьба миров»* и друг. Перевод с англ. А. Каррик. — Москва, типография лит. товарищества «И. Н. Кушнерев и К». — VI, [2]. — 292 стр.

и когда точка была поставлена, я обнаружил, что большинство вопросов, которые нужно сформулировать и решить, до сих пор со мной. Таким образом, в книге «Человечество в процессе создания»[3] я пытался по-иному рассматривать общественную организацию, рассматривать ее скорее как воспитательный, нежели стерильно-исторический процесс, и если эта вторая книга вышла еще менее удовлетворительной с литературной точки зрения, чем первая (таково даже мое мнение), в этом случае я сплоховал, как мне кажется, более *назидательно* — по крайней мере, в моем представлении. Я отважился затронуть несколько тем с большей откровенностью, чем в «Предвидениях», и вышел из этой второй попытки виноватым во многих необдуманных высказываниях, но со значительным развитием сформированного мнения. Во многих вопросах я, наконец, укрепил определенную личную уверенность, с которой, чувствую, и буду жить до конца своих дней. В этой книге я попытался свести счеты с рядом проблем, незатронутых двумя ее предшественницами; исправить их в некоторых деталях и дать общую картину утопии, которая

[3] Notes: 3
«Mankind in the Making», 1903.

сложилась в моем уме в ходе этих рассуждений — утопии как положения дел одновременно возможного и более желательного, чем мир, в котором я ныне живу. Но эта книга снова вернула меня к творчеству. В двух ее предшественницах отношение к социальной организации было чисто объективным; здесь мое намерение было немного шире и глубже, поскольку я попытался представить не просто идеал, но идеал в реакции с двумя личностями. Более того, поскольку это может быть последняя книга такого рода, которую я когда-либо опубликую, я вписал в нее, насколько это возможно, еретический метафизический скептицизм, на котором основано все мое мышление; дополнил некоторые разделы, отражающие установленные методы исследования, социологическую и экономическую научную часть…

Я знаю, что последние четыре слова не привлекут массового читателя. Я сделал все возможное, чтобы сделать эту книгу настолько ясной и интересной, насколько это позволяет ее содержание, потому что хочу, чтобы ее прочитало как можно больше людей. Но не пророчу ничего, кроме фрустрации и замешательства тому, кто решит с ней легковесно «ознакомиться» без должного

внимания. Да и если вы в определенной степени заинтересованы социальными и политическими вопросами, здесь вы не найдете для себя ничего нового или интересного. Если ваше мнение по этим вопросам уже «железно» сформировалось, прочтение «Утопии-модерн» лишь отнимет у вас время. И даже если вы просто любознательный читатель, вам может потребоваться немало терпения для восприятия того своеобразного метода, который я выбрал на этот раз.

Метод довольно-таки хулиганский, но он не так небрежен, как кажется. Я считаю — даже теперь, когда я закончил книгу — что лучший путь к чистой неопределенности, которая всегда была моей целью в этом вопросе, строится именно так. Потребовалось несколько подходов к написанию утопической книги, прежде чем принял его. Я с самого начала поступился формой насыщенного аргументами эссе, той формой, которая больше всего нравится так называемому «серьезному» читателю (который часто всего лишь надменно-нетерпелив и набивает себе цену на приобщении к «значимым» вопросам и тенденциям). Такой читатель любит, когда для него все нарисовано жирными линиями, черным по белому — он не понимает, как много есть

того, что вообще нельзя *так* преподать. Везде, где есть нечто неопределенное или несоизмеримое, где есть легкомыслие, юмор или сложность мультиплексного представления, он перестает быть внимательным. Похоже, этот тип уверен, что Дух Творения может считать только до двух — и никаких альтернатив не признает. Такому читателю я даже и не пытаюсь угодить в этой книге — иначе что дальше, представлять все свои триклинные кристаллы в виде систем кубов? Увольте!

Но, отвергнув «серьезное» эссе как форму, я все еще сильно колебался — несколько месяцев, по факту, — обдумывая схему этой книги. Сначала я испробовал общепризнанный метод рассмотрения вопросов с различных точек зрения, который всегда привлекал меня и который мне никогда не удавалось использовать, метод написания этакого романа-дискуссии. Но он обременил бы меня лишними персонажами и неизбежным запутыванием интриг между ними, и в итоге я отказался и от него. После я попытался упорядочить его по образцу дилогии «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Джеймса Босуэлла, где решающую роль играло взаимодействие между монологом и тем, кто его комментирует.

Вырисовывалось почти то, что нужно, но и этот метод претерпел крах…

И вот я задумался над тем, что лично мне захотелось назвать *«жестким нарративом»*. Опытный читатель заметит, что если убрать иные спекулятивные и метафизические элементы и проработать суть, этот текст мог бы быть ужат до рассказа. Но рассказ многое теряет, да и потом, почему я должен всегда потворствовать вульгарному аппетиту до откровенных, быстро читаемых историй? Вот «Утопия-модерн» и явилась на свет. Я пускаюсь во все эти объяснения единственно для того, чтобы дать понять читателю: какой бы странной ни казалась эта книга при первом рассмотрении, она является результатом проб и размышлений, и ей *суждено* быть такой, какая она есть.

Собственно, во всех своих литературных начинаниях я стремлюсь к своего рода сплаву философского трактата и традиционного литературного повествования.

Герберт Джордж Уэллс

Голос автора

Есть труды (и этот труд как раз таков), которые лучше всего начинать с портрета автора. Грядущее читательское непонимание, вполне, замечу, естественное, не оставляет иного выбора. В каждой строке, что ждет впереди, звучит особенно личная нота, подчас переходящая в диссонанс, но все эти строки, равно как и эти набранные курсивом слова, суть единый Голос.

Так вот, этот Голос, и в этом особенность дела, не следует принимать за Голос мнимого автора, приходящегося сему сочинению отцом. Вы должны очистить свой разум от любых предубеждений в этом отношении. Хозяина Голоса вы должны представлять себе как упитанного белого мужчину, в средних летах, среднего телосложения, с голубыми, как и у многих ирландцев, глазами, юркого, с зачатками облысения — такими, что удастся скрыть под монеткой в один пенни. И еще, конечно же, у этого мужчины большой выпуклый лоб.

Временами он падает духом, как и большинство из нас, но по большей части держится храбро, как голодающий воробей. Временами

для лучшего пояснения своих слов он прибегает к оживленной жестикуляции. А его Голос, наш проводник с сего момента — тенор без особой харизмы, подчас звучащий чересчур резко.

Представьте его сидящим за столом и читающим «Утопию» — рукопись, в которую он вцепился обеими руками, полноватыми уже в запястьях. Именно над этим типом занавес и поднимается. И если сия литературная проба окажется взаправду выдающейся, вместе с ним вы переживете немало интересных, дух захватывающих приключений. Тем не менее, раз за разом будете вы возвращаться к этому столику и к рукописи в полноватых руках, и спор об «Утопии» будет разгораться вновь и вновь. Текст перед вами — не художественное (в том привычном смысле) произведение, но и не конспект лекций, за которым не грех и вздремнуть. Текст этот — нечто среднее.

Представьте себе нашего обладателя Голоса, нашего Глашатая, сидящим с робким, несколько нервным видом за столом, поставленным на сцене. На столе том, конечно же, есть стакан воды и всякие писчие принадлежности. Теперь вообразите, что я — назойливый дознаватель, с учтивой безжалостностью берущий «вступи-

тельное слово» перед тем, как отойти за кулисы. Представьте, что за нашими спинами — белый экран с проецируемыми на него картинами, иллюстрирующими приключения души Глашатая в дивном краю Утопии. Представили, вообразили? Что ж, теперь вы чуть-чуть подготовлены хотя бы к некоторым трудностям этого недостойного, но экстравагантного сочинения.

Кроме автора, в книге появится еще один гражданин Земли, чья личность прояснится в том случае, если читатель получит о нем предварительные сведения. Этого джентльмена называют ботаником, он худощав и лишнего слова не обронит. Его лицо отличается особой затаенной красотой, он пасмурен, светловолос и сероглаз. В нем можно заподозрить подлого романтика — из тех, что стремятся и скрыть свои желания, и вместе с тем выставить их в вопиюще сентиментальном свете. Если предположите, что этот человек ввязывался в значительные неурядицы и неприятности из-за женщин, вы не ошибетесь.

«Утопия-модерн» выступит фоном для двух этих фигур в фокусе. Да, здесь у нас не столько представление, сколько кинематографичный этюд. Создается впечатление, что эти двое

мужчин прохаживаются в кругу света от неисправного уличного фонаря; канут во мрак — но в следующий момент снова на виду, снова транслируют нам свое анимированное утопическое послание, полное условностей. И даже когда свет совсем гаснет, Голос звучит и звучит, споря, вопрошая, требуя внимания, и свет возвращается-таки, и тогда вы снова обнаруживаете себя в обществе упитанного человечка за столом, старательно читающего вслух строку за строкой… и только теперь занавес поднимается по-настоящему.

Глава первая
Границы Утопии
§ 1

Труд модерниста-утописта сегодня должен непременно отличаться в фундаментальном аспекте от всех тех трудов, созданных людьми до того, как Дарвин всколыхнул мировоззрение по всей планете. Прежние статичные Утопии представлялись этакими диорамами, где счастье давалось всем и каждому, а присущие реальным вещам хаос и непокой были исключены из картины. В них одно здоровое невзыскательное поколение сменялось другим, наслаждаясь плодами земли в атмосфере добродетели и счастья, и так — покуда боги не захандрят. Ветры Перемен не дули в тех краях, а реки Развития навсегда встали у несокрушимых плотин. Так вот, Утопия-модерн не должна быть статичной; кинетика — все для нее. Она выстраивается не как постоянное состояние, а как обнадеживающая фаза, уводящая далее, к целому циклу этих фаз. Ныне мы не боремся, не преодолеваем течение мощного жизненного потока, а плывем

по нему; наш идеал — не врытая в землю, но *плавучая* цитадель. Вместо уклада, при котором люди радуются всеобщему счастью, безопасному и гарантированному им и их детям навеки, мы должны найти и осуществить гибкий всеохватный компромисс, при котором постоянно новая последовательность индивидов может наиболее результативно влиться в акт всестороннего поступательного развития. Таково первое, наиболее обобщенное отличие утопии, основанной на современных представлениях, от всех утопий, написанных в прежнее время.

За нами теперь — стать живыми воплощениями этой Утопии и воплотить одну за другой все грани этого воображаемого мира, единого и светлого. Наше намерение в том, чтобы дать жизнь чему-то не просто невозможному, а в высшей степени неосуществимому в обозримых масштабах сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы должны повернуться спиной к настойчивому исследованию того, что *есть*, и подставить лицо более вольным ветрам, к просторам того, что, возможно, *могло бы быть*, к проекции государства или города «где-то во времени»; к рисунку на листе нашего воображения мыслимо возможной жизни, более достойной, чем насущная. Это

первая задача. Мы сформулируем некоторые необходимые исходные положения, а затем приступим к исследованию того мира, который дают нам эти положения…

Это, без сомнения, оптимистическое предприятие, но полезно на время заглушить ту придирчивую нотку, что должна быть слышна, когда мы обсуждаем текущие несовершенства — чтобы освободиться от практических трудностей, от путаницы целей и средств. Хорошо бы остановиться у тропы на минутку, отложить в сторону рюкзак, утереть иней с бровей, молвить слово о верхних склонах горы, на которую, как мы думаем, мы взбираемся — насколько хватает нам способности видеть лес за деревьями.

Не будем касаться вопросов политики и методики. Возьмем от всего подобного отпуск, так сказать. Лучше обсудим, в чем нам предстоит себя ограничить. Будь мы всецело вольны в своих желаниях — полагаю, последовали бы за Морри-

сом в его Ниоткуда[4], презрев природу человека и вещей. Но нет, прельщает нас раса мудрых, терпимых, благородных людей — так махнем же рукой на великолепную анархию, где каждый делает только то, что в голову взбредет; этот мир столь же хорош, сколь Рай перед изгнанием из него людей. В пространстве и времени всепроникающая воля к жизни, увы, всегда поощряет неизбывную агрессию. И тут предлагается путь определенно более практичный: взять человека со всеми ограничениями, каким мы его знаем — неважно, мужчину ли, женщину, — и поставить его против тех же, что и сейчас, проявлений звериного начала и против уже знакомой нам немилости Природы. О да, пусть наша Утопия формируется в мире смены сезонов, внезапных

[4] Notes: 4

Уильям Моррис (1834–1896) — английский поэт и художник. «Вести Ниоткуда, или Эра спокойствия» — одно из самых значительных произведений Морриса, наиболее полно отражающее его политические воззрения. Моррис написал книгу в ответ на утопию американского автора Эдуарда Беллами «Оглядываясь назад, или Год Двухтысячный». Будущее Беллами рисует полностью урбанизированным и автоматизированным; по Беллами, высокая концентрация капитала приводит к мирному объединению всех граждан в один трест в качестве акционеров под руководством единого правительства. Всем обеспечено комфортное существование, однако потребление контролируется властью, автоматизация вездесуща, существует «повинность в труде». По мнению Морриса, книга Беллами могла лишь оттолкнуть от идей социализма или указать ложный путь. Моррис считал, что социализм должен предоставлять большую степень свободы, чем капитализм, а стимулом полезного труда должна выступать радость от процесса.

В «Вестях Ниоткуда» описывается мир, где от городов отказались в пользу развитых, органично интегрированных в природу «поселков», частная собственность и институт брака упразднены, централизованное правительство отсутствует. Идеал Морриса — медиевизм, однако он не списывает достижения научного прогресса со счетов.

катастроф, смертельных поветрий и поводов для вражды; в мире, полномерно обремененном всеми человеческими страстишками. Более того, мы собираемся *принять* этот конфликтный мир — не занимать по отношению к нему позицию отречения и не принимать аскезу, а окунуться в него с осознанием того, что нужно выжить и победить. Наши начальные условия — не уютный конструкт, а ровно то, чем славен мир Здесь и Сейчас.

Впрочем, по примеру лучших авторов, уже создавших свои Утопии, дозволим некоторые вольности. Предположим, что тон общественной мысли может быть совершенно иным — не таким, как в современном мире; расширим ментальный конфликт жизни, оставаясь притом в пределах возможностей человеческого разума, каким мы его ныне знаем. Также развяжем себе руки в отношении «аппарата существования», который человек, так сказать, создал для себя, с домами, дорогами, одеждой, каналами, машинами, с законами, границами, условностями и традициями, со школами, с литературными и религиозными организациями, с вероучениями и обычаями, вообще со всем, что в силах человека изменить. Это и есть главное допуще-

ние всех старых и новых утопических спекуляций — «Республики» и «Законов» Платона, «Утопии» Мора, «Гостя из Альтрурии» Уильяма Хоуэллса и «Бостона будущего» Беллами, «Великой Западной Республики» Конта и «Города Солнца» Кампанеллы, «Фриландии» Теодора Герцки и «Путешествия в Икарию» Этьена Кабе. Они построены на гипотезе полной эмансипации человеческих сообществ от традиции, привычек, юридических уз и того, что влечет за собой современный причесанный аналог рабовладения. По большей части ценность перечисленных утопий — в отношении к человеческой свободе, в поощрении неугасимого и сильного порыва человечества оторваться от земли и воспарить — с его мощью противиться наследственности и прошлому, с его жаждой инициировать, стремиться и преодолевать.

§ 2

Но не стоит забывать и о весьма определенных художественных ограничениях. Всегда, во всех утопических писаниях есть некая доля сухости и «двухмерности», им часто вменяют отсутствие той полнокровности и естественности, коей

отлична жизнь. Нет индивидуального подхода, все люди обобщаются. Почти в каждой утопии — за исключением, пожалуй, «Вестей из Ниоткуда» Морриса, — можно наблюдать красивые, но безликие здания, симметричную и безупречно поднятую целину, целую орду людей здоровых, счастливых, красиво одетых… и абсолютно неотличимых друг от друга. Тут на ум идут те столь популярные в викторианскую эпоху масштабные полотна, запечатлевающие коронации, королевские свадьбы и заседания парламента либо какого-нибудь научного общества — на них многие фигуры имеют вместо лица аккуратный овал с четко вписанным порядковым номером. Эффект нереалистичности — налицо, и я не вижу способа полностью устранить его. Видимо, такой недостаток остается лишь принять. Дело в том, что всякое существо (или существующее учреждение), как бы оно ни было подчас несовершенно и даже абсурдно, входя в соприкосновение с людьми, получает реальность и законность — то есть, то, чего и недостает самому совершенному вымышленному созданию. Существующее вызрело постепенно; оно далось кровью и потом, за него подчас были пролиты целые моря слез; его контуры и формы обтесаны постоянными

воздействиями жизни. Нафантазированное же, сколь угодно целесообразное и нужное — слишком кондово в своих очертаниях, ограниченно, его линии и границы бескомпромиссные: ему, как ни крути, природной гибкости очень и очень недостает.

И ничего с этим не поделать! И да пусть оплакивает мудрец того своего ученика, что, хоть и был слаб мыслью, ушел от него последним. Пусть человечество падко на ухищрения ораторов, сомневаюсь, что кому-либо когда-либо всерьез станет тепло на душе от перспективы стать гражданином воспетой Платоном Республики. Сомневаюсь, что кто-либо сможет и один месяц стерпеть вездесущую рекламу добродетели, предлагаемую Мором. Все мы выходим в общество только ради индивидов, которых можем в нем найти. Плодотворные столкновения личностей есть высший смысл личной жизни, и все наши утопии — не более чем диссертации на тему улучшения этих взаимодействий. По крайней мере, так жизнь все больше и больше подстраивается под современные представления. Пока вы не привнесете индивидуальности, ничего не возникнет, и наш мир исчезнет, когда последний сколь угодно невзрачный индивид

будет вовлечен в усредняющее и усмиряющее единство улья.

§ 3

Интересующая нас Утопия должна распространяться на всю планету, занимать ее от и до. Были времена, когда горное плато или остров, казалось, обеспечивали требуемую степень изоляции для того, чтобы утопическое государство могло защитить себя от влияний извне. Платоновская Республика всегда пребывала во всеоружии, в полной готовности к обороне, а Новая Атлантида и Утопия Мора, в теории, подобно Китаю и Японии на протяжении многих столетий действенной практики содержали себя в изоляции от незваных гостей. Такие поздние примеры, как сатирический «Егдин» Батлера[5]

[5] Notes: 5

В 1871 г. британским писателем Сэмюэлом Батлером был написан роман «Erewhon» (это название — анаграмма от nowhere, «Нигде», отсюда и «Егдин»), нетипичная для того времени социальная сатира. Три главы «Егдина», вначале появившиеся под названием «Дарвин среди машин», представляли пародию на книгу Дарвина «Происхождение видов». Батлер описывает эволюцию машин, классифицирует машины по семействам, родам и видам, по способам питания, рассматривает их рудиментарные органы чувств, их механизмы воспроизведения и эволюции (если машина неэффективна, человек вынужден проектировать более эффективные), тенденции к атавизму, отмирание рудиментарных органов и даже проблему свободной воли у машин.

и «Презренный пол» Уильяма Томаса Стида[6], почитали тибетский метод умерщвления пытливых вторженцев вполне удовлетворительным и простым методом защиты. Сегодня мы остро осознаем, что, каким бы изощренным ни было государство, за его границами эпидемия, размножающиеся варвары или чьи-то экономические амбиции рано или поздно войдут в сокрушительную силу и возьмут верх. Так же и технический прогресс — всегда к услугам потенциального захватчика. Один скалистый остров или узкий пролив еще можно, допустим, как-то оборонять — но только до того момента, как изобретен первый универсальный летательный аппарат, способный на атаку с воздуха. Государство, достаточно сильное, чтобы оставаться изолированным в современных условиях, было бы достаточно сильным, чтобы править миром; было бы если не активно правящим, то пассивно уступчивым

---

[6] Notes: 6

У. Т. Стид (1849–1912) — британский журналист, редактор и литератор, общественный деятель и большой поклонник эсперанто. Он был одним из пионеров журналистских расследований и вероятным претендентом на Нобелевскую премию мира 1912 года. В 1903 году публикует рассказ «Презренный пол» («The Despised Sex»), написанный в виде доклада, где первый гость из вымышленной африканской страны Ксантии, где царит строгий матриархат, описывает Великобританию своей королеве Дионе, представляющей ее как далекий затерянный мир.

по отношению ко всем другим социальным организациям и, таким образом, ответственным за них целиком. Следовательно, оно должно быть *мировым* государством.

Таким образом, интересующая нас Утопия не может найти себе места ни в Центральной Африке, ни в Южной Америке, ни у полюсов — этих последних прибежищ идеализма. Ничего не выйдет и с плавучим островом — нужна вся планета. Лорд Эрскин, автор «Арматы»[7], был первым из утопистов, кто осознал сей факт — он соединил свою «плеяду лун» полюс к полюсу своеобразной космической пуповиной. Но современное воображение, раззадоренное физикой, должно пойти еще дальше.

Далеко за Сириусом, в глубинах космоса, дальше расстояния полета пушечного ядра, летящего миллиард лет кряду, за пределами досягаемости всяких глаз сияет звезда, которая суть Солнце для нашей Утопии. Впрочем, те, кто знает, куда направить самый мощный из существующих

---

[7] Notes: 7

Томас Эрскин, 1-й барон Эрскин (1750–1823) — британский юрист и политик, занимавший пост лорда-канцлера Соединенного Королевства с 1806 по 1807 год. Выйдя на пенсию, сделался борцом за права животных и за независимость Греции. «Армата» — психоделическая фантасмагория о человеке, плывущем на Луну по некой «океанской нити».

ныне телескоп, могут отыскать ее на небе — это слабая точка света в группе с тремя другими звездами, которые, однако, на целые миллионы миль ближе к нам. Планеты, что вращаются вокруг нее, похожи на те, что есть в Солнечной системе, но судьба у них иная; есть там и некие условные сестры-близнецы наших Земли и Луны. У Утопии, в силу какого-то необъяснимого совпадения, те же материки, что и у нас, те же океаны и моря. На ней сестра горы Фудзи возвышается над копией Йокогамы, а побратим Маттерхорна возвышается над льдистыми равнинами перевала, как две капли воды напоминающего наш Теодул. Все в такой степени напоминает привычные нам виды, что земной ботаник мог бы собрать здесь все виды земных растений — до самых ничтожных былинок, до распоследней альпийской незабудки.

Когда он соберет весь гербарий и развернется, чтобы пойти к себе в гостиницу — тут-то он и поймет, что той самой гостиницы больше нет.

Вообразите-ка: двое землян очутились как раз в таком положении. Думаю, их должно быть все-таки двое, ибо посещение в одиночку незнакомой, пусть и весьма цивилизованной планеты — дело исключительного мужества. Предпо-

ложим, что эти двое переместились в иное место в мгновение ока. Вот они на одной из альпийских вершин, я да друг мой. Скажу честно, у меня слишком кружится голова при резких наклонах, и потому я не занимаюсь ботаникой, но вот мой друг носит под мышкой длинную жестянку для сбора растений. Если бы не яркий зеленый цвет, в какой выкрашен этот продолговатый ящичек, я бы принимал это его хобби охотнее, но зелень — это то, на что в Швейцарии взгляд натыкается всюду и всегда, от нее тут попросту нет спасения!

Итак, мы побродили среди скал, поболтали и решили присесть отдохнуть. Съели наши захваченные из гостиницы припасы, почали бутылку хорошего иворнского, заговорили вдруг об Утопиях — вкратце затронув все то, о чем распинался выше я. Живо представляю себе — вот мы сидим на возвышенности над проливом Люцерна, глядим вниз на Валь Бедретто, на Вилью, и Фонтану, и Айроло, что тщатся спрятаться от нас под склоном горы — тремя четвертями мили ниже по вертикали (и свет на мгновение будто померк). Абсурдный эффект «увеличительного стекла», характерный для альпийских высот, приближает к нам маленький поезд

в дюжине миль, минующий виадук Биащина и направляющийся куда-то в Италию. Перевал Лукманье — слева от нас, за Пьорой, а Сан-Джакомо — справа, и оба — будто бы всего лишь тропинки под ногами…

И вдруг — глазом моргнуть не успеваешь — наша телепортация осуществляется.

Мы едва ли замечаем перемену — ни облачка ведь не сошло с неба! Может быть, далекий городок внизу примет иной вид, и мой друг-ботаник с его прирожденной наблюдательностью увидит *почти то же самое*. Поезд, быть может, исчезнет из поля зрения, рисунок альпийских лугов чуть-чуть видоизменится — но замечено все это будет далеко не сразу. Думаю, каким-то неясным образом прежде зримых перемен мы *почувствуем*, что попали куда-то не туда, и вот тогда-то ботаник заметит:

— Странное дело, никогда прежде не замечал вон то здание справа!

— Какое же?

— Вон то. Какая у него странная форма.

— Право слово, и я теперь его вижу. И впрямь чудное строение… большущее, судя по всему — и какое красивое! Интересные дела…

На том наши пересуды об утопиях и прекрати-

лись бы, и мы бы наконец-то обнаружили, что маленькие городки внизу изменились. Но как? Мы не разглядывали их прежде дотошно, так что и теперь — не скажем наверняка. Перемены, как я уже не раз подчеркнул, еле уловимы — они в далеких мизерных очертаниях домов, в том, как сгруппирован здесь ландшафт.

— Странно… — в который раз протянул бы я, отряхивая колени и вставая с камней. Все еще озадаченный, я повернул бы лицо к тропе, вьющейся между скал, огибающей полное все еще кристально чистой воды озеро и нисходящей к горному приюту Сен-Готарда… но только где она, эта тропа?

Задолго до того, как дойдем до нее, и даже до того, как выйдем на большую дорогу, мы получим намек на большие перемены в виде маленькой булыжной хижины в конце перевала, у грубо вытесанного из камня моста — она исчезнет или чудесным образом изменится, а козы, пасущиеся неподалеку, заметят нас и поднимут гвалт.

И вот, пораженные и изумленные, мы встретим вышедшего к нам человека — и это будет не швейцарец. Одежда на нем — крайне чуждого кроя, да и говорит он на незнакомом языке…

§ 4

До наступления темноты мы переживем немало непонятного и ошеломительного, но сильнее всех по нам ударит то обстоятельство, которое усмотрит, конечно, мой друг-ученый. Взглянув на небосклон в той собственнической манере, что свойственна человеку, который знает академическую звездную карту от альфы до омеги, он вдруг ахнет, схватится за голову и станет громко бранить подводящее зрение. Я поинтересуюсь, что же так выбило его из колеи, и он ответит:

— И ты еще спрашиваешь!.. Где Орион?

— Да вот же… — начну было я — и осекусь, потому что Ориона не видать.

— То-то же. А Большая Медведица?

И ее я не смогу отыскать в россыпи ярких звезд на небе.

— Где она, да где же… — буду бормотать я, тщетно вглядываясь в эти сполохи небесного огня, сам не свой от осознания свершившегося чуда; мой восторг уже едва выходит утаить.

Тогда, может быть, впервые мы поймем при виде этих незнакомых небес, что перемены постигли не мир, а нас самих. Да, это *нас* каким-то

образом забросило в самые дальние бездны неизученного космоса!

§ 5

Нам нужно предположить отсутствие языковых препятствий для общения. Весь мир в Утопии, несомненно, будет иметь общий язык, простой и понятный — и, так как мы свободны от оков убедительного повествования, давайте предположим, что он либо сильно похож на наш собственный, либо его реально выучить на ходу. В самом деле, о какой Утопии речь, если ни мы никого не понимаем, ни нас не понимают? О, будь проклят языковой барьер, и к черту катись эта врожденная настороженность в глазах иностранца: «моя ваша не понимать, сэр, а потому вы есть мой враг!». Вот он, самый первый из недостатков реального мира, от которого хочется сбежать в какую-нибудь Утопию.

Но на каком языке заговорил бы мир без вавилонского проклятия?

Ударяясь смело в этакий средневековый сентиментализм, призову к ответу не кого-то там, а сам Дух Творения, что, несомненно, также обретается в этом далеком мире.

— Вы ведь неглупые люди! — начал бы Дух, и я, человек подозрительный, обидчивый, чересчур серьезный при всей моей предрасположенности к полноте, тотчас почуял бы иронию (а мой друг-ученый, готов спорить, сжал бы кулаки и встал в боксерскую стойку). — И то, что у вас развился выдающийся ум, и послужило одной из главных причин для создания мира. И если я правильно понял вас, любезные мои господа, вы предлагаете мне ускорить тут процесс эволюции, столь же полифонический, сколь и утомительный. Да, универсальный язык вам бы определенно пригодился. И раз уж мы встретились в этих горах — я вытачиваю их вот уже весь последний эон, если не больше, чтобы вам было где ставить гостиницы с живописным видом из окна, — может, дадите парочку советов?

В этом моменте Дух Творения, вне сомнений, позволит себе мимолетную улыбку, что подобна лучу солнца, пронзающему тучи, и гористая местность окрест нас осветилась бы за один миг. Знаете, как это бывает — когда в заповедных безлюдных местах соседствуют тепло и свет.

Однако же, почему улыбка Бесконечного должна повергнуть двух здравомыслящих мужчин в апатию? Вот мы тут стоим, высоколобые и ясно-

окие, при ногах, при руках и с пылом в сердце — и отчего же нам не верить, что если не мы сами и не наши потомки, то бескрайнее людское море, омывающее мир, придет когда-нибудь ко всемирному государству, дружбе без границ и единому языку? Давайте же в меру наших возможностей если не ответим на вопрос, то, во всяком случае, попытаемся вообразить себя в шаге от его разрешения. В конце концов, в этом и состоит наша цель — измыслить идеал и устремиться к нему, и это худшая глупость и худший, чем самонадеянность, грех — отказаться от стремления только потому, что лучшее из всего «нашего» лучшего выглядит жалким в сравнении с мощью солнца.

И вы, и мой друг-ботаник, я полагаю, склоняетесь к какому-либо «наукообразному» решению. О да, сей эпитет оскорбителен — и я интеллигентно выражаю вам сочувствие, но не думаю, что синоним «псевдонаучный» устроит вас, такого просвещенного человека, больше. Да-да, сейчас речь пойдет о лексиконах точных наук, об эсперанто, о *La Langue Bleue* и новой латыни, волапюке и лорде Литтоне, о философском языке архиепископа Уэйтли, о трудах леди Уэлби, посвященных проблеме толкования — и обо всем тому подобном. Вы бы рассказали мне о поразитель-

ной точности энциклопедичности химической терминологии, и при слове «терминология» мне бы только и оставалось помянуть выдающегося американского биолога, профессора Марка Болдуина, который поднял язык биологии на такие высоты ясности, что по сей день ни один биологический труд не представляется возможным прочесть без мигрени (один лишь этот факт бросает на всю линию защиты некоторую тень).

Вы, конечно, думаете, что идеал языка — тот язык, что отличается точностью формулы из алгебры, в котором каждый отдельно взятый элемент удобно и логично повязан с любым другим. В таком Первом Научном Языке обязательно должны наличествовать все формы как правильных, так и неправильных глаголов всех спряжений. Каждое слово в нем должно быть отлично одно от другого — как по звучанию, так и по написанию.

Так как подобные требования — первое, что идет на ум, и так как основаны они сплошь на импликациях, выходящих далеко за пределы языковой области, их стоит разобрать здесь подробно. В самом деле, они зиждутся на всем том, от чего мы пытаемся отказаться в данной версии Утопии. Они подразумевают, что ин-

теллектуальный базис человечества — вещь столь же конечная и недвижимая, сколь законы логики, системы счета и мер, общие категории и подходы к выявлению сходств и различий. Но на самом-то деле наука логика и вся структура философской мысли, которую люди сохранили со времен Платона и Аристотеля, имеют не более существенного постоянства как окончательное выражение человеческого разума, чем самый пространный шотландский катехизис.[8]

Должен предупредить, что на протяжении всей предстоящей экскурсии по Утопии вам то и дело придется что-то пересматривать. Настаивая на чем-то «единственно верном», вы имеете представление о чем-то, но не сам предмет; вспоминая про индивидуальность всякого объекта как про некую константу бытия, вы уже можете утверждать о том, что один раз его легонько коснулись, ощутили текстуру. Увы, ничто не вечно, ничто не является точным и достоверным (кроме ума педанта), совершенство есть простое отри-

[8] Notes: 8

Серьезный читатель может на досуге обратиться к «Использованию слов в рассуждениях» Сиджвика (в частности), к «Основам логики» Бозанке, «Принципам логики» Брэдли и «Логике» Зигварта; легкомысленные могут удовольствоваться очерком профессора Кейса из Британской энциклопедии (раздел «Логика», том XXX). — *Примечание Герберта Уэллса.*

цание той неизбежной предельной неточности, которая есть таинственное сокровенное качество Бытия. Да и само Бытие — это всеобщее становление индивидуальностей, и Платон отвернулся от истины, когда обратился к своему музею конкретизированных идеалов. Гераклит, этот потерянный и плохо понятый гигант, возможно, тоже обращался в свое время — к какому-то своему конструкту…

В том, что мы знаем, нет ничего неизменного. Мы переходим от более слабого источника света к более сильному, и каждый более мощный свет пронзает наши до поры непроницаемые основы и открывает новые и иные степени непроницаемости под их покровом. Мы никогда не можем предсказать, на какой из наших, казалось бы, надежных фундаментальных принципов не повлияет следующее изменение. Какая же блажь тогда — мечтать составить карту нашего разума в самых общих чертах, снабдить бесконечные секреты будущего «терминологией» и идиомой! Мы разрабатываем жилу, добываем и копим наше сокровище, но кто может сказать, какой пласт эта самая жила вдруг откроет? Язык есть пища мысли человека, и он имеет смысл только в процессе перехода в мысль, только в жизни сво-

ей. А вы, «люди науки», своей охотой до точных формулировок и незыблемых основ лишний раз доказываете, что с воображением у вас туговато.

Язык Утопии, без сомнения, будет единым и неделимым; все человечество, в меру своих индивидуальных качественных различий, будет приведено в одну и ту же фазу, в общий резонанс мысли, но язык, на котором оно будут говорить, будет по-прежнему *живым* языком, одушевленной системой несовершенств, на которую каждый отдельный человек бесконечно мало влияет. Благодаря всеобщей свободе обмена знаниями и перемещений, развивающееся изменение в его общем духе станет изменением для всего мира; таково оно — качество его универсальности. Я полагаю, что это будет объединенный язык, синтез многих языков. Такой язык, как английский, представляет собой объединенный язык; это слияние англосаксонского и норманнского французского и латыни ученого, сшитое в одну Речь, более обширную, более мощную и красивую, чем любая ее составляющая. В прошлом дальновидный люд размышлял над вопросом: «Какой язык выживет?» Вопрос был поставлен плохо. Я полагаю, что все языки сольются воедино, дадут некое потомство… и вот

оно-то — выживет.

§ 6

Этот разговор о языках, однако, является отступлением.

Мы шли по слабой тропинке, огибающей край Фирвальдштетского озера, и наткнулись вскорости на нашего первого жителя Утопии (в дальнейшем, для удобства, я буду называть этих самых жителей утопистами). Да, это был отнюдь не швейцарец. И все же он *был бы* швейцарцем на матушке-Земле, и здесь у него — то же самое лицо, но с некоторой разницей, может быть, в выражении; такое же телосложение, хотя, может быть, развитое получше; тот же цвет лица. Другие привычки, другие традиции, другие знания, другие идеи, другая одежда и другие приспособления, но, кроме всего этого — Человек. Мы с самого начала условились, что в нашей Утопии будут жить такие же, по сути, люди, как наши современники.

В этом, может статься, кроется более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд — и то характерное отличие Утопии-модерн от практически всех ее предшественников. Мы уже решили,

что это будет всемирная Утопия, не меньше; тут пора припомнить тот факт, что люди на планете Земля — и у нас, соответственно, — разделяются на расы. Даже социальные низы у Платона в Республике не отличаются по расовому признаку от патрициев. Но наша Утопия — всеобъемлющая, как христианское милосердие, так что пусть будут белые и черные, красные и желтые, все оттенки кожи, все типы телосложения и характера. Как всех их, столь разных, примирить вместе — главный вопрос, но в этой главе он рассмотрен не будет: ему посвятим мы главу отдельную. Здесь же мы лишь озвучим условие: в Утопии существуют те же расы, что и на Земле, даже в той же пропорции; но, как я уже сказал, их развитие, идеалы, цели и традиции не имеют с нашими ничего общего.

Упомянем также, что расы не представляют собой нечто постоянное; раса — не толпа тождественно сходных людей, а совокупность подрас, племен и семей. Каждое слагаемое — в своем роде уникально, и эти слагаемые — опять-таки скопления еще меньших уникумов, и так до каждой отдельной личности. Таким образом, наше первое соглашение сводится к тому, что не только каждая земная гора, река, растение

и зверь есть на этой планете-побратиме далеко за Сириусом, но и каждый живой мужчина, женщина и ребенок имеют здесь утопическую параллель. Отныне, конечно, судьбы этих двух планет разойдутся, здесь будут умирать люди, которых мудрость спасет там, и, может быть, наоборот, здесь мы кого-то спасем; дети родятся там, а не здесь, у них, а не у нас (или наоборот), но настоящая минута — это исходная точка. В первый и последний раз: жители двух этих планет — отражения друг для друга.

Еще бы, ибо представлять Утопию-модерн населенной идеальными манекенами с уймой добродетелей, живущими по неприменимым к действительности абсолютным законам — затея неблагодарная.

Предположим, к примеру, что в Утопии есть такой человек, каким мог бы быть я — более информированный, более дисциплинированный, лучшим образом занятый и существенно более деятельный. И у вас, мой читатель, есть там двойник, и у всех дам и господ, знакомых вам. Сомневаюсь, что мы встретимся со своими двойниками (или что нам будет приятна такая встреча); но когда мы спустимся с этих одиноких гор к дорогам, домам и жилым местам утопи-

ческого мирового государства — непременно обнаружим то здесь, то там лица, особенно напоминающие нам тех, кто жил у нас на глазах.

Говорите, есть среди них такие, с кем вы ни за что не захотите иметь дел?

Ах, и вот еще что…

Ох уж этот мой персонаж-ботаник, места не знающий! Он возник между нами, дорогой читатель, как мимолетная иллюстрация — не знаю, с чего вдруг пришел он мне в голову, и вот теперь, данным мне чувством юмора, я отождествляю личность этого человека с вашей и буду впредь обращаться к вам как к Ученому, ибо это самое обидное слово в моем лексиконе. Вот он, этот персонаж-симулякр, сходит с нашей благородной спекулятивной темы и пускается в прерывистые интимные откровения. Он заявляет мне в лицо, что попал в Утопию вовсе не для того, чтобы лишний раз наткнуться на все источники своих былых горестей.

Горестей?..

Я горячо протестую: в мои намерения точно не входило огорчать кого-либо, уж точно — его персону!

Это человек, я думаю, лет тридцати девяти. Человек, чья жизнь не была ни трагедией, ни ра-

достным приключением, с одним из тех лиц, что приобрели не силу или благородство в ходе взаимодействия с жизнью, но лишь некую абстрактную *печать.* Особа достаточно утонченная — определенно, этим человеком больше прочитано, чем испытано и выстрадано; определенно, им больше выстрадано, чем сделано. И вот он смотрит на меня своими серо-голубыми глазами, в которых — уже! — угас всякий интерес к моей Утопии!

— Была одна прекрасная напасть, — говорит он, — что пробыла в моей жизни лишь месяц или около того… я думал, все кончено — с глаз долой, из сердца вон, а вы… а вы!..

Далее следует удивительная история о том, как он повстречал одну девушку — они были знакомы еще до того, как его удостоили звания профессора, — и как их совместное счастье пошло крахом из-за «ее родни» — вот так, отвратительно мещански, этот образованный человек отзывается о всех этих тетушках-бабушках, держащих дряхлые руки на завещаниях и чьих-то судьбах, и у него есть на то полное право, ибо как еще таких называть — не «люди» же! Да, они не одобрили их союз, и союза, как сами понимаете, не вышло.

— Думаю, на нее легко было повлиять, — говорит мой несчастный друг. — Но упрекать ее в чем-либо — тоже несправедливо. Бедняжка слишком много думала о других. Ей не хотелось никого расстраивать, а родня ее была так уверена в своей правоте…

Позвольте! Я очутился в Утопии, чтобы выслушивать *такое*?

§ 7

Нужно направить мысли ботаника в более достойное русло. Необходимо перечеркнуть эти скромные сожаления, этот назойливый мелочно-любовный пыл. Понимает ли он, что перед ним — настоящая Утопия? *Обрати свой разум,* настаиваю я, *на эту мою планету и оставь все земные заботы Земле*. Неужто он не понял мое условие? Где-то в этом неизученном мире есть Чемберлен и само королевское величество (конечно, инкогнито), и вся королевская Академия,

и Юджин Сэндоу[9], и мистер Арнольд Уайт[10]...

Все эти известные имена не воодушевляют моего друга. Он даже не возражает мне по научной логике — что, мол, на самом деле сомнительно, что мы встретим кого-либо из этих двойников земных знаменитостей во время нашего утопического путешествия, шанс слишком мал, простая математика указывает на это. Более того, великие люди в этой еще неизведанной Утопии могут быть не более чем скромными фермерами в нашем мире, а земные пастухи и безвестные простолюдины — восседать здесь на престолах сильных мира сего (что опять-таки открывает уйму приятных перспектив).

Нет, ничего из этого мой друг-ботаник не сказал. Ему-то важно совсем другое.

— Знаю, — вздыхает он, — здесь она будет гораздо счастливее. И ценить ее будут больше, чем у нас, на Земле.

И вдруг мой внутренний взор отходит от по-

---

[9] Notes: 9

Евгений Сандов (англ. Eugen Sandow, также известный как Ю́джин Сэндоу; настоящее имя — Фридрих Вильгельм Мюллер, 1867–1925) — атлет XIX века, считающийся основоположником бодибилдинга. Родился в Кенигсберге, умер в Лондоне.

[10] Notes: 10

Арнольд Генри Уайт (1848–1925) — английский журналист, противник иммиграционной политики, «антрополог Ист-Энда», один из авторов книги «Проблемы большого города».

литиков, критиков и прочих блистательных антрепренеров, чей образ искусственно раздут старыми газетами и истеричными репортажами — и обращается к человеческим существам с их насущными проблемами. К тем, кого можно познать с некоторым приближением к «реальному знанию», к непосредственным участникам жизни. Реплика друга обращает меня к мысли о соперничестве в любви, о нежности, о самых разных житейских разочарованиях. Внезапно я болезненно остро осознают, что нас может тут ждать. Что, если мы встретим здесь брошенную любовь, упущенные возможности — или, что хуже, увидим, как лучшие версии нас повели себя благоразумнее, чем когда-то — мы, и не лишились всего того, чем хотели бы и поныне обладать мы?

Я обращаюсь к своему другу-ботанику почти укоризненно:

— Знаешь, здесь она будет не совсем той дамой, которую ты знал в Англии. А кроме того, — всячески пытаюсь отвлечь я его от неприятной темы, вставая над ним, размахивая увлеченно руками, — шанс встретить ее где-то здесь — один на миллион; к чему о таком задумываться! У нас есть общее условие: люди, живущие здесь —

люди с теми же недугами, что и мы, — живут в измененных условиях, и только. Продолжим же исследование этих условий!

С этими словами я иду по берегу Фирвальдштетского озера к нашему утопическому миру — ну, этого вы от меня и ждете, верно?

Ботаник идет за мной. Вот-вот нашим глазам предстанет долина за всеми этими горами и перевалами — и там будет мир Утопии, где мужчины и женщины счастливы, а законы мудры, и где все, что запутано и наспех набросано в делах человеческих, распутано и создано со всей любовью.

Глава вторая
О свободах
§ 1

Какой же вопрос первым делом возникнет у двух человек, очутившихся на планете, где царит Утопия-модерн? Думаю, вопрос своих личных свобод, поставленный наисерьезнейшим образом. По отношению к чужеземцам, как я уже замечал, утопии прошлого вели себя не особо любезно. Будет ли этот новый вид утопического государства, раскинувшегося на весь мир, менее опасным?

Мы должны утешаться мыслью, что всеобщая терпимость, безусловно, является идеей, отвечающей модерну, и именно на модернистских идеях зиждется это Мировое Государство. Но даже если предположить, что нас терпят и принимают как «временных граждан», все-таки нельзя списывать со счетов разного рода непредвиденные случайности. Поэтому исследуем главные принципы утопического государства, всесторонне обсудив возможные компромиссы свобод и затронув вопрос на уровне противопоставления

человека государственной машине.

Идея индивидуальной свободы приобретает все больше смысла и веса с каждым витком развития современной мысли. Для классических утопистов свобода была относительно проста — ведь «добродетель» и «счастье» были для них обособленными от нее понятиями, да и просто более важными вещами. Но актуальная точка зрения, с растущим упором на индивидуальность и ее значение для человека, неуклонно увеличивает ценность свободы, пока, наконец, мы не начинаем видеть в свободе самую суть жизни — ведь лишь неживая материя, лишенная всякого выбора, живет в абсолютном подчинении закону. Располагать свободой действий для своей индивидуальности — это, с современной точки зрения, субъективный триумф существования, в той же мере, как победа над смертью через творчество и потомство — его объективный триумф. Но, памятуя о том, что человек — существо социальное, нельзя не отметить, что воля каждого индивидуума не равноценна абсолютной общественной свободе.

Совершенная человеческая свобода возможна только для деспота, которому абсолютно все подчиняются. Тогда «хотеть» означало бы «пове-

левать» и «добиваться», и в пределах естественного закона мы могли бы в любой момент делать именно то, что нам угодно. Всякая другая свобода есть компромисс между нашей собственной свободой воли и волей тех, с кем мы взаимодействуем. В «организованном» состоянии у каждого из нас есть более или менее сложный кодекс того, что он может делать с другими и с собой и что другие могут делать с ним. Индивидуум ограничивает других своими правами и сам ограничен правами других и соображениями, затрагивающими благополучие общества в целом.

Индивидуальная свобода в обществе не всегда, как сказали бы математики, одного и того же знака. Игнорировать это — основное заблуждение культа под названием Индивидуализм; на деле же налагаемые запреты зачастую увеличивают в государстве сумму свобод, тогда как вседозволенность — понижает ее. Из этого вовсе не следует, как хотят уверить нас закоренелые индивидуалисты, что человек более свободен там, где меньше всего закона, и сильнее всего ограничен там, где закона практически нет. Социализм или коммунизм не обязательно грозят рабством, а свободы при Анархии и вовсе не найти. Подумай, читатель, сколько свободы

мы приобретаем через банальный отказ от права на убийство — и от какого сонма страхов и мер предосторожности избавлены. Если вообразить, что существовала бы даже и ограниченная свобода убивать — скажем, по праву вендетты, — страшно подумать, что бы творилось в тех же британских провинциях. Если, например, представить себе, что в каком-нибудь предместье живут-поживают две враждующие семьи, вооруженные самыми последними достижениями военпрома, следом сразу придется думать о всех тех стеснениях и опасностях, что грозят их соседям. Не участвующие в конфликте обыватели того предместья сделались бы фактически бесправными людьми. Мяснику и молочнику, если у оных вообще хватило бы духу приехать к таким людям, пришлось бы разъезжать в бронированных фургонах.

Из этого следует, что в Утопии-модерн, видящей последнюю надежду мира в развитом взаимодействии уникальных индивидуальностей, государство эффективно уничтожит как раз все те расточительные свободы, которые *урезают* свободу, и ни одной свободой больше, и тем — достигнут максимальной *всеобщей свободы*.

Есть два различных и контрастирующих ме-

тода ограничения свободы. Первый — Запрет, «не делай», а второй — Приказ, «ты должен». Однако существует своего рода Запрет, который принимает форму условной команды, и об этом нужно помнить. В нем говорится, что если вы делаете что-то «одно» и «второе», вы также должны делать «третье» и «четвертое». Ежели вы, к примеру, решили выйти в море, вам не стоит делать это на газетном кораблике. Но чистый Приказ безусловен. Он говорит: что бы ты ни сделал, или делаешь, или хочешь сделать, ты *должен* сделать это (так плохая социальная система, действуя через низменные потребности низменных родителей и непутевые законы, отправляет тринадцатилетнего ребенка на фабрику — в режиме потогонки). Запрет берет одну конкретную вещь из моря неопределенных свобод человека, но все же оставляет ему неограниченный выбор действий, а Приказ — полностью это море осушает. В нашей Утопии может быть много Запретов, но не косвенных принуждений (если их можно так назвать), и мало (или совсем нет) Приказов. Насколько я понимаю это сейчас, в настоящем обсуждении я действительно утверждаю, что в Утопии вообще не должно быть положительных принуждений, по крайней мере,

для взрослого человека, если только они не ложатся на него как понесенные наказания.

§ 2

С какими же запретами в Утопии столкнемся мы с другом, пара чужестранцев? Конечно, нам не будет позволено убивать, ущемлять и оскорблять кого бы то ни было. С подобным нам, воспитанникам Земли, нетрудно будет примириться. Но до тех пор, пока мы не уточним, как в Утопии относятся к проблеме собственности, нам следует очень осторожно прикасаться к чему-либо, что можно было бы присвоить. Даже если это и не собственность отдельных лиц, то почему бы не собственность государства? И это не единственный вопрос. Вправе ли мы носить наши странные по меркам Утопии костюмы и топтать эту выбранную нами тропинку среди скал? Можем ли мы явиться с нашими неопрятными походными ранцами да в грязных и подбитыми большими гвоздями горных сапогах в этот, по-видимому, исполненный порядка и благоустроенный мир?

Что ж, первый утопист, встреченный нами, в ответ на наш осторожно-приветственный жест

не выказал какого-либо удивления — уже что-то. Так что прошли дальше, миновали один поворот — и вот перед нами расстелилась дорога: большая, ухоженная, широкая.

Полагаю, каждому современному человеку Утопия представляется желанной только тогда, когда в ней предусмотрена полная свобода передвижений, ибо для многих таковая — одна из главных привилегий в жизни: нестись всюду, куда влечет душа, смотреть и дивиться. Перспектива столь заманчива для некоторых, что какие бы ни окружали их удобства, вечно эти типы будут недовольны любыми возможными фиксациями их положения в пространстве. Посему у обитателей моей Утопии будет такое благо, и на дальнейшем пути нам не встретятся ни неприступные стены, ни монструозные изгороди. Сойдя с этих гор, мы с другом ни один здешний закон не нарушим.

И тем не менее, поскольку гражданская свобода сама по себе — компромисс, охраняемый запретами, так и этот особый местный вид свобод должен иметь свои лимиты. Доведенная до крайности, свобода передвижения перестает быть отличимой от права вторгаться куда угодно. Мы могли уже в «Утопии» Мора заме-

тить, как, в согласии с аристотелевским тезисом против коммунизма, коммуна создает невыносимую (как минимум для определенного склада людей) непрерывность социального контакта. Шопенгауэр воспроизвел аргумент Аристотеля в своей привычной ожесточенно-точной манере, уподобив общество ежам, собравшимся в толпу ради тепла, и несчастным, которым тесно с теми, кто рядом, и грустно без тех, кто от них далек. В свою очередь Эмпедокл не находил в жизни никакого смысла, кроме зыбкой игры любви и ненависти, притяжения и отталкивания, ассимиляции и утверждения различий. Пока мы игнорируем различия и индивидуальность — а это, как я считаю, было общим грехом всех до сей поры созданных утопий, — можно делать смелые утверждения, восхвалять коммунизмы или индивидуализмы, предлагать всевозможные жесткие теоретические установления. Но в мире реальном, который, если модернизировать Гераклита и Эмпедокла, есть не что иное, как мир индивидуумов, нет абсолютно правильных и неправильных, да и вообще *качественных* вопросов, а есть только *количественные* приспособления. В нормальном цивилизованном человеке стремление к свободе передвижения

столь же сильно, сколь и стремление к некоему уединению, к «своему углу», и мы должны рассмотреть, где проходит линия примирения этих двух потребностей.

Стремление к абсолютному личному уединению, пожалуй, никогда не бывает слишком сильным или постоянным. У подавляющего большинства людей стадный инстинкт в должной мере силен, чтобы сделать любую изоляцию, кроме самой временной, не просто неприятной, но болезненной. У дикаря есть все необходимое для уединения в пределах его черепа; подобно собакам и робким женщинам, он предпочитает дурное обращение дезертирству, и только редкий и сложный современный тип находит утешение и освежение в совершенно уединенных местах и совершенно уединенных занятиях. Тем не менее есть такие люди, которые не могут ни спать спокойно, ни думать, ни достигать полного восприятия красот жизни, пока не бросить их в одиночестве — и хоть бы и ради них было бы даже разумно наложить некоторые лимиты на общее право свободного передвижения.

Но их особая потребность — лишь исключительный аспект почти всеобщего притязания современных людей на неприкосновенность

частной жизни не столько ради изоляции, сколько ради близкого общения. Мы хотим отделиться от великой толпы, не столько быть наедине, сколько быть с теми, кто особенно взывает к нам и к кому мы особенно взываем; мы хотим образовать с ними домохозяйства и общества, дать возможность нашим индивидуальностям раскрываться в общении с ними, а также в назначении и обстановке этого общения. Нам нужны сады, ограждения и исключительная свобода для нашего желания и нашего выбора — столь просторные, сколь мы можем получить. И только сообщество уникумов, стремящихся к подобному развитию в каком-то противоположном направлении, сдерживает это ширящееся движение «личного отбора» и требует компромисса в вопросах приватности.

Взглянув назад с нашей утопической горной стороны, по которой течет этот дискурс, на недоразумения старой Земли, мы можем заметить, что потребность и стремление к уединению там исключительно велики в настоящее время, что в прошлом оные были куда меньше, что в будущем они, быть может, снова уменьшатся, и что при утопических условиях, к которым мы придем по широкой дороге, они могут дойти

наконец до вполне приемлемых размеров. Но это должно быть достигнуто не путем подавления индивидуальностей какой-то общей моделью, но расширением общественного милосердия и общим улучшением качества ума и манер. Не ассимиляцией то есть, а *пониманием* достигается наша Утопия-модерн. Идеалом человечеству в прошлом служило сообщество с едиными убеждениями, едиными обычаями и церемониями, с общими манерами и общими формулами. Все одинаково одеваются, одинаково любят и еще более одинаково умирают — и у каждого свое строго отведенное местечко в некой иерархии. Поступки и чувства — малость; отступления от строго оговоренного Уклада — гнусность. Быть «странно» одетым, вести себя «странно», претворять всякое отклонение от установленного обычая равносильно оскорблению и *должно* навлечь на себя враждебность неискушенных народных масс. Но ведь почти все по-настоящему оригинальные и живые умы всегда стояли против условностей, за новшества.

Особенно ясно это выражается в наше время. Практически *катастрофическое* развитие машиностроения, открытие новых материалов и появление новых социальных возможностей

дали огромный и беспрецедентный простор духу новаторства. Старый уклад был разрушен (или сейчас разрушается) по всей Земле, и повсюду общества расплываются, повсюду люди плавают среди обломков своих затонувших устоев — и до сих пор совершенно не подозревают, что произошло. Старые «местечковые» нормы поведения, старые общепринятые развлечения и формы досуга, устоявшиеся ритуалы поведения касательно важных повседневных мелочей и новшеств, требующих обсуждения — разбиты, разбросаны и смешаны в несогласии друг с другом. Никакая всемирная культура терпимости, никакое учтивое признание всех различий, никакое всеобщее понимание еще не заменили их. Поэтому публичность в современном мире стала несимпатичной для всех. Классы невыносимы для классов, сообщества — для сообществ, контакт провоцирует агрессию, более тонко устроенные люди угнетены всеобщим вниманием, лишенным сочувствия и зачастую откровенно враждебным. Жить без какого-либо выхода из общей массы невозможно — в точном соответствии с индивидуальным отличием.

Конечно, в Утопии все будет по-другому. Утопия будет пропитана снисхождением. Для нас,

одетых в испачканный твид и не имеющих никаких денег, кроме британских банкнот, потерявших ценность многие световые года назад, это должно быть обнадеживающим стартом — и хорошо, если нравы Утопии будут равномерно, а не локально терпимы. То, что понятно на Земле немногим, здесь будет более-менее понятно всем. Низость поведения и отсутствие манер не будут отличительной чертой какой-либо части общества. Следовательно, более «грубых» причин для уединения здесь не будет. Отпадет потребность многих землян в защите и затворничестве — предполагается, что в утопическом культурном государстве людям будет намного легче есть, отдыхать, развлекаться и даже работать на публике.

Наша нынешняя потребность в уединении во многих вещах знаменует фазу перехода от легкости на публике в прошлом — из-за социальной однородности, к легкости на публике в будущем — благодаря интеллекту и хорошему воспитанию, и в Утопии этот переход будет завершен. Так будем же помнить об этом, рассматривая в дальнейшем многие другие вопросы.

Несомненно, однако, что в Утопии все-таки сохранится значительная претензия на свои

владения. Комната, квартира, дом — какое бы то ни было частное имение — принадлежит тому, кто проживает там. Также было бы излишне сурово запрещать разбивать около дома сад или устраивать для себя внутридомовой перистилиум в помпейском стиле[11]. Да и запретить тому, кто владеет домом, огородить близ своей территории участок для каких-либо нужд — тоже не самая простая задача. Тем не менее, опасаюсь, что бедный горожанин (если в Утопии имеет место быть деление на бедных и богатых) будет обречен блуждать в лабиринте чьих-то садов, обнесенных высокими заборами, без надежды на скорую передышку в заповедной открытой местности. Ныне такова судьба бедных лондонцев. В рассматриваемой Утопии, конечно, есть прекрасные дороги, подземные пути сообщения, транспорт и прочие удобства для населения. Города не должны давить застройкой — они должны соседствовать с природой, а не сживать ее проявления со свету.

---

[11] Notes: 11

Перистилиум (лат. peristylium, от древнегреческого περί, «вокруг», и στῦλος, «столб, колонна») — портик, опоясывающий замкнутое пространство (двор или площадь) с проходом вовнутрь. С 4 в. до н. э. перистильный двор — составная часть античного дома. В широком значении термин используется и для оформленного таким образом пространства (так, понятие распространилось на ранние сооружения схожего плана, обнаруженные в Древнем Египте, Персии и т. д.).

Что касается вопроса о земельной собственности, то, будучи чисто количественным, он не потерпит ленивой отмашки каким-то одним принципиальным утверждением. Я полагаю, что наши утописты ответят на него с помощью подробных правил, которые, весьма вероятно, будут варьироваться в зависимости от местных условий. Неприкосновенность частной жизни за пределами дома может быть сделана привилегией, и за нее будут платить пропорционально занимаемой площади. Налог на такие лицензии на неприкосновенность частной жизни может увеличиваться пропорционально квадратному метражу затрагиваемой площади. Установить квоту частной ограды на каждую квадратную милю города и пригорода — почему бы и нет? Можно провести различие между «абсолютно частным» садом и садом, частным и закрытым только на день или пару дней в неделю, а в другое время открытым для посещений. Кто в по-настоящему цивилизованном сообществе поскупится на такую меру вторжения? Стены могут облагаться налогом по высоте и длине, чтобы ограждение действительных природных красот — порогов, каскадов, ущелий, смотровых высот — сделалось невозможным. Таким обра-

зом, разумный компромисс между жизненно важными и противоречивыми требованиями свободы передвижения и свободы уединения может быть достигнут.

И пока мы рассуждаем таким образом, мы все ближе и ближе подходим к дороге, которая идет вверх, через Готардский гребень и вниз по Валь Тремоле к Италии.

Что это была бы за дорога?

§ 3

Свобода передвижения в Утопии-модерн должна подразумевать нечто большее, чем право неограниченных пешеходных скитаний. Ибо само предположение об одном на весь мир государстве, говорящем на одном *общем* языке, несет в себе идею о столь изобильной когорте путешествовавших и путешествующих, о столь иной культуре странствий — нам и не снилось.

Доказано и на Земле, что как только улучшаются в массе экономические и политические условия и люди получают возможность путешествовать, все тут же загораются необычайной страстью к дальним странам. В Англии, например, вряд ли найдется человек, располагающий

годовым доходом чуть выше пятисот-шестисот фунтов, который не выезжал бы ежегодно за границу. В Утопии-модерн путешествие войдет в основу жизни. Побывать в другом климате, не успевшем приесться, увидеть новые земли, встретить новых людей и новую архитектуру, попробовать необыкновенную пищу, посмотреть на странные, не виданные прежде деревья и цветы, на флору и фауну, взойти на высокие горы и любоваться холодными, укрытыми снегом равнинами, полярным сиянием либо же ярким зноем тропиков, форсировать широкие реки и бескрайние пустыни, посетить таинственный полумрак девственных лесов и переплыть пару-тройку морей — завидный удел в жизни даже для самых простых, невзыскательных натур. Вот этой-то радостной и приятной особенностью — свободой путешествий — Утопия-модерн зримо отличается от предшествовавших ей Утопий.

Приняв во внимание то, чего мы добились в этом отношении на Земле, мы можем прийти к заключению, что путешествие по всему государству Утопии будет в той же мере доступно и безопасно для всех, как и путешествие по всякому благоустроенному государству на Земле — по Франции или Англии, например.

Везде и всегда будет царить мир. Везде будут обустроены удобные постоялые места в лучших швейцарских традициях. Клубы туристов и гостиничные ассоциации, монополизировавшие приток средств во Францию и Швейцарию, будут иметь свои прекрасные и вполовину не такие алчные утопические эквиваленты, так что весь мир будет привычен к приездам и отъездам пилигримов. Все страны будут одинаково безопасны и доступны всем решительно — точно так же как деревеньки Люцерн и Церматт в Швейцарии ныне доступны всем туристам среднего класса и среднего достатка.

Поговорим о разнообразных способах передвижения. Вряд ли в Утопии будут в ходу те земные локомотивы — в них уже и в нашем мире потихоньку разочаровываются. На черный смог, которым коптят и отравляют воздух на Земле, не станут закрывать глаза в моей Утопии. Вероятнее всего, пути сообщения уберут под землю — сделают разветвленную сеть, паутиной опутывающую всю планету, с тоннелями, залегающими в горах и даже по дну морскому. Это могут быть классические железные дороги или монорельсы, или что-то еще — мы не инженеры, чтобы судить о таких устройствах, — но с

их помощью утопист будет путешествовать по Земле от одной точки к другой со скоростью двести или триста миль (или больше!) в час. Большие расстояния — не преграда более.

Воображение рисует мне длинные поезда-коридоры с плавно и бесшумно катящимися по рельсам вагонами. Проложенная по туннелям телеграфная сеть позволит принимать и тут же печатать все послания с пылу с жару с телеграфных линий; вагоны будут располагать всем, чтобы выспаться, провести уход за телом, поесть, почитать. И главное — никаких тебе первых, вторых и третьих классов; в цивилизованной Утопии *не должны* существовать социальные различия. За проезд будет взиматься самый низкий тариф, доступный решительно всем, за исключением разве только людей, у которых за душой *ну совсем* ничего нет — и я не смею даже предположить, *что* в Утопии может к такому привести.

Таким способом передвижения утописты будут пользоваться для дальних расстояний. Каждая железная дорога будет конечным узлом, от которого по несчетным, разбегающимся во все стороны путям будут ходить электрососта́вы. Я представляю их себе в виде тонкой сети, гу-

стой там, где много населения, и прореженной в областях пустынных. Будут устроены также прекрасные шоссе, вроде того, к которому мы теперь подходим. По этим шоссе будут ездить частные экипажи, авто и велосипеды. Сомневаюсь, что мы встретим лошадей на этой чистой, как паркет, дороге, и мне кажется вообще сомнительным, чтобы в Утопии много ездят верхом. Более правдоподобным видится то предположение, что лошадиная тяга не будет в Утопии в употреблении. Однако, сдается мне, лошади для верховой езды никуда не денутся. Животные вроде мулов, верблюдов и слонов из тягловых станут своего рода декоративными, а может, и вовсе окончательно свободными в своих природных зонах: высокогорьях, пустынях, саваннах. Всякую тяжесть будут поручать механической тяге. Для велосипедистов проложат дорожки рядом с шоссейными дорогами, затем для них будут устроены дорожки около леса или нивы, так как, несомненно, приятнее ехать около леса, чем вдоль шоссе. Для пешеходов также будут устроены прекрасные дорожки в самых разнообразных местностях: скажем, в сосновых борах, у водопадов и горных источников. Во многих местах будут разбиты великолепные цветники, и везде,

по всей Утопии, по дорогам и тропинкам, в лесах и роскошных садах, будет гулять великое множество воодушевленных природопоклонников.

Население в Утопии, надо думать, будет скорее походить на кочевое. Не странствующее, а именно кочевое — это понятие будет отличаться от того, что понимают под ним на Земле. В старые времена Утопии представлялись оседлыми государствами, но в наше время даже самые неприхотливые и необеспеченные индивидуумы одержимы стремлением путешествовать. Для нас ровно ничего не значит отправиться за восемьдесят или девяносто миль от нашего места жительства по какому-нибудь делу или ради партии в гольф совершить многочасовой переезд на поезде, который мчится со скоростью пятьдесят миль в час. Наш быт настолько не похож на оседлый, что предки, уверен, всячески дивились бы нам. Лишь неуклюжесть коммуникаций ограничивает нас сейчас, и каждое облегчение путей передвижения расширяет не только наш потенциал, но и наш привычный диапазон: мы меняем свое жилище с возрастающей частотой и легкостью. Даже сэру Томасу Мору мы должны показаться породой кочевников, что уж там говорить о патрициях Рима. Постоянство места

прежде было необходимостью, а не выбором; это была просто фаза в развитии цивилизации, уловка укоренения, которой человек научился на время у своих новых союзников — кукурузы, виноградной лозы и очага. Но необузданный дух юности извечно обращен к блужданиям и морю. Душа человека еще ни в одной стране не была добровольно приписана к земле. Даже господин Беллок[12], который проповедует счастье крестьянина-собственника, настолько мудрее своих убеждений, что плавает по морям на яхте или из Бельгии предпринимает караванный вояж в Рим. Мы снова завоевываем нашу свободу, свобода обновлена и расширена, и теперь нет ни необходимости, ни выгоды в постоянной пожизненной привязанности к тому или иному месту. Люди могут, конечно же, осесть в нашей Утопии-модерн для того, чтобы предаться любви и создать семью, но прежде все они наиболее полно увидят этот мир.

И с этим ослаблением оков местности неизбежно произойдут всевозможные изменения

[12] Notes: 12

Джозеф Хилэр Пьер Рене Беллок (англ. псевд. «Hilaire Belloc»; 1870–1953) — писатель и историк англо-французского происхождения, с 1902 года подданный Великобритании. Один из самых плодовитых английских писателей начала XX века.

распределения факторов жизни. На нашей бедной нерациональной Земле люди живут там же, где выращивают технические культуры, копают руду, возводят силовые установки. В Утопии будут, как я полагаю, специально выделенные и строго ограниченные районы, где никогда не появится ни одно домашнее хозяйство — скажем, горно-металлургические, черные от дыма печей, изрытые и опустошенные рудниками, исполненные того странного негостеприимного величия, свойственного порожденным промышленностью пустошам. Люди будут прибывать туда, работать и возвращаться назад к цивилизации, моясь и переоблачаясь в быстро мчащем поезде.

Компенсируя наличие этих условно «безжизненных» областей, в Утопии будут должным образом обустроены наделы, наиболее подходящие для заботы о детях. На их территории не будет облагаться налогом наличие ребенка — в отличие от других, менее благотворных мест. Нижние перевалы и предгорья тех же самых Альп, к примеру, в моей Утопии будут застроены домами, обслуживающими обширные пахотные земли Верхней Италии.

Итак, когда мы спустимся к нашему малень-

кому озеру на лоне Лучендро, и еще до того, как выйдем на дорогу, мы увидим первые разбросанные хижины и дома, в которых живут мои утописты-переселенцы — особо подчеркну, что это *летние* дома. С наступлением лета, когда снега в высоких Альпах отступят, волна домашних хозяйств и школ, учителей, врачей и всех подобных сопутствующих услуг потечет вверх по горным массивам — и вновь отхлынет, когда вернутся сентябрьские снега. Для современного идеала жизни важно, чтобы период роста и образования длился как можно дольше, а половое созревание соответственно замедлилось, и мудрым регулированием государственные деятели Утопии будут постоянно корректировать законы и налогообложение, чтобы уменьшить долю детей, воспитанных в жарких и слишком стимулирующих организм условиях. Эти высокие горы будут каждое лето полны молодняка; и еще выше, в сторону мест, где снег почти не сходит до июля, будут простираться эти дворы, а внизу вся длинная долина Урсерен станет просторным духу и телу летним городком.

На информационном щите изображена одна из наиболее городских магистралей, одна из тех, по которым проходят легкие железные дороги.

Я представляю ее такой, какой ее можно было бы увидеть ночью: полоса шириной, может быть, в сотню ярдов, с тропинками по обеим сторонам, затененными высокими деревьями и мягко освещенными оранжевыми огнями. По центру пробегают поезда, а иногда и ночные трамваи, скользящие мимо практически без звука. Велосипедисты с подсветкой будут порхать по трассе, как светлячки, время от времени какой-нибудь скромно жужжащий экипаж промчится мимо, следуя в Роланд, Рейнланд, Швейцарию, Италию — туда или обратно. И вдалеке, по обеим сторонам от трассы, горят огни маленьких загородных домов на горных склонах.

Думаю, уже ночь, и именно такой вид откроется нам в первую очередь.

Мы должны выйти из нашей горной долины на дорогу-ответвление, идущую каменистой пустошью перевала Сан-Готард, спуститься по этому девятимильному извилистому маршруту и так оказаться в сумерках среди теснящихся домов и нагорных неогороженных садов Реальпа, Хоспенталя и Андерматта. Меж Реальпом и Андерматтом, вниз по ущелью Шёлленен, должна проходить большая дорога. К тому времени, когда мы доберемся до нее, суть приключения,

в которое мы с ботаником влипли, немного прояснится. Увидев, как знакомые скопления шале и гостиниц сменяются огромной россыпью домов, перемигивающихся множеством окон, мы наконец осознаем, что стали жертвами странного пространственно-временного переноса, и туда, где по нашим знаниям — Хоспенталь, мы направим стопы со смесью страха и интереса. Выйдя с ответвления на большую, несущую дорогу, более всего напоминающую городской проспект, мы должны решить для себя — идти ли по долине в сторону перевала Фурка или вниз по Андерматту через ущелье, ведущее к Гешенену…

В сумерках мимо нас проходили люди — великое множество; мы вполне различали вид их костюмов — наряды изящные, но абсолютно *неземные.*

— Доброй ночи! — привечали нас здесь ясными, благозвучными голосами, скользя по нам мимолетными взглядами.

И мы, искренне недоумевая, отвечали этим людям тем же — ибо условностями, в начале сей книги оговоренными, нам здесь дана свобода понимания языка.

§ 4

Если бы это был полноценный роман, то я сейчас уже повествовал бы о том, эк удружила нам судьба — и как мы, найдя кучу золотых монет Утопии, отправились в гостиницу, куда в скором времени благополучно добрались бы и где всем бы громко восхищались. Конечно, мы были бы притом скромны и застенчивы. Наблюдательность наша также была бы чрезвычайна. Но что касается еды, которой нас угощали, и убранства комнат, и всего в таком духе — думаю, будет уместнее о том поведать после. Очевидно, мы попали в такой мир, где давно привыкли к иностранцам; наши горные костюмы, потертые и не по здешней моде сшитые, все-таки не настолько странны, чтобы жители Утопии поразились им.

С нами обращались как нельзя лучше, если принять во внимание, какими неинтересными и неблестящими собеседниками мы с ботаником выступали. Мы всеми силами наблюдали, как держали себя обитатели Утопии, отслеживали их обычаи и нравы — и кое-как выдержали это испытание общением с аборигенами.

После обеда — не то, чтобы невкусного, но странного, так как мясных блюд в нем не было, — мы вышли подышать воздухом и посоветоваться друг с другом, и вот тут-то и заметили те странные созвездия, о которых я уже упоминал. Тогда-то вконец уразумели мы, что наша фантазия стала явью. Решительно отринув мысль о том, что нами повторена судьба Рипа ван Винкля, мы припомнили незнакомые места, которые заметили, спускаясь в долину, и пришли к окончательному убеждению, что перенеслись — о да! — в Утопию.

И вот мы идем по большой, усаженной деревьями улице, вглядываясь в лица прохожих, которые мелькают мимо нас в легком тумане, как таинственные тени. Мы почти ничего не говорим друг другу. Сворачиваем с большой дороги на узкую тропинку и подходим к мосту, перекинутому через бешеный Ройсс, который клокочет и мчится вниз, в ущелье к Чертову мосту. Вдали над горным хребтом бледное сияние указывает на восходящую луну.

Парочка влюбленных проходит мимо, и мы слышим их тихий шепот и провожаем долгим взглядом. Эта Утопия, наверное, сохранила самую главную из всех свобод — свободу любить.

И вдруг над нами, как с высоты Альп, раздается чудный гармоничный звон. Колокол звонит ровно двадцать два раза.

— Похоже, так здесь оповещают о десяти часах, — замечаю я.

Но мой спутник перегнулся через перила моста и ничего не отвечает. Он не отрываясь глядит в горную глубину. Вот из-за туч появляется узенький серп месяца, и внезапно вся река оживает и блестит серебром.

Он нарушает молчание, вновь поражая меня однонаправленностью своих мыслей.

— Когда мы были юны, то походили на этих двух влюбленных, — говорит он, указывая еле заметным кивком на прошедших мимо нас молодых людей. — Она была моя первая любовь, и я остался ей верен на всю жизнь. Я никогда никого не любил, кроме нее.

Вот поистине земное чувство. Честью уверяю, что никогда мне не приходило в голову, что, вступив впервые в Утопию, полную чудес, стоя в изумлении на тверди этой планеты и любуясь чудным горным видом, буду постоянно слышать от своего спутника нечто подобное.

Ясно, что все его внимание занято собственной особой, его важным «я». Всегда так случается,

к великой моей досаде, что лучшие и самые прекрасные впечатления нарушаются чем-то мелким и приземленным. Помню, когда впервые я увидал Маттерхорн, эту царицу альпийских вершин, то мое чудное, торжественное настроение было загублено рассуждениями одного типа о, шутка ли, *сардинах*: видите ли, не ест он их, ведь организм его откликается на сардины тем-то и тем-то... А когда я впервые посетил помраченные улицы Помпей, о которых мечтал с каким-то болезненным нетерпением, впечатление проредил чей-то спор о тарифах на извоз, установленных в европейских столицах. И вот теперь этот человек в первую ночь, которую я провожу в Утопии, нарушает очарование рассказом о своих амурных терзаниях, превосходно укладывающихся в фабулу бульварного романа, где Обычаи Жестоки, а Рок Неотвратим. Я все время приглядываюсь к темным фигурам, двигающимся вдали по дороге, и едва слушаю его рассказ.

Однако сам не понимаю — почему, но у меня складывается убеждение, что любимая им женщина прекрасна. Они полюбили друг друга еще в детстве, но расстались и встретились уже взрослыми. Он хорошо уразумел внешние

признаки жизни и был застенчив, невинен и неспособен к светским успехам. Но он полюбил ее сильно и мечтал об этой любви. Любила ли она его — этого я никак не мог разобрать. Мне кажется, что это было одно из тех неярких, не то дружеских, не то влюбленных чувств, которые мы стараемся внушать хорошо воспитанным барышням. Но неожиданно наступила развязка. Человек, который стал ее мужем, появился внезапно и не таил свою страсть. Он был старше ее на год или два и обладал умением достигать намеченной цели. Он имел уже некоторое значение в графстве и был на пути к богатству. Насколько я уразумел из слов ботаника, его привлекала только ее внешняя красота, а на душу было глубоко плевать.

По мере того как ботаник говорил, мне представлялись все действующие лица этой драмы и вся их буржуазная сытая обстановка. Я видел их воскресные собрания после церкви (мужчины в цилиндрах, сюртуках, с аккуратно свернутыми зонтиками), их редкие вечера, на которых дамы надевали открытые платья. Я воображаю себе, как они жили, пили, ели, читали глупые романы, сентиментально вздыхали над ними. Все эти добродетельные матери, чинные отцы, тетки, дяди,

его родственники, ее родственники… В этой среде я прекрасно видел моего друга — скромного, но подающего надежды молодого ботаника, — и хорошенькую, грациозную девушку, к которой обращено много взглядов. Так я представлял себе эту мирную обстановку, в которую вдруг ворвалась стихийная сила.

Появившийся вдруг опытный мужчина, третий лишний, быстро добился своего, и эта девушка решила, что никогда не любила ботаника, испытывала к нему только дружбу — хотя она мало что знала о значении этого прекрасного слова! Последовала разлука, трогательная, не без слез. Ботанику не пришло и в голову, что девушке может даже понравиться завязнуть в канве обыденной, непримечательной жизни по распорядку — да и она ничем не выказала этого, строго говоря.

Он сохранил ее фото, и память о ней жила в его любящем сердце. Если же когда-нибудь ему случалось увлечься и отступить на шаг-другой от верности ей, то тогда он еще с большей ясностью сознавал, кем она могла бы стать для него.

И вот они встретились снова — восемь лет спустя.

Тем временем мы подошли к нашей первой

гостинице в Утопии. Что нас ждет! Но друг мой ботаник, то повышая, то понижая голос, все треплет меня за руку, и я все продолжаю рассеянно слушать его, не в силах сосредоточиться на внешнем мире.

— Доброй ночи, — обратились к нам на всемирном языке Утопии два мелодичных голоса, и я отвечаю им:

— Доброй ночи…

— Вы понимаете, — продолжает ботаник, — я видел ее неделю тому назад. Я встретился с нею в деревне, когда ожидал вас там. Я говорил с нею всего три-четыре раза. Она изменилась, это факт… и все равно — не могу отделаться от мыслей о ней ни днем, ни ночью. Ее муж — грубый, бесчестный человек, ко всему тому еще и пьяница. У них в доме — постоянно ужасные сцены, он всячески оскорбляет ее…

— Это она вам проговорилась об этом?

— Нет, мне рассказали другие. Он настолько гадок, что, не стесняясь ее присутствием, увивается за другими — ужасно, ужасно!

— Что же, это так и будет продолжаться? — перебил я его.

— Увы…

— А должно ли это продолжаться?

— Вы о чем?

— О том, что рыцарь — вот он, и его дама сердца в беде. Почему бы вам не разрешить эту проблему и не отбить ее? — Читатель должен при этом вообразить мой героический голос и жесты. Увлекаясь, я положительно забываю, что попал в Утопию.

— Что вы говорите? — воскликнул мой спутник.

— Увезите ее. Неужели ваши чувства стоят чего-то, если вы не способны даже на это?

Ботаник явно теряется.

— Думаете, мне… мне стоит бежать с ней?

— Конечно. Это будет лучшим доказательством ваших чувств.

На какое-то время мы замолчали. Мимо нас пронесся электрический трамвай и осветил на минуту его скорбное и испуганное лицо.

— Это все прекрасно только в романах, — произнес он наконец. — Но могу ли я после этого возвратиться к себе в лабораторию, которую посещают молодые девушки? Как могли бы мы жить, да и где? Конечно, мы могли бы обустроиться в Лондоне, но никто бы нас не захотел посещать… К тому же вы совсем не знаете ее… Это не такая женщина… Не думайте, что я уж слишком робок

или придаю слишком большое значение условностям. Не думайте, что я… не считайте меня… Нет, вы даже не можете понять, что чувствует человек в таком положении…

Он умолк и затем злобно вскрикнул:

— Иногда я готов задушить его своими собственными руками, вот что!..

Ну куда это годится!..

Он поднял свою худую ботаническую конечность и угрожающе потряс кулаком.

— Дружище… — вновь начал я, даже позабыв на миг о чудесах Утопии.

§ 5

Но возвратимся опять в Утопию. Речь у нас шла о способах передвижения.

Кроме шоссе, железных дорог и трамваев, для тех, кто пожелает путешествовать, будет еще много других путей и возможностей. Везде будут широкие судоходные реки, по которым смогут ходить самые разнообразные суда. По каналам будут сплавляться буксиры. Также и многочисленные озера с лагунами вовлекутся в процесс, полные курортных яхт; пассажирские пароходы, делающие не менее тридцати узлов в час, станут

беспрестанно совершать рейсы по океану — способные принять на борт огромное число людей.

В Утопии начнут также пользоваться и летательными машинами. Мы, обитатели Земли, должны быть крайне благодарны Сантусу-Думонту[13]; теперь мы куда охотнее верим в грезу о продвинутом воздухоплавании, чем еще пятилетие назад. И, несмотря на то, что в Утопии наука, несомненно, будет стоять выше нашей, все-таки она, вероятно, будет находиться в той же фазе проб и ошибок, что присуща Земле. Однако в Утопии для научных исследований будет существовать настоящий профсоюз (или, если угодно, лига) специалистов, тогда как на Земле это предоставляется слепому случаю. Энтузиасты проводят исследования, и иногда случай им благоприятствует, а беспринципные хваты эксплуатируют их — вот как обстоит это дело на Земле. Сдерживает этот процесс только некоторое количество бедных хватов — хотя хватает

[13] Notes: 13

Алберту Сантус-Думонт (1873–1932) — пионер авиации, мировая знаменитость последних лет британской викторианской эпохи. Родился и умер в Бразилии, однако большую часть взрослой жизни провёл во Франции, где осуществил все свои достижения в авиации. Построил и испытал первый управляемый воздушный шар, доказал возможность регулярного осуществления контролируемых полётов на дирижаблях, а также совершил первый в Европе публичный полёт на аэроплане — в Париже, 23 октября 1906 года.

и изобретательных бедняков.

Но в Утопии человек науки, особенно движимый идеей обуздать стихии, место всегда себе найдет. Визионерский «Дом Соломона», презентованный Бэконом в «Новой Атлантиде», станет вполне реальным. Все университеты в мире начнут трудиться над разрешением тех или иных утилитарных проблем. Сообщения об экспериментах, такие же полные и оперативные, как телеграфные оповещения о крикетных турнирах в Англии, будут «летать» из одного угла Утопии в другой, литература по специальным научным вопросам достигнет беспрецедентных тиражей.

Все это будет проходить, так сказать, за сценой нашего первого опыта, за этой первой картиной урбанизированной долины Урсерен. Невидимые в этих сумерках, немыслимые нами до сих пор, тысячи людей за тысячами сияющих столов посвящают силы служению науке — и для них в Утопии существует узконаправленная пресса, что постоянно просеивает, сгущает и расчищает почву для дальнейших опытов, теорий и спекуляций. Все, кто заинтересован в улучшении путей сообщения, чутко следят за открытиями в воздухоплавании — и это не только аэрофизики, но и

физиологи, и антропологи…

В Утопии научный процесс по праву можно наречь сверхскоростным, тогда как у нас на Земле он плетется со скоростью осла, обученного играть в жмурки. Еще до того, как короткий вояж в Утопию завершится, мы сможем увидеть быстрые всходы тех идей, которые на момент нашего прибытия сюда только-только разрабатываются. Уже завтра, вполне возможно, или послезавтра некое безмолвное далекое нечто проскользнет в поле зрения над горами, заложит вираж — и взлетит, и снова исчезнет за пределами нашего изумленного взора.

§ 6

Но мой друг и его великая печаль отвлекли меня от этих вопросов о передвижении и связанных с ними свободах. Вопреки своей воле я ловлю себя на том, что подстраиваюсь под его дискурс. Он — самый обычный влюбленный, чисто английский тип, воспитанный на чтении сентиментальных романов и — в большей степени — на исполненных скромности, но довольнотаки фрагментарных биографиях современных английских писательниц.

Мне кажется, что в Утопии у влюбленных найдется больше силы, у них отрастут могучие крылья и они не будут ограничены сугубо приземленными вопросами. Они приучатся взлетать высоко над бытом — и по своему желанию нырять снова в самую его пучину. Мой ботаник не может вообразить себе таких перспектив, ибо он заперт в незримой клетке — как и многие ему подобные. Каков их предел? Что является для них воспрещенным, что дозволенным? От каких предрассудков освободимся мы в Утопии — я и он?

Мысль моя течет свободным, тонким потоком, как бывает в конце насыщенного дня, и пока мы молча идем к нашей гостинице, я блуждаю от вопроса к вопросу — и обнаруживаю, что крепко впутался в бытовые страсти. Я обращаю свои вопросы к самому трудному из всех наборов компромиссов, к тем смягчениям спонтанной свободы, которые составляют законы о браке, к тайне уравновешивания справедливости и блага будущего среди этих неистовых и неуловимых страстей. Где здесь баланс свобод? Я на время отхожу от утопизации вообще, чтобы задать вопрос, на который Шопенгауэр ведь так и не ответил вполне: откуда появляются те пылкие

желания, приводящие иногда человека к гибели и разрушению.

Я возвращаюсь опять от потока бесцельных мыслей к вопросу о свободе *вообще,* но теперь рассматриваю его с иной стороны.

Ботаник со своей несчастливой любовью окончательно покинул мои мысли, и я задаю себе новый вопрос: как будут относиться в Утопии к нравственности? Давным-давно доказано Платоном, что принципы государственной власти лучше всего видны в вопросе о пьянстве, самом обособленном и менее сложном, чем все остальные. Платон разрешает этот вопрос тем, что некоторым дозволяется, а некоторым — строго воспрещается распитие спиртного. Однако эту меру можно применить только в очень маленьком государстве, где индивидуумы будут связаны своего рода круговой порукой. Ныне, когда особенно сильно развиты индивидуальная собственность и любовь к переселению, чего, конечно, не мог предвидеть именитый философ, мы можем рассматривать его решение только как рекомендацию взрослому человеку узнать по себе, что можно, а что нельзя. Как показала практика, проблема пьянства так не решается.

Я думаю, что данный вопрос в Утопии будет

отличаться от своей постановки на Земле лишь в части ряда факторов. Цель, коей будут стараться достигнуть в Утопии, будет та же, что у нас: поддержание общественного порядка и благопристойности, сведение этой нехорошей привычки к возможному минимуму, охранение малолетнего населения. Однако на Земле все противники возлияний забывают о важном социологическом факторе. В моей Утопии низшие полицейские служащие не получают в свое распоряжение власти, которая могла бы вредить обществу — такой власти нет даже в руках судьи. Они не совершают глупой ошибки, обращая продажу напитков в источник государственного дохода. Никто не станет вторгаться в частную жизнь, но некоторое ограничение в употреблении алкоголя и в его публичной продаже будет иметь место. Сбыт спиртного несовершеннолетним будет считаться тяжким преступлением. В Утопии-модерн, где население много путешествует, гостиницы и рестораны обязательно будут под строгим контролем — как и железные дороги.

Гостиницы будут обслуживать исключительно приезжих, так что мы, по всей видимости, не столкнемся в Утопии ни с чем, подобным

царствующему в той же Англии безрассудному «алкогольному произволу». Пьянство в общественных местах будет осуждаться чрезвычайно строго. Всякий проступок, совершенный в нетрезвом состоянии, будет наказываться строже, чем провинность трезвого. Но я сомневаюсь, пойдет ли Утопия дальше в этом направлении. Вопрос, должен ли взрослый человек пить виски, вино, пиво или вообще какое-либо спиртное, будет решаться исключительно этим человеком — и ответственность ляжет на его совесть. Я полагаю, что мы не встретим в Утопии пьяниц — но точно повстречаемся с людьми, которые знают толк в самодисциплине. Условия физического благополучия будут лучше поняты в Утопии, чем у нас — там будут больше ценить здоровье, и люди сами будут следить за своими интересами.

Доказано, что пьянство наполовину происходит от желания отречься от тягот жизни и скрасить печальные дни и безнадежное, томительное существование, но в Утопии грустного прозябания не будет. Конечно, жители Утопии будут умеренны не только в питье, но даже и в еде. Полагаю, однако, вполне возможным достать при желании хорошего забористого виски

или чего-то аналогично крепкого. Мне *кажется,* что можно — но ботаник, человек непьющий, придерживается иного мнения. На сей почве разгорелся спор, решение которого предоставляю читателю. Я питаю искреннее уважение ко всем трезвенникам и к ярым противникам зеленого змия, я с понятным сочувствием отношусь к их личному примеру, от коего предвижу большую пользу для всеобщего блага, но все же…

Взять хотя бы для примера бутылку хорошего бургундского — мягкого душистого вина. Разве она не похожа на солнечный луч, осветивший ваш завтрак, особенно если перед этим вы проработали без отдыха целых четыре часа и аппетит достиг пределов почти невозможных?

А эта кружка пенящегося эля, после того как вы прошли по мокрой, грязной дороге около десяти миль?

Или, например, разве это уж такой большой грех — выпить раз пять в году стакан темного портера, особенно когда созреют грецкие орехи? Если нельзя пить портер, то кому же тогда нужны вообще грецкие орехи, эти горькие странные штуки?

Такие прегрешения я считаю лучшим вознаграждением за долгое воздержание. Ведь если

всего этого избегать, то вы оставите пустой страничку в той книге, которую Господь отпустил на всякую душу — и где, я уверен, есть графа и для вкусовых ощущений. Конечно, я должен сознаться, что все это я исповедую как сибарит и, вернее всего, заблуждаюсь. Осознаю и свою неспособность к самодисциплине — да любой лондонский разносчик газет с легкостью меня переплюнет в этом вопросе. Сам я только и знаю, что грезить о мировом благоустройстве — сам по себе труд не в тягость, но даже в нем отыскивается подчас некая монотонная нота, требующая разбавления. Нет, решительно не могу я представить жителей Утопии пьющими исключительно лимонады и настойки. Все эти жуткие «трезвые» напитки, смесь убойной дозы сахара с водой и газом — они, может быть, и надувают своих любителей чувством собственного превосходства, но вредны ничуть не менее.

Общепризнан в Америке факт, что кофе расстраивает мозговую деятельность и почки, а чай, исключая зеленый, который рекомендуется примешивать в умеренном количестве к пуншу, стягивает внутренности и превращает порядочные желудки в каучуковые мошны. А мне, если хотите знать, кажется стопроцентно верной

позиция Мечникова: качество жизни напрямую зависит от желудочного здоровья. И если вдруг в Утопии нет славного эля, я изберу единственный напиток, какой можно приравнять к хорошему вину — простую воду.

Ботаник, тем временем, твердо стоит на своем.

Слава Богу, это моя книга, и окончательное решение остается за мной. Он может хоть написать свою собственную утопию и сделать так, чтобы все ничего не предпринимали, кроме как с согласия ученых Республики, в вопросах еды, питья, внешнего вида и жилья — строго по Этьену Кабе. Я решаюсь на маленький эксперимент, который решит наш спор — и на стойке гостиницы интересуюсь у учтивого, но отнюдь не подобострастного хозяина (этак осторожно, с приличествующей двусмысленностью), можно ли тут раздобыть кой-чего.

— Ну что, мой дорогой трезвенник? — говорю я, окидывая друга победным взглядом. Мне подают поднос с высоким бокалом. Глубокий «ох» исходит из нутра возмущенного ботаника.

— Да, пинта отличного светлого пива! — смеюсь я. — Есть в Утопии и пирожные, и эль! Так выпьем же за то, чтобы в этом прекрасном мире никогда не было излишеств, знакомых нам

по Земле! Выпьем особенно за наступление того дня, когда земляне научатся различать качественные и количественные вопросы, согласовывать добрые намерения с добрым умом, а праведность — с мудростью. Ведь одно из самых гнусных зол нашего мира — это, несомненно, беспросветная дикость понятия о благе.

§ 7

Скорее в постель — и спать. Но, право, нельзя же так сразу — лечь и отключиться. Сперва мой мозг, как собака на новом месте, должен «утоптать» себе место. Странные тайны мира, о котором я все еще знал донельзя мало — горный склон, сумеречная дорога, движение странных машин и смутных форм, свет окон многих домов, — напитывают меня любопытством. Лица, виденные мной, прохожие, хозяин этой гостиницы, чуткий и миролюбивый, чей взгляд выдает все же крайнюю степень заинтересованности, — все как на ладони. Я чувствую, сколь моему существу непривычны устройство и обстановка этого дома, вспоминаю незнакомые блюда. За пределами этой маленькой спальни — целый мир, невообразимый новый мир. Легионы самых

шокирующих открытий ждут меня в обволакивающей здание гостиницы темноте, и где-то там же — немыслимые возможности, упущенные соображения, неожиданности, несоизмеримости, тайны, целая чудовищная запутанная вселенная, которую я должен изо всех сил разгадать.

И вдруг из суматохи непривычных предвосхищений выплывает образ ботаника, столь поглощенного своей корыстной страстью, что вся Утопия для него — лишь фон личной драмы, посвященной несчастливой, доканывающей любви. Я напоминаю себе о том, что и у его дамы сердца где-то здесь есть эквивалент. Но вскоре эта мысль, а за ней — и все другие, истончается и расплывается — и растворяется, наконец, в приливе сна…

Глава третья
Экономика Утопии
§ 1

Эти утописты Модерна с всеместно распространенными хорошими манерами, всеобщим образованием, прекрасными свободами, которые мы им припишем, их мировым единством, мировым языком, кругосветными путешествиями, не стесненным ничем механизмом купли-продажи, будут представляться нам сумеречными фантомами, пока не продемонстрирована способность их сообществ к самоподдержанию. Общая свобода утопистов, во всяком случае, не подразумевает повальное тунеядство; как бы ни был совершенен экономический уклад, принцип порядка и безопасности в государстве всегда будут основаны на уверенности в том, что работа будет выполняться. Но как — и какой будет экономика Утопии-модерн?

Во-первых, такому огромному и сложному государству, как мировая Утопия, и с таким мигрирующим населением потребуется какой-нибудь удобный знак, чтобы контролировать

распределение услуг и товаров. Почти наверняка им понадобятся деньги. У них будут деньги, и не исключено, что при всех своих горестных мыслях наш ботаник, с его натренированной наблюдательностью, с его привычкой разглядывать мелочи на земле, приметит и поднимет здешнюю монету, выпавшую из кармана путника — где-нибудь за час до того, как мы дойдем до гостиницы в долине Урсерен. Итак, вот мы с ним стоит на высокой Готардской дороге — и разглядываем мелкий кругляш, способный прояснить для нас столь многое о том причудливом мире, в который мы угодили.

Он, как я полагаю, из золота, и будет удобной случайностью, если его будет достаточно, чтобы сделать нас платежеспособными гражданами на день или около того, пока мы мало что знаем о здешней экономической системе. Круглая монета, судя по надписи, называется «Лев» и равняется «дванцати» бронзовым «Крестам». Если соотношения металлов здесь не сильно отличаются от земных, «Крест» — разменная монета, законное платежное средство на весьма скромную сумму.

(Мистеру Вордсворту Донисторпу[14] было бы одновременно неприятно и приятно, будь он здесь с нами, ибо фантастические меры «Лев» и «Крест» принадлежат ему — но, как всякий порядочный анархист, термины вроде «законное платежное средство» он терпеть не может, от подобных слов у него прорезается сварливость.)

И вот это-то чуждое «дванцать»[15] сразу наводит на мысль, что мы столкнулись с самой утопической из всех вещей — с двенадцатеричной системой счета.

Пользуясь привилегией автора, дозволяю себе подробно описать монету: произведение чеканного искусства — вот что перед нами, ни много ни мало! На одной стороне мелкими, но отчетливыми буквами обозначен номинал, а посередине изображена голова Ньютона. Вот оно, будь неладно, американское влияние! (Потом

---

[14] Notes: 14

Вордсворт Донисторп (англ. Wordsworth Donisthorpe, 1847–1914) — британский пионер кинематографа, философ и шахматист. Его перу принадлежат многочисленные трактаты в духе анархизма-индивидуализма, а также «A System of Measures of Length, Area, Bulk, Weight, Value, Force», где анализируется происхождение и развитие шахматной игры.

[15] Notes: 15

Числительное twaindy (искаж. англ. twenty, двадцать) используется Уэллсом также и в романе «Спящий просыпается» (1899; здесь приведено по переводу И. Левшина).

нам рассказали, что в Утопии ежегодно чеканят монеты в честь столетнего юбилея какого-нибудь ученого.) На оборотной стороне монеты изображена Пасифея[16], красавица с ребенком на одной руке и с книгой — в другой. За фигурой богини видны звезды и песочные часы. Похоже, утописты — народ гуманистичный, раз такая жизнеутверждающая незлобивая символика вынесена на монету!

Таким образом, мы впервые с уверенностью узнаем о Мировом Государстве, а также получаем первый ясный намек на то, что Королям пришел конец. Но наша монета поднимает и другие вопросы. Значит, в Утопии существует не общность владения, а действуют некоторые ограничения права приобретения, то есть — оценка предметов денежными единицами? Экое старье, архаика! Так много устаревшего в этой якобы современной Утопии-модерн!..

Во всех предшествующих Утопиях золото яростно осуждалось. Вспомним, сколь убогое применение в своей Утопии предлагал ему

---

[16] Notes: 16

Пасифея (др.-греч. Πασιθέα) или Пазифея, по Гомеру — младшая из граций (богинь земных радостей), которую Гера отдала в жены влюбленному в нее богу сна Гипносу за то, что тот навеял сон на Зевса, чтобы дать возможность ахейцам победить в одном из решающих сражений Троянской войны. Олицетворяет мирные исходы конфликтов.

сэр Томас Мор — и как Платон в «Республике» совсем не признавал денег (когда он писал свои «Законы», в общине, которой они назначались, были в ходу железные, весьма неизящные и сомнительной ценности монеты). Возможно, эти великие джентльмены были немного поспешны и чересчур несправедливы по отношению к весьма респектабельному элементу.

Золотом злоупотребляют, превращают в сосуды бесчестия — потому оно и исключено из идеального общества, как если бы было причиной, а не орудием человеческой низости; но ведь и в золоте нет ничего плохого. Его клеймение и порицание — это попросту наказание топора за преступление Раскольникова. Деньги, если ими правильно распорядиться — это хорошая и даже необходимая вещь в цивилизованной человеческой жизни, сложно устроенная, но столь же естественная, как процессы роста запястных костей человека, и мне невдомек, как можно представлять что-либо достойное названия цивилизованного мира без денежных единиц. Ибо они — вода в социальном организме, они способствуют росту и обмену веществ, движению и регенерации. Деньги примиряют человеческую взаимозависимость со свободой;

какое другое средство дает человеку такую большую свободу вкупе с таким сильным побуждением к труду? Экономическая история мира — там, где она не является историей теории собственности, — в значительной степени представляет собой отчет о злоупотреблениях не столько деньгами, сколько кредитными средствами для их пополнения и расширения масштабов этого ценного социального изобретения. Никакая система «трудодоверия», описанная Беллами в девятой главе «Оглядываясь назад», никакой свободный спрос на товары Центрального Универмага не урезают многократно объем врожденного «морального шлака» в человеке, с коим нужно считаться в любой разумной Утопии, какую только можно разработать и спланировать. Лишь Бог знает, куда нас приведет прогресс, но во всяком случае в моей Утопии-модерн деньги еще в ходу — и это хорошо.

§ 2

Теперь, если мир Утопии-модерн хоть в какой-то степени параллелен современному мышлению, нужно разобрать целый корпус нерешенных проблем, связанных с валютой

и с мерой стоимости. Золото, думаю, из всех металлов лучше всего приспособлено для денежной цели, но даже в этом лучшем случае оно далеко не соответствует вообразимому идеалу. Оно подвергается скачкообразному и неравномерному обесцениванию вследствие новых открытий месторождений и в любое время может пасть жертвой обширного, непредвиденного и крайне сокрушительного обесценивания вследствие открытия какого-либо способа его получения из менее ценных элементов. Ответственность за такое обесценивание вносит нежелательный спекулятивный элемент в отношения должника и кредитора.

Когда, с одной стороны, на какое-то время останавливается увеличение наличных золотых запасов и/или рост энергии, прилагаемой к общественным целям, или ограничивается общественная безопасность, что препятствовало бы свободному обмену кредита и, очевидно, потребовало бы более частого производства золота, тогда и происходит чрезмерный скачок стоимости денег по сравнению с базовыми товарами и автоматическое обнищание граждан в целом по сравнению с классом кредиторов. Простые люди заложены в долговую кабалу.

С другой стороны, нежданный всплеск золотодобычи, находка одного-единственного самородка величиной, скажем, с собор Святого Павла (вполне возможное событие!) приведет к освобождению всех должников и спровоцирует настоящее землетрясение в финансовых кругах.

Один гениальный мыслитель предположил, что в качестве эталона денежной стоимости можно использовать не какое бы то ни было вещество, а вместо него — силу, и что стоимость может быть измерена в единицах энергии. Это превосходное развитие (по крайней мере — в теории) общей идеи современного государства как кинетического, а не статического; так еще раз подчеркивается отличие нового социального порядка от старого. Старый уклад — система институтов и классов, управляемых состоятельными людьми; новый — это союз предприятий и интересов, над которым главенствуют заинтересованные лидеры.

Конечно, суждения мои обо всем этом — довольно поверхностные, сродни конспекту или выжимке из серьезной научной статьи, подготовленной для популярного журнала. Поэтому вообразите мое удивление, когда, развернув случайно газету, я вдруг узнаю: подразумеваемый

гениальный мыслитель (вернее, его здешняя инкарнация) занимает самый ответственный пост в Утопии и касается вопросов денежного обращения на страницах печати! Статья эта, как мне кажется, давала полное и ясное объяснение его новых задумок — если закрыть глаза на обилие специфической терминологии; она опубликована, очевидно, для того, чтобы общество могло подвергнуть его предложение всесторонней критике — так можно сделать вывод, что в Утопии-модерн власти представляют наиболее прозрачные и детально разработанные схемы любого предполагаемого изменения закона или обычая.

Оценим же местный административный порядок. Любого, кто следил за развитием технической науки в течение последнего десятилетия или около того, не шокирует мысль о том, что консолидация большого числа общественных служб на значительных территориях ныне не только осуществима, но и очень важна, желательна. Через некоторое время отопление и освещение, равно как и снабжение электроэнергией бытовых и промышленных, городских и междугородных коммуникаций, будут осуществляться с единых электростанций. Ясно как божий день,

что как только минует экспериментальная стадия снабжения электроэнергией, вопрос всецело перейдет в ведение местной администрации (канализация и водоснабжение — в ту же копилку). И местная администрация, само собой, предстанет единственным хозяином положения.

По этому вопросу даже такой закоренелый индивидуалист, как Герберт Спенсер, сходился во мнении с социалистами. Итак, мы может прийти к заключению, что в Утопии, какие бы там виды собственности ни существовали, естественные источники энергии — уголь, водяная сила и тому подобные — будут находиться в распоряжении местных властей. Для максимального удобства контролируемые одной властью земли будут разделены на участки, равняющиеся приблизительно половине пространства, занимаемого ныне Англией. В Утопии будут следить за тем, чтобы электрическая энергия добывалась при помощи гидравлической силы, ветра, морских приливов и отливов — и вообще всякой естественной силой. Электричеством будут освещаться города и поселки, а также разные общественные места; кроме того, электричество будет распределяться между частными лицами и обществами, регулирующими отоп-

ление и освещение квартир. Такое устройство, несомненно, усложнит подсчеты трат и отношения — разных отделов между собой и государства с потребителями; но для упрощения бухгалтерии в Утопии, вероятно, будут вести счет на единицы физической энергии.

Не исключено, что оценка различных местных администраций для центрального мирового правительства уже будет рассчитана на основе приблизительно общего количества энергии, периодически доступной в каждой местности, зарегистрированной и заявленной в этих физических единицах. Расчеты между центральными и местными органами власти могут вестись в этих терминах. Кроме того, можно представить, что утопические местные власти заключают контракты, по которым оплата производится уже не монетой на основе золота, а банкнотами на столько-то тысяч или миллионов единиц энергии той или иной электростанции.

Так проблемы экономической теории подверглись бы огромному прояснению, если бы вместо измерения в колеблющихся денежных величинах можно было бы распространить на их обсуждение ту же самую шкалу энергетических единиц — если бы в самом деле можно было

совершенно исключить идею торговли. В Утопии-модерн, во всяком случае, производство и распределение обычных товаров были выражены как проблема преобразования энергии, и схема, которую сейчас обсуждала Утопия, была естественным продолжением этой идеи. Все местные энергетические управы должны были свободно выпускать энергетические векселя под залог избытка доступной для продажи энергии — и заключать все свои контракты на оплату в этих банкнотах до меры максимума, определяемого количеством энергии, произведенной и распределенной в этой местности в предыдущем году. Эта эмиссионная способность должна была возобновляться так же быстро, как банкноты, поступавшие для погашения стоимости энергии. В мире без границ, с населением, в основном мигрирующим и эмансипированным от местности, цена энергетических банкнот этих различных местных органов должна будет все время стремиться к единообразию, ибо занятость будет постоянно смещаться в районы, где энергия дешева. Отсюда цена, скажем, миллиона единиц энергии в любой конкретный момент в золотовалютном эквиваленте была бы примерно одинаковой во всем мире. Было предложено выбрать

какой-то определенный день, когда экономическая атмосфера наиболее спокойна, и объявить наконец фиксированное соотношение между золотыми монетами и энергетическими банкнотами; каждый золотой лев и каждый кредитный лев представляли бы собой точное количество единиц энергии, которое можно купить в этот день. Старая золотая монета должна была бы сразу перестать быть законным платежным средством сверх определенных пределов — кроме как для центрального правительства, которое не будет перевыпускать ее по мере поступления, иметь полную стоимость в день конвертации по любому курсу; но с течением времени ее все равно заменят обычной жетонной чеканкой. Таким образом, старые расчеты льва и значения мелких разменных денег в повседневной жизни не должны были подвергаться никаким нарушениям.

Экономисты Утопии, как я их понял, имели иной метод и совершенно иную систему теорий, чем те, кого я читал на Земле, и это значительно усложняет мое изложение. Эта статья, на которой я основываю свой «конспект», плавала передо мной в незнакомом, сбивающем с толку и похожем на нечто из сна болоте фразеоло-

гии. И все же у меня сложилось впечатление, что вот она — та справедливая золотая середина, которую не смогли нащупать экономисты на моей родной планете. Мало кому удавалось абстрагироваться от интересов политиканского и ура-патриотического толка, а навязчивой идеей всегда становилась международная торговля. Здесь, в Утопии, мировое правительство лишает их такой опоры: импорт отсутствует, если за таковой не считать метеориты, экспорта нет вообще.

Торговля есть исходное понятие земных экономистов, и начинают они с запутанных и неразрешимых загадок о меновой стоимости — неразрешимых в силу того, что любая торговля в конечном счете включает в себя индивидуальные предпочтения, а их невозможно исчислить, они уникальны. Нигде, похоже, экономисты не обращаются с действительно определенными стандартами, каждая экономическая диссертация и дискуссия сильнее, чем предшествующие ей, напоминают игру в крокет, в которую Алиса играла в Стране Чудес — когда молотки были фламинго, а шары ежами, норовящими уползти прочь. Но экономика в Утопии должна быть, как мне кажется, не теорией трейдинга, основанной на средненьких психологических изысках,

а физикой, примененной к проблемам теории социологии. Магистральная задача утопической экономики в том, чтобы установить условия наиболее эффективного применения неуклонно возрастающих количеств материальной энергии, которые прогресс науки предоставляет на службу человеку, на общие нужды человечества. Людской труд и существующий материал рассматриваются в связи с этим. Торговля и относительное богатство в такой схеме лишь эпизодичны. Тенденция статьи, которую я читал, заключалась в том, что денежная система, основанная на относительно небольшом количестве золота, на котором до сих пор велись дела всего мира, необоснованно колебалась и не давала реального критерия благосостояния. Дело в том, что номинальная стоимость продуктов и предприятий не обладала ясным и простым отношением к реальному физическому благополучию общества, что номинальное богатство общества в миллионах фунтов, долларов или львов измеряло не что иное, как количество надежды на будущее, воздуха. Рост доверия означал инфляцию кредита, и пессимистическая фаза — крах этой галлюцинации собственности. Новые стандарты, рассуждал автор статьи, должны были все это из-

менить — и мне показалось, что так оно и будет.

В общих чертах я попытался передать смысл этих замечательных новшеств, но вокруг них сразу назревает масса сложнейших дискуссий. Не буду вдаваться в их детали — да и не уверен, что имею право хоть сколько-нибудь точно передать многочисленные аспекты этого сложного вопроса. Я прочитал все это за час или два отдыха после обеда, на второй или третий день моего пребывания в Утопии, когда мы сидели в маленькой беседке на берегу озера Ури — туда мы укрылись, когда хлынул ливень; принявшись за скрашивающее время чтение, я незаметно втянулся — и вскоре был поражен информационной насыщенностью того, что читаю с таким живым интересом. Мало-помалу передо мной все яснее вырисовывалась картина экономической жизни в Утопии.

§ 3

Про разницу между социальными и экономическими науками в том виде, в каком они существуют в нашем мире и в этой Утопии, пожалуй, стоит сказать еще пару слов. Я пишу с величайшей неуверенностью, потому что на Земле

экономические науки, благодаря трудам ученых, достигли высочайшего уровня запутанной абстрактности, а я не могу похвастаться не только ближайшим знакомством с ними, выпадающим на долю каждого усидчивого студента, но и ничем иным, кроме самого общего представления о том, каких высот эти науки достигли в Утопии. Однако безусловная необходимость экономического развития для всякой Утопии заставляет и меня попытаться выяснить связь между их экономическими науками и нашей.

Собственно говоря, в Утопии нет никакой «особой» экономической науки. Многие ее задачи, которые, на наш взгляд, были бы сугубо экономическими, в Утопии входят в область психологии. Обитатели Утопии-модерн делят психологию на две отрасли: во-первых, общая психология индивидуумов, нечто вроде физиологии разума, не отделенная должной границей от физиологии в общепринятом смысле; во-вторых, психология родственных отношений меж индивидуумов. Вторая отрасль является особенно подробным исследованием влияния одних людей на других и их взаимных отношений на всевозможных ступенях родства — кровного, душевного, духовного, умственного и так далее. Это наука о всяких

человеческих сближениях и возможных группировках — семейных, соседских, общественных, об ассоциациях, союзах, клубах, религиозных сектах и кружках, о целях сближения между людьми, о методах этого сближения и о коллективных решениях, которыми поддерживается объединение человеческих групп, и, наконец, о правительстве и государстве. Выяснение экономического *сближения* считается наукой второстепенной и подчиненной этой главной науке — социологии. В нашем мире, на Земле, политическая экономия и другие экономические науки представляют, в сущности, безнадежную путаницу социальных гипотез с психологическими нелепостями, сдобренную несколькими географическими и физическими обобщениями. В Утопии же основы этих наук твердо и четко классифицированы, отделены друг от друга.

С одной стороны изучение экономии физических сил переходит в изучение общества как организации для обращения всей свободной энергии природы на служение материальным целям человечества. Эта своего рода физическая социология должна стоять в Утопии на такой ступени практического развития, чтобы человечество могло уже пользоваться векселями, чья

стоимость выражена в единицах энергии.

С другой стороны проходит процесс изучения экономических задач разделения труда в зависимости от такой социальной организации, целями которой являются смена поколений и воспитание в атмосфере личной свободы. Оба эти направления исследований независимо друг от друга будут обеспечивать постоянную информационную поддержку управляющей власти.

Ни в одной области интеллектуальной деятельности наша гипотеза свободы от традиции не будет иметь большей ценности для создания Утопии, чем здесь. С самого начала земное изучение экономики было бесплодным и бесполезным из-за массы непроанализированных и пунктирно намеченных предположений, на коих оно основывалось. Игнорировались факты, что торговля есть побочный продукт, а не существенный фактор общественной жизни, что собственность есть пластичная и изменчивая условность, а стоимость способна к безличному обращению только когда к ней предъявлены самые общие требования. Богатство измерялось биржевыми мерилами. Общество рассматривалось как почти безграничное число взрослых индивидуумов, неспособных ни к каким иным союзам, кроме

деловых товариществ, а способы конкуренции считались неистощимыми. На таком зыбучем песке и выросло здание, которому старались придать вид солидности, точной науки — со своим «научным жаргоном» и законами.

Наше освобождение от этих ложных представлений благодаря деятельности Карлейля, Рёскина и их последователей — более кажущееся, чем действительное. Старая громада все еще давит нас, разные строители подправляют и перестраивают ее, местами подставляют под нее подпорки и даже порой слегка облагораживают фасад. Вывеску со словами «Политэкономия» закрасили, вместо нее теперь другая: «Инновационные Экономические Науки». Но от старой версии они отличаются разве что беспродуктивностью пестования всяческих адамов смитов[17] и отказом от уймы неверных обобщений (на новые, по-видимому, просто нет умственных сил). В дебрях этих наук мы на Земле блуждаем, точно в лондонском смоге, и ничего не находим там помимо неудобств; их типичные представители расположены к популизму и кликушеству, требуют уважения к себе как к экспертам и рвутся

[17] Notes: 17

Адам Смит (1723–1790) — шотландский экономист, философ-этик; основоположник современной экономической науки.

к скорому политическому использованию своего положения. Что касается Ньютона, Дарвина, Дальтона, Дэви и Адама Смита — эти хотя бы не играли в знаменитостей, а оставались просто философами и учеными.

Однако даже в своем нынешнем явно нездоровом и неэффективном состоянии корпус экономических наук должен продолжать борьбу. Пусть пока в этих науках мало, собственно, научности, а больше плавающей в мутной водице статистики, ничего не поменяется, покуда изучение общественных союзов, а также основ организации производства с твердой опорой на географию и физику не создаст возможность построить для экономической науки прочный фундамент.

§ 4

Заметьте: все прежние Утопии были сравнительно небольшими государствами. Та же платоновская Республика, к примеру, была меньше обыкновенного английского города, и никакого различия не делалось между семьей, общиной и государством. Платон и Кампанелла — хотя последний и был христианским священником —

возводили коммунизм в крайнюю его степень, даже устанавливали коммунистическую общность мужей и жен — эта идея доведена была, наконец, до применения в скандально известной коммуне Онайда[18]. Коммуна ненадолго пережила своего основателя, по крайней мере, в том, что касается коммунизма, ввиду сильного индивидуализма ее сынов. Томас Мор тоже отвергал частную собственность и устанавливал полную общность, а из утопистов, появившихся в эпоху Виктории, к тому же склонялся Кабе. Но коммунизм Кабе был коммунизмом типа «свободного товарооборота»: вещи становились вашими только после того, как вы их реквизировали. По-видимому, то же самое предлагает и Моррис в своей утопии. По сравнению с предтечами у Беллами и Морриса больше чуткости по отношению к индивидуализму, и они так далеко отходят от прежнего единообразия, что можно даже усомниться, будут ли впредь писаться коммунистические утопии. Такая утопия, как та, которую я предлагаю читателям, написан-

[18] Notes: 18

Коммуна Онайда — религиозная община в городе Онайда штата Нью-Йорк, основанная Джоном Хамфри Нойесом в 1848 году и просуществовавшая до конца 1870-х годов. В общине доходы и имущество делились на всех в равных пропорциях, практиковались групповой брак, сохранённый половой акт и взаимная критика.

ная в начале двадцатого столетия, после почти векового спора между коммунизмом и социализмом, с одной стороны, и индивидуализмом с другой, является как бы своего рода выводом, или заключением, этого спора. Обе стороны так перекроили и настолько изменили свои первоначальные программы, что, по правде говоря, выбор между ними был бы труден, если бы не ярлыки, все еще приклеенные к их вождям. Мы, принадлежащие к последующему поколению, ясно видим: по большей части спор разгорался из-за смешения вопроса количественного с качественным. Беспристрастному наблюдателю ясно, что как индивидуализм, так и социализм, доведенные до крайности, являются чистейшей нелепостью. Первый превратил бы людей в рабов богатства и насилия, второй сделал бы их рабами государства, а истинный, разумный путь пролегает между этими двумя крайностями и далеко не по прямой линии. К счастью, прошлое мертво и давно хоронит своих умерших, и в наши функции не входит решать, на чьей стороне победа. В те самые дни, когда политический и экономический строй жизни становится все более социалистическим, идеал человечества отчетливее склоняется в сторону индивидуализма.

Государство должно прогрессировать, оно не может стоять на месте, и это значительно усложняет задачу всех создателей утопий. Мы должны касаться не только вопросов провизии и одежды, порядка и здоровья, но и инициативы отдельных лиц, для которой должно быть отведено свое поприще. Фактором развития является индивидуализм, но существует он только благодаря инициативе и ради нее; индивидуализм — это *метод действия* инициативы. Каждый человек в меру своего индивидуализма нарушает закон, установленный прецедентами, уходя от общих формул и прокладывая новые тропы в мире идей.

Как следствие, государству, представляющему массу и озабоченному лишь сохранением посредственного большинства, немыслимо производить удачные опыты, вводить разумные нововведения и насыщать общественную жизнь новыми смыслами. В противоположность индивидууму, государство — видовое понятие. Индивидуум исходит из вида. Он производит свой жизненный опыт; если не успевает этого сделать — умирает, и его потенциал обнуляется, если успевает — оставляет по себе некий след, запечатленный в его потомстве и в творениях.

Биологически вид представляется аккумуляцией опыта всех следовавших друг за другом индивидуумов — от самого начала истории, — и мировое государство современного утописта в экономических своих проявлениях должно быть выводом из экономического опыта, над коим индивидуальная инициатива будет продолжать вершить надстройки — чтобы погибнуть при неудаче или слиться с не подверженным смерти мировым государственным организмом. Сей организм и является универсальным законом, общим для всех ограничением, поднимающейся постепенно платформой, на которой стоят отдельные индивидуумы.

В этом идеальном представлении всемирное государство — единственный собственник всех земель, а все муниципалитеты и остальные органы правления находятся в зависимости от него. Государство-доминант и его субординаты заведуют всеми источниками энергии, что разрабатываются или непосредственно ими, или через посредство арендаторов, фермеров или агентов. Энергия будет применяться к различным потребностям. В распоряжении государства всецело находятся эксплуатация угля и электрической и водяной силы. Государ-

ство заботится о поддержании в порядке путей сообщения и о быстром и недорогом судопроизводстве, оно же служит «передаточным колесом» для планеты, так как доставка и распределение труда, контроль и управление добывающей промышленностью, плата и забота о здоровье и силе поколения, чеканка монет, установка мер и весов, поощрение исследователей, вознаграждение за убытки, причиненные невыгодными коммерческими предприятиями, которые служат благу всей общины — все это находится в ведении и обязанности государства. Оно же выдает, когда понадобится, субсидии критикам и авторам, поощряя просветительские и культуртрегерские процессы.

Таким образом, развиваемая энергия может быть уподоблена атмосферным осадкам, выпадающим на горы, которые, будучи морскими испарениями, в конце концов все равно возвратятся в море. Они образуют речные системы, питающиеся из массы источников — точно так же индивидуальная инициатива и борьба стремятся к одной цели. С нашей, человеческой, точки зрения горы и моря созданы для жилых зон, которые находятся между ними. Мы вправе думать, что и государство создано для отдельных

личностей. Государство существует для индивидуума, закон — для свободы, мир — для опытов, исследований и трансмутаций.

Вот те основные положения, которые служат незыблемыми устоями для Утопии-модерн.

§ 5

В рамках очерченной мною схемы, где государство — источник всей энергии и наследует у самого себя, какова будет природа частной собственности отдельных граждан? В нынешних земных условиях человек без всякой собственности лишен свобод; размеры его собственности как бы служат мерилом его раздолья. Без всякого имущества, особенно без крова и пищи, у человека нет выбора, кроме как взяться за добычу этих вещей; он находится в рабстве своих потребностей до тех пор, пока не заполучит собственность для их удовлетворения. Но обладая некоторым достатком, человек может делать многое — например, взять двухнедельный отпуск, когда захочет, и попробовать то или иное новое отступление от своей работы; при достатке большем он может устроить себе год, свободный от хлопот и отправиться на край земли; при *гораздо* боль-

шем достатке он может приобретать сложную технику и пробовать любопытные новинки, строить дома и разводить сады, открывать предприятия и проводить эксперименты в целом. Очень скоро в условиях Земли собственность индивидуума может достичь таких размеров, что его свобода начнет угнетать свободу других. Здесь мы снова упираемся в вопрос количества об урегулировании конфликтующих свобод — вопрос, который слишком многие настоятельно полагают качественным.

Целью свода законов о собственности, который можно было бы найти в действии в Утопии, был бы тот же самый объект, который пронизывает всю утопическую организацию, а именно всеобщий максимум индивидуальной свободы. Какие бы далеко идущие действия ни предпринимали государство, великие богачи или частные корпорации, голодная смерть из-за каких-либо осложнений в сфере занятости, невольная депортация, уничтожение альтернатив рабскому подчинению не должны последовать. Помимо таких оговорок, целью современной утопической государственной мудрости будет обеспечение человеку свобод всей его законной собственности, то есть всем ценностям, которые были созданы

его трудом, умением, талантом и силой. Все, что он справедливо сделал, он имеет право сохранить, это достаточно очевидно; но он также будет иметь право продавать и обменивать все это.

Полагаю, что в Утопии-модерн все обитатели ее будут обладать неограниченным правом собственности относительно тех предметов, что имеют непосредственное к ним отношение: одежда, украшения, ремесленные приспособления, произведения искусства, книги, купленное или сделанное ими оружие — если в Утопии будут нуждаться в таких вещах, — и так далее. Все вышеозначенные блага, приобретенные утопистом на свои активы, будут ему и принадлежать неотъемлемо — если только он не профессиональный торговец. Он будет вправе отдавать их или хранить у себя, не уплачивая за это никаких налогов. Такой род собственности будет иметь настолько личный характер, что, уверен, в Утопии будет существовать право передавать эту собственность во владение наследникам или друзьям умершего собственника. Туда же стоит причислить личный транспорт и домашних животных — а вот дом и земельный надел будут подлежать весьма незначительному налогообложению и наследоваться лишь в ряде

особых обстоятельств. Член социал-демократической партии, наверное, возразит: если такого рода собственность будет существовать, то люди будут на нее, главным образом, и расходоваться. Но в этом нет ничего дурного — и мы слишком сильно воспринимаем ту атмосферу нужды, которая царит в нашем плохо устроенном мире. Как я уже не раз повторил, в Утопии реален баланс вещей, подкрепленный сознательностью индивидов — никому не придется голодать из-за чьего-то бездумного накопительства. Раздача такого количества имущества частным лицам будет способствовать тому, что одежда, украшения, орудия труда, книги и искусство стали еще лучше и красивее — потому что, приобретая такие вещи, человек обеспечивает себе что-то неотъемлемое. Кроме того, никто не воспретит в течение своей жизни откладывать суммы для обеспечения особых преимуществ образования и ухода за несовершеннолетними детьми, своими и чужими, и таким образом — также осуществлять право наследования[19].

Всякая другая собственность будет считать-

[19] Notes: 19

Но, разумеется, не бесконечное. Бесконечно передаваемое наследство — то самое излишество, без коего вполне можно обойтись во всех современных Утопиях. — *Примечание автора.*

ся обитателями Утопии менее важной, и к ней будут относиться не с таким уважением. Даже деньги, оставшиеся после частного лица или же отданные им в долг без процентов, не будут считаться после смерти своего владельца личным имуществом. Данное правило распространится и на собственность, приобретенную посредством всевозможных коммерческих операций сугубо ради наживы, а не ради идеи. Новаторские предприятия, экспериментальные формы дохода и частные изобретения не будут являться делами государства — ибо они всегда начинаются как авантюры с неустановленной ценностью, и следующим после изобретения денег нет такого новшества, которое так облегчило бы свободу и прогресс, как внедрение обществ с ограниченной ответственностью. Всяческие злоупотребления и необходимые реформы закона о земельных компаниях не касаются нас здесь и сейчас — достаточно того, что в Утопии-модерн такие законы должны считаться настолько совершенными, насколько это вообще возможно для человеческих. В дотошно кодифицированном утопическом законе благоразумному продавцу всегда будет обеспечен адекватный покупатель. Можно, конечно, усомниться в том, будет ли позволено

компаниям в Утопии предпочитать один класс акций другому или выпускать долговые обязательства, и будет ли ростовщичество (ссуда денег под фиксированный процент) разрешено вообще. Но какой бы ни была природа акций, которыми может владеть индивид, все они будут проданы после его смерти, а все, что он явно не выделил для специальных образовательных целей, перейдет — возможно, с некоторыми отчислениями ближайшим родственникам, — во владение государства. «Надежное вложение» — одна из тех практик, которые Утопия не поощряет и которой автоматически препятствует развивающаяся посредством падения процентной ставки безопасность цивилизации. Как мы увидим позже, государство застрахует детей каждого гражданина и тех, кто находится на его законном иждивении, от неудобств его смерти; оно выполнит все разумные завещательные распоряжения, если таковые будут собственником оставлены; сам он также будет застрахован от болезни и старческой немощи. Благая цель утопической экономической теории будет заключаться в том, чтобы поощрять гражданина тратить излишки денег на улучшение качества жизни или с помощью экспериментов (которые могут принести

либо убытки, либо большие прибыли), или на эстетические нужды.

Вместе с частным владением и открытой возможностью участия в различных деловых операциях в Утопии, конечно же, будут существовать товарищества или ассоциации, при посредничестве различных контрактов владеющие общей собственностью (в виде арендуемой сельскохозяйственной либо иной земли или выстроенных общими средствами домов, фабрик и заводов). В случае, если явится желающий провести подобные предприятия за свой счет, этому лицу будут предоставлены все права и привилегии, разрешенные товариществу. С деловой точки зрения он один и будет считаться полноправным товариществом, невзирая на единоличное участие, и его единственной акцией будут распоряжаться после его смерти, как любыми другими акциями… Вот, собственно, и все о втором виде собственности. И эти два вида собственности, вероятно, исчерпывают блага, которыми может обладать утопист.

Тенденция современной мысли выступать всецело против частной собственности на землю, природные объекты или продукты закрепится в Утопии-модерн на государственном уровне.

При условии сохранения свободного передвижения земля будет сдаваться в аренду компаниям или частным лицам, но — ввиду неизвестных потребностей будущего — никогда на более длительный срок, чем, скажем, на пятьдесят лет.

Имущественная зависимость детей и родителей, мужей и жен, насколько могу судить, в современном мире рассматривается более квалифицированно, чем прежде, но о том, как этот вопрос решен в Утопии, я лучше расскажу позднее — когда мы будем рассматривать вопрос о браке в Утопии. Пока что достаточно отметить, что усиливающийся контроль общества над благополучием и воспитанием ребенка, как и растущая тенденция ограничивать и облагать налогом наследство, являются дополнительными аспектами общего замысла — рассматривать благополучие и судьбу будущих поколений уже не как заботу родителей и альтруистичных личностей, а как преобладающий вопрос государственной мудрости, а также долг и здравый смысл мирового сообщества в целом.

§ 6

Решив раз и навсегда, что существующая в природе механическая сила создана для служения человеку, и приняв финансовую систему Утопии, основанную на электрической энергии, мы тем самым создаем контраст между современной и классическими Утопиями. За исключениями незначительного применения водяной силы для мельниц и ветряной для плавания на парусах — применения, в сущности, столь незначительного, что классический мир не был даже в состоянии обойтись без рабства, — и столь же незначительного задействования быков при обработке земли и лошадей для перевозки, вся необходимая для жизни государства энергия добывалась путем мускульного труда рабочих, буквально двигавших Землю своими руками. Беспрерывный физический труд являлся условием существования. Лишь с открытием каменного угля и железа ситуация переменилась. Сейчас, если бы кто-то взялся выразить в единицах энергии сумму рабсилы, производимой в Англии и Соединенных Штатах, оказалось бы, что большая часть ее добыта не путем физического напряжения че-

ловечества, но горением угля и жидкого топлива, мощью взрывчатых веществ, ветра и воды. Подобное распределение указывает на ослабление зависимости человека от физического труда.

Кажется, в настоящее время не существует четких границ вторжения механических приспособлений в жизнь. Однако люди, предугадавшие значение механической силы, стали появляться не более трехсот лет тому назад. Трудно поверить, как мало значения придавали в былое время механике; Платону и не снилось, какую роль машины будут играть в социальной организации — в его эпоху не существовало ничего, что могло бы навести на эту мысль. В его представлении государство могло существовать, пользуясь исключительно мускульной силой и сражаться врукопашную. Политических и нравственных выдумок он насмотрелся в избытке, и в этом направлении — до сих пор будоражит воображение. Но вот касательно всевозможных материальных изобретений он практически слеп; полагаю, за всю его долгую жизнь не явилось ни одного изобретения, механического приспособления или метода, имеющего хоть малейшее общественное значение. Мы привыкли считаться с возможностью вещей такого рода, которая пора-

зила бы древнего академиста и с которой, по всей вероятности, ему было бы непросто примириться; мы в настоящее время бедны воображением лишь при разрешении политико-социальных вопросов. Как ни очевидно для нас историческое существование Спарты, она в наших глазах столь же неправдоподобна, как автомобильный двигатель — в глазах Сократа.

Платон по сущей оплошности положил начало утопии, не признающей машин, где есть особый класс рабов, которые и были в ответе за весь потогонный труд. Этой проторенной тропой прошли все позднейшие сочинители разных утопий. Правда, у Бэкона появляются некоторые слабые намеки на возможность механического прогресса в «Новой Атлантиде», и лишь в двадцатом столетии начинают появляться утопии, отводящие некоторую важную роль механизмам. Мне кажется, Кабе был первым, кто настоял на механизации тяжелого труда — а ведь даже у Мора все «недостойные» работы делегируются рабам!

Большей частью утописты новой формации проводят идею, что всякий труд доставляет радость, и потому все общество без различия принимает участие в общем труде. Но, по правде, это убеждение сильно расходится с действительным

опытом человечества. Какому-нибудь рантье потребуются титанические, поистине олимпийские спокойствие и дальновидность, чтобы согласиться с вышеизложенным. Да, в университетские годы Рёскин принимал участие в строительстве дорог — но это явное похвальное исключение, никак не правило; его пример наименее заразителен.

Если тяжелый труд и является благословением по идее, то никогда благословение не было так искусно замаскировано, и даже те лица, которые охотно проповедуют нам его, не нашли до сих пор ничего лучше, как соблазнять нас бесконечным набором грядущих райских кущ. Конечно, физическое или умственное напряжение, пусть даже продолжительная работа, исполненная по велению сердца — это не тот тяжелый труд, о котором мы говорим. Творение артиста, например, когда он достигает высшего развития своего творчества и работает свободно, сообразуясь исключительно лишь со своим желанием — это, понятное дело, не труд, а наслаждение. Но всякому, думаю, ясна разница между высадкой картофеля для собственных нужд и работой на плантации семь дней в неделю за грошовую плату.

Сущность труда — в этом угнетающем, по-

глощающем всю волю императиве и в том, что императив этот исключает свободу (проблема ведь не только в переутомлении). До тех пор, пока от тяжелого труда всецело зависело полудикое выживание индивида, бесполезно было и думать о том, что внимание человечества когда-либо обратится к иной перспективе, а для тех, кто наиболее изворотлив, цель жизни заключалась в том, чтобы свалить как можно больше работы на другого. Конечно, теперь, когда физические науки создали новые условия, человек как источник энергии невольно отстранен. Возможно, в скором времени все рутинные работы будут автоматизированы; мысль, что настанет время, когда не будет людей, обреченных на труд «от сих до вечности», не кажется более полнейшей нелепицей. Да, придет час, когда весь безынициативный труд вымрет.

Ясный посыл, который физическая наука несет миру в целом, заключается в том, что если бы наши политические, социальные и моральные «устройства» были так же хорошо приспособлены для своих целей, как линотипная машина, антисептическая установка или электрический трамвай, то сейчас, в настоящий момент, не нужно было бы прилагать сколько-нибудь заметных

усилий для сохранения мира, и лишь малая толика тех отчаяния, страха и беспокойства, которые ныне делают человеческую жизнь такой сомнительной в ее ценности, присутствовала бы в наших кругах. Наука — слишком компетентный слуга, поумнее хозяев, и она предлагает ресурсы, устройства и средства, для пользования коими мы слишком глупы. И с материальной стороны Утопия-модерн должна представить эти дары как принятые — и явить мир, в котором нет более основной причины для чьего-либо рабства или неполноценности.

§ 7

Фактическое уничтожение класса рабочих и рабов даст о себе знать во всех деталях гостиницы, которая приютит нас, и спален, которые мы будем занимать. Только открыв глаза, я совершенно ясно понимаю, что лежу в постели не где-нибудь, а в Утопии. Ведь никакого угрю-

мого лакея по имени Боффин[20] в серо-зеленой ливрее ко мне не приставили!

Утопия! Одного этого слова достаточно, чтобы любой, стряхнув оковы сна, подскочил от кровати к ближайшему окну. Из моего, увы, не углядеть ничего, кроме огромного горного массива за гостиницей — такой и на Земле можно найти. Я возвращаюсь к окружающим меня приспособлениям и провожу осмотр, пока одеваюсь, «залипая», точно сонная муха, то над одной интересной вещицей, то над другой.

Комната — очень светлая, чистая и простая: в ней все, от мебели до портьер, рассчитано на простоту уборки и починки. Все очень пропорционально, хотя в комнате потолок несколько ниже, чем на Земле. Ни камина, ни печей не видно, и это удивляет меня. Удивление мое не проходит, пока я не замечаю на стене термометр рядом с шестью выключателями. Над этим распределительным щитом — краткая инструкция: один выключатель обогревает пол, который покрыт не ковром, а чем-то вроде мягкой клеен-

---

[20] Notes: 20

Происхождение слова «боффин» не вполне ясно, но, кажется, впервые оно появилось в романе Диккенса «Наш общий друг» (1864–1865), где это прозвище носит «весьма странного вида субъект». Так называли и одного персонажа в утопическом романе Уильяма Морриса «Вести из Ниоткуда», на который здесь ссылается Уэллс.

ки; другой в ответе за матрац, который сделан из металла с продетыми там и сям катушками сопротивления; остальные — в разной степени прогревают стены, посылая ток через раздельные контуры. Окно не открыть, но на потолке комнаты — бесшумно вращающийся лопастной механизм, создающий циркуляцию воздуха в комнате. Для притока внешней атмосферы установлена вытяжка.

Рядом со спальней помещается уборная и ванная, комнаты со всем необходимым для совершения туалета. Стоит только нажать кнопку — и, проходя через спиральную систему труб с электроподогревом, в душ подается горячая вода. Если перекинуть специальный тумблер, из диспенсера на стене выскакивает кусок мыла. Грязные полотенца можно сложить в ящик, при нажатии на дно которого они уносятся по пневмопроводу в прачечную. На стене комнаты есть карточка, на которой напечатан тариф за проживание — с примечанием, где говорится, что цена комнаты удваивается, если посетитель оставит уборную не в том виде, в каком она была при его заселении.

Рядом с кроватью стоят маленькие часы, циферблат которых находится на одном уровне

со стеной — ночью их можно подсветить, щелкнув удобным выключателем над изголовьем. В комнате нет углов, собирающих грязь — стена переходит в пол плавным изгибом, и помещение можно эффективно подмести несколькими взмахами механической метлы. Дверные рамы и оконные переплеты — металлические, круглые и непроницаемые для сквозняков. Вас вежливо просят перед выходом из комнаты повернуть ручку в изножье кровати — тут же ее каркас поднимается в вертикальное положение, а постельное белье вывешивается на проветривание. Стоя в дверях, я дивлюсь тому, как же здесь все умно устроено. Воспоминания о зловонном беспорядке многих земных спален невольно всплывают в сознании.

Не подумайте, однако, что эта свежая, без единой пылинки в ней комната — лишь голый функционал без намека на красоту. Ее внешний вид, конечно, несколько непривычен, но вся эта мешанина пылящихся драпировок и бестолковых украшений, характерная для земных спален — подзоры, гардины, защищающие от сквозняков из плохо пригнанных деревянных окон, бесполезные неуместные картины, обычно висящие немного криво, пыльные ков-

ры и всякая атрибутика вокруг закопченного до черноты камина, — попросту отсутствует. Нет, здешнее убранство, хоть и простое, все же несет на себе след изысканности, рожденной чьей-то новой и прекрасной художественной мыслью. Оконные рамы также мало напоминают наши и необыкновенно красивы, в них вделаны изящные витражи. Единственная вещь в комнате, требующая хоть какого-то ухода — хрустальная ваза с голубыми альпийскими цветами.

Та же изысканная простота встречает нас внизу.

Хозяин садится с нами на минутку за стол и, видя, что мы не понимаем, что перед нами электрический кофейник, показывает нам, как с ним управляться. У нас в распоряжении — кофе и молоко по континентальному обычаю, а также отличные булочки и масло.

Хозяин — небольшой смуглый человек. Вчера он все время находился с другими гостями, но сегодня — очевидно, мы, не зная порядков Утопии, встали или слишком рано, или слишком поздно, — будучи совершенно свободен, занимает нас. Его манеры добры и безобидны, но он не может скрыть того любопытства, которое им овладевает. Его взгляд встречается с нашим

с немым вопрошанием, а затем, приступая к еде, мы ловим его на тщательном изучении наших манжет, нашей одежды, наших сапог, наших лиц, наших манер за столом. Сначала он ничего не спрашивает, лишь говорит пару слов о нашем ночном комфорте и дневной погоде — фразы, которые кажутся привычными, общими. Затем наступает вопросительное молчание.

— Отменный кофе, — говорю я, чтобы нарушить паузу.

— Да и булочки — первый сорт, — добавляет мой друг-ботаник.

Хозяин явно доволен. В это время в комнату входит маленькая кудрявая девочка. Черные глазки ее пристально разглядывают нас. Разговор прерывается, и мы смотрим на девочку, которая застенчиво улыбается. Неловкий поклон ботаника окончательно смущает ее, и она прижимается к отцу. После этого она вдруг становится смелее.

— Вы издалека приехали? — решился он наконец спросить нас, гладя дочку по голове.

— Всё так, — ответил я, — из таких дальних краев, что здесь для нас все чудно́.

— Это из-за гор?

— Да нет, не только из-за них.

— Вы, наверное, из долинных жителей? Из Ти-

хино?

— Нет, что вы!

— Значит, озерный край Фурка — ваш дом?

— Увы, не он.

Хозяин озадаченно смотрит на нас.

— Так откуда же вы?

— Мы, — говорю я, — явились к вам из другого мира.

Он пытается понять смысл моих слов. Вдруг, отослав девочку под каким-то предлогом, он хлопает себя по лбу и говорит:

— Ага, из другого мира… вот как… это значит… вы хотите сказать?..

— Из другого мира — того, что далеко от вас, в глубинах космоса.

По выражению его лица понятно, что Утопия-модерн, вероятно, придерживает своих более интеллигентных граждан для работы получше, чем содержание гостиницы. Ему явно недоступна идея, которую мы пытаемся ему предложить. Он мгновение смотрит на нас, затем произносит:

— Распишитесь, пожалуйста, в учетной книге.

Он кладет перед нами гроссбух, чуть напоминающий своих функциональных собратьев на Земле, раскрывает его, подает перо, чернила и маленькую подушечку, на которую только что

намазана свежая краска.

— Отпечаток пальца, — произносит быстро по-английски мой ученый друг.

— Вы покажете мне, как это делается, — так же спешно отвечаю я.

Он расписывается первым, я же смотрю ему через плечо. Он оказывается гораздо более подготовленным, чем я это ожидал. Книга разделена на три широких графы: для имени, для номера и для оттиска большого пальца. Ботаник, недолго думая, провел пальцем по подушечке и приложил к книге с таким видом, как будто он всегда это делал, тем временем внимательно приглядываясь к другим графам. Все номера записанных в ней постояльцев — довольно-таки мудреные комбинации букв и знаков. Тем не менее ботаник все с тем же самоуверенным видом спокойно записывает: *AMa1607.2.*αβ⊕. Меня охватывает мимолетное восхищение; с такой же уверенностью я отмечаюсь похожим вздором. Ай да мы, ай да гости из другого мира!

Хозяин дает нам губку — оттереть чернила с рук, — одним глазом не без интереса косясь на наши подписи. Сдается мне, с нашей стороны самое разумное сейчас — расплатиться и уйти, покуда он не засыпал нас неудобными вопро-

сами.

Мы выходим в коридор и любуемся ярким весенним солнцем Утопии. В открытую дверь я вижу, как хозяин внимательно разглядывает книгу.

— Скорее, скорее, — тороплю я ботаника. Самая неприятная на свете вещь — объяснения, а я предвижу, что нам не избежать их, ежели не поспешим удалиться отсюда. И мы удаляемся — обернувшись, я вижу, что наш хозяин стоит на пороге скромной гостиницы. Рядом с ним — дама в изящном, но простом платье, и они с некоторым сомнением на лицах провожают нас взглядами. Ботаник тоже оборачивается.

— Идем же, идем! — подгоняю его я.

§ 8

Дорога ведет нас к ущелью Шёлленен, и наши чувства, свежие, как ясное утро, внимали тысяче явлений, кратно усиливающих впечатление от этого донельзя цивилизованного мира. Так как в Утопии-модерн не существует национального вопроса, так что уродливые казармы, укрепления и прочая военная скверна земной долины Урсерен здесь отсутствуют. Тут можно

полюбоваться россыпью уютных маленьких домов, ютящихся на горных склонах. В «сердце» каждой небольшой гряды, как я безошибочно определяю, расположены общая столовая и кухни. Деревья растут здесь в разнообразии большем, чем на Земле. Со всего мира, очевидно, были собраны их вечнозеленые породы. Несмотря на возвышенность долины, дорога таким образом облагорожена высадками, что получается замечательная аллея. Трамвайные пути как раз сходят к намеченной нами местности — и мы задумываемся, не попытать ли нам счастья с местным общественным транспортом. Но вспомнив, каким любопытным взглядом проводил нас хозяин гостиницы, мы конечно, раздумаем и откажемся от удовольствия проехаться — удовольствия, которое может навлечь на нас обязанность объясняться. Поэтому мы пойдем пешком по большой дороге и невольно заметим разницу между инженерным искусством в Утопии и на Земле. Трамвай, железная дорога, мосты и туннели — все здесь сделано очень красиво.

В сущности, в машинах, железных дорогах и мостах нет ничего такого, что преследовало бы красоту; уродливость — это несовершенство. Все

уродливое, что сделано руками человека, обязано этим ничтожностью вкуса у людей и непониманию истинного назначения вещей.

Не приходится сомневаться, что все то, что глубоко обдумывается, на что обращают внимание, что разрабатывается и прорабатывается, над чем трудятся люди, движимые ясным желанием усовершенствований — совершенствуется на деле. При современных условиях, в которых функционирует человечество, трудно ожидать от него создания прекрасного, так как атмосфера беспокойства и нестабильности пестует в нас излишнюю торопливость. Это, само собой, та еще печаль. Искусство спешку не терпит, оно зависит от атмосферы, и когда эта еле уловимая особая атмосфера благотворна — оно везде даст свои всходы. В обратном случае его ждет максимум спорадический успех, сопровождаемый быстрым угасанием.

Если мы сломаем и уничтожим все машины, фабрики и заводы на свете, то ничего не достигнем ручными ремеслами, на которые себя обречем, потому что будем по-прежнему торопиться и погрязнем в неряшливости. Это наводит на грустное размышление о состоянии нашего духовного и умственного развития. Сло-

мать — сломаешь, да вряд ли починишь. Но в Утопии-модерн человек, который начнет прокладывать дорогу для трамвая, будет не только ремесленником — он будет и художником. Точно так же, как писатель и живописец, он начнет отделывать свое творение и стремиться придать ему художественную тонкость. Сделанные по его рисункам балки и рельсы будут так же пропорциональны и совершенны, как и все части растительного и животного царства, созданные Природой — первым инженером в мире. Все, кто работает без помощи инструментов, одними руками, считаются в нашем мире артистами, но зато всех, прибегающих к машинной работе, *всех* поголовно мы считаем ремесленниками, и это ясно доказывает, что мы находимся в настоящее время в одной из стадий человеческой глупости.

Мы идем и любуемся электрическим трамваем, представляющим совершенство красоты и удобства. Это так оригинально, так неожиданно для нас, что мы долго не замечаем, как прекрасны и замечательно продуманы все мельчайшие подробности этой машины. Так, мало-помалу, мы проникаемся здешней Идеей — и, конечно, приходим в восторг. Как удачно эти вагоны под-

ходят к местности, полгода занесенной снегом. Какое уместное изобретение для очистки снега, для остановки вагонов, какие вместительные изящные сиденья. Мы не можем удержаться от одобрительного перешептывания. Вероятно, впоследствии мы встретимся еще со студентами, изучающими в художественных классах металлургию и электротехнику, серьезно обдумывающими рисунок сигнального аппарата, удобство и устойчивость железного моста… Вероятно, так же, как и на Земле, они будут горячо спорить и критиковать друг друга. Впрочем, что же собственно критикуют более всего на Земле? Главным образом, я думаю, что покрой и фасоны платья, особенное внимание уделяя галстуку!

Умолкаю, иначе, того и гляди, невольно ударюсь в весьма непатриотичные сравнения Всемирной Утопии-модерн с нашей родной планетой.

Глава четвертая
Зов природы
§ 1

В настоящую минуту мы различаем очертания совершенно такого же, как и на Земле, Чертова моста, все еще служащего пешеходам и замыкающего собой ущелье. По старой памяти мы сворачиваем с дороги и спускаемся по остаткам прежней крутой тропинки для мулов. Это впервые заставило нас подумать о том, что и Утопия должна иметь свою историю. Миновав ущелье, мы видим Ройсс — и убеждаемся, что, несмотря на то, что река освещает, отапливает и поддерживает вентиляцию в нескольких тысячах домов, построенных в долине, что ее энергией пользуются многочисленные трамваи, проносящиеся ежеминутно над нашими головами по выступу, это все та же красавица-река, падающая чудным хрустальным каскадом с огромных высот. Мы добираемся до скалистой тропинки, совершенно дикой, и, спускаясь, разговариваем о том, как хорошо и удобно можно было бы жить в благоустроенном мире; но в душе мы

несколько смущены воспоминанием об отпечатках больших пальцев, оставленных в книге для приезжих.

— Помните долину Церматта? — спрашивает меня мой спутник. — Помните, на Земле она затянута скверно пахнущим смогом?

— Люди делают это аргументом в пользу того, чтобы препятствовать изменениям, вместо того, чтобы помогать им двигаться вперед! — негодующе заметил я.

В эту минуту в нашу беседу встрял один довольно-таки бесцеремонный тип. Подойдя к нам, он что-то затараторил — резким, но не лишенным определенной соразмерности тенором.

Этот человек, по-видимому, любил поговорить и быструю речь дополнял выразительной жестикуляцией. Ему мы сразу (довольно, впрочем, безрезультатно) попытались объяснить, кто мы такие, но поток его речей не иссякал. Лицо у него было красноватое, скуластое, светлые волосы беспорядочно сбились на лоб. Одет он был в кожаную пару, а поверх этого на плечи был наброшен широкий шерстяной плащ полинялого малинового цвета. Крупные, красивой формы стопы его были обуты в кожаные сандалии на босу ногу и от холодного утреннего воздуха сильно

покраснели. Он, к слову, был единственным из виденных нами утопистов, кто не жаловал закрытую обувь.

Этот человек еще издали помахал нам палкой, на которую опирался, и затем мы пошли все вместе.

— Путешественники, я полагаю? Как и я, недолюбливаете трамваи? — спросил он у нас. — И с чего это, право, люди соглашаются запихивать себя в ящик, точно вещмешок? Я вот не понимаю, зачем в таком случае Бог дал нам ноги и глаза. — Он указал на рельсы, огибающие ущелье. Поезда с головокружительной быстротой неслись над нами, скрывались на секунду в аркаде, вылетали оттуда, одолевали высокий кряж и исчезали вдали. — Нет, не понимаю, — повторил он, проводив поезд глазами.

Казалось, само Провидение послало его к нам, так как до его появления мы обсуждали, как нам прояснить свое исключительное положение в Утопии до тех пор, пока еще не все наши деньги истрачены. Переглянувшись с ботаником, я понял, что на мою долю выпадает жребий начать на эту тему разговор. Я постарался сделать все, что в моих силах, но наш спутник скоро прервал мои первые довольно сбивчивые объяснения. Он,

оказывается, все понимал и так.

— Из другого мира, значит, из далеких глубин космоса, — проговорил он. — Невероятно, как вы мне нравитесь. Такая риторика в моем вкусе, я бы и сам такое про себя сказал. И вы находите этот мир странным, так? Ну точно мой случай! Мы духовные братья! Так будем же сочувствовать друг другу. Я изумлен, решительно изумлен всем, что вижу в этом странном мире, с первого и до нынешнего мгновения, и таким вот, изумленным, мне, похоже, предстоит и умереть. Говорите, вас просто выбросило из воздуха на вершину горы? Ха, вам, я смотрю, еще повезло. Я появился при куда более катастрофических обстоятельствах — народился в семейке, где у кого ни возьми — сплошь скверный характер!

— Но тогда, получается… — хотел было поспорить я.

— Получается, что необыкновенный такт и совершенно нечеловеческое терпение — вот что задержало меня здесь!

Мы воздерживаемся на какое-то время от попытки объяснить нашу замечательную сущность, а в остальное время этот колоритный и исключительный утопист берет разговор полностью под свой контроль…

§ 2

Он оказался довольно приятным человеком, пусть и склонным к самолюбованию. Нам едва удавалось ввернуть слово в его цветистую речь — а говорил он о многих вещах, производя необычайно странное впечатление именно здесь, в этом мире разума и порядка. Касаясь в разговоре иных проблем, он отзывался о них так, что казался прямо-таки неразвитым. Увидав электрический трамвай, пересекавший долину, он не сдержал язвительной усмешки. Домам и шале в долине тоже перепало.

— В них нет ничего изящного, — говорил он. — Они только портят вид своими вычурными крышами и шпилями.

— Но взгляните, — протестовал я, — как они оживляют пейзаж. Они очень милы и, по-моему, удачно распланированы.

— А что мы знаем о тех красотах, которые заменили эти коробки? Как не стыдно нам, людям, уродовать лик матери-Земли. Эти разноцветные пятна похожи на сыпь от бактериоза — и болезнетворным началом как раз-таки и являемся мы!

— Так можно отозваться о любых проявлениях

жизни, — скептически заметил ботаник.

— Вовсе нет. Жизнь — *естественную* жизнь, которую ведут растения и кроткие создания, населяющие леса и горы, — нельзя так назвать. Они — часть природы, они — румянец изящных ланит. А эти дома, трамвайные пути, все остальные непотребства — они же омерзительны. Я попросту *презираю* эти выдумки — все бы отдал, лишь бы их не было. Признаю лишь свободное и естественное существование!

— Но у вас-то, у самого — есть дом? — поинтересовался я.

Он тактично проигнорировал мой вопрос, продолжая восхвалять красоты девственной нетронутой природы. Гордым жестом он ежеминутно откидывал назад свои длинные светлые волосы тевтонского поэта — и, будучи всецело поглощен собственной особой, все внимание сосредоточивал на себе, и до конца нашей прогулки он держался особняком, нанизывая на самое себя все темы разговора, какие только есть под солнцем, тем иллюстрируя великолепие своей скромной персоны и сетуя попутно на глупость, неестественность и отсутствие логики у сограждан. У него были твердые взгляды на крайнюю простоту всего, что люди в своей бестолковости

смешали. Он заработал значительное, как мы поняли, состояние, изготавливая пластинки для музыкальных автоматов — или каких-то местных музыкальных инструментов по типу механического пианино, — и все имеющееся свободное время тратил на проповедование в городах и весях необходимости «возвращения к природным истокам, простым решениям и простой еде». Занимался он этим исключительно искренне, по чистейшему зову сердца, и в нас видел таких же непризнанных гениев доброты. Мне же показалось, что этот тип одержим настоящей манией читать лекции — встретив нас, он не пожелал упустить удобный случай. Он сообщил нам, что читал лекции по озвученным вопросам в Италии, а теперь идет через Альпы в Саксонию.

— Никогда не упускаю случая кого-нибудь просветить, — рассказывал он, донельзя собой довольный. — Обратите внимание на мой костюм, к слову. Он — идеал естественной одежды, сшит на простую нить из самых простых материалов. Специальный заказ, обошелся в немалую сумму… Мир настолько испорчен, что утратил последнюю естественность, и теперь за нее надо платить! — Сказав это, он погладил себя

по волосам. — Если даже и сыщешь что-нибудь естественное, приходится отмывать это от современных условностей — как золото от песка!

— А я-то думал, что всякая одежда является отступлением от естественного состояния, — заметил я.

— Ничуть! — воскликнул он. — Ничуть! Вы забываете природное тщеславие человека. — С его стороны праведный гнев вызывали наши «копыта» (так он называл сапоги) и «оболванки» (шляпы). — Не забывайте, что человек — истинный царь зверей. Ему положена необузданная грива! — При этом он энергично потряс головой.

Впоследствии, когда мы завтракали, он в ожидании заказанных им «естественных» яств еще более разговорился.

— Животное царство и растительное, — говорил он, — так резко разграничены, что, право, я не понимаю, как можно смешивать их. Это, по-моему, большой грех. Я совершенно ясно разграничиваю их в применении к моей собственной персоне. Никаких животных веществ внутрь я не принимаю и не употребляю никаких растительных веществ извне — видите, как я просто и логично разрешаю этот вопрос. Одежда моя состоит из кожи и шерсти, и я ничего

не ем, кроме хлеба, плодов, орехов, трав и тому подобного. Самодисциплина такого рода — это обязанность современного человека, ибо в этот мир он прибыл лишь свидетелем и покорным послушником Простоты в природе. Все эти люди, — рукой он сделал широкий жест, как бы показывая, что мы не включены в число «этих» людей, — с головы до пят окутаны иллюзиями и живут заблуждениями. Как мне их жаль!

Съев очень много винограда, он закурил папиросу. После этого он выпил большой рог свежего виноградного сока, не успевшего еще перебродить. Кажется, напиток этот пришелся ему по вкусу.

Мы сидели втроем у стола в маленькой уютной гостинице на холме. С холма открывался хороший вид на долину. Собеседник наш продолжал говорить без умолку, но временами, когда он брал краткосрочную паузу, мы тщились воспользоваться ею, чтобы разрешить наши сомнения. Однако рассудительность его не сослужила нам доброй службы, потому что речь его отличалась чрезвычайной неясностью. Впоследствии мы поняли, что из его речей узнали многое, но тогда нам казалось, что он не разъяснил ровным счетом ничего!

Он намечал вещи набросками кисти и широкими пятнами, вместо того чтобы твердо и ясно указывать их очертания. Он не останавливался, размышляя о том, как мало мы знали. Иногда его так заносило, что сам он терял мысль из виду, и тогда — останавливался, складывал губы, как бы для того, чтобы свистнуть, и, ожидая мысль словно птицу, откликающуюся на призыв, горстями поглощал виноград. Он говорил об отношениях между полами, о любви, к коей относился с большим презрением, как к страсти (хотя и сложной, но не оригинальной), и впоследствии мы убедились, что через него изведали очень многое о браках в Утопии.

— Простота, естественная свобода — вот что нам нужно. — Он помахал у нас перед носом виноградной кистью. — Видите, как все эти ягоды припали к общей ветви? — Мы поняли, что Утопия-модерн этакую степень свобод еще не постигла.

Он говорил также об урегулировании союзов, о том, что людям не позволяется иметь детей, о разных сложных правилах и вмешательстве закона в семейную жизнь.

— Человек перестал быть естественным продуктом, — подвел он неутешительную черту.

На этом чрезвычайно интересном месте мы пытались задержать собеседника своими вопросами, но он мчался вперед, как горный поток, и умчал из вида затронутый вопрос. Он считал, что мир чрезмерно управляем, и в этом корень всех зол. Он говорил о сверхуправлении миром и, между прочим, о законах, которые не пускают бедного простого идиота, «натурала», на свободу. Так мы впервые увидели, что Утопия делала с людьми малой силы и малого ума.

— Мы создаем все эти различия между людьми: одного мы возносим, помогаем ему, другого низлагаем и отделяем от мира. У нас — рождение искусственное, жизнь искусственная, даже смерть — и та искусственная.

— Вы говорите «мы». Значит, *вы* в этом не участвуете? — уточнил я.

— Конечно, нет. Я не принадлежу к вашим «Самураям», к вашим самозваным патрициям, которые весь мир прибрали к рукам. Я мог бы влиться в их ряды, но — совершенно не хочу!

— Самураи? — воскликнул я. — Самозваные патриции?

В эту минуту я не мог собрать своих мыслей. Он же отклонился от предмета и напал на науку, что вызвало возражение со стороны ботаника.

Не обращая внимания на это возражение, он продолжал свои нападки на специалистов вообще и на докторов и инженеров в частности.

— Самозваные патриции, — повторил он. — Самозваные боги — вот кем они себя, похоже, считают. — Далее спор о значении врачебной науки с ботаником возобновился — и в нем ни одна сторона не желала уступать другой. Что до меня, то я тщетно пытался понять, кто же за этими «самозваными патрициями» скрывается.

— В основе своей человеческая конституция чрезвычайно проста — и требует соблюдать лишь одно, да и то очень простое условие, — говорил наш светловолосый спутник. — Нужно во всем полагаться на Природу — только и всего. Конечно, если вы смешиваете совершенно различные вещества из двух различных миров — животного и растительного, и воображаете, что можете их легко переварить, что же тогда можно ожидать от желудка? Болезнь. В природе болезней совсем не существует. А вы прячетесь от природы в дома! Вы одеваетесь в одежды, которые или нежат, или стесняют вас. Вы моетесь всякими химическими препаратами вроде мыла, а главное — слушаете докторов. — Мужчина презрительно усмехнулся. — Да вы видели

какого-нибудь серьезно больного без врача или лекарства в довеске? Да никогда! Вы говорите, множество людей погибло бы от отсутствия домов или без докторской помощи? Несомненно, но это была бы *естественная* смерть. Что естественная смерть лучше искусственной жизни, с этим всякий согласится. А? Вот в чем, заявлю без обиняков, кроется истинная крепость моих убеждений.

Эти убеждения, скорее, чем кто-либо мог ожидать, привели его к пылкой тираде против закона, запрещающего «спать на лоне природы». Что касается его самого, то никто так часто, как он, не нарушал этого закона. Как только он находил укромный уголок, он устраивался и спал — всегда сидя, опустив голову на кисти рук, а руки уперев в колени, ибо таково самое естественное положение человека для сна. Он утверждал, что было бы очень хорошо, если бы все люди спали не в домах, а снаружи, сидя на земле, и что все дома должны быть разрушены.

Вы поймете, может быть, то сдержанное раздражение, какое я испытывал, сидя и слушая, как ботаник запутывается в софистических сетях этой дикой чепухи. Да уж, произвели на меня тут впечатление! Когда попадаешь в утопию, в каждом

встречном ждешь этакого Цицерона, человека, столь же точного, настойчивого и поучительного, сколь американский рекламщик — один из тех земельных маклеров, которые улыбаются с визиток и начинают любую речь со слов «Если вы хотите купить недвижимость…».

Вполне ожидаемо, что все утописты будут абсолютно убеждены в совершенстве своей утопии и неспособны воспринять намек против ее порядка.

И вот — пожалуйста: перед нами — *этот вот* поставщик нелепостей!

Однако, при здравом размышлении — разве не таков необходимый контраст между всеми прежними утопиями и Утопией-модерн? Уже не тот единодушный рай на земле, но вполне обычный мир, полный самых разных противоречий. Да, пожалуй, наш блондин-паганист как нельзя кстати подвернулся нам.

§ 3

Я перестал прислушиваться к спору ботаника с паганистом. Ботаник, как и подобает ученому, усиленно защищал ученые профессии. Он думает и спорит, точно рисует по клеткам! Мне пока-

залось замечательным, что человек, который не смог заставить себя позабыть о себе и о своих огорчениях в первые минуты нашего переселения на другую планету, который не постеснялся испортить мне первый вечер в Утопии эгоистичным любовным сплином, вдруг так преобразился и так объективно, с таким жаром спорит в пользу научного подхода. Он был натурально поглощен этим делом! Не знаю, как себе объяснить такие переходы в человеке со здравым рассудком — но против очевидного не попрешь.

— Вы говорите, — ботаник поднял указательный палец и с торжествующим видом загнул его, — что предпочитаете естественную смерть искусственной жизни. Но скажите, пожалуйста, что такое определяете вы словом «искусственная»?

Такое — и после славного завтрака. Я отбросил окурок папиросы за зеленую сетчатую оградку беседки, уселся поудобнее в кресло, вытянул ноги и принялся размышлять о домах и полях, которые виднелись передо мной в долине. Наблюдаемая пастораль неким образом резонировала с речью нашего говорливого собеседника и с направлением моих собственных мыслей. Дорога с трамваем и тенистыми аллеями по обе-

им сторонам делала крутой поворот, спускаясь и переходя на ту сторону долины. Ниже она еще раз пересекала долину по мосту очень красивой постройки и скрывалась в идущем к Бристенстоку туннеле, прорезанном в горе. Наша гостиница выделялась на высоте над дорогой, около которой группами гнездились дома, расположенные также по боковому пути, спускавшемуся почти вертикально вниз, к долине Ройсса. Несколько утопистов занимались берегом реки: засаживали изобилующую цветами горную траву на старательно выровненных и орошаемых полянах. Работали они с помощью легких автоматов с быстро бегающими ножками. Много детей и женщин виднелось около ближайших домов. Я понял, что центральное здание на большой дороге должно быть школой, откуда шли дети, и обратил внимание на здоровый вид и чистоту этих юных граждан Утопии, проходивших внизу под нами.

Главной чертой всей этой сцены было впечатление здравого порядка, плавно решаемых задач, прогрессирующей идеи, стойко направляемой к цели. И это впечатление особенно меня поразило своей несовместимостью с эффектом, производимым нашим диким собеседником.

Представьте, с одной стороны, положение вещей, управляемое могучей организованной волей и претворяемое руками многих скооперированных граждан, общими силами утверждающих и поддерживающих прогресс, а с другой — нашего паганиста с его раздутым самомнением и почти жеманной нарочитостью, легкомысленного и язвительного, очевидно неспособного к какой бы то ни было кооперации.

Не наткнулся ли я на совершенно безнадежную несовместимость? Было ли это *reductio ad absurdum*[21] моего видения, должно ли оно, пока я сидел, меркнуть, растворяться и исчезать у меня на глазах?

Отрицать существование нашего белокурого собеседника невозможно. Если эта Утопия действительно должна воспроизводить наш мир зеркально, от территорий до индивидуумов, то людей такого сомнительного сорта здесь, вестимо, немало.

Увы, не все одарены способностью и желанием использовать жизнь во всей ее целости. Служение истине — это привилегия избранных, а красноречивые глупцы, загромождающие

---

[21] Notes: 21
Сведение к абсурду *(лат.)*

все выходы мышления, не останавливающиеся ни пред какой бы то ни было несообразностью, вечно возражающие, вечно все путающие, перед всеми мелькающие, найдут себе еще более обширную сферу действий при свободе в Утопии.

Они продолжали все спорить, ботаник и наш белокурый собеседник, пока я мысленно разрешал эту задачу. И их спор представлялся мне поединком между воробьем и черепахой — оба держались упорно своего пути, не обращая внимания на выпады противника. Дискуссия со стороны казалась очень оживленной, как бы не дошло до рукоприкладства!

— Вы не понимаете моей точки зрения, — постоянно повторял белокурый, теребя свои длинные волосы, и без того всклокоченные во время жаркого спора, — и нарочно уходите от моей доказательной базы.

— А вы, — вторил ему ботаник, — попросту отказываетесь видеть дальше своих потешных заблуждений о соразмерности сил в природе!

— М-да, — протянул я, закурил другую папиросу и вновь углубился в свои мысли.

Доказательная база, ну только подумайте. Так рассуждают все интеллигентные глупцы во всем мире: изобретают доказательства и бле-

стящие силлогизмы, поражая своим веселым остроумием, выставляя себя необоримыми. У них своя база… Мы «занимаем свои позиции», глупенькие спорщики, мы не видим друг в друге правды, не хотим терпеливо констатировать и переформулировать, честно приспосабливаться и планировать, так и остаемся — каждый при своей нелепице. В каждом из нас есть что-то от Гладстона[22], и мы до точки невозврата склонны отрицать, что переобулись в воздухе.

Не беда, когда приходится иметь дело с такими субъектами, как наш белокурый паганист — на таких людей не стоило бы и внимание обращать. Значительно хуже, если из того же теста оказываются сделанными люди, именуемые лидерами мнений, люди, управляющие массами, сильные и высоко забравшиеся.

Когда видишь, какими несправедливыми они могут быть, как упорно они не поддаются убеждениям, какими узкомыслящими они оказываются именно в тех случаях, где необходим широкий

---

[22] Notes: 22

По-видимому, подразумевается Уильям Юарт Гладстон. Гладстон (1809–1898) — видный политический деятель Англии во второй половине XIX века, вождь либералов. В молодости был тори и протекционистом, но потом начал «леветь» и уже в 1847 г. сделался умеренным тори, примыкая к так называемым «пилитам» (сторонникам левого тори Роберта Пиля).

взгляд на вещи, как мало у них доброты — тогда зарождаются и растут сомнения, как туман, заволакивающий эту долину в Утопии, скрывающий ее от взгляда, превращающий ее обитателей в призраков, а ее порядок и счастье — в большой вопросительный знак…

Если когда-либо вообще народится какая-нибудь Утопия, то у всех ее обитателей должна быть общая, ясно осознанная цель и упорная, стойкая воля — чтобы свести к минимуму ущерб от всех несгибаемых эгоистов. Необходимо что-нибудь настолько широкое и глубокое, чтобы потопить *весь* мировой эгоизм. Утопию нельзя создать за один день, единым порывом. Моя Утопия не могла родиться случайно из анархии. Ее должны были строить силы, связанные одной целью. Говорить же о разумном управлении, о хорошо откалиброванной экономической системе, о достойном социальном устройстве, о справедливых законах, не говоря о том, каким образом всего этого достигли люди и как это поддерживается в борьбе с изменчивостью мысли, незрелыми фантазиями, страстями и самомнением — значило бы строить дворец без окон, без дверей. Я об этом не подумал, приступая к своей задаче.

Где-то в этом мире должны быть достойные

люди, полные противоположности нашему собеседнику — самоотверженные, смелые, благородные и настойчивые в достижении цели. Должна существовать и литература, выражающая их идеи, чьим материальным воплощением и является Утопия-модерн. Должна существовать и некая организация, которая сплачивает тех людей. Кто же они? Обособлены ли они в особую касту, принадлежат ли к особой расе или организации вроде церкви? Но тут вспомнились слова нашего собеседника, заявившего, что он не принадлежит к «самозваным патрициям».

Сначала меня это выражение поразило своей странностью, но затем я стал соображать, что в нем-то именно и заключается выход из затруднения.

Желчность, с которой эти слова были произнесены, давала основание предположить, что они относились к лицам, перпендикулярным блондину-паганисту. Очевидно, не схожие с ним и должны составлять тот класс, который здесь более всего нужен.

§ 4

Наблюдения мои были прерваны самым неожиданным манером: паганист подошел ко мне и похлопал по плечу. Оглянувшись, я увидел, что ботаника рядом не было. Вероятно, он отправился в гостиницу.

Несколько минут белокурый господин молчал, разглядывая меня.

— Эй, — выдал он наконец. — Вы меня что, не слушали?

— Нет, — откровенно признался я.

Он уставился на меня в изумлении. Вспомнить, с чем он ко мне обращался, потребовало от него некоторых усилий — после такого-то откровения.

— Ваш друг сейчас рассказал мне, несмотря на то что я ежеминутно прерывал его рассказ, самую невероятную историю, — начал он.

— Он что, *и с вами* говорил про ту женщину? — У меня невольно вырвался вздох.

— О мужчине и женщине, которые не приемлют друг друга, но не могут разойтись.

— Вот оно что. Ясно…

— Но ведь это же глупо.

— Конечно.

— Почему они не могут разойтись? Что связывает их? Это нелепо, это смешно. Я…

— Вы правы.

— Он непременно хотел поделиться этим со мной.

— Об этом он талдычит всегда и всем.

Тут белокурый человек перебил меня.

— Что он?.. — он несколько поколебался. — Он не сумасшедший?

— Такими сумасшедшими полон весь мир, — заметил я после некоторой паузы.

Удивление, проступившее на лице блондина, усилилось стократ.

— Голова моя садовая! — воскликнул он, проводя пятерней по роскошной шевелюре. — И что, значит, правда, что вы появились здесь внезапно, на склоне горы?.. Я думал, вы шутите…

Я повернулся к нему во внезапном приступе серьезности. По крайней мере, я хотел, чтобы мои манеры были серьезными, но ему они вполне могли показаться дикими.

— Вы большой оригинал, не такой, как все, — сказал я. — Не тревожьтесь понапрасну и постарайтесь понять. Мы и не думали шутить.

— Но… как же?

— Ну да, мы явились из мира, стоящего ниже вашего. Наш мир похож на ваш, разве что похуже будет.

— Да быть такого не может.

— Увы, практика утверждает обратное. Наш мир, например, лишен всякого понятия об единстве.

— Более разрозненного мира, чем этот, я не могу себе представить.

— Мир без всякого порядка, благоустройства…

— Что может быть хуже того, что есть здесь? Да ничего.

— Вы так думаете? Нет предела несовершенству. У нас, знаете ли… хотите узнать?

Он кивнул, но без особого энтузиазма — и без былого расположения.

— В нашем мире люди умирают с голоду; они мрут тысячами от болезней и нужды, мрут бесполезно и мучительно. Мужчины и женщины прикованы друг к другу, и их совместная жизнь превращается в ад. Дети рождаются на свет в муках и растут среди жестоких и глупых воспитателей. Резня, называемая у нас на Земле войной — отдельная песня. Право, мне иногда кажется, что всеми нами управляет какое-то беспредельное дикое безумие. Вам, жителю этого

благоустроенного мира, такое не понять.

— Но… — Очевидно, мой собеседник собирался произнести длинную речь о недостатках Утопии, но я перебил его.

— Когда при мне вы браните этот чудный, полный надежд мир, когда я вижу, что вы задерживаете его развитие и нарушаете его законы, слышу, как вы насмехаетесь над наукой и порядком, над людьми, работающими над распространением науки — того, в чем заключается спасение, то спасение, о котором столетиями уже слезно молит наша бедная Земля…

— Вы, думаю, хотите одурачить меня, говоря, что явились из другого мира, где царят другие, худшие порядки, — заявил он.

— Уверяю вас…

— И вы собираетесь рассказывать мне о них, вместо того чтобы выслушать меня?

— Именно.

— Глупости! — воскликнул он. — Вам не удастся этого сделать. Могу вас заверить, безумие в этом мире дошло до крайних пределов. Вы вместе со своим приятелем, который мне только что рассказывал о своей любви к даме, неизвестно зачем связанной какими-то тайными узами с господином, которого она не терпит, — просто-напросто

выдумщики. Разве возможно, чтобы были на свете люди, которые могли бы устраивать такие глупости? Это, уж извините, слишком смешно. И с чего это он начал рассказывать мне все эти нелепости? Мы говорили, то есть *я говорил*, вначале о бесполезности закона о браке, о свободной и естественной жизни, и вдруг его… этого вашего странного приятеля точно прорвало… — Он остановился, чтобы перевести дух. — Нет, нет, никогда не поверю… Это невозможно. Это какая-то гадкая выдумка, разве жизнь может быть похожа на детскую страшилку?.. — Блондин развел руками, окинул меня недоверчивым взглядом и, заметив выходящего из гостиницы ботаника, быстро отошел в сторону, видимо, избегая его.

Я слышал, как он повторил несколько раз подряд:

— Нет, это невозможно… Это невозможно…

По-видимому, он был очень недоволен и рассержен нами. Я видел, как он, выходя из сада, встретился с хозяином, отошел с ним чуть подальше и начал разговаривать, все время подозрительно косясь на нас. Хозяин тоже все время косился в нашу сторону и недовольно покачивал головой. Наконец белокурый незнакомец распростился с ним и вскоре исчез вдали, не махнув

нам даже издали в знак прощания своей палкой.

Больше мы с ним, к счастью, не виделись.

Подождав несколько минут и убедившись, что он не возвращается, я стал выяснять у ботаника наше положение.

— Думаю, что нам будет трудно объяснять, кто мы такие, — сказал я в заключение. — Мы находимся здесь потому, что перенеслись в этот мир силой воображения, а это как раз одна из тех метафизических операций, которую очень нелегко признать вероятной. Многие совсем не поверят в возможность такого перехода. Я заключаю, что наши манеры и платье в сравнении с манерами и платьем здешних жителей кажутся весьма непривлекательными. И еще у нас нет ничего, чем мы бы могли объяснить свое присутствие здесь — даже летательного аппарата. Мы не можем также сослаться на странствующую звезду и вообще ни на что, на что принято ссылаться в подобных случаях. У нас нет с собой денег, так как та небольшая сумма золотых монет, которая у нас с вами имеется в настоящую минуту, по нравственным и гражданским законам Утопии должна принадлежать кому-нибудь из местных уроженцев. Я уверен, что нам предстоят осложнения с местными властями из-за

этого проклятого номера в гостинице.

— Но почему же вы так думаете? — попробовал возразить мне ботаник.

— Рано или поздно — полагаю, в самом скором времени, — жители Утопии поступят с нами точно так же, как поступают со своими бродягами, — поделился опасением я.

— Если мы до этих пор не найдем себе никакой работы?

— Именно, если не будем совсем ничем заняты.

— Что ж, тогда — надо искать работу, — объявил ботаник.

— Да, работу, — подтвердил я.

Ботаник подпер голову обеими руками и принялся разглядывать даль с возрастающим удивлением.

— Что за удивительный мир, — заметил он. — Странный и новый. Я только теперь начинаю отдавать себе отчет в этой поразительной перемене. Горы те же, да и старик Бристенсток — на месте, но дома и эта дорога, и одежда, и, посмотрите, там, на лугу, какая удивительная машина убирает траву. Вот только… — Он смолк, подыскивая правильное выражение. — …Только кто знает, что мы увидим за поворотом? Кто

знает, что может случиться с нами вообще? Мы даже не уяснили пока, кто в этом мире — власть имущие… даже этого — и то не знаем.

— Да, мой дорогой друг, — констатировал я, — мы в полнейшем неведении.

Глава пятая
Провалы в Утопии
§ 1

Старые утопии — за исключением тех, что придерживались «схем размножения» Платона и Кампанеллы, — игнорировали репродуктивную конкуренцию между индивидами, которая и составляет суть жизни, освещая ее лишь от случая к случаю. Бесконечное разнообразие людей, их бескрайняя градация качеств, над которыми играет рука отбора и которым мы обязаны неуправляемой сложностью реальной жизни, молчаливо отодвигаются в сторону. Реальный мир — это огромное полотно хаоса, сотканное из случайностей и неисчислимых сил, в котором люди либо тянут, либо обрывают свою нить. Утопия-модерн, в отличие от предшественниц, не смеет претендовать на изменение этого условия. Можно упорядочить и очеловечить сам конфликтный процесс, но людям все равно остается только выживать или гибнуть.

Большей частью все утопии являются воплощением идеального счастья. Авторы утопий

полагают, по-видимому, что счастливая страна не должна иметь истории, что все граждане ее, которых показывает нам автор, красивы и честны, что все они без исключения представляют собой совершенство в умственном и нравственном смысле. Но преподнося нам такие Утопии, авторы забывают, что простая логика заставит нас задать следующий вопрос: что же делать в Утопии с калеками от рождения, с идиотами и сумасшедшими, с пьяницами и порочными людьми, с жестокими безумцами, которые не могут быть полезны для общества? Что там делают с людьми, которые лишены всякой энергии, которые стоят так же низко, как стоят на земле люди праздные, шатающиеся без работы и куска хлеба или просящие подаяние, дрожа от холода, в рваном платье с чужого плеча?

Такие люди в Утопии должны представлять из себя вымирающее поколение — от этой истины никуда не деться. Им на смену должны прийти люди исключительного качества. Лучшие мужчины (насколько таковых вообще можно выделить) должны иметь самую полную свободу государственной службы и равно полную возможность быть отцом. И каждый должен быть открыт для утверждения себя достойным

господства.

Роль Природы в этом процессе состоит в том, чтобы убивать более слабых и глупых, сокрушать их, морить голодом, подавлять их, используя в качестве своего оружия более сильных и хитрых. Но человек есть неестественное животное, бунтующее дитя природы, и он все более и более восстает против суровой и капризной руки, воспитавшей его. Он с растущим негодованием смотрит на легионы страждущих бесплодных жизней, которые его род попирает в своем восхождении; в Утопии-модерн он вознамерится изменить древний закон. Неудачники больше не должны страдать и гибнуть, чтобы не умножилось их потомство, но не должно и размножаться племя неудачников, чтобы не страдать и не гибнуть, подталкивая к той участи и всю человеческую расу.

Здесь уже нет нужды пускаться в споры о том, что ресурсов мира и энергии человечества, будь они организованы разумно, вполне достаточно для удовлетворения всех материальных потребностей каждого живого человеческого существа. И если можно сделать так, чтобы каждый человек жил в состоянии разумного физического и умственного комфорта, без воспроизводства

низших типов, то нет никаких причин, по которым это не должно быть обеспечено. Но в жизни должно остаться какое-то соревнование, чтобы определить, кого вывести за скобки, а кого утвердить и приумножить. Что бы мы ни делали, человек останется соревнующимся существом, и, пускай нравственная и интеллектуальная подготовка может изменять и расширять его представление об успехе и подкреплять его утонченностью и гуманизмом, никакая утопия никогда не избавит его полностью от эмоциональной драмы борьбы, от ликования и поражений, от гордыни, унижения и стыда. Успехи и неудачи — такие же неизбывные константы, как пространство и время.

Но мы можем многое сделать предпринять более терпимой. На Земле, при всей расточительности милосердия, борьба многих людей на дне общества сводится к стремлению, порой принимающему безобразные формы, наесться, отвоевать жилой угол и облачиться потеплее. Смерти от холода и голода, как хочется верить, ныне более редки, чем прежде, но все равно многим людям достаются аварийные жилища, плохая и скудная еда, обноски вместо нормальных нарядов.

В Утопии-модерн такому печальному положению вещей будет, несомненно, положен конец. Она будет *настаивать* на том, чтобы каждый гражданин имел надлежащее жилище, хорошее питание и отменное здоровье, был достаточно чист и хорошо одет; на этом главном требовании и будут основаны утопические законы о труде. Выражаясь формулировкой, что знакома всякому, интересующемуся вопросами социальных реформаций, Утопия-модерн будет *поддерживать уровень жизни*. Любой дом, не являющийся общественным памятником, который не соответствует высоким стандартам здоровья и удобства, утопическое государство немедленно снесет, свалит в кучу материал и возьмет с владельца плату за работу; любой дом, чрезмерно заселенный или антисанитарный, будет каким-либо действенным образом — прямо или косвенно, — экспроприирован, расселен и очищен.

И любой гражданин, бедно одетый, оборванный и грязный, или откровенно нездоровый, или бездомный, или каким-либо иным образом заброшенный и покинутый, будет браться под опеку в утопическом государстве. Ему подберут работу, если он способен к труду, или дадут пособие до тех пор, пока он не сможет обеспечи-

вать себя, приютят и выходят, если он болен.

Государство будет стоять в тылу экономической борьбы как резервный работодатель. Эта превосходнейшая идея действительно лежит в основе британского учреждения работных домов, но она перемешана с призрением старых и немощных, налажена далеко не всеместно, да и основана на предположении, что все население статично и локализовано, тогда как оно с каждым годом становится более мобильным и рассредоточенным. Я уж не говорю, что такими «идейными» работными домами часто управляют с большой неохотой, спустя рукава, да и на растущие стандарты комфорта и самоуважения в прогрессивной цивилизации внимания не обращают. «Невольная благотворительность» властей, нередко выливающаяся в конкуренцию за дешевую рабочую силу что в сельской местности, что в Лондоне — вот с чем мы имеем дело.

Но если бы любой гражданин, нуждающийся в деньгах, имел возможность прибегнуть к общественным работам как *к праву* и трудиться неделю или месяц без ухудшения положения на определенных условиях, то, по-видимому, никто, кроме как жертва какого-то совершенно исключительного и временного несчастного

случая, не шел бы работать за плату, которую и «мизерной» стыдно назвать.

Общественные работы, конечно, потребуют физического напряжения, но они не должны быть по сути своей эксплуатационными и подрывающими здоровье трудящегося. Всякому, опять же, должен быть предоставлен выбор подходящей отрасли, чтобы реализовать себя мог как условный работник интеллектуальной сферы, так и «трудовик».

Государственный институт общественных работ успешно разрешает многие вопросы и задачи экономики. Это не благотворительная организация, а общественное учреждение. На случай экономических кризисов она может поставлять товары, не утрачивающие ценности от простаивания на складах — кирпичи, железо, гвозди, шерсть, полотно, бумагу и стекло. Это — вещи первой цивилизованной необходимости, которые, не обедняя казну, дадут верный доход бедствующим обывателям.

Правительство может также прокладывать новые дороги и перестраивать общественные здания до тех пор, пока частные предприниматели не окажутся снова в состоянии взять на себя инициативу в этом отношении. Государство

обязано заботиться о своих гражданах — и все без исключения имеют право на эту заботу.

Все жители Утопии являются акционерами в общественных предприятиях и поэтому не нуждаются в благотворителях. Но вместе с тем в Утопии установлено, что гражданин не имеет права иметь детей, пока труд его не будет представлять известную ценность и пока он не уплатит всех своих долгов. Пока мужчина или женщина бездетны — до тех пор государство не заявляет никаких претензий; точно так же и первые их сбережения не облагаются налогом. Государство определяет пенсию всем лицам престарелого возраста. Для одиноких оно учреждает особые дома-пансионы, где старики без забот могут спокойно жить на свои пенсии.

Вследствие такого благоустройства процент слабых людей с каждым поколением уменьшается. Путем достижения минимума страдания и беспорядка достигается максимум устранения непригодного и слабого элемента.

§ 2

Но не одним устранением неспособных, непригодных и безвольных исчерпывается наша

задача в Утопии; остаются еще идиоты и безумцы, остаются люди со злой волей, остаются безвольные, которые превращаются в пьяниц, злоупотребляют разными стимуляторами и тому подобное. Наконец, остаются люди, страдающие постыдными и заразными болезнями. Такие люди портят мир и мешают жить остальным. Они могут производить детей, и с большинством из них, по-видимому, нельзя иначе поступать, как только отделяя их от остального населения. Приходится прибегать к своего рода социальной хирургии. Нельзя пользоваться свободой на публичных путях сообщения. Детям нельзя говорить со всеми, с кем они хотели бы. Девушкам и женщинам нельзя свободно выходить во всякое время на улицу, пока той же свободой пользуются люди известного сорта. Кроме того, есть люди, склонные к насилию, не уважающие чужой собственности, воры и обманщики — они тоже, как только их природные свойства подтверждаются известными доказательствами, должны исключаться из свободной жизни благоустроенного мира. Как только становится несомненно доказанным, что известный индивидуум одержим преступностью или безумием, или заразной болезнью, как только преступление повторяется,

положим, в третий раз, или проступок, заключающийся в пьянстве и неблаговидном поведении, повторяется, скажем, в седьмой раз, такой индивидуум должен быть отлучен от сношения с другими свободными людьми.

Опасность во всех случаях кроется в том, что исполнение этих мер может попасть в руки несообразительных, бессердечных или жестоких администраторов. Но так как происходит все в Утопии, загодя предположим существование наилучшего наиспособнейшего правительства, милостивого, рассудительного — но в то же время решительного и сильного.

Несомненно, для всех провинившихся впервые и для всех нарушителей закона моложе двадцати пяти лет в Утопии-модерн будут изобретены меры предупредительные, в некотором смысле врачебные. Для детей и юношества будут учреждены школы и коллегии, выстроенные в красивых, здоровых местностях, где будет меньше свободы и больше дисциплины, чем в обыкновенных школах и коллегиях для свободных детей. Места обучения должны быть отдаленными и уединенными. Доступ туда свободным людям будет воспрещен, дабы никакого соблазна не доходило туда, где будут воспитываться предрасположен-

ные к пороку девушки и юноши.

По истечении отведенного срока воспитанники и воспитанницы этих школ будут возвращаться в общество. Но что же делать с остальными, с порочными и болезненными людьми старше двадцатипятилетнего возраста, с рецидивистами? Как будут с ними поступать в благоустроенной Утопии? Наш мир — мир мстительный, но государство в Утопии будет располагать той силой, которая необходима для применения милости. Преступник будет спокойно удаляться из среды остальных людей. При этом удалении не будет ни барабанного боя, ни срывания эполет, ни плевков в лицо. Удаление будет сопровождаться гласностью лишь в такой степени, в какой это необходимо для предупреждения возможной несправедливости.

Конечно, не будет никаких казней, никаких пыток. Видимо, в Утопии будут усыплять мутантов — только что родившихся младенцев с зародышами опасных для общества болезней, с неправильным развитием, с чудовищными отклонениями от нормального типа. Заботу обо всех остальных государство примет на себя, равно как и ответственность за их существование. Может быть, в природе нет справедливости,

но для всякого благоустроенного общества идея справедливости должна быть священна. Жизни, которым государство дозволило начаться, не должны быть оборваны смертью из-за отдельных лиц, чью халатность государство никак не могло предусмотреть, которых не предупредило соответственным воспитанием. Преступность — мерило государственного падения, всякое преступление является преступлением общества в конечном счете. Но даже за убийство в Утопии не будут казнить.

Я сомневаюсь даже, будут ли в Утопии тюрьмы. Нет людей достаточно разумных, добросердечных и дешево оплачиваемых, для того, чтобы обслуживать тюрьмы так, как они должны обслуживаться. Разве что изберут какие-нибудь острова, лежащие в стороне от обычных морских путей, и на эти острова государство будет ссылать своих отверженцев. Из последних многие, вероятно, будут довольны своим уходом из мира педантов.

Разумеется, государство оградит себя от рождения детей этими ссыльными. Это должно быть первым условием ссылки. Может быть, придется даже превратить эти острова в своего рода монастыри, мужские и женские, но, с другой стороны,

если судить по литературе касательно данного предмета, недостаточно проверенной критикой, можно обойтись и без разделения полов.

Наблюдать за этими островами будут крейсирующие вдоль побережья суда. Постройка судов на них будет воспрещена — и берега, видимо, придется-таки охранять вооруженными силами. Но во всем остальном всем этим отверженным будет предоставлена полная свобода. Если государство и станет вмешиваться во внутреннее управление этими островами, то разве только для предотвращения полицейскими мерами проявления жестокости, попыток к установлению тирании и для обеспечения свободы передвижения тем из отверженных, кто пожелал бы переселиться на другие подобные острова. Безумцы, конечно, будут нуждаться в заботливом уходе и контроле, но нет никакой причины, почему бы островам безнадежных пьяниц, например, не пользоваться фактической автономией, под наблюдением резидента и стражи. Я уверен, что общество пьяниц могло бы организоваться, несмотря на свою порочную привычку, и устроить себе сносное существование. Не знаю, почему остров пьяниц не мог бы самоуправляться, возводить у себя общественные постройки,

заниматься промышленностью и торговлей.

— Вы живете не так, как мы живем, — сказало бы им государство. — Но вот вам свобода и сочувственное общество подобных людей. Избирайте своих весельчаков-правителей, варите пиво, выкуривайте спирт. Вот вам виноградники, ячменные поля, хмельники. Поступайте как вам угодно. Что касается нас, то мы будем заботиться лишь о том, чтобы вам не попадалось под руку ножей, а в остальном живите себе во славу Божью.

Вы только вообразите себе большой пароход с отверженцами, стоящий у пристани на острове неизлечимых мошенников. Команда вся на местах, готовая во всякую минуту оказать помощь в случае необходимости, а капитан на мостике радушно прощается со своими пассажирами, но не спускает глаз с багажа. Новые граждане этой своего рода свободной республики, каждый с принадлежащими ему вещами, крепко завязанными и запакованными, толпятся на палубе и с интересом вглядываются во все то, что происходит на берегу. В этой толпе немало оживленных лиц с умными и проницательными глазами; если бы мы случайно стояли рядом с капитаном — узнали бы немало двойников

наших земных бонз, домовладельцев из элегантных, богатых кварталов Лондона. На пристани нет народа, которого туда, конечно, не пускают, только два или три правительственных чиновника стоят там в ожидании парохода; но за решеткой, отделяющей пристань, видно немало франтоватых людей, ожидающих там новых граждан в расчете на наживу. На громадном здании висит вывеска, обозначающая, что это таможня — население острова вернулось к этому продукту доисторических порядков, а за таможней, по дороге в гору, ярко расписанные стены комфортабельных отелей привлекают взоры публики, сходящей с парохода.

Несколько обедневших обывателей в роли комиссионеров ожидают пассажиров, а у выхода с пристани стоят отельные омнибусы. Тут же ютится и контора для размена денег. Без разменной конторы такой остров, конечно, не мог бы существовать, а небольшой дом с громадной вывеской, на которой нарисована рука с обращенным к морю указательным пальцем, — это контора для получения бесплатных справок. Рядом с ней возвышается красивый купол местного казино и игорного дома. Улица, ведущая к пристани, вся унизана громадными вывес-

ками с объявлениями о разных предприятиях, о торговых и промышленных заведениях. Тут же красуется объявление о публичной лотерее. На большой постройке, напоминающей ангар, висит вывеска, указывающая, что это школа для лиц, не обладающих достаточным коммерческим образованием. Вообще, порт имел бы очень оживленный и многообещающий вид, и хотя высадка новых граждан не носила бы того характера веселого добродушия и шумного праздника, с которым такие высадки производились бы на острове пьяниц, тем не менее вновь прибывшие не ощущали бы ничего трагического. Напротив, они понимали бы, что наконец попали в страну интересных и приятных для них приключений.

Задумка представляется чересчур фантастической, но как же поступать, не прибегая к смертоубийству? Да, надо отделять зерна от плевел, но зачем же мучить. Наши современные тюрьмы — учреждения для истязаний, где каждый преступник изображает мышь, попавшую в когти кошки, роль которой играет закон. Кошка его отпускает на минутку побегать на свободе и затем хватает опять, когда он дошел до положения еще худшего, чем прежде. Эльзасов в мире не оста-

лось. Что касается меня, то я не могу придумать ни одно преступление, кроме безрассудного зачатия или преднамеренной передачи заразной болезни, для которого уныние и ужас, одиночество и позор современной тюрьмы не кажутся возмутительно жестокими. Если хочется зайти так далеко, лучше уж убивайте. Зачем мучить преступников, заставляя их подчиняться особому режиму истязаний, раз вы избавляетесь от них, отделяя их от себя? Нет, Утопия-модерн должна организовать процесс иначе — вот вам остров, устраивайтесь на нем как считаете нужным. Альтернативы, которую я могу придумать, нет.

§ 3

Будет ли утопист свободен от безделья?

Дела, как ни крути, должны кем-то делаться. В своей повседневной жизни человечество поддерживается коллективной работой, и без постоянного усилия как со стороны отдельных лиц, так и со стороны социума в целом оно не будет ни счастливым, ни здоровым. Тунеядство отдельного представителя общества тяжело отзывается как на нем самом, так и на всем мире.

Особый вид тунеядства составляют разные

непродуктивные занятия, и возникает вопрос: разрешены ли будут они в Утопии? По-видимому, да, подобно всем остальным свободам — свободе передвижения и свободе жить отдельно от других лиц; и на одинаковых условиях, то есть если средства будут позволять такой вид деятельности.

Последнее условие, опять-таки, может показаться диким читателям, считающим деньги корнем всех зол и привыкшим думать, что Утопия должна обходиться без них. Разумеется, деньги становятся вредоносными тогда и только тогда, когда благодаря дурным законам и плохой экономической организации они легче добываются плохими людьми, чем хорошими.

Столь же безосновательно было бы сказать, что еда — корень всяких болезней, потому что многие люди болеют от чрезмерного и неразумного питания. Здравый экономический идеал состоит в том, чтобы сделать обладание деньгами четким признаком полезности для общества, и чем ближе этот идеал достигается, тем меньше оправдания бедности и тем меньше тягот быть бедным. В варварских анархокультурах почти почетно быть бедным и, бесспорно, добродетельным — подавать милостыню нищему; и даже

в более или менее цивилизованных сообществах на Земле так много детей рождаются безнадежными инвалидами, что аскетизм в отношении бедных считается самой подлой из подлых добродетелей. Но в Утопии у каждого будет образование и определенный минимум питания и обучения; каждый будет застрахован от хворей и несчастных случаев; всегда под рукой деятельная организация, поддерживающая равновесие между спросом на рабочие руки и предложением труда, и безденежье будет доказательством несомненной негодности. В Утопии никому не придет в голову не только подавать милостыню, но и просить ее.

Конечно, в Утопии будут устроены простые, но удобные и комфортабельные гостиницы, где жизнь будет оплачиваться по дешевому тарифу, контролируемому государством. Может быть даже, государство будет эти гостиницы содержать за свой счет. Этот тариф будет иметь такое определенное отношение к минимально допустимой заработной плате, что человек, не понесший никаких обязательств по браку или подобным социальными связям, сможет жить в комфорте и приличии на минимальную заработную плату, выплачивая небольшой страховой взнос от бо-

лезни, смерти или инвалидности, а также иметь запас на одежду и другие личные расходы. Но он не получит ни крова, ни пищи, кроме как ценой своей свободы, если не сможет зарабатывать деньги.

Но вообразите себе, что человек без денег очутится в округе, где для него не окажется подходящей работы. Вообразите, что предложение труда внезапно и неожиданно сократилось, или что этот человек поссорился с единственным работодателем в данной местности, или что данная работа ему не по душе. Как быть тогда? Несомненно, государство в Утопии, которое желает, чтобы все его подданные были счастливы, пришло бы к нему на помощь. Этот человек обратится в ближайшую почтовую контору, изложит свою проблему внимательному и, что главное, участливому клерку — и (подобное сложно представить на Земле) получит решение.

Во всяком здраво организованном государстве изменения экономических условий в разных частях света будут изучаться с таким же вниманием и подвергаться такому же непрестанному наблюдению, как и изменения метеорологических условий — карта соседних местностей в районе трехсот-четырехсот миль будет висеть

на стене почтовой конторы, и там ежедневно будут отмечаться изменения спроса и предложении труда в разных областях. Клерк подведет обратившегося к нему безработного к этой карте, и когда тот решит, в каком месте попытать счастья, клерк запишет его имя, удостоверится в его личности — свобода в Утопии, как мы уже выяснили, будет совмещаться с проверкой личности и повсеместной регистрацией отпечатков больших пальцев, — и выдаст ему билеты на свободный проезд и на свободное проживание в гостиницах по пути к избранному им месту. Там безработный будет искать нового работодателя. Такая свобода перемещения из округов с сокращенным предложением труда в округа с недостатком рабочих рук будет одной из привилегий всех граждан в Утопии.

Но вообразите себе, что ни в одном округе во всем мире не окажется подходящей работы для этого человека — что тогда делать?

Прежде чем это воображать, надо *еще раз* принять во внимание общие предположения, обязательные, когда создаешь себе Утопию. В Утопии все будут разумны, способны к труду и хорошо воспитанны. Почти все, за исключением клинических идиотов, будут способны

к умственному труду — не будет неграмотных и механически исполняющих свою работу, точно дрессированное зверье, людей. Простой рабочий в Утопии будет так же развит, как хорошо образованный человек на Земле в настоящее время — рабочие профсоюзы не будут стеснять его образовательную деятельность, и если он не нашел себя в одном деле, то без ущемлений в правах и финансах сможет подготовить себя к другому.

Но и при таких условиях возможно, что он все-таки не найдет работы. Такое положение может быть вызвано перепроизводством, следствием коего обычно является несоответствие спроса и предложения труда. Это происходит по двум причинам: растет народонаселение, но не число промышленных предприятий, или падает спрос на какую-либо отрасль труда — либо из-за прекращения деятельности крупного работодателя, либо из-за внедрения новаторских автоматизированных способов производства.

Толковое всемирное государство способно легко устранить эти причины. Единственное, что дает ему тяжелую задачу, так это зарождение большого числа граждан посредственного или низкого развития.

Первая причина может быть весьма легко устранима мудрыми законами о браке. Подробное обсуждение этих законов мы пока отложим, но здесь мы заметим, что в Утопии, наверное, будут контролировать прирост населения. Существование Утопии немыслимо без подобного контроля — впрочем, это было уже раз и навсегда доказано Мальтусом[23].

Устранить вторую причину не в пример труднее. Хотя немедленный ее результат, заключающийся в переполнении рабочего рынка, подобен результату, производимому первой причиной, окончательный итог она подводит совсем другой. Вся наша научно-механическая цивилизация стремится к замене ручного труда и к увеличению производительности. Таким образом, совершенно независимо от роста населения, труд должен упасть в цене, не будучи в состоянии

---

[23] Notes: 23

Экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост населения должен привести к голоду на Земле. В 1798 году опубликовал книгу «Опыт о законе народонаселения». Три основных тезиса книги: 1) из-за биологической способности человека к продолжению рода его физические способности используются для увеличения продовольственных ресурсов; 2) народонаселение строго ограничено средствами существования; 3) рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, сводящимися к нравственному воздержанию или бедствию (войне, эпидемии, голоду). Также Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования — в арифметической.

выдержать конкуренцию в деле удешевления производства. Но излишек рабочих рук должен служить могучим стимулом к зарождению новых промышленных предприятий, особенно в Утопии, где наука и изобретательность стоят так высоко. Возрастающий излишек полезного труда, зависящий от развития экономической жизни, а не от численного умножения народонаселения, и не вызывающий, соответственно, затруднений в материальном плане, и является одним из условий развития цивилизации. Я склонен думать, что если на труд будут смотреть как на движущую силу, то в роли работодателя выступит само государство. Весьма вероятно, что оно сочтет полезным делегировать часть излишка рабочих рук, имеющегося в его распоряжении, в распоряжение местного управления, но это уже вопрос второго порядка.

Во всем мире биржи труда будут сообщать о колеблющемся давлении экономического спроса и переводить рабочих из областей избытка в районы дефицита; и всякий раз, когда избыток носит всеобщий характер, Мировое Государство — в отсутствие адекватного развития частного предпринимательства, — либо сократит рабочий день и таким образом нивелирует

излишек, либо установит какие-то собственные постоянные специальные работы, выплачивая за них прожиточный минимум и позволяя им прогрессировать так же медленно или так же быстро, как диктуют приливы и отливы трудовой востребованности. Но при разумных законах о браке и рождении нет никаких оснований полагать, что подобные обращения к ресурсам и инициативе будут чем-то большим, нежели временные и исключительные случаи.

§ 4

Сам факт существования нашего светловолосого босоногого друга служит достаточным доказательством того, что в Утопии-модерн человек будет свободен быть настолько праздным или бесполезно занятым, насколько ему заблагорассудится, после того, как обзаведется для себя удовлетворительным доходом, необходимым для оплаты расходов по содержанию, для страховки на случай старости или болезни и, наконец, для покрытия тех обязательств, которые налагаются рождением детей.

Такое всемирное государство, как Утопия-модерн, не допускает нравственного насилия. Если,

например, даже с учетом ограничительных законов о праве наследства в Утопии, кто-либо наследует сумму, избавляющую его от необходимости трудиться, ему разрешается жить как живется. Для мира полезно существование известного числа праздных людей. Труд как моральный долг хорошо вписывается в мораль рабов, и только.

Пока никто не стонет под бременем тяжелого труда, до тех пор нечего тревожиться о том, что есть люди, которые работают меньше других. Утопия не предназначена для излечения человечества от зависти. Из досуга в хорошей нравственной и интеллектуальной атмосфере произрастают эксперименты, рождаются философия и новые направления искусства и науки.

В Утопии-модерн должно быть много людей, располагающих значительным объемом свободного времени. В нашем мире мы слишком сильно подчинены навязчивой идее о строгом идеале, веря, что непрестанно напрягающийся глупец только и достоин уважения. На деле же то, что делается наспех и по принуждению, никогда не делается хорошо.

Государство перестает быть свободным, когда никто из его подданных не расхаживает себе

беззаботно взад и вперед, а все работают из последних сил. Но независимость, полученная по наследству, будет очень редко встречаться в Утопии. В большинстве случаев право на широкую свободу придется зарабатывать. Как у мужчин, так и у женщин будет много поводов для значительного повышения своей личной ценности над уровнем минимального заработка. Отсюда появится возможность обособленной личной жизни, свободного передвижения с места на место и исполнения множества различных задач, а также требуемые для учреждения различных интересных предприятий силы и свобода действий, время для встреч и кооперации с интересными людьми — словом, все то, что придает жизни вкус. Утопия-модерн обеспечит всем одинаковое право на жизнь и будет возможно меньше принуждать к труду, но она будет сулить по-настоящему заманчивые награды. Целью организации минимального заработка, повышения доступного всем уровня житейских удобств и комфорта, обеспечения слабых и безработных является не отнятие у жизни тех благ, которые действуют на людей, стремящихся к ним, как мотивационные факторы, а модификация их свойств. Цель Утопии-модерн не в том, чтобы

обесценить жизненную энергию, а в том, чтобы изъять из жизни уныние и безнадегу, и саму борьбу за существование перевести от низших к высшим позывам, тем предупреждая и нейтрализуя планы людей нечестных, трусливых и звероподобных. Тогда светочем и главным фактором жизни станет широкая и энергичная фантазия — одно из величайших человеческих достоинств.

§ 5

После того, как мы заплатили за наш обед в маленькой гостинице, которая в нашем мире находилась бы в Вассене, ботаник и я стали обсуждать рабочие законодательства в Утопии. Прежде всего, конечно, мы кое-как пересчитали полученную сдачу — медяки, оставшиеся в нашем распоряжении, производящие некоторое впечатление изящной чеканкой, но в весьма ограниченном количестве. Пора перейти к практическому ознакомлению с рабочим вопросом!

Встав, мы решительно покидаем гостиницу, осведомившись, где находится справочное бюро. Тут же мы узнаем, что отдел труда расположен в одном здании с почтовой конторой и другими

общественными учреждениями. Несомненно, человека, переселившегося в Утопию из земного государства, в этом здании поразит многое. Ботаник охотно пропускает меня вперед, я же стараюсь казаться как можно развязнее в этом новом положении нанимающихся рабочих.

Отделением заведует маленькая остроглазая дама лет тридцати шести. Она с большим и нескрываемым любопытством разглядывает нас.

— Ваши документы? — говорит она.

Что у меня на сей случай в карманах? Обыкновенный британский паспорт, многажды проштемпелеванный разными визами, удостоверение члена французского Клуба Туристов, читательский билет библиотеки Британского музея, чековая книжка Лондонского банка… У меня дурное чувство юмора — так и подмывает вывалить перед ней все это и принять на себя последствия. Однако я благоразумно воздерживаюсь.

— Утеряны, — наконец кратко сказал я ей.

— А у вас? — спросила она ботаника. Последний молчал и смотрел на меня.

— Тоже утеряны, — ответил я за него.

— Как, у обоих?

— У обоих.

— Каким же образом это случилось?

Я удивился сам своему быстрому ответу.

— Я перенес падение с обледенелого склона, и документы выпали.

— Вы что, оба упали? — обратилась она вновь к ботанику. Тот всё молчал.

— Нет, — постарался я выручить его. — Он доверил мне свои документы, а я их потерял со своими. Позор на мою голову.

Она удивленно уставилась на меня.

— У него в кармане прореха, — произнес я — быть может, чересчур поспешно.

Ее манеры слишком утопичны, чтобы она могла продолжать в том же духе. Кажется, она размышляет о дальнейших тонкостях процедуры.

— Ваши номера? — задает она другой вопрос.

В голове мелькает эта проклятая книга в гостинице.

— Сейчас, — сказал я, потирая лоб. — Сию минуту, — пытливый взор маленькой женщины окончательно смутил меня. — Подождите, я сейчас…

— А ваш номер? — спросила она ботаника.

Наступает опять пауза, и ботаник переводит

недоумевающий взор с меня на маленькую женщину.

— Ваш номер?.. — повторяет она.

— «А» большое, «Б» большое, — медленно начал он. — «А» маленькое, девять, четыре, семь, кажется, так?

— «Кажется, так»? Разве вы не знаете?

— Наизусть — не знаю, — отвечает самым любезным тоном ботаник. — Нет.

— Вы, кажется, хотите меня уверить, что не знаете своих номеров? — интересуется маленькая женщина, и в голосе ее звучит легкая нотка раздражения.

— Не знаем, вы правы, мы не знаем их, — сказал ботаник, расплываясь в любезной улыбке.

Я тоже улыбаюсь.

— Не правда ли, как это странно, — объявил я при этом, — что мы оба забыли свои номера?

— Вы шутите, этого не может быть, — произносит миниатюрная дама.

— Гм… Как вам сказать… — бормочу я.

— Но это легко узнать, — продолжает она, не обращая внимания на мой невнятный ответ. — Я полагаю, большие пальцы у вас на руках сохранились при падении?

— Дело в том… — начинаю я, но ее проница-

тельный, насмешливый взгляд останавливает меня. — Конечно, большие пальцы у нас целы.

— Так я пошлю отпечатки их вниз, и мне сообщат ваши номера. Но уверены ли вы в том, что потеряли документы? Как странно. И позабыли свои номера?

Мы глупо ухмыляемся, как бы подтверждая, что это действительно странно. Хозяйка с озабоченным лицом подходит к машинке для снятия отпечатка большого пальца. В эту минуту в отделение входит какой-то мужчина, и она, явно выдохнув, поспешно рассказывает этому визитеру, в чем дело.

— Просто не знаю, что делать в данном случае, сэр…

Он смотрит на нас, и в его серьезных глазах мелькает… любопытство. Особо странной ему кажется, по-видимому, наша одежда.

— В чем дело, мадам? — осведомляется он.

Она поясняет.

До сих пор все виденное нами в Утопии являлось доказательством порядка и невиданной еще на земле целесообразности. Но мне в высшей степени казалось странным то, что все люди, с кем мы встречались и разговаривали — хозяин гостиницы, эта женщина, босой паганист, —

представляли самый обыденный тип и являлись полной противоположностью обстановке. Но при первом взгляде на вошедшего мы поняли, что в нем есть что-то, соответствующее общему тону Утопии. На вид ему было лет тридцать пять, это был высокий, прекрасно сложенный человек. Во всех его движениях чувствовались сила и здоровье, выражение чисто выбритого лица его было идеально спокойно, форма губ говорила о твердой воле, а большие серые глаза смотрели ясно и серьезно. На нем были надеты шерстяные темно-красные брюки и белая, довольно плотно облегавшая его стройный стан рубашка с вытканной фиолетовой каймой. Видом он напоминал рыцаря ордена тамплиеров. На голове у него красовалась легкая кожаная шляпа с верхом из очень тонкой стали, с небольшими наушниками — что-то от формы солдат Железной армии Кромвеля. Мужчина пристально смотрел на нас, в то время как мы, чувствуя сильнейшее смущение, старались кое-как выпутаться из того глупого положения, в которое сами, по доброй воле, поставили себя. Сознавая всю его нелепость и предчувствуя, что оно может осложниться, я решился сказать правду.

— Дело в том… — начал я.

— Пожалуйста, продолжайте, — ободряет он меня с легкой усмешкой.

— Мы поступили неправильно, — говорю я. — Но наше положение так исключительно, его так трудно объяснить…

— Что вы делали до сих пор?

Мною овладевает твердая решимость разъяснить ему все.

— Нет, — говорю я, — этак вам ничего не объяснишь.

Он опускает взгляд. Я молчу, хотя чувствую, что надо говорить.

— В чем же дело? — уточняет он.

Я стараюсь говорить спокойным голосом, как будто дело идет о пустяках и как будто я убежден, что после моего объяснения ему сразу все станет понятно.

— Видите ли, — говорю я, — мы явились сюда из другого мира. Поэтому наши отпечатки или номера не существуют на этой планете — мы их не имеем, оттого-то их и не знаем. Нельзя знать того, чего не имеешь. Мы чужестранцы, понимаете — своего рода исследователи…

— Но про какой другой мир вы говорите?

— Существует другая планета очень далеко отсюда. Невероятно далеко — мы оттуда.

На лице его появилось терпеливое выражение человека, слушающего вздор.

— Знаю, — продолжаю я, — вам это кажется небывалым, но... это факт. Мы неожиданно перенеслись на вашу планету вчера вечером, и я утверждаю, что до этого вы не найдете во всей Утопии наших следов. Мы спустились по дороге и очутились здесь. А что касается наших документов — вот они. Видели ли вы прежде подобные? — Я вынимаю паспорт, показываю ему. Выражение его лица изменяется. Он берет у меня документы и внимательно разглядывает их. Легкая усмешка вновь проступает у него на губах.

— У меня еще есть кое-что, — говорю я и протягиваю ему карточку французского Клуба туристов. За ней последовал зеленый билет на право входа в библиотеку Британского музея — истрепанный, точно флаг в рыцарской часовне.

— Мы разузнаем, кто вы, — говорит он, продолжая разглядывать мои документы. — Будьте добры, приложите отпечатки ваших больших пальцев к этой книге. Мы произведем сверку. Центральный комитет установит вашу личность по всеобщей базе, вот и все.

— Но этого-то вам и не удастся сделать, — парирую я.

Он молчит, о чем-то думая, затем возвращает мне документы.

— Странная же шутка пришла вам, двум взрослым людям, в голову, — замечает он.

— В том-то и дело, что это не шутка, — отвечаю я, убирая весь ворох в карман.

— Что же мне с ними делать? — встревает в разговор миниатюрная дама.

— У них есть деньги?

— Нет, — сразу вношу ясность я.

Он опять задумывается.

— По правде говоря, думаю, что вы бежали с какого-нибудь острова, — выдает он наконец. — Я не понимаю, как вы могли сюда добраться и что вы думаете делать впоследствии… Но, так или иначе, приложите сюда отпечатки ваших больших пальцев. Вот сюда.

Он указывает на замеченную нами еще раньше машинку и уходит. Несколько минут спустя мы выходим из отделения труда в состоянии, которое трудно определить: мы не то сконфужены, не то заинтригованы. У меня, как и у ботаника, есть билет для проезда в Люцерн и достаточная сумма для расходов на один день. Мы отправлялись в Люцерн, потому что там есть спрос на резчиков по дереву. Мы решили, что можем

справиться с этой работой.

§ 6

Старые утопии — «сидячие» организации; новые должны приспосабливаться к нуждам мигрирующего населения, к бесконечным приездам и отъездам, к людям столь же текучим и приливным, как море. Это не входит в схему земного государственного управления, но ведь все местные установления, все определения места даже теперь тают на наших глазах. Вскоре весь мир будет наводнен безымянными незнакомцами.

Относительно же таможни и законов, действующих в настоящее время на Земле, а также способов определения личности, то надо признать, что, будучи вполне достаточными для нашей планеты, они окажутся совершенно неудовлетворительны для огромного утопического государства.

Если Утопия-модерн — мир по-настоящему ответственных граждан, в ней должна быть разработана какая-то схема, по которой каждого человека в мире можно было бы быстро и наверняка распознать и по которой можно было бы отследить и найти любого пропавшего без вести.

Это ни в коем случае не невыполнимое требование. Общее население мира составляет, по самой грубой оценке, не более 1 500 000 000 человек, и действительная индексация этого числа людей, запись их перемещения туда и сюда, запись различных материальных фактов, таких как брак, отцовство, уголовные судимости и тому подобное, внесение новорождённых в реестр и удаление из него умерших — колоссальная задача, но всё же не непосильно сложная, приблизительно сравнимая с объемами работы современных почтовых отделений по всему миру или с объемом данных, с которым имеют дело каталогизаторы библиотеки Британского музея и Кромвелевской Энтомологической коллекции. Искомый индекс-указатель занял бы от и до брусчатку всей Нортумберленд-авеню, но — и только.

Регистрация будет производиться на основании неизменных физических характеристик, хоть бы и по отпечатку большого пальца. Дактилоскопия (равно как и биометрия) настолько продвинулась вперед, что вполне возможно предположить запись всех людей выстроенной по определённым правилам непрерывной последовательной цепочкой цифровых наборов.

Таким образом, «он» или «она» всегда могут быть найдены за самое непродолжительное время[24].

Кроме главного регистрационного списка, будет организована целая система списков вложенных, где все граждане будут размечены по профессиям, болезням, преступлениям и так далее. Эти списки должны быть так устроены, чтобы возможно было моментально снимать с них фотографические снимки. К ним будет прилагаться отметка о последнем нахождении данного лица. Небольшая армия служащих должна день и ночь заниматься регистрацией населения. Из всех отделений регистрационных учреждений в центральное будут поступать бесперебойно оттиски больших пальцев и номера приезжающих, а также данные о рождениях, смертях, пребываниях в гостиницах, почтовых операциях, преступлениях, браках, заявлениях на получение государственных пособий и тому подобное. Фильтр канцелярий сортировал бы этот поток — весь день и всю ночь толпа служащих сновала бы туда-сюда, поправляя этот

[24] Notes: 24

Вполне возможно, что фактический отпечаток большого пальца может играть лишь небольшую роль в работе идентификации, но очевидное удобство для нашей цепочки повествования состоит в том, чтобы предположить, что это единственная достаточная черта. — *Прим. автора.*

центральный регистр, фотокопируя копии своих записей для передачи подчиненным местным инстанциям в ответ на их запросы.

Так у государства будет возможность неусыпно следить за каждым гражданином, и в то же время будет записываться его жизнь и его судьба. Наконец, когда гражданин умирал, о нем вносилась последняя запись: о его возрасте, о причине его смерти, о дате и месте его кремации. Его карточка изымалась и передавалась во всеобщую родословную, в место большей тишины, пополняя постоянно растущую галерею мертвых.

Но и тут наш светловолосый паганист, несомненно, возмутился бы. Одна из многих вещей, на которую многие будут претендовать как на право — это возможность незаметно и тайно перемещаться туда, куда пожелаешь. Но не следует забывать, что данное притязание на сохранение инкогнито не нарушается вышеуказанной регистрацией, ибо лишь правительству будут известны зарегистрированные сведения. Конечно, либералам XVIII века, а равно и всем старомодным либералам XIX столетия, да и *вообще всем,* нынче зовущим себя либералами, воспитанникам принципов ненависти и противодействия правительству, такая организация покажется

непотребной. Возможно, и закоренелый индивидуалист воспринял бы эту систему в штыки. Но неприятие такого рода — лишь скверная умственная привычка, выработанная в смутные времена. Старый либерализм предполагал плохое правительство, и чем оно казалось могущественнее, тем было хуже. Наряду с этим постулировалась на пустом месте полнейшая праведность свободного индивидуума. Глубокая тайна взаправду являлась покровительницей свободы, особенно в те времена, когда правительства были склонны к тирании, а англичане и американцы смотрели на паспорта русских и германских подданных как на невольничьи цепи. Можно понять, почему Руссо, праотец этого старого либерализма, тайком навещающий своих детей у ворот воспитательного дома, считал преступлением против естественной добродетели соглядатайские замашки государства[25]. Но предположим, что мы *не предполагаем,* будто правительство обязательно плохо, а индивидуум

[25] Notes: 25

По утверждению Руссо, у него было пятеро детей, которые все были отданы в воспитательный дом. Он оправдывал это тем, что не имел средств их вскормить, что они не давали бы ему спокойно заниматься и что он предпочитает «сделать из них крестьян, чем искателей приключений, каким был он сам». Хотя документальных подтверждений того, что Руссо действительно имел детей (от неграмотной служанки парижской гостиницы, в которой жил), нет.

обязательно хорош — и гипотеза, над которой мы работаем, практически отменяет любую альтернативу, — и тогда дело полностью меняется[26].

Таково око утопического государства, которое теперь медленно начинает воспринимать наше с ботаником существование как два странных и необъяснимых прецедента, нарушающих прекрасный порядок его обозримых владений — око, которое вскоре сосредоточится на нас с растущим удивлением и вопрошанием.

— Кем, во имя Гальтона и Бертильона[27], вы двое являетесь? — восклицает Утопия.

Я понимаю, как странно выгляжу в этом фокусе. Несомненно, придется сделать вид, что путешествие из одного мира в другой — привычное для меня дело:

---

[26] Notes: 26

В типичном современном государстве нашего собственного мира, с его многомиллионным населением и относительной легкостью передвижения, неприметные люди, взявшие псевдоним, могут без труда оставаться незамеченными. Соблазн открывающихся таким образом возможностей породил новый тип преступности, тип Диминга или Кроссмена — низменных мужчин, которые существуют за счет лживых ухаживаний, переходящих в предательства, жестокое обращение, а порой и убийство непримечательных женщин. Это многочисленный, растущий и, что самое серьезное, плодовитый класс, которому способствует практическая анонимность простого человека. Только маньяки привлекают большое внимание общественности, но не их жертвы — проститутки из низов, чья многочисленность тоже связана с доступной анонимностью. Таков один из грехов государственного либерализма, и в настоящее время он, весьма вероятно, выставляется как добродетель в акциях против развития «полицей-

ских государств». — *Прим. автора.*

[27] Notes: 27

Английский антрополог Фрэнсис Гальтон открыл направление психометрии, а Альфонс Бертильон — метод сличения отпечатков пальцев.

— Видите ли, суть в том...

§ 7

Проследим теперь, как осуществится наша гипотеза. Отпечатки наших больших пальцев были отправлены по пневматическим трубам в центральное учреждение Люцерна, а оттуда их отослали в Париж.

После того как их сняли на стекле, при помощи эпидиаскопа их увеличили на тщательно разграфленном экране. Затем эксперты произвели дотошное исследование и стали сверяться с галереей зарегистрированных идентификаторов личности. Я говорил, что они не найдут нигде наших следов — но вообразите себе клерка-утописта, ходящего из галереи в галерею, ищущего то в одной секции, то в другой, отметающего сектор за сектором, список за списком. Наконец он вытаскивает одну карточку и внимательно ее считывает.

— Вот она, — бормочет он и вновь принимается ее разглядывать. — Быть такого не может!

В центральное регистрационное учреждение в Люцерне мы пришли снова через день-другой. Я направился к столу того служащего, с которым

мы разговаривали в прошлый раз.

— Ну, узнали ли вы что-нибудь про нас? — спросил я, любезно улыбаясь.

Выражение его лица мало что сообщило мне путного.

— Да, — ответил он и, пристально взглядывая на меня, добавил: — Это очень странно.

— Я говорил вам, что вы не нападете на наши следы.

— Да нет же, мы знаем, кто вы, — ответил он. — Но тем более непонятно, зачем вдруг вы придумываете такие шутки.

— Так вам известно, кто мы такие? — Не выдержав, я расхохотался.

А зря. Уже в следующую секунду наши с ботаником имена были верно оглашены.

В первое мгновение я смутился, не ведая, что и думать. Затем вспомнил о наших записях в книге в первый день нашего пребывания в Утопии… и догадался.

— Клянусь Иовом, они нашли наших двойников, — сказал я ботанику по-английски.

Ботаник согласился со мной.

— Конечно, это так, — пробормотал он. — И как я раньше не догадался.

— Будьте любезны, — обратился я к клерку

в регистрационном учреждении, — сообщите нам еще что-нибудь про нас.

— Я не понимаю, к чему вы это все ведете, — бросил он и с явным неудовольствием начал рассказывать мне некоторые подробности про моего двойника. Понять их было трудно. Как оказалось, происхожу я из «самураев». Опять это японское словечко — его я здесь уже слышал!

— Но после таких выходок вас разжалуют, — пригрозил клерк чуть ли не с отчаянием в голосе. Он описал мое общественное положение в Утопии короткими, отрывистыми фразами, которые в моих глазах мало что значили.

— Очень странно, но вы были в Норвегии всего три дня тому назад, — продолжал он.

— Я и теперь нахожусь там, — прервал я его. — Право, мне очень совестно за причиняемое вам беспокойство, но будьте добры, осведомитесь, не находится ли то лицо, за которое вы меня принимаете, в Норвегии и до сих пор.

Он возразил мне что-то непонятное относительно какого-то паломничества.

— Рано или поздно вы поверите, что я не тот, за кого вы меня принимаете, и что отпечаток моего большого пальца схож с отпечатком неизвестного мне обывателя Утопии, — настаи-

вал я. — Я не буду утруждать вас сообщениями о разных планетах, потому что вы этому вряд ли поверите. Факты доказательнее слов. Вы говорите, я был в Норвегии, в таком случае вы должны были бы проследить мое путешествие оттуда. А мой друг?

— Он был в Индии, — ответил нам, по-видимому, сильно озабоченный служащий.

— Мне кажется, что осложнения только начинаются, вместо того чтобы разъяснить все по порядку, — продолжал я. — Каким образом попал я сюда из Норвегии? Разве мой друг похож на человека, метнувшегося сюда из Индии? Нет, положение настолько сложное, что объяснить его нелегко.

— Но посмотрите же сами, — возмутился служащий регистрационного отдела, подавая нам фотографические снимки с наших карточек.

— Но мы вовсе не эти личности, — настаивал я.

– *Вы* — они и есть.

— Посмотрим, — парировал я с улыбкой.

Он указал нам на отпечаток большого пальца.

— Посмотрите.

— Это ошибка, — продолжал я. — Редкостное совпадение. Ежели вы потрудитесь навести более

подробные справки, поймете, что вы ошиблись. Подумайте сами — ну зачем бы нам жить здесь в качестве простых резчиков по дереву, когда вы сами говорите, что мы занимаем видное положение? Пока мы остаемся здесь на работе, я полагаю, вам стоит собрать более подробные данные.

— Несомненно, ваше дело просто так не оставят, — уверил нас клерк подчеркнуто холодно. — Но, тем не менее, — он указал на отпечатки больших пальцев, — не забывайте, что вы у нас уже зарегистрированы!

§ 8

После долгих и подробных обсуждений того удивительного положения, в котором мы очутились, мы с ботаником, думаю, должны уяснить вопросы общего характера. Я поделюсь с ним мыслью, которая все яснее начнет вырисовываться в моем уме. *Как видно,* замечу я ему, *перед нами мир, организованный чрезвычайно достойно.* В сравнении с нашим миром этот походит на хорошо смазанную машину, сравниваемую с грудой старого ржавого железа. Здесь даже заведена и пущена в ход регистрационная система, какая у нас казалась бы невозможной. Но это,

положим, к делу не относится…

Вы посмотрите только на все эти дома внизу.

Я полагаю, что мы будем сидеть на скамейке на горе и смотреть на расстилающийся внизу Люцерн. Заметьте красоту, чистоту и гармонию этого мира, взгляните на стройную осанку — грациозную, полную благородства, — которой отличаются здесь самые простые люди. Невольно мы должны оценить и признать превосходство этого мира. Каким образом удалось им достигнуть такого совершенства? Мы, люди XX столетия, не можем принимать на веру сентиментальные аксиомы Руссо, которые так восхищали наших прапрадедов, живших в XVIII веке. Мы прекрасно понимаем, что порядок и справедливость не являются по желанию, сами собой, стоит только прогнать полицейских. Чтобы достичь превосходства, необходима в высшей степени развитая воля, о которой и понятия не имеет наша бедная колеблющаяся Земля.

Я все отчетливее осознаю эту сильную волю, которая проявляется во всех мелочах в Утопии. Прекрасные, удобные дома и чудесные инженерные постройки совсем не нарушают красоты природы; такой необыкновенный для нашего мира малоинвазивный союз — продукт вели-

кой дисциплины, наложившей печать на лицо каждого утописта. Подобный порядок, облагораживая душу, является торжеством над мелкими страстями, эгоизмом и тщеславием, которые управляют на Земле людьми, ухудшая качество их жизни; он означает преданность и более благородные чаяния; он не может существовать без гигантского процесса исследований, проб, предусмотрительности и терпения в атмосфере взаимного доверия и уступок. Такой мир, как эта Утопия, создан не случайным сотрудничеством самозацикленных автократических правителей и не плаксивой мудростью демократического лидера. Безграничная конкуренция за наживу, заручившись просвещенным эгоизмом, тоже подводит нас…

Я сравнил систему определения личности с оком — столь чувствительным, что два чужака не могут появиться в Утопии, не будучи обнаруженными им. Но око не может видеть, если им не управляет мозг, око не может смотреть в ту или другую сторону, если оно не зависит от воли, преследующей известную цель. В Утопии главнейшей задачей является центральная организация, управляющая всем.

Там должны быть мужчины и женщины,

устраивающие весь этот порядок — улучшенное сообщение, общественные учреждения, механизмы экономических отношений. Таких мужчин и женщин должно быть немало, меж ними должна установиться известная преемственность. Ни какое-либо отдельное лицо, ни случайно образовавшаяся группа лиц не смогли бы создать и поддерживать столь обширную и сложную организацию; эти основатели должны обладать коллективной, а может быть, и свойственной каждому из них в отдельности широтой взглядов. Вероятно, личным желаниям эти люди отводят лишь второстепенное место и, следовательно, практикуют самоотречение. Они должны быть деятельны и настойчивы, что предполагает наличие дисциплины. Но в Утопии-модерн, бесконечно прогрессирующей, все общественные организации должны быть столь же подвижны и способны к самосовершенствованию, как и всякий живой организм. Все это, несомненно, вытекает из гипотез, на которых мы строим свою мечту об Утопии. Не так ли?

Ботаник рассеянно кивает в знак согласия.

Я умолкаю, тасуя в мыслях все впечатления, вынесенные за это трехдневное пребывание в Утопии. Рядом с личностями, с которыми мы

сталкивались непосредственно — с хозяевами гостиницы, с администратором завода и товарищами по труду, с блондином-паганистом, клерками и так далее, — будет стоять много других фигур: дети, мужчины, женщины, которых мы наблюдали на улицах и в окнах домов. Они все представлялись бы мне обычными людьми, знакомой толпой, но где же те, кто должен стоять особняком и направлять всю эту толпу к известной цели?

И вдруг я вспоминаю чисто выбритого мужчину, который немного поговорил с нами в государственной конторе в Вассене — человека, живо напомнившего мне мое мальчишеское представление о рыцаре-тамплиере, — и с ним приходят мимолетные впечатления от других серьезно глядящих, одинаково одетых людей. Слова и фразы, прочитанные в местных книгах и газетах, язвительные речи развязного босого типа со светлыми волосами — все это должно было вот-вот сложиться.

Глава шестая
«Женская доля» в Утопии
§ 1

Пусть я сам и дошел до того, что проблема Утопии очень просто разрешилась в проблему управления и руководства, я обнаружил, что ботаник за мной не поспевает. Откровенно говоря, он не может думать так уверенно, как я. Я чувствую, чтобы думать, он думает, чтобы чувствовать. Я и мне подобные способны гораздо шире все понимать, ибо мы становимся одинаково легко как на отвлеченную точку зрения, так и на личную. Вот почему я в состоянии понять своего спутника, а он сам — совершенно не в силах понять меня. Он, например, желает чувствовать закат солнца и вполне убежден, что сильнее ощущал бы его, если бы не знал, что расстояние Солнца от Земли равняется девяноста двум миллионам миль. Ему ужасно хочется чувствовать себя свободным и сильным, и это чувство он предпочитает действительной свободе и силе. Он не мечтает о том, чтобы совершить что-нибудь великое, но он прельщается блеском

тех великолепных деяний, с коими его случайно сталкивает судьба. Он не постигает, что на горные высоты, куда возносится мысль философа, взбираются по составленному плану, и что, тратя на это свои силы, можно в это же время переживать самые разнообразные чувства. Он не может постичь также, что самая мысль — это тоже чувство, но в более утонченном виде.

Обыкновенно он останавливается на источнике, по его понятиям, наиболее обладающем чувствами, — на женщине вообще, и в частности на той женщине, благодаря которой он много перечувствовал. Он старается склонить меня к тому же.

Положение для меня очень неблагоприятное.

Возвращение наше в ту местность Утопии, которая схожа с Люцерном на Земле, живо пробуждает в нем те меланхолические чувства, которые томили его в то время, когда мы перенеслись в Утопию. Однажды — когда мы все еще дожидались решения своей судьбы, — он вдруг заговорил на прежнюю тему. Было еще не поздно, и мы, закончив наш скромный обед, решили пройтись по берегу озера.

— Здесь была набережная, вдоль которой стояли огромные отели, — начал он. — Они

отражались в воде. Как странно, право, когда подумаешь, что еще недавно они были здесь и я их видел, а теперь от них ничего не осталось… Куда-то они пропали?

— Исчезли силой простой гипотезы.

— Что?

— Они остались на своем месте. Это мы перенеслись в Утопию.

— Ах да, конечно. Я и забыл. Но все-таки, помните, вдоль набережной тянулась аллея со скамеечками, и она часто сидела на одной из них, устремив взор на озеро… Я встретился с ней на этой аллее после десятилетней разлуки. — Говоря это, он продолжал оглядываться с видом крайнего изумления, словно не веря глазам своим.

— А теперь мы здесь, — продолжал он. — Та встреча с нею и разговор представляются мне как во сне.

Он умолк и задумался. Я тоже молчал.

Секунду спустя он опять принялся за свое.

— Я сейчас же узнал ее. Она сидела в профиль ко мне… Но я не сразу заговорил с ней. Я прошел несколько раз мимо ее скамьи, стараясь успокоиться… Затем я обошел кругом и сел около нее. Она обернулась и взглянула… и передо мной сра-

зу воскресло все, решительно все… Одну минуту я думал, что расплачусь…

Это желание расклеиться, казалось, доставило ему такое большое удовольствие, что и в прошедшем времени все еще продолжало утешать его.

— Мы заговорили сначала как обыкновенные знакомые… про погоду, чудный вид и так далее…

Он опять задумался.

— В Утопии все было бы по-иному, — продолжил я.

— Думаю, вы правы.

И он продолжал, прежде чем я сумел прервать его:

— После этого я почувствовал… Это было нечто вроде откровения… Наступила та самая минута. Мне кажется, она тоже поняла это. Вы, конечно, может быть, станете смеяться… Вы ведь не признаете сердечных откровений.

Но он ошибался. Я не смеялся, но в душе проклинал ботаника за его откровения, а себя — за то, что покорно слушаю. Всегда такие люди одержимы претензией испытывать какие-то *особо высокие* чувства и мысли!

— Она взглянула на меня и быстро сказала: «Я несчастлива», — продолжал ботаник. — «Я знал это с первого взгляда на вас», — ответил я

ей. И тогда она откровенно рассказала мне все. И только после я почувствовал, что это значило, почему она вот так, с первого раза, заговорила со мной о себе…

Терпение мое лопнуло, и я не выдержал.

— Да поймите же, — воскликнул я, — мы в Утопии! На Земле она, может быть, и связана какими-то узами. Допускаю, что она и вы — несчастны. Но не здесь! Не в Утопии! Здесь все иное. Законы, которые существуют для таких дел, должны быть гуманны и справедливы. Все, что вы говорили там, все, что вы делали на Земле, здесь не имеет никакого значения… говорю же вам — никакого!

С минуту он молча смотрел на меня, затем бросил равнодушный взгляд на окружающий нас чудесный новый мир.

— Да, — сказал он таким тоном, каким взрослые отвечают надоедающим им детям. — Думаю, уж здесь-то все очень славно устроено.

И он опять погрузился в молчание. В этом переходе от откровенных излияний к тишине, преисполненной достоинства, было нечто весьма внушительное. Я даже поверил ненадолго в то, что на самом деле недостоин слушать и воспринимать неуловимую прелесть того, что она

сказала ему, и того, что он сказал ей.

Меня оскорбляют. Я также поражен, обнаружив, что меня пренебрегают. Я задыхаюсь от возмущения. Мы идем бок о бок, но теперь глубоко отчуждены.

Я смотрю на фасад утопических общественных учреждений Люцерна — я хотел привлечь его внимание к некоторым архитектурным особенностям этих зданий — другим взглядом, и весь благородный дух вымывается из моих глаз. Как жаль, что я притащил с собой сюда этого сентиментального осла! Но так как я — фаталист, то успокоюсь тем, что, вероятно, не в моей власти было оставить его на Земле. Тем не менее, удивительно — на что он сгодится здесь? Авторам прежних утопий никогда не приходилось обременять себя подобными спутниками.

§ 2

Я заверял ботаника, что «здесь все иное», но не уточнил, какие именно отличия можно выделить. Кажется, пора столкнуться с загадочными проблемами брака и материнства…

Утопия-модерн должна быть не только здоровым и счастливым Мировым Государством, но и

развиваться от хорошего к лучшему. Но Мальтус доказал[28], что государство, население которого возрастает, подчиняясь ничем не сдерживаемому инстинкту, может прогрессировать и от дурного к худшему. С точки зрения человеческого комфорта и счастья рост населения, вовсе не имеющий на пути препятствий, — величайшее зло.

Природа стремится достигнуть в лице всех животных видов численного максимума, чтобы затем, раздавив и уничтожив слабых, усовершенствовать род. Так же всегда поступало и человечество, кроме тех случаев, когда условия жизни временно облегчались благодаря расширению запаса жизненных средств, достигнутому путем изобретений или открытий.

Число умирающих от голода и физических страданий, вызванных лишениями, всегда соответствует количеству рождений, превышающих норму населения, какую страна способна прокормить. Ведь, в самом деле, ни природа не может увеличить своих естественных средств, ни человек не достиг такой степени прогресса, чтобы явилась возможность избежать массовых голодных смертей. Простое неразборчивое

---

[28] Notes: 28

См. его «Опыт о законе народонаселения». — *Прим. автора.*

ограничение рождаемости — цель, практически достигаемая в догматичной китайской цивилизации умерщвлением младенцев женского пола, — включает в себя не только прекращение страданий, но и стагнацию, а второстепенное благо в виде относительного комфорта и социальной стабильности завоевывается очень большой жертвой. Прогресс существенно зависит от конкурентного отбора, и от этого нам не уйти. Но совершенно возможно, что область бесплодной борьбы, страдания, неурядицы и смерти будет настолько сокращена, что почти уйдет, причем физическая и умственная эволюция не только не приостановится, но, напротив, ускорится. Достигнуть этого можно, упреждая рождение индивидуумов, которые при неограниченном действии сил природы появляются только для того, чтобы страдать и нести страдания другим.

Метод природы, чьи зубы и когти обагрены кровью, заключается в том, чтобы мучить и убивать слабейших и наименее пригодных членов каждого вида и положения и таким образом улучшать породу. Идеалом научной цивилизации является способ, нивелирующий рождение слабых. Другого средства избежать наказания и гнева

природы нет. Борьба за существование, наблюдаемая в среде животных и некультурных людей, непременно влечет за собой страдание низших индивидуумов. Эти страдания и смерть имеют целью не дать этим индивидуумам возможности явиться производителями новых поколений. В утопическом государстве можно сделать жизнь сносной для каждого живого существа, но при условии, что слабейшие будут лишены права иметь детей — это последнее условие должно непременно строго соблюдаться. Вместо того чтобы соперничать между собой в более или менее ловком спасении от смерти и страданий, мы можем соперничать на поприще права давать жизнь, а побежденным будет выдаваться какое угодно вознаграждение. Утопическое государство пытается всеми силами ограничивать зло, порождаемое наследственностью, заботясь о воспитании и вскармливании детей — и делается посредником между отцами и детьми в интересах будущих поколений. Оно все больше и больше берет на себя ответственность за общее благополучие детей, и по мере этого его право решать, каких именно детей оно будет спасать, становится все более и более оправданным.

До какого предела дойдут эти условия в Уто-

пии-модерн?

Оставим в стороне все те глупости, обсуждаемые в определенных кругах, где людей предлагается заводить как коней[29]. Мысль Платона о разведении детей государством в свое время была чрезвычайно остра, но не стоит забывать, во-первых, чисто метафизический метод мыслителя, а во-вторых — состояние биологии как науки в то время. Для всех, кто родился после Дарвина, платоновская идея однозначно одиозна и нелепа.

При этом целая школа социологов указывает на нее как на одно из самых блестящих открытий последнего времени. Очевидно, эти «социологи» не вполне осознают: за последние пятьдесят лет понятия «вида» и «индивидуума» значительно изменились. Индивидуумы им до сих пор видятся неудачными копиями платоновских идеальных видов, чье совершенствование весьма проблематично. Индивидуализм для них не более как не стоящее особенного внимания различие между отдельными людьми, исток самомнения, и весь наплыв биологических идей прошел мимо них незамеченным.

---

[29] Notes: 29

См. «Человечество в процессе создания», гл. II. — *Прим. автора.*

Но для современного мыслителя индивидуальность — весьма значимый фактор жизни, а порука заинтересованному лишь поддержанием общего необходимого уровня государству выбора индивидуумов для спаривания и улучшения расы — нелепость: с тем же успехом можно установить подъемный кран на равнине, чтобы поднять повыше пики холмов. В инициативе индивидуума, стоящего выше среднего, заключается реальность будущего, коей государство, представляющее средний уровень, может служить, но которую не может контролировать. И естественный центр эмоциональной жизни, основная воля, высшее и значительное выражение индивидуальности должны лежать в выборе партнера для продолжения рода.

Однако принудительное спаривание — одно, а установление общих ограничивающих условий — другое. Последнее может входить в круг задач государства, и оно имеет право требовать, чтобы лица, поручающие обществу своих детей, являющихся для этой общины тяжкой ношей, представляли собою известную минимальную действующую силу, то есть занимали бы обеспеченное положение, чтобы были не моложе определенного возраста, чтобы отличались

минимальным установленным физическим развитием и не страдали бы недугами, которые передаются потомству. За ними не должно числиться тяжких преступлений. Конечно, избавившийся от своих преступных качеств индивидуум снова вступает в свои права. Если кто-то, сочетаясь браком вопреки этим правилам, производит на свет существо, негодное для жизни по своим врожденным качествам, государство тогда берет на себя защиту этой жертвы человеческих страстей, а виновные в нарушении охраняющих общественное благополучие правил становятся его, государства, неоплатными должниками. Чтобы взыскать этот долг, оно может даже прибегнуть к лишению свободы. Если же нарушившие уже раз государственные постановления вторично оступаются, или ребенок их оказывается идиотом, то государство считает себя вправе принять против провинившихся весьма энергичные меры, гарантирующие спокойствие на будущее время.

Да, здесь есть чему возмутиться. Но прежде чем громко возмущаться, попробуйте сами разрешить эту задачу и ознакомьтесь ближе с жизнью ночлежных домов. По всей вероятности, мне возразят: разрешив лицам, явно неудовле-

творяющим условиям, иметь не более одного или двух детей, вы не достигнете желанной цели. Но это не так. Условное дозволение, это известно каждому государственному деятелю, может оказать воздействие на социальные условия, не нося в то же время характера абсолютного запрещения, что, как тоже известно, всегда производит неприятное впечатление. Проводя жизнь в хороших и удобных условиях, имея ясное представление о том, что уготовано в будущем, люди научатся сами быть предусмотрительными и сдерживать свои страсти, лишь бы избежать нужды и неудобства.

Возрастающая любовь к комфорту, самоуважение и развитие английской нации, между прочим, сказываются на сокращении числа внебрачных рождений: с 1846 по 1850 год их было 2,2 на 1000; с 1890 по 1900 — 1,2 на 1000. Этот наиболее желательный результат, безусловно, является следствием не какого-то значительного возвышения национального морального тона, а просто повышения уровня комфорта и более живого чувства последствий и ответственности. Если такая заметная перемена возможна в ответ на такой прогресс, которого добилась Англия за последние пятьдесят лет, если сдержанность

может быть настолько действенной — кажется разумным предположить, что в более широких знаниях и в более чистой, более откровенной атмосфере Утопии-модерн рождение ребенка тяжелобольными или умственно неразвитыми родителями, притом еще — против желания государства, явится крайним исключением.

И с повальной детской смертностью Утопия тоже не столкнется. Поверьте, на этот свет дети появляются вовсе не для того, чтобы в самом начале пути их жизнь прервалась. На Земле вследствие несовершенства нашей медицины и методов воспитания, а также несовершенств нашей организации, бедности и беспечности, вследствие того, что мы даем жизнь таким детям, которым не следовало бы родиться, один из пяти детей умирает, не достигнув и пятилетнего возраста. Может статься, и тебе, читатель, приходилось присутствовать при этой наиболее ужасной из всех человеческих трагедий, и ты знаешь, сколь глубок колодец сопутствующих страданий. Нет никаких причин, по которым девяносто девять из каждых ста рожденных детей не способны дожить до зрелого возраста. Соответственно, в любой современной утопии нужно настаивать на том, чтобы у них была та-

кая возможность.

§ 3

Все утопии-предшественницы под влиянием модных стремлений грешили чрезмерным вмешательством государства в брачные дела своих граждан и непосредственно в рождение детей. В Утопии-модерн этого произвола, по факту, будет значительно меньше, чем в какой бы то ни было стране на Земле. Здесь, как и в отношении предпринимательства, закон играет регулирующую роль сугубо для обеспечения максимальной свободы и инициативы.

Вплоть до начала этого параграфа наши утопические спекуляции, разделяя грех многих парламентских актов, игнорировали различие между полами, но теперь мы должны подойти к современному идеалу общественного строительства с половой точки зрения, ибо в идеальном обществе с развитым индивидуализмом женщины должны быть так же свободны, как и мужчины. И, конечно, этот идеал должен быть осуществлен в Утопии-модерн, если вообще он когда-либо может быть осуществлен — и не только в интересах женщин, но и в интересах мужчин.

Однако женщины могут быть свободными в теории и несвободными на практике, и это может продолжаться до тех пор, пока они будут страдать от своей экономической слабости сравнительно с мужчинами, от неспособности к исполнению такого же количества труда в известный промежуток времени, какое могут исполнить мужчины. В такой сравнительной слабости женщин не может быть сомнения, а пока она продолжается — до тех пор равноправие перед законом и на практике будет лишь видимым, а не действительным. Кроме того, никуда не девается постоянная возможность осложнений, когда женщина находится в экономической зависимости от мужчины. Своим отличием от мужчин она, по косному мировоззрению, может пользоваться для извлечения выгод лишь в одном направлении: соблазняя на брак, продавая себя ради почти неизбежной брачной сделки и следуя за мужем и в горе, и в радости.

Но в Утопии-модерн равноправие между полами может быть достигнуто иным и притом единственно возможным путем. Признаем, что материнство есть служение государству и дает право на соответственное обеспечение. Раз государство пользуется правом санкциониро-

вания деторождения, то женщина, делающаяся матерью, приобретает такое же право на добавочное содержание сверх заработной платы на поддержку, свободу, уважение и обеспечение своего достоинства, какое есть у полицейского, адвоката, короля, епископа государственной церкви, преподавателя государственной школы и всякого иного государственного служащего, чей труд оплачивается из казны. Возможно, государство будет обеспечивать женщинам, которые на законных условиях становятся матерями, особое содержание от мужей, дабы застраховать их от утраты работоспособности и от забот. Возможна и выплата государственных премий за каждого рожденного ребенка, и пособий, достаточных для того, чтобы обеспечить матери и ее ребенку полную независимость во все время, пока ребенок становится здоровым и умным.

Возможно также, что государство будет увеличивать это пособие в тех случаях, когда ребенок значительно возвышается над общим уровнем установленного для детей физического и умственного развития. Так материнство превратилось бы в такую же профессию, как и все остальные, сопряженную с известными выгодами.

Одновременно государство может запретить постороннюю работу матерям, имеющим детей, которые нуждаются в особенных заботах и в особенном уходе, в тех случаях, когда матери не могут заменить себя помощницами для ухода за детьми. Чем же при таких условиях отличалась бы жизнь в Утопии от актуальных условий земной жизни?

Во-первых, такое вмешательство государства в семейную жизнь уничтожило бы, по меньшей мере, две или три главные причины житейских невзгод и несчастий современного цивилизованного общества. Оно облегчило бы жизнь для большинства вдов, которые на земле тем беднее и обременены тем большими заботами, чем больше исполняли они главнейшую обязанность женщины. Это вмешательство устранило бы невзгоды тех женщин, которые теперь, по недостатку средств, лишены возможности выходить замуж и не смеют иметь детей.

Страх бедности, так часто заставляющий женщину вместо брака по любви идти замуж по расчету, исчезнет из жизни. В Утопии профессия здорового материнства, при описанных мной условиях, была бы нормальным выгодным женским занятием. Способная и даровитая жен-

щина, родившая и вырастившая восемь-девять здоровых, разумных и успешно развитых детей, была бы богатой и совершенно не зависящей от имущественной обеспеченности мужа. Конечно, она должна была бы быть выдающейся женщиной и должна была бы избрать себе в супруги мужчину, хоть несколько возвышающегося над общим уровнем, но ее не разорили бы ни его смерть, ни его дурное поведение, ни несчастье. Такого рода нормировка материнства является просто естественным выводом из предложений сделать некоторую долю образования бесплатной и обязательной для всякого чада в государстве. Если вы препятствуете родителям извлекать материальную пользу из своих детей — теперь все государства, даже такая крепость старомодного индивидуализма, как северо-американские Соединенные Штаты, убедились в необходимости такого воспрещения, — и если, вместе с этим, обеспечиваете родителей пенсией на старость, вместо того чтобы предоставить поддержку родителей сознающим свой сыновний и дочерний долг детям, то тем самым вы значительно сокращаете практические побуждения к деторождению у всех людей, за исключением лишь крайне богатых. Чувство любви к детям, составляющее

один из факторов в этом деле, редко ведет к рождению более одного ребенка (максимум — двух). Учитывая рост требований к комфортабельному существованию и общее нежелание людей идти на риск — сомнительно, что процент деторождения когда-либо резко повысится.

Но в Утопии будет понимание, что в том случае, если вы удерживаете детей от занятий, сопряженных с заработком, ради устройства их будущей жизни, и если вместе с тем вы хотите, чтобы рожали детей не только богачи и легкомысленные эгоисты, то поддержка детей должна быть отнесена на государственный счет.

Короче говоря, Утопия будет считать, что здоровое деторождение и воспитание — это служение не отдельному мужчине, а всему сообществу, и все ее юридические механизмы материнства будут основаны на этой концепции.

§ 4

И после этих предварительных замечаний мы должны перейти к следующим вопросам: каким будет утопический закон о браке и какие обычаи и мнения, вероятно, добавятся к этому закону?

Плодовитый брак должен быть выгодной

привилегией с достаточно прозрачными и разумными условиями. Одним из весомых интересов государства, во-первых, для поддержки здорового деторождения, во-вторых, для обеспечения здоровых условий общественной жизни, является требование ограничений свободы брака, устранения браков между родственниками по крови. Многочисленное потомство должно рассматриваться как привилегия, дозволяемая при определенных условиях: обе стороны должны быть здоровы физически и психически, свободны от специфических трансмиссивных заболеваний, старше определенного возраста и достаточно умны и энергичны, чтобы получить минимальное образование. Мужчина, по крайней мере, должен получать чистый доход выше минимальной заработной платы — после того, как все непогашенные долги им были оплачены. На всем этом, безусловно, разумно настаивать, прежде чем государство станет ответственным за предполагаемых детей. Трудно определить возраст, в котором мужчины и женщины могут вступать в брак. Но если мы, насколько это возможно, поставим женщин наравне с мужчинами, если будем настаивать на всеобщем образованном населении и будем стремиться

свести младенческую смертность к нулю, она должна быть намного выше, чем в любом земном государстве. Женщине должно быть не менее двадцати одного года; мужчине — двадцать шесть или двадцать семь.

Предположим, стороны будущего брака должны сперва получить своего рода лицензии, заверяющие, что все условия ими соблюдены. С точки зрения теоретического утопического государства подобные документы имеют первостепенное значение. Справедливость требует, чтобы всякая возможность обмана или подлога с любой стороны была устранена, и об этом тоже должен в меру сил позаботиться государственный регистрационный аппарат.

Вступающие в брак должны будут известить о своем решении административный орган, предъявляя при этом выданные лицензии, и данный орган должен будет выдать жениху копию карточки невесты, а невесте — такую же копию карточки жениха. Там будут обозначены пол, возраст, при наличии — предшествующие браки, юридически важные болезни; происхождение и место жительства, занятия, судимость, средний годовой доход и тому подобные витальные для брачного союза сведения.

Возможно, было бы целесообразно устроить небольшую церемонию для каждой стороны, для каждой в отсутствие другой, на которой этот протокол мог бы быть прочитан в присутствии свидетелей вместе с какой-либо предписанной формой обращения по этому делу. Тогда останется разумный интервал для рассмотрения и отзыва прошения со стороны любого из супругов. В случае, если два человека будут настаивать на своем решении, они после этого минимального интервала сообщат об этом местному чиновнику, и в реестрах будет сделана необходимая запись.

Эти формальности были бы совершенно независимы от любых религиозных церемоний, которые могли бы выбрать договаривающиеся стороны, поскольку религиозные верования и процедуры не имеют никакого отношения к госструктурам Утопии-модерн.

Вот вам и предварительные условия брака. Для мужчин и женщин, которые предпочтут игнорировать эти условия и добиваться любого союза, который им нравится, государство не будет чинить препон, если только дети не были рождены незаконно. В таком случае, как мы уже говорили, было бы разумно возложить на родителей все обязанности по содержанию, воспитанию

и т. д., которые при нормальном ходе вещей ложились бы на государство. Было бы необходимо также наложить на этих родителей выплату по страхованию жизни и ввести действенные гарантии против любого возможного уклонения от ответственности, которую они взяли на себя. Но дальнейший контроль над частной моралью, помимо защиты незрелых от растления и порочного примера, не будет заботой государства. Когда появляется ребенок, на кону — будущее вида, и государство выступает в роли защитника более широких интересов, чем интересы индивидуума. Но частная жизнь взрослого человека — это полностью *частная* жизнь, в которую государство не может вмешиваться.

Какова же будет природа утопического брачного контракта?

С точки зрения мужа одним из главных условий брачного договора должна быть верность жены. Доказанная неверность должна немедленно прекращать брак и избавлять как мужа, так и государство от всех обязательств по содержанию ее незаконного потомства, это бесспорно. Брачный договор без этого условия был бы торжеством метафизики над здравым смыслом. При существующих в Утопии условиях жизни

потерпевшей стороной в случае нарушения брачного договора неверностью жены, является государство, и муж, терпящий такую неверность, а тем более разрешающий ее, становится соучастником в преступлении. Ввиду этого требование развода к неверной супруге предъявляется не мужем, а государством; она совершает преступление не против мужа, а против государства. Это, несомненно, является одним их существенных последствий брачного договора.

Чего же еще может в Утопии требовать брачный договор?

Воздержание мужа от нарушения верности вовсе не является таким же необходимым для достижения главной цели брака, то есть для обеспечения здорового деторождения, как воздержание жены. Неверность мужа не составляет преступления против государства, но, конечно, оскорбляет гордость жены, может сделать ее нравственно несчастной и даже нанести ей физический ущерб.

Разумеется, со стороны мужа должно быть дано обязательство хранения верности. Жена связала себя брачным договором ради государственного блага, и совершенно естественно, что в случае нарушения договора она имеет право обратиться

за помощью к государству. Но чувствительность ее к обиде является здесь мерилом нанесенного ущерба. Если же она не чувствует обиды, то никому до этого нет дела. Если ее гордость не страдает и самоуважение не задето, то общество ничего не теряет, и поэтому жене должно быть предоставлено право установления факта неверности мужа и предъявления требования о разводе в том случае, если она признает это необходимым.

Неисполнение одной из сторон элементарных обязанностей товарищеского сожития, например, тот случай, когда один из супругов покидает другого, уходит от семейного очага, должно давать другому супругу право на вознаграждение за нравственный и материальный ущерб. Приобретение какой-либо унизительной привычки по типу пьянства или морфинизма, а также насилие над другим супругом, преступление, совершенное над его личностью или имуществом, — все это должно являться поводом к расторжению брака. Кроме того, так как утопическое государство вмешивается в отношения только в интересах будущих поколений, то ограничение свободы супругов при бездетном браке являлось бы чисто нравственным вмешательством, не совместимым с основной целью нормиро-

вания брачных отношений. Поэтому было бы правильным расторгать браки, которые в течение известного срока — трех, четырех или пяти лет — остаются бесплодными; однако государство не должно препятствовать заключению нового брака между разведенными супругами, если они этого пожелают.

Все это, в сущности, легчайшая сторона вопроса.

Мы теперь переходим к более трудной и запутанной его части, где на передний план выступают экономические отношения между супругами. Во-первых, не следует упускать из виду, что и в Утопии женщины — по меньшей мере до тех пор, пока не становятся матерями, — должны быть в среднем беднее мужчин; во-вторых, встает вопрос о продолжительности брака. Но они оба взаимосвязаны, и, возможно, их лучше всего рассматривать вместе в одном общем разделе. И оба они сложнейшим образом разветвляются на рефлексии общего морального духа общества.

§ 5

Вопрос о браке — самый сложный и самый трудный из всех вопросов Утопии. Но, к сча-

стью, нет никакой необходимости решать его окончательно. Главнейшая задача, которая требует разрешения — учреждение хорошего правительства. Если правительство эффективно, а временно действует вполне законченный, но несовершенный брачный закон, то на Утопию можно смотреть как на страну, развивающуюся и способную достичь совершенства; но без хорошего правительства сама Утопия становится невозможной, пусть бы там и господствовал наисовершеннейший брачный закон. Затруднения в этом вопросе совсем иного свойства, чем, например, трудности шахматной задачи, ибо в шахматной задаче все соображение находится на одной плоскости, а в затронутом вопросе мы встречаемся с целой сетью расположенных в различных плоскостях подзадач, находящихся в зависимости от бесчисленных факторов.

Очень легко повторять наше исходное положение — мол, мы сейчас на другой планете, все земные обычаи и традиции должны быть забыты, — но даже слабая попытка осуществления такого пересмотра требует большой вдумчивости. Мы все выросли на известных понятиях о половых отношениях. На одно мы смотрим с одобрением, на другое с отвращением, на тре-

тье с презрением, и все это потому, главным образом, что нам так когда-то внушили. Чем больше мы считаем себя эмансипированными от обычных условностей, тем тоньше и незаметнее узы, связывающие нашу мысль. Распутать все это, отделить то, что действительно свойственно нашим чувствам, от того, что навеяно извне — задача небывало сложная. По всей видимости, большая часть мужчин и женщин более или менее предрасположены к ревности, но кого и к чему они способны ревновать и что может возбудить эту ревность — большой вопрос, стоящий в зависимости от усвоенных представлений. По всей вероятности, все мужчины и женщины способны к идеальным побуждениям и к желаниям, выходящим из плотской области, но форма, в которой проявляются эти побуждения и желания, почти всецело зависит от реакции под влиянием внешних впечатлений. Невозможно сорвать с человека этот внешний покров, не выйдет представить себе человека совершенно естественного, ревнивого по природе, но не ревнующего ни к чему в особенности, с развитым воображением, но без воображаемых нелепостей, гордого общечеловеческой гордостью, но не мелкопридирчивого.

Впечатления не могут существовать вне формы их выражения, точно так же как человек не может прожить без воздуха. Только очень наблюдательный тип, бывавший во всех странах мира, вмешивавшийся в общественную жизнь на всех ее ступенях, имевший общение со всеми расами, говорящий на всех языках и одаренный большими вдумчивостью и воображением, может притязать на усвоение всех форм выражения человеческой пластичности. Он может сказать, на что способны женщины и мужчины и на что ни одна женщина и ни один мужчина не решатся при известных условиях воспитания и общественной жизни. Хотя очень молодые люди всегда готовы делать какие угодно предсказания — им плевать на примеры других веков и других рас. То, что делали наши предки, или греки, или египтяне, представляется им как случайное совпадение странных, смешных или отталкивающих случайностей, несмотря на то что нынешняя молодежь является прямой производной общения людей, живших задолго до них. Но у современного исследователя имеются известные идеалы и известные минимальные требования, несколько развивающие основные грубые положения брачного закона Утопии,

каким он изложен нами в § 4. Раз обеспечено здоровое деторождение, есть ли какая-либо основательная причина для установления долгосрочного брака в Утопии?

Есть два основания для продления срока брака. Первое из них — это необходимость крова для детей и индивидуальной заботы о них. Дети являются результатом свободного выбора между индивидуумами. Они нормально развиваются только в общении с симпатизирующими или родственными индивидуумами, и никакие методы воспитания, основанные на полном игнорировании частных особенностей человеческого характера, не были такими успешными, как методы домашнего воспитания в семье. Ни Платон, ни Сократ, отрицавшие семью и дом, по-видимому, не имели дела с реальными детьми, оба упоминают исключительно юношество. Деторождение — только начало родительских отношений, и даже там, где мать не является непосредственной нянькой и воспитательницей своего ребенка, где она передает эту работу другим, ее присутствие все же является безусловно необходимым для счастья ее детей.

Кроме того, хотя утопическое государство будет платить матери, и только одной матери, за вос-

питание законных и здоровых детей, государству будет несомненная выгода поощрять естественную склонность отца к устроению благополучия детей с личными эгоистическими потребностями и к затрате известной доли его энергии и заработка на приумножение пособия, отпускаемого государством. Оставлять врожденное стремление обоих полов к продолжению рода некультивированным — нелепо и непредусмотрительно с точки зрения государственной экономии. Если родители не продолжают поддерживать близкие отношения, если каждый из них проходит через серию браков, опасность конфликта прав и выгорания эмоций становится очень серьезной. Семья потеряет однородность, а ее индивидуумы будут иметь с матерью разнообразные и, боюсь, не самые благотворные эмоциональные ассоциации.

Вторая система соображений в пользу продления брака вытекает из искусственности положения женщины. Это основание менее убедительное, чем первое, но и оно открывает ряд интересных побочных перспектив.

Много вздора говорится о естественном равенстве женщины с мужчиной, равно как и о подчинении слабого пола сильному. Но сравнивать и измерять можно только тождественные

свойства, а свойства исключительно женские совершенно отличны от свойств исключительно мужских и несоизмеримы с ними.

Родство между женщиной и мужчиной проявляется в идеалах — и государство вправе установить равенство между мужчиной и женщиной в этой области. Аристотелевская критика этой части платоновской системы, его настояние на природной неполноценности женщин и рабов — плод подмены понятий, составляющей характерную слабость его логики. Европейские народы и почти все народы мира пытаются установить условное равноправие меж мужчиной и женщиной. Напротив, мусульмане по-прежнему придерживаются мнения, что гражданским правом должен пользоваться только мужчина, чья собственность — женщина. Оспаривать оба эти идеала — пустое занятие, так как они не являются результатом логического размышления, а порождены традицией. Конечно, первый вариант несоизмеримо прогрессивнее.

Если же ближе присмотреться к практическому развитию этих идей, тут же проявляется их основная фиктивность. Люди, настаивающие на равноправии полов, в сущности стремятся к их ассимиляции, к одинаковому обращению

с мужчинами и женщинами. Те же платоновские женщины из правящих классов для гимнастических упражнений должны были обнажаться так же, как и мужчины, они должны были носить оружие и участвовать в войнах наравне с мужчинами, словом, они должны были заниматься всем тем, чем занимаются мужчины из их класса. Аристотель же настаивает на специализации полов. Его мужчины должны воевать и работать, а женщины — нести материнские обязанности, находясь в состоянии естественной подчиненности мужчинам[30]. Многовековая эволюция человеческого развития в общем и целом придерживалась второго направления, стремясь к дифференциации. Взрослая белая женщина значительно больше отличается от белого взрослого мужчины, чем негритянка от негра и дикая женщина племени пигмеев от пигмея-мужчины. Образование и умственное развитие европейской и азиатской женщины целиком основано на различии полов. Ее скромность, ее привлекательность проявляются не в отрицании этого различия, но в утончении и выделении оного; сами ее наряды рассчитаны именно на то,

[30] Notes: 30
См. также «Мужчина и женщина» Хэвлока Эллиса. — *Прим. автора.*

чтобы подчеркнуть различие между формами ее тела и телом мужчины. Белая женщина тех народностей, что более материально обеспечены — значительно развитее и в половом отношении, чем ее сестры бедных народностей; женщина богатых классов более подчеркивает свой пол, чем крестьянка.

Современная женщина, следящая за модой западного общества, является скорее этаким симулянтом-возбудителем, чем подругой мужчины. Слишком часто это симулянт нездоровый, и благодаря ему понятие о красоте замещается банальнейшей похотью, долгая привязанность превращается в краткий порыв. Одетая в то, что она отчетливо называет «платьем», с ног до головы надушенная, украшенная, выставленная напоказ, она искусственным путем добивается более глубокой половой дифференциации, чем у любого другого позвоночного животного, гораздо резче отличаясь от мужчины, чем павлин — от павы. Чтобы отыскать такому делению мало-мальски сходный аналог, нужно, думаю, основательно углубиться в класс насекомых или ракообразных.

Трудно решить, хотя вопрос сам по себе чрезвычайно важен, насколько различие между

полами естественно или неизбежно и насколько оно является лишь случайным следствием общественного развития, поддающимся изменению при ином общественном устройстве. Как же быть в Утопии? Признавать ли это различие, подчеркивать ли его и устраивать жизнь так, чтобы два различных человеческих существа, взаимно действуя друг на друга и стремясь к конечной гармонии, шли бы все-таки по двум существенно разным направлениям, или же уменьшать и сокращать половое различие всеми возможными мерами?

Первое решение вопроса ведет или к романтической организации общества, в котором мужчины жили бы, сражались и умирали за удивительных, красивых, во всех отношениях преувеличенных женщин, или к появлению гаремов. Весьма возможно также, что женщины стали бы ходячими энигмами, матерями-сановницами, к которым можно подходить лишь с величайшей почтительностью и благочестиво уединяться при переходе от слов к делу. Для подростков-мальчиков девочка-ровесница превратилась бы из совершенно незначительной в мистически желанную, и мальчики как можно раньше освобождались бы от воспитательного

влияния матери. Всякий раз, когда мужчины и женщины сходились вместе, последние бы находились в состоянии острейшего соперничества друг с другом (как и первые). Общение на уровне смыслов и идей отрезалось бы при таком раскладе сил на корню.

Что же касается второго решения, то оно вызвало бы ограничение отношений между полами дружбой и товариществом. Мальчики и девочки воспитывались бы вместе; женщины, сняв свои варварские перья, бусы, ленты и кружева, принимали бы участие как в деловых совещаниях, так и в умственном развитии мужчин. Такие женщины, конечно, вполне могли бы воспитывать мальчиков вплоть до их совершеннолетия.

Ясно, что брачные законы должны были бы быть совершенно различными для указанных выше разных решений вопроса отношений между полами. В первом случае мужчина должен был бы зарабатывать пропитание и поддержку для весьма дорогостоящей усладительницы его досугов. Он красноречиво лгал бы ей об удивительном нравственном влиянии ее персоны на мир и оберегал бы ее от всякой ответственности и от всякого знания. Во втором случае он не был бы обязан поддерживать свою жену

и помогать ей, точно так, как и она не была бы обязана делать этого для него. Они были бы просто друзьями, заключившими брачный союз.

Брачное законодательство в нашей Утопии, насколько мы старались выяснить его, стоит на перепутье между этими двумя решениями вопроса. Мы установили как общий принцип, что государство совершенно не интересуется нравственными воззрениями своих взрослых граждан. Разумно устроенное государство откажется поддерживать сделки, в которых нет правдоподобного справедливого обмена, и если личная мораль действительно должна быть вне сферы действия государства, то привязанности и симпатии совершенно определенно не должны рассматриваться как товар, подлежащий обороту. Следовательно, государство не может интересоваться такого рода «торговлей», за исключением тех случаев, когда на сцену являются дети или же предполагается возможность их появления. Оно не может признавать долгов или перехода собственности от одного лица к другому, вытекающих из подобных сделок. Отсюда вытекает, что государство не должно допускать включения в брачный договор каких-либо обязательств одного из супругов по отно-

шению к другому, за исключением тех случаев, когда эти обязательства устанавливаются в виде дополнительного обеспечения детей. В этом отношении Утопия-модерн будет склоняться в сторону независимости женщин и их условного равноправия с мужчинами — но в дальнейшие подробности брачных отношений не станет вмешиваться. Будет ли мужчина поклоняться своей жене, как таинственной богине, или смотреть на нее как на приятного сотрудника, верного друга, или же уважать в ней здравомыслящую мать своих детей — это его дело. Государство предоставляет супругам по взаимному согласию устраивать свою жизнь. С согласия жены муж может как держать ее в атмосфере вечного безделья, так и образовать с ней деятельный союз или вовсе предоставить ей право вести свою независимую жизнь. Все это государства не касается, как не касаются его дружеские связи и знакомства каждого из супругов с третьими лицами. Этим могут заниматься религия и литература, выработанные обычаи и требования общественных групп. Некоторые виды отношений между мужчинами и женщинами могут требовать их отлучения от общества, но государству, его управленцам и судьям нет до этого никакого дела.

Можно утверждать, что, согласно проницательному анализу Аткинсона[31], контроль над занятием любовью был самым источником человеческого сообщества. Тем не менее в Утопии занятия любовью не являются заботой государства за пределами той области, на которую распространяется защита детей. Необходимо пояснить, конечно, что, хотя в Утопии-модерн нравственность частных лиц и не подлежит государственному контролю, государство обязано сдерживать внешние проявления вопиющей безнравственности, бороться с дурным примером, заразительным для юношества, контролировать общественную нравственность — по особому разделу в общем законе о покровительстве юношеству. Этот закон, например, мог бы налагать дополнительную кару на виновных в распространении лживых и развращающих суждений, помимо обычной кары за мошенничество, которой подвергались бы объявители на основании общего закона.

Жизнь — изменчивое явление; изменение функций отдельных органов ее является одним из основных ее законов. Тот орган, который на-

[31] Notes: 31

См. «Социальное происхождение и основной закон» Лэнга и Аткинсона. — *Прим. автора.*

шим далеким пращурам служил плавательным пузырем, превратился у нас в пару легких. Так и государство, основанное в темные времена на проявлениях ревнивой и деспотической власти сильнейшего в стаде самца, стало орудием справедливости и равенства. В отношения между людьми Утопия вмешивается только в тех случаях, когда нарушается гармония между индивидуумами, как ныне существующими, так и теми, чья жизнь только должна начаться.

§ 6

Следует повторить, что наши рассуждения по-прежнему оставляют утопический брак институтом с широкими возможностями вариации. Мы попытались воплотить в жизнь идеал фактического равенства, равенства духа между мужчинами и женщинами, и тем самым мы отвергли общепринятое мнение подавляющего большинства человечества. Вероятно, первым писателем, сделавшим это, был Платон, уверенный, что эгоистичная моногамная семья очень легко становится нелиберальной и антиобщественной, что она оттягивает энергию и фантазию гражданина от служения обществу в целом. Рим-

ско-католическая церковь как поддерживала, так и поныне поддерживает его мнение, запрещая своим сановникам обзаводиться женами.

Платон противопоставил семейной близости и теплу домашнего очага приверженность идеалу общественности поистине поэтического толка — чего Аристотель, как показывает его критика Платона, уразуметь не мог. Но в то время как церковь противопоставляет семейным ценностям целибат[32] и вовлеченность в свою организацию, Платон куда больше соответствует современным представлениям о невыгоде исключения из репродуктивного процесса наиболее благородных представителей человеческого рода. Он искал способ добиться потомства без узкой концентрации симпатий к дому и нашел его в многократных браках, в которых каждый член правящего класса считался женатым на всех остальных. Но детали работы этой системы он изложил условно и очень туманно. В его предположениях есть некая непоследовательность экспериментатора. Он оставил многие вопросы подвешенными, и было бы несправедливо по от-

[32] Notes: 32

Горячее воображение Кампанеллы, этого странного калабрийского монаха, воспламененного Платоном, перевернуло этот аспект Церкви. — *Прим. автора.*

ношению к нему принимать судебный метод Аристотеля и предъявлять к его рассуждениям требования, адекватные полностью разработанному проекту.

Ясно, что Платон считал каждого представителя правящего класса столь «измененным при рождении», что вопрос о том, от кого происходят дети, терял всякое значение. Родители не должны были знать своих детей, а дети — своих родителей, но нет никаких указаний на то, чтобы воспрещалось отдельным индивидам избрание себе спутников жизни из среды особей другого пола в пределах той семьи, которую, по его представлению, должен был составлять весь правящий класс. Аристотель затемняет (может быть, ненарочно) предположение, называя эту брачную систему общностью жен. Читая Платона, он не мог или не хотел отделаться от собственного учения о естественном главенстве мужчин, о их праве собственности на женщин и детей. А так как Платон предполагал, что женщины при известных условиях равноправны с мужчинами, выражение «общность жен» к его Утопии совсем не подходит — мудрее было бы сказать в этом случае «общность мужей и жен». Аристотель так же бесповоротно осуждает Пла-

тона, как осудила бы его любая современная нам торговая палата, и почти на тех же самых основаниях. Он бездоказательно утверждает, что платоновская республика не оставляет вовсе возможности для добродетели воздержания (крайне незрелый вывод) и в целом идет вразрез с человеческой природой; Аристотель требовал права собственности над женщинами, как и права собственности над рабами, и его понятие об общественных приличиях мешало ему представить себе какое-либо иное устройство общества. Несомненно, естественный инстинкт обоих полов не допускает посторонних участников в сближение между двумя разнополыми особями. Но надо думать, что Аристотель не совсем верно понял мысль Платона. Никто бы не согласился на установление такого порядка, при котором многобрачие было бы доведено до столь развратного предела, до какого доводит его Аристотель в своей критике платоновского учения. Тем более нет никаких оснований для Утопии-модерн не запрещать групповых браков из трех или более особей (запрещать институты, которыми ни один здравомыслящий человек не станет злоупотреблять — в целом неблагодарное дело).

Утверждается — хотя полноту фактов про-

верить трудно, — что групповой брак более 200 человек был успешно организован Джоном Хамфри Нойесом в общине Онайда-Крик[33]. Было отмечено, что этот причудливый союз не привел к эпидемии беспорядочных половых связей внутри себя, и что члены группы спаривались в ее рамках на разные сроки, а зачастую и на всю жизнь — свидетельства достаточно ясны на сей счет. Онайда, по факту, стала союзом двух сотен душ, условившихся считать своих детей общими. Разборчивость и моногамия вовсе не порицались в сообществе, пусть и в иных случаях были отброшены — так же, как это делают многие «эмансипированные» супруги в нынешних земных условиях. По-видимому, в Онайде предпринимались попытки искусственного подбора в спаривании особей, и число детей было там ограниченно. За исключением этих пунктов, община не представляла ничего особенного и состояла из самых обыкновенных людей. Она имела совершенно исключительный успех во время жизни своего основателя и распалась с утратой

[33] Notes: 33

См. «Историю американского социализма» Джона Х. Нойеса и его труды в целом. Голые факты этого и других американских экспериментов вместе с более свежими сведениями приведены Моррисом Хиллкиртом в «Истории социализма в Соединенных Штатах». — *Прим. автора.*

его направляющей воли, с подрастанием нового поколения и с развитием теологических разногласий. Англосаксонский дух, как сказал один из самых способных отпрысков этой двухсотенной семьи, слишком уж эгоистичен для жизни в коммуне.

Временный успех Онайды — удивительный опыт эксцентричного естествоиспытателя. Позднейший ее распад на моногамные пары, меж которых поддерживались сугубо дружеские отношения, подводит черту под проверкой на практике аристотелевской психологии здравого смысла. Онайда, вероятно, — лишь исчезающе редкий пример публичного признания условий, установленных по чьей-то исключительной задумке.

Из уважения к Платону мы не должны отказаться от групповых браков в Утопии-модерн, но хотя мы и допускаем их возможность, должны смотреть на них как на вещь, столь редко случающуюся, что мы не можем включить ее в сферу наших наблюдений в путешествии по Утопии. Но в одном смысле — в том, что государство дает уход за всеми законнорожденными детьми и поддерживает всех одинаково, — вся наша Утопия должна рассматриваться как одна брачная группа. Телема, чей девиз «Fay ce que vouldras»

(«Делай, что хочешь»), чтимый членами ордена, помянут Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле», вероятно, существует для того, чтобы предполагать платоновский сложный брак в соответствии с нашей интерпретацией[34].

Опять-таки, Утопия-модерн отличается от всех своих предшественниц тем, что она всемирная и не является результатом развития какой-то узконаправленной расовой культуры, как платоновское афинско-спартанское смешение или Англия эпохи Тюдоров в представлении Мора. Прежде всего она синтетична. Социально и морально она будет обобщать множество различных традиций и обычаев. В ней сольются направления и стремления разных народов, которые в нашем мире выражаются многоженством у зулусов, многомужьем в Тибете, многими различными опытами по этой части в Соединенных Штатах и неразрывным браком Конта.

---

[34] Notes: 34

Телема — религиозное псевдоучение, развитое теоретиком оккультизма Алистером Кроули. Является ветвью викканства — неоязыческой религии, ставшей популярной в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру, английскому государственному служащему в отставке, который в то время называл эту религию «ведовством» (англ. witchcraft). Г. утверждал, что религия, в которую он был посвящен, тайно существовала в течение многих веков и имеет корни в дохристианском европейском язычестве. Истинность утверждений Гарднера не доказана; считается, что викканская теология возникла не ранее 1920-х годов как интерпретация кельтского язычества.

Тенденция всех синтетических процессов в вопросах права и обычая состоит в том, чтобы сократить и упростить обязательный канон, допустить альтернативы и новые степени свободы; то, что раньше было законами, становится традициями, делом чувства и вкуса; и где, как не в вопросах, затрагивающих отношения полов, эти изменения будут очевиднее всего?

Глава седьмая
Реакция на Утопию
§ 1

Полагаю, теперь мы находимся в лучших условиях, чтобы подробно описать дома и города Утопии, расположенные у Люцернского озера, и вглядеться пристальнее в проходящих мимо нас людей. Мы поселились в Утопии в качестве резчиков по дереву, работающих с отменным трудолюбием за весьма ограниченную плату до тех пор, пока власти города Парижа не разрешат трудной задачи, которую мы им невольно задали. Мы живем в гостинице на самом берегу озера и оттуда ходим на работу. Трудимся мы пять часов в сутки; все остальное время принадлежит нам.

Наша гостиница — одна из целой сети тех учреждений, что имеют минимальный тариф, частично регулируются и, в силу отсутствия частного предпринимательства, поддерживаются и контролируются Мировым государством по всей Утопии. Это одно из нескольких подобных заведений в Люцерне. В нем несколько сотен

самоочищающихся маленьких спален, похожих по обстановке на те комнаты, что мы занимали в похожей, но гораздо меньшей гостинице в Хоспентале, лишь немного отличающейся убранством. Та же ниша гардеробной с ванной, те же изящные пропорции и лаконичная простота меблировки. Конкретно эта гостиница походит своим четырехугольным видом на Оксфорд-колледж — двадцатиметровое здание о пяти этажах и цоколе, окна комнат смотрят то наружу, то внутрь дворика, а двери выходят на искусственно освещенные переходы с бегущими вверх и вниз лестницами. Эти пассажи выстланы чем-то вроде пробкового ковра, но в остальном пусты. Нижний этаж занимает некий эквивалент лондонского клуба, кухни и другие офисы, столовая, письменная, курительный и актовый залы, парикмахерская и библиотека. Вокруг четырехугольника проходит колоннада с лавками, посередине — газон. В его центре бронзовая фигура спящего ребенка покоится над небольшим бассейном и фонтаном, где растут кувшинки. Это место было спроектировано свободным от мешающих традиций греческого храмового строительства архитектором — непринужденное, простое и милостивое к зрению.

Материал — искусственный камень с матовой поверхностью и оттенком желтой слоновой кости; цвет немного неравномерен, частокол колонн и балок прореживает нежный тон фасада линиями умеренно-зеленоватого цвета, которые сливаются с тоном свинцовых водосточных желобов и труб, сбегающих со светло-красной крыши. Лишь в одном месте проявляется сколько-нибудь явное стремление к художественному эффекту — в больших арочных воротах напротив моего окна. Две-три обильные желтые лозы карабкаются по фасаду здания, и когда я выглядываю из окна ранним утром — ибо обычный утопический рабочий день начинается через час после восхода солнца, — то вижу над «румяной» панорамой, расцвеченной солнцем, утреннее небо.

«Четырехугольный» тип застройки является преобладающим элементом утопического Люцерна, и можно проходить из конца в конец города по коридорам и крытым колоннадам, вообще не выходя через ворота на открытые дороги. В этих колоннадах есть небольшие лавки, но более крупные магазины обычно размещаются в зданиях, специально приспособленных для их нужд. Большинство жилых построек го-

раздо изящнее и солиднее нашего собственного скромного жилища, хотя из таких случайных взглядов на их устройства мы заключаем, что идеал экономии труда пронизывает все слои этого мира без слуг; и то, что мы обычно считаем полноценным имением в земной Англии, здесь едва ли известно.

Автономия домашнего хозяйства подорвана разными содействующими предприятиями, клубами и гостиницами в гораздо большей степени, нежели на Земле. Утописты, которые не занимают гостиниц, по большей части живут в клубах — более-менее состоятельный житель здешнего мира в массе случаев состоит членом одного-двух. Клубы обыкновенно располагают не только благоустроенными спальнями, но и прекрасно обставленными отдельными флэтами, которые, по желанию члена клуба, могут быть меблированы согласно его вкусу. Получить изящный будуар, личную библиотеку или кабинет, составляющий собственность члена клуба, не желающего обзаводиться целой квартирой — обычное дело. Привычка разбивать сады на крышах, верандах и стеклянных балконах придает живописное разнообразие постройкам в Утопии. Иногда можно встретить маленькие

уголки с плитами и со всеми принадлежностями для кухни, составляющими частную собственность какого-нибудь брезгливого члена клуба. Впрочем, это, похоже, исключение из правил, так как коренной житель Утопии так же редко думает об особенной кухне для своих обедов, как и о персональной мельнице или молочной ферме.

Бизнес, частная работа и профессиональная практика иногда располагаются в квартирах дома, но чаще — в специальных офисах в большом лабиринте делового квартала. Общий сад, ясли, игровые для детей — универсальные черты клубных четырехугольников. Две или три главные дороги с трамваями, велосипедными дорожками и быстрыми транспортными путями сходятся в центре города, где государственные учреждения будут стоят группой рядом с двумя или тремя театрами и большими магазинами, и отсюда, как и в случае с земным Люцерном, тянется начало быстрой железной дороги в Париж, Англию и Шотландию, а также в Рейнскую область и Германию. Когда человек выходит из центра города, он сталкивается со смешением усадеб и открытой местности, которое станет обычным делом во всех более обитаемых частях земного шара.

Кое-где, без сомнения, будут стоять совершенно

уединенные усадьбы, все же питаемые и обогреваемые усилиями центральных энергетических станций — с общим водопроводом и доступом к телефонной линии. Возможно, к ним даже будут проложены пневмопроводы для совершения мелких покупок и отправки типовой корреспонденции. Но уединенная усадьба как постоянное место жительства будет чем-то вроде роскоши — прибежищем особ довольно-таки состоятельных. Ну а пенсионеры получат столько жилищного уединения, сколько им нужно, арендуя шале для отдохновения в лесу, у отдаленных лагун или высоко в горах.

Уединенный дом действительно может оказаться очень редким явлением в Утопии. Те же самые силы, то облегчают коммуникацию, будут способствовать небольшой концентрации земледельческого населения в сельской местности и сплоченности городов. Работники полей наверняка будут жить на выезде временно — и сомневаюсь, что от них не будет отбоя. Склонен воображать, что земледелие в Утопии-модерн ведется ассоциациями арендаторов, этакими небольшими демократическими обществами с неограниченной ответственностью, ведущими работы под руководством избранных управля-

ющих и уплачивающих государству не ренту, а часть продукции[35]. Минимальный уровень производительности в сельском хозяйстве можно было бы обеспечить путем установления минимума, ниже которого не должна опускаться рента, а может быть, и путем инспекции. Общие законы относительно уровня жизни, конечно, будут применяться к таким ассоциациям. Этот тип сотрудничества представляется мне в социальном отношении наилучшим устройством для плодородного земледелия и садоводства, но такие предприятия, как животноводство, семеноводство и заготовка сельскохозяйственных орудий, равно как и сельскохозяйственные исследования и эксперименты, безусловно, лучше всего проводить напрямую крупным компаниям, муниципалитетам или государству.

Но я мало что могу сделать для исследования этого вопроса; все представленное здесь — совершенно обрывочные впечатления. Думаю, читатель уже понял — по большей части наши прогулки и наблюдения очерчены пределами урбанистских кварталов Люцерна; по множеству прекрасно отпечатанных плакатов на углах

[35] Notes: 35

Схемы подобного кооперативного объединения производителей можно найти в романе Теодора Герцки «Фриландия». — *Прим. автора.*

улиц, украшенных весьма колкими карикатурами, мы обнаруживаем, что где-то здесь проходят странные маленькие выборы — отбор по строго народовластным принципам с избирательным правом всех постоянных жителей люцернского округа старше пятнадцати лет. Оказывается, старые маленькие городские и местные органы управления давно вытеснены большими провинциальными муниципалитетами для всех более серьезных административных целей, но они все еще существуют, выполняя ряд любопытных второстепенных функций. Не последнее место среди них занимает своего рода эстетический остракизм. Каждый год каждый второстепенный орган местного самоуправления сносит здание, выбранное местным плебисцитом, а высшее правительство выплачивает небольшую компенсацию владельцу и возобновляет владение землей, которую оно занимало. Эта идея поначалу может показаться нам попросту дикой, но на практике оказывается крайне дешевым и практичным средством эстетического воспитания строителей, инженеров, бизнесменов, богатых людей и широкой публики. Спроецировать настолько утопический способ решения вопроса на наш мир, думаю, совершенно невозможно.

§ 2

Фабрика, на которой мы работаем, представляет собой нечто совершенно отличное от того, что мы, земные жители, повадились подразумевать под этим словом. Мы занимаемся изготовлением небольших деревянных игрушек — медведей, лошадок, пастушков — для детей Утопии. Грубую отделку проводят машины, а затем игрушка препоручается на доработку в руки пусть неискусных, но весьма заинтересованных своей работой людей. В сущности, это преинтересное дело! Игрушки в законченном виде намного изящнее простой автоматической штамповки.

Мы, резчики — похоже, это одна из самых ничтожных профессий, которой занимаются люди, ничего не стоящие, не знающие, иначе говоря, черная кость Утопии, — работаем все вместе в длинном ангаре. За день у нас бывает несколько смен, за смену каждый из нас должен закончить несколько игрушек. Наш главный цеховик — спокойный голубоглазый человечек с веселым лицом. Он обычно носит светло-голубой костюм (потом мы узнали, что почти все художники в Утопии чтут этот цвет — своего

рода добровольная униформа); когда он ходит по ангару, принимая результат наших трудов, порой останавливаясь, чтобы улыбнуться какому-нибудь особо курьезному зверю, оценивая художественность отделки, невольно вспоминается школа искусств и тамошние учителя. Иногда он сам режет вместе с нами или набрасывает новый рисунок для очередной модели.

Через некоторое время после моего принятия я наловчился довольно искусно вырезать маленьких пони. Впрочем, наша задача не исчерпывалась изображением одних только зверей — мы заготовляли множество карикатурных статуэток, изображающих выдающихся деятелей Утопии. На эти статуэтки хозяин наш обращает большое внимание и часто исправляет их.

Лето в самом разгаре, и наш ангар открыт с обеих сторон. С одной возвышается высокая крутая гора, зеленые деревья, зеленые лужайки тонут в мареве. С другой — жужжит высокая труба машины и работает водяной спуск, по которому спускаются к машине бревна. Мы не видим бассейна, но слышим, как с треском падают в него раз за разом распиленные древесные чушки. Временами до нас доносится сильный смолистый запах. Иногда заходит облаченный в серый ком-

бинезон оператор станка, неся полную корзину сырых необработанных кусков дерева; их он высыпает перед нами на стол. Тогда мы выбираем любой и начинаем вырезывать по своему вкусу.

Когда только я вспоминаю про Утопию, всегда чувствую этот трудноуловимый, мягко колеблющийся в воздухе смолистый запах; если я в лесу и обоняю запах сосны — я всегда вспоминаю ангар, стоявший на берегу синеватого озера, и высокую крутую гору, на которой, чередуясь с зелеными лужайками, росли зеленые деревья.

Конец второй и последней смены наступает в полдень. Мы укладываем инструменты и возвращаемся домой. Мы будем идти нашей дорогой вдоль красивого озера со странным чувством удовлетворения, вызванного простой низкооплачиваемой работой. Конечно, нас еще будет, по всей вероятности, смущать мысль о личных номерах, благодаря которым мы столь легкомысленно впутались в пренеприятную историю. Но никто из нас, рабочих, не будет идти усталый, понурив голову, с тяжелой мыслью о тяжелой судьбе. Мы не будем ощущать того тревожного, неудовлетворенного настроения, которое так часто испытывает рабочий на Земле и которое наводит его на нелепые азартные игры, пьянство,

грубые и грешные поступки.

§ 3

Я должен противопоставить свою позицию предубеждениям относительно утопического визита. Я всегда представлял себя находящимся вне общей государственной машины — так сказать, человеком в предбаннике для посетителей, получающим новости мирового порядка в серии всеобъемлющих перспективных видов. Но эта утопия, несмотря на все стремительные порывы обобщения, которые я изо всех сил стараюсь поддерживать, поглощает меня. Я ловлю себя на том, что хожу между работой и комнатой, в которой сплю, и местом, где обедаю, точно так же, как я ходил туда-сюда в том реальном мире, в который попал сорок пять лет назад. Я нахожу вокруг себя горы и горизонты, что ограничивают мой взгляд, учреждения, которые также исчезают без объяснения, за пределом зрения, и великую сложность вещей, которых я не понимаю и о которых, по правде говоря, не могу сформулировать ничего внятного или хотя бы курьезного. Люди очень нерепрезентативные, люди такие же случайные, как и земляне в моем мире, вступают

с нами в короткие социальные реакции, и маленькие нити частного и непосредственного интереса быстро сплетаются в сгущающуюся серую пелену, закрывающую общий вид. Жадность до всестороннего познания, бившаяся во мне по прибытии, затухает, и я обнаруживаю, что интересуюсь текстурой дерева, с которым работаю, птицами среди ветвей деревьев, мелкими, не относящимися к делу вещами, лишь время от времени возвращаясь к тому настроению, которое делает всю Утопию мозаикой, требующей выцеживать из частного общее.

Мы тратим наш первый излишек утопических денег на реорганизацию нашего гардероба в более утопическом стиле; мы развиваем знакомство с некоторыми из наших коллег по работе и с теми, кто делит наш стол в гостинице. Знакомства вскоре переходят в дружбу. Мировая Утопия, говорю я им, ошеломляет меня, при мысли о деталях кажется мне слишком большой! Вопрос о правительстве, о его идеях, о расе и о более широком будущем висит, как небесный свод, над всеми повседневными делами — да, важными, но очень уж узконаправленными. Но эти люди, что окружают меня, простые работяги, видят все в другом свете, и им не понять моих забот.

Даже самые мелкие обыденные случаи в ежедневной жизни они оценивают совсем в ином смысле — им здесь многое очевидно и привычно без дальнейшей нужды в дознании. И я все ищу, кого же потолковее да полюбознательнее подобрать в собеседники; одиночество, которое я временами ощущаю, усугубляется еще более из-за того успеха, которым пользуется в здешнем обществе мой спутник-ботаник.

В настоящую минуту он оживленно беседует с двумя женщинами, которые повадились сидеть за столиком рядом с нашим. Они одеты в широкие цветные платья из мягкой ткани, какие обыкновенно носят молодые женщины в Утопии. Обе они брюнетки, и в их облачениях преобладают янтарный и красный цвета. Выражение их лиц простовато, они производят на меня впечатление недообразованных особ. Не по душе мне и какое-то перезрелое кокетство, которое сквозит в каждом их движении. Но на Земле, конечно, они считались бы одними из самых изящных. Ботаник, очевидно, стоит на земной точке зрения, и разговор принимает все более оживленный характер. Тут я опять погружаюсь в размышления.

Общее впечатление, производимое жителями Утопии — это сила и здоровье во всех их прояв-

лениях, укрепленные самодисциплиной. Здесь редко встретишь толстых людей, лысых, согбенных или седых. Люди, которые на Земле были бы тучными или сгорбленными и явно состарившимися, здесь в хорошем состоянии, и вследствие этого все действие толпы живее и бодрее, чем на Земле. Платья разнообразно-изящны; образы женщин более всего напоминают итальянский пятнадцатый век — изобилие мягких и красивых тканей, одежда, даже и у самых бедных, прекрасно сидит. Их волосы очень просто, но тщательно и красиво уложены, и, кроме как в очень солнечную погоду, они не носят ни шляп, ни чепчиков.

Женщины в Утопии, к какому бы сословию они ни принадлежали, грациозны и держат себя со спокойным достоинством, благодаря коему страшно выделялись бы из европейских красавиц, увитых кружевами, перьями, увешанных стальными пряжками и «отделками» — так, что при взгляде на них невольно приходит мысль о троглодите, ворвавшемся в музей. Здесь, несомненно, в ходу более свободные представления о цветах тканей, чем в земной Европе в наши дни — но, по крайней мере, женский костюм здесь более сдержанный и практичный — и (в соответствии с раскрытием вопроса в предыдущей

главе) менее отличается от мужского.

Мальчики и девочки одеты почти что одинаково: коричневые кожаные башмаки, затем вязаные панталоны и широкая блуза без кушака. Множество женщин носят такой же костюм; мы постоянно встречаться с ними в таком месте, как Люцерн, куда они возвращаются после горных экскурсий. Старики часто носят длинные халаты, но в большинстве случаев мужчины носят такой же костюм, как и дети. Несомненно, для дождливой погоды существуют плащи с капюшонами, высокие сапоги и меховое платье, но сейчас — не их время и не их место.

Конечно, наблюдения мои касаются большинства, но в сущности, так как в Утопии царит полнейшая свобода, люди одеваются так, как хотят. Люди без вкуса, неразвитые и недалекие, будут поступать так, как поступают на земле дураки и тупицы. Не все в Утопии будут верны мягким тонам, гармонии и прекрасному. Порой, гуляя по Люцерну, мимо меня вдруг мелькнет вышитое золотом платье, искусно подобранные бантами и пряжками рукава или взбитые волосы — и напомнит мне о Земле. Но в Утопии эти проявления безумия редки и пропадают почти незамеченными на общем изящном фоне.

По всей вероятности, наблюдательная жизнь, которую я буду вести в Утопии, придаст мне вдумчивый, серьезный вид; мимо меня проходят различные типы жителей Утопии, я вижу веселые и бодрые лица, вижу грустные, приветливые и гордые. Вот идут навстречу мужчины — и я думаю: «А что, если подойти и заговорить о чем-нибудь?». Многие из тех, что наиболее любопытны мне, стоит отметить, носят ту же одежду, что и человек, говоривший с нами в Вассене. И что же это — костюм некоего ордена?..

Следом увижу я девушек с серьезными лицами, девушек того расцветающего возраста, когда манеры их становятся обманчиво мудры, и ко мне вернется старый обман моей юности — «Здравствуйте! Не могли бы мы с вами немного поговорить вместе?»... Ну нет, о таком не стоит и думать! Мимо меня быстро проходят женщины с открытыми, добрыми лицами, но на них не задержу я внимание... И наконец, *она,* высокая леди с таким яростно прекрасным лицом, что всякое желание кажется оскорблением. Мысль в ее глазах увлекает меня без меры — что там, за этим высоким лбом, какие страсти кипят, что за планы рождаются? Я никогда не узнаю о том — просто не решусь сдвинуться с места;

пригвожденный ее кристаллически-осознанным взглядом, я тушуюсь и отвожу глаза…

Часто, настолько часто, насколько это возможно, я сижу в оконечности старинного моста Капельбрюкке и слежу за прохожими, чувствуя себя все время неудовлетворенным, одиноким и недовольным. К этому периоду жизни в Утопии я отношусь как к затянувшейся паузе, увы, неизбежной. Мне ясно, что все, что происходит со мной, теперь не занимает меня, что я жду с тревогой и нетерпением той минуты, когда я познакомлюсь с тем жителем Утопии, который представляется моим двойником. Первая моя мысль была о чем-то гротескном — чем-то в духе Алисы в кэрролловском зазеркалье. Но теперь понимаю: мое второе утопическое «я» будет не так-то похоже на зеркальное отражение. Его воспитание и ум будут сильно отличаться от моих — но между нами проляжет странная связь сущностного тождества, симпатии, понимания. Я нахожу, что эта встреча внезапно приобретает преобладающее значение в моем уме, а интерес к деталям сходит на нет. То, что я пришел в Утопию, сейчас не столь важно; тем важнее то, что я пришел, чтобы встретиться *с самим собой*.

Я часами пытаюсь представить встречу, при-

думываю диалоги. Я иду один в Бюро, чтобы узнать, не поступили ли какие-нибудь новости из Парижа, но мне говорят — подождите еще двадцать четыре часа. Я абсолютно перестаю интересоваться чем-либо еще, кроме как в той мере, в какой это ведет к общению с этим существом… должно быть, одновременно — таким запредельно далеким и неизбывно близким.

§ 4

Погруженный в такие мысли, я, конечно, мало обращаю внимания на окружающее, и на долю ботаника выпадет заметить странное явление — сравнительное отсутствие животных в Утопии. Он скажет это таким тоном, в котором ясно можно будет уловить недовольство этим миром.

Он страшный любитель собак, этот ботаник, а их здесь нигде нет. Мы также не видали лошадей — только одного или двух мулов в первый день нашего приезда. Кажется, в Утопии нет и кошек. Некоторую странность ощущаю и я на первых порах, но затем догадываюсь, что в Утопии дома, подвалы и трубы устроены таким образом, что существование крыс, мышей и других паразитов станет невозможно, поэто-

му кошки и собаки исчезли, также выродились и другие породы домашних животных, в силу того, что в них перестали нуждаться. Я отвечаю, как умею, на надоедливые замечания ботаника по этому поводу — пытаюсь объяснить, что в мировом развитии неизбежна фаза, когда во всем мире будут предприняты систематические попытки навсегда уничтожить большое количество заразных и контагиозных болезней, и что это повлечет, хотя бы на время, жесткое подавление свободного передвижения животных. По правде говоря, меня этот вопрос совсем не интересует, и весьма возможно, что от краткости моих объяснений страдает их ясность.

Ботанику также приходит в голову мысль о том, куда исчезли в Утопии-модерн больные, а так как его воображение лишено даже и размагниченного компаса, он не может представить себе причин, по которым жители Утопии так здоровы. Он плохо слушает мои объяснения и все думает «о преданном друге», старой собаке, которая, по его мнению, не распространяет ни блох, ни грязи и обладает «чудными карими глазами», в коих больше ума, чем в человеческих, и которая понимает решительно все, что ей скажут. Я представляю себе ботаника, ласкающего худой

бледной рукой шелковистую голову умной собаки, которая, облизываясь, смотрит ему в рот и выражает этим несказанную преданность…

Не примите меня за беспросветного злобного и холодного человека! Даже терпеливые и дружелюбные доводы в пользу Утопии и ее обитателей не проходят через барьеры принятия моего друга. Он только несогласно качает головой и спокойно возражает мне:

— Я не люблю и не буду любить вашу Утопию, если в ней нет собак.

Это замечание навело меня на не совсем лестные для ботаника мысли. По правде говоря, я не враг собак, но я в тысячу раз более расположен к человеку, чем к животному, и я думаю, ему не понять, что жизнь, проведенная в очаровательной компании многочисленных болонок и кошечек, не стоит многого… Я опять начинаю сравнивать себя с ним. Громадная разница заключается в нашем воображении, и я никак не могу догадаться, что это — врожденное или привито воспитанием, и кто из нас более подходит к общечеловеческому типу. Мне кажется, что я не страдаю недостатком воображения, но я все понимаю и вижу в том свете, в котором оно действительно имеет место быть. Между тем ботаник

верит самым неправдоподобным и деланым вещам — например, убежден, что лошадь красива, что собаки — верные и преданные друзья и что некоторые женщины — безгрешные создания. Он думает, что так всегда и бывает, никогда не вырвется у него еретического отзыва о лошади, собаке и женщинах. То же — с его ботаникой. Он хочет всех заставить верить в мистическое совершенство растительного мира — все растения, по его мнению, пахнут великолепно, и когда я называю лук и чеснок, он упорно отрицает их скверную вонь. Вселенная со своими непостижимыми чудесами совершенно не интересует этого поклонника природы. Но я знаю, и меня бесит, что не все знают, что лошадь в одном отношении красива, а в другом — безобразна, что все имеет обратную сторону, от чего, пожалуй, только выигрывает. Когда люди говорят об уродствах и непотребствах животных, то мне приходят в голову или их грациозные движения, или другие моменты, когда невольно ценишь их существование. Действительно, нет никакой красоты, кроме той преходящей вещи, которая является нам от часу час; вся красота на самом деле является красотой выражения, она подлинно кинетична и мгновенна. Это справедливо даже

в отношении триумфов Греции на поприще эстетики. Греческий храм, например, представляет собой простой амбар с красиво отделанным фасадом, который под определенным углом зрения и при особенном освещении выражает великую спокойную красоту.

Все это к чему? Я искренне считаю, что все красивые вещи являются производными от определенных моментов и аспектов — то есть того, что я ценю больше, чем конечный продукт.

Нет совершенства, нет непреходящего сокровища. Умильная привязанность этой домашней собаки, говорю я, или любое другое чувственное или воображаемое наслаждение, несомненно, хорошо — но от него можно отказаться, если оно несовместимо с каким-то другим, более широким благом. Не выйдет, увы, сосредоточить все хорошие вещи вместе. Все правильные решения, все мудрые действия, безусловно, являются здравым суждением и мужественным отказом от такой несовместимости. Если я не могу вообразить мысли и чувства в мозгу собаки, которых там быть не может, то, по крайней мере, я могу вообразить блага в будущем людей, которые могли бы быть нашими, приложи мы к тому усилия…

— Нет, не по мне эта Утопия, — повторяет бо-

таник. — Вы ничего не понимаете в собаках. Для меня это те же люди, даже больше… Когда я был ребенком, у моей тети во Фрогнале жила такая веселая старая собака…

Но я не прислушиваюсь к его анекдоту. Что-то — нечто вроде совести — вдруг вернуло мне память о том пиве, которое я пил в Хоспентале, и покрыло этим воспоминанием горделиво выставленный обвинительный перст.

Признаюсь, у меня никогда не было домашних животных, хотя в детстве я любил котят.

Но ведь и любимцы, и пиво — это просто поблажки.

Да, возможно, с тем пивом я поторопился. У меня не было домашних животных, но я понимаю, что если Утопия-модерн собирается потребовать пожертвовать любовью к кошкам и собакам, которые в своем роде прекрасны, тем охотнее она может потребовать пожертвовать любовью к множеству других жизненных аспектов — даже и в самом высоком проявлении не особо-то и красивых.

Любопытно это навязчивое требование жертв и дисциплины!

Постепенно моей доминирующей мыслью становится мысль о том, что люди, чью волю

воплощает эта Утопия, должны быть немного небрежны к маленьким удовольствиям. Нельзя, повторяю, сосредоточиться на всех хороших вещах одновременно — вот мое главное открытие в размышлениях о Люцерне. Многое из остальной части этой Утопии я как бы предвосхитил, но — не это. Интересно, скоро ли я увижу свое утопическое «я» и смогу ли свободно говорить с ним…

Мы лежим в усыпанной лепестками траве под раскидистыми ветвями багряника, покуда я блуждаю в своих думах, и каждый из нас, не обращая внимания на товарища, следует своим собственным умозрительным ассоциациям.

— Интересные дела, — говорю я, обнаружив, что ботаник подошел к концу своего рассказа об удивительной фрогналской собаке своей тетушки. Это вполне его удовлетворяет.

— Не правда ли, поразительно? Как она могла узнать?

— Вот именно. Ума не приложу. — Я отвлеченно грызу травинку. — Кстати, осознаете ли вы, мой дорогой друг, что через неделю мы встретимся лицом к лицу со своими утопическими двойниками и оценим, какими мы могли бы быть?

Лицо ботаника омрачается. Он переворачивается, резко садится и кладет худые руки на колени.

— Я не люблю об этом думать, — говорит он. — Что толку — видеть, как оно *могло быть*?

§ 5

Приятно осознавать, что одним своим существованием ставишь в тупик организованную мудрость такой высшей планеты, как эта Утопия — монструозного Государства, порожденного Франкенштейном моих рассуждений об идеальном мире!

Когда мы в следующий раз оказываемся в присутствии нашего люцернского чиновника, он ведет себя как человек, столкнувшийся с непосильной мистификацией, с невероятным нарушением порядка в природе. Впервые в летописях утопической науки два случая — не один, а два, еще и рядом друг с другом! — удвоения отпечатков большого пальца. Это, в сочетании со вздорной историей о мгновенном переносе с какой-то планеты, неизвестной утопической астрономии, не укладывается в его явно нефилософском мозгу — хотя, прими он на веру нашу версию, все бы мигом объяснилось.

Официальный взгляд красноречивее официальных уст и почти настойчиво спрашивает: «Что в этой необъятной вселенной вы умудрились сделать со своими большими пальцами? И зачем?» Но на самом деле человек перед нами — всего лишь очень низкий тип чинуши, самый простой почтовый служащий, и в его распоряжении — вся флегматичная сдержанность самого неоригинального человека.

— Вы не те лица, за которых я принял вас, — произнес он таким голосом, каким говорят с неразумными детьми. — Потому что вы находитесь в вашем доме в Лондоне, — он указывает на меня, я улыбаюсь. — Что же касается этого джентльмена, — он указывает на ботаника таким сердитым жестом, что моя улыбка моментально увядает, — он приедет в Лондон на следующей неделе, в пятницу, из Цейлона, куда его направили со специальной миссией исследования паразитов, появившихся на лимонных деревьях.

В этом моменте ботаник повеселел.

— Следовательно, — чиновник вздохнул и покраснел от стыда за нелепость произносимой им фразы, — вам придется сходить посоветоваться с людьми, которыми вы должны были бы быть.

Мне делается смешно.

— Вам придется поверить в нашу планету, — заметил я.

Он отрицательно качает головой.

— Комитет заинтересовался вашим появлением, — проговорил он, — и передал это дело известному исследователю, профессору антропологии Лондонского университета. Вас просят пожаловать туда, если вы хотите переговорить с ним лично.

— Что же еще должны мы сделать? — спросил ботаник.

— Вас никто ни к чему не принуждает, — ответил чиновник, — но я полагаю, что ваша работа здесь будет прекращена. Вот ваши билеты до Лондона и небольшая, но вполне достаточная сумма денег.

Он пододвинул к нам небольшой конверт, затем с той же сухой вежливостью добавил, что нас приглашают посетить своих двойников как можно скорее.

— Не забудьте посетить также профессора — он разъяснит, я полагаю, непонятное ваше появление.

— Ну, а затем что ожидает нас?

Углы его губ опускаются, по-видимому, он старается изобразить иронию, пожимает плечами

и показывает ладони в жесте шутливой капитуляции. На Земле, где люди разделяются на нации, этот чиновник был бы французом, но из французов низшего сорта, из тех, все счастье которых заключается в механическом исполнении служебной рутины.

§ 6

Лондон будет первым большим городом Утопии, который мы посетим.

Я думаю, мы приедем туда, не без изумления поглядывая друг на друга. Это будет первое длинное путешествие по Утопии; не знаю почему, но мне кажется, что мы поедем ночью. Может быть, я думаю, что в Утопии совершают длинные поездки по ночам, чтобы не нарушать дневной работы. Поездка совершается с полным комфортом и не утомляет, а восстанавливает силы.

Мы пообедаем и попьем кофе за маленькими столиками в саду, под освещенными электрическим светом деревьями, затем прогуляемся и, решив ужинать в поезде, отправимся на станцию. Там будут устроены уютные гостиные — багаж находится в другом помещении. Вскоре зазвенит мелодичный колокольчик, и на двери проступит

ярко освещенная надпись «Лондон». Открыв дверь, мы увидим длинный комфортабельно меблированный коридор.

— Где поезд в Лондон? — спрашиваю я человека в мундире.

— Это и есть поезд в Лондон, — отвечает он нам.

Затем послышится стук запираемых дверей, и ботаник и я, тщась не казаться идиотами, медленно пойдем по широкой изящной галерее, напоминающей курительную комнату в клубе.

— В первоклассном клубе, — поправляет меня ботаник.

Когда долго путешествуешь, то ничто, по-моему, так не надоедает, как беспрестанное мелькание пейзажа в окне. Но здесь, в Утопии, подумали об этом, и в поезде в два раза более широком, чем его скромные земные братья, пассажирам предоставляются другие развлечения, чем бесконечное рассеянное гляденье наружу. Посредине длинного коридора, который здесь изображает поезд, расположена прекрасная библиотека с мягкими диванами, креслами и отдельными письменными столами. На каждом горит под зеленым абажуром электрическая лампа. Далее расположена комната для чтения газет,

в углу которой работает бесшумный аппарат, передающий новости со всего мира, далее расположены курительная, биллиардная и столовая, за которой следуют спальни, ванные, парикмахерские и так далее.

— Скоро ли мы тронемся? — интересуюсь я, когда, осмотрев все вышеописанное, сажусь наконец-то в уютное кресло.

Ботаник касается моей руки, кивает на хорошенькое застекленное оконце, через которое мы видим, как мелькает деревня, спящая под облачным лунным светом. Затем — залитое небом озеро, вереница колеблющихся огней, пропадающих один за другим со скоростью схождения диафрагмы фотоаппарата… Скорость — двести миль в час!

С помощью почтенного китайца-управляющего мы нашли спальни и с наслаждением растянулись на мягких чистых постелях. С нашей стороны, может быть, было уж слишком по-земному не поинтересоваться литературой в Утопии, но мне уж очень хотелось освободиться от надоедливого спутника-ботаника и полежать спокойно, обдумывая все подробности этого необыкновенного путешествия.

Странно, отчего, лежа на кровати в темноте,

кажется, что находишься на одном и том же месте, несмотря на то что каждую секунду — пребываешь в движении, в процессе переправки на новые места… а когда засыпаешь, то новых мест уже будто нет… Кажется, я задремываю, мысли мои непоследовательны. Ровный, чуть слышный стук колес под вагоном доносится до меня теперь явственнее. Однако это не знакомый по Земле тяжелый, неприятный скрип, этот звук скорее походит на равномерное журчание ручья…

Нам не придется вылезать из вагона и переходить на пароход. Нельзя предположить, чтобы в таком государстве, как Утопия, остановились перед постройкой подземного туннеля через Ла-Манш.

Когда я проснулся, поезд уже был в Лондоне, потому что эти чудесные жители Утопии обнаружили, что нет необходимости высаживать пассажиров из поезда в ранние часы только потому, что они прибыли. Поезд здесь — это всего лишь своеобразный гостиничный коридор, который летает по городам и весям, пока человек спит.

§ 7

Чем поразит нас великий город Утопии?

Чтобы последовательно ответить на этот вопрос, нужно быть художником и инженером, а я ни первым, ни вторым не являюсь. Кроме того, придется прибегнуть к несуществующим словам и фразам, ибо этот мир открыл совершенно новую, неведомую нам область фантазии. Мастерство инженера и вкус художника уже обручились, а что лежит перед ними в дымке… разве же опишешь такие вещи людям, которые скорее восхитятся уродливым, царапающим глаз арматурно-фламандским бастардом — лондонским Тауэрским мостом! Авторы старых утопий любили писать о могущественных зданиях, которые когда-нибудь будут возведены. Иллюстраторы их трудов сублимировали из бедного, бесплодного авторского многословия что-то витиеватое, гротескное, в духе ар-нуво. Что ж, надеюсь, в этот текст иллюстратор не сможет вмешаться!

Искусство едва зародилось в мире Утопии. Оно знает нескольких пращуров, но и только. Леонардо, Микеланджело; как бы они радовались

вольностям стали! В архивах искусства нет более пафосного документа, чем меморандум Леонардо. В нем художник предстает этаким фанатиком, что тянется вожделеющими руками к пока еще не оформившимся инструментам инженера. И Дюрер тоже был модернистом, с той же охотой до творческого изобретательства. В наше время они захотели бы построить виадуки, навести мосты в диких и труднодоступных местах, проложить и пересечь великие железные дороги через горные массивы мира. Можно раз за разом видеть в работах Дюрера воображаемый архитектурный ландшафт помпейских стен — мечты о сооружениях, более легких и смелых, чем могут позволить камень и кирпич…

Здесь будет одно из великих мест встречи человечества. Здесь — я говорю об утопическом Лондоне — будет традиционный центр одной из великих рас, сплоченных в союзе Мирового Государства — и здесь будет ее социальный и интеллектуальный хаб. Могучий университет с тысячами профессоров и десятками тысяч продвинутых студентов, несколько издательских домов, занимающихся научными литературой и публицистикой, колоссальные библиотеки и мощная организация музеев. Эти светочи будут

привлекать огромное количество людей, и их будет в достатке и в окрестностях — ибо я, англичанин, должен оговориться, что Вестминстер по-прежнему будет резиденцией мировой Империи, одной из нескольких резиденций, если хотите — там, где собирается правящий совет мира. Искусства соберутся вокруг этого города, как золото собирается вокруг мудрости, и здесь англичане будут вплетать в чудесную прозу, прекрасные ритмы и утонченные атмосферные формы сложное, строгое и мужественное воображение нашего народа.

В это место будут входить, как в благородный особняк. Здесь воздвигнут большие арки и стеклянные купола над широкими просторами города. Стройная красота этих совершенных металлоконструкций высоко над головой будет смягчена лондонским воздухом до сказочной нематериальности. Это будет знакомый нам лондонский воздух, чистый от грязи и всякой нечистоты, тот самый воздух, что придает нашим октябрьским дням неизреченную ясность и превращает каждые лондонские сумерки в таинственно прекрасные. Мы пройдем по улицам, которые будут освобождены от последних воспоминаний о приземистых храмовых ложах греков

и о пышных изгибах Рима; готы в нас будут относиться к стали и бесчисленным новым материалам так же любезно, как когда-то — к камню. Весело и быстро движущиеся платформы общественных путей пройдут по обеим сторонам, неся спорадические группы людей, и очень скоро мы окажемся в своего рода «центре», изобилующем пальмами, цветущими кустами и скульптурами. Вдоль аллеи деревьев, вниз по широкому ущелью между скалами гостиниц и переполненных отелей, опаленных внутренним светом, направим мы взор туда, где сияющие утренние речные потоки омывают рассветом море.

Здесь великое множество людей — красивые девушки и юноши, идущие на занятия, которые проводятся в величественных дворцах вокруг нас, серьезные и способные мужчины и женщины, идущие по своим делам, дети, разбегающиеся по домам. Здесь-то мы и спросим этот чудесный мир о двух людях, коих ищем более конкретно. Изящная маленькая телефонная будка сделает нас ближе к ним, и со странным чувством нереальности я обнаружу, что говорю со своим утопическим близнецом. Он слышал обо мне, он хочет меня видеть и дает мне четкие указания, как к нему прийти.

Интересно, мой собственный голос звучит так же?

— Хорошо, — ответил я. — Я приду к вам сразу, как найду отель, где можно остановиться. — Несмотря на то, что в словах наших не было ничего необыкновенного, его голос привел меня в смущение. Меня била легкая дрожь, телефонная трубка едва не выпадала у меня из руки.

Оказалось, что комнаты в гостинице для нас уже заказаны. Мы отправились туда и были приятно удивлены, когда увидели, что все наши книги, одежда и различные мелочи, которыми мы обзавелись за время жизни в Утопии, уже доставлены. Пока мы идем, я обнаруживаю, что мне почти нечего сказать моему спутнику, пока меня не одолевает мимолетное удивление, что ему так мало хочется сказать мне.

— Право, мне трудно поверить, что я иду к самому себе, то есть к тому, кем я мог бы быть, — сообщаю я ему.

— В самом деле? — говорит он рассеянно. Я стараюсь догадаться, о чем это он может так усиленно думать, и это отвлекает меня от собственных мыслей. Предстоящий визит перестает волновать меня, и я незаметно для себя вхожу на ступени большого красивого дома.

— Вот обиталище моего двойника, — объявляю я и стучусь в высокую дверь.

Глава восьмая
Мое утопическое «я»
§ 1

Немногим из нас приходится брать интервью у самих себя. Мое утопическое «я» — это, конечно, мое лучшее «я», взращенное в соответствии с лучшими усилиями, и я полностью готов к потенциальным трудностям ситуации. Когда я угодил в эту Утопию, я и не думал о таком глубоком самоанализе.

Вся ткань этой другой вселенной на мгновение колеблется, когда я вхожу в его комнату, в его чистую и упорядоченную рабочую комнату. Я дрожу. Фигура несколько выше меня стоит против света.

Он идет ко мне, и я, направляясь ему навстречу, спотыкаюсь о стул. Затем, все еще не говоря ни слова, мы обмениваемся рукопожатиями.

Теперь я стою так, чтобы свет падал на него, и могу лучше видеть его лицо. Он немного выше меня, выглядит моложе и здоровее; из тех болезней, что сформировали меня, его, думаю, и половина не коснулась, да и шрама над глазом

нет. Он более осанист и красив — что ж, этого стоило ожидать. Мне кажется, или он слегка морщится от укола сочувственного понимания моей явной неполноценности? Воистину, я к нему иду, таща за собой массу земных смятений и слабостей; я ношу на себе все недостатки моего мира. Он носит, как я вижу, ту белую тунику с пурпурной лентой, которую я уже начал считать подходящей утопической одеждой для серьезных мужчин, и его лицо чисто выбрито. Атмосфера между нами до того напряженная, что мы поначалу забываем даже говорить.

— У вас приятная комната, — замечаю я и немного смущенно оглядываюсь, потому что здесь нет ни камина, к которому можно было бы прислониться спиной, ни коврика у камина, на который можно было бы встать. Он подталкивает меня к стулу, я плюхаюсь на него, и мы «зависаем», обдумывая бесчисленные темы для первого разговора.

— Что вы думаете про меня? — поинтересовался наконец я. — Надеюсь, вы не принимаете меня за мошенника?

— После того, как увидал вас — нет.

— Схожесть столь заметна?

— Дело даже не в вас, а в вашей истории.

— Итак, вы ничуть не сомневаетесь?

— Мои сомнения исчезли, когда вы появились. Вы пришли сюда с планеты, которая лежит за Сириусом и представляет собой двойник этой, не так ли?

— И вы даже не спрашиваете меня, каким образом я попал сюда?

— Я даже перестал задаваться вопросом, как сам здесь оказался, — говорит он со смехом, который перекликается с моим. Он откидывается на спинку кресла, и я — за ним.

— Так ведь удобнее? — спрашиваем мы друг друга в унисон, после чего — долго таращимся друг на друга и в конце концов — смеемся вместе.

Признаюсь, эта встреча оказалась более трудной, чем я ожидал.

§ 2

Наш разговор при той первой встрече мало что сделал для развития в моем сознании ясной концепции Утопии-модерн — он неизбежно вышел личным и эмоциональным. Двойник рассказывал мне, каково ему было в его мире, а я — каково мне было в моем. Я должен был ему кое-что ска-

зать, я должен был кое-что объяснить…

Нет, суть этого разговора ничего не даст тебе, читатель.

И поэтому я опускаю его.

§ 3

К своему другу-ботанику я вернулся в состоянии эмоциональной расслабленности. Едва ли я сразу обратил внимание на то, что он тоже каким-то образом взволнован.

— Только что повидал своего двойника, — сообщил я ему с самым беспечным видом и затем несколько мгновений спустя добавил, с искренней усталостью в голосе: — Чрезвычайно странный опыт — никому не посоветую.

Но у ботаника были свои заботы. Он прервал меня и весь бледный от волнения произнес:

— Знаете, кого я видел?

Я пристально вгляделся в его переменившийся лик.

— Ее, — пробормотал он дрожащим голосом. — Я видел ее в этом мире.

— Кого? — удивился я.

— Мэри.

Я не знал, что ее зовут Мэри, но догадался, что

речь идет о несчастной любви ботаника.

— Я видел ее, — продолжал он.

— Не может быть, — произнес я лишь для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Я уверен! Я убежден! Это была она! — воскликнул ботаник. — Она стояла далеко от меня в саду, и, прежде чем я пришел в себя, она ушла. Но это была Мэри, я ее узнал.

Он подошел ко мне и дружески взял за руку.

— Знаете, я раньше не понимал. Когда вы говорили мне про Утопию и про счастливых людей — я ровно ничего не понимал. Я не знал тогда, о каком счастье вы говорите… я не понял ваших намеков… Можете возмущаться, но во всех ваших речах, да и в вас самих, было что-то от Грэдграйнда[36]…

— Ну да, — довольно киваю я. — Я Грэдграйнд, это совершенно правильно — и все, что вы можете прочесть о Герберте Спенсере, вивисекторах, материалистической науке или атеистах, относится ко мне без поправок. Итак, теперь вы лучшего мнения о том мире, в который мы уго-

---

[36] Notes: 36

Томас Грэдграйнд — печально известный суперинтендант школьного совета в романе Чарльза Диккенса «Трудные времена». Его имя в английском является нарицательным для холодных людей, интересующихся лишь фактами и цифрами.

дили? Прекрасно. Что же, она выглядела здесь счастливой?

— Да. Такой, как в прежнее время. Это совсем не та измученная женщина с разбитым сердцем, которую я встретил на Земле.

— И она будто бы тоскует по вам, — заметил я.

Он с недоумением уставился на меня.

— К чему вы клоните?

— Посмотрите-ка сюда, — попросил я его.

Он послушно обернулся и взглянул по направлению моей руки. Мы стояли на балконе, на который выходили наши комнаты, и я указал ему на ярко-зеленую лужайку, на которой высилось белое мраморное здание. Кипенно-белые стены зримо выделялись на зеленом фоне старинных раскидистых лип, а белые башенки на крыше тонули в прозрачной синеве неба.

Ботаник опять с недоумением взглянул на меня.

— Но какое же это имеет отношение к ней? — спросил он.

— Очень большое, — серьезно ответил я. — Вы видите, как мало напоминает это роскошное здание университета грязные дома в земном Лондоне. И если она здесь, то она будет умнее, энергичнее и требовательнее, чем там. Она будет

моложе и прекраснее…

Он с негодованием прервал меня.

— Она? Прекраснее? Куда уж!

— Хотя бы не забывайте, что она может не знать и не понимать многого из того, что вы вспоминаете постоянно. Долгие прогулки, тихие воскресные вечера, поэтическая прелесть первой любви… Может статься, здесь этого совсем не было. Может быть, она лелеет другие воспоминания. Вы заметили, как она была одета? Она не принадлежит к Самураям?

Он отвечает с ноткой удовлетворения:

— Нет! На ней было женственное платье серовато-зеленого цвета.

— Вероятно, по Малому правилу.

— Не знаю, что вы имеете в виду под Малым правилом. Она не из Самураев.

— И ведь вы знаете — я всё напоминаю вам, а вы всё теряете связь с тем, что в этом мире есть ваш двойник…

Он бледнеет, и его лицо обеспокоено. Слава богу, я наконец достучался до него!

— В этом мире есть ваш двойник. Но, допустим, здесь все может быть иначе. Вся эта романтическая история могла пойти по иному пути. Так было и в нашем мире, по случайности обычая

и близости. Подростковый возраст — беззащитный податливый период. Вы — человек, способный вызывать большие чувства, благородные, большие чувства. Вы могли бы встретить кого угодно почти в то же время года и сформировать такую же привязанность… к совершенно другой девушке.

Какое-то время он озадачен и обеспокоен этим предложением.

— Нет, — говорит он с некоторым сомнением. — Нет. Только она…

И затем — решительно:

— Нет! Даже здесь… даже здесь мое сердце не могло ошибиться.

§ 4

Какое-то время мы больше не говорим, и я размышляю о своей странной встрече с моим утопическим двойником. Я думаю о признаниях, которые я только что сделал ему, о странных признаниях и ему, и себе. Я сломал застой своей эмоциональной жизни, разбередил спящую гордость, вкусил вновь надежды и разочарования, которые не беспокоили меня годами. Есть вещи, которые произошли со мной в моем отро-

честве — которые никакая дисциплина разума никогда не сгладит. Первые унижения, какие пришлось пережить; растрата всех прекрасных невосполнимых верностей и страстей моей юности… Скучная низшая каста моей маленькой личной трагикомедии — актеров которой я якобы простил, а большей частью забыл, — а между тем, когда я вспоминаю о них, я все еще ненавижу каждого отдельно взятого персонажа. Да, всякий раз, когда отрочество приходит мне на ум, я делаю все возможное, чтобы его отвадить, чтобы разные грязные личности не затмевали мне звезды.

Я рассказал обо всем своему двойнику, и он выслушал меня с понимающим взглядом. Но какое-то время эти убогие воспоминания не канут в глубину. С балкона нашей жизни мы, застигнутые эгоизмом, смотрим в минувшее, забыв про дворец благородных мечтаний кругом.

§ 5

Сегодня днем я могу понять ботаника; на этот раз мы с ним на одной волне. Мой сухой характер интеллектуала взял отгул на сегодня, и я в полной мере понимаю, каково это — быть

несдержанным. Я здесь, в этом чудном мире — хочу приобщиться к нему, хочу быть здесь, хочу стать полезным ему: но мыслями я — все равно в минувшем, я только и думаю о том, насколько обожжен и изранен им, сколь многие земли уступил своим подлым торжествующим врагам…

Поразительно, сколь много людей здесь обрели настоящую свободу мысли и нисколько не стеснены такими ассоциациями. Все великое и благородное в жизни никогда не покажется им второстепенным по отношению к мелочной ненависти и соперничеству земного общества, к подобной болезнетворному микробу жажде самоутверждения, к карликовой гордыне и ко всем тем привязанностям, опрометчиво данным мальчишками в залог еще до того, как из них выросли мужчины.

Я знаю, что ботаник рядом со мной мечтает заполучить ту женщину.

Весь этот мир перед нами, его порядки и свободы — не более чем нарисованная сцена, на которой он должен наконец встретиться с Ней, освобожденной от «этого негодяя». И даже если его противник все еще здесь — тем лучше, пусть узрит долгожданный момент торжества и падет ниц…

Интересно, был ли этот человек *подлинным* негодяем? Он, без сомнения, ошибался на Земле, он дал себе пресытиться и выродиться, но что же заставило его свернуть не туда? Была ли его неудача естественной, или какая-то сеть противоречащих друг другу целей опутала его ноги? Предположим, он не столь порочен в Утопии!..

Удивляюсь, что это никогда не приходило в голову ботанику.

Он ведь, с его более темным умом, способен проигнорировать — несмотря на легион моих безжалостных напоминаний — *любое* обстоятельство, которое могло бы омрачить его смутные предвосхищения. Подбрось я ему мысль об утопической порядочности соперника — он бы и ее проигнорировал и загнал под сукно. Он обладает завидной способностью сопротивляться чуждым идеям; я восхищен и одновременно возмущен ей! Он ненавидит мысль о встрече со своим двойником, и поэтому, как только я перестаю говорить об этом событии — выметает ее из ума, практически не напрягая волю.

Внизу, в саду, двое мальчишек играют в салки, и один, почти пойманный, громко кричит — и пробуждает меня от задумчивости.

Я слежу за двумя порхающими бабочками,

пока они не исчезают за кустом цветущего рододендрона, и тогда я опять обращаю свой взор к величественному зданию университета.

Он тоже заговаривает про это здание. Но я не расположен критиковать архитектуру.

Почему Утопии-модерн так хочется выскользнуть из рук своего создателя и стать фоном ничтожной, маленькой человеческой драмы — вдобавок драмы несказанно глупой?

Никак иначе ботаник не способен воспринять этот мир. Вкус его совершенно подчинен индивидуальности тех или других личностей. Он ненавидел Утопию, потому что подозревал в ней страну смерти для дорогого преданного мопса его тетки. Теперь он примирился с ней, и все здесь рисуется ему в розовом свете, потому что какая-то Мэри кажется здесь счастливее и моложе, чем на Земле. А я выслушиваю его замечания и невольно становлюсь на его точку зрения.

Мы согласились очистить это государство от всех людей, исповедующих нелепые традиции, устраивающих общества и насаждающих абсурдные законы искусственным путем для свободных людей, но мы не были достаточно сильны, чтобы освободиться от самих себя. Наше прошлое, даже самые ничтожные злоключения, недоразумения

нашей жизни и мы сами — едины, и с этим ничего не поделать.

Мне остается только вернуться к опущенному выше разговору с двойником — и кое-что прояснить тебе, читатель, о Самураях, об их Правиле и многих других удивительных вещах, пока еще — немыслимых на Земле.

Глава девятая
Самураи Утопии
§ 1

В ходе разговора мой двойник усвоил множество понятий о моем мире, а я — мало-помалу систематизировал мысли, крутившиеся в моей голове с самого времени прибытия на его планету. Оказалось, что интерес к благоустройству государственного управления — общая для нас двоих черта, пусть и скорректированная огромной разницей в воспитании и привычках.

Я сказал ему, что прибыл в Утопию с весьма неопределенным представлением о лучшем способе управлять народами. Некоторую склонность я, конечно, имел к выборной системе, но она тоже была неопределенна, а в Утопии я все яснее и яснее начал понимать, что сложная организации ее управления требует более действенных способов контроля, чем те, что могут быть предоставлены выборной системой.

Постепенно я начал различать среди разнообразных типов одежд многие разновидности личностей, встречаемых в Утопии — отдель-

ных мужчин и женщин, резко отличающихся от других как по костюму, так и по манере себя держать; и теперь мне ясно, что эти люди вхожи в особый орден, окрещенный давешним блондином-паганистом «самозваными патрициями». Сами себя они зовут Самураями — и в Утопии-модерн играют роль наиболее мощных пружин государственного механизма.

Их орден открыт для каждого физически и умственно здорового совершеннолетнего гражданина, готового соблюдать предписываемые им строгие правила жизни, и значительная часть ответственной государственной работы лежит на Самураях (возможно, я приписываю им с излишней горячностью более значительную роль в государственном устройстве Утопии, чем они действительно имеют, ибо эти люди представляются мне совершенным проявлением идеи, создавшей саму Утопию-модерн). Даже самого общего описания ордена хватило, чтобы сильно воспалить мой интерес. Образ Самураев, проступая и формируясь в моем мозгу, все больше и больше напоминал Хранителей из «Республики» Платона, и, держа в уме постулаты этого почетного древнего мужа, мы с двойником стали обсуждать данное социальное явление.

Двойник поведал мне разные подробности истории Утопии, и неожиданно мне пришлось сделать поправку к тем положениям, на которых основана была моя теория Утопии. Одним из таких положений было полное тождество Утопии с нашей реальной Землей, за исключением нравственных и умственных различий. Последним обуславливается различие в литературе, философии и в истории, но как только мы начали беседу с моим двойником, я осознал, что, хотя полное соответствие в населении между Утопией и Землей должно быть соблюдено во избежание самых невероятных усложнений, стоит взять в расчет, что ряд последовательных поколений лиц, одаренных большими талантами, энергией и характером, умерших на Земле в раннем детстве или при рождении, или оставшихся на Земле безграмотными, или же живших и умерших в грубой обстановке и дикой среде, без возможности для их талантов раскрыться, встретили в Утопии более счастливые условия, содействовавшие развитию и применению социальной теории, постоянно прогрессируя — с самых ранних дней вплоть до сегодня.

Параллельно обнаружилось, что в числе четырех пятых древнеэллинской литературы,

погибших для мира, находились величайшей важности труды, не утраченные в Утопии и оставившие глубочайший след в умах. Таким образом, различие в социальных условиях между Утопией и Землей возрастало с каждым историческим годом.

В Утопии Иисус Христос родился во времена либеральной и прогрессивной Римской империи, простиравшейся от Северного Ледовитого океана до Бенинского залива, не знавшей ни упадка, ни падения, и при Магомете, который, вместо выражения туманных предрассудков невежественных арабов, выступал от народа, чей умственный горизонт охватывал почти весь мир. Поток творческой мысли лился безостановочно, разрастался все шире и шире. Случались, конечно, войны, но это были войны, устанавливающие новые стабильные отношения между народами и уничтожавшие язвы общества. Злостные нападки превращались в сдержанную критику, а ненависть сменялась спокойным противодействием.

Несколько сотен лет назад великая организация Самураев приняла свой актуальный вид, и именно ее широкомасштабная деятельность оформила и установила Мировое Государство

в Утопии-модерн. Будучи вполне преднамеренным изобретением, орден возник в ходе схожих с земными социально-политических волнений и осложнений, став последним из целого ряда политических и религиозных экспериментов, восходящих к первому рассвету философского государственного искусства в Греции.

То поспешное отчаяние в специализации правительства, которое дало нашему бедному миру индивидуализм, демократический либерализм и анархизм, и то особое пренебрежение запасами энтузиазма и самопожертвования в людях, что является фундаментальной слабостью экономики, не проявлены в истории утопической мысли — она вся пронизана признанием того факта, что своекорыстие составляет не более от человеческой жизни, чем утоление голода; что оно, вне сомнений, является существенной частью нашего бытия, и что при неблагоприятных обстоятельствах может захлестнуть человека с головой и подчинить, точно голод. Но всякий здравомыслящий человек состоит из возможностей, выходящих за пределы неизбежных потребностей, способен к бескорыстному чувству, даже если оно сводится только к увлечению спортом, искусством как хобби или хорошо сде-

ланной работой на производстве. В нашем мире теперь, как и в утопическом прошлом, безличная энергия человека уходит в религиозное волнение и работу, в патриотические усилия, в художественные увлечения, в игры и занятия чем-либо на любительском уровне, составляя огромную долю всего мирового фонда усилий. В Утопии-модерн действительно не будет совершенства; в Утопии тоже должны быть трения, конфликты и расточительство, но расточительства будет неизмеримо меньше, чем в нашем мире. И координация действий, которую будет измерять этот относительно меньший отход, будет достигнутой целью, ради которой изначально и была придумана концепция ордена.

Разумеется, орден Самураев возник сначала в качестве революционной организации во время столкновения между различными политическими силами и системами. Думаю, целью он ставил достижение какого-либо утопического идеала. Сначала он, вероятно, посвящал себя научным исследованиям и рассуждениям, выработке плана кампании, но на известной ступени развития стал более воинственным, подчинил себе другие ранее существовавшие организации и сам сделался как бы синтезом всемирного госу-

дарства. Следы прежней воинственности должны оставаться и теперь, и ныне он должен быть способным к борьбе не с какими-либо врагами, но с общечеловеческими слабостями — неодушевленными силами, разлагающими человека.

— Кое-что в этом духе наклевывалось и в нашем мире, — сказал я своему двойнику, — как раз перед тем, как я перенесся в Утопию. До меня даже дошли сведения о так называемой Новой Республике, которая в сущности являлась революционной организацией, вроде ваших Самураев, только детали организации и правила жизни оставались тогда еще не проработаны. Всякого рода люди стремились к чему-то подобному. Сама мысль об этом еще находилась в зачатке и казалась довольно грубой. Она игнорировала шансы синтеза языков в будущем и исходила от литератора, писавшего — да и то довольно расплывчато! — только на английском языке, и в целом должна была стать сугубо англоязычным движением, что уже промах. Еще она сильно отдавала современным оппортунизмом — казалось, что ее автор ищет какого-либо принца в изгнании или гения-миллионера, который поддержал бы его и помог образовать свою партию. Однако представление о сознательном

движении просвещенных людей, стоящих выше партийных раздоров и ура-патриотизма, было присуще этой идее.

— Наше движение сначала велось в том же направлении, — ответил мне мой двойник. — Но, по-видимому, ваши земные люди мыслят обо всем отрывочно, основа у них сравнительно узкая, из случайно нагроможденных заключений, тогда как нам основой служили наука общественных союзов и подробный анализ ошибок наших предшественников. В сущности, ваш мир, подобно нашему, должен быть наполнен развалинами былых начинаний, обломками церквей, аристократий, орденов, культов…

— Только теперь мы, по-видимому, утратили всякую надежду на будущее! Теперь у нас уже не возникает ни новой веры, ни новых каст, ни новых религий — никаких начинаний нет.

— Вероятно, это только отдых на долгом пути. Вы говорили…

— О, оставим эту несчастную планету в покое! Расскажите мне, как вы управляетесь в Утопии.

§ 2

Социальные теоретики Утопии, объяснил мой двойник, не основывали свои схемы на делении людей на труд и капитал, земельный процент, торговлю спиртными напитками и тому подобное. Они считали их случайными категориями, бесконечно поддающимися управлению государством, и искали какую-то практическую и реальную классификацию, на которой можно было бы основывать организацию[37]. С другой стороны, еще более чужда утопическому уму гипотеза, что люди не поддаются классификации в силу практической однородности, которая лежит в основе современных демократических методов и всех заблуждений земного равноправия.

Конечно, всякое классовое распределение в Утопии — временное, так как человечество стремится к конечному единству, но в целях по-

---

[37] Notes: 37

В этом они, кажется, извлекли выгоду из более тщательной, чем на Земле, критики ранних социальных и политических спекуляций. Социальные спекуляции греков, например, имели тот же первичный недостаток, что и экономические спекуляции восемнадцатого века — они все исходили из предположения, что общие условия преобладающего актуального положения дел будут отличаться постоянством. — *Прим. автора.*

литически-социальных принята классификация по темпераментам, основанная на различиях характеров и способностей к восприятию идей и воображению.

Эта классификация довольно пространна и настолько ненаучная, что иные индивиды подходят не только к двум, но даже к трем категориям одновременно. Однако она достаточно удовлетворяет требованиям политической организации. Различаются четыре главных класса: Кинетики, Созидатели, Низменные и Глупцы. Предполагается, что первые два составляют живую ткань государства; последние суть опоры и сопротивления, кость и покров его тела. Они не являются наследственными классами, и нет никаких попыток создать какой-либо класс путем специальной селекции: запутанная игра наследственности неуловима и не поддается исчислению. Это классы, к которым люди причисляются по собственному желанию.

Класс ментальной индивидуальности Созидателей подразумевает широкий ранг типов, но они сходны в том, что обладают воображением, простирающимся за пределы известного и общепринятого, включающим желание довести открытия, сделанные в таких «экскурсиях

за грань», до всеобщего знания и признания. Масштабы и направления действий Созидателей могут очень сильно различаться. Это могут быть изобретения чего-то нового или открытия чего-то доселе неизведанного. Когда изобретение или открытие — это прежде всего красота, тогда мы имеем художественный тип созидательного ума; в противном случае перед нами ученый. Область открытий и изобретений может быть конкретизирована, как, например, в искусстве стеклодува или в науке цитолога, или — может быть раздвинута до таких широких пределов, когда художественное и научное начало сливаются и категориально порождают философа. Человечество обязано почти всеми своими характерными мыслеформами этому типу людей и их накопленной за всю историю деятельной энергии. Все религиозные идеи, все понятия о добре и красоте вошли в жизнь путем созидательного вдохновения человеческого ума. Формы, которые примет человеческое будущее, должны овеществляться людьми того же типа, и для нашего модернистского представления об обильном светском прогрессе первично необходимо, чтобы их деятельность была беспрепятственной и стимулируемой.

Класс Кинетиков тоже состоит из людей разных типов, объединен с менее выдающимися представителями класса Созидателей, что отличаются более ограниченной и приземленной фантазией. Впрочем, в доступных пределах воображение у них работает так же живо, а иногда даже и живее, чем у представителей предыдущего класса. Весьма часто это очень умные и чрезвычайно способные люди, которые не создают и не имеют желания создавать ничего нового. Сильнейшие представители этого класса — наиболее способные люди во всем мире к восприятию научных истин, и вообще этот класс нравственнее и более надежен, чем класс Созидателей. Его представители *живут*, а Созидатели большей частью *ставят опыты над жизнью*. Представители обоих классов могут быть физически здоровыми и нездоровыми людьми, обладать чрезмерной или недостаточной энергией, чувствительностью, развитой в том или ином направлении — но энергичный Кинетик, по-видимому, ближе всего подходит к идеалу, что рисуется нашим антропологам, когда они говорят о «нормальном» человеческом существе. Само определение класса Созидателей наводит на мысли о легкой ненормальности.

Обитатель Утопии различает две крайности в развитии Кинетиков в зависимости от силы их воображения. На одном конце стоят обычные неоригинальные интеллигенты, из которых, при некоторых затратах личной энергии, выходят прекрасные судьи и администраторы, а при отсутствии оных — трудолюбивые математики, преподаватели, не возвышающиеся над общим уровнем ученые. На другом конце стоят люди с более развитой чувствительностью, но тоже не оригинальные. К этому отделу, к той части его, в которой личная энергия стоит на довольно низком уровне, принадлежит и мой друг-ботаник. Во второй отдел включены люди с высокой энергией, как, например, ведущие актеры, народные ораторы и проповедники. Между этими крайностями простирается громадная область, объемлющая множество разновидностей, куда входят надежные работники всех отраслей труда, заслуживающие полного доверия мужчины и женщины, так называемые «хлеб-соль» человеческого общества.

Ниже этих двух классов, по ранжиру, господствующему в Утопии, стоит класс Глупцы. В него входят люди без всякой способности к воображению, которые, по-видимому, никогда ничего

не могут изучить как следует, недослушивают и ни во что не вдумываются. Я полагаю, что если все люди были бы тщательно воспитываемы, то Глупцов оказалось бы незначащее меньшинство, но читатель может держаться иного мнения по этому вопросу. Это индивиды — ленивые, живущие одними формальностями подражатели; во всяком хорошо организованном государстве им следовало бы группироваться на уровне низшего заработка, установленного для вступления в брак, и даже ниже его. Законы наследственности слишком таинственны и малоисследованы, чтобы на их основании лишать этих людей права произведения потомства, но сами по себе они не дают надежного материала для плодотворной государственной работы и для управления государством.

Наконец, с презрительным отношением ко всем правилам логической классификации, люди Утопии, изобретшие теорию государственного правления, образовали класс Низменных. Низменные люди могут быть и Созидателями, и Кинетиками, и Глупцами, но большей частью принадлежат к последнему типу. Принадлежность их к своему классу обуславливается не столько качеством их воображения, сколько

извращениями оного, заслуживающими особого внимания государственных деятелей. Низменные люди более эгоистичны (причем устойчиво и узконаправленно эгоистичны), хвастливы, их черта — полное отсутствие откровенности; они скрытны, и у них большая склонность к жестокости.

По терминологии, принятой нашей земной психологией, бездумно избегающей анализа, низменные люди — это те, у которых отсутствует нравственное сознание. Они антагонистичны всякой государственной организации.

Все это, как водится, лишь попытка классификации, и никто из обитателей Утопии никогда не применяет ее к тому или иному индивидууму, ибо она недостаточно точна для того, чтобы можно было сказать: «Вот этот — наверняка Созидатель, а этот бесспорно Низменный»; в действительности все отличительные признаки очень часто смешиваются, а разновидностей бесчисленное множество. Эта классификация не для достижения теоретической истины, а для практических целей. Рассматривая человечество как совокупность отдельных индивидуумов, значительно удобнее не обращать внимания на отдельные личности и на случаи смешения

признаков, а просто предположить, что оно разделяется на Созидателей, Кинетиков, Глупцов и Низменных.

§ 3

Деятели Утопии, основавшие Мировое Государство, поставили себе задачу организовать такое революционное движение, которое поглотило бы все существующие правительства и сплотило бы их в один прогрессивный, способный к улучшениям и в то же время устойчивый, могущественный и деятельный аппарат. Задача согласования прогресса с политической устойчивостью до тех пор еще не была решена в Утопии-модерн — равно как не решена она и на Земле. Так же, как история Земли, история Утопии заключалась в последовательной смене держав, то возникавших, то распадавшихся, причем устойчивые консервативные державы чередовались с державами либеральными, но неустойчивыми. История жизни отдельных государств тоже протекала одинаково как на Земле, так и в Утопии-модерн. Сперва благодаря созидательному духу человечества развивалась идея объединения людей, и возникало новое государство. То

в одну, то в другую область народной жизни входили деятельные Созидатели, уступавшие затем свои места Кинетикам высшего типа. По-видимому, по самой природе своей Созидатели взаимно отталкиваются и не могут воздействовать друг на друга. При Кинетиках государство достигало большего развития и могущества, но одновременно стагнировало в созидательных вопросах. Государственные деятели уступали места простым политиканам. Кинетики, ассимилирующие идеи своих созидательных предшественников, действовали с большей успешностью, чем Созидатели — последние по своей природе недисциплинированны и склонны к рискованному экспериментаторству. Всякие прецеденты и заботы о поддержании порядка только связывают их и мешают им действовать, но с заменой деятелей творческого типа деятелями типа рассудительного государство переставало расти сначала в одной области своего развития, затем в другой — и так далее. Пока условия его существования остаются неизменными, оно остается все таким же могущественным и порядок в нем поддерживается столь же деятельно и успешно, но оно утрачивает способность к инициативе и к улучшениям. Государство уже не может приноравливать-

ся к изменяющимся условиям жизни, а так как непреложным законом жизни является постепенное, веками нарастающее преображение ее условий, то начинаются недоразумения как внутри, так и за пределами государства, которые в конце концов с помощью революции или внешнего поражения приводят к новой власти Созидателей. Разумеется, процесс развивается не так просто, иногда он усложняется тем, что одна область государственной деятельности может находиться еще в созидательной стадии своего развития, тогда как другая перешла уже к стадии кинетической. Например, в Северной Америке в течение девятнадцатого века замечалась усиленная созидательная деятельность в промышленной области наряду с абсолютным отсутствием таковой деятельности в области философско-политической, но тщательный анализ любого исторического периода науки всегда обнаруживает факт этой «смены настроений».

Ввиду этого задачей философов в Утопии было разрешить вопрос — так ли необходима эта смена, действительно ли человеческий прогресс является лишь последовательной чередой развития, сменяющегося замиранием, которое в свою очередь сменяется новой вспышкой жизни после

периода, во время которого господствует беспорядок, спокойствие нарушается и несчастье становится уделом очень многих людей. Или же возможно установить спокойное, счастливое и прогрессирующее государство, чья поступательная эволюция обусловливается постоянным притоком творчества Созидателей?

По-видимому, они решили, что существование подобного государства вполне возможно, и не только решили задачу теоретически, но, если можно поверить словам моего двойника, и практически — тоже. И он поведал мне, как им это удалось.

Утопия-модерн отлична от предшественниц признанием необходимости созидательной деятельности. Впервые это признание было допущено Контом: нравственное переустройство должно предшествовать политическому, допускалась необходимость новых романов и поэм об Утопиях. Сначала кажется, что это признание только усложняет и без того сложную задачу. Контовское разделение государственной деятельности на нравственную и материальную как бы подразумевало противостояние Созидателей и Кинетиков, но ум его работал узко и грубо, не доведя мелькнувшие откровения до полного

развития, а изобретенные им правила жизни для Созидателей и отрицание пользы литературной деятельности доказывают, как глубоко Конт заблуждался. Зачастую он ходил проторенными тропами, оставшимися после других утопистов, утверждая, что философская и устроительная задача может быть решена раз и навсегда — затем просто отдавая государство в управление организованному кинетическому правительству. Но что сначала кажется затруднением, может в итоге оказаться упрощением задачи, точно так же как введение новой функции в неподдающуюся сокращению запутанную математическую формулу иногда содействует ее элиминации. Философы Утопии, скроенные по моему образцу, видящие главную цель жизни в развитии индивидуальности, в создании новых ценностей и в определении неопределенного, смотрели на созидательное начало человечества не только как на самый важный среди всех остальных элементов, но также и как на не поддающийся никакой организации. В нравственной и умственной областях философы применяли те же принципы, что и в области физического воспроизведения (см. шестую главу, параграф 2). Точно так же, как в вопросе о рождении детей признано

было возможным для государства установление таких ограничительных условий, при которых давалась полная возможность развитию индивидуальности, так и в области нравственной основатели Утопии нашли возможность задать условия, в которых каждый человек, рожденный со склонностью к созиданию, получал возможность достигнуть полного развития своих способностей — по части открытий и изобретений, или в искусстве, или на поприще философии. Разумеется, некоторые общие условия навязывались сами собой. Например, каждому гражданину или гражданке необходимо было предоставить возможность получить вполне законченное образование; еще параллельно решалась задача менеджмента времени — чтобы занятия науками не поглощали всего времени ученика, оставляя ему достаточно свободы для упражнения своих талантов; и при этом минимальный заработок за минимальное количество затраченного труда должен был обеспечивать взрослого человека, давая свободу развиваться и после окончания образования.

Но недостаточно было обеспечить возможность развития созидательной деятельности — основатели Утопии-модерн нашли необходимым

также изобрести средство для возбуждения этой деятельности и для поощрения ее, что представлялось уже значительно более трудным и не допускало единообразного разрешения в применении ко всему человечеству. Мой двойник рассказал мне, какое множество разнообразнейших способов было для этого придумано, сколь сложными ухищрениями побуждались созидательно одаренные мужчины и женщины к делу, как им предоставлялась возможность добиваться особых почестей и пользования широкой свободой, когда они представят основательные доказательства развития своих способностей Созидателя.

Каждая муниципальная станция электроэнергии снабжалась целым рядом лабораторий для производства изысканий, каждый рудник, каждое промышленное заведение обязаны были законом устраивать такие же лаборатории. Государство проверяло притязания каждого лица, заявившего о каком-либо изобретении, и назначало за это изобретение ренту, часть которой уплачивалась изобретателю, часть — учреждению, содействовавшему производству опытов. В области литературы, философии и социологии каждое высшее учебное заведение поощряло

деятелей стипендиями, кафедрами, пенсиями.

Написать поэму, роман или научное сочинение значило стать предметом соревнования нескольких соперничающих университетов, стремящихся привлечь автора в свою среду.

Каждый автор имел возможность выбора между опубликованием своего произведения при посредстве общественного книгопродавца, на правах частной спекуляции, и продажей своего авторского права университету за особое вознаграждение. Все виды грантов в руках комитетов самого разного состава дополняли эти академические ресурсы и гарантировали, что ни один возможный вклад в широкое течение утопического ума не останется без внимания. На худой конец можно было попытать счастье в Доме Соломона[38] — ибо тот уже потворствовал с охотой околомиллионной армии исследователей, чьи патенты приносили выгоду.

Таким образом, несмотря на всю редкость больших состояний, ни один оригинальный человек, обладающий желанием и способностью к материальным и умственным опытам, не прожил бы долго без ресурсов и стимулов внимания, крити-

[38] Notes: 38

См. главу вторую, параграф 5 — на случай, если моя отсылка к Бэкону и его «Новой Атлантиде» успела забыться. — *Прим. автора.*

ки и соперничества.

— И, наконец, — сказал мой двойник, — наш устав обеспечивает значительное понимание важности созидательных дарований для подавляющего большинства наших Самураев — того особого класса, в чьих руках сосредоточена реальная власть над этим миром.

— Вот оно что, — заметил я. — Теперь-то мы и подошли к тому вопросу, который больше всего меня интересует. Для меня уже прояснилось, что Самураи, в сущности, и составляют государственное тело Утопии. Все время, которое я здесь провел, бродя взад и вперед по этой планете, постепенно убеждало, что самая соль Утопии заключается именно в этих мужчинах и женщинах, носящих одинаковую с вами форму, у которых на лицах неизменное выражение твердой воли, укрепленной дисциплиной и преданностью долгу. Если бы не было их, этих людей, то все, что я вижу здесь, поблекло бы, покоробилось и исчезло, а я вернулся бы к хаосу и греховностям земной жизни. Расскажите же мне об этих Самураях, напоминающих мне платоновских Хранителей, по внешнему виду схожих с рыцарями-тамплиерами и носящих титул японских меченосцев… и чью форму носите вы сами. Так кто же они?

Наследственная ли это каста, особый ли орден или же сословие, выделяемое по избранию всего народа? Да кто бы они ни были, ваш мир вертится на них, как глобус — на своей оси!

§ 4

— Я следую Общему Правилу, как и многие мужчины, — сказал мой двойник, почти извиняясь в ответ на мой намек на его униформу. — Моя работа — сугубо созидательного толка. Существует большое недовольство нашей практикой изоляции преступников на островах, и я анализирую психологию тюремных чиновников и криминалитета в целом, чтобы вывести для них и для нас лучшую схему. Задача требует творческого подхода, сами понимаете. Обычно Самураи занимаются административной работой. Практически все ответственное управление миром находится в их руках; все наши директора и дисциплинарные руководители колледжей, наши судьи, адвокаты, работодатели, практикующие врачи, юристы должны быть Самураями, и все исполнительные комитеты и так далее, которые играют столь большую роль в наших делах, вытягиваются исключительно из них

по жребию. Орден не передается по наследству — мы достаточно знаем биологию, чтобы понять, насколько это было бы глупо, — и не требует раннего посвящения, послушничества или церемоний и инициаций подобного рода. Самураи, по сути своей — добровольцы. Любой разумный взрослый человек в достаточно здоровом и работоспособном состоянии может в любом возрасте после двадцати пяти лет стать одним из Самураев и принять участие во всеобщем контроле.

— При условии, что он следует Правилу.

— Именно — при условии, что он следует Правилу.

— Я слышал, как один человек назвал вас «самозваными патрициями».

— Даже наши основатели так о себе высказывались — им не чужда была самоирония. Они создали благородный и привилегированный порядок — открытый для всего мира. Никто не мог жаловаться на несправедливое исключение, ибо единственное, что могло исключить из приказа, — это нежелание или неспособность следовать Правилу.

— Но из Правила можно легко исключить особые родословные или расы, не так ли?

— Такого намерения не имелось. Правило было

задумано так, чтобы отвращать Глупцов и Низменных, направлять и координировать всех здоровых граждан с добрыми намерениями.

— И это удалось?

— Настолько, насколько может удаться всякая конечная задумка. Жизнь все еще далека от идеала — все тот же спутанный невод, полный туманных стремлений и нерешенных задач… но, во всяком случае, внутреннее достоинство этих задач ощутимо повысилось, и с тех пор, как Самураи, начавшие свою деятельность как обособленная и наступательная организация, завоевали себе господствующую позицию в мире, не было больше войн, снизилась нищета, болезненность уменьшилась наполовину, и в огромной пропорции возросли порядок, красота и привлекательность жизни.

— Я хотел бы познакомиться с историей ордена, — заметил я. — Думаю, дело не обошлось без вооруженной борьбы?

Мой двойник кивнул.

— Но сначала скажите мне, в чем заключается Правило?

— Правило направлено на то, чтобы полностью исключить низменное, дисциплинировать импульсы и эмоции, выработать нравственную

привычку и поддерживать человека в периоды стресса, усталости и искушения, добиться максимального сотрудничества всех добрых людей — и, обобщенно говоря, держать всех Самураев в состоянии морально-телесного здравия и работоспособности. Оно делает это настолько хорошо, насколько может, но, конечно, как и все общие предложения, оно ни в коем случае не работает с абсолютной точностью. В общем, это так хорошо, что большинство людей, которые, подобно мне, занимаются созидательным творчеством и которым было бы так же хорошо без послушания, находят удовлетворение в сплочении. Поначалу, в боевые дни, оно отличалось жесткой бескомпромиссностью и имело привлекательность разве что в глазах нравственного педанта или монаха, вышедшего на тропу войны. Но Правило подвергалось и до сих пор подвергается пересмотру и расширению, и с каждым годом становится немного лучше приспособленным к необходимости общего правила жизни, которому все люди могут пытаться следовать. Теперь у нас есть своя литература — про суть Правила и его полезность написано много по-настоящему талантливых вещей. — С этими словами двойник взглянул на маленькую книгу на своем столе,

взял ее, показал мне и снова отложил.

— Правило выражается в трех частях, — продолжал он. — Первая — перечень условий, дающих право на вступление в орден; вторая — это перечень вещей, которые нельзя делать, и третья — это перечень вещей, которые должны быть сделаны. Право вступления в орден приобретается не без труда, являющегося в этом случае доказательством добросовестности кандидата в Самураи. Условия, дающие право на вступление в орден, рассчитаны на то, чтобы исключить законченных Глупцов и убежденных Низменных. Школьный период заканчивается у нас теперь в четырнадцатилетнем возрасте, когда небольшое число мальчиков и девочек, приблизительно процента три, отсеиваются как совершенно не поддающиеся учению, — в сущности, это клинические идиоты; остальные направляются в высшую школу.

— Как, все ваше население?

— Да, за указанным исключением.

— Бесплатно?

— Разумеется. Из колледжей они выходят в восемнадцатилетнем возрасте. Курсов много — совершенно различных, но какой-либо из них должен быть закончен, и кандидат обязан удо-

влетворительно сдать экзамен. На экзаменах проваливается около десяти процентов.

— Но очень дельные люди бывают порой очень бездельными учениками.

— Мы это допускаем, так что провалившиеся на экзаменах могут впоследствии явиться на пересдачу, причем — неоднократно. Особо означенные заслуги способны даже освободить от экзаменов.

— Это уравнивает шансы. Но разве нет людей, совсем не способных сдавать экзамены?

— Это люди с нестабильными нервами.

— Конечно, но у них могут быть большие способности к созиданию.

— Точно, это вполне возможно. Но мы не хотим, чтобы среди наших Самураев были такие кадры. Сдача экзаменов является доказательством настойчивости в достижении цели, нужной пропорции самоконтроля и подчинения дисциплине.

— Некоторой заурядности?..

— Именно, она-то нам и нужна.

— Ну, остальные могут посвятить себя другой карьере, так?

— Да. Мы и рассчитываем, что они и будут так поступать. Кроме экзаменов, есть еще два

подобного же рода условия, более сомнительной ценности. Одно из них ныне уже практически вышло из употребления. Наши Отцы-Основатели утверждали, что кандидат в Самураи должен владеть тем, что они называли Техникой. По ранним правилам ордена он обязан был доказать, что квалифицирован как врач, или адвокат, или военный, или что он успешно практикующий инженер или преподаватель, или признанный живописец, или написал хорошую книгу, или вообще отличился хоть в какой-нибудь области. Словом, он должен был доказать, что что-то сотворил. Требование это было чрезвычайно неопределенное с самого начала, а впоследствии стало схоластическим, формальным. Например, умение играть на скрипке стало считаться удовлетворительным. В прошлом, может быть, и существовало некоторое основание для установления этого условия — в то время было еще много отпрысков состоятельных родителей, не привыкших трудиться хоть как-то, и орден мог пострадать от их вторжения. Но теперь таких людей нет, и условие является пережитком старины. Зато благодаря ему реализовался любопытный проект — наши основатели собрали вместе несколько отдельных сочинений

и назвали их «Книгой Самураев». По сути, это компиляции из разных статей, прозаических и поэтических произведений, воплощавших, как считается, идею ордена. Эта книга должна была играть для Самураев ту же роль, какую играла Библия для древних иудеев. По правде говоря, она состояла из далеко не равных по качеству произведений. Там было много второсортной риторики и немало скверных стихов, а еще очень темные, непонятные места как в стихах, так и в прозе, которые в силу запутанности казались полными какого-то сакрального смысла. Но, несмотря на все недостатки, большая часть Книги с самого начала являла великолепный и вдохновляющий материал. С того времени и по сей день «Книга Самураев» подвергалась пересмотру, многое было добавлено, многое отвергнуто, что-то — преднамеренно переписано. И сейчас в ней едва ли найдется что-то, что не было бы красивым и совершенным по форме. На ее страницах находит выражение весь спектр благородных чувств и все руководящие идеи нашего Современного Государства. Недавно мы допустили резкую критику ее содержания со стороны человека по фамилии Хэнли.

— Неужто вы про старого поэта Хэнли?

— Он умер не так давно.

— Я знал этого человека на Земле. И теперь оказывается, что он был также и в Утопии? Это был человек с красным лицом, с шапкой огненных волос. Он был горяч и создавал себе повсюду врагов, несмотря на то, что обладал мягким и нежным сердцем. И он был Самураем?

— Он отрицал Правило.

— Это был большой человек, с вином вместо крови. Его писания — это же вино! В нашем мире, презрев чернила, он писал вином, красным вином, за которым просвечивал солнечный свет.

— Однажды он был членом комитета, пересматривавшего нашу Книгу. Такая работа поручается как Созидателям, так и Кинетикам. Вы знали его на Земле?

— К сожалению, не знал близко, но я видел его живьем не раз. Ему принадлежат крайне проникновенные, как по мне, строки:

Где мрак не знает берегов,
У черной бездны на краю
Хвалю неведомых богов
За душу дерзкую мою[39].

---

[39] Notes: 39

Стихотворение Уильяма Эрнста Хэнли «Invictus» (лат. «Непокоренная»), 1875.

— У нас они тоже есть. Все хорошие земные вещи имеются в Утопии, сдается мне! И это его стихотворение мы включили в наш Канон почти тотчас же после его смерти, — произнес мой двойник.

§ 5

— У нас теперь два Канона: прекрасный Канон первоначального издания и второй, в чей состав вошли творения людей, живших после наших основателей и даже живущие и в настоящее время. Нормированное знание обоих Канонов является четвертым условием, которому должен удовлетворять каждый Самурай.

— Но это должно вносить некоторое однообразие в направление ваших мыслей?

— Канон задает тон всему миросозерцанию в Утопии. Значительная часть его читается и изучается в школах. Наряду с условиями умственного развития или интеллектуальности ставится условие физическое: Самурай должен быть человеком вполне здоровым телесно, с хорошим развитием. Мы не допускаем в свою среду людей слишком толстых, слишком худых и тщедушных, со слабыми нервами — их мы заставляем тре-

нироваться. Наконец, кандидаты и кандидатки в Самураи должны быть совершеннолетними.

— И сколько ему должно быть лет, я так и не уловил — двадцать один год или двадцать пять?

— Предельный возраст менялся неоднократно. Сперва он равнялся двадцати пяти годам — в особых случаях требовалось и больше, — затем была назначена однозначная планка в двадцать пять лет для мужчин и двадцать один год для женщин. И вновь сейчас тенденция склоняется к повышению порога принятия — мы вовсе не хотим пользоваться юношескими восторженными побуждениями. По крайней мере, люди одинакового со мной образа мыслей этого не хотят. Мы хотим, чтобы наши Самураи были людьми опыта и определенных зрелых убеждений. Гигиена и жизненный распорядок быстро отодвигают границы старчества и смерти. Люди у нас сохраняются здоровыми и крепкими до восьмидесяти лет и дольше, незачем подгонять молодежь — пусть испробует чашу любви, вина и песни, пусть почувствует укусы чувственного желания и поймет, с каким дьяволом ей придется бороться.

— Но есть же юноши, уже и в девятнадцатилетнем возрасте сознающие действительную ценность всего истинно прекрасного.

— Они могут во всяком возрасте соблюдать Правило, не пользуясь предоставляемыми им привилегиями, но совершеннолетний взрослый человек, присоединившийся к ордену и затем нарушивший Правило, изгоняется из ордена навсегда. До двадцатипятилетнего возраста допускается раскаяние нарушителя Правила.

— А что же запрещается этим Правилом?

— Очень многое. Некоторые незначительные удовольствия не приносят большого вреда, но тем не менее мы запрещаем их, чтобы не допускать в нашу среду людей, слишком снисходительно относящихся к самим себе. Мы полагаем, что внутреннее достоинство человека выигрывает от воздержания даже от незначительных соблазнов и во всяком случае доказывает, что человек готов честно расплачиваться за предоставляемые ему привилегии и оказываемые ему почести. Правило определяет особый режим в пище, воспрещает употребление табака, вина и всяких спиртных напитков…

— И мяса?

— Во всей Утопии нет мяса. Прежде мы его ели, но теперь не можем себе и представить существование бойни. Среди населения, находящегося почти на одном уровне во всем, что касается обра-

зования, нравственного и физического развития, практически невозможно найти человека, который согласился бы разрубить на части мертвого быка или свинью. В сущности, мы вовсе не решали вопрос о мясной пище с гигиенической точки зрения, а просто почувствовали отвращение к кровавым бойням. Я помню еще с детских лет, какие были повсеместные празднества, когда закрылась последняя бойня.

— Но вы едите рыбу?

— Дело совсем не в логике. В нашем варварском прошлом на улицах выставлялись на продажу отвратительные мертвые туши, с которых ручьями лилась кровь… — Мой собеседник с отвращением пожал плечами.

— В моем мире, в Лондоне это делается до сих пор, — заметил я.

Он еще раз посмотрел на мое грубое лицо, почти без румянца, но не высказал тех мыслей, которые при этом пришли ему в голову.

— Сначала Самураям воспрещалось ростовщичество и вообще отдача денег под проценты. Запрещение это до сих пор действует, но с тех пор, как наш торговый устав практически уничтожил ростовщичество, наш закон отказывает в охране сделкам о процентных ссудах неимущим за-

емщикам. Так что запрещать ростовщичество Самураям стало бесполезно. Господствующим в Утопии нравственным представлениям глубоко противна идея обогащения совершенно бездействующего человека благодаря обеднению его должника, и государство обязывает заимодавца брать на себя долю риска заемщика. Но запрещение ростовщичества — лишь одно из многих ограничений того же порядка. Мы сочли, что покупка товара единственно с целью перепродажи развивает противообщественные инстинкты в человеке, побуждает искать сверхприбыли и искусственно завышать ценность вещей. По этой причине Самураям воспрещается покупка и продажа товаров за свой счет или за счет кого-либо иного, кроме государства, и за исключением тех случаев, когда процесс производства меняет самую сущность вещи — простого изменения в объеме или в упаковке для этого недостаточно, — и вообще им лучше не прибегать к торговле во всех ее видах. Ввиду этого они не могут быть ни владельцами, ни содержателями гостиниц, ни акционерами, ни управляющими трактирных предприятий. Равным образом врачи — а все практикующее врачи должны быть Самураями — не могут про-

давать лекарств, за исключением тех случаев, когда это делается за счет городских управлений или государства.

— Это совершенно не стыкуется с нашими земными представлениями, — заметил я. — Нас подавляет власть денег. Эти запрещения обязывают практически к бедности, а если ваши Самураи — орден бедных людей…

— Отнюдь нет. Самураи, изобретавшие, организовавшие или развивавшие новые отрасли промышленности, очень часто становились богачами. С другой стороны, богачи, нажившиеся торговлей, впоследствии становились Самураями. Но это скорее исключение. Главная масса ваших деловых людей, приумножающих свое состояние, должна, конечно, стоять вне ордена Самураев.

— Тогда у вас должен быть особый класс властных, могущественных богачей, я же прав?

— Да. У нас существуют разбогатевшие торговцы, изобретатели, люди, сделавшие полезные открытия в области экономики и распределения труда или обратившие внимание потребителей на возможность использования того или иного источника энергии, например.

— Но разве у них нет власти?

— Почему она должна быть у них?

— Богатство — это власть.

— Богатство само по себе еще не укрепляет власть, если мы сами не придадим ему этого качества, — сказал мой двойник. — Если в вашем мире богатство становится властью, то лишь по недосмотру. Богатство создается государством. Само по себе это чисто условное понятие, и власть, с ним связанная, чисто искусственная. Разумной государственной деятельностью можно определить область вещей, не покупаемых ни за какие деньги. В вашем мире, по-видимому, вы сделали объектами покупки отдых, свободу передвижения, вообще всякого рода свободу и даже саму жизнь. Это доказывает лишь вашу глупость. Неимущий рабочий у вас — это человек бедствующий и вечно дрожащий за свою сохранность. Немудрено, что власть у вас сосредоточена в руках богачей. А здесь разумный отдых и спокойную жизнь человек приобретает на значительно более легких условиях, чем при продаже своего труда богатым. Сколько бы ни было у нас богатых людей и как бы ни были велики их богатства, каждое отдельное состояние — бесконечно малая величина по сравнению с достоянием государства. Государство же и его

достояние управляются Самураями, которые в силу своих обетов не имеют доступа к грубым удовольствиям, которые и у нас могут покупаться богатством. К чему же при этих условиях сводится власть ваших богатых людей? Человек еще многое может приобретать, богатством еще многое можно купить. Одного лишь нельзя купить — власти над другими людьми, разве что в тех случаях, когда человек исключительно слаб и бесхарактерен.

Я задумался.

— Что же еще воспрещается Самураям?

— Сценическое исполнение всякого рода, актерство, декламация, хотя чтение лекций и ведение дебатов им разрешено. Профессиональное актерство считается не только недостойным, неблагородным занятием для мужчины и женщины, но установлено, что оно ослабляет дух человека и соблазняет его. Разум начинает дряхлеть под влиянием зависимости от обожания публики. Он становится слишком искусным в воспроизведении пустячных, скоропроходящих иллюзий. Мы по опыту знаем, что актеры и актрисы как отдельный класс являются людьми грубыми, неблагородными и неискренними. Не могут Самураи находиться и в услужении

у кого-либо, за исключением карьеры медицинской и фармацевтической. Например, им нельзя работать парикмахерами, официантами или чистильщиками обуви. Но в настоящее время у нас уже почти не осталось ни парикмахеров, ни чистильщиков сапог. Все это люди делают сами для себя. Вообще Самурай не может быть чьим-либо слугой, обязанным исполнять, что ему приказывают. Не может он и держать слуг. Он должен сам одеваться и бриться и служить самому себе. Он сам носит себе еду, сам убирает свою спальню…

— Ну, это все очень легко в таком хорошо организованном мире, как ваш. Я думаю, Самураям запрещается всякая азартная игра?

— Разумеется. Он может страховать свою жизнь и страховаться на случай старости для обеспечения своих детей или для других целей, но этим ограничено его право на случайные выгоды. Аналогично ему воспрещается участвовать в публичных играх и присутствовать при них. Некоторые рискованные виды спорта и трудные упражнения даже предписываются ему, но при условии отсутствия всякого соревнования между отдельными лицами и группами. Сей урок мы выучили задолго до появления Саму-

раев. В старое время благородные, порядочные люди демонстрировали свое искусство в верховой езде, на бегах, в военных состязаниях, в соревновательных играх, а тысячи глупцов, трусов и низких людей собирались любоваться ими, орать и держать пари. Порядочные люди довольно быстро превратились в своего рода атлетических проституток, со всеми присущими недостатками — с тщеславием, лживостью и самонадеянностью ординарных актеров, вдобавок с еще меньшим умственным развитием. Основатели нашего ордена не пощадили этого организованного публичного спорта. В самом деле, не потратили же они всей своей жизни на обеспечение людям свободы, здоровья и отдыха ради того только, чтобы люди так безумно растрачивали свою жизнь!

— У нас имеются все эти злоупотребления, — сказал я. — Но некоторые игры у нас на Земле имеют свою хорошую сторону. Например, у нас есть игра, называемая крикет. Это прекрасная, благородная игра.

— У нас в крикет играют мальчики и мужчины, но считается малодушным отдавать игре слишком много времени. Люди должны иметь высшие интересы. Играть плохо было бы недостойно

для Самураев, да и неприятно для них, а вместе с тем они не могли посвящать столько времени игре и так тренироваться, чтобы стать экспертами, как те глупые люди, что посвящают этому все свое время. Крикет, бильярд и другие игры — вы найдете целые клубы, посвященные им в Утопии, и целый класс людей, увлекающийся этим, но только не среди Самураев. Играть разрешается только для игры, а не для превращения ее в публичное зрелище. Разрешение на устройство такого зрелища с входной платой обложено непомерно высоким налогом. Негры большей частью очень искусные игроки в крикет. Было время, когда Самураи имели свою военную игру, но теперь мало кто занимается ей. Еще лет пятьдесят тому назад Самураи проходили военную службу и ежегодно собирались на двухнедельные маневры, жили в палатках, совершали длинные походы, носили с собой провизию, сражались и упражнялись в стрельбе по подвижным мишеням. Мы долго не могли усвоить тот факт, что войны действительно прекратились раз и навсегда.

— Теперь-то мы, кажется, подошли к концу вашего списка всевозможных запрещений, — заметил я. — У вас запрещены спиртные напитки, возбуждающие средства, табак, азартные и со-

стязательные игры, ростовщичество, торговля, личные услуги. Но разве не существует у вас обета целомудрия?

— Разве таковы Правила ваших земных орденов?

— Да, за исключением, если не ошибаюсь, платоновских Хранителей.

— Существует обет целомудрия и у нас, но — не обет безбрачия. Мы ясно осознаем, что цивилизация создается искусственно, что все физические инстинкты у человека очень сильны, а инстинкт воздержания очень слаб — потому жить человеку в цивилизованном государстве нелегко. Цивилизация развилась гораздо быстрее, чем эволюционировало сознание человека. При неестественном совершенстве в обеспечении покоя, свободы и благоденствия, достигнутом нашей цивилизацией, нетренированная человеческая особь предрасположена ко всевозможным эксцессам. Человек стремится слишком обильно и вкусно есть, слишком много пить, отдыхать больше, чем положено постепенным сокращением рабочих часов, тратить свое время на всевозможные зрелища и слишком много любить. Причем само чувство любви он значительно усложняет. Люди утрачивают дисциплину, сосредоточиваются

на эгоистических и эротических мечтаниях. Предыдущая история нашей расы свидетельствует о постоянных общественных катастрофах, вызывавшихся деморализацией, следовавшей за периодами спокойствия и благоденствия. В то время, когда жили и трудились наши Отцы-Основатели, наблюдались многочисленные признаки такой эпохи благ и развращенности. И мужчины, и женщины обнаруживали склонность к половым эксцессам. Мужчины доходили до крайних пределов сентиментальности, бессмысленно преклоняясь перед другим полом, и рядом с этим усложнялось и рафинировалось физическое распутство. Женщины злоупотребляли развитием и дифференциацией чувства и чувственности, выражавшимися отчасти в музыке и нарядах. Оба пола становились неустойчивыми, и чувственность заменяла чувство. По-видимому, весь мир намеревался с половым инстинктом поступить так же, как поступал с инстинктом питания — использовать его как можно шире. — Тут двойник сделал паузу.

— И что же, вам помогло пресыщение? — спросил я.

— Крах может настать гораздо раньше пресыщения. Основатели нашего ордена искали

сдерживающие элементы во всевозможных источниках, но, по моему мнению, главным поставщиком самоконтроля у человека выступает гордость. Она — пусть не самое благородное свойство человеческого духа, но она — царица души. Основатели ордена обратились к гордости как к средству сохранить человеку чистоту, нрав и здравый смысл. В этом случае, как и во всех остальных, когда дело касается естественных желаний, отцы ордена считали, что никакой аппетит не следует пресыщать или удовлетворять искусственно, но что в то же время никого нельзя заставить голодать. Из-за стола надо вставать сытым, но не отягощенным пищей. А в любви идеалом основателей нашего ордена было чистое и естественное стремление одной особы к соединению с другой, столь же чистой и естественно развитой. Основатели признали брак между равными обязанностью каждого Самурая и установили правила во избежание супружеской неразлучности, брачной пошлости, превращающих супружескую пару в нечто низшее, чем был каждый из супругов в отдельности. Эти правила слишком подробны, и мне некогда знакомить вас с ними. Теперь мужчина, принявший обет и полюбивший женщину, не принадлежащую

к ордену, должен или сам выйти из ордена Самураев, чтобы жениться на ней, или склонить ее к принятию того, что называется женским уставом или Малым Правилом. Данный устав избавляет женщину от суровой дисциплины и строгих обетов, но приводит ее жизненный распорядок в гармонию с его жизнью.

— Что будет, если она нарушит этот обет?

— Тогда он должен будет расстаться с ней или с орденом.

— Ого, да это же плодородная почва для написания романа!

— Уже сотни страниц исписаны на эту тему.

— Скажите-ка, женский устав так же противодействует роскоши, как и мужской? Я хочу сказать, имеет ли женщина право одеваться, как пожелает?

— Отнюдь нет, — ответил мой двойник. — Насчет этого все очень строго. Мы находим, что каждая женщина, которая, располагая средствами, тратит их на тряпицы, унижает не только себя, но и других женщин, и подчеркивает неравенство, существующее между мужчинами и женщинами. Насколько мужчины шли вперед, проникаясь цивилизацией, настолько женщины отступали назад, приближаясь к дикарям,

украшающим себя перьями, бусами и ритуальной раскраской. Но Самураи, как мужчины, так и женщины — даже если они подчиняются только женскому уставу, — все носят форму. Вы видели мужскую — такую, как я постоянно ношу. Женщинам разрешается носить одинаковую с мужчинами одежду или длинное платье из темной мягкой шерсти.

— Я видел эти платья, но странно, что, будучи в одинаковых по цвету и фасону нарядах, каждая женщина кажется одетой иначе, чем ее подруга. Мне очень нравятся эти длинные, грациозные одежды. Другой костюм, схожий с мужским, мне менее по душе. Хотя на совсем юных девушках и на худых женщинах он вполне привлекателен. Видимо, мой глаз пока еще не пристрелялся к нему. — Тут мне в голову пришло еще кое-что, и я добавил: — А разве порой забота женщин о своих волосах — не излишек?

Мой двойник рассмеялся мне в глаза.

— Он самый, — сказал он.

— И что по этому поводу утверждает Правило?

— Правило никогда не потворствует суетливым, — сказал мой двойник, все еще улыбаясь. — Мы не хотим, чтобы женщины перестали быть красивыми… *сознательно* красивыми, если хоти-

те, — добавил он. — Чем больше в нас природной красоты форм и лиц, тем прекрасней наш мир. Мы восстаем только против дорогостоящих атрибутов сексуализации.

— Но, сдается мне, и в вашем мире есть модницы, готовые всем пожертвовать ради того, чтобы подчеркнуть свою красоту. Какой закон может это пресечь? Несомненно, они стремятся к уничтожению суровых правил ордена.

— Вы правы. Такие женщины существуют и в Утопии. Но в правилах оговаривается и это: если женщина страдает неудержимой страстью к нарядам, то в своем кругу, среди близких и родных, она может удовлетворять эту страсть. К тому же последовательницам младшего класса ордена предоставлены некоторые послабления. Так, им дозволено в скромных пределах ношение кружев и вышивок.

— У вас не бывает перемен в фасонах?

— Никогда. Но, откровенно говоря, наши наряды так же красивы, как и ваши.

— Нашим-то далеко до красивости, — ответил я, принужденный невольно вникнуть в таинственную философию наших модниц и модников. — Красота — не их забота.

— Тогда чего они добиваются?

— Дорогой друг, а чего добивается весь мой мир?

§ 6

Относительно последних правил, касающихся того, что Самураи должны делать, будет много точных указаний о поддержании здоровья и таких указаний, которые одновременно укрепляют гигиену и волю. Самурай обязан ежедневно принимать холодную ванну, и только в исключительных случаях это постановление отменяется. Мужчины обязательно ежедневно бреются. Вообще, в правилах на этот счет даны точные указания, так как тело, кожа, нервы и мускулы Самурая должны быть предельно здоровы. Самурай должен в оговоренные сроки посещать доктора ордена и свято исполнять его предписания. По крайней мере четыре ночи из пяти Самурай должен спать один. Обедать и проводить в дружеской беседе он обязан один день из трех на неделе в одном из ближних к его месту жительства клубе Самураев.

Ежедневно не менее десяти минут он должен прочитывать выдержки из книги Самураев. Ежемесячно он обязан купить и прочитать

по крайней мере одну из вышедших в последнее пятилетие литературных новинок. Остальные подробные правила касаются разных мелочей обыденной жизни, все имеют целью внушить Самураю ежедневную, постоянную заботу о чистоте духа и тела. Исполнение этих правил не отымает более часа времени, а между тем опрятность и привычка к чтению замечательно усваиваются.

— Замужние женщины-Самураи должны завести детей ранее, чем закончится период, который разрешается для бездетного супружества, — продолжал мой двойник. — Женщинам к тому же разрешается еще одна льгота, в которой отказано мужчинам. Они могут выходить замуж за мужчин, не принадлежащих к ордену Самураев, и, будучи уже замужем, им разрешается вступать в ряды ордена. Кажется, что и этими льготами создается благодарная почва для романов, но практически этот вопрос легко разрешается, так как только обладающие сильным созидательным даром да крупные коммерсанты, не состоя сами в ордене, имеют жен-Самураев. Такие союзы в конце концов всегда приводят мужа в орден. Несомненно, впрочем, что все эти брачные правила и ограничения имеют целью

создать из ордена Самураев нечто вроде наследственного отличия. Обыкновенно дети Самураев становятся впоследствии Самураями. Но не сочтите, что это какая-нибудь исключительная каста; при самых разумных условиях любой, кто считает нужным, может вступить в нее в любое время, и, таким образом, в отличие от всех других привилегированных каст, которые видел мир, она увеличивается по отношению к общему населению и действительно может в конце концов ассимилировать почти все население нашей планеты.

§ 7

Все вышеизложенное двойник мой объяснил мне весьма охотно, но теперь он дошел до самого главного пункта своих убеждений, до центра воли и мотивов, побуждавших мужчин и женщин подвергаться дисциплине, отказываться от богатства и чувственных наслаждений, бороться с увлечениями и побеждать инстинкты, поддерживая в себе постоянное стремление к борьбе, несмотря на окружающее их благоденствие и на возможность удовлетворять все свои желания. Здесь ему труднее стало выражать свою мысль —

он старался объяснить мне, в чем заключается его вера.

Ведущим принципом утопической религии является отрицание учения о первородном грехе; утописты считают, что человек в целом хорош. Это их основная вера. У человека есть гордость и совесть — эти качества можно путем воспитания улучшить, сделать более тонкими и чувствительными, подобно тому, как упражнениями улучшаются зрение и слух. У человека есть раскаяние и сокрушение о содеянном, следующие за недостойными наслаждениями. Как же можно думать о нем, что он греховен? Человек религиозен по самой природе своей; вера так же естественна у человека и присуща ему, как похоть и злоба. Она, может быть, не столь интенсивна, зато приходит с такой же неизбежностью, как мир и тишина после войны и шума.

И в Утопии это ясно осознается — ну или по меньшей мере это осознают Самураи. Они признают веру, как признают жажду, как нечто неотделимое от таинственного ритма жизни. И точно так же, как жажда и гордость, и все желания могут быть извращаемы в таком возрасте и в век, когда к удовлетворению их представляется очень много удобств, и как люди могут

быть унижаемы и развращаемы несдержанностью в питье и страстях, в честолюбии — так же в области более благородных желаний, порождающих веру, глупые, низкие и легкомысленные люди могут творить зло. Преступное легкомыслие в вопросах веры, недостаток серьезного раздумья и неумение отличить правду от лжи столь же чужды членам ордена Самураев, как чуждо им напиваться до тошноты, потому что их мучает жажда, наедаться до отвала, потому что они голодны, наливать полную ванну, потому что холодно, объясняться в любви первой попавшейся девушке, потому что она показалась им хорошенькой. В Утопии, где можно будет найти все те же типы и те же характеры, что и на Земле, будут и храмы, и священнослужители, и актрисы, и вино, но Самураям будет воспрещено исповедание вероучений с вычурными алтарями, с органной музыкой и кадильным фимиамом, равно как и якшанье с накрашенными женщинами и употребление спиртных напитков. Ко всем же учениям, которые ниже религии, но стремятся объяснить и понять ее, к космогонии и философии, к символам веры и формулам, к катехизисам и кратким пояснениям Самураи будут относиться с недоверием.

Все это входит в область тех увлечений, которые есть у человека до произнесения им обетов. Всем этим услаждается молодежь, испытывающая себя для того, чтобы знать то, от чего ей придется отказаться впоследствии. Самураи будут стоять выше всего этого.

Богословие в Утопии, причем то богословие, что будет занимать правителей всемирного государства, проникнуто идеей обособленности, отрицающей все, кроме уподобления и кроме практического параллелизма, которым пронизаны все их учреждения. Богословы подробно проанализируют все те теории, предположения и легенды, которыми определяется отношение Единого ко многим — которыми занималась философия с тех пор, как она возникла. Подобно тому, как они избегали обманчивого объединения каждого отдельного вида под особым видовым названием, чем так сильно увлечены на Земле, так им удастся избегнуть и ложного упрощения представления о Боге, что и является главнейшей ошибкой земных церковных наук. По их учению, представление о Боге будет сложным, и определение Бога не будет поддаваться никакой общей формуле. Как язык в Утопии будет синтезом всех языков, так и Божество у нее

будет синтетическим.

Представление о Боге различно у каждого человека, поэтому таинство веры справляется в одиночестве, в беседе между Богом и человеком. Квинтэссенция веры и сама ее сущность заключается в отношении человека к Богу; было бы извращением заменять это отношением человека к человеку, и человек не может достичь Бога через посредство священнослужителя (совершенно так же, как через посредство кого бы то ни было не может любить свою жену). Но так же, как испытывающий любовь человек может обратиться к поэзии или к музыке для выражения своего чувства, так и каждый отдельный индивидуум может при желании читать священные книги и слушать духовную музыку, находя в этом выражение своей любви к Высшему. Многие Самураи будут тайным образом устраивать свою духовную жизнь так или иначе, будут молиться и читать священные книги, но в эту область их Правило не будет вмешиваться.

Очевидно, что Божество у Самураев — трансцендентное и мистическое. Так же, как в государственном деле у них имеется общая цель для поддержания порядка и прогресса, они и Богу поклоняются сообща, выражая это поклонение

своими дисциплиной, самоотречением, общим трудом и усилиями — но главное побуждение ко всему этому кроется в молчаливых и длительных размышлениях. На то направлено одно из самых удивительных правил Самураев.

Оно обязывает каждого мужчину и каждую женщину, примкнувших к ордену, проводить в полном одиночестве по меньшей мере одну неделю в году. Эту неделю Самураи должны «жить вне жизни» остального человечества, в какой-либо безлюдной, дикой местности, без единой души поблизости. В это время удалившийся от мира Самурай должен остаться без книг и оружия, без ручки, бумаги и денег. Дозволяется только ковер или спальный мешок — член ордена должен спать под открытым небом, и если ему потребуется развести костер, то только при помощи трения. Перед путешествием он может изучать карты, указывающие опасности и трудности предстоящего ему пути, но брать эти карты с собой он не вправе. Они должны идти не проторенными путями или там, где есть жилые дома, а в диких и тихих местах, в областях, будто отведенных для изоляции.

Эта дисциплина, как сказал мой двойник, была изобретена для того, чтобы обеспечить опреде-

ленную твердость сердца и тела членов ордена, который в противном случае мог быть открыт слишком многим робким, попросту по натуре воздержанным мужчинам и женщинам. Предлагалось много вещей — бои на мечах и испытания, граничащие с пытками, лазание по головокружительным вершинам и тому подобное, — прежде чем избрали именно такую меру.

Отчасти для того, чтобы обеспечить хорошую выучку и крепость плоти и духа, но также и чтобы отвлечь Самураев от мысли на некоторое время, от назойливых подробностей жизни, от путаных споров и мучительных трудов, от личных конфликтов и привязанностей, от уюта отапливаемой комнаты — они должны уйти и *очиститься* от мира.

Для этих ежегодных паломничеств отведены большие, вольготные зоны за границами благоустроенного государства. Для этого оставлены нетронутыми цивилизацией многие тысячи квадратных песчаных пустынь Африки и Азии, большая часть полярного пространства на севере и на юге, обширные гористые области и вечно покрытые льдом тундры, лесистая тайга и значительная часть водного пространства океанов, не посещаемого судами. Некоторые из этих

местностей представляют большие опасности и трудности, другие просто безлюдны и одиноки. Что же касается морских путешествий, то в летнее время они иногда представляются как бы очаровательным сном. В море разрешается выходить только на беспалубной парусной лодке, на которой при безветрии можно грести. Все иные передвижения должны совершаться пешком без чьей-либо помощи и поддержки. На границах пустынь и безлюдных областей и на всех побережьях имеются специальные конторы, где Самураи прощаются с миром и людьми и куда они возвращаются по истечении срока молчания, одиночества и испытания. В течение же этого срока они должны оставаться наедине с природой, своими потребностями и своими мыслями.

— Хорошо ли это? — спросил я.

— Очень хорошо, — ответил мой двойник. — Мы, цивилизованные люди, отправляемся на лоно матери-природы, которую многие из нас совершенно позабыли бы, если бы не это правило. Мы находимся там в одиночестве и предаемся размышлению. Всего две недели тому назад я вернулся из моего ежегодного путешествия. Я отправился один морем в Тромсе и оттуда — в глубь страны, к северу; там я распростился с морем.

Я преодолел несколько ледников, взбирался на высокие горы, спускался по скользким дорожкам и скитался по покрытым мхом равнинам. Я не видал человеческого лица в продолжение семи дней. Затем я повернул в сторону и направился, минуя густой сосновый лес, к Балтийскому морю. Прошло около тринадцати дней, прежде чем я очутился вновь среди людей и услыхал человеческий голос.

— А женщины тоже исполняют это правило?

— Да. Настоящие Самураи всегда это делают наравне с мужчинами. Только рождение ребенка признается достаточно уважительной причиной, чтобы отменить такое путешествие.

Я спросил его, показалось ли ему интересным паломничество и о чем он думал во время путешествия.

— Видите ли, мне всегда приходится делать некоторое усилие над собой, для того чтобы начать уход от мира. Я часто оглядываюсь назад и с грустью расстаюсь с моим домом. В первый день я готов проклинать эту нелепую затею — тащиться незнамо куда в одиночестве; часто я присаживаюсь и проверяю свои запасы, все ли взято.

— Но разве не бывает встреч с другими путеше-

ственниками?

— Два Самурая не должны выходить из одного и того же пункта отправления по одной и той же дороге, не пропустив шестичасового промежутка времени между отправлением одного и другого. Если они каким-нибудь образом сойдутся, то они должны сейчас же разойтись в разных направлениях, даже не приветствуя друг друга. Исключение делается только в случае какого-нибудь несчастья, постигающего одного из Самураев в пути. Впрочем, все ведь предусмотрено заранее.

— Расскажите мне про ваше путешествие.

— Я ужасно боялся наступления ночи. Меня пугали неудобства и скверная погода. Я свободно вздохнул только на второй день.

— Разве вам не страшно заблудиться?

— Нет. Это невозможно. Везде имеются знаки, указывающие путь; если бы их не было, то нам, конечно, пришлось бы возиться все время с картами и планами. Но, повторяю, я только на второй день своего путешествия дышу привольно, так как у меня тогда уже есть уверенность в своих собственных силах и я чувствую себя человеком.

— И тогда?

— Тогда я втягиваюсь. Я начинаю находить своеобразную прелесть во всех маленьких случайностях, которые неминуемо постигают человека при таком упрощенном способе путешествия. Мысль о моих делах и заботах, преследовавшая меня в первый день, отходит на задний план. Я не сплю помногу, и потому целыми ночами я лежал, любуясь рассыпанными по темному небу звездами… Год тому назад я отправился к Нилу и прошел по Ливанской пустыне. О, эти южные благоухающие ночи! Я со слезами восторга любовался природой. Как мал и ничтожен кажется окружавший вас доселе мирок. В эти тихие, полные величия часы начинаешь менее думать о себе, чувствуешь, что недалеко великое бесконечное, которое мы здесь называем концом, но которое, в сущности, вечно во времени и пространстве…

Он умолк.

— Вы думаете о смерти?

— Не о своей. Но когда я брожу среди снегов и безмолвия, — почти всегда я выбираю путешествие по Северу, — часто думаю о смерти мира, о том времени, когда настанет ночь планеты, когда солнце станет такое тусклое и красное, и воздух, и вода, мерзлые, будут вместе оседать

на покрытых снегом тропических полях… Я часто думаю об этом и спрашиваю себя — неужели на самом деле Господь допустит исчезновение человека, разрушение построенных им городов, написанных им книг и всего созданного человеком? Неужели же всему этому суждено лежать погребенным под толстым слоем вечных снегов?

— Вы верите, что это случится?

— Нет. Но если этого не будет… Я шел, прокладывая себе путь по горным ущельям, тропинками, вьющимися по краям пропасти, и воображение мое работало над разрешением вопроса. Что будет тогда? Знаете, человек, бродящий один в горах, среди сонной природы, когда кругом все молчит, как бы затихая перед оком Творца вселенной, становится экзальтированным… Я помню, как в одну из таких ночей я встал и громко и серьезно объявил дерзко светившим звездам, что и они в конце концов не избегнут общей участи.

Мой двойник пристально взглянул на меня, как бы сомневаясь, понимаю ли я его.

— На досуге, среди пустынь и полного одиночества, человек размышляет лучше. Вы видите все происходившее с вами, мучившее и радовавшее вас совершенно в ином свете… Часами

вы ходите по дикому, покрытому снегом полю или по заросшему лесу и, как ребенок, поражаетесь и радуетесь невиданной прежде былинке и всему новому, непривычному. Иногда, стоя на краю обрыва, вы вдруг вспоминаете про город с высокими каменными домами, с вымощенными, ярко освещенными улицами, вспоминаете про мир, где живут и хлопочут люди, и тогда возвращаетесь — старательно обходите обрывы и опасные места и идете по кратчайшей дороге назад. Но другие испытывают иное. Мне, например, так же тяжело вернуться в этот мир, как и покинуть его, и я с грустью вспоминаю про улицы, по которым движется людская толпа… Мне не хочется идти к ним, мне не хочется беседовать с коллегами и оппонентами. Это последнее путешествие я продлевал до крайности, пробродив по сосновым лесам сверх положенного срока шесть дней. Затем мне пришла в голову новая работа, и я отдался этой мысли и поспешно направился назад, в город. И знаете ли, какое чисто физическое чувство духовной чистоты вы ощущаете, возвращаясь в оживленный мир людей? Как будто не только мозг, но и все ваши нервы и артерии очистились, и в них влили новую кровь… Я люблю горы, люблю их крутые верши-

ны и до самой старости буду посещать их… После я отправлюсь в небольшой ладье в Полинезию. Множество старых людей в Утопии так поступают. В прошлом году один из наших великих Самураев, убеленный сединами старец, который, несмотря на столетний возраст, строго исполнял правило одинокого путешествия, был найден умершим в лодке, вдали от земли. Счастливое выражение лица и спокойная поза мертвеца заставляли думать об уснувшем ребенке…

— Да, такая смерть завиднее, чем в комнатке со спертым от запаха лекарств воздухом, в окружении заплаканной родни, — подметил я.

— Истинно так, — подтвердил мой двойник. — У нас, в Утопии, мы, Самураи, оставляем жизнь лучше вашего… Неужели же ваши великие люди не покидают мир таким же образом?

Мне вдруг показалось очень странным, что, пока мы сидели и разговаривали в тепле и уюте, через пустынные моря, по раскаленным пескам, по тихим лесным проходам и во всех высокогорных и уединенных местах мира, за той границей, где дороги и дома еще есть, одинокие мужчины и женщины плыли одни или шли в одиночку, или карабкались куда-то — тихие, решительные изгнанники; они стояли в одиночестве среди ле-

дяных пустошей, на обрывистых берегах ревущих потоков, в чудовищных пещерах или управляли качающейся лодкой в маленьком круге горизонта среди бушующего, беспрерывного моря, все по-своему соприкасаясь с пустотой и загадкой тишины, с ветрами, потоками и бездушными силами, омывавшими всю эту электрифицированную упорядоченную суету.

Во всех пустынных местах бредут они — унылые и радостные, нашедшиеся и потерянные, получившие надежду возродить дух и приобщиться к великим тайнам жизни — и окончательно смирившиеся с гибелью и невозвращением в мир. Теперь я внял яснее тому, что уже смутно различал в осанке и лицах этого утопического рыцарства — стойкую ноту отстраненности от сиюминутного жара и суеты, от маленьких граций и удовольствий, от напряжения и волнений повседневного мира. Мне странным образом нравилось думать о ежегодном паломничестве в одиночество — и о том, как близко люди могли подойти в нем к высшим чертогам Бога.

§ 8

Наконец мы повели речь о содержании Правила, о судах, карающих за его нарушение и разъясняющих сомнительные случаи, и о юридическом учении, произросшем на этой почве. Оказалось, что, хотя Самурай и может свободно выйти из состава ордена, предупредив об этом заранее, затем — опять влиться в него, есть также случаи нарушения уклада, которые навсегда исключают Самурая из ордена. Мой двойник рассказал мне о собрании, созываемом каждые три года для пересмотра и изменения Правила.

Затем мы перешли к нюансам конституционного устройства всемирного государства. В сущности, вся власть была сосредоточена в руках у Самураев. Не только ими заняты все административные посты, не только из них набираются все юристы, практикующие врачи и государственные чиновники, но еще — и это самое весомое, — право голоса в общественных и государственных делах предоставлено лишь одним Самураям. Из этого допущено одно только исключение. В высшем законодательном органе собраны не менее одной десятой части членов

и не более половины их избираются из числа лиц, не входящих в состав ордена. Установлено это на том основании, что и в грехе, и в распущенности имеются своего рода опыт и знание, нужные для управления человечеством. Мой двойник прочел мне вслух стихотворение из книги Самураев, относящееся к этой теме, но, к сожалению, я не удержал его в памяти — помню только, что это была как бы молитва о спасении мира от «непереродившихся людей».

Похоже, идея Аристотеля о смене правителей, которая вновь всплывает в «Океании» Харрингтона, той первой утопии «суверенного народа» (которая, благодаря умению Дантона[40] читать на английском языке, сыграла катастрофическую роль во Французской революции), не получает особого уважения в Утопии. Тенденция — в том, чтобы предоставить практически постоянное владение хорошим людям. Каждый правитель и чиновник, правда, раз в три года предстает перед судом присяжных, выбираемых по жребию,

[40] Notes: 40

Дантон Жорж Жак (1759–1794) — французский революционер, видный политический деятель, один из отцов-основателей Первой французской республики, сопредседатель клуба кордельеров, министр юстиции времен Французской революции, первый председатель Комитета общественного спасения. Был казнен во время «революционного террора».

в зависимости от сферы его деятельности, либо из Самураев его муниципального района, либо из общего реестра, но дело этого жюри состоит только в том, чтобы решить, оставить ли его на посту или назначить новые выборы. В большинстве случаев вердикт — оставление, но даже в случае отказа отстраняемый от службы чиновник вправе поставить свою кандидатуру на новых выборах, производимых особым составом присяжных.

Мой двойник упомянул несколько разрозненных подробностей о методах выборов, но, поскольку в то время я полагал, что нам предстоит еще череда бесед, я не исчерпал своего любопытства на эту тему. Действительно, я был более чем немного озабочен и невнимателен. Религия Самураев пришлась мне по сердцу, и она очень сильно завладела мной… Но вскоре я бросился расспрашивать его о сложностях, возникающих в Утопии-модерн из-за различий между расами, и обнаружил, что моя внимательность возвращается (предмет этого диалога я вынесу в отдельную главу, ведь он этого достоин). В конце концов мы вернулись к деталям великого Правила Жизни, коему должен следовать всякий желающий стать Самураем.

Я помню, как после нашего разговора пошел обратно по улицам утопического Лондона, чтобы присоединиться к ботанику, ждавшему в гостинице.

Мой двойник жил в квартире в огромном здании — которое, насколько я мог сообразить, стоит там, где в нашем земном Лондоне находится Галерея Тейт, и, так как день был погожий, и мне некуда было торопиться, я пошел не по крытому механическому пути, а пешком по широким, усаженным деревьями террасам, которые следуют за рекой по обеим сторонам.

Был полдень, и мягкий солнечный свет долины Темзы, теплый и нежный, осенял чистый и благодатный мир. На набережной наблюдалось много народу. Люди шли без спешки, но, по-видимому, не бесцельно, и я так внимательно глядел на толпу, что если бы меня спросили что-либо о зданиях и террасах, окаймлявших реку по берегам, о башнях и колокольнях, торчащих к небу, я о них и слова не промолвил бы. Зато о людях я мог бы порассказать очень многое!

Никто из утопистов не носит черное, и, несмотря на часто встречающихся на лондонских улицах Самураев в форме, впечатления от толпы — яркость и многоцветье. Люди, экономные

в расходах или не желающие тратить время на заботы о внешнем виде, носят робы из грубого сукна коричневого или зеленого цвета и белье из тонкой ткани, таким образом удовлетворяя требованиям комфорта в простейшей форме. В одежде же других, не принадлежащих к ордену Самураев, наблюдается величайшее разнообразие цветов и материи. Оттенки, получаемые красильщиками-утопистами, кажутся мне полнее и чище, чем обычный ассортимент цветов на Земле; тонкая отделка шерстяных тканей указывает на то, что Брэдфорд[41] в Утопии ничуть не отстает от своего земного собрата. Я сосчитал все цвета радуги, но преобладал определенно белый — очень уж их много было, туник и белоснежных платьев с полосами ярких оттенков. Часто попадались люди, стремившиеся имитировать в наряде покрой и алую оторочку одежд Самураев.

В утопическом Лондоне воздух такой же чистый и непыльный, как среди высоких гор; дороги сделаны из сплошного покрытия, а не

[41] Notes: 41

Брэдфорд (англ. Bradford) — город в графстве Западный Йоркшир, Англия. В XIX веке стал «шерстяной столицей мира» благодаря текстильному производству, развивавшемуся здесь на богатой сырьевой базе и из-за наличия в районе угольных шахт и мягкой воды, идеально подходящей для обработки шерсти.

из рыхлой земли; все отопление осуществляется электричеством, и уголь никогда не поступает в город; нет ни лошадей, ни собак, а потому нет и подозрения на уличные грязь и смог — то есть ничто не мешает рядиться в белое.

Под влиянием обязательной для Самураев униформы чтится простота покроя платья и у других граждан, и поэтому с особенной рельефностью выступает стройность и соразмерность телосложения. Почти все население рослое, ладно скроенное, внешне люди лучатся отменным здоровьем. У всех у них прямая, твердая поступь и ясность взгляда. В земном Лондоне я имею основание считать себя высоким и крепко сбитым, а здесь почувствовал себя маленьким и никчемным. Сколиоз, плоскостопие, недоразвитые ноги, неправильно сформированные кости, желтые или красно-кирпичные лица, тремор, кашель и чихание, преследующие на лондонских улицах, тут совершенно отсутствуют. Я видел очень мало стариков, и, на мой взгляд, в Утопии значительно больше процент зрелых людей в полном расцвете жизненных сил, чем у нас.

Я цепляюсь за это. Я видел здесь одного-двух толстяков — они тем заметнее, что редки. Но морщины?.. Встречал ли я в Утопии-модерн хоть

одну плешь?

Люди здесь серьезнее подошли к физической науке, чем мы, и взаимодействие между ней и жизненным обиходом у них теснее, чем у нас. Они знают, что им следует делать и чего нужно избегать, как надо предупреждать болезни и как бороться с отравой, накапливающейся в организме и притупляющей его отзывчивость. Жители Утопии сохраняют зубы и здоровое пищеварение, избегают подагры, ревматизма, неврастении, гриппа — признаков разложения, сгибающих позвоночники у мужчин и женщин и покрывающих их лица морщинами. Среднюю продолжительность жизни они продлили за пределы семидесятилетнего возраста. Когда же наступает старость, она проходит быстро и легко. Лихорадочная земная спешка и умирание, начинающееся раньше, чем закончилось созревание, заменены у них длительным периодом здоровой зрелости.

Утопия-модерн — страна зрелых людей. Излишний романтизм, эротомания, экзальтация и жажда приключений, магистральные в мире, где господствовало бы юношество, уступили в ней серьезному раздумью, сознательной и могучей впечатлительности, широкому пониманию

жизни. И при всем том — юность и тут занимает выдающееся место. Среди мужчин с лицами, облагороженными мыслью и житейским опытом, среди женщин с ясным взглядом бросается в глаза молодежь с вызывающими взорами, со светлыми улыбающимися лицами, здоровая, крепкая, в красивых, ярко окрашенных нарядах…

Учение и воспитание в Утопии длятся до двадцатилетнего возраста; год посвящается путешествиям, а многие остаются студентами хоть до двадцати четырех и двадцати пяти лет. Большинство, правда, продолжает учиться всю жизнь, но, по общему убеждению, воля частью атрофируется, если к двадцатилетию человек не начинает какого-либо ответственного дела. Однако полный расцвет жизни начинается не раньше тридцати лет. Мужчины женятся между тридцатью и тридцатью пятью годами, женщины выходят замуж в более раннем возрасте, но и они редко становятся матерями ранее двадцати пяти лет. Большинство женщин-Самураев обзаводятся детьми между двадцатью семью и тридцатью пятью годами. От семнадцати до тридцати лет жители Утопии увлекаются любовью, и это увлечение составляет в это время главный интерес

их жизни. Им предоставляется большая свобода действий, чтобы их воля могла свободно расти. По большей части дело кончается браком, и любовь уступает место какому-то особому более продолжительному интересу, хотя, действительно, бывает любовь и между мужчинами в летах и свеженькими девушками, и между юношами и более зрелыми женщинами. Именно в эти самые изящные и прекрасные годы жизни можно увидеть такую свободу в одежде, какую позволяет атмосфера Утопии — и грубые, яркие воля и воображение юности проглядывают в орнаментах и красках.

Фигуры появляются передо мной, на мгновение овладевают моим вниманием и минуют, уступая место другим. Вот идет смуглая маленькая еврейка, красногубая, в янтарном платье, с темно-малиновым цветком — не знаю, настоящим или бутафорским — в черных волосах. Она проходит мимо меня с бессознательным пренебрежением; и вот я гляжу на ярко улыбающуюся голубоглазую девушку, высокую, румяную, с теплыми веснушками, одетую, как сценическая Розалинда[42], и весело разговаривающую с бе-

[42] Notes: 42
Героиня оперетты «Летучая мышь» Карла Хаффнера и Рихарда Жене.

локурым юношей, послушником Правила. Мимо проходит рыжеволосая мать в наряде Малого правила — в зеленом платье, с темно-бордовыми ремнями, перекрещивающимися между грудей, и двое детишек в легких сандалиях тянут ее за руки с обеих сторон. Вот двое мужчин с коротко остриженными бородами, в темно-синих мантиях, небрежно накинутых на плечи. Оба смеются самым заразительным смехом, они не принадлежали к ордену — может быть, это художники-Созидатели. За ними прошел Самурай, весело беседующий с девочкой лет восьми, одетой в светло-голубое платье.

— Но ты мог бы вернуться еще вчера, папа, — попрекала она его.

У мужчины было волевое загорелое лицо, и перед моим мысленным взором пронеслась картина: заснеженный пустынный горный склон, вечер, и на этом склоне — одинокая фигура человека, любующегося далекими звездами…

А вот серьезный человек в длинном, отороченном мехом халате, может быть, купец, обсуждает какой-то серьезный вопрос с приказчиком в аккуратно скроенном пальто лилово-голубого цвета с серебряным шитьем. Но что за экзотический лик у этого уверенного в себе и сметливого

молодого клерка? Оглянувшись, я замечаю его иссиня-черные прямые волосы. Он, похоже, китаец… Его появление живо напоминает мне о том, что мой двойник успел поведать о расовых отличиях в Утопии-модерн.

Глава десятая
Расы в Утопии
§ 1

Над сферой стихийных желаний и потребностей душа человека пребывает в постоянном колебании меж двух конфликтующих импульсов: желанием утвердить свои индивидуальные различия, желанием уникальности и страхом одиночества. Человек хочет выделяться, но не слишком, и, наоборот, стремится слиться с группой, с каким-то большим числом, но не безгранично. Сей мучительный компромисс проходит нитью через все аспекты жизни: люди следуют моде и в то же самое время отворачиваются от заготовленного для них общего мундира во всех отраслях своей деятельности. Предрасположение к образованию групп и к изобретению новых групповых образований — одно из свойств человеческой натуры, одна из великих естественных сил, которые должны быть использованы государственными деятелями — и против которых в то же самое время эти деятели должны устраивать прочные плотины. Предметом социологии

является изучение этих группировок, бытующих как в реальности, так и в идеале, на которых в значительной степени основываются взаимные отношения друг к другу, личное поведение и политические расчеты людей.

Род и свойство группировок, к которым тяготеют те или иные мужчины и женщины, определяются отчасти — силой и восприимчивостью личного воображения, отчасти — духом идей, которые в рассматриваемый срез времени господствуют в обществе. И мужчины, и женщины выказывают большое разнообразие стремлений в этом отношении, в зависимости от врожденного или благоприобретенного предрасположения к той или иной общественной группе. Естественным социологическим стремлением человека, по-видимому, является порыв сгруппироваться по племенам, избираемым довольно неопределенным критерием — точно так же собаки, каким бы унизительным ни показалось сравнение, сбиваются в стаи. Следите за руками — как собаку можно «переориентировать» на верность хозяину вместо склонности к группировке, так и социализирующий порыв человека может быть перевоспитан и более того — преображен. Границы такого преобра-

жения определяются силой и широтой личного воображения каждого индивидуума, а также его потребностью в ответных симпатиях со стороны других индивидуумов.

Высокоразвитый и зрелый разум может стремиться к общению исключительно с существом, столь высоким, далеким и неопределимым, как Бог, или со столь же туманной категорией — человечеством, или с таким бескрайним представлением, как сущность вещей. Я говорю: «может», но сомневаюсь, что столь экзальтированное стремление будет постоянным. Конт в своей «Позитивной политике» очень откровенно выставляет свою душу напоказ, и любознательный исследователь может проследить, как, честно стремясь к слиянию с высшим существом, под которым он понимает человечество, он постоянно суживает это представление до пределов спроектированной им «Западной Республики» цивилизованных людей, зачастую даже — до пределов весьма неопределенной группы сторонников-позитивистов. Христианская церковь с ее историей развития орденов и культов, сект и схизм, летопись высшего общества с его клубами и группами, политическая история каждого государства с ее интригами

и тайными кабинетами — не свидетельствуют разве они о душевной борьбе отдельных лиц, стремящихся к широким союзам, но определяющих широту этих образований в зависимости от широты и силы своего воображения.

Государственный деятель, для себя так же, как и для других, обязан считаться с этим неравенством человеческих способностей и с необходимостью действительно существующих и воображаемых «обществ» для поддержания людей в их стремлении поддерживать мировой порядок. Он должен быть социологом, непрестанно постигающим и оттачивающим науку человеческих группировок и их отношений к мировому государству, к которому стремится его разум. Он обязан поддерживать развитие социальных идей, которые ведут к группировкам, облегчающим процесс цивилизации, и в то же время — должен стараться разъединять союзы и обесценивать такие социальные идеи, что поддерживают единение отдельных лиц, настраивая одни группы против других. Государственный деятель должен знать, что в мире очень мало людей, способных к устойчивому союзу, что даже один и тот же человек в противоположных обстоятельствах может переходить от одно-

го союза к другому, совершенно не похожему на предыдущий. С точки зрения государственного зодчего, наиглавнейшее значение стремления объединиться в группы заключается не в том, чего оно обязательно требует, а в том, против чего оно имплицитно восстает. Человек в своем естественном состоянии не сознает даже, что он группируется с другими людьми, если группировка не направлена против чего-либо. Если он принадлежит к какому-либо племени, то он хранит верность этому племени и неразлучно с этим ощущает страх, ненависть ко всем тем, кто не принадлежит к племени. Племя всегда пассивно враждебно, а иногда и активно враждебно к человечеству, стоящему за пределами племенной группы. По-видимому, с групповой идеей неразлучна антиидея, являющаяся как бы необходимым продолжением первой. Когда мы считаем желательным существование класса А, то одновременно существование класса не-А представляется нам нежелательным. Оба представления так же неразрывно связаны друг с другом, как мускулы на наших ладонях, заставляющие четвертый палец прижиматься к ладони, когда мы прижимаем к ней мизинец.

Все действующие боги, все боги, которым дей-

ствительно поклоняются — племенные, и всякая попытка универсализировать идею Бога влечет за собой дуализм и наличие дьявола как моральную необходимость.

Когда мы начинаем исследовать групповые идеи настолько, насколько это дозволяет несовершенный аппарат современной социологии, в умах почти всех наших цивилизованных современников отмечаем жутко мудреную путаницу: например, на хамелеоновой поверхности разума моего друга-ботаника сталкиваются всевозможные групповые идеи. Он всей душой на стороне ботаников-систематиков, которых он ставит много выше ботаников-физиологов — тех он считает вредителями. Но одновременно у него сильная симпатия ко всем ботаникам и даже к биологам — их он ставит значительно выше всех физиков и математиков, считая последних глуповатыми и неповоротливыми. Вместе с тем он положительно настроен ко всем тем, кто занимается естественными науками — философов, психологов, социологов и литераторов он считает дикими, бесполезными и распущенными людьми. Но еще у него сильная симпатия ко всем образованным людям в принципе — их он противополагает рабочим, считая последних

тунеядцами, лгунами, пьяницами, недалекими и грубыми людьми.

Однако если рабочих вместе с образованными людьми объединить в одну группу по признаку «англичане», в которую, замечу, ботаник включает и шотландцев, и валлийцев, то он ставит их выше всех остальных европейцев… и так далее.

Во всех этих групповых идеях замечается одна из главных погрешностей человеческой мысли, вызываемая навязчивой идеей классификации. Потребность делить человечество на классы влечет за собой необходимость придумывать неверные и преувеличенные контрасты: нет класса, как бы случайно ни было его появление, которому мы не приписывали бы ярких отличительных от других классов признаков. Если рыжий — то бесстыжий, если конопатый — значит, кого-то там убил лопатой. Доверия достоин только социал-демократ, ирландцы все как один выпивохи да выдумщики, англичане любят чай и циничны от природы, а француз ни дня не проживает, чтобы не съесть лягушку. К нелепым стереотипам многие здравомыслящие и почтенные люди относятся с большим доверием и готовы даже руководствоваться ими в своих суждениях. А когда есть собственный класс, ко-

гда он выражает одну из совокупностей, к коим люди относят собственную деятельность, тогда склонность разделить все качества между этим классом и противоположным ему и напичкать свой собственный класс всеми желательными отличиями становится подавляющей.

Философов учат с подозрением относиться ко всем подобным обобщениям; утопистов, надеюсь, учат всячески им противостоять, ибо грубые классификации и ложные обобщения — проклятие всей организованной человеческой жизни.

§ 2

Если оставить в стороне классы, клики, клубы, касты и тому подобные мелкие агрегации, занятые по большей части деталями и второстепенными аспектами жизни, у цивилизованных народов мира можно найти некоторые широкие типы агрегативных идей. Есть, во-первых, национальные идеи, совершенно требующие единообразия физического и умственного типа, общего языка, общей религии, отличительных черт нарядов, украшений и мысли, а также — сплоченной организации, действующей совместно в поддержку полного внешнего единства.

Подобно готическому собору, национальная идея никогда не бывает завершенной во всех своих частях; но в России, с ее упорством в политической и религиозной ортодоксии, есть нечто близкое к этому, и опять-таки во внутренних и типичных провинциях Китая, где даже странный узор на тулье шляпы вызывает враждебность. Она была и у нас — во время яростной борьбы Англии за существование в давние времена, в умах ратовавших за Государственную англиканскую церковь. Идея фундаментальной природы национальности так укоренилась в мысли со всем обычным преувеличением смысла, что никто не смеется над разговорами о шведской живописи или американской литературе. Я постоянно получаю удовольствие от льстивой лжи об английском превосходстве, которую я с негодованием отверг бы, если бы это заявление было сугубо личным, и я всегда готов поверить, что у пейзажей Англии, поэзии Англии и даже у музыки Англии есть некая особенная стать, мистическая и превосходящая все другие стати. Эта привычка усиливать все классовые определения, и в особенности те, в которых есть личный интерес, заложена в самой конституции человеческого ума — таков уж дефект сего инструмента.

Мы можем следить за ним и не допускать, чтобы он толкнул нас к каким-либо серьезным несправедливостям, не вводил нас в безрассудство, но искоренить его — совсем другое дело. С ним нужно считаться, как с копчиком, эпифизом и аппендиксом, и слишком последовательная атака на него может запросто привести к инверсии эффекта, когда не видишь и не имеешь ничего своего, а все чужое, каким бы скверным оно ни было, готов принять без оглядки.

Второй вид совокупных идей, часто выходящий за рамки национальных и вступающий с ними в противоречие — религиозные. В Западной Европе подлинные национальные идеи проявились в их теперешней лихорадочной силе только после того, как шок Реформации освободил людей от великой традиции латиноязычного христианского мира, которую Римско-католическая церковь сохранила как форму старого латинизированного христианства, сшитую нитью имперской амбиции верховного понтифика.

В римско-католической традиции всегда существовало и сейчас существует полнейшее презрение к местным наречиям и расовым отличиям, олицетворявшее деструктивное влияние римско-католической церкви на националь-

ное самосознание. Столь же обширную группу, бескомпромиссную к наречиям и народным отличиям, образовала магометанская религия с ее арабским Кораном. Правда, и христианство, и ислам не могут воплотить в жизнь утопическое мировое государство, но гражданственность всегда была самой слабой стороной обеих этих религий — за ними, увы, не числилось великих государственных деятелей, олицетворявших их духовные силы. Христианскую утопию надо искать не в Риме, под управлением папства, и не в Мюнстере, у анабаптистов, а скорее у Фомы Кемпийца[43] или в том же «Господнем Граде» у святого Августина.

За последнее время развитие материальных сил и в особенности путей сообщения очень много сделало для того, чтобы разрушить обособление национальностей и дать возможность развитию и упрочнению мировой культуры, на какую только намекало христианство в Средние века. Первая ступень этого развития ознаменовалась расширением политического идеала. «Западная

[43] Notes: 43

Фома Кемпиец (Кемпийский, ок. 1379–1471) — немецкий монах и священник, член духовного союза «Братьев Общей Жизни», предполагаемый автор трактата «О подражании Христу», написанного ориентировочно в 1427 году.

Республика» Конта (1848 г.) была первой утопией, которая на место обособленной национальной политики ставила империализм и создавала для него основу в политических союзах, расовых традициях и сходстве языков. Отсюда явились такие синтетические идеи, как англосаксонство, пангерманизм и т. д. До восьмидесятых годов минувшего века прогрессивная мысль развивалась по одному и тому же направлению с древней христианской традицией, не признававшей расы, а наиболее сформированным и определенным стремлением широкого либерального движения выступала «европеизация» всего мира — распространение всеобщего голосования на негров, облачение полинезийцев в панталоны и приучение миллионов индусов к красотам романтизма, каким он представлен во «Владычице озера»[44] Вальтера Скотта. К человеческому величию всегда примешивается некая доля абсурда — и тот факт, что англичане средины XX столетия считали Скотта, всеобщее голосование и панталоны величайшим благом жизни, не должен закрывать от нас истинное благородство мечтаний

[44] Notes: 44

«Владычица озера» (англ. The Lady of the Lake) — поэма Вальтера Скотта, впервые опубликованная в 1810 году, признанная вершиной популярности ее автора как поэта.

об английской роли в мировой культуре.

Наше поколение застало взрывную реакцию против подобной универсалии. Великий интеллектуальный прорыв, вызванный работами Дарвина, убедил нас в том, что жизнь — лишь борьба между особями высших и низших типов; он указал нам на главенствующее значение статистики для мирового развития, и множество недалеких ученых тут же кинулись применять к разрешению мировых задач крайне преувеличенные статистические обобщения.

Эти социально-политические последователи Дарвина вызвали смешение понятий расы и национальности и сами попали в западню патриотической самонадеянности. Противодействие правящих классов в Индии либеральным реформам нашло выражение в произведениях Киплинга, у коего недостаток рассудительности равен только его же поэтическому таланту. Поиски основ для нового политического синтеза усилились под влиянием сформулированного Максом Мюллером[45] ни на чем не основанного убеждения, что сходство языков доказывает

[45] Notes: 45

Фридрих Максимилиан Мюллер (1823–1900) — немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии и мифологии.

родство народов. Это привело к странным этнологическим вымыслам, к открытию таких рас, как кельтская, тевтонская, индоевропейская и т. д. Книга, которая оказала огромное влияние в этом вопросе из-за ее изучения в университетах — это «Краткая история английского народа» Дж. Р. Грина с ее гротескными одами в сторону англосаксонства. Прямо сейчас мир находится в каком-то бреду по поводу расологии и расовой борьбы. Британец, забывающий своего Дефо, еврей, забывающий само слово «прозелит»[46], немец, забывающий о своих антропометрических различиях, и итальянец, забывающий обо всем на свете, одержимы исключительной чистотой своей крови и опасностью заражения, какую влечет за собой *продолжение существования других рас* — вдумайтесь, одно лишь продолжение, об инвазиях нет и речи!

Верные закону всех человеческих групп, по которому одновременно со сплоченностью развивается ненависть ко всякой инаковости, люди одной расы настойчиво преувеличивают

---

[46] Notes: 46

Прозелитизм (от греч. προσήλυτος «обращенный; нашедший свое место») — стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели. Одобряется как явление далеко не во всех религиозных течениях.

низость и бесчеловечность людей других рас, всерьез настаивают на *несовместимости* их сосуществования с сохранностью своей расы.

С ослаблением национальных связей, да и ввиду задержки в воссоздании религиозных верований, эта новая необоснованная расовая ненависть растет с каждым днем, направляет политику, изменяет законы, и на ней, сдается мне, лежит ответственность за большую часть войн, несчастий и жестокостей, которые готовит миру ближайшее будущее.

Для современных легковерных людей не существует слишком смелых обобщений. Для отделения действительных расовых отличий от искусственных отличий культурных ничего не делается. Никого не убеждают исторические примеры того, как цивилизация переходила от одной расы к другой; политически преобладающие ныне народы считаются высшими расами, причем в них записываются, судя по всему, и сассекские батраки, и лондонское хулиганье, и парижские апаши[47]. Те расы, что политически

[47] Notes: 47

Апаши (фр. Les Apaches) — криминальная субкультура в Париже, столице Франции, существовавшая в конце XIX — начале XX века. Получили свое название в честь индейцев апачей, так как якобы не уступали им в жестокости и дикости.

не блещут — египтяне, греки, испанцы, мавры, китайцы, индусы, перуанцы, все туземные народы, — считаются расами низшими, негодными для ассоциации с «хозяевами расового положения», для брачных союзов, хотя бы и для права сколько-нибудь значимого голоса в общечеловеческих делах.

Западноевропейское народное воображение украшает китайцев всевозможными яркими цветами и одновременно считает их отвратительными во всех отношениях; народы с черной кожей, вьющимися волосами, плоскими носами и слабо развитыми икрами вовсе вынесены за грань человечности. Эти предрассудки создают своеобразную популярную логику. Очищение бельгийцами свободного государства Конго от коренных жителей, истребление китайцев европейскими солдатами в ходе Пекинской экспедиции — все это описывается как уродливый, но необходимый аспект культурного мирового процесса.

В XX столетии борьба с рабством велась против обширной, замолчавшей тогда силы горделивого невежества, которая под наплывом новых иллюзий ныне опять подымает голову. По общему отзыву, расовое безумие санкционируется

наукой, но эта «наука» такого сорта, какой специально приготавливается для неграмотных. То, что истинная наука говорит о человеческих расах, можно найти в книге доктора Деникера[48] «Человеческие расы», учащей расовой доброте и наглядно доказывающей, что, за исключением немногих изолированных диких племен, во всем мире нет чистой расы людей[49]. Великие континентальные народы представляют помесь всевозможных взаимно друг друга изменяющих типов. Даже у евреев отмечены все виды черепов, которые считаются отличительными признаками различных рас, и почти все виды окраски человеческой кожи — от почти черной в Гоа до кипенно-белой в Голландии, и все виды физического, умственного и нравственного развития. Если бы евреи отныне навсегда совершенно отказались от браков с представителями других рас, то и при этом условии выработка их окончательного типа зависела бы от совершенно

[48] Notes: 48

Иосиф (Жозеф) Егорович Деникер (1852–1918) — русско-французский натуралист и антрополог. Создал классификацию человеческих рас, в которой впервые был последовательно проведен принцип выделения антропологических типов исключительно по физическим признакам.

[49] Notes: 49

См. также превосходную статью в «Американском журнале социологии» за март 1904 г. «Психология расовых предубеждений» В. И. Томаса. — *Прим. автора.*

неисследованных законов размножения, переживания и изменяемости, и еще не доказано, что в принципе возможной была бы выработка такого окончательного типа. Не покидая пределы британских островов, мы видим среди их населения представителей самых различных типов: имеются у нас и статные англичане-горцы, и низкорослые с равнин, и с прямыми, и с вьющимися волосами, и светлокожие, и довольно-таки смуглые, и очень умные, и глупые, как пробка, и каких там еще не найдешь. А между тем, как только заговорят о расе, так все эти различия забываются, на сцену выступает только средний или даже воображаемый тип, с которым носятся точно с писаной торбой.

Допустим, что средний китаец, вероятно, отличается от среднего англичанина как в окраске кожи, так и по своим физическим и психическим особенностям, но разве это отличие мешает им сгруппироваться в одном мировом государстве на условиях полного равенства? Мировому государству нет никакого дела до того, какими могут быть средние китайцы и средние англичане. Существуют не средние люди, а индивидуумы. Средний китаец никогда не встретится со средним англичанином, только отдельно взятые

китайцы могут встретить отдельно взятых англичан, но среди китайцев можно найти такую же массу индивидуальных различий, как и среди англичан. С другой стороны, нет ни одной черты, общей для всех китайцев, которой не нашлось бы хотя у одного англичанина, и наоборот. Даже раскосые глаза — отнюдь не общий отличительный признак. Нашлось бы немало китайцев, которые, если бы их подменить при рождении, могли бы быть воспитаны по английскому образцу и прекрасно сошли бы за англичан.

Не стоит забывать, сколь трудно установить точные данные в таких вопросах. Расовые симпатии и антипатии практически не поддаются исследованию, которое усложняется еще и личными симпатиями и антипатиями самого ученого. Можно подумать, подобные изыскания многим инстинктивно отвратительны — ровно так же инстинкт восстает и против некоторых медицинских экспериментов.

Но в то время как длительная специальная подготовка, высокие традиции и возможность поощрения и признания позволяют студенту-медику справляться со многими задачами, как бы «недостойными» и физически отталкивающими, индивиды, от которых мы получаем нашу

антропологическую информацию, редко возносятся над средним уровнем — у них обычный, если не невзрачный интеллект, за ними не стоит никакой особой умственной подготовки.

И проблемы антропологии гораздо более неуловимы. Безусловно, нужны по меньшей мере дар и образование первоклассного романиста, объединенные с завидным терпением, на какое, вероятно, не стоит и рассчитывать, чтобы оценить всесторонние различия между людьми. Даже там, где нет языковых и видовых барьеров, понимание может быть практически недостижимо. Как мало, по-видимому, образованных людей, понимающих класс прислуги в Англии или рабочих! За исключением романа мистера Барта Кеннеди «Человек, плывущий по течению», едва ли знаю какую-либо книгу, показывающую действительно сочувственное и живое понимание землекопа, портового моряка, «грубого парня» из нашей собственной расы. Карикатуры, мрачно-трагические или весело-комические, где заблуждения автора сливаются с предубеждениями читателя и достигают успеха, конечно, достаточно распространены. А теперь подумайте о людях, которые высказывают суждения о моральных и интеллектуальных способностях

негра, малайца или китайца — миссионеры, туземные учителя, коммерсанты всех мастей… Они просты и прямолинейны, им невдомек ошибочность своих предубеждений, не способны уловить даже разницу между врожденным и приобретенным, уж подавно — отличить их во взаимодействии. Время от времени кажется, что можно-таки увидеть проблеск подлинно живого взгляда на проблему — например, в жизнеутверждающих трудах Мэри Кингсли, — но ведь даже это может быть не более чем моей иллюзией.

Со своей стороны, я склонен отвергать все неблагоприятные суждения и все заявления о непреодолимых различиях меж двух разных рас. Я спорил о расовых качествах со всеми, кто имел возможность непосредственного наблюдения за ними, и нахожу, что их упорство стоять на этих различиях обычно обратно пропорционально их интеллекту. Может, конечно, всему виной некое специфическое качество моего круга, но вот попадись мне, к примеру, моряк — так непременно сделает какое-нибудь многомудрое обобщение об ирландцах, шотландцах, янки, новошотландцах и голландцах, да такое, что невольно подумаешь, будто речь ведется

о разных видах животных. Но если человек по-настоящему образован, он свободен от подобных иллюзий. Ему люди представляются индивидуализированными, и если их и классифицируют, то это происходит по какой-то поверхностной характеристике — скажем, особенности языка, жестов, другие тому подобные поверхностности. И ведь на сегодняшний день существует по крайней мере одно непредвзятое антропологическое свидетельство — фотографии! Отсылаю любознательного читателя к книге «Жизнь современных народов» Хатчинсона, Грегори и Лайдеккера. Изучите эти лица чужеземцев — разве нет среди них кого-то, очень похожего на того или иного вашего знакомца? На некоторых снимках — выражения грубые, зверские, но не хотите ли вы сказать, что не отыщете подобных типов на Стрэнде в любой день? Различия, несомненно, есть, но они — не в основном.

В одном вопросе особенно заметен небрежный и предвзятый характер общепринятых расовых обобщений. Все большее и большее число людей убеждено, что «полукровки» — это исключительно злые существа, какими считались в Средние века горбатые и бастарды. Чаще всего мне приходилось слышать это от предста-

вителей несомненно чистейшей белой расы, у которых на лице была прямо-таки выписана алкогольная деменция. Полукровка, заверит сей знаток из Кейптауна или с Виргинских островов, сочетает в себе все пороки обоих родителей, он ужасно слаб здоровьем и духом, но злопамятен, диковат и до крайности опасен, нравы его неописуемы даже шепотом в салуне — и так далее, и тому подобное. На самом деле нет ни грана доказательств, какие непредубежденный ум мог бы принять в поддержку любой веры такого рода. Нет ничего, что доказывало бы, что дети расовой примеси, как класс, по своей природе лучше либо хуже в каком-либо отношении, чем любой из их родителей. Существует столь же безосновательная теория о том, что они лучше — доведенная до крайней степени глупости в статье о Шекспире в Британской энциклопедии. Обе теории входят в огромный корпус лженауки, затеняющий реалии современного знания. Может, большинство полукровок и неудачливы по жизни, но это совсем ничего не доказывает. В огромном числе случаев они незаконнорожденные и отверженные от нормального воспитания любой расы; растут в домах, являющихся полем битвы конфликтующих культур; их жизнь течет

под заведомо предвзятым надзором, в искусственно невыгодном положении.

Существует, конечно, дарвиновская теория атавизма, но она еще никогда и никем не была доказана в отношении людей — следовательно, нет и аргументов в пользу «отличительной порочности» полукровных.

§ 3

Вообразите теперь, что где-то все же существует раса, определяемая единственно как «низшая». Существует ли хоть одна объективная причина долгое время «сохранять» ее в такой незыблемой неполноценности? Увы, логичнее было бы истребить ее вовсе.

Есть разные способы уничтожения рас, большинство из них жестоки. Можно покончить с расой огнем и мечом по древнеиудейскому пути. Можно поработить ее и заставить работать до изнеможения, до погибели, как делали египтяне с евреями. Можно поселить ее в резервации и затем отравлять разными видами дурмана, как поступают американцы с индейцами. Можно нарядить ее в непривычные одежды, вызывающие инфекционные болезни (так миссионеры

с полинезийцами обошлись). Можно просто и честно убивать ее представителей, как поступали англичане с тасманийцами, или, наконец, создать условия «расового суицида», как поступила британская администрация на островах Фиджи.

Представьте, что в Утопии существовала бы объективно низшая раса. Верно, в Утопии-модерн, руководствующейся неумолимой логикой жизни, пришлось бы извести ее. Но Утопия сделала бы это без излишней жестокости, совершенно таким же способом, как она истребляет все свои негодные элементы, то есть своими брачными законами и законом о минимальном заработке. Если какие-то представители этой расы были достойны пережить остальных, то они бы пережили их, будучи избраны путем обычного отбора.

Да существует ли, в самом деле, в мире так называемая низшая раса? Даже чернокожие обитатели Австралии далеко не так ничтожны и плохи, как это полагает типичный «белый» фермер, хозяйничающий в той же Австралии. Эти странные, маленькие черные племена — пигмеи и бушмены — так же разносторонне одарены талантами: ловкостью, умением быстро

схватывать, полетом фантазии; а такие качества востребованы в цивилизации Утопии. Мы предположили прежде, что каждый обитатель Земли имеет в Утопии-модерн аналог, поэтому все наши маленькие черные люди тоже находятся там. Все они получают там то, чего были лишены на Земле — хорошее воспитание, хорошее справедливое отношение, досуг и свободу.

Предположим теперь, что общераспространенное на Земле понятие об их отсталости и ничтожности верно. Тогда и в Утопии мы бы увидали их по-детски беспомощными, гнущими спины за безрассудно минимальную плату, не знающими ни своих прав, ни законов, ни какой-либо иной опоры. Но не будет ли вернее предположить, что эти маленькие черные люди, не голые и не стянутые смешными европейскими нарядами, а в изящных, просторных одеждах Утопии, нашли себе здесь применение и изобрели новые отрасли искусства — удивительную резьбу, например, — и оправдали создавшего их Бога, оказавшись трудолюбивыми и несущими миру пользу подражателями Его?

В Утопии есть здравые санитарные законы, здравые социальные законы, экономические благоденствия; какой вред принесут ей эти лю-

ди? Напротив, некоторые из них процветают и пользуются всеобщим почетом и восхищением в ее пределах. Некоторые из них женились на женщинах других рас и передали потомству тонкую черту превосходства, какую мы на Земле не сумели в них отметить — заняв подобающее себе место в великом синтезе Грядущего.

И действительно, возвращаясь к себе, я встречаю по дороге к саду невысокого, с черной, как чернила, кожей, человека. Его блестящие, поразительной красоты глаза весело и бодро смотрят на меня. Он одет в белую тунику, и лимонного цвета плащ грациозными складками спадает с его плеч. Походка у него такая, как у всех обитателей Утопии — как будто он имеет право чем-то гордиться, и нет на свете ничего такого, что могло бы испугать его. В руках у него набитый портфель. Вероятно, эта кладь — а может быть, и его прическа, — напоминает мне вдруг о Латинском квартале[50].

[50] Notes: 50

Латинский квартал — традиционный студенческий квартал в 5-м и 6-м округах Парижа на левом берегу Сены. Название происходит от латинского языка, на котором ранее преподавали в Сорбонне.

§ 4

Еще в Люцерне я спорил с ботаником о расовом вопросе.

— Но ведь не захотели бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за китайца или негра? — воскликнул он с ужасом.

— Разумеется, — спокойно ответил я ему, — если, говоря о китайце, вы имеете в виду отвратительное грязное существо с косой и длинными неопрятными ногтями, а негра представляете себе еще более отвратительным и вонючим. Но ведь это только доказывает, что ваше воображение слишком слабо, чтобы отделить негра или китайца от искусственно привитых ему невежеством и суеверием привычек.

— Оскорбление — не аргумент, — отрезал ботаник.

— Я не собирался оскорблять, но вы странно понимаете этот вопрос, — успокоил его я. — Ведь разговор идет о расе, а вы поднимаете вопрос о неравном развитии. Конечно, вы не пожелаете, чтобы ваша дочь вышла за вороватого ниггера, но также вы не отдадите ее и за английского косоглазого горбуна или за пьяницу-извозчика,

несмотря на чистейшую нормандскую кровь, которая течет в их жилах. На деле очень немногие благовоспитанные английские девушки совершают подобную неосмотрительность. Однако вы не возражаете против людей вашей расы, несмотря на то, что среди них есть и пьяницы, и хулиганы — и к чему тогда предубеждаться против негров? Конечно, процент грязного отребья среди них — стабильно выше, но даже этим они не заслуживают огульных суждений. Можно осудить большинство, но зачем же — всех без разбора?

— Что негр, что китаец — непотребные партии для английской женщины.

— Но, как показывает колониальная практика, английский мужчина почему-то не брезгует ни африканками, ни китаянками.

— Ну, знаете ли. — Ботаник слишком возмущен, чтобы возражать. Я уже начинаю жалеть этого закоренелого идеалиста.

— Попробуйте ясно представить себе, — говорю я, — условия жизни в Утопии-модерн, и вы перестанете негодовать. Прежде всего, китаец будет говорить на одном и том же языке со своей будущей женой, к какой бы она расе ни принадлежала, будет носить общепринятый в Утопии

костюм, воспитание его ничем не будет отличаться от воспитания европейских соперников, их традиции будут его традициями. К тому же в Утопии жена ведь не особо-то и зависит от мужа.

— Вздор! Тогда ее всякий смог бы обидеть, унизить, обесчестить. Нет такого сильного горя, от которого слабая женщина могла бы спастись одна, без поддержки любящего мужа.

— Вы забываете, что мы в Утопии, — проговорил я успокоительным тоном. — Здесь ведь не то что на Земле. Конечно, среди грубых, простых, не принадлежащих к ордену людей найдутся и такие, что допустят себя до такого поступка. Несомненно, вы встретите и кутил, и прожигателей жизни — то есть, другими словами, недалеких и слабосильных людей, которые хотя бы ценой нанесенных ближнему оскорблений стараются создать себе некоторое занятие и приобрести известность. Но здесь будущее не за ними. Увы, все, что их здесь ждет — это… — Я многозначительно указал на почву у себя под ногами. — И заметьте — по естественнейшим причинам!

Несколько минут ботаник молчал, затем он не без торжественности обернулся ко мне:

— Ну, знаете, я очень доволен, что я не постоянный житель этой Утопии, особенно если наши

дочери должны выходить здесь замуж за готтентотов. Очень доволен!

И он повернулся ко мне спиной.

Ну, скажите, разве я говорил ему что-либо подобное?

Однако, как бы там ни было, придется все-таки терпеть его самого и его рассуждения. Не вижу пока возможности отделаться от него. Как уже не раз замечено, предшественники отправлялись в свои Утопии в гораздо лучшей компании, чем я.

§ 5

Что дает ботанику столь большое преимущество во всех его антиутопических тезисах, так это то, что он не осознает собственной ограниченности. Его мысль протекает в мелких руслах, разбросанных там и тут, в его уме одно не имеет необходимой связки с другим — так что я не могу возразить, спросив его: если вы так возражаете против синтеза всех народов, наций и языков в Мировом Государстве, какая же, по-вашему, идеальная альтернатива?

Люди его сорта вовсе не испытывают потребности в альтернативах. Помимо нескольких

личных проектов, новых встреч с Прекрасной Дамой и тому подобного, они не возлагают на будущее никаких надежд, не *чувствуют* будущее и не обременены никаким багажом чаяний на его счет. По крайней мере, это единственный способ, которым я могу объяснить высокую интеллектуальную мобильность моего друга; попытки соотнести государственное управление (с интересом рассматриваемое лишь как драматическое взаимодействие личностей) с любым светским движением человечества подобные ему люди воспринимают как дифференциальное счисление и дарвинизм — вещи «слишком сложные», а потому, скорее всего, вредные или в какой-то мере ошибочные.

Таким образом, аргумент должен перейти в прямое обращение к читателю.

Если вы не готовы рассматривать всемирный синтез всех культур, наций и рас в единое Мировое государство как желаемую цель, на которой сходятся все усилия цивилизации, что вы считаете желаемой целью? Можно походя заметить, что «синтез» не обязательно означает «слияние» и не грозит тотальным безынтересным единообразием.

Альтернативы делятся примерно на три ка-

тегории.

Первая предполагает, что существует лучшая раса. Требуется определить, насколько это возможно, эту самую лучшую расу и рассматривать все остальные расы как материал для уничтожения. Альтернатива эта пропитана прекрасным современным биологическим духом — мол, «выживет сильнейший». Если вы один из тех странных немецких профессоров, которые пишут безумные статьи о Weltpolitik[51], вы полагаете, что лучшая раса — это «тевтонцы»; Сесил Родс возложил бы сей титул на «англосаксонскую расу»; мой друг Мозес Коэн считает, что о евреях тоже можно многое сказать под таким углом. По своим предпосылкам это совершенно здравая и разумная политика, и она открывает ученому-изобретателю блестящую перспективу того, что можно было бы назвать Welt-Apparat в будущем — и аппарат этот, несомненно, будет военным по своей сути.

Великая равнина Китая, главный источник

---

[51] Notes: 51

Weltpolitik (нем. «мировая политика») — империалистическая внешняя политика, принятая Германской империей во время правления императора Вильгельма II, чьей целью было превратить Германию в мировую державу. Хотя этот политический курс и считается логическим следствием объединения Германии времен Вильгельминского общества, он ознаменовал радикальный разрыв с оборонительной Realpolitik Бисмарка.

«Желтой Угрозы», особенно подходит для испытаний чего-то такого, научно-военного: ее можно, например, затопить на несколько дней, а затем продезинфицировать вулканическим хлором. Не разделится ли высшая раса, когда все низшие расы будут уничтожены, сразу же или после короткого векового периода социальной гармонии, на подклассы и не откроет ли второй круг геноцида, уже на более тонком уровне — интересный вопрос для дальнейших раздумий, в который сейчас нет смысла особо вникать.

Однако такое полное развитие научной Weltpolitik в настоящее время не очень широко пропагандируется — без сомнения, из-за недостатка доверия к общественному воображению. У нас есть, однако, очень «громкая» и влиятельная школа — современная империалистическая, которая выделяет свою собственную расу, «белую», как достаточно превосходящую, чтобы владеть рабами (не индивидуально, так коллективно). Сторонники данной доктрины смотрят решительным, свирепым, но несколько мутным взором на будущее, в котором весь остальной мир будет в подчинении у избранных. Идеалы этого кружка довольно ясно изложены в книге мистера Кидда «Власть над тропиками». Всем

миром должны управлять «белые» державы, чьи подданные «не должны препятствовать их хозяевам пользоваться значимыми природными ресурсами с их коренных территорий». Расы в подчинении следует рассматривать, по мистеру Кидду, как детей — непокорных, требующих жесткой отцовской руки. Немного сомнительно, что расы, лишенные «элементарных качеств социальной эффективности», должны приобрести оные в карательных руках тех рас, которые благодаря «силе и энергии характера, человечности и честности, а также подлинно сознательным понятиям о долге», должны осваивать «ресурсы богатейших регионов земли» — попахивает идеализмом. Далее следует довольно бессвязная альтернатива, которую в Англии ассоциируют с официальным либерализмом.

Либерализм в Англии — это не совсем то же самое, что либерализм в остальном мире; он соткан из двух нитей. Есть виггизм, мощная традиция протестантской и республиканской Англии семнадцатого века, с ее огромным долгом перед республиканским Римом, с сильным конструктивным и дисциплинарным уклоном, с широким и изначально довольно-таки живым интеллектуальным кругозором. Со всем этим

переплетается сентиментальный и алогичный либерализм, возникший из стрессов восемнадцатого века, который находит свое раннее скудное выражение в «Океании» Харрингтона, пролегает через оды «благородным дикарям», расцветает в эмоционально-народовластном натурализме Руссо и дает обильные плоды в эру Французской революции.

Это две очень разные нити. Как только они освободились в Америке от конфликта с британским торизмом, они распались на Республиканскую и Демократическую партии соответственно. Их продолжительный союз в Великобритании — политическая случайность. Из-за этой смеси вся карьера англоязычного либерализма, пускай она и сводилась к одному непрерывному упражнению в красноречии, никогда не приводила к ясному политическому взгляду на другие народы, менее красноречивые. Никаких определенных представлений о будущем человечества это направление не выработало.

Настроение вигов, которое когда-то проявлялось в Индии, определенно заключалось в попытке англизировать «туземца», ассимилировать его культуру, а затем ассимилировать его политический статус и стать временным пра-

вителем. Но сплетенной с этой англизирующей тенденцией, которая также была, между прочим, христианизирующей, оказалась сильнейшая склонность, восходящая к линии Руссо, оставить другие народы в покое, способствовать даже отделению и автономии обособленных частей наших собственных народов, чтобы в конце концов распасться на совершенных (то есть анархических) индивидуумов. Официальное изложение британского «либерализма» и поныне терзается всеми этими противоречиями, но в целом виггизм выглядит слабее.

Современный либеральный политик предлагает убедительную критику жестокости и тщеславия современных империалистов, но это, похоже, предел его полезности. Кажется, что идеал британских либералов и американских демократов состоит в том, чтобы поддерживать существование как можно большего количества мелких, слабо связанных или независимых национальностей, как можно большего количества языков, осуждать армии и все средства контроля и полагаться на врожденную доброту беспорядка и силу пылкой сентиментальности, чтобы сохранить мир чистым и милым. Либералы не столкнутся с очевидным следствием того,

что такое положение дел безнадежно неустойчиво, что оно сопряжено с максимальным риском войны при минимуме постоянной выгоды и общественного порядка. Они не озабочены тем, что расклад «звезд» в их политических «небесах» неумолимо выстраивается против заданного ими же идеала. Да и сам идеал — расплывчатый, несбыточный, с какой-то грубой, не от мира сего, нравственной красотой, как евангелие духоборов. Помимо этого очарования он обладает одним весьма соблазнительным качеством для официального британского либерала: он вовсе не требует интеллектуальной деятельности или вообще какой-либо деятельности. Уже в силу одного этого это гораздо менее вредная доктрина, чем грубый и жестокий империализм, но здесь достоинства заканчиваются.

Ни одна из этих двух политических школ, ни интернациональная *laisser faire* либералов, ни империализм «стремления к вершине», не обещает какого-либо постоянного прогресса для мира людей. Они обе — прибежища, моральные ориентиры для тех, кто не будет откровенно и исчерпывающе размышлять над вопросом, в чьих умах преобладает дискурс рода или дискурс индивидуальности. Первые приемлют

агрессивный империализм, возводя его в небывалые степени, настаивая на максимальном развитии культуры и силы для противостояния другим — *всем* — земным видам. Вторые, ценя уникальность выше, будут стремиться к такому синтезу, который демонстрирует моя Утопия, синтезу, гораздо более достоверному и возможному, чем любая другая «мировая политика». Несмотря на все ужасы современных войн, идея синтеза жива в мировой тенденции. Чтобы помочь и развить ее, уже сейчас можно было бы сделать открытой и безопасной политику любой великой современной империи. Современная война, современная международная вражда, я полагаю, возможны только из-за безграмотности массы людей и тщеславия либо интеллектуальной лености правителей и агрегаторов общественного мнения. Если бы воля народных масс была зажжена и осознанна, я твердо убежден, что сейчас она бы неуклонно горела во имя синтеза и мира.

Было бы так легко установить мир во всем мире в течение нескольких десятилетий, если бы только у людей была к тому воля! Великие империи, которые существуют, нуждаются лишь в небольшой откровенности друг с другом. Внутри них загадки общественного порядка уже наполовину

разрешены в книгах и мыслях — так найдите уже повод договориться. Почему, например, Британия и Франция, или Россия и Соединенные Штаты, или Швеция и Норвегия, или Голландия, или Дания, или Италия должны вечно воевать? А если нет причин, то как глупо и опасно все еще поддерживать языковые различия и обычаи, а также всевозможные глупые и раздражающие препоны между гражданами этих стран! Почему бы всем этим народам не согласиться преподавать какой-нибудь общий язык — скажем, французский, — в своих школах или взаимно учить языки друг друга? Почему бы им не стремиться к общей литературе и не привести к единообразию свои различные общие законы, свои законы о браке и так далее? Почему бы не стремиться к единому минимуму условий труда во всех своих общинах? Почему тогда они не должны — разве что в интересах горстки негодяев-плутократов — свободно вести торговлю и свободно обмениваться гражданством на всей территории своих общих границ? Без сомнения, есть трудности, которые нужно определить и устранить, но это довольнотаки ограниченные трудности.

Что может помешать параллельному движению всех цивилизованных держав мира

к общему идеалу и единству? Глупость — ничто иное, кроме глупости вкупе с тупой грубой ревностью, бесцельной и неоправданной.

Процветают куда более грубые концепции единств, враждебный, ревнивый патриотизм, кликушество и гордыня идиотов; они служат ежедневным нуждам, пусть и ведут к катастрофе. Шкурные интересы зажали нас в тиски Небольшое усилие мысли и воли — это слишком много для современного ума. Такие договоры, такие эмпатические международные движения пока на Земле — лишь мечта, хотя Утопия-модерн давно их реализовала и шагнула в Завтра дальше.

Глава одиннадцатая
Крах иллюзий
§ 1

Когда я возвращаюсь вечером в гостиницу и иду вдоль реки, направляясь на террасу, где меня ждет ботаник, я встречаю много народу. Я с любопытством наблюдаю этих жителей Утопии и не думаю о том, что мое положение в Утопии становится все более странным и ненадежным. В моей голове носятся отрывки моих разговоров с моим двойником, мечты о новых открытиях в этой дивной стране, наблюдениях и путешествиях. Я совершенно забываю, что Утопия эта существует в воображении и поэтому с каждым новым оттенком становится все более хрупкой, подобно мыльному пузырю, который расцвечивается всеми цветами радуги и становится все прекраснее — как раз в то мгновение, когда лопается. Утопия завершена. Все широко намеченные линии ее общественной организации закончены, а с ними — споры о ее задачах и их исполнении. Мимо проходят утопические личности, по обе стороны от меня возвышаются прекрасные

здания; мне не приходит в голову, что я слишком пытливо вглядываюсь в них. Найти людей, принимающих конкретное и индивидуальное — вовсе не последний триумф осознания, как оно мне любовно представляется, а некая «плавающая точка», момент непрозрачности пред тем, как кинопленка сгорит. Перейти от великого общего к отдельным эмоциональным случаям значит неизбежно припасть к земле.

Я застаю ботаника сидящим за столиком во дворе гостиницы.

— Я сидел в саду на террасе у реки, — отвечает он, — в надежде увидеть ее снова.

— Неужто больше нечем заняться?

— Ничто другое мне не интересно.

— Завтра приезжает из Индии ваш двойник. Вам нужно с ним серьезно переговорить.

— Я этого совсем не хочу, — отвечает, не глядя на меня, ботаник.

Я молча пожимаю плечами.

Он добавляет:

— Уж точно — не с ним.

Я усаживаюсь рядом, радуясь его молчанию. Думаю о Самураях, об их удивительном ордене и чувствую удовлетворение инженера, который только что окончил постройку моста. Чувствую,

что я соединил что-то, чего я прежде никогда не соединял. Моя Утопия кажется мне существующей на самом деле, и в нее я буду верить до тех пор, пока моя спина опирается на это удивительно удобной формы металлическое кресло, покуда воробьи прыгают, чирикая, у самых моих ног. На миг я забываю, какое внимание требует ботаник; простое удовольствие от *полноты,* от удерживания и управления всеми нитями овладевает мной.

Сердитое покашливание напоминает мне о его присутствии.

— Вы будете упорно верить, — говорю я с агрессивной разъяснительной нотой, — что если вы встретите эту даму, она будет человеком с воспоминаниями и чувствами своего земного двойника? Думаете, она поймет и пожалеет, а может быть, и полюбит вас? Ничего подобного не случится. Никогда! — Возможно, на последнем слове я звучу слишком грубо, приходится усилием воли смягчить тон. — Поверьте, здесь всё иначе, и все — не такие, как на Земле. Нельзя даже себе представить, какое различие…

Тут только я замечаю, что он не слушает меня.

— В чем дело? — спрашиваю я.

Он молчит.

— Что случилось? — повторяю я, вглядываясь в его взволнованное лицо.

Он опять молчит, но что-то в его лице поражает меня.

— Что случ… — машинально повторяю я и смотрю вниз, на реку.

По широкой аллее медленно идут мужчина и женщина. Я сейчас же догадываюсь, кто они. Женщина цепляет взгляд… впрочем, я давно уже знаю, что она прекрасна. Она белокура, у нее прекрасный открытый взгляд синих глаз. Она нежно улыбается спутнику. Одна секунда — и они проходят мимо, счастливые и прекрасные, не замечая нас, не замечая никого на свете.

— Это Мэри, — шепчет ботаник побелевшими губами. На его перекошенном от волнения лице выражается такое бешенство, что привычная слабость из черт напрочь стирается.

Только тут я осознаю, сколь малопонятны мне его чувства.

Невольный страх перед тем, что он может совершить, охватывает меня. Ботаник сидит почти недвижно, только нервная дрожь пробегает по нему. Он не спускает глаз с удаляющейся по ярко освещенной аллее парочке. Я вижу, что ее спутник — Самурай, симпатичный высокий

брюнет с энергичным лицом, и никогда я еще не видел такого мужественного лица. Ее наряд также указывает на принадлежность к ордену. Внезапное чувство жалости к ботанику вдруг вспыхивает во мне. Кажется, я понимаю его чувства. Конечно, она любит этого человека!

— Не говорил ли я вам, что, по всей вероятности, она встретила здесь другого? — пробую я увещевать своего спутника. — Я хотел, чтобы вы привыкли к этой мысли, а вы с негодованием отвергли ее.

— Чепуха, — шепчет он, не глядя на меня. — Это не так. Это… этот негодяй.

Он хочет встать. Я удерживаю его.

— Не дурите! Здесь люди другие…

— Да нет же, — почти кричит он. — Этот негодяй, да, негодяй…

— Откуда вы знаете, что он негодяй?.. Тише, куда вы хотите идти?

Он встает, я тоже встаю, но я уже догадался, в чем дело, и крепко сжимаю его за руку.

— Будьте же разумны, — говорю я ему, силой повернув его спиной к парочке. — В этом мире он не негодяй, а прекрасный умный человек, Самурай. Этот мир не развратил, а возвысил его, и все, что портило его там…

Ботаник взглядом, полным ненависти, смотрит на меня. С неожиданной злобой бросает он мне в лицо обвинение:

— Это вы все устроили, — говорит он. — Вы нарочно привели их сюда, чтобы посмеяться надо мной. Вы… — голос его прерывается… — вы… нарочно…

Я стараюсь как можно быстрее объяснить ему его ошибку.

— Уверяю вас, что мне это не приходило в голову до сих пор. Каким образом мог я знать, что этот человек будет играть видную роль в этом чудном мире?

Он ничего не отвечает, но угрюмо смотрит на меня, и в его тоскливом взгляде я читаю немое и упорное решение покончить с Утопией.

— Не вспоминайте прошлого, мало ли бывает, — говорю я ему самым примирительным тоном. — Здесь все течет по-иному. Ваш двойник приезжает завтра. Подождите его. Пожалуй, вам тогда будет понятнее.

Он печально качает головой, и вдруг все его негодование и отвращение к непонятному ему с необыкновенной силой прорывается наружу. Он кричит:

— На что мне нужен этот двойник? Двойник!

Здесь все по-иному? Да где же? Да это…

Своей слабой белой рукой он берет меня за плечо. Он весь дрожит.

— Боже мой! — говорит он с отчаянием. — Какой вздор вся эта выдумка, все эти мечты, все эти Утопии! Вот она… Я мог мечтать о ней… а теперь…

Меня пугает его отчаяние. Я вижу, что он способен на безумие. Я прилагаю все усилия, чтобы стать между ним и этими двумя обитателями Утопии и скрыть от них его угрожающие жесты.

— Здесь все по-иному, — настаиваю я. — Ваше волнение, право, неуместно. Тем эмоциям, которые вы испытываете, не место в нем. Это шрам — болезненный шрам вашего прошлого…

— И что мы есть, кроме шрамов? Что есть жизнь, как не шрам? Это вы — вы не понимаете! Конечно, мы покрыты шрамами, мы живем, чтобы быть шрамами, мы *и есть шрамы*! Мы шрамы прошлого! Эти ваши мечты… эти глупые детские мечты!

И тогда, пред лицом такого горя, моя Утопия начинает колебаться…

Одну минуту еще — нет, секунду, — я ясно вижу громадный зеленый двор. Жители Утопии проходят мимо, вдали за рекой высокая арка

воздушной дороги блестит на солнце. Мужчина-Самурай и эта женщина, которую ботаник любил на Земле, проходят мимо и скрываются за мраморным утопающим в цветах павильоном.

Еще секунду я вижу двух молодых людей в зеленых плащах — они сидят на мраморной скамье в прохладной тени высокой колоннады. Мимо проходит прекрасная пожилая женщина; волосы ее отливают серебром, темно-фиолетовая туника красивыми складками драпирует ее представительную фигуру; она с любопытством глядит на ботаника, размахивающего руками.

И вдруг…

— *Шрамы прошлого! Шрамы прошлого! Эти причудливые, бесполезные мечты!..*

§ 2

Нет ни рывка, ни звука, ни намека на материальный толчок. Мы в Лондоне и одеты по городской моде. Угрюмый рев Трафальгарской площади наполняет наши уши…

Я осознаю, что стою у железной скамьи, неудобной, грязной, с уродливым рисунком, на громадном залитом серым асфальтом четырехугольнике, а около меня ботаник с изумлением смотрит

на бедную, грязную, оборванную старуху, которая протягивает ему коробку спичек:

— Боже, как она ужасна и несчастна!

Он механически берет спички, опускает монету в ее грязную руку, оборачивается ко мне.

— Я говорил вам — прошлое всесильно, — продолжает он. — Эти мечты…

Он не заканчивает. Он, видимо, раздражен и взволнован.

— С вами трудно иногда разговаривать, — говорит он. — Ваши фантазии так захватывают…

Он опять умолкает, а минуту спустя, запинаясь, продолжает:

— Ладно, не будем лучше говорить о таких вещах. Не будем говорить… о ней.

Он умолкает, но между нами висит что-то недоговоренное.

— Но… — начинаю я и останавливаюсь.

Это минутное молчание вдруг отрезвляет, и моя греза об Утопии вдруг покидает меня — стекает, точно вода с промасленной плиты. Конечно, мы пообедали в нашем клубе, вернулись из Швейцарии — не на поезде мечты, а на обычном экспрессе. Мы говорили с ним про эту даму в Люцерне, в которую он влюблен, и я, по всей вероятности, несколько по-иному, чем

обычно, отнесся к его истории.

— Вы поймите, — упрямо твердит ботаник, — мы все живем прошлым. Прошлое всесильно. Оспаривать это невозможно.

— Вы правы, — говорю я, — правы. — Я повторяю это с какой-то идиотской покорностью.

— Вы всегда рассуждаете так, как будто можно окончательно отрешиться от прошлого. Неужто думаете, что возможно позабыть прошлое, перемениться и стать другим человеком? В этом убеждении — ваша слабость, уж не осудите за откровенность. Вы этого не поймете лишь потому, что вы не испытали таких страданий, как я. Ваша жизнь протекала легко, и вы — вы *жестокий*.

Я не отвечаю. Он тоже умолк, очевидно, для того, чтобы перевести дух. Я догадываюсь, что в наших рассуждениях о его делах я, вероятно, зашел слишком далеко, и это возмутило его. Может быть, я недостаточно почтительно отнесся к его тоске.

— Умей вы, — бросает он, — глядеть на мир с точки зрения *другого*…

§ 3

Кто-то из нас первым делает шаг вперед. Сколько же рваной бумаги разбросано по миру! Мы медленно, как во сне, бредем к замусоренной чаше фонтана и останавливаемся, глядя на двух чумазых бродяг, которые сидят на лавочке и спорят. Один держит давно просящий каши засаленный сапог и жестикулирует им, свободной рукой гладя ногу, обмотанную портянкой.

— А как у Шамплейна идут дела? — доносится до нас его речь.

— Ну, — говорит второй, — что толку вкладывать свой капитал туда, где американцы могут все прибрать к рукам в любое время, когда захотят…

Разве не двое мужчин в зеленом сидели здесь на мраморной скамье?..

Мы продолжаем идти вперед, не разговаривая. Мимо нас проходят люди, дети, дамы и господа, все хотят поспеть на омнибусы, длинной цепью занявшие всю улицу, затормозившие на ней всякое движение. Торговец газетами на углу расстилает на деревянном тротуаре отрез холщи, придавливает углы камнями от ветра. Из вороха заголовков взгляд мельком хватает:

БОЙНЯ В ОДЕССЕ
НЕМЕЦКИЕ ИНТРИГАНЫ ТЕРПЯТ КРАХ
НОВЫЕ ТРУПЫ В ПРЕДМЕСТЬЯХ ЛОНДОНА
ШОКИРУЮЩИЕ БЕСПОРЯДКИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕДЫ – ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

О дивный старый мир!

С нами сталкивается один рассерженный родитель. Он разговаривал с приятелем и остановился, поджидая омнибус.

— …Я оборву ему уши, он мне поплатится своею румяной физиономией, если он еще раз подведет меня. Ох уж эти «домашние школы-интернаты»…

Подъезжает омнибус и увозит рассерженного родителя. На омнибусе тоже плакат — кое-как намалеванный британский флаг с призывом для всех истинных патриотов покупать только «Великобританское варенье Батлера».

Занятый одной мыслью, как бы пробраться сквозь эту живую стену разных человеческих спин, я, конечно, теряю способность рассуждать с ботаником, но мысль моя стремится к той вы-

сокой террасе над дивными садами, которая должна была находиться как раз на этом месте. Но все изменилось, а главное, люди, которых я видел *там* и здесь.

Ботаник идет рядом со мной, его все еще потряхивает. Мы переходим улицу. Мимо нас проносится открытый экипаж, и мы видим в нем женщину — накрашенную, с ярко-рыжими волосами, пестро одетую в дорогие ткани и меха, нахальную и раздраженную.

Кто она? Ее лицо почему-то кажется знакомым.

Почему она представляется мне одетой в зеленое?

Боже мой! Да ведь это ее я видел там — ведущей за руку своих детей.

Налево от нас что-то с треском падает. Моментально туда устремляется масса людей, но расходится разочарованная: дело обошлось без всякой трагедии. Поскользнулась на разбитом тротуаре у церкви Святого Мартина лошадь, увлекла за собой экипаж — только и всего. Мы с ботаником поднимаемся по улице.

Юная еврейка с тяжелыми глазами, неряшливая проститутка — ни малинового цветка в волосах, бедняжка! — смотрит на нас с при-

творным интересом, и еще мы слышим отголосок перебранки двух газетчиков, что стоят дальше по тротуару.

— Нельзя разговаривать, — начинает ботаник и отскакивает в сторону, спасая свои глаза от чьего-то неосмотрительно раскрытого зонтика. Я понимаю, что разговор «о ней» закончен надолго. Он останавливается в воротах большого каменного дома.

— Нельзя говорить о вашей Утопии на улице, среди такого шума.

На секунду мы с ним разлучены экипажем, въезжающим во двор.

— Нельзя разговаривать об Утопии в Лондоне, — повторяет ботаник. — Там, в горах, на свободе, это было возможно, но здесь…

— Но я жил в Утопии, — отвечаю я ему.

— Временами, — замечает он со странным смехом, — вы и меня заставляли там жить. — Он задумывается. — Знаете, это ведь тяжело. Даже не знаю, захотел бы я…

— Захотели бы что? — спрашиваю я.

— Захотел бы я жить в реальном мире после всех этих выдуманных чудес?

— А я бы хотел, — выкрикиваю я, стараясь перекрыть своим голосом шум на улице, — чтоб

выдуманных чудес было побольше, а этот мир пусть катится ко всем чертям! — Во мне кипит прилив едва ли объяснимой злобы.

— Да, те чудеса для вас — реальность, а мы все — неопрятные и недалекие людишки, что зациклены на прошлом. Вы можете согласиться быть одним шрамом в плохо перевязанной сложной ране, но — не я. Это тоже сон — этот мир. Он такая же греза, и вы возвращаете меня к ней — из своей Утопии.

Мы идем через Боу-стрит, и я снова погружаюсь в раздумья. В поле моего зрения вдруг попадает лицо девушки, шагающей на запад, студентки, довольно небрежно одетой, с книгами в сумке на ремне. Лондонское солнце сияет на ее лице. У нее мечтательные глаза, лишенные фальши и эгоизма.

Рассеянные, скрытые, неорганизованные, непонятные и самим себе — Самураи Утопии все же находились в этом мире. Востребованные и сплоченные *там*, здесь они тихо и грустно влачат свое существование среди десятков тысяч угасших сердец.

Я догоняю ботаника.

— Вы думаете, что это реальность, лишь потому что не можете проснуться, — говорю я

ему. — Но вы ошибаетесь. Все окружающее нас — действительно сон, и есть люди — полагаю, я из них, — которые просыпаются. Пока они еще только протирают глаза, между бодрствованием и небытием…

Маленькая девочка-нищенка с болячками на личике протягивает мне пучок повядших фиалок, зажатый в грязном костистом кулачке.

— Букет фиалок, — пищит она. — Пенни, сэр, всего пенни.

— Нет, — резко отстраняю я ее, стараясь как можно скорее удалиться, пока жалость не заставила меня сунуть ей монету.

Оборванная, вся в засаленных лохмотьях, мать с последним своим добавлением к прекрасной английской нации появляется из трактира и, покачиваясь, выступает вперед. Она нахально оглядывает меня и в то же время громко сморкается в красную заскорузлую руку.

§ 4

— Разве это не реальность? — говорит ботаник почти торжествующе — и приводит меня в ужас своим торжеством.

— Это? — заторможенный, переспрашиваю я. —

Это хуже всякого ночного кошмара!

Он качает головой и улыбается, невыносимо глупо улыбается. Я окончательно постигаю, что ботаник и я сказали друг другу все, что только могли сказать.

— Наш мир видит такие кошмары, потому что страдает переполнением своего желудка такими людьми, как вы, — откровенно замечаю я, но его тихое самодовольство, как выцветшее знамя упрямого форта, все еще реет непокоренным. И он ведь даже не счастлив под ним!

В течение десяти или более секунд я яростно ищу в уме слово, ругательный термин, одну краткую словесную пулю, которая навсегда сразит этого человека. Оно должно выражать полную недостаточность воображения и воли, духовную анемию, тупую респектабельность, грубую сентиментальность, культивируемую мелочность сердца…

И оно не приходит ко мне. Потому что такого слова не существует. Нет ничего в полной мере бранного для подобной нравственной и интеллектуальной непроходимости со стороны хорошо образованного человека.

— Я… — начинает он.

Нет. Я не могу более выносить его.

С необычайной скоростью, не оглядываясь, я перебегаю на другую сторону улицы. В одно мгновенье нас разделяет множество скачущих во все направления экипажей, омнибусов, машин и велосипедов. Но этого мало. Пока ботаник озирается вокруг, тщетно отыскивая меня, я с головокружительной быстротой взбираюсь на второй этаж омнибуса, который увозит меня не знаю куда… знаю только одно — увозит меня от ботаника.

— Уф, — облегченно выдыхаю я, опускаясь на сиденье как раз над кучером.

Когда я оглядываюсь назад, ботаника уже не видать.

§ 5

Так я вернулся в реальность, и мою Утопию отныне можно считать свершенной.

Время от времени посещать обычный мир — хорошая дисциплина для утописта.

Но с переднего сиденья на крыше омнибуса в солнечный сентябрьский полдень, на углу Стрэнда и Чаринг-Кросс, со всеми этими толпами и ревом машин, мчащих то туда, то сюда, реальность может показаться слишком непри-

ветливой и грозной. Блеск, шум и напор сбивают с толку. И есть ли смысл, семеня мелкими шагами по тротуару сквозь шумливость и суматоху мира, умолять друга-ботаника выслушать принципы Утопии, защищать их, указывать на их соразмерность? Какой смысл воспевать Утопию для уставшего уха водителя?

Бывают моменты в жизни каждого философа и мечтателя, когда он сам себе кажется олицетворением всех нелепиц мира; когда грубое сукно жизни накрывает его мечты и грубый голос извне, торжествуя, кричит ему: «Что толку в твоих Утопиях? Плюнуть и растереть!». И на источник этого гневного окрика мечтатель смотрит с некоторым учтивым испугом — как, может быть, первобытный человек смотрел с верхушки дерева на разъяренного слона внизу. Да, почему бы не вернуться тихонько к себе в пещеру, и пусть эта огромная зверюга шагает себе восвояси. Но в конце-то концов люди воплотили сугубо утопический план — они *оседлали* слона и стали направлять его, говорить, куда ему идти. Грубое сукно жизни, надсаживающей глотку на углу Чаринг-Кросс, выглядит материалом покрепче всякой слоновьей шкуры, но и у нас ведь теперь — оружие острее первобытных наконеч-

ников, вытесанных из камня.

Ведь через очень короткое время все, что производит на меня такое сильное впечатление этим сентябрьским днем, изменится или исчезнет навсегда. Все эти омнибусы, эти огромные, рослые, переполненные, разноцветные твари, толкающие друг друга и производящие такой славный грохот, исчезнут; они, их лошади, возницы и организация, ответственная за них — их попросту не будет в этом мире в какой-то момент. Будет что-то еще, какое-то другое средство передвижения, сейчас, возможно, являющееся лишь зародышем в мозгу студента-инженера. И эта дорога, и тротуар изменятся, и эти впечатляющие величественные здания; здесь будут и другие здания, еще более неосязаемые, чем страница этой книги, которую вы читаете, более бесформенные и непрочные, чем все, о чем здесь говорится. Маленькие планы, набросанные на бумаге, мазки пера или кисти будут первыми материализациями того, что в конце концов сотрет каждую деталь и атом этих отражающихся эхом реальностей, которые переполняют нас сейчас. И одежда, и жесты этих бесчисленных людей, выражения их лиц и осанка тоже будут переделаны в духе того, что ныне является темным и неосязаемым

началом.

Новые вещи действительно будут субстанцией того, что есть, но отличаться будут лишь мерой воли и воображения, затраченной на их создание. Они будут сильны и справедливы, ибо воля тверда и организованна, а воображение обширно и смело; они будут уродливы и запятнаны убогостью, поскольку воля колеблется, а воображение робко и подло.

Действительно, Воля сильнее Факта, она может формировать и преодолевать Факт. Но этому миру еще предстоит открыть свою Волю. Этот мир безвольно дремлет, и весь этот гул и пульсация жизни — не более чем ронхопатия[52] спящего. Умом я обращаюсь к мысли о том, что будет, когда мир пробудится.

Пока мой омнибус неуклюже мчится по Пэлл-Мэлл-Ист сквозь грохот кебов и экипажей, мне приходит в голову еще одна фантазия… Я представляю себе ангела-покровителя — почти что *вижу* этого огненного колосса, застывшего между небом и твердью, с золотой трубой у губ — там,

---

[52] Notes: 52

Ронхопатия — это нарушение дыхания во сне, обусловленное вибрацией мягких тканей носоглотки и гортани, сопровождающееся низкочастотным дребезжащим звуком. Грубо говоря, то же явление, что и храп, но названное более научно.

над Сенной, на фоне октябрьского зарева; и когда его труба зазвучит, все Самураи, все те, кто прославили этот титул в Утопии, узнают — себя и друг друга…

(*«А ну!»* — кричит водитель автомобиля, и полисмен, воздев руку, стопорит весь уличный трафик.)

Все мы, приобщившиеся к Самураям, познали бы себя и друг друга!

На мгновение я почти вижу это славное Воскресение живых; смутный, но великолепный ответ на ангельский зов; бесчисленные мириады умов чутко внемлют, и все, что только есть в человечестве хорошего, трепещет, высвобождаясь — от полюса до полюса…

Затем эта философия индивидуальной уникальности снова начинает властвовать над моими мыслями, и моя мечта о пробуждении мира угасает.

Я совсем забыл…

Так не бывает. Бог не прост, Бог не склонен к театральщине. Зов приходит к каждому человеку в свое время, и звучание его бесконечно разнообразно…

Если это так, то что насчет моей Утопии?

Она, увы, не универсальна. Ее огонь не горит

в миллионах глаз — он не всякому-то будет виден и в моих собственных зеркалах души. Несомненно, в конце концов, неспешным шагом человечество придет к подобной идее, и некое подобие Утопии осуществится. То здесь, то там отдельные люди, а затем и группы людей придут в соответствие… отнюдь не с моими глупыми ошибочными фантазиями, а с великим и всеобъемлющим Планом, разработанным многими умами и на многих языках. Именно потому, что мой план ошибочен, потому что в нем так много искажено и так много упущено, никто не может загореться им. Так что лучший мир не будет вовсе похож на мою грезу. Моя греза — слишком низкой пробы, она устраивает одного меня. Мы ошибаемся в понимании, ошибаемся так по-разному и много. Мы видим столько, сколько нам полезно видеть, и не направляем свой взгляд дальше. Но приходят на смену нам новые неустрашимые поколения, чтобы взяться за нашу работу, выходящую за пределы наших сил и возможностей, за рамки наших идей. Они уверенно познают то, что для нас — догадки и нераскрытые тайны…

И будет еще много Утопий. Каждое поколение будет иметь свою новую версию Утопии, чуть более определенную, полную и реаль-

ную, с ее проблемами, лежащими все ближе и ближе к проблемам Здесь и Сейчас. Пока, наконец, из грез не превратятся Утопии в рабочие чертежи, и весь мир не начнет формировать окончательное Мировое Государство, прекрасное, великое и плодотворное — которое не будет Утопией уже потому, что сформируется в реальности. Так что, безусловно, это будет…

Полицейский опускает руку.

— Пошли! — выкрикивает кучер омнибуса, и лошади напрягаются. *Тик-клак, тик-клак* — вереница спешащих двуколок обгоняет нас и устремляется куда-то на запад. Ловкий парнишка на велосипеде, груженный тюком газет за спиной, проворно проскальзывает через «авангард» колонны и исчезает в переулке.

Омнибус едет вперед. Восторженный пророк, пухлыми руками вцепившийся в зонтик, в шляпе слегка набекрень — этот вспыльчивый человечек, наш Глашатай, — этот нетерпеливый мечтатель и ворчливый Оптимист, грубо и косно рассуждающий об экономике, философии и красоте, да и вообще обо всем на свете, гроза светских дам и головная боль друзей-ботаников, — он несется себе дальше, весь в своих мечтах. Они невоплотимы и далеки от реально-

сти, но, может статься — вот так ирония! — куда реальнее, чем мы сами, погруженные в сон.

И вот этого маленького человечка уже нет перед глазами, лишь на короткое время где-то в воздухе повисают его эгоистичные идиосинкразические идеи, наводя тень на плетень…

Ну и к чему нам его вмешательство, спрашивается?

Почему же Утопию-модерн нельзя было расписать без ввода ненужных личностей, которые только путают и затрудняют понимание моих аргументов, придают всему действу оттенок неискренности? Не смеюсь ли я втихую над самой идеей Утопии, используя все эти благородные всеобщие надежды как ширму, за которой спорят две неспособные сойтись во взглядах личности? Имею ли я в виду, что мы не способны никак узреть землю обетованную, кроме как через сомнительных посредников?

Существует распространенное мнение, что чтение утопии должно заканчиваться с взволнованным сердцем и с ясными намерениями. Читатель, отложив книгу, будто бы сразу должен набросать список имен, прикинуть состав революционных комитетов, начать сбор подписей… Но эта Утопия началась с отрывистых

философствований — и закончилась чем-то еще более смутным, в обыденном шуме улицы, в каких-то сомнениях… в лучшем случае черту ей подводит стремление к лучшему одного-единственного человека. Утопии когда-то были добросовестными проектами сотворения нового мира, достижения неземного идеала; ну а эта так называемая Утопия-модерн — всего-навсего история чьих-то приключений среди утопических умопостроений.

Но так оно вышло скорее вопреки, нежели благодаря намерению писателя. Таким оно и пришло к нему, это видение. Ибо он наблюдает кругом себя великое множество маленьких душ и групп душ, таких же темных, таких же производных, как его собственная; с течением лет он все яснее и яснее понимает обоз мотивов, которые побуждают его и провоцируют их делать то, что все мы делаем… Но это не все, что он видит, и он не наглухо ограничен своей малостью. Снова и снова, контрастируя с этим непосредственным видением, появляются проблески всеобъемлющей схемы, в которой плавают эти личности, схемы синтетического титанического существа, великого Государства, человечества, в котором мы все движемся, как кровяные тельца, как нервные

клетки, как нейроны головного мозга.

Но эти два видения не воспринимаются последовательно вместе, по крайней мере, этим писателем, и он не уверен, что они способны существовать в связке. Мотивы, необходимые для решения всеохватных проблем, не входят в закрытую систему писательских желаний и амбиций. Эта великая схема заключена в мужчинах и женщинах, которых он знает, поэтому он и попытался сделать так, чтобы перспективы и пространства, холмы и города, законы и порядки Утопии были сведены к перепалке двух мужчин — слишком великие для целостного понимания парочкой стоящих на разных правдах спорщиков. Стоит сосредоточиться на них двоих — и необъятный пейзаж делается расплывчатым и далеким, но переведите взгляд — и вот уже образы реальных знакомцев расплывчаты и фантастичны.

Тем не менее, не по плечу писателю разделить эти два аспекта человеческой жизни, дополняющие друг друга. В несоответствии между великим и индивидуальным заложена несовместимость, которую он не смог разрешить и которую, следовательно, ему пришлось представить в такой вот противоречивой форме.

Временами кажется, что этот великий план входит в жизнь некоторых людей как страсть, как реальный и живой мотив; есть те, кто знает его почти так, как если бы он был реальным объектом воздыхания. Пустяковые соблазны мирской жизни им кажутся тщетными и неинтересными — душа устремляется к тому упомянутому могущественному Существу, чтобы постичь его, служить ему, обладать его мудростью. Но моменты просветления редки, их легко принять за самонадеянность или приступ лицемерия, они легко ускользают, оставляя своих адресатов кривить губы в горькой усмешке.

Человек хочет выразить словами целую Вселенную, а в итоге — распространяет кругом себя бафос[53]*. Голод, зависть, предрассудки и привычки снова овладевают им, и он вынужден возвращаться к мысли, что именно так, а не иначе мы предназначены для служения тайнам; что в этих шорах мы движемся к цели, кото-*

---

[53] Notes: 53

Ложный пафос, или бафос (греч. βάθος, букв. «глубина») — литературный термин, введенный А. Поупом в эссе 1727 г. «Peri Bathous» для описания забавных неудачных попыток возвышенного (то есть пафоса). В частности, ложный пафос связан с антиклимаксом, резким переходом от высокого стиля или темы к вульгарному. Он может быть как случайным (в силу художественной несостоятельности), так и намеренным (для создания комического эффекта). Намеренный ложный пафос расхож в сатирических жанрах — таких, как бурлеск.

рую не можем понять. А потом, в полночный час, на одинокой прогулке, в отвлеченных беседах с ближними — божественные устремления вновь ловят отблеск искренних эмоций, горят палитрой мечты, что однажды может стать реальностью…

Это все, что я могу сказать об Утопии, о желании ее наступления и потребности в ней — равно как и о том, как *та* далекая планета относится к *этой*, сносящей повседневную жизнь человечества.

Облик грядущего

Книга сновидений доктора Филипа Рейвена

В ноябре 1930 года в Женеве скончался доктор Филип Рейвен. Для секретариата Лиги Наций это стало невосполнимой утратой. Швейцарский город лишился знакомой фигуры — длинной согнутой спины, неуверенной походки, насмешливо склоненной набок головы. Из мира ушел оригинальный и пытливый ум. Согласно сообщениям в некрологах, неустанный самоотверженный труд и необычайная умственная энергия высоко оценивались как самыми способными последователями доктора, так и самыми известными его поклонниками. Лишь после смерти великого человека широкая публика внезапно узнала о нем.

Редко бывало, когда кто-то за пределами обычных тем газетных сенсаций производил такой невообразимый переполох. Об этом человеке писали практически везде, от Осло до Новой Зеландии и от Буэнос-Айреса до Японии, а замечательные, хоть и короткие, мемуары сэра Годфри Клиффа преподнесли широкому читателю описание исключительно простой, прямой, преданной

своему делу и энергичной личности. Вероятно, для публикации оказались доступны только две чрезвычайно непохожие друг на друга фотографии: более ранняя, где Рейвен выглядит как гремучая смесь Шелли и мистера Макстона, и сделанная значительно позже, где он неловко опирается на трость, беседуя с лордом Пармуром в кулуарах Ассамблеи. Тонкая рука доктора вытянута в характерном для него, слегка картинном жесте.

Будучи непрестанно занятым, он, тем не менее, всегда находил время помочь коллегам разобраться с той или иной сложной проблемой. И теперь пришло время для того, чтобы хоть как-то отблагодарить бескорыстного и великодушного доктора. В этом посмертном публичном всплеске эмоциональных откликов выражалось признание неоценимой полезности его помощи и советов. Знавшие его люди стремились донести до окружающих важность этой грандиозной личности и возмущались тем, что общество не знает ни самого этого человека, ни тем более его работ. Со всей возможной тщательностью были собраны, но пока еще не опубликованы три тома наиболее важных статей, докладов, меморандумов и обращений доктора Филипа Рейвена.

Поскольку я имел честь быть его другом, в самых разных кругах — как научных, так и светских — меня просили внести вклад в общий хор некрологов. Мое положение в академическом мире не позволяло отделаться простой, банальной характеристикой покойного. В обычных обстоятельствах я бы не удержался от попытки набросать портрет ученого с его странной раскованностью и обаянием. Однако же не сделал этого, потому что оказался в чрезвычайном замешательстве. Смерть доктора Рейвена была настолько внезапной, что мы очень боялись поспешить и наделать досадных ошибок. Только сейчас, когда прошло уже почти три года, посовещавшись с самыми близкими его друзьями, я решил опубликовать ряд фактов и поделиться самой сутью нашего необычного сотрудничества.

Это в полной мере касается и данной книги. Все это время я бережно хранил доверенную мне рукопись, или, скорее, собрание разных бумаг и сочинений — своего рода коллекцию, в отношении которой, полагаю, мои колебания все еще оправданы. Итак, содержимое бумаг — краткий перечень событий истории нашего мира, которые должны произойти в ближайшие полтора столетия. Подозреваю, что дойдя до этой строки,

читатель примется протирать глаза, посчитав ее досадной опечаткой, но это именно то, чем является данная рукопись. Краткая история будущего! Современная книга Сивилл. Только теперь, когда события этих трех лет полностью уложились в предугаданную историю, у меня хватило мужества связать репутацию моего друга с невероятными требованиями, предъявляемыми этой работой и найти для нее издателя.

Позвольте мне вкратце рассказать, что я о ней знаю и как она вообще попала мне в руки. Я познакомился с доктором Рейвеном… Точнее, это он познакомился со мной в последний год войны. Это случилось еще до того, как он уехал из Уайтхолла в Женеву. Доктор всегда был страстным поклонником новых содержательных идей, и его привлекли те рассуждения о деньгах, что я излагал в тоненькой книжице прогнозов будущего под названием «Что грядет?», опубликованной в 1916 году. Я выдвинул предположение, что ужасная растрата ресурсов на войне в сочетании с накоплением долгов обанкротит известный нам мир и что класс кредиторов в состоянии задушить его. И мне казалось, что единственным способом ликвидировать мировое банкротство является беспристрастное сокращение долгов

путем сокращения количества золота, обеспеченного фунтом стерлингов. То же касалось и доллара, и всех других мировых валют, обеспеченных золотым запасом. Тогда мне казалось это очевидной необходимостью. Теперь я понимаю, что мои рассуждения были грубыми и весьма поверхностными. Очевидно, я в тот момент еще не отошел от идеи внутренней ценности денег. Никто из нас в те дни еще не имел внятного представления о воспитательной пользе денежных и кредитных потрясений, последовавших за Версальским миром. У нас отсутствовал опыт, размышлять о деньгах считалось зазорным… и в лучшем случае мы мыслили, как не по годам развитые дети. Спустя семнадцать лет идея оценки золота многими воспринимается, как очевидная. Но тогда ее посчитали дилетантским комментарием невежественного автора. Саму тему называли не иначе как «таинственное дело денежных экспертов». Но моя работа привлекла внимание доктора Рейвена. Ему захотелось познакомиться со мной и обсудить послевоенные перспективы.

Доктор Рейвен был так же свободен от интеллектуальной помпезности, как и Уильям Джеймс; так же откровенно восприимчив к нестеснен-

ному никакими рамками мышлению. Он мог запросто побеседовать на интересующую его тему, скажем, с художником или журналистом. Или даже с обыкновенным посыльным. Если считал, что таким образом сможет заполучить оригинальную точку зрения.

«Очевидно!» — вот его любимое словцо, которое он всюду носил с собой.

«Очевидно, дело в том, мой дорогой друг, — он назвал меня «мой дорогой друг» в первые же пять минут нашей беседы, — что все мы достаточно умны, чтобы задуматься об этом хоть на мгновение. Пока не станет слишком поздно. Но есть еще те, от кого в этой жизни что-то зависит. И вот как раз этих-то людей крайне сложно убедить в том, что послевоенные годы разразятся громадной финансовой чехардой. Победители, несомненно, мстительно потребуют репараций, а проигравшие, конечно же, возьмут на себя обязательства их выплатить, но никто из них не захочет понять, какую трансформацию совершат измененные деньги с самими людьми. Сейчас их занимает лишь то, что одни страны собираются в рамках нового мироустройства на законных основаниях ограбить другие. А то, что сами деньги сделают и с грабителями,

и с ограбленными, никого не волнует».

Я до сих пор, словно то было вчера, слышу его пронзительный голос, полный укора и сожаления. Должен признаться, что в первые полчаса нашего общения, пока я не пообвык, он мне ничуть не нравился. Слишком уверенный, слишком быстрый и в целом слишком яркий для моего медленного англосаксонского восприятия. Мне не понравилась ни совершенно очевидная подготовленность его выступления, ни тот факт, что он намеренно способствовал такому впечатлению самыми экстравагантными жестами. Он не хотел садиться; хромая, мерил шагами мою комнату или разглядывал книги и картины. Говорил надтреснутым голосом и размахивал длинными худыми руками, словно плыл в океане собственных размышлений. Я сравнил его с Макстоном и Шелли. Но это случилось уже гораздо позднее. В первую встречу мне пришел на ум Свенгали из некогда популярного романа «Трильби» Джорджа Дюморье. Бритый Свенгали. Я чувствовал, что он — иностранец, а в отношении иностранцев я стараюсь быть замкнутым на все засовы космополитом. В полном соответствии с моими инстинктами и принципами. Я никак не мог смириться с тем, что этот господин — ученый

Баллиола и ярчайший представитель министерства иностранных дел. До того, как переехал в Женеву.

Мне представляется, что значительная толика нашей английской застенчивости имеет своей основой преувеличенную осторожность. Мы подозреваем другого человека в своих собственных моральных шероховатостях. И часто сдерживаем себя, доводя дело до неискренности. Возможно, я — всего лишь опрометчивый человек с острым пером, но я так же осмотрителен и уклончив, как и любой другой из моих соотечественников, когда дело доходит до общественных отношений. Я нашел что-то почти грубое, очень неделикатное в прямой атаке доктора Рейвена на мои идеи.

Вне всяких сомнений, он хотел поговорить о моих идеях. Но, по крайней мере, в равной степени ему хотелось поговорить и о его собственных. У меня возникло подозрение, что на самом деле он пришел ко мне, чтобы громко озвучить их и услышать, каковы они на слух, используя меня в качестве некоего одушевленного резонатора.

Тогда он назвал меня Дилером Очевидного и повторял эту не очень лестную фразу неоднократно, при каждой нашей встрече.

— Ваши недостатки, — сказал он, — это не что иное, как божий дар. Быстрая, но не точная память на нюансы, хорошее понимание пропорций и отсутствие терпеливого отношения к деталям. Вы спешите, опрометью несетесь к целому. Как, должно быть, деловые люди возненавидят вас, если когда-нибудь о вас услышат! Они, несомненно, подумают, что вы — ужасный болван! Знаете, какие неприятности вас ожидают, и все равно двигаетесь в этом направлении! Сложности — это их жизнь. А вы пытаетесь от этих сложностей увильнуть. Вы — стриптизер, чертовски нетерпеливый стриптизер. Я бы тоже стал стриптизером, если бы у меня не было работы, требующей ежедневного напряжения всех моих сил. Но это действительно необычайно освежающе — проводить редкие часы досуга в вашей компании.

Читатель должен простить меня за мой эгоизм. Да, я цитирую его комментарии о себе. Но они чрезвычайно необходимы, если мы хотим прояснить мои отношения с доктором Рейвеном и проникнуться духом этой книги.

На самом деле я представлял собой отдушину для определенной душевной избыточности доктора, которую до сих пор ему было трудно в себе подавлять. В моем присутствии он мог

позволить себе сбросить с плеч как Баллиол, так и министерство иностранных дел, а позднее и Секретариат Лиги Наций. Позволить себе ненадолго уйти в самоволку. Он мог бы стать восточноевропейским космополитом, каковым и являлся по своей природе и происхождению, а я стал бы для него воображаемым собутыльником, бесстыдным приятелем, своего рода интеллигентной задницей, его Ватсоном. Мне должны были понравиться такие отношения. Я привык к его экзотичности, к его экстравагантным жестам. Я все больше и больше сочувствовал его раздражению и огорчению по мере того, как разворачивалась конференция в Версале. Мое инстинктивное недоверие померкло в виду пылающей энергии его интеллектуального любопытства. Мы обнаружили, что прекрасно дополняем друг друга. У меня наготове было ничем не замутненное воображение, а у него — глубочайшие знания. Вместе мы отправились в умозрительный загул.

Среди других безусловно одаренных и оригинальных друзей, кто изредка оказывает мне честь, приходя поболтать, был мистер Данн. Много лет назад он изобрел один из первых и самых «непревзойденных» самолетов. С тех пор только и делает, что культивирует невероятное количе-

ство весьма тонких размышлений об отношении времени и пространства к сознанию. Особенно любимым у Данна стало измышление, что мы способны (некоторым странным образом) предвидеть будущее, и он привел ряд замечательных наблюдений, подтверждающих этот постулат, в своем известном исследовании «Эксперимент со временем». Эта книга опубликована в 1927 году, и я нашел ее настолько привлекательной и вдохновляющей, что написал о ней пару статей, которые разошлись по всему миру. Это было так захватывающе свежо!

Среди тех, кто видел мой отзыв об «Эксперименте со временем» и прочитал саму книгу, а затем написал об этом мне, был доктор Рейвен. Обычно его общение со мной состояло из кратчайших заметок. Например, он сообщал, что скоро будет в Лондоне, или о смене адреса, или, напротив, спрашивал о моих передвижениях и так далее; но на сей раз расщедрился на довольно-таки длинное письмо. По его словам, опыт Данна не являлся чем-то принципиально новым. Доктор Рейвен сказал, что мог бы многое добавить к рассказанному в книге и даже РАСШИРИТЬ данное исследование. Промежутки некоего «ожидания» между сном и бодрствованием —

эксперименты Данна касались главным образом мгновенных предчувствий, настигающих нас в момент дремоты между бодрствованием и забвением — не обязательно должны представлять собой мелкие заботы завтрашнего дня или следующей недели; они могли иметь и куда большую дальность. Если, конечно, у вас имелась привычка мыслить дальновидно. Но все это происходило во дни, когда скептицизм зло гримасничал перед жадным суеверием толпы. Общественный долг состоял в том, чтобы воздерживаться от опрометчивых заявлений о надуманных подозрениях. Было очень сложно отличить научные доводы от беспочвенных фантазий. Это получалось сделать разве что только в собственном уме. Выказывая слишком живой интерес к подобного рода изысканиям, можно было загубить собственную репутацию!

Пустившись в глубокомысленные обобщения, доктор внезапно оборвал свое письмо… будто он намеревался сказать гораздо больше того, что было сказано.

Появившись в Лондоне, он неожиданно заглянул ко мне в кабинет и чистосердечно признался:

— Это дело Данна. Не мое.

— Что вы имеете в виду? — опешил я.

— Он нашел способ улавливать мимолетные видения между бессознательным сном и бодрствованием.

— Тут я с вами согласен.

— Он держит блокнот у кровати и записывает свой сон, как только просыпается.

— Таков его метод.

— И он обнаруживает, что какая-то часть его сновидений — иногда довольно явно — предвосхищает то, что придет ему в голову в реальности через несколько дней, недель или даже лет.

— Что ж, таков уж он есть.

— Ничего подобного!

— Но почему?

— Все эти игры — ничто по сравнению с тем, чем я занимаюсь уже долгое время.

— Вот как?

Он уставился на корешки моих книг. Забавно. Не так-то легко застать доктора Рейвена в растерянности.

— Поясните, — настаивал я.

Он повернулся и посмотрел на меня с выражением скепсиса, которое затем превратилось в слабую улыбку. Казалось, он собирается с духом.

— Как бы подступиться к этой теме? Поверьте же, что, кроме вас, этого не узнает никто. В течение последних нескольких лет, время от времени — между сном и бодрствованием — я, по сути, читаю грандиозную книгу. Несуществующую книгу. Книгу сновидений, если хотите. Это всегда одна и та же книга. Всегда. Это — История!

— Из прошлого?

— О прошлом. О, да! Истинная правда! Там много чего есть о прошлом. Очень много такого, о чем я прежде и понятия не имел. Эта книга заполнила множество пробелов в моих знаниях. Например, очень необычные события произошли в Северной Индии и Центральной Азии. И это все продолжается. И продолжается, и продолжается.

— Продолжается?

— Переходит в настоящее. А потом следует далее.

— Куда? В будущее?

— Совершенно верно.

— Это… Это БУМАЖНАЯ книга?

— Там… гм… не совсем бумага. Отчасти похоже на ту газету вашего друга, Бранлоу. Не вполне печать, какой мы ее знаем. Очень живые и яркие карты. И довольно легко читается, несмотря на странные буквы и орфографию.

— Возможно ли?..

— Да, я знаю, что все это — сущий вздор! — сказал он и, немного помолчав, добавил: — Но выглядит до ужаса реально!

— Вы переворачиваете страницы?

Он на мгновение задумался.

— Нет, не переворачиваю. Это бы меня разбудило.

— Значит, это просто продолжается само по себе?

— Да.

— До тех пор, пока вы это осознаете?

— Пожалуй.

— А потом вы просыпаетесь?

— Вот именно.

— И вы всегда ЧИТАЕТЕ?

— В большей степени.

— То есть время от времени?

— О! Это точно так, как читать книгу, когда бодрствуешь. Но при этом вы еще и ВИДИТЕ события. Как будто смотришь на картинку, движущуюся по бумажной странице.

— Но книга при этом все еще там?

— Да, неизменно. Ну, то есть я так думаю, что она всегда пребывает там.

— А вы, часом, не делаете пометок, проснув-

шись?

— Сначала не делал. Теперь делаю.

— Сразу же?

— Я вроде как стенографирую… У меня скопилась целая куча ТАКИХ пометок.

Он присел на столешницу моего камина и выразительно посмотрел на меня.

— Значит, теперь вы мне все рассказали.

— Да.

— Даже не знаю, что и сказать.

— Сомневаюсь, мой дорогой друг, что кто-то, кроме меня, способен это понять и оценить по достоинству. Вы ведь не видели того, что я написал. Я сам с трудом могу прочитать написанное спустя неделю или около того. Но в последнее время я свои записи начал переписывать.

— Какая в том польза?

— Видите ли, — продолжал он, расхаживая по моей комнате. — Если это… реальность, то в мире нет ничего важнее этого. Но у меня ведь нет доказательств! Вообще никаких. Ну а что насчет вас? Вы верите, что такое возможно?

— ВОЗМОЖНО? — я задумался. — Я склонен думать, что да. Хотя, чем именно все это может быть, я сказать затрудняюсь.

— Никому, кроме вас, я об этом рассказать

не могу. Никак нельзя. Очевидно, мои критики заявили бы, что я сошел с ума или того хуже, что я — обманщик. Только подумайте, какой бы разразился скандал! Посмотрите на Оливера Лоджа. Посмотрите на Шарля Рише. Это разрушило бы и мою работу, и мою репутацию. И все же, знаете ли, это такая достоверная информация… Я говорю вам, что искренне в это верю.

— Если бы вы записали хоть что-то… Мне хотелось бы увидеть хоть одну вашу заметку.

— У вас будет такая возможность.

Он, действительно, смог убедить меня в том, что ему интересно мое мнение. «Самое худшее в этом то, что я неизменно верю во все, что он ни расскажет. Все равно, как если бы это был я, а не он».

Доктор не прислал мне ни строчки, но когда я в следующий раз встретил его, а это было в Берне, он передал мне пухлую папку с бумагами. Позднее в моем распоряжении очутились еще две. Большинство страниц исписаны карандашом, некоторые — чернилами, и около пятидесяти напечатаны, вероятно, под его диктовку. Он попросил меня о них позаботиться, внимательно прочитать, сделать отпечатанные копии и вернуть ему оригиналы. Нам обоим следова-

ло подумать о целесообразности анонимной публикации. Те или иные события могли бы подтвердить или, напротив, опровергнуть изложенные в этой истории различные утверждения и таким образом саму историю либо похоронить, либо ярко высветить ее подлинность.

А потом он умер.

Умер совершенно неожиданно после экстренной операции. Какой-то случайный вывих, связанный с выраженным искривлением позвоночника, привел к острому кризису.

Как только я услышал о смерти доктора Рейвена, тотчас же поспешил в Женеву, где рассказал о книге сновидений его наследнику, мистеру Монтефьоре Рено. Я в большом долгу перед этим джентльменом за его любезность и мгновенное понимание ситуации. Он приложил огромные усилия к тому, чтобы собрать воедино все возможные обрывки уникального материала и предоставить все это в мое распоряжение.

Вскоре к трем папкам, которые доктор Рейвен успел передать мне, присоединилась еще одна, содержащая целую кипу бумаг, исписанных от руки. Очевидно, это касалось той самой Истории. Четвертая папка хранила материалы, которые составляют заключительную часть настоящей

работы. Страницы даже не были пронумерованы, но именно они послужили материалом для предпоследней части, которой предстояло стать моей собственной компиляцией. Похоже, доктор Рейвен записывал свои впечатления от книги сновидений как мог, до того, как память о приснившемся истончалась, и, поскольку он намеревался переписать все это сам, то не особенно заботился о восприятии потенциального читателя. Материал предназначался исключительно для собственного его пользования. Скорее, это можно было назвать неким ассорти из фактов и измышлений, приготовленным на скорую руку. Этакая игра ума для избранных. Пунктуация обозначалась пробелами. Нередко под одним словом подразумевалось целое предложение или даже абзац. Примерно треть материала уже была представлена в виде рукописей и печатных страниц в папках. Это был мой Розеттский камень. Если бы не эти указания, не думаю, что мне удалось бы расшифровать остальное. Как бы то ни было, я обнаружил, что никак невозможно составить плавное повествование, целиком состоящее из фрагментов с четкими вступительными и заключительными положениями. Некоторые отрывки выходили довольно ясными,

а затем приходили путаница и расплывчатость. Я переписал все, что мог, и заполнил пробелы там, где они показались мне совершенно безнадежными. Мне хотелось бы думать, что в целом я составил более или менее внятный рассказ о ходе событий во времена противостояния и изменений в Мировом правительстве между 1980 и 2059 годами, когда так называемая Воздушная диктатура по всему миру уступила место Современному государству. К моменту публикации Истории оно все еще должно процветать — там, в будущем. Читатель найдет в Книге обширные пробелы, вернее, значительные сокращения, но ни одно из них не оставляет сомнений в основных чертах того, как консолидировался мир.

А теперь позвольте мне сказать еще несколько слов о реальной ценности этого странного «Плана будущего».

Определенно, некоторые соображения противоречат идее о том, что История — всего лишь плод воображения блестящего публициста. Я выставлю эти заметки перед читателем, но не стану оказывать на него давление. Со временем История получила несколько очевидных подтверждений. Последняя часть записок датируется двадцатым сентября 1930 года, все остальное

написано еще раньше. И, тем не менее, текст прямо намекает на смерть Ивара Крюгера и на похищение ребенка Линдберга весной 1932 года, на полеты Моллисона в том же году, на обсуждение долга Америке в декабре 1932-го. Что касается 1933-го, то предсказаны и приход к власти Гитлера в Германии, и вторжение Японии в Китай, и победа Франклина Делано Рузвельта на президентских выборах в США, и лондонская Всемирная экономическая конференция. Эти ожидания мне сложно объяснить. Не думаю, что они обладают некой природой, которая позволяла бы их предсказать. Это не те события, какие можно вывести из какой-либо предыдущей ситуации. Откуда Рейвен мог о них знать в 1930 году?

Еще меня беспокоит другая мысль, которая, вероятно, в гораздо меньшей степени будет беспокоить читателя, — это тот непреложный факт, что у доктора Рейвена не было никаких причин меня мистифицировать. Ни на земле, ни на небесах не существовало ничего, что могло бы сподвигнуть его солгать мне о том, каким образом этот материал попал к нему или с какого-такого источника он его переписал.

С учетом этих соображений, думаю, всякий согласился бы, что написание Истории доктор

Рейвен преднамеренно избрал в качестве выхода своей творческой энергии. Согласился бы и с тем, что это действительно художественное произведение покойного сотрудника Женевского секретариата с необычайными возможностями для формирования суждений о тенденции развития тех или иных событий. Или, иначе говоря, пророчество, провозглашенное в квазивдохновенном настроении. В стиле, в котором написана История, узнается неповторимый язык доктора Рейвена. Но помимо этого встречаются в тексте разные слова, появления которых разумно было бы ожидать через сто семьдесят с лишним лет. С другой стороны, проявленное отношение противоречит публичным высказываниям доктора Рейвена. Сама идиома высказанной мысли явно ему не принадлежит, каким бы ни было ее выражение. Либо некое видение превзошло истинные убеждения доктора, либо что-то оказало подавляющее действие, вырвавшись на поверхность. Так какой же она будет, эта История?

Должен признаться, что в первые дни работы, когда во мне еще теплилась догадка, что речь идет всего лишь об умозрительной разминке, у меня возникло искушение дополнить текст доктора Рейвена подробными комментариями. Меня

обуяло игривое настроение. В результате эта вздорная идея отняла у меня несколько месяцев, а сами мои заметки стали значительно толще его Истории. Когда я их пересмотрел, то пришел к выводу, что многие из них весьма суетливы и навязчивы, и буквально единичные, вероятно, смогут быть полезными умному и хорошо информированному современному читателю. Чем больше привлекала доктора эта книга, тем больше, вероятно, он делал пометок для себя самого. И чем меньше он ценил те или иные фрагменты, тем меньше склонялся к тому, чтобы придавать какую-либо ценность массе попутных разъяснений. Мои комментарии могли бы оказаться такими же раздражающими, как карандашные пометки, которые нет-нет да и находишь в книгах публичных библиотек. Даже окажись История просто сборником домыслов, все равно это стало бы неслыханной дерзостью. Если бы в этом сказалось что-то большее, чем спекуляция, дополнения и в этом случае следовало бы воспринимать не иначе, как дерзкие выпады. В конце концов, все накопленные посторонние измышления я выбросил.

И все-таки мне пришлось привести главы в порядок. Вмешательство было неизбежно, и здесь

я бы настоял на том, что оно должно остаться. Мне действительно пришлось мучительно расставлять и переставлять местами заметки доктора, поскольку они, вероятно, прочитывались и записывались в ненадлежащем хронологическом порядке. Возникла необходимость как-то сглаживать переходы между отдельными событиями. Позднее я надеюсь опубликовать специальное издание заметок доктора Рейвена в том первоначальном виде, в каком он их оставил.

А начнем мы здесь с того, что, вероятно, является самым началом Книги, хотя на самом деле это отнюдь не первая страница в переданных мне папках. Ход мирских событий освещается здесь очень удобно для читателя, свежим и чрезвычайно убедительным образом. Основные факторы Великой войны анализируются под новым углом. Из этого обзора следует, что история «Эпохи разочарования», в первые годы которой мы сейчас живем, развивается довольно последовательно. Помимо этой вступительной части, повествование охватывает сто семьдесят шесть лет, с 1929 года нашей эры до конца 2105-го. Последнее событие произошло перед Новым 2106 годом; вскользь упоминается о реконструкции «скелетов» знаменитых «небоскребов» Нижнего

Нью-Йорка. Печать и публикация произошли, вероятно, в начале 2106 года; произошли ли — или же мне следует написать «произойдут»?

Г. У.

Часть первая
Сегодня и завтра: наступала Эпоха разочарования
Глава 1
Хронологическая заметка

В XIX и XX веках история человечества на нашей планете претерпевала смену эпох. История расширялась. История консолидировалась. Она переставала быть разношерстным клубком взаимосвязанных случаев и становилась осознанно единой. Происходило слияние расовых, социальных и политических судеб. Перед человеческим воображением открывалась картина неизведанных возможностей, которая приспосабливала под себя прежние идеи.

Первая фаза этой реорганизации непременно разрушительна. Представления о жизни и обязательствах, которые до сих пор служили и удовлетворяли даже самых энергичных и умных личностей, а также концепции, которые являлись естественно пристрастными, сектантскими и ограниченными, десятилетие за десятилетием утрачивали свою убедительность и руководящую

силу. Ослабевали и исчезали. Это век растущего умственного беспокойства, навязанных убеждений, лицемерия, цинизма, самозабвения и нетерпения. То, что до сих пор являлось окончательным и непроницаемым фоном убеждения в правильности методов поведения, характерных для национальной или местной культуры каждого индивида, превращалось, если можно так выразиться, в рваную, расползающуюся по швам занавеску. За преломлением, искажением, медленным растворением традиционных завес проступили поначалу смутные и туманные намеки на тип поведения, необходимый для того единого мирового сообщества, в котором мы живем сегодня.

До тех пор, пока Хронологический институт не завершит свой нынешний пересмотр и не определит значимые даты в социальной эволюции, лучше всего будет отнести наш отчет о развитии человеческого разума и воли к неуклюжим и неуместным вычислениям до– и послехристианской эры. В предыдущей книге подробно разъяснено, как мы унаследовали систему исторических ячеек христианского мира. Эта произвольная работа на протяжении многих столетий навязывалась в средиземноморской

и атлантической литературе и таким образом искажала взгляды на историю даже в самых бдительных умах. Студенту необходимо постоянно быть начеку, чтобы не допускать ложного рассеяния. Как заметил Питер Лайтфуд, говоря о «восемнадцатом веке», мы думаем о моде, обычаях и взглядах, характерных для периода от Вестфальского договора 1642 года до краха Наполеона в 1815-м. Говоря же о «девятнадцатом веке», представляем себе газовое освещение и паровой транспорт, начиная с посленаполеоновского восстановления и заканчивая огромным потрясением Мировой войны в 1914 году. «Двадцатый век», в свою очередь, вызывает образы электрификации и самолета. Но самолеты редко появлялись в воздухе до 1914 года (первая машина подобного рода взлетела лишь в 1905 году), а полная замена паровозов и пароходов на электровозы и теплоходы произошла лишь после сороковых годов. Какая это утомительная трата времени и энергии, когда каждое поколение молодых умов приходится заставлять сначала зазубривать бессмысленную последовательность столетий, а затем исправлять грубое расположение дат хронологическим пересмотром с тем, чтобы облегчить задачу учителя. Тем самым

он получает возможность сглаживать историю нашей расы в значительной степени.

Хронологический институт справлялся с этой задачей с помощью полезной рекламы, приглашая к обсуждению самые разные стороны. Известная история поддавалась ежегодному исчислению. Это позволяло разделить ее на ряд неодинаковых по продолжительности эпох. Естественно, выбор этих эпох служил причиной чрезвычайно оживленных дискуссий. У большинства из нас имелись свои собственные оценочные суждения о тех или иных событиях. Многие сложные нюансы, касавшиеся ранних цивилизованных сообществ, десятилетиями оставались в подвешенном состоянии, не находя ни подтверждения, ни категорического отрицания. Однако наша хронология достаточно точно определяла каждый год того или иного важного события за последние 4000 лет во многом благодаря тщательному и терпеливому труду Комитета Селвина-Корнфорда, который занимался исследованиями аллювиальных отложений. Что касается последних 3000 лет, то сегодня почти не осталось сомнений в том, что основными разделительными точками (точками перехода) будут являться первым делом эпоха

Александра и эллинские завоевания, которые положат начало фазе великого эллино-латинского денежного империализма в западном мире; и это будет эллино-латинская эпоха. Начнется она с пересечения Геллеспонта Александром Македонским и закончится либо битвой при Ярмуке (636 год), либо сдачей Иерусалима халифу Омару (638 год). Затем наступит эпоха мусульманского и монгольского давления на Запад, которое открыло эпоху феодального христианства и его противостояния с феодальным исламом; эпоха азиатского господства. Закончится она битвой при Лепанто (1571 год). После чего наступит Третья эпоха, эпоха протестантской и католической контрреформации, которая положила начало эре конкурирующих суверенных государств с хорошо организованными постоянными армиями. Это — эра европейского господства, или, как ее еще можно назвать, эра национального суверенитета. И, наконец, разразилась катастрофа мировой войны 1914 года, когда внешнее стремление к новым экономическим методам, разработанным атлантическими цивилизациями, уступило место внутреннему напряжению европейского национализма. Эта война и ее затянувшиеся последствия открыли человеческому разуму

возможности и опасности несовершенно европеизированного мира, который бессознательно сделался единой взаимосвязанной системой, все еще одержимой Вестфальским договором и идеей конкурирующих суверенных государств. Этот шок разума и последующая разрядка ознаменовали начало эпохи Современного государства. Начальной фазой этой последней эры является Эпоха разочарования, с которой мы столкнулись здесь. Это первая стадия периода Современного государства. Вторая стадия, но не новый период, началась с провозглашения Межевской декларации, которую общим здравым смыслом человечества приняли сорок семь лет назад. Эпохе разочарования пришел конец! Следовательно, нетрудно подсчитать, что длилась она чуть меньше полутора веков.

Дата на титульном листе первой публикации этой Истории — 2106. Прежде чем исчерпаются многие издания, появится новое летоисчисление; *М.Е.* соответственно — 192-ой год, 189-й или 187-ой до Современной эры в зависимости от того, определят ли наши хронологи в качестве точки отсчета дату начала Великой войны — 1914 год, начало социальной революции в России — 1917-й, или подписание Версальского договора,

как окончательное открытие Эпохи разочарования и конфликта за мировое единство — 1919-й. В настоящее время представляется, что вторая дата выглядит наиболее удобной для работы.

В 1914 году могло показаться, что концепция организованного мирового порядка недоступна человеческим возможностям. В 1919-м она уже стала вполне активной силой в неуклонно растущей доле человеческих мозгов. Мысль о Современном государстве окончательно сформировалась и принялась разрастаться. Одна система — советская система в России — уже с уверенностью утверждала, что является мировой системой. Большинству в том настрадавшемся поколении Великая война казалась абсолютным злом, катастрофой и потерей. Для нас же, тех, кто видит те ужасные годы в перспективе общей тупости и костности, которая и привела к этому конфликту, уничтожение жизней и материальных ценностей, каким бы беспрецедентным оно ни было, не обладает таким же подавляющим качеством. Мы рассматриваем это как неуклюжее и непроизвольное освобождение от устаревших допущений путем их доведения до трагического абсурда и, следовательно, как практически неизбежный шаг в диалектике человеческой судьбы.

Глава 2
Как впервые появились идея и надежда на современное Мировое государство

В чем же состоит существенное различие между миром до Великой войны и миром после нее? До этой бури страданий и разочарований четкое осознание того, что, несмотря на все современные бедствия, мировой порядок и счастье доступны человечеству, было уделом лишь нескольких исключительных личностей. После мировой катастрофы оно неуклонно распространялось на все большее количество людей, затем стало отчаянной надеждой и желанием и, наконец, рабочим убеждением, которое сделало возможными организованные массовые действия.

Даже те, кто воспринял эту идею еще до эпохи Великой войны, по-видимому, высказывали ее с необъяснимой для нас робостью и слабостью. Помимо грандиозной звезды Шелли, которая сияла тем ярче, чем меньше оставалось его преемников, во всех этих довоенных утверждениях о возможном мировом порядке ощущался привкус нереальности. У большинства доминировал

викторианский ужас перед любой «экстравагантностью». Писатель вооружился фальшивой улыбкой или даже ядовитой насмешкой над собственными допущениями в манере, которая, очевидно, действовала на публику обезоруживающе. Вряд ли пророк осмеливался поверить в свое же предсказание. Максвелл Браун недавно раскопал брошюру «Великий анализ», датированную 1912 годом, где с величайшей робостью, даже без указания имени автора, предлагался весьма проницательный и обоснованный прогноз первичной структуры Современного государства, удивительно пророческий для того времени. Это был план преобразования мира революционным путем. Писатель не хотел называть творение своим именем и откровенно признавался в этом, потому что такой шаг мог бы выставить его на посмешище.

Занимательные предсказания Максвелла Брауна в отношении Современного государства незадолго до Великой войны — это исчерпывающее исследование психологических процессов, с помощью которых сама идея стала основой нашей жизни. Эта идея вытеснила воинствующий патриотизм и утвердилась в качестве практической и необходимой формы действий

для человека доброй воли полтора века назад. И эта же идея отчетливо прослеживалась вплоть до зародышевого состояния. Наиболее ранние ее проявления представляли собой мечту о всеобщем завоевании. Рассказывалось о вековой борьбе с повседневным использованием и практическим здравым смыслом. В первом из своих поистине огромных томов писатель привел тысячи цитат из источников дохристианской эры. Все монотеистические религии по своему духу являлись религиями мирового государства. Вавилонская башня рассматривалась как попытка некоего первобытного космополита, некого провидца, возникшего на заре человеческой истории, объяснить разделение человечества (в настоящее время существуют веские основания приписать эту легенду Эмесалу Гудеке из Ниппура, древнему шумерскому сказителю).

Максвелл Браун показывал, как синкретические религиозные верования, обусловленные ростом ранних империй и официальным объединением богов, неизбежно приводили к монотеизму. По крайней мере, со времен Будды и далее где-то в мире всегда существовало чувство, если не живая вера, в единое и неделимое человеческое братство. Но естественное чувство

и подверженная колебаниям симпатия достигли незнакомца, способного в самом деле начать что-то осуществлять, совсем недавно. Необходимые для перемен условия никак не складывались.

Браун кратко исследовал новшества, которые предшествовали более важным вкладам в историю человечества. В течение десяти тысяч лет, то есть, по крайней мере, с тех пор, как кроманьонцы научились шить себе одежду и сооружать укрытия от непогоды, искусство печати появлялось и исчезало снова и снова. Но никогда оно не достигало кульминации в печатной книге и всех ее далеко идущих последствий. Никогда не приобретало первостепенного значения в человеческих делах вплоть до XV века. Браун собрал доказательства повторяющихся неудач человека в попытках летать. Планеры Четвертой династии, недавно найденные в Бедрашене, разбитая машина Ю-чжоу, весьма многообещающие обломки, украшения и человеческие останки, найденные в прошлом году в заливе Мирабелла (последние впервые отмечены в 2104 году после землетрясения, произошедшего в глубоких водах, на фотографиях исследовательского самолета Кроуфорда; впоследствии они были найдены и извлечены водолазами подводной

лодки *«Salvemini»*, принадлежащей биологической станции Неаполя. В настоящее время профессор Джулио Маринетти идентифицировал их как останки легендарного планера Дедала и Икара). Максвелл Браун также проследил непрерывно повторяющиеся открытия и переоткрытия Америки со времен олесундских табличек и ранних китайских надписей в пещерах близ Байя-Коки до окончательного установления непрерывных коммуникаций через Атлантику западными европейцами в XV веке. Всего в настоящее время зарегистрировано шестнадцать отдельных неэффективных открытий Америки либо с востока, либо с запада, и, возможно, имели место еще множество других, которые не оставили после себя никаких следов.

Эти ранние примеры неадекватной предприимчивости человека помогают нам понять и переосмыслить долгую борьбу Эпохи разочарования с трудностями, которые подталкивали наших предков к тому, очевидно, единственно разумному устройству человеческих дел, каковое установилось ныне на этой планете.

Бесплодность всех этих преждевременных изобретений очень легко объясняется. В случае трансатлантического перехода ранние море-

плаватели добирались до Америки, но не могли вернуться обратно. Если же они все-таки возвращались на родину, то не могли найти поддержку и средства для того, чтобы совершить повторное путешествие. Или же вследствие многочисленных трудностей они погибали во время второй попытки. Истории о морских путешественниках искажались, превращались в сказочные легенды, и с течением времени в них переставали верить. Это действительно было довольно-таки бессмысленное приключение — плыть в Америку, пока усовершенствованная навигация и компас не стали для моряка обыденностью.

Но вернемся к вопросу печати. Лишь тогда, когда китайцы развили систематическое производство дешевой бумаги в виде листов стандартного размера, печатная книга — и последующее распространение знаний — стали осуществимы на практике. Наконец, задержка в освоении полетов являлась неизбежной, потому что, прежде чем люди смогли продвинуться дальше опасного скольжения по воздуху, металлургии требовалось достичь этапа выпуска двигателя внутреннего сгорания. До тех пор нельзя было создать ничего достаточно прочного и легкого, чтобы сражаться с воздушными вихрями.

Точно так же концепция единого человеческого сообщества, организованного, чтобы служить общему благу, должна была подождать, пока быстрая эволюция средств коммуникации не сможет остановить разрушительную силу географического разделения и пообещать когда-нибудь его победить. Эта быстрая эволюция произошла, наконец, в XIX веке, и она описана в предыдущей главе этой всемирной Истории. Паровая энергия, нефтяная энергия, электроэнергия, железная дорога, пароход, самолет, передача по проводам и по воздуху очень быстро следовали друг за другом. Они связали человеческий род крепчайшими узами — как никогда прежде. Незаметно, менее чем за столетие, совершенно невыполнимое стало не просто возможной, но и экстренно необходимой корректировкой пути развития человеческой цивилизации.

И вот теперь кардинальное значение Великой войны в истории человечества заключалось в том, что мировая бойня ясно продемонстрировала необходимость этой корректировки. Раньше это никогда не считалось необходимым. Признание всегда отставало от достижений. Ни один из довоенных пророков Мирового государства не смог внушить окружающим понимание, что

консолидация жизненно необходима. Все они делали лишь вежливые реверансы и робкие жесты в сторону единства. Говорили об этом, как о чем-то приятном и желательном, но никогда, как о жестком императиве. До войны самый ясный запрос на всемирное сотрудничество исходил от Второго Интернационала. И даже после войны, и после туманного и колеблющегося представления Лиги Наций о федеральном сверхгосударстве в Женеве большинство даже самых что ни на есть передовых авторов, похоже, все-таки пребывали под впечатлением, будто необходима максимальная корректировка существующей системы, дабы предотвратить или смягчить последствия войны и сдерживать мятежные порывы слабых и непрофессиональных правителей.

И даже коммунистическое движение, которое, как мы уже говорили, в результате случайного заговора смогло захватить Россию и продемонстрировать ценность своих теорий, в конечном итоге отступило от идеи космополитического социализма, а не продвинулось к ней. Как мы уже показали, эти теории оказались безнадежно неадекватными по отношению к практическим потребностям человечества. Развитию идеологии сильно препятствовал консервативный догма-

тизм, навязанный неизлечимым эгоизмом Карла Маркса. Нетерпимость, врожденные дурные манеры, тщеславная настойчивость в том, что он-де произвел на свет окончательную доктрину, превзошедшую дарвинизм, бросили длинную тень нетерпимости и упрямства на последующее развитие коммунизма. Маркс горько завидовал утопической школе социализма, и поэтому, когда Ленин столкнулся с необходимостью взять власть в свои руки, «ортодоксальный» марксист испытал совершенно идиотскую гордость за бесплановое мировоззрение. «Свергните капитализм! — провозгласил он, — и что сможет произойти вследствие этого, кроме тысячелетнего блаженства?» Коммунизм действительно настаивал на необходимости экономической социализации, но — до тех пор, пока не пришел к власти в России — не обращал ни малейшего внимания на технические сложности. Через одиннадцать лет после прихода к власти, то есть в 1928 году, он произвел на свет запоздалый и ни с чем не соразмерный пятилетний план. До той поры никакой рабочей схемы для реализации социализма попросту не существовало. Коммунизм бросили в пучину социального эксперимента, и само это явление оказалось вынуждено при-

бегать к отчаянным маневрам, импровизациям и смене взглядов, а также защищаться настолько безвкусной и прозрачной апологетикой, что общемировое коммунистическое движение вышло из-под контроля.

Читатель этой всемирной Истории уже знает, как моральная и интеллектуальная сила Коммунистической партии оказалась неспособной контролировать саму себя и противостоять диктатуре весьма достойного, но ограниченного человека родом из Грузии, Иосифа Сталина. Преждевременная смерть творческого и способного к адаптации Ленина и нетерпеливое подавление умных, беспокойных, но необходимых в любом живом обществе личностей, таких, как Троцкий, — если бы не явный недостаток такта и достоинства, этот человек вполне мог бы стать преемником Ленина, — искалечили решительно всё! Не исключено, что Современное государство могло впервые появиться именно в России. Ужасная судьба постигла верных учеников творческой личности. Ленин расслабился и перевернул догматизм Маркса, а Сталин превратил то, что считал ленинизмом, в новый и более жесткий догматизм. После этого политический доктринер подавлял и калечил техника

в борьбе, которая требовала именно технической компетентности. Подобно тому, как богословские споры обедняли и опустошали Европу на протяжении долгих веков христианского мира и сводили к нулю преимущества объединяющего влияния, так и в России чрезмерный педантизм политических теоретиков мешал эффективной организации общества. Молодежь воспитывалась в тщеславии и ксенофобии, неотличимых по своим практическим последствиям от грязненького патриотизма таких стран, как Франция, Германия, Италия или Шотландия.

Подчинение умственного развития политике привело Россию в такую политическую и социальную фазу, какая, по меткому замечанию Ростовцева в его «Социально-экономической истории Римской империи», во всеобщем обнищании и отсутствии критической энергии уподобилась благонамеренному, но бессодержательному самодержавию императора Диоклетиана. С самого начала русская революция потерпела неудачу в своем стремлении возглавить человечество. Русский космополитизм просуществовал едва ли дольше, чем космополитизм Великой французской революции дюжиной десятилетий ранее.

Это почти неизбежное отставание конструктив-

ного движения в России от западных разработок предвидел проницательный ум Ленина еще на этапе своего очевидного лидерства (см. № 3090 в сборнике «Исторические документы» — «Левое крыло коммунизма»). Но его наблюдение не нашло отклика в неизлечимо нелиберальной мысли, окостеневшей в марксистской традиции.

Именно в Западной Европе концепция организованного и дисциплинированного Мирового государства как революционной цели в конечном счете достигла своих полных масштабов. Поначалу смысл всего этого оставался неясным. В 1933 году любой наблюдатель мог быть введен в заблуждение фактом наличия фашистского режима в Италии, волнениями нацистской партии в Германии, аналогичными национал-социалистическими движениями в других странах, увеличением тарифных барьеров и других ограничений, с неимоверной быстротой воздвигавшихся повсюду. Складывалось впечатление, что везде космополитическая идея отступает под натиском навязчивых идей расы, вероисповедания и национализма. И все-таки в то время зародыши Современного государства как-то умудрялись подрастать. Его приверженцы учились и постепенно набирали силу.

Прелюдией послужили 1928 и 1929 годы. Потребовался финансовый шторм и неуклонно прогрессирующий крах всей мировой экономической жизни, чтобы придать пророкам Мирового государства достаточно смелости в своих убеждениях. Тогда они и в самом деле начали высказываться. Вместо сдержанной, фрагментарной и неубедительной критики общественных дел, которая до сих пор их вполне удовлетворяла, они теперь прямо настаивали на необходимости всемирной реконструкции, то есть мировой революции — хотя «революция» все еще оставалась словом, от которого всячески уклонялись. То, как возникло это резко повзрослевшее определение цели и воли, характерно для меняющегося качества социальной жизни. Дело заключалось не в том, что однажды, внезапно пробудившись, один или два выдающихся человека стали заметными. Вовсе нет. Тем более что у них не было шансов стать лидерами. Но широко распространилось само движение человеческой мысли.

И у нас имеется великолепная возможность изложить вкратце те выводы, к которым пришли разумные люди. Пришло осознание того, что человеческое общество становится единой неделимой экономической системой с новыми

и поистине огромными возможностями для благосостояния. К 1931 году эта концепция стала заметной даже в среде упрямых интеллектуалов Франции; например, в прощальной речи на американском континенте малоизвестного и временного французского премьер-министра Лаваля. На его речь незамедлительно откликнулись британский премьер-министр Рамзи Макдональд и американский президент Гувер.

Идея преобразилась в настолько популярную программу, что политики обрели возможность использовать ее в своих речах. И снова одно лишь интеллигентное меньшинство пришло к логическим последствиям ее реализации. Только оно смогло понять необходимость отречься от суверенитета современных правительств, установить над ними авторитетный централизованный контроль, призванный дополнять или даже замещать их при необходимости. А еще нужно было вывести производство вооружения и экономических продуктов за пределы досягаемости возмутительных манипуляций, связанных с извлечением прибыли. Тем самым рабочие получили бы защиту от пагубных недостаточных выплат.

Тем не менее, к 1932–1933 годам это понима-

ющее меньшинство говорило о своем видении ситуации прямо и открыто. Большие изменения отныне не представлялись просто желательными; теперь их следовало воспринимать как нечто совершенно необходимое для спасения цивилизации от глобальной катастрофы. И самое главное — речь уже шла не только о спасении. Уже тогда, с точки зрения самых прогрессивных мыслителей, альтернативой катастрофе была не просто мрачная и запуганная безопасность. Это являлось последним выбором из всех возможных. Не осталось никакой альтернативы беспорядку и нищете, кроме «такого изобилия, такого процветания и богатства возможностей», какого еще никогда не знал человек (эти слова являются цитатой из шотландской газеты 1929 года). Просвещенные люди в 1932 году были так же уверены в возможности мирового порядка, всеобщего достатка и постоянно растущей жизненной силы человека, как и мы, живущие сегодня в полноценном владении своей жизнью среди практической реализации этой возможности.

Ясность видения не способствовала счастью просветленных. Умы изнывали, истерзанные не только страхами и страданиями, но и несо-

мненным знанием о возможном мире свободной деятельности, доступной человеку и, так сказать, магически скрытом. Просветленные личности отчетливо видели сотни миллионов жизней, стесненных и искалеченных, скудно прожитых, несвоевременно принесенных в жертву, и не видели никакой первостепенной необходимости в этом упадке и ужасающем голоде человеческой жизни. Они видели, как миллионы людей скатывались к жизни, полной насилия, увечий, преждевременных и ужасных смертей. А за всем этим стояла наша безопасность, насыщенность событиями и свобода.

Максвелл Браун в главе под названием «Тантал 1932» приводит сорок примеров подобных реализаций. Но легендарный Тантал оказался в пределах досягаемости беспощадной воли всемогущих богов. Человечество же отнюдь не обречено на столь безжалостную судьбу. Современное государство во всем цивилизованном мире ярко осветило живое воображение нашей расы в течение десятилетия после Великой войны, абсурдно близкое, фантастически недосягаемое. В течение столетия путаницы и беспорядка страстей это нынешнее состояние должно было рано или поздно реализоваться.

К истории сражающихся, потерянных и страдающих поколений, «поколений полумрака», мы теперь и перейдем. Оглядываясь на разрозненных и разнообразных индивидуумов, впервые выразивших идею Мирового государства, что зародилась в человеческом разуме, оценивая первые общие усилия по ее реализации, нам нужно, прежде чем мы сможем воздать должное этим людям, попытаться в какой-то мере преодолеть невежество, предрассудки и другие инерции, нелепые привычки уступать и объединяться, стадную любовь и стадный страх, с которыми им приходилось бороться не только в обществе, где они оказались, но и внутри самих себя. Надо понимать, что это отнюдь не было пресловутым конфликтом Света и Тьмы. Боролись подслеповатость со слепотой. Мы должны осознавать, что наших предков преследовало видение современного цивилизованного мира, однако они, увы, все еще принадлежали не нашему миру, а своему собственному. То, что представлялось в их сознании, являлось чем-то совершенно отличным от нынешней реальности. Максвелл Браун посвятил несколько глав и третий, весьма объемный, дополнительный том специальной подборке пророков раннего Современного государства,

которые вдохновляли окружающих на будущие свершения. Он убедительно показал, что в третьем и четвертом десятилетиях XX века быстро росло число мужчин и женщин с четким общим представлением о возможностях современного мира. Он цитировал записи и речи, часто поразительно проницательные и ясные, а затем прослеживал, как жизни цитируемых авторов менялись после приведенных высказываний. Несоответствие веры и усилий являлось полезным и действительно поразительным напоминанием о коварной природе индивидуальной жизни.

«В безопасности и спокойствии тихого кабинета эти мужчины и женщины могли по-настоящему ясно видеть дальнейший ход событий, — писал он. — В эти часы отвлеченности хрупкое тонкое вещество мозга могло совершить побег от непосредственной реальности, осознать причинно-следственную связь во всех четырех измерениях, приблизиться к неизменным значениям социальных событий в пространственно-временных рамках. Но даже в кабинет проникал гул хаоса внешнего мира. И как только дверь приоткрылась, на человека устремились беспорядки, война и рынок. Разъярившийся вопрос о насущной необходимости сиюминутных

действий развеял прекрасную мысль о нашей общей судьбе по четырем небесным ветрам».

Максвелл Браун не преминул добавить яркую иллюстрацию к этому отрывку. Это факсимильное изображение первого наброска Питера Раута, американского прогрессивного лидера и его Революционного манифеста 1937 года. Бесспорно, в свое время это был весьма вдохновляющий документ. Став мучеником, Раут доказал свою верность наилучшему. На полях черновика внимание читателя привлекает лабиринт маленьких фигурок — некие итоговые суммы со знаками сложения и умножения. Благодаря своему почти вдохновенному дару убеждения, а также кропотливой работе последователей, Максвелл Браун смог продемонстрировать, насколько точны эти числа. Раут планировал наш новый мир, насколько ему позволяло предвидение. Но мысли гения еще не обладали способностью полностью сосредоточиться на цели. Они непрестанно бурлили, бродили в поисках новых путей. Какое-то время манифестом пренебрегали, пока мыслитель делал свои расчеты. Он словно бы играл на бирже: активная, кипящая мыслями часть мозга непрестанно размышляла, пришло ли время сбрасывать акции.

Глава 3
Как накапливались диспропорции старого порядка

Давайте рассмотрим некоторые основные явления, заставившие многие умы ожидать возникновения мирового сообщества в начале XX века. Во-первых, было достигнуто значительнейшее финансовое единство. Кредит Лондонского сити простирался до края земли, и золотой соверен быстро стал мировой монетой. На местном уровне ее можно было легко обменять. Курс, бывало, колебался, но незначительно. Экономическая жизнь превращалась в обобщенную структуру. На обширных территориях торговые отношения продвигались с малозначимыми препятствиями. Британцы все еще надеялись, что их космополитическая концепция свободной торговли будет принята всем миром. Международный институт сельского хозяйства в Риме разрабатывал ежегодную перепись производства основных продуктов питания и стремился к мировому контролю за их транспортировкой. Население активно перемещалось, и правитель-

ства этому не препятствовали. Так, например, поляки отправлялись в Восточную Германию на уборочные работы, а затем возвращались домой. Сотни тысяч итальянцев уплыли в Соединенные Штаты, где проработали несколько лет, отправляя заработок в родные деревни. Обычные путешественники могли отправляться куда угодно, и нигде у них не спрашивали паспорта. Требовался этот документ лишь для того, чтобы в почтовом отделении получить заказное письмо или подтвердить свою личность.

Появились пока еще немногочисленные, но значимые федеральные службы, которые уже обрели прочную юридическую силу во всем мире. Например, Почтовый союз. До 1914 года письменный документ передавался в руки адресата почти в каждой точке планеты. Происходило это, правда, не так быстро, как сегодня (Совет по историческим документам недавно переиздал небольшую книгу Л. С. Вульфа «Международное правительство», подготовленную для немногочисленного старого Фабианского общества в период Великой войны, где преподносится краткое описание соответствующих договоренностей — перечислены 23 важных мировых союза, занимавшихся в то время тор-

говлей, промышленностью, финансами, связью, здравоохранением, наукой, искусством, литературой, лекарствами, борделями, преступностью, эмиграцией и иммиграцией, а также второстепенными политическими делами). Всемирное сотрудничество казалось — в особенности англоязычным народам — предвестником прямого и сравнительно плавного перехода от лоскутного политического одеяла XIX века, когда различия постепенно ослабевали, к стабильной конфедерации человечества. Мысль о грядущем Мировом государстве уже можно было кое-где отыскать, например, в стихотворении «Локсли-холл» лорда Альфреда Теннисона (издано в 1842 году). Однако не прикладывалось никаких усилий для его достижения, и, в действительности, не ощущалось ни малейшей необходимости в таких усилиях. Ожидалось, что Мировое государство возникнет само по себе вследствие воздействия неких сил, присущих развитию материи.

Эта вера в скрытую доброжелательность неконтролируемых событий являлась распространенной ошибкой, можно даже сказать, самой распространенной ошибочной идеей того времени. Это повлияло на каждую, без преувеличения, школу мышления. Точно так же последователи

Маркса (до вдохновляющего прихода Ленина и большевистской реконструкции коммунизма) считали свою мечту о мировом коммунизме неизбежно реализуемой, а ученики Герберта Спенсера нашли благое Провидение в «свободной конкуренции». «Доверьтесь Эволюции», — сказал крайний социалист и крайний индивидуалист, столь же благочестиво, как христиане уповают на всемогущего Бога. Именно большевистское движение в XX веке вложило волю в коммунизм. Мысль как революционера, так и реакционера XIX века пропиталась самоуверенной безответственной ленью. Как заметил профессор Набин Чандра Сен, надежда в викторианский период являлась не стимулятором, а опиумом.

Мы, живущие в дисциплинированном порядке, ставшие победителями в упорной борбе, понимаем, насколько поверхностными и необоснованными были все эти обнадеживающие проявления. Великие процессы механического изобретения, какие описаны в нашем общем отчете об освобождении экспериментальной науки от дедуктивного интеллектуализма, увеличивали мощность и дальность каждой действующей материальной силы совершенно независимо от ее пригодности или непригодности для но-

вых возможностей человечества. С одинаковой беспристрастностью эти процессы привносили в человеческие устремления как всемирное понимание, так и всемирную бойню.

Отнюдь не по вине изобретателей и исследователей созданные ими новые возможности использовались не по назначению. Это неизменно оставалось за пределами досягаемости. Еще не сформировалась общая собственная культура. Кроме того, поскольку каждый работал в своей узкой области, лучшие умы не могли нести ответственности за фрагментарность своих открытий. Биологические и особенно социальные изобретения значительно отставали от практических достижений точных наук. Применить эти изобретения на практике было делом невероятно сложным. Затрагиваемые вопросы глубоко укоренились в традициях и привычках. Новинка в какой-либо области обыкновенно встречалась в штыки, и трудно было применить ее к какому-то важному делу. На усыпанной щебнем дороге легко заменить карету и лошадей паровым двигателем и железной дорогой. Вызывая изменение, не нужно что-либо делать с каретой, лошадьми и даже с дорогой. Эти субстанции просто оставляют в покое, а железная дорога и, позднее,

автомобиль аккуратно вытеснят устаревшие бытовые аксессуары. Но невозможно тем же способом создавать новые социальные институты, новые социальные, политические и производственные отношения и ожидать, что они будут мирно существовать бок о бок со старыми. Это должно стать сложной и медленной работой. Ведь речь идет не о вытеснении, а о реконструкции! Старое должно быть преобразовано в новое, ни на мгновение не переставая оставаться постоянной всеобщей заботой. Замена биологически старого на механически новое была неизбежна, и процесс этот достиг экстремума в XX веке.

Здесь может оказаться уместной патологическая аналогия. В прошлом, то есть еще до того, как всерьез начали изучать взаимосвязь развития в живых организмах, люди беспомощно и ужасающе страдали от всевозможных нарушений нормального роста, происходивших с их телами. Медицинские службы того времени, какими бы они ни были, совершенно не умели это лечить. Одно из таких патологических состояний называли «соотношением Нурми в крови»; речь шла о перепроизводстве костной ткани, как локально, так и по всему организму. Тело больного постепенно приобретало искаженные черты;

несчастный превращался в неуклюжую карикатуру на себя самого — такого, каким он был прежде. Лицо приобретало грубые и карикатурно массивные черты, кости черепа чудовищно расширялись, изменялись пропорции конечностей, и мышцы отныне работали совсем по-другому. Человек выглядел гротескным, словно злой газетный шарж, становился все более выраженным калекой и, в конце концов, умирал. Некий параллелизм этому процессу можно наблюдать в отношении человеческого общества за сто лет до Великой войны. Под влиянием механических изобретений и экспериментальной физики оно достигло, если и дальше следовать нашей метафоре, гипертрофии костей, мышц и желудка без какого-либо соответствующего расширения нервных органов управления.

Задолго до Великой войны эту прогрессирующую диспропорцию стали смутно замечать многие наблюдатели. В качестве излюбленной формулы мыслителей объявлялось, что «духовное», — в те дни все еще принималось изначальное противостояние духа и материи, — не поспевает за «материальным» прогрессом. И произносилось это с видом глубочайшего морального превосходства над всем миром.

То есть подразумевалось, что если бы другие люди энергично воздерживались от использования современных изобретений, чаще ходили в церковь, вступали бы в браки в более молодом возрасте, читали более «духовную» литературу, воздерживались от смешанных купаний, работали усерднее и получали более низкую зарплату, проявляли больше почтительности по отношению к авторитету и были ему во всем послушны, — вот тогда, дескать, все еще могло бы быть хорошо. Но такого рода взгляды не получали обширного признания в широкой и постоянно растущей дисгармонии социальной общности вплоть до окончания Великой войны.

Юный читатель спросит: «А где же было Центральное наблюдательное бюро? Куда смотрел профессорско-преподавательский состав и студенты? Кому, как не им, пристало регистрировать любые нарушения и составлять планы корректировки!»

Центрального наблюдательного бюро в те времена еще не существовало. И оно не появится еще целое столетие. О такой сложной организации обсуждений, расчетов, критики и прогнозов не могло быть и речи. Эти величественные города из мыслей, полные безмятежной деятельности,

появились только после организации Сети архивов и библиотек при Воздушной диктатуре между 2010 и 2030 годами. Даже материнский город мысли, учреждение Всемирной энциклопедии, был основан только в 2012 году. В начале XX века все еще не существовало адекватной оценки экономических сил и связанных с ними социальных реакций. По всей земле разбросало лишь несколько десятков профессоров и разобщенных любителей, кто занимался принципиально важными исследованиями. Этих людей рассеяло во всех смыслах — даже связь между ними осуществлялась бессистемно. У них не было ни полномочий на поиски истины, ни адекватной статистики, ни мало-мальски значимого престижа; мало кто прислушивался к высказываниям зарождающихся провидцев.

Вполне возможно, что они и не заслуживали большего. Они только и делали, что глупо препирались и дискредитировали друг друга. Какой-нибудь гений никак не желал слушать своего соседа и, более того, намеренно подвергал его идеи неверной интерпретации. Невозможно читать социальную и экономическую литературу, созданную в этот период, не осознавая чрезвычайной отсталости мировой интеллек-

туальной жизни. В наши дни трудно поверить, что авторы публикаций, одновременно и утомительных, и поразительно скучных, жили в то же время, что и деятельное множество работников экспериментальной науки, которые ежедневно изменяли и дополняли знания, добиваясь новых практических триумфов. С 1812 года, когда впервые организовалось газовое освещение городов, и до начала Великой войны, когда мир создавался заново газом, паром и нефтью, а затем и стремительным развитием электротехники, когда были исследованы и нанесены на карту последние неизвестные земли, когда появилось множество доселе немыслимых элементов и соединений и сотни тысяч новых веществ, в то время, когда эпидемические заболевания сдерживались и подавлялись, в то время, когда смертность сократилась вдвое, а средняя продолжительность жизни возросла на десятки лет, социальные и политические науки оставались застойными и непригодными для практического использования. За все это столетие материальных достижений не обнаружено ни одного случая успешного применения социального, экономического или образовательного обобщения.

Из-за этого печального запаздывания со-

циальных наук прогрессирующее смещение утонченной, хотя и социально ограниченной и нестабильной цивилизации более развитых суверенных государств XVIII и XIX веков продолжалось без какого-либо эффективного современного понимания того, что именно разрывает ее на части. Европейцы и американцы начала XX века воспринимали социальные и политические силы, которые разрушали человеческие жизни, едва ли более отчетливо, чем граждане Римской империи в период ее краха. ВОЗНИКАЛО мнимое ощущение безопасности, вследствие чего ВОЗНИКЛО неизбежное. Тем не менее, по-прежнему не появлялось никакого внятного анализа причинно-следственных связей. В течение многих лет события преследовали даже самых смелых и прогрессивных мыслителей. Люди поняли, что на самом деле произошло, только много позднее и поэтому никто ничего не смог предвидеть. Не существовало никакого предвидения, и, следовательно, не могло существовать никакого осмысленного контроля.

Глава 4
Ранние попытки понять и разобраться с диспропорциями; критика Карла Маркса и Генри Джорджа

Невозможно не затронуть одно или два исключения из этого всеобщего отсутствия диагностики в истинном положении дел XIX и XX веков. Даже люди, серьезно изучающие общую историю, не могут игнорировать занимающие особое место анализ и прогнозы экономического развития, сделанные Карлом Марксом и его единомышленниками.

В любом случае марксизм потребовал бы нашего внимания, как любопытная современная квинтэссенция саморазрушительных элементов в методах ведения бизнеса XIX века, но случайный выбор этого социального течения в качестве якобы кредо революционной России после краха царизма придал марксизму почти первостепенное значение в истории кинетических идей.

Карл Маркс (1818–1883), являясь сыном христианизированного еврейского юриста из Тревиса, обладал значительными социальными притяза-

ниями, сделав отличную университетскую карьеру в Бонне и Берлине. Он усвоил радикальную мысль своего времени и стал пожизненным другом куда более скромного и успешного торговца ситцем из Ланкашира Фридриха Энгельса (1820–1895). Вдохновленный как беседами с Энгельсом, так и влиянием английского социалистического движения Роберта Оуэна, Маркс разработал теорию экономического развития, которая и является сущностью марксизма. Сама концепция воплощена в огромном незавершенном труде под названием «Капитал» и обобщена в коммунистическом манифесте, составленном Марксом и Энгельсом в 1848 году (этот и другие труды Маркса с соответствующим сборником тезисов и кратким их изложением вы можете найти в Библиотеке исторической мысли, тома 17252–59). Главная заслуга Маркса заключается в четком признании предельной зависимости социальных и политических форм и реакций от физической необходимости («Материалистическая концепция истории»). Его ошибкой являлась безумная ненависть к среднему классу (буржуазии), главным образом из-за того, что он изображал аристократа весьма зависимым от торговца Энгельса, аристократа, невероятно озлобленного

своей материальной и интеллектуальной зависимостью от него же. Собственные попытки Маркса применить свои теории на практике с помощью заговора и политических действий оказались неумелыми и тщетными. Он умер в Лондоне разочарованным и обиженным человеком, совершенно не подозревая о посмертной славе, ожидающей его доктрины. Объединение его последователей в дисциплинированную Коммунистическую партию и модернизация самих доктрин гениальным Лениным внесли имя Маркса в историю.

Интересно будет рассмотреть общие положения марксистской теории в свете свершившихся событий, отметить успехи и промахи героических рассуждений — героических в том смысле, что они измеряются интеллектуальным мужеством своего времени.

В наши дни каждый школьник знает, что существенным и постоянным конфликтом в жизни человека является конфликт между завершенным прошлым и будущими усилиями. Этого школьника убеждают в том, что конфликт заключен в его собственном биологическом поведении. Так он приходит к пониманию постоянной автоматической борьбы за достигнутое, за удержание

нового, за сохранение новорожденного индивида, новорожденной идеи, расширяющихся потребностей вида. И все это в условиях непрекращающегося рабства. Показанный конфликт проходит через всю историю. В старой классической мифологии консервативный глава богов Сатурн пожрал всех своих детей, но один из них сбежал и стал Юпитером. О том, как Юпитер связал Прометея, в свою очередь, может рассказать каждый любитель Шелли. Нам нужно только направить студента к записанной в истории борьбе Республиканского Рима и Иудеи — конфликту между должником и кредитором; к плебейским Сецессиям Вечного города и Юбилейному году его восточной провинции; к легенде об Иосифе в Египте (так богато интерпретированной сегодня благодаря тщательному изучению современных египетских документов студентами Фонда памяти и совести); к английскому Уставу мертвой руки; к замечательному исследованию Остина Лайврайта «О банкротстве на протяжении веков» (1979) и напомнить этому студенту о вечном противостоянии кредитора и «мертвой руки». Но Маркс, подобно большинству его современников, был глубоко несведущ в исторической науке и пристрастился к странной «диалекти-

ке», разработанной псевдофилософом Гегелем. Скудно оснащенный знаниями ум воспринял этот извечный антагонизм только с точки зрения финансов промышленного производства. Дескать, предприниматели и капиталисты стали злодеями в собственных же пьесах, используя преимущество своего капитала для присвоения «прибавочной стоимости» производства. Так доля покупательской способности этого класса становилась все более и более непропорционально большой.

Маркс, по-видимому, никогда четко не различал ограничительную и производительную собственность, которую в настоящее время мы признаем как различие фундаментальной важности. Эксплуатация ради наживы — это сын-радикал, удушение ради господства — это консервативный отец. Для Маркса же эти принципиально разные ипостаси являлись единым целым. Предложения по экспроприации прибыли «капиталиста» являлись весьма расплывчатыми. Маркс не имел ни малейшего представления о реальной психологии экономической деятельности и сложной организации мотивов, необходимых для замены стимулирующей роли прибыли. В самом деле, у него вообще не было

никаких практических способностей, и никто не удивится, узнав, что этому мыслителю никогда не доводилось зарабатывать себе на жизнь. Он претендовал на все привилегии пророка, на всю распущенность и лень гения, но при этом даже не смог закончить свою «великую книгу».

Гораздо более способный и тонко мыслящий Ленин ((1870–1924), у власти в России после 1917 года), в отличие от Маркса, организовал на практике революционные силы коммунизма и сделал Коммунистическую партию самой жизненной творческой силой в мире, пока Сталин не свернул это грандиозное начинание. Существенное интеллектуальное различие между Марксом и Лениным очень ясно объясняется Максом Истманом (1895–1980), чей компактный научный труд, который так и называется «Маркс и Ленин», прекрасно воспринимается сегодняшним студентом. В свое время Ленину пришлось выдавать себя за ученика и воплотителя идей Маркса. Только гораздо позднее критика раскрыла всю тонкость блестящих его усилий, направленных на извлечение практического здравого смысла из устаревших доктрин старого пророка.

Другим писателем XIX века, возможно, бо-

лее ясно осознававшим удушающий эффект ограничительной собственности в отличие от стимулирующего эффекта эксплуатации, был американский печатник Генри Джордж (1839–1897), который приобрел популярность благодаря своим взглядам на экономические вопросы. Он видел, что жизнь человечества ограниченна и ничтожна, и одна из причин этого — постоянное повышение арендной платы. Наивное средство — обложить налогом землевладельца. Не менее наивно полагать, будто экспроприация имущества капиталиста сама по себе приведет к далеко идущим положительным последствиям. Маркс не оставил своим ученикам четких указаний, как именно следует управлять экспроприированными заводами и мировыми ресурсами. Генри Джордж также не удосужился объяснить, как в мире непримиримого индивидуализма, который он столь горячо отстаивал, налоговый орган должен будет найти применение для своих постоянно растущих налоговых поступлений.

Сегодня мы можем только улыбнуться ограниченности этих ранних пионеров экономической мысли. Но возможность улыбаться по этому поводу обретена нами благодаря позитивному опыту последних двух столетий. Мы живем го-

раздо позже тех, кто ошибался. И должны быть им благодарны за их доблестный, бескорыстный труд.

Наш долг перед ними, скорее, состоит в том, от чего они избавились, нежели в том, чего они достигли. Общие черты мировой экономической жизни довольно просты, поскольку сегодня мы видим их откровенно разоблаченными, но эти люди родились в атмосфере некритического использования возникающих идей, секретности, устоявшихся со временем заблуждений, фетишизма, рабочих вымыслов, — которые часто очень скверно реализовывались, — и почти безумного подавления мыслей и высказываний. Люди использовали термины, значения которых не понимали или понимали лишь частично. Термины искажались, воспринимались публикой смутно и непоследовательно. Люди заставляли свой разум стремиться к выражению реальности, пробивая путь через сложный ментальный и моральный клубок. Они разрушили прежнее представление о постоянстве устоявшихся институтов и обычаев, и хотя сейчас это кажется нам сущей мелочью, в то время это являлось чрезвычайно важным освобождением человеческого сознания. Детская привычка считать

неизменным То, что Есть, в те времена представляла собой почти универсальную догму.

Марксистские доктрины, по крайней мере, указывали на то, что экономический рост обязательно должен определяться стремлением к получению прибыли, концентрацией контрольной собственности, прогрессирующим относительным обнищанием все больших и больших слоев мирового населения и последующим окончательным сокращением рынков. Быстрое свертывание человеческой деятельности после 1928 года широко признавалось в качестве подтверждения марксистского прогноза. Это был очень быстрый ментальный скачок, характерный для того времени. Коммунистическое стремление решить социальную проблему полностью одобрялось.

Несмотря на то, что нас сегодня не особенно смущает беспорядок в головах наших предков, фундаментальные процессы, происходившие в течение тяжелых третьего и четвертого десятилетия XX века, отнюдь не представляются нам сложными. Нам хорошо известно, что стабильное благополучие человека определяется общим уровнем цен, который никогда не должен падать, и у нас в Валютном совете существует достаточно эффективный и постоянно совершен-

ствующийся всемирный орган для обеспечения этой цели. Из года в год доллар, каким мы его знаем сегодня, эквивалентен товарам и предметам первой необходимости. Уменьшение его стоимости бесконечно мало. Никакого увеличения никогда не допускается. Если свой честный доллар человек по какой-то причине не потратил, это не обернется для него ни приращением без заработка, ни убытком от бездействия. По мере роста производительной энергии нашего вида стоимость всего богатства в долларах неуклонно увеличивается в соответствующих пропорциях. Кредитор не обогащается и не лишается своих существенных ожиданий, а должник не сталкивается с необходимостью делать выплаты, выходящие за рамки его возможностей.

Сегодня не осталось ни малейших способов обогатиться, ничего не делая. Азартные игры безжалостно искоренены при Воздушной диктатуре и больше никогда не возвращались. Ростовщичество наравне с подделкой документов расценивается как финансовое преступление. Деньги даются людям, чтобы те могли получить, что хотят, но деньги при этом не являются средством для дальнейшего приобретения денег. И мы понимаем, что дух азартных игр создает некую

проблему для специалиста по образованию и психологии. Это подразумевает фундаментальное непонимание жизни. У нас нет спекулянтов, акционеров, частных ростовщиков и арендодателей. Все эти «независимые» типы исчезли с лица земли. Сельскохозяйственные угодья и природные ресурсы в настоящее время принадлежат и управляются напрямую или путем делегирования иерархией административных советов, представляющих весь наш вид. Арендаторы-культиваторы и эксплуатирующие корпорации не имеют права на субаренду. Равно как и никто иной не имеет права на частную собственность в отношении природных ресурсов. Никто не может получать прибыль просто за счет увеличения арендной платы. И поскольку существует и, вероятно, будет существовать всегда постоянное повышение нашей средней индивидуальной производственной эффективности, за счет которой прибыль получает все сообщество, то будут постоянно расширяться наши коллективные предприятия, прогрессивно высвобождаться досуг и повышаться уровень индивидуальной жизни, в результате чего ни в коем случае не может произойти уменьшения количества мозгов и рук для выполнения работы в нашем мире.

Живя в условиях постоянно растущей эффективности производства, человеческое общество ОБЯЗАНО из года в год повышать стандарты потребления и расширять деятельность, иначе оно рухнет. Если движение в этом направлении не будет продолжаться, человек неизбежно скатится в рутину, скуку, порок и разложение. Неуклонно ДОЛЖНО увеличиваться количество и разнообразие вещей.

Эти императивные условия, составляющие основу существующего порядка, сегодня кажутся настолько очевидными, что нам с трудом удается поставить себя на место людей XX века, которым они казались странными и новаторскими. Людей пока еще не очеловечили, они продолжали оставаться заложниками менталитета «борьбы за существование». Благодаря значительным умственным усилиям и после тщательного изучения постепенной эволюции цивилизованного менталитета из хаотических импульсов и конкуренции изначально весьма асоциального животного, мы можем начать смотреть на вещи глазами наших предшественников полуторавековой давности.

Глава 5
Как конкуренция и денежная неэффективность подорвали старый порядок

В XX веке христианской эры все еще не существовало единой валюты для измерения мирового экономического обмена. По этой причине транзакции формировались неточно, и, более того, они намеренно фальсифицировались. Казалось, прийти к эффективному упрощению невозможно. В самом деле, во время так называемого Первого периода Всеобщего процветания, с 1850 до 1914 года, существовала своего рода действующая мировая система валюты и кредита, основанная на Лондонском сити и золотом фунте; но это был чисто случайный рост, ставший возможным благодаря последовательным открытиям золотых приисков, которые предотвратили катастрофическое падение цен по мере повышения эффективности производства, а также обстоятельствам, которые дали англичанам лидерство в развитии парового транспорта на суше и на море и реальные стимулы для практической пропаганды мировой свободной торговли.

Этот первый проблеск космополитического солнечного света угасал по мере того, как набирал силу, без какого-либо современного понимания действующих реальных сил, не говоря уже о какой-либо попытке крепко взяться за них и организовать в единую постоянно действующую систему. Финансовое могущество и инициатива Лондонского сити рухнули после войны, и, казалось, ничто не способно занять в одночасье опустевшее место. Квазикосмополитическая система, основанная на накоплении золота, изначально была обречена на увядание по мере истощения мировых запасов этого драгоценного металла. После войны мировую промышленность душили американцы и французы как раз путем ускоренного золотого накопления.

И во время всей этой фазы широких возможностей не предпринимались никакие существенные усилия, чтобы овладеть природными, — будь то земельные, или морские, — планетарными ресурсами и привести их из состояния фрагментарной, хаотичной и расточительной эксплуатации в общую схему. Оставалось шестьдесят с лишним «суверенных» правительств, каждое из которых претендовало на высший контроль над всеми природными богатствами в пределах

своих границ. Существовали частные корпорации и частные лица, свободно распоряжающиеся тем или иным захваченным фрагментом. Повсюду основополагающим принципом эксплуатации полезных ископаемых, солнечных и энергетических ресурсов земного шара являлась прибыль отдельных частных лиц, и лоскутные правительства того времени вмешивались в борьбу за выручку только в интересах своих граждан и в ущерб иностранным конкурентам. В течение целого века, благодаря удачному притоку золота и нарастающему валу изобретений, этой системы получения прибыли, связанной с металлической денежной системой, хватало для поддержания человеческой жизни и было чрезвычайно трудно убедить процветающих фабрикантов, торговцев, шахтеров, земледельцев и финансистов, то есть тех, кто доминировал в государственных делах, что эта система не будет функционировать постоянно и что мир нуждается в существенных изменениях экономических методов. Прежде чем разочароваться, все эти люди претерпят море страха и страданий и придут к фазе нервного срыва.

В XIX веке обрел немалую популярность лозунг: «индивидуальное предпринимательство и сво-

бодная конкуренция», но конечным продуктом любой конкуренции всегда является торжество лишь одного конкурента. В Америке впервые проявились феномены Большого бизнеса, которые ярко продемонстрировали силу трюизма. Во многих местах появились торжествующие организации, которые попросту сокрушали конкурентов, парализуя и ограничивая новые инициативы. Иными словами, подавлялось все, что мешало твоему преобладанию. В Европе правительства слабо сопротивлялись созданию промышленных альянсов с целью ограничения конкуренции, и те быстро развивались в масштабах, выходящих за рамки политических границ. В Соединенных Штатах более настойчиво пытались ослабить развитие предприятий в монопольном направлении. Заметным лидером в области данных превентивных усилий являлся первый президент Рузвельт, чей главный плод — закон Шермана об антимонопольной деятельности (1890) оказался богатой добычей для юристов в последующие десятилетия.

Эти мощнейшие объединения, завершившие фазу свободной конкуренции, оказались настолько эффективны в контроле над торговлей и остановке новых разработок, что Хилари Хукер

в своих «Исследованиях по свертыванию бизнеса в первый период всеобщего процветания» смогла привести более двух тысяч примеров, когда полезные улучшения, такие, как электрические автомобили, реконструктивные домашние хозяйства, искусственный лунный свет для дорог в сельской местности и экономичное железнодорожное производство — успешно устранялись с рынка в интересах устоявшихся систем получения прибыли. После 1900 года во всем мире снова прекратилась ежедневная газетная инициатива и сократилась свобода слова. Распространение новостей, поставка бумаги и сами новостные службы попали в руки могущественных групп, способных и желающих уничтожить новые типы периодических изданий или любые враждебно настроенные школы общественного внушения. Эти группы принялись формировать стереотипы общественного сознания.

Те же самые системы получения прибыли сыграли большую роль в сдерживании конкуренции путем подкупа и лоббирования тех политических решений, которые поддерживали защитные тарифы. Задолго до того, как мир рухнул, опыт обычного потребителя по-прежнему опровергал оптимистическую теорию о том, что свободная

конкуренция — это способ бесконечного прогресса. Потребитель все еще жил в своем доме, носил одежду, пользовался бытовой техникой, путешествовал в транспорте и был досыта накормлен стандартными идеями своего времени и места обитания. По усредненным расчетам Хукер, разработанные в те времена изобретения задерживались в прошлом на четверть, а то и на полвека. Для исправления всего этого имелись доступные и обильные средства, но их использование сдерживалось существовавшими системами взимания арендной платы и получения прибыли.

Модернизация отставала, значительно повышая производство в результате выбраковки тех огромных масс обездоленных безработных, которые начали появляться почти повсеместно, подобно гнойным выделениям больного организма. XX век перешел в третье десятилетие.

Глава 6
Парадокс перепроизводства и его отношение к войне

Этот так называемый «парадокс перепроизводства», широко фигурировавший в расплывчатых

дискуссиях «послевоенного» периода, объяснялся очень просто. Точно так же, как неизбежным завершением процесса свободной конкуренции являлась консолидация успешных конкурентов и аресты предприятий, так неизбежным завершением поиска прибыли в производстве являлось устойчивое сокращение затрат за счет повышения эффективности, что, в свою очередь, неизбежно приводило к неуклонному снижению занятости по отношению к выпуску продукции. Этот вывод лежит на поверхности, поэтому нам кажется почти невероятным, что нашим предкам не удавалось доходить до него собственным умом. Столь же неизбежным являлось то, что эти необходимые сокращения предприятий и занятости приводили к увеличению доли безработных. Географическая экспансия и повышение уровня жизни как среди занятых, так и среди имущих классов, наряду со стимулирующим эффектом постоянного притока золота, в течение полувека маскировали и сдерживали вытеснение все большего количества остальных из общей экономической жизни. Вместе с тем происходили колебания, «циклы торговли», как их тогда называли, когда оборудование угрожало остановиться с тем, чтобы затем возобновить работу. Но к

началу XX века тот факт, что метод управления человеческими делами, как открытое соревнование за прибыль, по своей природе являлся завершающим методом, привлекал к себе внимание даже тех, кто извлекал из существующего положения дел наибольшую выгоду. Тем не менее, перспективой образования экономического тупика пренебрегали вне зависимости от осведомленности в вопросах марксистского анализа.

Теперь мы знаем, что главная задача мирового управления состоит в том, чтобы остановить вытеснение людей из активной экономической жизни путем постоянного расширения новых коллективных предприятий, но в то время такие идеи еще не озвучивались. Простые люди, более мудрые в своих инстинктах, чем политические экономисты в своем закосневшем интеллектуализме, были склонны одобрять расточительство, потому что деньги «циркулировали», а рабочие «находили работу». Читатель не сможет понять мировую терпимость к растущему вооружению и военным приготовлениям в этот период, если только не осознает насущную потребность, присущую системе, в невозвратных государственных расходах. Сэкономленная энергия где-то должна была найти выход. Мир частных финансов

не потерпел бы большого переселения, крупных образовательных и социально конструктивных предприятий со стороны относительно слабых правительств того времени. Все это должно было позволить в максимальной степени накопить прибыль. Постоянно растущая продуктивность нашла свое выражение в древних традициях ведения войны, которая теперь допускала отток значительной части мужского населения. Теперь можно было оставить место работы на год или даже более среди огромного скопления фортов, линкоров, орудий, подводных лодок, взрывчатки, казарм и тому подобного, что до сих пор не оставляет нас равнодушными. Без этого ракового роста армий и флотов парадокс перепроизводства, скрытый в конкурентном частном предпринимательстве, вероятно, проявился бы в подавляющей массе безработицы еще до конца XIX века. Тогда, возможно, произошла бы социальная революция.

Милитаризм, однако, смягчил революционное напряжение, предоставив широкие прибыльные каналы для отходов. Это, в свою очередь, усилило социальные репрессии. Средства уничтожения накапливались в масштабах, которые почти не отставали от увеличения потенциаль-

ного богатства человечества. Следовательно, постепенное порабощение человеческого рода военной тиранией являлось неотъемлемой частью свободной конкуренции за достижение прибыли. Последняя система обусловила и породила предыдущую. Одна нуждалась в другой ради достижения балласта — необходим был выброс к разрушению и смерти всякий раз, когда система начинала тонуть. Милитаристская фаза начала XX века и парадокс перепроизводства являются взаимосвязанными аспектами одной и той же реальности; реальности бесплановой гипертрофии социального тела.

Интересно отметить, как это болезненное накопление энергии в воинственности и ее неспособность найти выход в других направлениях становились все более и более очевидными на физиономии мира по мере продвижения XX века. Человеческие собрания заполнились мундирами. Эти замечательные альбомы с цветными картинками, так называемыми «историческими сценами» в сотне томов, которые в настоящее время размещены во всех наших школах и выставочных залах и бесплатно поставляются в каждый дом, где есть дети, отлично демонстрируют появление, преобладание и исчезновение

военных забот в повседневной жизни наших предков. Все это — репродукции реальных картин, гравюр или фотографий либо, как в случае с более ранними томами, сложная реконструкция более реалистичных методов нашего времени в доступных иллюстрациях. Военные операции привлекали художников во все времена, и существует множество изображений битвы всех эпох, от маленького поединка на поле для крикета в Средние века до сражений на сто миль в последнюю Великую войну. Но наш интерес сосредоточен не на сражениях, а в общих чертах общественной жизни. Даже в раздираемом войнами XVII веке общий поток жизни продолжался без какой-либо явной военной службы. Война представляла собой особое занятие. Во время гражданской войны в Англии (1649–1660), и у нас есть тому свидетельства, люди занимались соколиной охотой в пределах слышимости выстрелов на поле брани. События романов Джейн Остин (Англия, 1775–1817) протекали плавно, без малейшего отголоска сухопутных и морских военных кампаний. Гете в Веймаре (немецкий литературный «Великий человек» в период «Великого человека» в европейской литературе, 1749–1832) нимало не беспокоился о поставках древесины

и продовольствия для немецких войск перед битвой при Йене. Более того, он оказался рад встрече со своим «врагом-иностранцем» Наполеоном среди изысканного общества во время этой кампании.

Мы редко видели монархов XVIII века изображаемыми в военном обличье; мода цеплялась, скорее, на мантии и величие, нежели на шпоры и перья короля-воина Бантама. Беспрецедентная горячность наполеоновской авантюры заполонила европейскую общественную жизнь униформой, заразила женскую моду и даже заставила изнеженных пухлых полководцев с золотыми кружевами и обнаженными саблями неуверенно вышагивать во главе своих подразделений. С приходом на престол «одомашненных монархов», таких, как Луи Филипп во Франции или Виктория в Великобритании, произошло временное возвращение к гражданской одежде. Эти правители ознаменовали краткую реакцию на наполеоновскую моду. Но с середины XIX века престиж солдата возобновил свое продвижение по миру, и военная форма вновь распространилась. Флагов в городах стало заметно больше, а всевозможные «дни флага» усеяли календарь. После 1870 года толпу, в которой не было бы сол-

дата, невозможно было увидеть на картинах.

Великая война значительно усилила военный элемент среди уличного населения не только в Европе, но и в Америке. В то время в различные вспомогательные отряды зачисляли женщин, и они гордо шествовали по миру в будоражащих воображение солдатских нарядах. В Соединенных Штатах, за исключением разве что столицы или когда в стране проходил парад ветеранов гражданской войны, солдат в форме являлся редчайшей птицей. Да и чувствовал он себя среди прочих людей странно и неуютно. Он оскорбил бы восприимчивость сознательно освобожденного народа. Великая война все это изменила. После войны Германию разоружили, но нацистское движение восстановило свободу немца носить то, что он считает нужным. Между Англо-бурской (1899–1901) и Великой войнами модель полувоенных-полугражданских организаций распространилась по всему миру благодаря движению бойскаутов.

О нацистском движении, итальянских фашистах и Польском братстве можно будет рассказать чуть позже. Черные и коричневые рубашки можно привести в качестве примера наглядного размывания границ между военной и граждан-

ской жизнью, которое происходило во время и после Мировой войны.

До сих пор война представляла собой дело относительно незначительное, она, как правило, не выходила за пределы «фронтов», и обычные граждане в тылу жили в состоянии относительной безопасности, но самолеты и бомбардировки с воздуха, а позднее и воздушные торпеды дальнего радиуса действия все это изменили. Широкое использование пропаганды в качестве оружия и растущая опасность социального мятежа в условиях военного напряжения также сыграли свою роль в превращении всей территории воюющей страны в зону военных действий и уничтожении любых остатков гражданской свободы, сначала во время реальной войны, а затем в связи с войной. Перспектива подчинения приказам со стороны всего населения под присягой и соответственно под страхом незамедлительных дисциплинарных мер в случае неисполнения приказов или же исполнения их в недостаточной степени становилась для правительств все более и более заманчивой вехой.

Таким образом, в течение столетия внешний вид человеческой толпы трансформировался из разноцветного собрания несогласованных

свободных индивидуумов в мешанину униформ. В кои-то веки одежда каждого человека указывала на его функцию, обязанности и готовность к действиям. Милитаризация европейского населения достигла максимума во время Польских войн. Примерно с 1942 года противогазы стали обычным атрибутом солдата, как и ножи в ножнах для ликвидации авиаторов, катапультировавшихся из сбитых самолетов. А еще появились металлические каски в виде коленных чашечек и металлические эполеты для защиты головы и тела от дождя из отравленных игл. Некоторые гражданские стали выглядеть более грозно, чем военные.

Военные власти тех дней оказались перед дилеммой: как, с одной стороны, предоставить населению средства защиты и легкое вооружение, которые оказались бы эффективны против вооруженного врага, а с другой, чтобы предоставленное было бесполезным для целей неповиновения и восстания? Несмотря на усиленное подавление агитации в те беспокойные десятилетия, возможное восстание человечества против войны и возможность полной «потери боевого духа», какими бы нелогичными и бессвязными они ни казались, были восприняты профессио-

нальными солдатами как нарастающая угроза.

На улицах большинства городов Старого Света в то время появились характерные желтые (во Франции синие, а в Америке — в красно-белую полоску) столбы воздушной тревоги со стеклянными кожухами, которые можно было разбить только после официального сигнала тревоги. Внутри находились респираторы и наборы первой помощи для возможных жертв газовой атаки. Именно к этому периоду относится массовое распространение ярких указателей на каждом углу той или иной улицы. Устанавливали их таким образом, чтобы те отбрасывали вверх минимум света, обозначая направление движения к газовым камерам и больницам. В сороковых годах мир стал «газовым». Изъятие с улиц других ярко освещенных знаков являлось естественным следствием этой озабоченности.

В первой половине XX века города пестрели рекламой. Более того, это был период максимальной рекламы. Великий белый путь Нью-Йорка, площадь Пикадилли в Лондоне и Большие бульвары Парижа с их многоцветным визуальным шумом все еще поражают нас своей отвлекающей живописностью. После 1928 года городами овладело прожекторное освещение. А потом свет

снова погас, и визуальный шум стих. Когда вернулась воздушная тревога, «затемнение» стало обязательным требованием, за исключением ярких, но скрытых указаний на убежище и первую помощь, о которых мы упоминали ранее.

Страх войны очень быстро распространился после 1930 года. Ночные города вновь окутала тьма. «Ночная жизнь» стала скрытной и неясной, с растущим оттенком преступности. Все гражданские больницы и все частные врачи в мире исчезли к 1945 году, а службы здравоохранения были юридически демилитаризованы только после 2010 года. Объединение военных госпиталей и гражданских больниц началось во Франции в 1933 году. К 1945 году каждый врач в Старом Свете вынужденно находился на квазивоенном положении: носил отличительную форму, подчинялся строжайшей дисциплине, а занимаемые им помещения выкрашивались в черный и желтый цвета. То же самое — с медсестрами. Наконец, дело дошло до того, что обычные граждане, прежде чем попасть на лечение, обязаны были принести присягу. К 1948 году в тех городах, где в достаточной степени пережили общую социальную деморализацию, соблюдая такие правила, стало невозможно простудиться

или сломать лодыжку, не попав сразу в категорию пациентов, не будучи пронумерованным, одетым в черно-желтую униформу и отправленным маршем или увезенным на лечение. Теоретически эту систему лечения следовало бы назвать Универсальной, но на практике с униформой и медперсоналом возникали значительные трудности. Регулирование и милитаризация проходили на фоне огромного противодействия вследствие социальной дезинтеграции. Чем чаще человечество надевало униформу, тем более поношенной та становилась.

До Польских баталий на общую архитектуру военные потребности оказывали незначительное влияние. Милитаризация костюмов предшествовала милитаризации декораций. Даже казармы и подобные им армейские строения возводились военными архитекторами, по образцу обычных моделей жилья, типа *«jerry-built» house* (так называемых *непрочных построек*). До сих пор потрясают воображение фотографии викторианской милитаристской готики и викторианских милитаристских тюдоров при Британском военном министерстве. На этих фотографиях изображены дома, пригодные для проживания разве что только инструкторов по строевой подготовке.

Растревоженная опытом Польского конфликта, военная мысль привела к глубокой реконструкции обычного города. Она стала по-настоящему необходимой. До этого времени даже в укрепленном городе сами укрепления не очень-то меняли городскую обстановку. Раньше крепость сама по себе являлась гражданским городом, окруженным на расстоянии от трех до пятидесяти миль фортами, опорными пунктами, системами траншей и тому подобным. Сначала новую концепцию реализовали в Берлине, затем в Данциге, Варшаве, Париже и Турине, а еще позднее Воздушная война потребовала от всего мира укреплять города не только по периметру. Важнее оказались укрепления не вокруг города, а НАД ним. Мир, который в 1930 году оказался слишком глуп, чтобы понять, что прямой выход из экономических трудностей лежит в модернизации и восстановлении собственных домов, в состоянии военной паники после 1942 года приступил к полному пересмотру своей архитектуры перед лицом опасности, связанной с бомбовыми и газовыми атаками. Архитектура изменялась настолько, насколько позволяло постоянно углубляющееся обнищание. То, что не делали ради процветания, запоздало предприняли от страха.

Первым наиболее очевидным начинанием стало строительство огромных, обычно очень скверно возведенных, бетонных, похожих на пещеры систем, предназначенных для укрытия гражданского населения, остатки которых все еще могут посещать любопытные туристы в Париже и Берлине (все лондонские рухнули после Великого оползня и последовавшего за ним пожара). Высотное строительство прекратилось, и дизайнеры сконцентрировались на проектах панцирных крыш, гигантских опорных столбах и крепком фундаменте. Только все более глубокая нищета, растущая промышленная дезорганизация и быстротечность последней фазы войны спасли город от полного погружения в приземистые массивные покрытия.

То время столь сильно влияло на умы, что архитектурный дизайн слабел вплоть до 2020 года. Едва ли какое-либо скопление городских построек, возведенных между 1945 годом и концом века, высоко поднимает голову и прямо смотрит миру в лицо. Не без основания этот период назван Вторым египетским. Так оно и было. Множились новые возможности для изящества и легкости, поскольку стальные каркасы уходили в прошлое; им на смену доставлялись прочные и гибкие

необетонные материалы. Но как же робко их использовали! Унижению пришел конец, мы перестали бояться друг друга. Парящие дома, которые постоянно улучшаются и в которых мы живем сегодня, заставили бы наших прадедов, объятых экстатическим ужасом, бегом броситься в свои подвалы.

Глава 7
Великая война 1914–1918 годов

У нас накопилось чудовищное количество весьма скучных трудов о Мировой войне. Каталог исторических материалов, хранящихся в Атакаме, содержит список из 2 362 705 книг и полных досье. Из них 182 000 касаются непосредственно причин возникновения этой войны. Ничто так не привлекает студента к осознанию глубокого различия в умственном оснащении между нами и людьми того времени, как посещение длинных тихих галерей великой библиотеки мертвых споров и почти полностью забытых записей. Он вряд ли увидит посетителя среди сияющих чистотой полок. Возможно, это будет вытирающая пыль неприметная уборщица, или молодой студент-ревизионист, терпеливо сверяющий

данные со своим конспектом, или черная кошка. В остальном же, сверху и снизу, справа и слева — чистота, сияние и тишина. Бумаги пребывают в полнейшем покое.

В одном большом разделе этой книги пытливый студент найдет записи, касающиеся «спора о виновности в войне», который будоражил мировую общественность на протяжении десятилетий после Версальского мира. Позвольте ему занять место где угодно, на всякий случай возьмите в руки и перелистайте страницы. В настоящее время можно прочитать почти все, независимо от языка оригинала, поскольку практически вся коллекция текстов теперь чередуется с переводами на базовый английский. Сегодня эти тексты покажутся излияниями сумасшедших; до такой степени доминировали навязчивые идеи того времени.

Планировала ли «Германия» войну? Лежит ли часть вины на «Франции»? За что отвечать «Британии»? Лишь с большим трудом студент сможет погрузить свой разум в сказочный мир вымерших фантазий, где странные олицетворения, чудовищные и невероятные, как древние индийские боги, относились к реальным и морально ответственным личностям; ненавидели их,

доверяли им, боялись и любили. Война представляла собой бесцельную и бесплодную резню на алтарях величественных божеств. Ранено и искалечено двадцать миллионов человеческих существ, сожжены несметные материальные богатства. В своих безумных фантазиях наши предки смотрели на войну как на благородное и значимое средство борьбы. К счастью, сегодня у нас нет никакой необходимости возрождать все это сумасшествие. Вопрос о «вине в войне» так и не был решен. Его просто перестали рассматривать, им пренебрегли, он уплыл в абсурд, и мало что, кроме сотни метров высотой забытых книг и папок в грубых обложках, осталось, дабы засвидетельствовать исчезнувшую важность бренного вопроса.

Причина возникавшей борьбы предельно проста. Она возникала из естественного и неизбежного, из беспорядочного и неуправляемого роста человеческого потенциала в сравнении с расширением политического и социального интеллекта, о чем мы уже говорили.

Новые средства связи и транспорта, новая экономическая жизнь требовали новых продуктов для реорганизации человечества по типу Мирового государства. Для разделенного на шестьдесят

с лишним суверенных государств мира оставались открытыми только два возможных пути: либо организовать объединение этих правительств путем международных договоренностей для удовлетворения новых потребностей, либо позволить неуклонно нарастающему взаимному давлению перерасти в более или менее тонко замаскированные попытки мирового завоевания. В десятилетия, предшествовавшие войне, британская, французская, немецкая, русская, японская и американская системы являлись, как тогда говорили, «империалистическими», — то есть пытались стать Мировыми государствами на планете, на которой, очевидно, было место только для одного Мирового государства. Ничего подобного не отмечалось, пока разрабатывались методы европейской государственной политики. Более широкие возможности открылись позднее. XVIII и XIX века были веками ограниченных войн за ограниченные преимущества. В XX же веке масштаб войны расширился сверх всякой меры, а преимущества стали исчезать. Но политики и дипломаты вели свою освященную временем игру друг против друга с какой-то ужасающей неизбежностью. Они были ведомы; они не могли контролировать ситуацию, или, по крайней мере,

ни у кого из них не было энергии и воображения, чтобы попытаться этим контролем завладеть. Их вела экономическая необходимость, о чем мы уже рассказали в предыдущем разделе. Им пришлось нелепо вооружаться. Они должны были угрожать. И должны были довести свое дело до конца.

Эти силы объясняют «внезапную» вспышку и всеобщность Великой войны, но никак не объясняют ее ни с чем не сравнимые ужасы. Важно понимать, что правительства пытались расширить свое влияние под огромным давлением взаимного сдерживания, но не существовало никаких ограничений на гипертрофию финансовых и промышленных предприятий. Все находилось под влиянием неустанного и безудержного прогресса. Люди постоянно что-то расширяли, изобретали, внедряли, продавали. Оружие становилось все более ужасающим и эффективным вопреки мелким затухающим и устаревающим дискуссиям о предосторожности. К этой оружейной гипертрофии мы еще вернемся, потому что Великая война представляла собой первое проявление особенной диспропорции между экономикой и политикой. После формального завершения военных действий по Версальскому

миру (1919), зло все равно продолжало распространяться невиданными темпами. Но давайте сперва уточним, что именно нужно знать о подробностях Великой войны.

Как мало мы можем понять сегодня! Хотя и существует обширная литература, основанная как на общественном опыте, так и на личных воспоминаниях. Некоторые художественные произведения превосходно написаны. Почти каждое из них можно прочитать с интересом, а также и с назидательными целями, но в них явственно ощущается недостаток научной точности и достоверности. Мы до сих пор содрогаемся от картины начала той войны. Серьезность угрозы не осознавалась даже теми, кто несколько месяцев страдал и умирал. Многие из рассказанных историй начинаются одинаково; с вечеринки, приятной встречи в загородном доме или какой-нибудь подобной яркой обстановки. В том августе (1914) погода была исключительно хорошей.

Подробности сражений ужасают, но и предстают перед нами поразительно непоследовательными, и никому, кроме специалиста, нет надобности в этом как-то разбираться и приводить в порядок разрозненные факты. Старомодная история с ее списками имен, дат, боев и так далее

разрабатывалась скорее для того, чтобы доступно пометить материал для студенческих экзаменов, чем для того, чтобы дать какое-либо представление об историческом процессе. Экзамены давно вышли из образовательной практики; они канули в Лету подобно так называемым «глобусам», деревянным счетам и грифельным доскам, но память о них сохранилась в популярной игре «экзаменационные билеты», когда игроки пишут как можно быстрее и больше о случайно выбранном предмете.

Немногие из нас смогли бы сейчас составить даже краткий обзор Великой войны. Имена таких генералов, как Хейг, Китченер, Френч, Жоффр, Фош и Людендорф, и сражения, подобные битвам при Танненберге, Марне, Сомме, Пасендале, Фолклендских островах, Ютланде и многие другие, сегодня ничего не значат и не должны ничего значить для обычных граждан. Они даже не знают, был ли Фош французом или немцем. Больше склоняются к последнему мнению. Не знают, кто выиграл и кто проиграл, и, по большому счету, им на это наплевать. У наших граждан отсутствует мало-мальский интерес к этому вопросу. Бои были однообразны. Почти все командиры являлись скучными и непривлекательными личностями

и выполняли утомительную, изматывающую работу. Большинство спланированных ими военных операций на практике оказались чрезвычайно глупыми и крайне запутанными как в замысле, так и в исполнении. Можно с таким же успехом слушать, как ребенок, путаясь в словах, бесконечно долго рассказывает о тонкостях карточной игры, в которую играл или воображал, что играет, как и читать мемуары — слишком часто переполненные самооправданием, личными обидами и злобой. Слабые и блеклые, но огромные и очень далекие от нас трагедии. Эта борьба, которая должна была ошеломить потомков, почти полностью стерлась в умах, кроме нескольких специализированных, и едва ли более ярка сейчас в нашем коллективном сознании, чем битвы Пелопоннесской войны или кампании и завоевания Тамерлана. В ней не было ничего такого, что могло бы сравниться с первостепенным историческим значением и стратегическим великолепием гигантских военных концепций Чингисхана, занимающими сегодня свое неотъемлемое место в нашей общеобразовательной программе.

Не остается ничего лучше, чем заглянуть в страстное повествование о Мировом кризи-

се Уинстона Черчилля. Там можно найти весь стереотипный расцвет героизма в истории XIX века с британской точки зрения; «историческая драма» в изобилии, сосредоточенном на одной из самых бдительных личностей этого конфликта. Черчилль проявлял энергичную наивность, которая до сих пор придает его истории искупительное очарование. Он обладал бесчувственностью тринадцатилетнего ребенка. Для него солдаты были не более чем игрушечными солдатиками, и он любил опрокидывать их целыми рядами. Он наслаждался войной. Воспринимал себя и всех ныне забытых генералов и государственных деятелей в этой войне с мальчишеской серьезностью. Он выносил мрачные суждения об их трагических глупостях, щедро раздавал комплименты и обвинения, часто в самой любезной манере, убежденный, что пишет для восхищенного и объятого завистью потомства. Дескать, те будут читать и приходить от каждой фразы в восторг. Черчилль был одним из тех, кто верит, что, рожая детей, создает аудиторию. Его ввел в заблуждение собственный трепет от чтения самим же им написанной истории. Он не только измерил для нас огромную пропасть между менталитетом его времени и на-

шим, но и позволил нам преодолеть эту пропасть с веселым и всепрощающим сочувствием.

Менее привлекательный дух проявился в мемуарах таких деятелей, как Людендорф, Бюлоу, Клемансо, Фишер, Фош и им подобных. Война стала величайшим событием в жизни большинства этих людей, и, по-видимому, впоследствии они никогда не могли думать ни о чем другом. В них не возрождалась невинность Черчилля, его интерес ко всему окружающему, подобный вечно юному любопытству шустрого терьера. Все эти деятели на склоне лет принялись яростно писать, и никакое проклятие не могло бы обрушиться на них с той же страстной силой. Взрослые… и все же недостаточно развитые люди — в сущности, такие же взрослые, как престарелые шимпанзе. Они ни при каких обстоятельствах не могли претендовать на такую же пользу для школьника, какую принес Черчилль. В их морщинистых подлостях и уродливой зависти, в грубом энтузиазме, искренней кровожадности и ненависти присутствовал настоящий ужас. Большинство их взаимных обвинений слишком непонятны, чтобы представлять сейчас хоть малейший интерес. Злоба и болтовня остаются злобой и болтовней, даже если пропитаны кро-

вью. Самый доступный образец для современного читателя — это жизнь и дневники фельдмаршала Генри Уилсона, худощавого неприглядного человека, обладавшего бесконечной энергией и гигантским тщеславием. Именно он привел к катастрофе. Его историю легко найти в последнем издании серии «Исторические документы», богато иллюстрированном и обильно снабженном комментариями. С ним связаны блестяще презрительные замечания современника Уилсона, сэра Эндрю Макфейла и более научный анализ Стивена Фрейдхайма, говорящего об Уилсоне как о высшем типе «солдатского ума».

Для более мрачных реалий войны существует обширная и унылая литература. За последние пятнадцать лет Историческое бюро собрало для потомков изображения войны, сделанные с помощью ручки, карандаша или фотоаппарата. Каждый должен увидеть эти странные и невероятные примеры выносливости, бессердечности, преданности и безумного мужества, чтобы понять, на какие крайности толкают человека суровые силы социального принуждения.

Что касается ранних томов, то они в основном посвящены психологии более чем наполовину цивилизованных граждан Атлантических

и североевропейских государств, внезапно сброшенных в пучину разрушения. На первом этапе мы видим ликующие толпы, запрудившие улицы столичных городов, потоки молодежи, которая возвращается с работы, чтобы «присоединиться»; и все это происходит на фоне лишенной воображения свирепости и героизма. Затем начались первые боевые контакты, деревни охватило пламя, раздалась пальба по зевакам, потому что их принимали за шпионов или партизан, пришло осознание ужаса и накатили мощные волны страха, завоеватели вторглись, а местные жители под их натиском стали уходить, и толпы беженцев, бредущих неизвестно куда, заполонили дороги. Грохот винтовок, пулеметов и орудий и бодрая предприимчивость наступающих армий перешли в фазу поражающего всякое воображение насилия и лишений. Новая война была совершенно не похожа ни на одну из предыдущих. Французы на своем восточном фронте пошли в атаку с огромной силой, в яркой униформе, вдохновленные «Марсельезой». Их перебили. За три недели потери составили треть миллиона человек. Немцы численностью более миллиона человек хлынули через Бельгию. Их остановили, ошеломив, почти что у самого Пари-

жа. На фотографиях изображен очаровательный как детская улыбка пейзаж восточной Бельгии, Франции и Восточной Пруссии в июле 1914 года, и та же сельская местность пару месяцев спустя — разорванная, избитая, изрытая траншеями, осквернённая окровавленными телами, сотрясаемая стонами бесчисленных грязных, голодных, изможденных, измученных невыносимой жестокостью человеческих существ.

По полосам соприкосновения противников распространялись боль и смятение. «Зоны боевых действий» простирались от Северного моря до Альп и по всей Восточной Европе. Огромные территории, где каждый дом обратился в руины, каждое дерево — в расщепленный ствол, где миллионы людей, скорчившись, перемещались по траншеям, как крысы, а разорванные снарядами мертвецы лежали непогребенными. Днем и ночью избыточная энергия спекулятивной экономической системы, лишенная какого бы то ни было выхода из-за предубеждений и жестких исторических традиций, комкалась под градом снарядов и при непрерывном уничтожении человеческих жизней.

Доселе не испытанное новое оружие войну расширяло и усиливало. Аэроплан и прими-

тивный дирижабль могли проникать глубоко во вражеский тыл и атаковать гражданское население в городах. Мы видели, как бомбы разносят в клочья городские постройки того времени, обращая в прах и прикованных к постели стариков, и беспомощных младенцев в колыбелях. Мы видели охваченные паникой толпы, ищущие укрытия в подвалах и тоннелях. На ранних стадиях воздушной войны использовались только взрывчатые вещества, но затем появились усовершенствованные газовые бомбы. Для тех, кто не участвовал в боевых действиях и жил в тылу, помимо взрывов авиационных бомб, пламени и разрушений, добавилось мучительное удушье.

Очень интересной новинкой Великой войны была подводная лодка. Сначала ее использовали против боевых кораблей, а затем обратили против любых морских судов. У нас имеется яркое описание того, как «Лузитанию» атаковали без предупреждения и потопили. Утонули 1198 мужчин, женщин и детей. По меркам того времени это был великолепный и роскошный корабль. Тогдашние писатели нашли в случившемся зловещую символику. Свет, комфорт и уверенность погрузились в ночную пучину отчаяния и безнадежности. Многим тогда казалось, что

все достижения цивилизации образца XIX века отправились на дно вслед за «Лузитанией».

Служба на ранних подводных лодках изматывала людей до предела. Субмарина являлась продуктом войны, и ей были присущи все недостатки изобретений, едва-едва претворенных «из чертежа в сталь». Внутри не было ничего от безопасности и комфорта больших подводных барж, которые сегодня используются для обслуживания шахт на дне Средиземного моря и Атлантического океана. С прекрасно отрегулированными системами давления и неограниченной глубиной погружения эти современные машины, скорее, способны ввести в заблуждение, нежели просветить нас относительно возможностей примитивных подводных лодок Великой войны. Подумать только, они не могли погружаться глубже ста метров; ниже под давлением водной массы пластины прогибались и стыки между ними начинали протекать. Соленая морская вода могла повлиять на аккумуляторы, откуда выделился бы газообразный хлор и неизбежно отравил членов экипажа. Ниже ста пятидесяти метров эти хрупкие машины разрушались полностью. Воздух при погружении быстро загрязнялся, несмотря на наличие

сжатого кислорода. Постоянная конденсация выдыхаемой влаги приводила к большому дискомфорту. Под водой можно было двигаться не более двух суток за счет энергии электрических батарей, но затем нужно было обязательно всплывать на поверхность и несколько часов заряжать эти батареи за счет работы двигателей внутреннего сгорания. Вооружившись стрелковым оружием, минами, бомбами и торпедами, подводники намеревались преследовать и уничтожать надводные корабли противника.

Это была трудная и невероятно опасная задача. В морской глубине подводники были невидимы, но и слепы. Под самой поверхностью они имели очень ограниченный обзор за счет перископа. На поверхности же у них имелась возможность видеть все вокруг, но теперь они сами легко обнаруживались с надводных кораблей. По этой причине экипажи сомнительно грозных и нелепо хрупких устройств в условиях крайнего дискомфорта и нехватки воздуха в погруженном состоянии подкрадывались к своим жертвам фактически на ощупь, а чтобы убедиться в поражении цели, приходилось всплывать и подвергать субмарину огромному риску попасть под убийственный ответный

огонь. Стальная шкура у этих уязвимых монстров была очень тонкой; подлодку обычно уничтожали одним-единственным точным попаданием из орудия. Часто при погружении она невольно выдавала свое местонахождение пузырьками газа и утечками нефти.

Несмотря на многочисленные сложности, подводные лодки доказали, что являются очень эффективным оружием, особенно в руках центральноевропейских держав. Подводники утопили великое множество кораблей и убили десятки тысяч человек. Постепенно методы противодействия этому зловещему оружию улучшились. За субмаринами стали охотиться целые флотилии, а также боевые корабли класса «Q», замаскированные под гражданские суда. Подлодку выманивали на поверхность, а затем опускали фальшборт и открывали огонь, поэтому вскоре субмарины перестали бросать вызов даже тем судам, которые выглядели совершенно безобидными. На возможных путях следования подводных лодок выставлялись мины, а поперек гаваней и каналов устанавливались противоторпедные сети. За подводными хищниками следили с самолетов и дирижаблей; при обнаружении передавали сигнал эсминцам, которые

быстро устремлялись к добыче. Для более эффективного обнаружения стали использовать хитроумные средства прослушивания. По субмаринам стреляли с поверхности, таранили их, преследовали «глубинными бомбами», которые деформировали обшивку и приводили к затоплению лодки, даже если взрыв происходил на расстоянии в десятки метров.

Такими, вкратце, являлись условия ведения подводной войны в 1917–18 годах. До окончания боевых действий находились те, кто уничтожал и топил, и соответственно за ними самими охотились, уничтожали и топили. Строительство и выпуск подводных лодок никогда не прекращались. Люди погружались в холодное заточение, в вечную тревогу о мине или таране, в дрожащую угрозу далекой глубинной бомбы, в разумную вероятность мучительной смерти, от которой не спасет никакая человеческая помощь. Немногие субмарины возвращались в свои гавани с десяток раз; куда больше уходили в свое первое плавание и исчезали навсегда. Одни только немцы потеряли двести подлодок; каждая потеря — это боль, трагедия, страдание и отчаяние. Ближе к концу противники заявили, что экипажи теряют боевой дух. Все чаще происходили

случаи, когда экипаж неповрежденной субмарины сдавался в плен, считая себя загнанным в угол. Молодые командиры демонстрировали растущую тенденцию возвращаться в порт для незначительного ремонта или даже вообще под самым смехотворным предлогом. Но в целом невообразимая героическая покорность нашего вида оставалась прежней; люди продолжали служить. Немцы предоставили особенно обильную часть плоти на этот особенный алтарь. Послушные и дисциплинированные, они отдали честь и понесли свою ношу вниз по лестнице в этот мягко покачивающийся неуклюжий механизм убийства, которому было суждено стать их общим гробом.

Послушание приводит нас к одному из самых фундаментальных уроков, какие преподала человечеству Великая война: осознание даже самых очевидных новых условий пробивается чрезвычайно медленно сквозь пелену привычного принятия. Миллионы человеческих существ с открытыми глазами пошли на рабство, издевательства, лишения, страдания и резню, безропотно и даже с какой-то фаталистической гордостью. Повинуясь диктату самых слепых предрассудков и самых бессмысленных привязанностей, они

делали все возможное, чтобы убивать людей, по отношению к которым у них не было никаких обид. Этих людей самих, в свою очередь, доблестно убивали, сражаясь до последнего. Тома «картин войны» пугают наше воображение колоссальными масштабами массовых убийств. После того, как французы понесли в начале войны огромные потери, а русские — в битвах при Танненберге и на Мазурских озерах, вскоре наступила тупиковая ситуация, прозванная периодом окопной войны. Потери на Западном фронте сократились. Боевые действия свелись к артиллерийским дуэлям, перестрелкам из пулеметов и винтовок и мелким рейдам, которые сопровождались ожесточенными рукопашными схватками. На Востоке у русских заканчивались боеприпасы. Тем не менее, русские удерживали свои окопы только благодаря великому человеческому мученичеству. К концу 1914 года Россия потеряла более миллиона своих солдат, но оставшиеся в живых все же продолжали подчиняться приказам. В отдаленных от Европы регионах проходили мелкие военные кампании. Среди «картин войны» имеется ужасающий рассказ о страданиях нескольких тысяч простых британских солдат, попавших в плен к туркам в Куте

на территории Месопотамии (при этом генералы и другие офицеры, повинные в сдаче, чувствовали себя в плену более чем комфортно; им даже было позволено развлекаться). В последующих отчетах почему-то отсутствует то негодование, которое выражали британские солдаты.

В 1916 и 1917 годах во Франции англичане и французы периодически возобновляли широкомасштабные военные действия. Недавно обученные британские подразделения наступали сомкнутым строем. Генералы, которые выстраивали подчиненных в такие порядки, не могли не знать, какая участь солдат ожидает. Если, конечно, не считать их полнейшими имбецилами. Если же они не были слабоумными, то, значит, преступно не желали учиться и оставались слепы душой к страданиям и утратам. Менталитет этих людей все еще остается предметом обсуждения. Бедные мальчики, которыми они командовали, шли вперед плечом к плечу, волна за волной, а шрапнель и пулеметные очереди рвали их на части. В батальонах, где численность обычно составляла шестьсот-семьсот бойцов, сквозь заградительный огонь прорывалась едва ли сотня. После яростной рукопашной схватки с применением штыков солдаты попадали в немецкие

окопы, где и сдавались в плен. Небольшие изолированные группы в воронках от снарядов удерживали захваченные позиции в течение нескольких дней. Так погиб цвет целого молодого поколения, собранный из сотен тысяч фамилий, более или менее любимых и образованных. Этот цвет — цветок — нежный василек завербовали, обучили и бросили на поля сражений только лишь затем, чтобы он в итоге превратился в гниющую мясную груду, пожираемую крысами. На протяжении многих месяцев, как показывают фотографии, солдаты стройными рядами продолжали продвигаться вперед; они поднимались и падали, и снова поднимались, чтобы броситься в атаку. При ближайшем рассмотрении все это выглядело не более чем испорченностью. Костлявые руки, безглазые глазницы, разлагающиеся лица.

Британский главнокомандующий в своих депешах не преминул превознести мужество своих потерянных батальонов и выставить эту чудовищную трагедию величайшей победой. В ходе июльского наступления было завоевано несколько миль бесполезной земли и взято в плен с десяток немецких солдат. В плен к немцам попало вдвое больше британцев, но в депешах об этом

упоминать не стали.

Ужасающая природа этой невиданной катастрофы наружу просачивалась очень медленно. Британская цензура действовала весьма эффективно, и генералы, больше ни на что не способные, лгали великолепно. Ла-Манш позволял легко скрывать неудобные события от британской общественности. На британские войска это производило особенное впечатление. У солдат появлялось ощущение, будто они находятся в другом мире, весьма отличном от «дома», в мире войны, где жестокость и множество других ужасных вещей становятся нормой. В самом деле, эта чудовищная бойня была задумана и проведена не просто без бунтарских настроений, но даже без едва слышного ропота со стороны родителей, родственников, друзей и выживших товарищей. Сонмы жертв, павших понапрасну, так и не вызвали у народа желание роптать.

Командующие русскими армиями в Австрии, Армении и других странах объявляли о столь же дорогостоящих и героических победах, а немцы и австрийцы допускали в своих заявлениях самые немыслимые противоречия. Там тоже проигрывали достаточно чудовищно, хотя и в меньших пропорциях, чем их противники.

В следующем году (1917) послушные, как всегда, англичане с немного улучшенной тактикой снова приступили к крупным наступательным операциям.

Но теперь во французских войсках проявилось движение пробуждающегося разума. Французские солдаты находились среди знакомых вещей, ближе к своим домам и в меньшей степени отрезаны были от подрывного влияния, чем англичане. Генерал Робер Нивель, в то время главнокомандующий французской армией, провел то, что Черчилль назвал «экспериментом», в результате которого погибло в общей сложности около двух тысяч человек. Речь шла о продвижении плотных масс пехоты по открытой местности под интенсивным огнем. Через час, как рассказал лейтенант Ибарнегарай (во время дебатов во Французской палате, июнь 1917), все они превратились в «сумасшедшую толпу», где утратился всякий порядок и стерлись отличия по званиям. Раненых было чуть менее 15 000, то есть в семь раз больше, чем убитых. Большинству пострадавших в течение трех дней не уделялось должного внимания. Это приводило к гангрене, ампутациям и тысячам смертей, которых можно было избежать. А потом пришло

понимание, что и человеческому терпению рано или поздно наступает предел. Французская дивизия, которой приказали продолжать эту бессмысленную жертвенность, отказалась идти в бой. Черчилль сказал, что это «глубоко обеспокоило», доставило боль и привело в уныние каждого разумного сторонника войны. Это конкретное подразделение уговорили передумать. По словам Черчилля, в дальнейшем оно наравне с остальными участвовало в боевых действиях, но сам дух его сопротивления начал распространяться вокруг.

Следующим признаком пробуждающейся вменяемости стал крах гротескного русского самодержавия. Мы уже говорили об умственном и моральном упадке царизма в нашем общем исследовании вырождения монархии. Глубоко прогнившее правительство рухнуло в одночасье. Обширнейшую страну охватил хаос. В течение нескольких месяцев призрачные имитации западных революционеров, вдохновленные воспоминаниями о Французской революции и легендами о британской парламентской мудрости, оккупировали столицу. И все это происходило на фоне скопившегося за долгие месяцы категорического нежелания русского народа вести

братоубийственную войну дальше. Тем не менее, первое республиканское правительство во главе с Александром Керенским, красноречивым политиком, имевшим юридическое образование, оказалось неспособным ни вести войну, ни положить ей конец. Стал распространяться приглушенный призыв к «миру путем переговоров» во всех воюющих странах. Это был крик, который не смогли заглушить ни самые строгие репрессии, ни самое тщательное сокрытие в прессе. Была предпринята попытка созвать что-то вроде мирной конференции радикалов в Стокгольме, а затем в России произошла вторая революция, которая привела к власти коммунистическую организацию; и потому, что не существовало никакой другой альтернативы, а еще потому, что она ясно и уверенно обещала мир — мир на *любых* условиях. Русские армии растаяли по одному лишь ее сигналу; люди устремились домой. Германские военачальники на Востоке обнаружили, что окопы перед ними никто не защищает, и со всей учтивостью приветствовали русских офицеров старого режима, спасаясь от запоздалого негодования собственных солдат.

В 1917 году человечество, казалось, начало пробуждаться и осознавать весь тот кошмар,

что принесла ему масштабная бойня. Мятежи вспыхнули в шестнадцати французских армейских корпусах, было задействовано 115 полков. Избранные солдатские советы направили делегатов в Париж требовать разумного плана завершения боевых действий. По словам Пьера Лаваля, последнюю надежду отчаявшиеся солдаты возлагали на Стокгольм. Разочарование сделало жизнь невыносимой. Буря утихла, когда в войну вступили Соединенные Штаты. Державы, контролировавшие западный мир, получили возможность продвигать свои ужасные навязчивые идеи еще целый год.

«Картины войны» для потомков пером, карандашом и с помощью фотоаппарата посвящают целый том (XXI) трагедии русского пехотного корпуса во Франции. Пятнадцать тысяч русских были направлены туда в 1916 году. Их снарядили, вооружили и поставили на одну линию с французскими армиями. Многие из этих бедолаг едва ли улавливали разницу между французом и немцем, и предполагаемые цели войны находились далеко за пределами их понимания. Но они услышали о революции в своей стране и решили обдумать свое отношение к происходящим событиям. Они выбрали солдатских представителей

и поставили на голосование вопрос о своем дальнейшем участии в войне. Это случилось прямо накануне «эксперимента Нивеля». Они выбрали то, что показалось им великодушием, и пошли в бой. Французское командование попросту использовало их в качестве пушечного мяса; около шести тысяч человек были убиты или ранены. Остальные взбунтовались. Французы окружили этих беззащитных людей и открыли по ним огонь. Фотографии с ужасающими подробностями этой бойни — в то время фотографии были припрятаны и обнародованы гораздо позже — приведены в уже цитированном резюме.

В течение года французы теряли уверенность в боевом духе своих людей и больше не отваживались проводить крупные наступательные операции, но их союзники бросили еще 400 000 человек в битву при Пашендейле против 300 000 немцев. Весной немцы предприняли широкое наступление на Западе, которое на начальных этапах развивалось успешно, а затем захлебнулось. Противники немцев, усиленные новыми армиями из Америки, через новую кровь добились ужасной окончательной победы. За последние девять месяцев конфликта было убито больше людей, чем за весь предыдущий год.

С 21 марта 1918 года по 11 ноября того же года британцы потеряли 830 000 человек, французы и бельгийцы — 964 000, а немцы — 1 470 000. В Европу прибыло два миллиона американцев, но из них в боевых действиях фактически приняла участие лишь половина. Американские потери составили не менее 350 000 человек. Португальский и другие контингенты также внесли свой вклад в список погибших, но точную численность этих незначительных сил мы сегодня назвать не в состоянии.

Это грубый анализ военных действий того времени. Но «картинам войны» посвящены три тома, пожалуй, самые ужасающие среди всех остальных. В этих трех томах изложены различные детали боевых действий, во время которых пострадало и погибло множество людей. Эти три тома, как микроскопические срезы в книге анатомических образцов, показывают нам, как из выбранного тканевого кусочка формируется текстура целого. Выбранные другими людьми, маленькие фигурки увеличивались, писали, разговаривали или несли фотоаппарат, чтобы представлять безымянные миллионы, не оставившие никаких записей. Мы располагаем историями о людях, на несколько дней

оставленных между своими и неприятельскими траншеями, мучимых жаждой и задыхающихся от зловония, что источала их собственная разлагающаяся плоть. И все-таки эти люди выживали, чтобы поведать нам свои истории. Мы располагаем историями о тех, кто падал на груду гниющих мертвецов и неподвижно лежал там, задыхаясь. И о тех, кого травили газом. Сами газовые смеси становились весьма разнообразными. Даже если человеку каким-то чудом посчастливилось выжить после газовой атаки, он навсегда оставался инвалидом. Мы располагаем описаниями грубой хирургии того времени и психических расстройств, посредством которых ум убегал от реальности. Также имеются ужасающие фотографии изувеченных людей, безликих, искалеченных, гротескно искаженных, и автобиография ослепшего («В ожидании моего приветствия» Фрица Шиффа, 1923). Десятки тысяч этих несчастных фрагментов человечества следовало надежно спрятать в специально отведенных учреждениях и держать там до самой смерти; таких ужасающих, жалких и безнадежных. Мир забыл о них прежде, чем те умерли.

Между тем искажение душ оказалось еще более ужасным, нежели искажение тел. Одним

из самых зловещих элементов в этом кошмарном скоплении реальностей явилась лекция об использовании штыка, которую случайно напечатали, а затем перепечатали антивоенные пропагандисты, поэтому она сохранилась для нас, прочитанная сержантом-майором Франклином английским курсантам в Лондоне. Для нас она совершенно непостижима — настоящий уникум свирепости. Мы с трудом можем поверить, что этот человек, произнося эти слова, не был пьян и не был сумасшедшим. Свои высказывания он сопровождал шутками-прибаутками, а командиры сердечно благодарили его за выступление. Им тогда казалось, что он просто выражает дух военной службы, как это тогда понималось.

«Увидели раненого немца, — говорил он, — заколите его, и дело с концом».

Он категорически возражал против взятия противника в плен. Считал, что неприятельских солдат необходимо немедленно умерщвлять сразу после того, как те сдались. Он с симпатией и одобрением рассказал, как капрал под его началом зарезал нескольких немецких мальчишек.

«Могу я ими заняться?» — спросил капрал, указывая на обезоруженных врагов.

«Валяй», — ответил сержант-майор.

Когда дело «было сделано», искренне настроенный капрал, будучи недавно выпущенным заключенным из Дартмурской тюрьмы, вернулся к сержанту-майору очень довольный и польщенный похвалой, и, все еще находясь под впечатлением содеянного, обсудил с ним технические сложности быстрого извлечения штыка из плоти. Увы, не получалось молниеносно переходить от одной жертвы к другой!

Вот вам то духовное состояние, в которое война приводит человека. Таких, как сержант-майор Франклин, имелось множество во всех действующих армиях. Да, мы можем легко процитировать опубликованные английские документы, тогда как в других странах свободы было куда меньше. В целом англичане являлись такими же кроткими солдатами, как и все остальные. Страх и жажда крови, это очевидно, быстро и полностью уничтожают все медленно приобретаемые ограничения и терпимость социального порядка у любой породы человека. История не должна писаться в розовых тонах. Пленные были не просто заброшены, и с ними не просто плохо обращались. Многих замучили до смерти для устрашения остальных; других же по причине совершенно бессмысленной жестокости.

Также существует серия фотографий отвратительно изуродованных тел; изуродованных и непристойно выставленных на всеобщее обозрение. Причем одних фотографировали *после* смерти, а других *незадолго до* нее. Все эти миллионы вышли из цивилизации и окунулись в смрад войны. И они спустились к чему-то более гнусному, чем скотство.

Осень 1918 года принесла уверенность в окончательном поражении Германии. Военная энергия этой страны иссякла. По причине жесткой блокады везде царили нищета и голод. Дисциплина резко ослабла; страна наполнилась дезертирами. Высшее немецкое командование оказалось теперь, как и его противники, не в состоянии бросать людей в атаки. И оно даже не могло заставить их сопротивляться чужому наступлению. Теперь солдаты захотели сдаться, даже с риском попасть в лапы к капралам-экспериментаторам из Дартмура.

Однако повсюду, где еще сохранялись верность и послушание, люди по-прежнему безжалостно приносились в жертву Высшему командованию. «Картины войны» (том XXVII, 23842 и далее) показывают в окопах немецких пулеметчиков, которые пытаются защититься от наступающих

британских и американских войск. Эти люди позволили накачать себя наркотиками и приковать к оружию. Они продолжали стрелять и убивать, пока к ним не подошли вплотную. Вряд ли они могли ожидать от противника какого-то милосердия. Их закололи штыками или вышибли мозги. Пулеметчики сполна заплатили за изобретения своих хозяев. А еще они платили за всеобщую ненависть к Германии, широко применявшей газовые атаки. Остатки бессмысленной преданности ничего не могли противопоставить нарастающему давлению, которое, наконец, истощило Германию. В ноябре кайзер, повелитель войны, бежал. Страна согласилась на унизительное перемирие, и немецкие армии в беспорядке хлынули домой, неся на подошвах сапог революцию.

На этой «революционной» ноте наш рассказ пора заканчивать. В заключение стоит лишь отметить поражение и деморализацию итальянских армий в битве при Капоретто, когда 800 000 человек были убиты, ранены, взяты в плен или (наиболее разумные) «разошлись по домам». Нет надобности описывать морские сражения, последним и главным из которым стал Ютландский бой. Последним он стал, пото-

му что германские адмиралы оказались перед угрозой мятежа, в случае если попытаются снова вступить в морскую схватку. Принесла ли битва победу британцам, так и осталось спорным вопросом. Полемика на эту тему улеглась во время Польских войн.

В томах «картин войны» содержится множество фотографий и рассказов о морских баталиях. Например, серия снимков британского крейсера «Дифенс» в Ютландском сражении. Боевой корабль на полном ходу пытался добить разбитый и тонущий германский линкор «Висбаден». Натиск этого свирепого механизма потрясал. Он выглядел непобедимым и всепоглощающим. В нем сияло неоспоримое великолепие. Несколько внезапных ослепительных вспышек показали, что на помощь умирающему линкору пришел другой линкор. Все решилось в одно мгновение. Британский крейсер взорвался и исчез. На его месте остались только столб дыма, падающие обломки и водяные брызги. Погибло 800 человек.

Этим фотографиям нет конца.

Но давайте вернемся к нашей фразе о «революционной» ноте. Это ключ ко всей ситуации того времени. Отвращение к войне в мире было огромным, если не на первых этапах, то,

безусловно, еще до того, как наступил второй год. Это вызывало омерзение. В событиях еще не проступила сокрушительная решимость, способная захватить воображение. Даже великое Ютландское морское сражение, с точки зрения зрелищности, закончилось полным провалом. Сравнительно небольшое количество решительных воинственных личностей сохраняли способность заставлять остальных людей испытывать ужасные страдания. Война соответствовала господствовавшим идеям того времени. Но, с другой стороны, сотни миллионов людей, чье изумление и смятение с каждым днем усиливались по мере того, как ужас разворачивался за пределами ужаса, не имели представления о каком-нибудь альтернативном способе жить, который позволял бы укрыться от безжалостных последствий извращенных дум.

Крик «Конец войне!» не привел ни к чему полезному, потому что не давал никаких указаний на то, чем следует заменить воюющие правительства и кто должен осуществлять разумный контроль над человеческими делами. Мир, которого жаждали массы, пока еще представлял собой лишь невыразительный негатив. Но мир должен стать позитивной вещью, задуманной и устой-

чивой, ибо мир менее естественен, чем война. Мы, те, кто добился *Pax Mundi,* знаем, насколько сильными и решительными, насколько хорошо экипированными и бдительными должны быть хранители мира.

Глава 8
Импульс к отмене войны, Корабль мира Генри Форда

По ужасающим записям тех военных лет очень красноречиво проплывает одна причудливая экспедиция, гротескная и даже, можно сказать, какая-то инфантильная. И все же это следует считать предзнаменованием великих событий. Речь пойдет о рейсе пассажирского парохода из Нью-Йорка в Норвегию. Темные шторы забвения опускались над грохочущими линкорами сумеречной Ютландской битвы. Забытые имена тонули в смутном общем впечатлении от гигантских огненных масс, что неслись сквозь дым и туман навстречу своей судьбе. Сегодня только специалист может сказать нам, «Лютцов» или «Фридрих дер Гроссе», «Лайон» или «Айрон Дьюк», «Вэнгард» или «Колосс» погибли вместе с людьми или же с некоторыми повреждениями

вышли из боя. Все это стало чудовищно неуместно. Нет ничего, кроме их размеров, а также того, что в них погибли сотни людей, что делало бы их более значимыми для нас, чем взорвавшаяся коробка с фейерверком. Но за несколько месяцев до Ютландской битвы Атлантику пересекло пассажирское судно американо-скандинавской линии «Оскар-II». Рейс этого корабля и поныне остается чрезвычайно важным и интересным. В самой простой и бесхитростной манере еще только зарождающиеся новые представления о жизни смешались с превалирующими слабостями того времени. «Оскар-II» более известен в истории, как Корабль мира Генри Форда. Это был проблеск трагикомедии посреди всеобщего ужаса.

Генри Форд — прирожденный гений механики, без какого-либо особенного образования или социальной искушенности, большой друг и единомышленник Эдисона, чья карьера прослеживается в главе «Человеческой истории», посвященной разработке и использованию изобретений в конце XIX — начале XX века. Форд родился и вырос в период экономической экспансии и относился к ней как к безусловной необходимости. В неизменности научно-техни-

ческого прогресса он нисколько не сомневался до тех пор, пока ему не перевалило за семьдесят. Ему практически во всем сопутствовала удача. Это придало ему уверенности, что он сможет спроектировать автомобиль, настолько хороший и дешевый, насколько это возможно в его время, и организует массовое производство своей модели с необычайной энергией и мастерством. Разум этого необыкновенного человека не беспокоила мысль, что число потенциальных покупателей может быть весьма ограниченным. Он продавал свой *«flivver»,* или *«tin Lizzie»,* как его ласково называли, в огромных количествах и в результате произвел революцию в автомобильном транспорте и городском планировании Америки. Он изменил саму форму каждого растущего города, позволив маленькому домохозяйству жить дальше от рабочего и делового центра, чем когда-либо прежде. Он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы согнать лошадь с дорог и полей, производя сельскохозяйственные тракторы. Он создал заводы в Дирборне, которые даже сегодня кажутся огромными. Он стал невероятно богатым и выдающимся «персонажем» в мире, и особенно в Америке. И при этом он оставался удивительно простым и прямым человеком в своих взглядах

на жизнь.

Первым впечатлением от Великой войны, как для него, так и для значительной части англоязычных народов, стало недоверчивое изумление. Конечно, он знал, что в мире существуют армии и суверенные нации, но, очевидно, никогда не предполагал, что они станут сражаться. Он чувствовал, что, должно быть, произошла какая-то ошибка. Обмениваясь мнениями с другими американцами, он понял, что те пребывают в таком же недоумении. К началу 1915 года в воюющих странах было собрано достаточное количество доказательств, что люди там поражены не меньше и стремятся положить конец кровопролитию и жестокости. К президенту (президенту Вильсону) были направлены делегаты. В полной гармонии со своей страной он являлся в то время пацифистом в высшей степени. Широко распространилось стремление к тому, чтобы Соединенные Штаты, будь то в одиночку или совместно с другими, все еще нейтральными странами, создали своего рода постоянный арбитражный совет, который призван, так сказать, стоять на краю поля боя и продолжать предлагать воюющим правительствам свои посреднические услуги до тех пор, пока они не будут приняты.

Возникла идея отправить в Европу делегацию. Но как ее участники пересекут Атлантический океан? Форд предложил зафрахтовать судно.

Своеобразное воображение этого человека всерьез ухватилось за собственную задумку. О, это будет не простой корабль! Форд сделает его необыкновенным кораблем — «Кораблем мира». Требовалось тщательно подобрать делегатов и придать делу настолько громкую огласку, чтобы по мере приближения судна сама война оторопела бы и обрела готовность быть арестованной. Одно его появление должно было заставить взбешенную Европу прийти в себя.

«Я хочу вытащить этих парней из окопов, — сказал Форд. — Они не желают сражаться и с радостью пожали бы друг другу руки».

В глубине души у него, похоже, зародилась идея объявить на фронтах всеобщую забастовку.

«Выходим из окопов к Рождеству и больше туда не возвращаемся» — такими были его слова во время короткого ноябрьского выступления в Вашингтоне.

Присоединиться к миссии пригласили самых видных и энергичных людей. Форд добивался ее открытого одобрения со стороны президента, но тот представлял собой слишком опытного

политика и не собирался растрачивать свою популярность на чужие «жесты». Вильсон обдумывал свой собственный жест.

В то время в Америке стали популярными звезды, воплощавшие идеалы величия и добра. По разным причинам некоторых из них до сих пор помнят историки. Например, Джейн Аддамс и Томас Эдисон, Уильям Дженнингс Брайан («Последний креационист») и Лютер Барбанк. Эти имена все еще можно найти даже в Энциклопедии младших классов. Форд пытался включить в свою экспедицию их всех. А еще были приглашены губернаторы всех штатов и группы самых представительных университетских студентов. Историческая коллекция в Атакаме собрала все сохранившиеся оригиналы и копии приглашений Форда, а также ответы, в которых выдающиеся личности колебались или уклонялись от его предложений. Некоторым помешали внезапные приступы плохого самочувствия. Не составило труда прийти множеству газетных репортеров, кинооператоров, стенографисток, машинисток, переводчиков и рекламных агентов. Дама из Венгрии, Розика Швиммер, воссияла и снова исчезла из истории, отметившись в роли главного организатора отбора. Когда проект

Форда обнародовали, свои услуги предложили многочисленные искатели приключений и просто безумцы. Пришлось прикладывать немалые усилия, чтобы таким личностям не позволялось взойти на борт.

В деталях этой экспедиции все еще имеется обильный материал для книги, достойной великого писателя, но наш интерес связан не с Фордом и не с другими задействованными в проекте лицами. Нас привлекла идея, которая вспыхнула и угасла: идея призвать отказаться от войны, опираясь на человеческое здравомыслие. И нам интересны любые превратности этой идеи.

Первое, что следует отметить, это — широкий отклик. Выдающиеся люди, как в Америке, так и в Европе, сочли целесообразным проявлять сочувствие, даже если это казалось бесполезным. Президент Вильсон как будто был «за», но никакого практического участия в этом начинании не принимал. Претенциозные флюгеры потихоньку стали разворачиваться в эту сторону. В те годы проявилось всеобщее стремление создать мировой *«PAX»*, но вскоре положение начало меняться, и флюгеры поменяли свое положение.

Почему они дрогнули? С самого начала по отношению к этому проекту существовал устойчивый

и злобный антагонизм. Постепенно он набирал силу и энергию. Американская, а вслед за ней и европейская пресса принялась преувеличивать и искажать каждую слабость, каждую незначительную оплошность экспедиции либо эти слабости и оплошности попросту выдумывать. Набирала силу кампания насмешек, настолько искусная и настойчивая, что она легко удаляла из созвездия одну краснеющую знаменитость за другой и тем самым топила основное здравомыслие проекта в их вялых извинениях. Газетчики, которых Форд взял с собой, стряпали ложь и абсурдные истории о своем хозяине.

Теперь-то мы понимаем, что журналистов инструктировали на берегу недруги Форда. Исторические документы полностью это подтверждают.

По мере того как наши студенты распутывают нить за нитью эту давнюю скрытую историю, мы все яснее осознаем сбивчивое двоемыслие того времени. Экспортная торговля Соединенных Штатов процветала в условиях войны, как никогда раньше. Боеприпасы всех видов продавались воюющим сторонам по чрезвычайно завышенным ценам. Такие крупные банковские дома, как *«Morgan and Co»,* способствовали финансово-

му подчинению Европы Америке через крупные долги за эти поставки. Американские финансисты и крупные бизнесмены не могли этого предвидеть. У них отсутствовала исключительная дальновидность. Но внезапно они оказались в очень выгодном положении и просто обязаны были им воспользоваться. И Форд в своей бесконечной бесхитростности, «вмешиваясь», как они говорили, «куда его не просят», намеревался разрушить благоприятное положение дел.

В этом начинании присутствовало достаточно правдоподобия, чтобы показаться опасным. Форда невозможно было игнорировать, поскольку он являлся более чем известной личностью. Он ни в коем случае не заслуживал презрения, поэтому его нужно было сделать презренным. Со всей серьезностью, достойной лучшего применения, пресса обрушилась на Форда. Одна из странных традиций американской прессы заключалась в том, что журналист не должен испытывать угрызений совести. Обычный репортер, являясь моральным извращенцем, искренне гордился своей деградацией. Никакие уловки, ложь и подвох не воспринимались слишком подлыми, если они могли дискредитировать Форда.

И цель была достигнута. Недоиспеченного

гения покинули друзья, и он разочаровался в собственном проекте. Он стал подозревать союзников в предательстве и начал доверять врагам.

Мы должны принять сохраненные для нас доказательства, но, даже располагая ими, сложно поверить в некоторые особенности той кампании в американской прессе. В Атакаме хранится сотня папок с газетными вырезками, самые удивительные из которых воспроизведены в избранных «Исторических документах». Гости Форда — репортеры и писатели — отправляли по радио нелепые сообщения о спорах и драках между членами миссии, о том, что секретарша приковала его наручниками к кровати, и прочую подобную дребедень. О Форде говорили, что у него была возможность предотвратить отправку этих сообщений — ведь в настоящее время это был его корабль, но своего рода фанатизм в отношении свободного мнения (хотя на практике оно подразумевало под собой свободное распространение наглой лжи) удерживал его.

«Пусть они делают то, что в их силах, — сказал он, не теряя мужества. — Наша работа покажет сама себя».

Но вскоре он подхватил тяжелый грипп, и под

неумелым медицинским наблюдением прибыл в Европу, опустошенный и усталый физически и морально, готовый поверить, что все мероприятие, по сути, представляло собой несусветную глупость. Его обильно осыпали насмешками. Не в силах сопротивляться, он уступал. И, в конце концов, он уступил окончательно. Он сдался.

«Наверное, мне лучше вернуться домой к маме», — сказал мистер Форд, будучи больным, прикованным к постели в Христиании, хотя вся Норвегия была взволнована; она готова была его приветствовать и поддержать.

Тем не менее, его движение продолжалось согласно приобретенной инерции. Делегацию с большим энтузиазмом приняли в Швеции, Швейцарии, Дании и Голландии, тех небольших суверенных государствах, которые так ловко сумели не вмешиваться в конфликт до самого его конца. Люди в этих странах, очевидно, очень стремились поверить в то, что такое вмешательство и в самом деле способно остановить войну. Если Форд был обескуражен, то некоторые из его коллег оказались более стойкими. Они провели большие публичные встречи в Швеции, Голландии и Швейцарии, и последствия их деятельности, безусловно, оказали обнадеживающее

влияние на движение за мир в Германии и Великобритании. Им удалось поговорить с рядом государственных деятелей, и они вызвали настороженную враждебность у военных властей Германии и Великобритании, поскольку военачальники обеих сторон безошибочно расценили эту миссию, как нападение на боевой дух. В Стокгольме возникла так называемая Нейтральная конференция непрерывного посредничества — весьма ненадежная и вызывающая вопросы структура. В то время утверждалось, что это движение стремилось вовлечь Швецию в войну на стороне немцев.

Постепенно организация Форда утратила известность. На нее падали тени более активных движений в сторону переговоров. В частности, президент Вильсон начал делать широкие неопределенные жесты. Его переизбрали, как «человека, который удержал Соединенные Штаты от вступления в войну». В 1917 году он вывел свой народ из фазы лицемерного пацифизма и интенсивного вооружения в фазу настоящей войны. После этой кульминации мыльный пузырь «Корабля мира» лопнул окончательно. Последние участники проекта получили денежный расчет, а сам Форд уже готов был укрыться

одеялом забвения. Но последствия оказались слишком далеко идущими.

Более пяти недель Генри Форд отказывался возглавлять, даже номинально, те силы, что привез в Европу. В Норвегии он не выходил из отеля, избегал встреч со своими более восторженно настроенными коллегами, принялся сокращать свои финансовые обязательства и, наконец, сбежал домой. Фактически выходило так, что он дезертировал. Отель в Христиании он попытался покинуть тайком, в пять часов утра. Кого-то успели предупредить буквально в последнюю минуту, те повскакивали с постели и попытались удержать Форда, отговорить его от поспешных действий, но тщетно. Еще до окончания проекта Форд полностью свернул финансирование тех людей, кто ради высокой цели оставил карьеру и ушел со своей должности. Теперь эти люди столкнулись с насмешками и ненавистью. Оставалось лишь найти обратный путь в свои прежние ниши или найти новые.

Так что же случилось с великой идеей Генри Форда? Что за странная смена устремлений обуяла мозг и сердце этого Борца за мир? И вот здесь любопытному историку следует порассуждать, ибо эти мозг и сердце вышли далеко за пределы

самого пристального взгляда.

Прежде всего следует отметить, что пока «Корабль мира» пересекал Атлантику, в Вашингтоне происходило кое-что очень важное. Хозяева стремительно развивающейся американской военной промышленности обнаружили, что внутренний рынок для их продукции с превосходной платежеспособностью может быть дополнен огромными потребностями воюющих за океаном стран. Утверждалось, что Америка может держаться в стороне от войны, — и это хорошо — но ей следует быть к ней «готовой». Дескать, Соединенные Штаты должны, не воюя, усиленно вооружаться. Президент это предложение очень тщательно взвесил, как с учетом голосов на предстоящих выборах, так и мнения прессы. Немного поколебавшись, скорее, для укрепления собственного авторитета, он признал, что Америке следует «готовиться». Боеприпасы нужно собрать, войска — обучить. Развернулись флаги, — американский выглядел наиболее впечатляющим — зазвучали барабаны и трубы. Тихое прежде население вдруг взволновалось, и это волнение принялось расти.

А у Форда имелся мощнейший промышленный конгломерат, занимавшийся производством

автомобилей и материалов для сельского хозяйства, но способный быстро переориентироваться на выпуск военной продукции. Это было его творение, его воплощение. Именно это существенно отличало его от любого парня, какого можно встретить на улице. Его семья и друзья, безусловно, с глубоким опасением наблюдали за тем, как он бросает свой бизнес ради мира во всем мире. Возможно, они еще до него самого поняли, что если он выйдет из этого движения «готовности», рядом тотчас же появятся другие крупные заводы, которые поначалу действительно будут производить продукцию для военных нужд, но когда война закончится, смогут превратиться в крупнейших производителей автомобилей и тому подобного. Во Франции этот переход от боеприпасов к автомобилям фактически был предусмотрен и осуществлен организацией «Ситроен». Следовательно, подобного рода перспектива не могла прошмыгнуть мимо Генри Форда.

Тем не менее, он поспешил заявить, что выступает категорически против «готовности», и даже пригрозил водрузить над своими производственными мощностями «международный флаг» вместо звездно-полосатого…

Совершенно очевидно, что в этом одном живом мозгу работали все основные силы того времени. И этот мозг живо и щедро откликнулся на новое стремление к миру во всем мире.

Во время отплытия из Нью-Йорка Луи Лохнер («Американский Дон Кихот, 1924») спросил Форда:

— Хотите что-нибудь сказать напоследок?

— Да. Скажите людям, пусть повсюду кричат о мире и военной готовности!

— А что если экспедиция провалится?

Форда этот вопрос нисколько не смутил:

— Провалится эта, организую другую.

— Говорят, вы неискренни.

— Мы говорим о мире, и я буду продолжать этот разговор до конца!

А потом пришла и другая мысль. К тому времени, когда в 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну, «Корабль мира» уже воспринимался несмешной устаревшей шуткой, и неожиданно выяснилось, что огромные заводы Форда заранее подготовлены к производству боеприпасов.

Форд оказался образцом своего времени. Вот почему мы придаем ему такое важное значение в нашей истории. Обычный человек XX

века не являлся ни пацифистом, ни разжигателем войны. Но при этом и тем, и другим он до некоторой степени, безусловно, был. Форд стал обычным человеком, который благодаря случайности и исключительной энергии добился чего-то большего.

Красная нить истории XX века — это, по сути, драма нерешительности, проявленной Фордом на борту «Корабля мира». Таким образом, это путешествие стало похожим на соло с жестяным свистком в качестве увертюры к сложному оркестру человеческих мотивов в великой борьбе за человеческое единство, которой еще только предстояло развернуться.

Глава 9
Как военная промышленность напрямую поддерживала военное напряжение

Настала пора рассказать, как гипертрофированные «оружейные фирмы» организовывали и поддерживали массовую бойню во время Великой войны. Важно понимать, почему вплоть до середины XX века в мире насильственной

смертью умирало так много людей.

Эти «оружейные фирмы» стали результатом роста черной металлургии в промежутке между 1700 и 1850 годами. Скромная ремесленная деятельность за полтора века перевоплотилась в индустрию гигантских производственных возможностей. Промышленность покрыла мир сетью железных дорог и произвела железные, а затем стальные пароходы, которые вытеснили из морей деревянные парусные суда. И промышленники еще на ранних стадиях (все это подробно изложено в книге Люка Циммермана *«Entwickelung und Geschichte von Kruppismus»*, 1913; «Исторические документы», 394 112) обратили свое внимание на роль оружия в мировой политике.

Орудия постоянно увеличивались в размерах, возрастала их дальнобойность. Линкоры списывались в пользу более крупных и сложных моделей. Промышленники нашли наиболее важное и поистине неисчерпаемое поле для извлечения прибыли. Правительства всего мира были застигнуты врасплох, и через некоторое время промышленники, используя общепринятые методы управления продажами, смогли навязать свои новинки этим древним институ-

там с их традициями непримиримого взаимного антагонизма. Очень скоро стало ясно, что великая система извлечения прибыли станет враждебно относиться к любому ослаблению патриотизма и лояльности, а промышленная отрасль сбыта либо купит напрямую, либо сможет контролировать большинство крупных газет того времени и проявлять бдительность в отношении того, чтобы в учебных заведениях не ослабевала пропаганда воинственности. Следуя установленным правилам и обычаям маркетинговой индустриализации и мало думая о каких-либо последствиях, кроме наращивания прибыли, руководители огромных концернов фактически создали своими собственными руками новую войну. Эта-то выращенная война и проявилась во всей красе в Великой кровавой бойне 1914–1918 годов и, в свою очередь, разродилась последними отчаянными и ужасными потрясениями в Польских войнах 1940 года и расцвела в последующие десятилетия.

Даже в самом начале, то есть в 1914–1918 годах, новые методы ведения боевых действий были чрезвычайно чужды человечеству. Это даже не соответствовало обычным боевым инстинктам человека. Чего желает больше всего

разгневанный человек, так это поколотить обидчика, но никак не быть растерзанным снарядом, выпущенным с расстояния в десять миль, или отравиться газом, сидя в грязной яме. Вместо того, чтобы испить восторг битвы со своими сверстниками, мужчины испытали весь ужас землетрясения, губительного для всех без разбора. Хранящаяся в Атакаме военная литература, о которой мы уже упоминали, наполнена тщетным протестом против грязи, непристойности и механического пренебрежения человеческим достоинством, исходящих от новой тактики. Но сам по себе такой протест являлся неизбежно бесполезным, поскольку не приводил к четкому обвинению тех сил, что создавали, поддерживали и искажали войну. Ребенок безутешно рыдал, но никаких попыток понять, что же его так мучило, не предпринималось.

Сегодня нам кажется безумием, что частным лицам и компаниям разрешалось производить оружие и продавать его всем желающим. Но человеку XIX и XX века это представлялось самым естественным явлением в мире. Оно выросло логичным и необходимым образом, без каких-либо ограничений на обычные маркетинговые методы торговли в мирное время, от более ши-

рокого применения новых промышленных продуктов, ориентированных на войну. Даже после катастрофы Мировой войны, после яркой демонстрации ее тщетности, люди по-прежнему позволяли загонять себя, как овец, в казармы, позволяли обучать себя потреблять и потребляли новые линии убойных товаров, производимых и продаваемых активными торговцами оружием. Опасная масса военных материалов все накапливалась и накапливалась.

Сохранилось коротенькое псевдонаучное эссе бенгальского сатирика (профессор К. Чондра Сен, 1897–1942), переизданное в Индии и претендующее на исследование глупости у обладающих зачатками разума животных. Автор обеспокоился тем, с какой обреченностью основная человеческая масса наблюдала в этот период за подготовкой собственного уничтожения. Он рассматривал судьбу вымерших видов пингвинов — XX век стал эпохой истребления сотен биологических видов — и сделал вывод, что человечеству уготовано нечто подобное. Повествование начинается с того, как именно пингвинов убивали. Вот, мы можем видеть фотографии этих необычных существ на пляжах океанических островов. К ним подбирались охот-

ники, а пингвины… просто наблюдали. И пока на протяженном пологом берегу продолжалась бойня, животные стояли неподвижно или нелепо ковыляли, хлопая короткими крыльями. Они казались заинтересованными в убийстве своих сородичей, но и сами не стремились ни к бегству, ни к сопротивлению (мы не можем отметить, что когда-либо проводились тщательные научные наблюдения за ментальностью пингвинов, возрождение экспериментальной психологии слишком запоздало, и теперь нам остается только гадать, что происходило в странных птичьих мозгах во время охотничьих рейдов. Остались свидетельства того, что эти удивительные существа обладали любопытством, добротой, сочувствием и юмором; и они были в высшей степени обучаемы. Они стояли довольно высоко на шкале птичьего интеллекта. И все же допустили собственное вымирание). Профессор Сен настаивал полусерьезно, полунасмешливо, что дело тут не столько в психологии, сколько в общей ущербности и неправильности. У пингвинов существовала способность создавать разные идеи, но не идею социального сохранения. Автор предположил, что то же самое справедливо и в отношении морских слонов, которых также

очень быстро уничтожили (японский сумасшедший, страстно желавший «бессмертного имени», убил последнего морского слона, что называется, «для галочки»; в 1985 году Защитный патруль был отозван с морских коммуникаций из-за «восстания морских пиратов»). Взвесив хорошенько те или иные случаи, профессор Сен пришел к выводу, что пальму первенства за податливую социальную глупость следует вручить человеку.

В своей прекрасной пародии на методы социальных исследований профессор Сен приводит множество фотографий тех, кого он назвал «человеческими пингвинами» образца начала XX века. Эти жалкие существа собирались в огромные толпы, чтобы поглазеть на спущенные на воду боевые корабли, радовались парадам и с восторгом устремляли свои взоры в небо, где парили военные самолеты. Рядом он привел фотографии пингвинов, которые, либо по чистой случайности, либо методом тщательного подбора соответствующих особей, позами и мимикой практически копировали поведение людей. В книге приведены списки акционеров оружейных фирм, в том числе епископ Херефордский, президент Совета свободной церкви, великое множество священнослужителей, художников,

судей и представителей всяких благородных фамилий. Широко цитируются записи Хансарда о различных дебатах в Палате общин Великобритании (в дебатах о военно-морских оценках в начале 1914 года радикальный социалист Филип Сноуден, впоследствии ставший виконтом Сноуденом, был особенно откровенен), ясно показывающие, что характер опасности был отчетливо виден и публично заявлен. Просто это не ОЩУЩАЛОСЬ обществом. Между фактическим восприятием и восприятием, способным привести к эффективным действиям, существует небольшая разница, которая сосредоточена на этих страницах в наших интересах.

Почему же человечество тупо уставилось на оружие и ничего не сделало? И почему поколение, ставшее свидетелем мучительной и преждевременной гибели двадцати миллионов человеческих существ, по-прежнему ничего не делало, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Притом что подготовка к следующей войне и ужасные потенциальные возможности той новой войны увеличивались и разворачивались прямо на глазах. Великая колыбель Вифлеемской стальной корпорации Америки раскрылась в 1929 году, после выступления против разору-

жения военно-морского флота на Женевской конференции двумя годами ранее. Дело касалось трех судостроительных фирм, на которые подал в суд некий мистер Ширер, утверждавший, что якобы отрабатывает чье-то задание. Но, похоже, и до этого конфликта интересов никому не было дела. Пингвины не стали что-либо предпринимать ни в отношении заинтересованных компаний, ни в отношении мистера Ширера. Никому не интересные человеческие единицы выразили свое негодование; на этом все. Так и на охотников за нефтью время от времени нет-нет да и крикнет какая-нибудь возмущенная птица. Получить подробный отчет и ссылки можно здесь: «Военно-морской флот: оборона и предзнаменование, К.А. Бирд, 1930, перепечатано в «Исторических документах», серия 4 270 112».

А ведь разгадка лежит на поверхности. В мире практически не существовало философского образования. Отсутствовала разумная критика обобщений и общих идей, равно как и наука о социальных процессах. Людей не учили замечать взаимосвязь вещей. По большей части люди даже не знали, что она вообще существует. Они просто воображали, что какая-то сторона жизни может измениться, а какая-то другая останется

неизменной. Промышленники и финансисты создали чудовищное оружие и навязали его правительствам того времени, игнорируя последствия, которые сегодня очевидны даже идиоту. Большинство из этих пропагандистов вооружения были достойны восхищения в своей личной жизни: нежные любовники, отличные мужья, обожающие детей и животных, просто хорошие парни, неизменно вежливые с подчиненными и так далее. Например, сэр Бэзил Захарофф, величайший торговец оружием и боеприпасами, каким его можно увидеть на картине (ее авторство приписывают Уильяму Орпену), недавно обнаруженной в Париже. Захарофф в треуголке, с аккуратными усиками и бородкой, с лентой какого-то рыцарского ордена на шее; выглядит он довольно милым, хотя и слегка нелепым джентльменом невысокого роста. Среди духовенства, владеющего акциями, также встречалось немало очаровательных личностей. Но все они хотели получить свои дивиденды. И для того, чтобы их выплатить, в общественном сознании должны были сохраняться страх перед войной и осознание ее необходимости.

Наиболее удобно это было делать через прессу. В то время крупную газету можно было купить

за сумму от пяти до десяти миллионов долларов. Прибыль от одного-единственного линкора значительно ее превосходила. Разумеется, в соответствии с лучшими деловыми традициями, газеты продавали себя военным покупателям. В самом деле, а что в этом плохого? В то время рассказывать новости было ремеслом, а не общественным долгом. Ежедневная газета, которая добросовестно освещала бы накапливающуюся опасность, столь же естественно и неизбежно обнаружила бы, что ее распространению препятствуют. Она обнаружила бы, что более обеспеченные конкуренты энергично ее превосходят. Скупив, благодаря своему богатству, самые привлекательные функции, те куда успешнее взаимодействуют со среднестатистическим читателем.

Не то чтобы владельцы газет и торговцы оружием хотели чьих-то страданий. Они лишь хотели продать оборудование и посмотреть, как оно будет использовано. У тех, кто выпускал газеты, не было желания калечить людей и разделывать трупы. Журналисты страстно желали высоких продаж своей продукции и рекламы. Между прочим, массовые убийства рассматривались, как побочная проблема законного бизнеса.

Близорукость не являлась дьявольской, даже если приводила к дьявольским результатам.

А что же солдаты? Фредхайм в своем анализе солдатского разума изобразил того самого сэра Генри Уилсона, о котором мы уже упоминали. Выйдя на пенсию, тот, одетый в рубашку с короткими рукавами, скромненько копался у себя в саду. И тот же самый человек был изображен ухмыляющимся, во всей своей красе — при погонах, с блестящими пуговицами и прочими «финтифлюшками», в качестве руководителя военных операций. Удивительный скачок от провинциальной незначительности отставного клерка к поистине божественной важности! В мирное время, судя по его собственным дневникам, Уилсон представлял собой ничтожного самоуверенного зануду. В условиях войны он вышел за пределы любой критики и стал богом. Сразу начинаешь понимать, насколько жизненно важными для человека могут стать работа и продвижение по службе. Насколько мы можем судить, он не желал смертей РАДИ смертей. Напившись крови, он, вероятно, тяжело заболел бы. И все же его жизнь подпитывалась из резервуаров с кровью.

Профессиональные солдаты старались думать

о кровопролитии как можно меньше. Нелепо утверждать, будто они хотели проливать кровь; и уж тем более, что злорадствовали по этому поводу. Возможно, людям жилось бы легче, если бы они чаще об этом думали. За века у них сформировалась сентиментальная преданность своей стране, торжественное ощущение большой личностной ценности и оргиастическое наслаждение битвой. Они не видели и не желали видеть, что лежит за пределами их занятий, а религиозные наставники уверяли своих учеников, что те все делают правильно.

Дряхлые христианские Церкви того времени действительно имели исключительно прямую заинтересованность в войне. Заметная тенденция игнорировать и высмеивать существующие религиозные обряды становилась все более очевидной, но под давлением потерь и ужасных смертей люди снова обратились к алтарю. Это легко прослеживается в художественной литературе того времени. Ранее презираемый священник вдруг снова стал неявно героическим «падре» сентиментальных военных историй.

Основная проблема, с которой столкнулось постепенно растущее меньшинство, осознавшее опасности и возможности нашего вида в третьем

и четвертом десятилетиях XX века, сводилась к следующему: как сосредоточить людские умы на состоянии ошарашенности, как подвести их к грубым реалиям и организовать гигантские усилия, чтобы стряхнуть с себя и лихорадку войны, и обнищание, связанное с мировым социальным распадом.

Не существовало никакого центрального противника, никакого правящего дьявола, с которым могли бы сражаться эти беспокойные духом люди, что сделало бы саму кампанию прямой и понятной. Между тем, пресса с определенным привкусом благочестивых намерений выступала в некотором роде против. Старые социальные и политические традиции, какие бы позы они ни принимали, также выражали несогласие. История же все это преодолевала; войны велись с тех самых пор, как появилась письменность. Не только тогдашний епископ Херефорда и тогдашний президент Совета свободной церкви были уличены в получении дивидендов с продажи оружия. Сами Церкви, и Католическая церковь, да и вообще все христианские Церкви, несмотря на их верность Князю Мира, преспокойно конкурировали или противостояли светскому мировому контролю, а ведь только он мог сде-

лать возможным здоровый мир во всем мире. Признание неспособности взять на себя руководство стало бы необходимой прелюдией к новым моральным усилиям.

Нельзя сказать, что мысль о естественности и неизбежности войны поразила абсолютно все умы, но вокруг немногих дальновидных собралось слишком много тех, у кого отравленное самосознание бурлило в крови и накрепко укоренилось в привычках. Выискивался способ напасть не на саму крепость, а на постоянно восстанавливающиеся джунгли смешанных мотивов, запутанных интересов и перекрестных целей, как внутри себя, так и снаружи.

Глава 10
Версаль: посевная площадка для бедствий

Формально «Мировая война» закончилась 11 ноября 1918 года поражением и подчинением Центральных держав. В Версале, в том же дворце, где торжествующие немцы диктовали условия мира поверженным французам после предыдущей войны 1870–1871 годов, состоялась конференция. У этой перемены ролей двух стран

появился излишне драматический привкус. Теперь условия диктовала Франция и ее союзники. Естественно, в данной ситуации доминировала идея романтической реставрации, а также сурового, но справедливого суда. Предполагалось, что теперь ошибки будут исправлены, проступки бабушек и дедушек приведут к заслуженному наказанию. Даже в то время все это казалось слишком запоздалым. Но, прослеживая работу конференции, мы совершенно отчетливо обнаруживаем развивающийся конфликт между исторической традицией и растущим чувством человеческого единства в мире. Если Мировое государство и не присутствовало в Версале, то, во всяком случае, голос нового образования «слышался снаружи».

К тому времени (1919 год) в мире действительно существовало довольно значительное число разумных людей, осознававших нарастающую необходимость Мирового правительства. И еще больше тех, кто, как и ранее нами описанный Генри Форд, воспринял это инстинктивно. Но еще не было никого, кто сумел бы со всей мощью своей интеллектуальной энергии всерьез взяться за проблему смены существующих правительств общемировой системой. Умы и сердца дрогнули

перед этим начинанием. И все же, как мы теперь ясно осознаем, это было единственное, что люди тогда могли сделать. Это была единственная альтернатива постоянно расширяющейся и углубляющейся череде бедствий. Вместе с тем новизна и необъятность проблемы сдерживали человечество. Останавливала и иррациональная привычка хвататься за древние исторические течения.

Наши предки кажутся нам утопающими, которые в желании спастись лихорадочно цеплялись за соломинки и даже пузырьки воздуха, но упорно отказывались схватиться за лестницу и выбраться из воды раз и навсегда.

Вряд ли кто-либо в своих представлениях о мировой системе осмеливался выйти за рамки чисто политического соглашения о недопущении войны. Потребовалось еще полвека человеческих страданий, прежде чем пришло сколько-нибудь глубокое осознание, что воинственность — это лишь один из симптомов человеческой разобщенности. Причем далеко не самый серьезный и тяжелый.

Американский президент Вудро Вильсон из всех делегатов на Мирной конференции оказался наиболее восприимчивым к намекам

на будущее. Недостатки и ограниченность его вклада в это урегулирование дают нам представление о политическом воображении тех дней. Он привел то, что осталось от индивидуалистического либерализма, который создал Американские республики, к решению мировой проблемы. Никто из прочих участников этой замечательной дискуссии — Клемансо (Франция), Ллойд Джордж (Великобритания), Соннино (Италия), Сайонджи (Япония), Хайманс (Бельгия), Падеревский (Польша), Братиану (Румыния), Бенеш (Богемия), Венезелос (Греция), Фейсал (Хиджаз) и так далее по длинному списку ныне исчезающих из памяти человечества имен — казалось, не осознавал, что, помимо любых соображений о национальном преимуществе, вся планета целиком может заявить о своей заинтересованности в урегулировании. Все вышеназванные являлись законными «представителями» своих стран, национальными защитниками. В течение короткого промежутка времени Вильсон один стоял горой за все человечество. И тогда же по всей земле прокатилась очень необычная и значимая волна отклика. Ситуация оказалась настолько напряженной, что народы принялись приветствовать и прославлять Вильсона за каж-

дую фразу, за каждый жест. За него ухватились, как за *символ*. В глазах людей он преобразился, перестал быть обычным государственным деятелем; он стал Мессией. Миллионы верили в него, как в несущего неисчислимые благословения; тысячи проявляли готовность за него умереть. Это стало одним из самых ярких событий начала XX века. Очевидно, Мировое государство было зачато именно тогда; и теперь оно шевелилось в материнской утробе. И оно было живым.

А потом оно перестало шевелиться. И в таком состоянии пережило несколько тревожных десятилетий.

Среди разных декораций и в различных костюмах история Вильсона повторила историю Форда, человека, которого приподняла идея, оказавшаяся для него слишком великой. На какое-то время человек оказался на заметном месте, но потом человека подбрасывает, как случайный лист; уносит порыв ветра перед штормом. Настоящий, неприукрашенный Вильсон, как вскоре узнал мир, представлял собой тщеславного показушника без какой-либо глубокой мысли и душевной щедрости. Он был далек от того, чтобы отстаивать интересы всего человечества; по-настоящему выступал лишь за демократическую партию Со-

единенных Штатов и за самого себя. Поддержку народа в Америке и престиж в Европе он променял на сомнительные бонусы от собственной партии. В течение короткого сезона он оставался величайшим человеком на свете. Еще какое-то время — просто заметным. Он посетил все до сих пор уцелевшие европейские дворы. Его разгромили и уничтожили в каждой европейской столице. Однако это триумфальное шествие к тщете не должно нас больше занимать. Сейчас нас интересует его идея.

Очевидно, он стремился к созданию некой единой мировой структуры. Тем не менее, весьма сомнительно, что он когда-либо осознавал значение Мирового порядка, ведь таковой подразумевает тотальный мировой контроль над всеми жизненно важными общими интересами человечества. Похоже, он никогда не задумывался всерьез над той работой, за которую так уверенно взялся. Он не хотел, а если и хотел, то не осмеливался просить о таком централизованном контроле над миром, которым мы сегодня обладаем. Вероятно, все это выходило за пределы его понимания. Озвученная им, эта затея от начала и до самого конца являлась лишь политическим проектом.

Задуманная им модель представляла собой наивную адаптацию парламентских правительств Европы и Америки под более широкий союз. После Версальской конференции появилась Лига. Это было типичное правительство XIX века, увеличенное до планетарных размеров и сильно выцветшее в процессе своего развития. Оно состояло из Верхней палаты, Совета, Нижней палаты и Ассамблеи. В знак уважения к национальным чувствам в этом уродливом учреждении так и не появились исполнительные полномочия. Оно не имело никаких определенных доходов; у него не было ни армии, ни полиции. И, по сути, оно вообще не могло что-либо совершить на практике. Даже как политический орган Лига оказалась совершенно неэффективной и бесполезной. В отличие от правительств, она никоим образом не представляла народы. Практически ничего не было сделано, чтобы простые люди почувствовали, что Лига принадлежит именно им. Делегаты назначались внешнеполитическими ведомствами тех же самых правительств, чьей единственной мыслимой задачей являлось ограничение потенциальных возможностей новой международной структуры. Удивительный парадокс! Делегаты являлись национальны-

ми политиками, но от них ожидалось, что они отправятся в Женеву и усердно возьмутся за ликвидацию национальной политики. Разумеется, человечество попросту обманули и предали. Возникшая Лига фактически представляла собой симулятор, высмеивающий и развеивающий первое более или менее серьезное желание объединиться.

Но что еще, кроме этого, в те времена возможно было создать? Если Вильсон, как тогда казалось, воплощал бесформенные устремления человечества, то не может быть никаких сомнений в том, что он произвел впечатление на политиков, с которыми ему приходилось иметь дело, как глубоко неискренний провидец. С ним и поступили соответствующим образом. Единственным способом добиться чего-либо реального, чем эта бесполезная Лига, явилось бы революционное обращение к измученным войной народам с призывом сбросить с себя гнет национальных правительств. Если бы Вильсон сказал это в 1918 году, возможно, за ним и пошли бы. Настало бы время Всемирного государства, и это веяние докатилось бы до самых отдаленных уголков планеты.

Но он не был человеком, способным на это. У него отсутствовала необходимая для дела сила

воображения. Он не обладал смелостью по отношению к правительствам. Ему была присуща обычная манера политика использовать великие предложения в качестве средства для достижения малых целей. Будь он посмелее и чуточку величественнее, мог бы потерпеть неудачу и даже погибнуть. На деле же он все равно потерпел неудачу и погиб. Более смелая заявка на мировое единство могла бы навсегда поставить перед человечеством настоящий результат и сократить Эпоху разочарования на многие десятилетия.

Что он сделал, так это немедленно собрал урожай аплодисментов и представил человеческой надежде застывшую в самоутверждении физиономию, кланяясь из роскошных экипажей и украшенных балконов, а затем с серьезнейшим видом удалился на секретную конференцию с дипломатами и политиками старого порядка и, наконец, почтил своим присутствием Лигу Наций, которая ничего не начинала и ничего не заканчивала и ушла с исторической сцены всего через пару десятилетий.

А все потому, что Лига создавалась не для того, чтобы положить конец суверенитетам, а для того, чтобы их сохранить. Оговаривалось, что чрезвычайно плохо продуманные границы

должны гарантироваться Лигой НАВСЕГДА. Германию и ее союзников наказали так же жестко, как в свое время римляне наказали Карфаген после катастрофы при Заме. Сама система наказаний делала дефолт в Германии вопросом времени. У победителей на руках имелось вечное оправдание унижению побежденных. Это не являлось урегулированием, это было перманентное наказание. Немцы должны были стать перед завоевателями в позу кающихся илотов. Целым поколениям назначено было родиться и умереть в долгах. Для обеспечения безопасности этого соглашения Германию следовало эффективно разоружить и сохранить ее разоруженной.

Единственной идеей французов была *«Delenda est Germanica»* (см. исследование Морриса Хенбейна о Пертинаксе, 1939). Представители других союзников собрались в Париже и среди мстительных воспоминаний Версаля с превеликим удовольствием согласились реализовать карательную концепцию своей задачи. Это была самая простая концепция, которая поместила сотни трудных вопросов на второстепенное место. Людям со скверным воображением всегда казалось, что гораздо проще засунуть вещи обратно в шкаф, нежели нести их куда-то дальше. Если

французы опасались возрождения германских армий, то англичане — возрождения германского флота и немецкой промышленной конкуренции. Италия и Япония искали компенсацию в других сферах. Их вполне устраивало, что составлявшие основу континента немецкоговорящие народы разделены и низведены до вассалитета.

Устаревшая форма идей Вильсона привела к еще более пагубным последствиям, выражавшимся в увеличении количества суверенных правительств в и без того слишком компактной европейской зоне. Введенный в заблуждение неясными намеками на единство, воплощенное в Лиге, Вильсон с готовностью взялся за реконструкцию карты Европы по строго национальным линиям. Восстановилась польская нация. Наша история уже изучала три раздела этой страны в XVIII веке. Этот довольно-таки крупный регион Центральной равнины в независимом состоянии становился все более неудобным для развития торговли и коммерции в Европе. То есть против Польши боролась сама география. Это был свободный союз аристократов-индивидуалистов, доминировавших над крестьянством. Польшу с необыкновенной жестокостью поделили между собой Россия, Пруссия и Австрия. После Наполео-

новских войн романтическая легенда об этом потерянном королевстве завладела чувствами французов, англичан и американцев. Дворян вместе с крепостными распределили по соседним государствам. Поляки преобразились в деликатный, храбрый и в целом замечательный народ; народ с душой, разорванной на части и растоптанной сытыми, хорошо одетыми и обутыми угнетателями. Восстановление Польши — *чрезмерное* восстановление Польши — являлось одним из самых ярких и амбициозных устремлений президента Вильсона.

Польшу восстановили. Казалось, что великодушный народ, вышедший из ста двадцати лет порабощения, оправдывал симпатии и надежды мирового либерализма, но вдруг появилось узкопатриотическое правительство, которое принялось воплощать агрессивную, мстительную и безжалостную диктатуру. Оно изощренно преследовало несчастные этнические меньшинства (около трети всего населения), попавшие в сети слишком широкого пространства. Настоящая Польша прошлого — это склонный к набегам, агрессивный народ, в свое время доходивший до стен московского Кремля. Она нисколько не изменила свою природу. Отошел к Польше

литовский город Вильно, ее юго-восточная граница продвинулась далеко вперед в Галиции. С украинцами, принимавшими участие в освобождении Польши, поляки обращались еще более жестоко, чем ранее с поляками — бывшие угнетатели. В 1932 году треть бюджета этой новой воинствующей державы уходила на вооружение.

Вернули на карту не только Польшу. После тщательного изучения исторических традиций вернули к жизни целый ряд суверенных держав: Чехословакия, Югославия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, ослабленная Венгрия и расширенная Румыния. Все эти новые страны усложняли проблемы человечества своими суверенными свободами, амбициями, военными действиями, союзами и конфронтацией, частичным пониманием и недопониманием, открытыми и секретными договорами, таможенными тарифами, торговыми войнами и тому подобным. Россию исключили из первой попытки создания Всемирного парламента, потому что она отказалась выплачивать огромные долги царского правительства. Это всегда вызывало серьезную озабоченность со стороны западных кредиторов. Ну и, наконец, самый странный факт во всей

этой весьма странной истории — Соединенные Штаты, Всемирный арбитр и Восстановитель наций, не стали вступать в Лигу, потому что упрямая решимость президента Вильсона монополизировать бессмертную славу Спасения мира для себя и своей партии оттолкнула большинство сенаторов.

После нескольких неудачных попыток достигнуть компромисса сенат полностью отверг Соглашение Лиги, умыл руки от сложных мировых дел, и президент вместо того, чтобы навсегда остаться в людской памяти Князем Вечного мира и Чуда веков, быстро съежился до обычных человеческих размеров. Вскоре он умер сломленным и беспредельно разочарованным. Подобно Форду, Соединенные Штаты вернулись к нормальному бизнесу, к отчетам о прибылях и убытках, а европейцы остались с именем Вильсона во всех городах, на улицах, проспектах, железнодорожных вокзалах, парках и площадях, извлекая из всего этого пустого шума выхолощенную Лигу, которую американский президент оставил опустошенной войной и обедневшей Европе.

Россию и Германию не стали включать в Лигу, потому что их народы сочли Плохими. При этом участие китайцев и японцев случилось словно бы

естественным путем, как само собой разумеющееся. По-видимому, предполагалось, что они были «просто товарищами» по универсальному образцу Вестфальского договора. Европейский мир имел скромное представление о ментальных процессах этих древних отдаленных сообществ. Более того, вряд ли европейские государственные деятели понимали, что политические процессы основываются на образе мышления. После нескольких лет многочисленных затруднений Лига, наконец, создала Комитет интеллектуального сотрудничества, но, насколько сегодня можно судить о его деятельности, он касался преимущественно дилетантского интеллектуализма; нет никаких указаний на то, что он когда-либо интересовался Лигой как идеей.

Учитывая последующие события, было бы неплохо, если бы Лига Наций совершила харакири после отказа участия в ней со стороны Сената США. Осознав свою неспособность стабилизировать планету, европейские державы могли бы приступить к организации Лиги примирения и сотрудничества в рамках европейского пространства. Полная неспособность Лиги контролировать или даже в некоторой степени менять внешнюю политику Японии (хотя бы по образцу

европейских договоров XIX века) в итоге оказалась решающим фактором, вследствие чего все скатилось к банальным комментариям по текущим делам.

Любопытно, что по мере того, как авторитет Лиги снижался, смелость и острота докладов, напротив, возрастали. Некоторые из наиболее поздних являются замечательными историческими документами. Постепенно правительства государств-членов свернули субсидирование, и секретариат превратился в ничто. Как и Гаагский трибунал, Лига прекратила свое существование до или во время Голодных Пятидесятых. После первой Польской войны о ней уже не упоминают, хотя ее официальные здания оставались нетронутыми вплоть до 1965 года, а в 1968 году и в течение нескольких последующих лет они использовались в качестве вспомогательных офисов западным отделением Транспортного союза.

Наложение огромных контрибуций на Германию явилось фактически единственной частью Версальского соглашения, которая касалась непосредственно финансовой и экономической сфер деятельности. Сегодня это представляется нам элементарным, но тогда версальские поли-

тики допустили вполне естественное для своего времени упущение. Политическая жизнь все еще глубоко погружалась в старую военизированную традицию, все еще концентрировалась на границах и стратегических преимуществах; и она оказалась чрезвычайно наивной перед лицом экономических реалий. Требующие экономического объединения могучие силы, как мы убедительно показали, являлись настоящими причинами Великой войны, но в Версале их проигнорировали, словно их никогда и не существовало.

Только один выдающийся голос, голос британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса («Экономические последствия мира», 1919) прозвучал как знак протеста против нелепого нарушения кредитных и торговых отношений, связанного с выплатой репараций. Не появлялись договоренности о ликвидации долгов, накопленных союзниками ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА (!), не прослеживалось никакой экономической параллели с политической Лигой Наций. Никакого контроля над экономической войной даже не предполагалось. Американцы, включая Вильсона, все еще находились в стадии финансового индивидуализма; они считали, что зарабаты-

вание денег — это забота определенной головы в рамках закона. Между тем, американская концепция права скорее представляла собой заслуживающие внимания препятствия, нежели эффективные барьеры для просвещенного эгоизма. Распространенной формой взаимного развлечения в те годы являлась партия в покер, поэтому большие люди не нашли ничего слишком враждебного в том, чтобы рассесться в креслах и сыграть партию-другую. Главными противниками оказались вчерашние союзники и, соответственно, победители в Великой войне. Поскольку все три игрока представляли собой метрополии крупнейших империй, играть приходилось на золото и кредиты по всему миру.

В течение третьего десятилетия XX века коллективный разум человечества начал постепенно осознавать, что Версальский договор отнюдь не положил конец войне. Да, он прекратил кровопролитие, но лишь для того, чтобы развернуть более субтильную и в конечном счете более разрушительную фазу в традиционной борьбе между суверенными государствами. Само существование независимых суверенных государств — это война, как ее ни назови, белой или красной, но сложное неправильное образование ослепило

мир, не позволяя в полной мере осознать этот элементарный факт. Народы побежденных наций тяжело страдали от смутного чувства, что Договор глубоко несправедлив по своей сути. Их заставили его подписать и тем самым признать себя правонарушителями, привлеченными к ответственности. Вполне естественно, что их вдохновляла плохо скрываемая решимость пересмотреть, обойти или проигнорировать его положения при первой же возможности. Вместе с тем державы-победительницы сознавали, что не только унизили своих побежденных врагов, но и поставили в крайне невыгодное положение. Мысль о реванше в равной степени присутствовала поэтому и у победителей, и вместо того, чтобы разоружаться, как это вынуждены были сделать немцы, они нарушили обязательства по Договору: сохранили и увеличили свои военные учреждения.

Оружейные фирмы и подвластные им газеты, естественно, делали все возможное, чтобы усилить этот напор в вооруженной «безопасности». Любое желание французской общественности, скажем, хоть как-то ограничить стремительно возрождающуюся гонку вооружений незамедлительно пресекалось рассказами о секретных арсе-

налах и таких же секретных учениях в Германии. Патриотические силы во Франции не только поддерживали ее чрезмерно вооруженной против поверженного врага, но и вели тонкую безжалостную финансовую войну, которая, наряду с американскими дипломатическими играми, подавляла любые германские попытки восстановиться социально и экономически.

Более того, державы-победительницы, посчитав, что с их бывшими противниками окончательно покончено, откровенно и в полном соответствии с традициями суверенной государственной системы, занялись первостепенной задачей обойти бывших союзников при разделе трофеев. Их так называемые союзы не вызывали чувства общности. Не прошло и года после подписания Версальского мирного договора, когда в Малой Азии развернулись ожесточенные бои между греками и турками. Греков поддержали англичане, французы и итальянцы — турок. Война завершилась катастрофическим разгромом греков и сожжением города Смирна. Последнее обернулось страшной резней: над женщинами надругались, мужчин и мальчиков грабили, кастрировали или вовсе убивали. Все, кроме турецкого квартала, было разграблено и сожжено.

Набережные пылающего города заполнились толпами, охваченными ужасом. Люди в отчаянии пытались ускользнуть на каком-нибудь корабле, прежде чем на них нападут, ограбят, убьют или просто столкнут в воду.

Незадолго до этого турки изгнали французов из древней провинции Киликия и продолжили уничтожать армян, народ столь же древний, как и хетты. Великая война закончилась, но армянам от этого было мало проку, поскольку на них по-прежнему шли с огнем и мечом. Турки убили более двух миллионов.

После Великого мира боевые действия продолжались. На севере и юге России, в Восточной Сибири. Китай стал добычей для полчищ мародеров. Польша захватила Вильно, вторглась в восточную Галицию и сражалась с Россией на Украине, а патриотически настроенные итальянцы изгнали смешанный союзнический гарнизон из Фиуме.

На юго-востоке России разразился настолько страшный голод, что его последствия не смогли смягчить ни Америка, ни Европа. Всегда в довоенные годы голод в любой части света поднимал благотворительный дух в англосаксонском сообществе. Но теперь филантропии заметно по-

убавилось. В Америке старые обычаи постепенно отмирали. В Британии же их вовсе не осталось.

Вот к чему привела Версальская конференция!

Теперь настала пора прояснить несколько деталей Договора. Отнятый у турок Константинополь удерживался смешанными силами союзников вплоть до 1923 года. После резни в Смирне и воинственной дипломатической перепалки с англичанами Второй Рим вернули Турции.

Определяя границы новых и пересмотренных государств европейского лоскутного одеяла, экономическим здравым смыслом победители пренебрегли практически полностью. Так, например, крестьяне оказались отрезанными от зимних и летних пастбищ, а также от насыщенных рынками городов. Крупные литейные и химико-металлургические заводы — в одной стране, а месторождения и руды — в другой. Обезглавили Вену — финансовый и деловой центр всей Юго-Восточной Европы. Но самым невероятным и катастрофическим безумием Версаля явилось создание свободного города Данцига и того, что стало называться Польским коридором.

Теперь проиллюстрируем Конференцию в ее худшем проявлении. В большей степени, чем

когда-либо, возобладала элементарная романтическая идейка, что все немцы априори Плохие; следовательно, всех, кто им противостоит, автоматически следует воспринимать Хорошими. По такой логике поляки подпадали под вторую категорию; соответственно, их выбрали в качестве союзников, и они находились под особой американской защитой. Америка пришла, чтобы свергнуть сильных, а смиренных и кротких возвысить. Подразумевалось, что голодные и страждущие наполнятся добром, а богатые — *некогда богатые,* — уйдут обездоленными. Ныряя в ад, Германия должна была поднять глаза и увидеть Польшу, подобно Лазарю воскресшую на груди у Вудро Вильсона. Хорошие поляки не только обрели власть над украинцами, белорусами, евреями (которых особенно ненавидели), литовцами и немцами, но и получили важную часть для экономического развития — «выход к морю».

На этом аспекте президент Вильсон особенно настаивал. Швейцария вполне преуспела в довоенной Европе без выхода к морю, но это была совсем другая история. Основная сложность заключалась в том, что никакими этническими красками на карте не указывалось, что Польша может и должна граничить с морем. Пояс

проживания померанцев и немцев тянулся через устье Вислы. Польша сильно нуждалась именно в этой транспортной артерии, чтобы вести полноценную торговлю с соседями. Путь для достижения этой задачи виделся довольно простым. В устье Вислы стоял полностью немецкий город — Данциг. Но, будучи немецким, он процветал именно как польская торговая точка. По большому счету польскому импорту и экспорту ничего не мешало. Это был древний, честный, чистый и процветающий город. Девяносто шесть процентов его жителей являлись немцами.

Именно на эту ситуацию и обратила внимание Версальская конференция, вдохновленная волшебной фразой «выход к морю». Даже глубокое убеждение победителей в том, что хороших немцев не бывает, не могло оправдать передачу Данцига под власть Польши. Победители отделили его от Германии и превратили в «свободный город», а к западу добились «выхода к морю» для польского государства, как и задумывал Вильсон. Соответственно, Польша получила широкую полосу Померании (данная территория фактически превратилась в «Коридор» разногласий). У поляков не было порта, сравнимого с Данцигом, поэтому они вознамерились сопер-

ничать с немцами в Гдыне, который должен быть чисто польским и который в конечном итоге выдавит немецких торговцев из Данцига.

А для того, чтобы воды Вислы оставались чистыми и сладкими для поляков, насколько позволяло существование Данцига в устье, миротворцы провели границу между Польшей и Восточной Пруссией не обычным способом на середине реки, а на небольшом удалении от прусского берега (*Jacques Kayser, La Paix en Pèril,* 1931; «Исторические документы», 711 711). Восточногерманское население — крестьяне-земледельцы, рыбаки, пастухи со своими стадами, которым нужно было ходить на водопой, — остановилось перед линией пограничных постов и польской винтовкой в пределах видимости реки. Более того, эта восточная страна была плоской и низменной, и до сих пор от наводнений и возврата к заболоченности ее защищала линия дамб. Теперь же граница пересекала эту линию пять раз, и поскольку поляки не проявляли никакого интереса к этим сооружениям, те быстро вышли из строя. Города Гарнзе и Бишофсведер оказались отрезанными границей от собственных железнодорожных станций.

Но не станем слишком углубляться в детали

этого возмутительного урегулирования. Максимум обоснованного раздражения вызывал своей абсурдностью сам Коридор. Грузы курсировали между востоком и западом, параллельно им проходили железнодорожные ветки. Движение между севером и югом осуществлялось через Данциг вдоль великой реки. Теперь поляки решили перекрыть оба потока с тем, чтобы избегать Данцига. Каждый немец, направлявшийся на восток или запад, подвергался ряду пограничных досмотров, вынужден был осуществлять тарифные платежи, и вообще его всячески задерживали по времени. Да еще и окна курьерского поезда, проходящего через Коридор, требовалось закрывать. Отрезанный от торговли с Германией, Данциг обнаружил, что его польский бизнес перенаправляется в Гдыню. Туда же потек французский капитал. В частности, французы вложили средства в строительство новой южной железной дороги.

Унижение Данцига не могло не отразиться на немецком самосознании. Коридор волновал немцев, как ничто другое. Это стало доминирующей политической проблемой. Открылись кровоточащие раны в Верхней Силезии и Сааре. Воспоминания и обиды копились в Берлине

и Вене.

После подписания Версальского договора Польский коридор являлся, безусловно, самым опасным фактором в европейской политической ситуации. По сути, само наличие этого коридора делало смешными любые попытки разоружения. Загипнотизированное и бессильное европейское государственное управление направилось прямым ходом к возобновлению войны. Фаталистическое отношение к войне как к чему-то по-настоящему ужасному, но неизбежному, что среди европейских политических деятелей было подмечено еще до 1914 года, вновь проявилось и распространилось.

Начало складываться впечатление, что история повторяется. Никто не предлагал ничего конкретного. Политики избегали произносить речи, которые могли бы показаться спорными, непатриотичными или способными нанести ущерб заинтересованным державам.

Глава 11

Импульс отменить войну: почему Лиге Наций не удалось успокоить мир

Прежде чем мы полностью оставим за бортом мрачного идеалиста Вудро Вильсона, чьи усилия оказались напрасными, обратим внимание обучающихся на главные факторы его неудачи. Недостатки его личности не должны отвлекать нас от тщетности его амбиций. Эгоизм и карательное отношение к Центральным державам ярко подчеркивали тот дефект, благодаря которому любая межгосударственная структура была обречена на провал. Для надежной работы мировой системы попросту не существовало должной умственной подготовки. Для поддержания планетарной структуры требовалась крепкая идеология, а ее не было вовсе. Мировое государство в современном виде еще только смутно кем-то задумывалось. О тщательной разработке еще не могло идти речи. Лига оказалась самой поспешной из импровизаций.

В этих условиях потребовалась жизненная энергия де Винда и его соратников, о чем мы сейчас и расскажем. Хаос суверенных государств можно было распутать только путем развития и применения социальной психологии. Вильсон,

вероятно, наивно полагал, что сможет, встретившись с несколькими близкими по духу людьми, написать рецепт эффективного человеческого единства. О гигантских масштабах, сложности и глубине стоящей перед ним задачи он, похоже, имел самое поверхностное представление. Он попытался подлатать изношенную систему и выдать ее за что-то принципиально новое. У него отсутствовали планы реконструкции денежной системы, всестороннего развития социализма и революционных изменений в области образования, а ведь только после этого можно было начинать думать о переустройстве мира и безопасности человечества. Да, он был слеп, но, похоже, именно он опередил общую мысль своего века.

Преждевременная и неэффективная Лига являлась скорее препятствием, нежели помощью в достижении мира во всем мире; по сути, почти непреодолимым барьером. Эта организация не позволяла людям свободно размышлять об истинном происхождении основных трудностей. Организации благонамеренных людей, такие, например, как Союз британской лиги наций, стремились поддержать великое начинание, но и они в большей степени мешали, а не по-

могали. Они, вероятно, могли бы сказать, что это «лучше, чем ничего», хотя правильнее было бы сказать, что фальстарт хуже, чем ничего. В послевоенное десятилетие объем активной конструктивной мысли в общем представлении о мировой политике был необычайно мал. Только когда несостоятельность Лиги вышла за рамки самой очевидности, люди снова начали искать способ объединить мир.

Спустя полтора десятка лет Современное государственное движение все еще проявлялось в отрывочных попытках найти всесторонний набор общих формул для либеральных прогрессивных усилий. Пацифисты, коммунисты, социалисты и прочие «исты» по-прежнему были разобщены, не в полной мере и весьма сбивчиво выражали человеческое недовольство и никак не могли объединиться ради взаимопонимания и сотрудничества. Большая часть их энергии растрачивалась впустую на бесполезные перепалки, взаимную подозрительность, мелкие пристрастные стычки. Только в середине века появилось крохотное тельце Современного государства, стройная пропаганда и образование.

Глава 12
Финансовый крах и моральный дух общества после Версаля

Беспрецедентные масштабы и разрушения Мировой войны, как мы уже отмечали, в значительной степени объяснялись гипертрофией мировой черной металлургии по сравнению с политическими и социальными концепциями. В первое «послевоенное» десятилетие страдания, вызванные непропорциональными событиями, начали проявляться в различных слабых местах слабо связанной ассоциации нашего вида. Война, с экономической точки зрения, являлась судорожным использованием избытка продукции, которую потребитель не успевал распределить и приобрести. Необходимость вести боевые действия и вмешательство в международную торговлю привели к значительному увеличению производственных мощностей во всем мире, и как только открытые военные печи перестали сжигать излишки, миллионы задействованных рабочих оказались вытеснены с рынка труда. Со временем это становилось совершенно оче-

видным. После войны подготовка к новой войне отнюдь не прекратилась, несмотря на бесконечные разговоры о разоружении. Многие люди оставались при деле, боеприпасы не утилизировались и не уничтожались. Все это не могло выправить ситуацию, только усугубить.

Кроме того, расширяющееся производство энергии сопровождалось сокращением распределительных механизмов, определяющих потребление. Чем эффективнее выпускалась продукция, тем меньше оставалось тех, кто получал зарплату. Чем меньше персонала, тем меньше потребителей. Чем меньше потребителей, тем меньше валовая покупательская способность акционеров и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, она сократилась на обоих концах производственного процесса, и обычный инвестор пострадал вместе с получателем зарплаты. Это был так называемый «Парадокс перепроизводства», который очень сильно беспокоил писателей и журналистов третьего десятилетия XX века.

Сегодня сам собой возникает вопрос: «Почему же они не приспособились?» Но давайте спросим себя: «А кому там было приспосабливаться?» Сейчас на нас работают современная

надстройка прикладной экономической науки, бюро Дэвида Любина и Совет генеральных директоров. В нашем распоряжении — обширнейшие архивы, сотни тысяч специальных станций и наблюдателей, направляющих, корректирующих, распределяющих. А в те времена ничего этого еще не существовало. Корректировку возложили на плечи подслеповатых и скверно организованных сотрудников. Безусловно, человечество было заинтересовано в том, чтобы процветать, но никто фактически не стремился заниматься удержанием общественных дел в рамках процветания. Возникла необходимость пересмотреть свободы предпринимательства, но предприимчивые люди, контролировавшие мировую политику, разумеется, отнюдь не торопились с ними расставаться.

Одновременно с гипертрофией производственной деятельности наблюдалась гипертрофия банковской и финансовой организации. Тем не менее, это была вялая гипертрофия, как результат расширения материального производства, а не компенсаторного и контролирующего развития.

Сегодня нам ясно, что распределение общего мирового продукта является средоточием

социальной справедливости и политики. Его следует рассматривать в свете общественной критики и на основании тех или иных нужд. Нам сложно понять отношение людей XX века к этим аспектам. Мы не можем доверить эффективный контроль над судами и образовательными учреждениями частным рукам, потому что они тяготеют к извлечению прибыли. Но люди в 1935 году ничего подобного не осознавали. Этот урок человечеству еще только предстояло усвоить.

Состояние дел в банковской сфере образца начала XX века сегодня представляется настолько невероятным, что оно стало одной из самых привлекательных и плодотворных областей для всех, кто изучает историческую психологию. Система превратилась в запутанный клубок: она развивалась, но не в рамках какой-либо отчетливой структуры. Поразительно, но не предпринималось даже попыток спрогнозировать, куда все это в конечном итоге приведет. Люди пробовали и то, и это, но не делились друг с другом результатами своих экспериментов. Важнейшее значение в системе стали приобретать резервы, но необходимость публичности в данных вопросах отнюдь не всем была очевидна. Фундаменталь-

ные решения, влияющие как на покупательскую способность простых людей, так и на кредитование промышленных предприятий, принимались втайне. Торговые и трудовые взаимоотношения ограничивались или стимулировались также в обстановке секретности. В школах и университетах этому вообще не обучали! Право частного предпринимательства и неприкосновенность частной собственности уважались как Церквями, так и судами. При этом простые люди либо нанимались на работу, либо лишались ее. У человека появлялись накопления, и какое-то время он жил припеваючи, а потом он внезапно их лишался. Но никто не мог предложить внятного и доступного объяснения, по каким именно причинам так происходит. В отличие от нас наши предшественники не обладали четкими знаниями об экономических законах. Странные Таинственные Люди высматривали в тумане уловок и лживых заявлений возможности манипулировать ценами и биржами.

Одним из самых выдающихся Таинственных Людей являлся Монтегю Норман, управляющий Банком Англии с 1920 по 1935 год. Об этой фигуре, наименее уважаемой во всей английской истории, ходило множество легенд. По правде говоря,

единственной заслуживающей внимания загадкой в этом человеке был его загадочный внешний вид. На портрете изображен стройный бородатый мужчина, одетый скорее как преуспевающий художник или музыкант, чем как обычный банкир тех лет. Монтегю Норман слыл застенчивым человеком; по распространенному в те времена выражению он считался «очаровашкой». Он возбуждал общественное воображение привычкой путешествовать под вымышленными именами и внезапно появляться в самых неожиданных местах. Почему он это делал, нынче никто не знает. Возможно, ради забавы. Он давал показания при расследовании финансовой деятельности в 1930 году (проводившемся Комитетом Макмиллана с целью выявления коренных причин экономической депрессии). Из задокументированного выступления становится ясно, что его образование являлось совершенно недостаточным для того вида деятельности, которым он занимался. Его высказывания относительно социальных и экономических процессов сегодня не признает адекватными даже самый что ни на есть обыкновенный гражданин. Находясь на ответственнейшей должности, Норман не обладал достаточной квалификацией. Он пользовался

некоторым практическим опытом, приобретенным в процессе сотрудничества с различными частными банковскими фирмами до того, как поступил на службу в Банк Англии. Как нам сегодня известно, вышеуказанный опыт накапливался параллельно с накоплением денежных средств, но обильная мзда ума ему отнюдь не прибавляла. Этому человеку был присущ извращенный разум, подверженный влиянию прибыльной банковской деятельности в ненормальных условиях. Тем не менее, какое-то время он считался «экспертом» почти магического свойства. В годы потрясений послевоенного периода он был в состоянии навязывать договоренности, которые одних обогащали, а других обездоливали. Причем последние исчислялись миллионами едва ли не в каждой европейской стране.

Другой большой и крайне мутной финансовой силой в военный и послевоенный периоды являлся комплекс крупных частных банковских узлов, из которых *«Morgan and Co»* был наиболее типичным. Фирма вела бизнес в масштабах, затмевавших многие правительства. Посредством предоставляемых кредитов она поддерживала или сметала политические режимы. Основатель ее, Джон Пирпонт Морган, представлял

собой странное сочетание янки-«джентльмена» и немецкого юнкера, чье врожденное стяжательство проявлялось в огромных коллекциях картин и предметов искусства. Морган умер накануне войны, но фраза, которую он произнес в споре с первым президентом Рузвельтом, позднее использовалась в качестве оружия против частного банковского мира.

«Рузвельт, — возмущался Морган, — хочет, чтобы у всех нас были стеклянные карманы».

Теперь второму президенту Рузвельту предстояло возродить это требование.

Ничто не могло яснее выдать склонность к теневым финансовым маневрам, чем эта фраза. Морган никогда не брезговал лицемерием. Таково было правило игры. Он не переставал настаивать на непрозрачных карманах, скрытых мотивах и пунктуальнейшем выполнении сделки. Традиция пережила его самого, а фирма превратилась в гигантского кредитного спрута. Переплетающиеся сделки покрыли сетью паутины всю европейскую жизнь. Все происходило точь-в-точь так, как живет паук: никакого злого умысла, просто это создание не способно преступить свою природу. Наш современник вряд ли способен это понять. Детали каждой конкретной

ситуации рядовой исследователь сможет распутать лишь частично; к тому же на это уйдут многие месяцы изучения данного вопроса.

Взаимодействуя с такими таинственными системами, какие процветали в банковском мире, другие темные фигуры и группы, контролировавшие обширную промышленную деятельность, одержимо извращали общую покупательскую способность. В качестве самого наглядного примера можно привести продавца оружия Бэзила Захарофф. Ивар Крюгер создал всемирную систему монополий, предоставлял огромные суммы правительствам и, наконец, был пойман на подделке крупных пакетов облигаций. Затем он инсценировал самоубийство в Париже, чтобы избежать наказания за мошенничество. (Мы должны помнить, что в то время спички, которые сегодня можно увидеть разве что только в музеях, в то время потреблялись миллиардами. Другого способа добыть огонь в бытовых условиях не существовало. Производство и распространение спичек фактически сконцентрировалось в одних руках.) В отличие от Моргана, Крюгер не являлся человеком так называемого «стяжательского» типа. Он не копил и не собирал, ничего не хранил, с похвальной щедростью вкла-

дывался в строительство различных заведений и раздавал деньги на научные исследования (например, открытие Пекинского человека, весьма памятное событие в ранней археологии, стало возможным благодаря пожертвованиям Ивара Крюгера). Морган играл на опережение и накапливал; Крюгер грабил и отдавал. Часть своих доходов Морган потратил на приобретение полотен «старых мастеров», на бесспорно подлинные и ценные рукописи. Крюгер тратил доверенные ему деньги в несколько ином ключе. Проводил необычные эксперименты в декоративном искусстве, электрическом освещении и строительстве футуристических зданий. Но и тот, и другой действовали абсолютно бесконтрольно. Финансовый механизм того времени работал по настолько непонятному алгоритму, что Крюгер имел возможность выдать за подлинный огромный пакет поддельных итальянских облигаций на сумму около полумиллиона долларов и получать по ним авансы от уважаемых кредиторов! Сегодня такой трюк в один час обнаружило бы Бюро транзакций в ходе стандартной проверки. Но в наши дни никому и в голову не придет проворачивать подобного рода мошеннические схемы. Таинственные Люди и различные груп-

пы спекулянтов (например, Балканская банда) манипулировали обменом национальных валют Восточной Европы. На этих манипуляциях также наживались различные группы и группки прихлебателей, чьи биографии можно отыскать в соответствующем словаре. Авантюристы всех мастей подстерегали добычу, сбившуюся с пути и оступившуюся в финансовом тумане. Они отличались кипучей энергией и проявляли удивительную активность, но и они были слепы в отношении последствий своей деятельности. Слепы, словно кроты: энергично рыли, но не видели ничего дальше собственного носа.

В финансовых документах того времени, когда движение золота имело важное значение для ценообразования и кредитной политики, можно увидеть такие заголовки, как «Неизвестный покупатель взял два миллиона золотом» или даже более расплывчато «Золото приобретено неизвестным покупателем». Тогда все мелкие манипуляторы с денежной массой принялись высматривать, шпионить, догадываться и подстраивать свой бизнес под возможный сдвиг равновесия, который мог предсказать тот или иной смутный намек.

Другими Таинственными Людьми, или точнее,

Таинственными Людьми вне офиса, являлись министры финансов. Наиболее типичным, пожалуй, следует назвать британского канцлера Казначейства. Ежегодно в его недрах множились перешептывания, намеки, подглядывания и подсчеты в стремлении предугадать ход выстраивания государственного бюджета и корректировки налогообложения на следующие двенадцать месяцев. Всего этого требовала арифметическая мистерия под названием «сбалансированность бюджета». По мере того, как приближалось Великое Откровение, бизнес приостанавливался, а страховые операции, напротив, множились. И все из-за намеренной утайки объективной информации. Жена, семья, родственники и секретари Человека Судьбы ощущали себя приближенными пророка с поистине ослепительной значимостью! И вот, наконец, наступал тот самый Великий День. Законодательный орган собирался с необычайной силой, взволнованный и наполненный любопытством. Знахарь занимал свое место в Палате общин, затем величественно поднимался и начинал «бюджетную речь».

Ни одна из бюджетных речей не обходилась без сюрпризов. Может ли что-нибудь более ярко свидетельствовать о хаотической небрежности

XX века? Все могло облагаться налогом, и все могло от налогов освобождаться. То есть налоговую нагрузку можно было смещать в любом направлении и в любых объемах. В экономической темноте такой произвол никому не казался существенно важным. Сложно объяснить, как система могла просуществовать так долго, будучи настолько шаткой. Это настоящее чудо!

Такое положение дел сегодня кажется совершенно невероятным или даже фантастичным. Это как если бы трансатлантический лайнер мчался через океан с ярко освещенными палубами и каютами, в барах и салонах вовсю веселились, в то время как внизу, ближе к трюму, с основными механизмами явно что-то было не в порядке. Никаких приспособлений для освещения. Либо горит случайная спичка, либо тускло светит изношенный электрический фонарь; либо вовсе — черная тьма. Люди работали без бригадира. Да что там без бригадира… Вообще без каких-либо указаний. Но рукояти-то двигаются, валы скользят.

Как только закончились боевые действия, то есть с 1918 года, стало очевидно, что машина работает с серьезными перебоями. Экономическая история того времени — это история самых

тревожных отклонений и колебаний. Каждое из них приводило к сбою. Каждое последующее — тяжелее предыдущего. В предвоенные годы колебания реальной стоимости разных валют также случались, но это были колебания в умеренных пределах. Подъем или падение происходили на протяжении сравнительно длительного периода. После войны начались лихорадочные скачки. Ценовые изменения приобрели беспрецедентный размах. Валюты возвышались и разбивались подобно случайным волнам в океане, и люди вдруг обнаружили, что солидный банковский вклад может обратиться в бесполезные бумажки за какие-нибудь считаные месяцы. Вести международную торговлю становилось все труднее из-за нарастающей неопределенности в платежах. Обрабатывающая промышленность внутри страны, не получая материал из-за границы, начинала задыхаться. Торговля и производство сворачивались в пагубной неопределенности. Это было похоже на землетрясение, когда одинаково небезопасно и стоять на месте, и бежать. Число безработных неуклонно увеличивалось. Экономические войны вынуждали нации прятаться за тарифами, манипуляциями с выдачей кредитов, отказами

погашать задолженности, внезапными инфляциями и дефляциями, и никакая сила в мире, казалось, не способна была привести к согласованности действий и остановке всей этой безумной экономической чехарды.

В середине XX века *Homo sapiens* оказались в самом странном положении. На планете существовало более здоровое и многочисленное население, чем когда-либо прежде. Оно уже не испытывало недостатка в доступных ресурсах и по этой причине, казалось бы, могло себе позволить полноценную и счастливую жизнь. То есть речь уже могла заходить об изобилии. Но во всеобщей разнообразной путанице наш род оказался не способен протянуть руку и взять это изобилие, хотя оно находилось в пределах досягаемости. Перелистывая страницы периодических изданий и просматривая литературу того времени, мы видим, что опасения и страдания только усиливались и углублялись. Умирающих на полях сражений Великой войны согревала вера в то, что новые поколения будут жить в мире и счастье. Оставшимся в живых обещали «дома, достойные героев». Но депрессия 1930 года и последующие события характеризовались невиданной жестокостью. Люди были разочарованы и сбиты с толку.

Как выразился один современный писатель, они жили в «заколдованном мире».

Экономические последствия денежной дезорганизации не замедлили сказаться, но глубокое разрушение общественной морали проявилось далеко не сразу. До начала XX века мировая система поддерживалась общим достойным поведением простых людей, честностью и пунктуальностью клерков, а также рабочих любой квалификации и торговцев. Общая безопасность зависела от достойного поведения граждан на городской улице и в сельской местности. Но простой человек вел себя хорошо не просто так. Он верил, что его жалованье в безопасности. В нем присутствовала, хоть и мизерная, но уверенность в завтрашнем дне, в определенном комфорте и относительно достойной жизни. Он представлял собой неявную сделку между собой и обществом — сделку, предоставлявшую ему работу в обмен на почитание законов и послушание. Общество гарантировало ему сохранность сбережений. И он предполагал, что правительство станет заботиться о стабильном состоянии денег. Он был хорошим мальчиком, потому что не боялся в любой момент быть ограбленным. В условиях нестабильной финансовой системы

миллионы мужчин и женщин по всему миру спрашивали себя, а стоит ли быть трудолюбивым, умелым и законопослушным гражданином? После 1918 года доверие к социальной структуре неуклонно падало. Мир захлестнула волна уголовных преступлений.

Глава 13
1933 год: «Прогресс» останавливается

В первой трети XX века социальное развитие стало ощутимо замедляться. 1933 год закончился, обществом владели тревожные предчувствия. Это походило на холодную тишину, на бессловесное ожидание перед бурей. Колеса экономической жизни вращались неохотно и неуверенно. Миллионы безработных накапливались и становились все более очевидным вызовом и угрозой. По всему миру людские массы погружались в страдания и дефицит, граничащий с голодом. Но люди не предпринимали ничего действенного в знак протеста или борьбы. Повстанческий социализм таился и роптал в каждой крупной агломерации, но восстание само по себе не могло ничего исправить без конструктивных идей и следующих за ними сил и энергии. Репрессив-

ный аппарат легко сдерживал народный гнев. Людские страдания поддерживались в состоянии застоя, а ярость — в бездействии.

Наступал упадок во всех сферах жизни. Заметно ухудшилось состояние общественного здравоохранения. После 1933 года снижение устойчивости к инфекциям и рост детской смертности уже невозможно было скрывать.

Война явно приближалась. Это чувствовалось и в Восточной Азии, и в Восточной Европе. Война медлила; то продвигалась, то останавливалась. Но никто по-прежнему не проявлял желания или не обладал реальными способностями для того, чтобы предотвратить ее неторопливое и прерывистое приближение.

Тем не менее, инерция старого порядка продолжала действовать. Под темнеющим небом большинство людей занимались своими делами в соответствии с привычками и обычаями. Убыточные отрасли промышленности продолжали сокращаться и сокращать штат работников. Владельцы магазинов теряли покупателя. Безработные по привычке выстраивались в очередь на бирже труда, и некоторые даже трудоустраивались. Агент арендодателя теперь требовал предоплату. Голодные дети нищих родителей

продолжали ходить в школу, где их чему-то обучали унылые учителя с пониженной зарплатой. Но учебные заведения при этом не закрывались. Доведенные до банкротства железные дороги и пароходные линии предоставляли хоть и уменьшенные в объемах, но по-прежнему пунктуальные услуги. Гостиницы оставались открытыми не столько для получения прибыли, сколько для смягчения убытков. Дорожное движение растеряло новизну, элегантность и быстроту, но все еще текло. Толпы на улицах текли менее оживленно, но людей определенно стало больше. Полиция, хотя и менее бдительная, чем прежде, поддерживала относительный порядок.

После Версальского мира наметился некоторый строительный бум, но после 1930 года строительство стало увядать. Тем не менее, скажем честно, после пожаров дома активно восстанавливались. В 1935 и 1937 годах мир охватили эпидемии гриппа высочайшей вирулентности. Всеобщее снижение сопротивляемости человеческого организма, уже отмеченное статистикой, явилось логическим следствием возвращения к средневековым условиям. Врачи и медсестры продолжали оказывать обедненную медицинскую помощь,

а фармацевты и гробовщики, объединившись, сколачивали крупные бизнес-консорциумы. Прибыль лилась рекой.

Картины жизни в тени смерти во время этой фазы девитализации не слишком многочисленны, а те, что мы видим, плохо передают свидетельства невыносимых страданий, в которых родилось, выросло и умерло целое поколение. Нам видны ряды полуразрушенных домов, убогие интерьеры и бедно одетые мужчины и женщины. Описательная журналистика приближает нас к жизненным реалиям без пространства, цвета, движения, надежды и возможностей. В британских, американских и французских газетах рассказывалось о колесах, которые не крутятся, заводских воротах, которые не открываются, дымовых трубах, которые не дымят и ржавых рельсах. Вот так выглядели дела миллионов людей в эту странную фазу человеческого опыта. Вышеприведенную картину набросал один из лучших английских писателей, Х. М. Томлинсон (1873–1969), и назвал ее яркой современной виньеткой.

На прошлой неделе я заехал в маленький городок под Кардиффом. В некотором роде, по чистой случайности. Раньше я никогда не слышал

об этом месте. Городок типичен для этих долин, так что по большому счету не важно, как он называется. У него может быть много названий. Его население составляет или составляло около 6 000 человек. Местные и раньше сталкивались с серьезными проблемами; так, меньше двадцати лет назад разорвалась мина и убила более трехсот жителей. Мы не станем говорить, что город это пережил, потому что я беседовал с теми, для кого бедствие — непреходящий ужас. Страшное поражение в борьбе с самим естеством, но выжившие вернулись к сражениям и больше об этом не говорили.

Когда я впервые увидел этот населенный пункт издалека, лежащий среди унылых голых холмов, мне вспомнились когда-то знакомые города, что находились слишком близко к линии фронта во Франции. Полдень, солнечно, но этот угольный городок оставался тихим-тихим и казался околдованным неведомой силой.

Он и в самом деле находился под заклятием. В каком-то смысле омертвел. Но люди продолжали цепляться за пустую оболочку. Было ли им куда пойти?

На первый взгляд, казалось, что люди там жить не могут. Здания в руинах. Ржавая колы-

мага в яме, похоже, не ездила с начала времен. Котельная с щелями в почерневших стенах стала домом для летучих мышей и сов. Магазины не только закрыты, но и заброшены.

Первым человеком, которого я встретил, был изможденный мужчина средних лет в изношенной одежде.

— Что случилось с этим городом? — спросил я.

— Безработица.

— И вы тоже безработный?

— Конечно.

— Как долго?

Он вытянул пять пальцев.

— Месяцев?

— Лет.

— А остальные здешние мужчины?

— Большинство из них. И ничего не меняется.

Он повел меня к мусорной куче, где коза жевала бумагу, и я увидел вход в шахту.

— Вот почему мы больше туда не спускаемся, — сказал он. — Ее закрыли.

Не знаю, по какой причине, но стальной пешеходный мост рухнул поперек железнодорожного полотна, ведущего к карьеру. Добытое больше невозможно было вывезти. Ремонтные работы

проводить не стали, и вскоре все заросло травой. Заброшенные хозяйственные постройки быстро обветшали. Теперь они походили на привидения.

— Кое-кто из тех, кого я знал, — пробормотал мой проводник, — предпочел остаться. Уже девятнадцать лет прошло с той поры. Может быть, кому-нибудь придет в голову назвать их счастливчиками.

Пять лет назад крупное угольное месторождение покинули две с половиной тысячи человек. Вот почему внутри лишь пыль и солома. Многие деревянные строения разобраны на дрова. Даже ломбард, и тот закрыт. А в часовнях выбиты окна.

Хуже закрытых магазинов и разрушенных зданий смотрятся только люди в лохмотьях. Вялые и молчаливые жители все еще чего-то ждут.

Но чего именно? Здесь уже давно ничего не происходит и ничего не может произойти.

Сплошная обреченность. Родители наблюдают, как растут их дети; поколение с тощими ручками и беспросветным мраком в головах. Дети познают медленную смерть вместо того, чтобы играть и радоваться. Дети без детства.

Их дома находятся на кладбище человеческих устремлений.

Пресса и литература того времени вызывают любопытство. Ощущаются какие-то мрачные колебания между неискренним оптимизмом и безнадежным отчаянием. Недостойная злоба и сарказм вторглись в популярное искусство и литературу; «сильные» скорее по манере и вкусу, нежели в понимании происходящего. Кроме того, обнаружилось обильное производство и потребление успокаивающих и нарочито «жизнерадостных» книг, движение в сторону религиозного мистицизма и потустороннего мира и заметная тенденция к репрессивному пуританству. Распущенность провоцировала разгул цензуры и суеверного подавления личности, что явилось прямым следствием утраты человеческого достоинства. Перед лицом финансовых и политических трудностей человечество становилось неврастеничным.

Любая неврастения, по-видимому, обладает труднообъяснимыми особенностями. Нам сегодня кажется невероятным, что люди не видели выхода из своих бед. Людей охватила слепота и беспомощность, что до сих пор является обширнейшим предметом для изучения со стороны социальных психологов. С нашей точки зрения, путь был совершенно очевиден, и его нельзя

было не разглядеть; тем более, что на него прямо указывали сотни талантливых наблюдателей еще в тридцатых годах XX века. Максвелл Браун в своей работе, посвященной изучению идеи Современного государства, привел два дополнительных тома цитат на эту тему. Например, такое выражение как «Космополис, инфляция и государственная занятость» (из статьи в британской провинциальной газете в 1932 году), в общих чертах достаточно внятно излагает концепцию выхода из тупика. Да, безусловно, это грубые и нечетко сформулированные термины, но в них заложена форма окончательной реконструкции. «Космополис» предвещал рациональный мировой контроль. «Инфляция» представляла собой ясное свидетельство нынешней полной сдержанности в отношении увеличения долгов и ценовых колебаний. «Государственная занятость» — это концепция социалистического предпринимательства наших предков.

Но прежде чем прийти к миру и свободе, следовало прийти к ясному пониманию средств достижения этой цели. Концепция революционного переустройства мира должна была распространиться от немногих ко многим, распространиться не просто как идея или пред-

ложение, а с такой силой, чтобы насытить умы и наполнить жизнь. Тогда и только тогда можно было собрать воедино необходимую силу воли и направить ее на эффективную реорганизацию земных дел.

В коллективном мозге должна была развернуться борьба за здравомыслие, категорический отказ от ложных представлений, традиционных искажений, не подвергаемых критике догм и недостижимых «прав». Должно было произойти переосмысление идей о моральных, материальных и биологических отношениях. Эта борьба затронула три поколения. Перейдем же теперь к анализу факторов и решающих сил в этой борьбе.

Всего в Эпоху разочарования прожито от восьми до десяти миллиардов человеческих жизней. Люди в те времена жили гораздо меньше, чем сейчас, и чаще болели, потому что были гораздо в большей степени подвержены инфекционным заболеваниям. В подавляющем большинстве наши предки проживали в убогой и грязной обстановке, в хижинах, лачугах, многоквартирных домах и подвалах, почти таких же мрачных, как пещеры предков, а условия проживания были почти такими же антисанитарными. Мень-

шинству прислуживало большинство. Меньшинство жило в относительном комфорте и даже с определенной свободой и роскошью. Платило оно за эти блага денежные суммы, недоступные для остальных. Это процветающее меньшинство сократилось после 1931 года. В России оно и вовсе исчезло после 1917-го.

В последующие годы в мире уменьшилось чувство личной безопасности, зато изнуряющий страх и неуверенность в завтрашнем дне, наоборот, безмерно разрослись. Все это обернулось взаимным недоверием, подозрительностью, раздражением и незатухающими конфликтами. Лишь небольшая часть мирового населения дожила до спокойной старости на этой стадии тотальной деградации. Болезнь со смертельным исходом и насильственная смерть снова стали обычным делом. Одна из первых общих историй из когда-либо написанных называлась «Мученичество человека» (Уинвуд Рид, 1871). В Эпоху разочарования многим казалось, что всеобщее мученичество приближается к стадии безнадежной агонии.

И все же в адской суматохе не переставали звучать голоса Смеха, Сочувствия, Готовности помочь и Мужества. Беспокойные и болезнен-

ные жизни тесно переплетались с ослепительно яркими нитями. Из этой мешанины человеческих страданий, из мечущихся человеческих мозгов, лени, самодовольства и сгущающейся тьмы сначала появилась надежда, затем широкий план и усилия по его освоению и, наконец, достижение того плодотворного порядка, в котором собрались красота и счастливая уверенность сегодняшнего дня.

Часть вторая
Послезавтра: Эпоха разочарований
Глава 1
Лондонская конференция: крах старых правительств; распространение диктатур и фашизма

В предыдущих главах мы объяснили, как старый порядок XIX века, Капиталистическая система, как ее тогда называли, потерпела крах во втором и третьем десятилетиях XX века из-за непропорционального развития промышленного производства, ненадежности и уязвимости денежных связей и политической неприспособленности. У этой системы отсутствовала врожденная способность к восстановлению или хотя бы к частичному преобразованию. По этой причине нам неизбежно придется продолжить свой рассказ о непрекращающихся катастрофах.

Механизмами для совместных действий, и то лишь с помощью разрозненных рывков, обладали только суверенные правительства. Большинство из них являлись либо парламентскими монархиями, либо парламентскими

республиками. Парламенты избирались путем голосования — у кого больше голосов, тот и победил. Эту эпоху назвали Эпохой демократии. Однако демократия тогда не означала того, что она означает сейчас, то есть равные возможности для каждого человека в соответствии с его способностями и вкладом в коллективное дело. Это также не означало братского равенства, присутствующего, например, в небольшой общине. По сути речь шла о политической профанации весьма необычного толка. Дескать, каждый субъект государства в равной степени способен принимать любые коллективные решения.

Великие республики далекой древности — Карфагенская, Афинская, Римская — являлись преимущественно аристократическими. Демократическими республиками, то есть республиками, где гражданин участвует в управлении на равном основании со всеми остальными, вплоть до конца XVIII века являлись Ури, Унтервальден или Андорра, маленькие, бедные и расположенные в труднодоступных местах, то есть вдали от индустриальных и торговыхх путей. Мир о них ничего не знал. Их незначительные дела вполне укладывались в рамки понимания обычных граждан.

С Эпохой европейского господства наступил поворотный момент в человеческих устремлениях. В XV веке стали выпускать больше книг, и разгорелись дискуссии. Разом наступило и большое оживление, и замешательство. Разрушительная критика вероисповедания и послушания вырвалась на свободу, а высвобождение новых экономических сил привело к разрушению старого феодального порядка. Новые торговые принципы, финансовые условия и промышленное развитие создали новый тип людей, неуверенных в своих силах, нуждающихся и требующих новых правил свободной игры. Они не знали точно, чего именно хотят. У них отсутствовало представление о структурной реформе человеческих отношений, несмотря на то, что Платон обрисовал ее двумя тысячелетиями ранее. Его план создания обученного сословия правителей был им неизвестен, хотя многие пытались эту задумку возродить. Они просто как-то, наугад, реагировали на изменяющиеся условия. Низшие слои общества перестали доверять и наследственной аристократии, и абсолютному монарху.

По сути, движение, развившее фразеологию демократии XIX века, представляло собой восстание против «права рождения» и «привилегий»,

против монополизации власти и преимуществ наследственного класса в соответствии с догмами. Поскольку восставали энергичные и обиженные, скверно организованные интеллектуально и социально, на ранних стадиях движение приобрело форму борьбы за равные политические права для всех людей.

Радикалы XVI и XVII веков не выступали за правление общей массой, но были враждебно настроены по отношению к правящим классам и верховным правителям. Новые люди составляли энергичное мятежное меньшинство, которое смогло пробудиться, насколько позволяли место и время, и потащить за собой апатичное большинство покорного человеческого стада. Таким стал характер демократических движений Эпохи европейского господства. Толпе полагалось стать требовательнее и решительнее. На этом пути ее постоянно подталкивали и пытались вести. Народные «лидеры» выделялись в глазах народа куда ярче, чем короли и священники. Из наследственных монархов разве что только Вильгельм Оранский и Фридрих Великий Прусский упоминаются чаще, чем Кромвель, Вольтер, Мирабо, Вашингтон, Гладстон, Робеспьер, Бонапарт и Маркс.

Позднее (например, в Англии, Америке, Скандинавии, Германии, Финляндии) точно так же меньшинство недовольных и агрессивно настроенных женщин, борющихся за равные права с мужчинами, навязали право голоса равнодушному большинству своего пола. Но на этом, увы, их достижения и закончились. Помимо сексуального оправдания женщины мало что могли внести в решение мировых проблем и, по сути, не внесли ничего.

Исследования в области социальной психологии все еще только начинают раскрывать неясные процессы, благодаря которым вера в «демократию» стала на целое столетие господствующим убеждением практически всей Америки и большей части Европы. Нередко даже в поведении и речах тех, кого в ту эпоху называли Мыслителями, чувствовалась глубокая внутренняя неискренность. В глубине души такой «Мыслитель» боялся суровой реальности. Он инстинктивно приспосабливал свою ересь к непреодолимым предрассудкам. Основной концепцией демократии являлась какая-то далекая от мировых столиц, примитивная маленькая республика, где все люди управляют делами кантона на народном собрании путем честных

речей и всеобщего одобрения. Все практически равны по богатству и власти. Все демократии Старого Света, вплоть до Римской республики и включая ее, управлялись, по крайней мере чисто теоретически, такими собраниями всех граждан. Люди, по их представлениям, только и делали, что смотрели, слушали, говорили, и за этим якобы следовала Всеобщая Мудрость.

Этот извращенный идеал распространился на большие общины Нового Света, пришедшие на смену феодальному порядку. Сопряженные с попыткой достичь идеала явные трудности и даже абсурдные явления привели к мистицизму в народе, который посчитал себя сувереном общины. Мистическая интерпретация принималась безо всякой оглядки на последствия под сильнейшим страхом, что тирания, ограничения и привилегии могут вернуться.

«Любой ценой мы не должны допустить, чтобы старые неравенства вернулись!» — говорили авантюристы нарождающегося капиталистического века.

Убежав от одного подчинения, люди поспешили к другому.

Изложенную Жан-Жаком Руссо доктрину естественной добродетели человека сочли чрез-

вычайно полезной и эффективной. Простой человек, когда его не обманывает священник или король, всегда, и абсолютно, прав. В результате Простолюдин сделался поистине мистическим существом, по сути, Богом, чей алтарь был суетой, а оракул — урной для голосования. Этот Бог Эпохи европейского господства двигался медленно и неуклюже. Мельничные жернова демократии крутились еле-еле, но люди пребывали в уверенности, что делают дело с максимальной точностью. Между тем все это движение нужно было постоянно как-то раскручивать и подогревать.

«Вы можете обманывать какое-то количество людей все время, — как-то заметил Авраам Линкольн, — или всех людей иногда, но не сможете обманывать всех и всегда».

То есть для таких важных целей, как развязывание войны или эксплуатация экономической ситуации, степень человеческой глупости следовало доводить до зашкаливающих пределов.

Это запоздалое и неизбежное божество оказалось теперь слишком тугодумным для решения насущных политических и экономических загадок, связанных с разорением и смертью, которые надвинулись на человечество в начале XX века.

Опыт тщетных конференций по разоружению и экономических конференций 1932 и 1933 годов, массовое сопротивление в каждом законодательном органе любой внешнеполитической инициативе, кроме своей собственной, глубочайший эгоизм в урегулировании международных дел, неспособность всего мира установить какое-либо единодушие в действиях перед лицом надвигающегося экономического хаоса выявили окончательное банкротство парламентской демократии.

Неспособность номинальных мировых правителей избавиться от своей пожизненной привычки разговаривать со смутно представляемой толпой предвзятых избирателей, а также неистребимое отвращение власть предержащих к четким заявлениям сводили на нет все усилия по достижению реальных результатов. Правитель отшатывался от любого предложения, связанного с конкретными или обновленными действиями под предлогом того, что должностная функция является чисто представительной. За всем этим внимательный читатель угадает тревожное присутствие Избирателя — бедного беспозвоночного божества, которое легко поддается панике и патриотической чепухе, бросается

подавлять новые радикальные меры, проявляет одновременно и недоверие, и бессилие, и нападает на тех решительных людей, кому в иных обстоятельствах могло бы довериться. Совершенно безответственная, корыстолюбивая и пристрастная пресса играла на низменных эмоциях, на которых так легко было играть, и не утруждала себя призывами ни к разуму, ни к совести.

Необразованный Избиратель не видел Избирателя, за которым можно пойти — искренних руководителей нигде не готовили. Вот чем объясняется полное бессилие всех этих кульминационных конференций что-либо изменить.

Всемирная экономическая конференция в Лондоне являлась, безусловно, наиболее значимой. Вооружение и разоружение — это поверхностные симптомы, но основополагающее значение имеет экономическая жизнь. Это лондонское собрание стало предметом сотен исследований наших глубокоуважаемых социальных психологов. Даже сегодня многие его противоречия потрясают нас до глубины души. Надо признать, что собравшиеся превосходно умели шевелить мозгами. Во всяком случае, не хуже наших современников. Выдвинутые на Конференции

проекты были тщательно изучены Мортоном Кэнби. Любопытно, что ее участники, судя по оставшимся документам, прекрасно осознавали насущные потребности мирового сообщества, и все же из-за навязчивого парализующего давления со стороны массы избирателей и прессы, среди неисчислимых импульсов и мелких обид, наделенные полномочиями люди достигли высочайшего уровня бессмысленности, намного превосходящего напыщенные ошибки Версаля.

В первую очередь Лондонская конференция представляла собой попытку исправить огромные упущения более ранней встречи. Предполагалось немного дополнить благонамеренное лоскутное одеяло Вильсона умеренной корректировкой денежных и экономических проблем. Сам же Вильсон, вероятно, оказался либо слишком ограничен, чтобы их предвидеть, либо слишком слаб, чтобы избежать. Призрачные концепции какой-то расплывчатой денежной Лиги Наций в Беле, а также какого-то там Тарифного Совета и Ассамблеи проплывали в тумане первого заседания. История с ее склонностью к неточным повторениям сотворила на второй всемирной ассамблее одну из главных фигур, президента Соединенных Штатов, также при-

надлежащего к демократической партии и в соответствии с ее ритуалом ссылающегося на имя Томаса Джефферсона, как коммунисты ссылаются на Маркса, а мусульмане на Магомета. Это был второй Рузвельт. Он оставил после себя не столь яркое впечатление, как его предшественник, поскольку не так долго блистал на европейской сцене. В течение нескольких месяцев до и после избрания американским президентом и проведения Лондонской конференции в мире снова затеплилась надежда, что наконец-таки появился настоящий «Человек», взгляд которого на вещи будет простым и ясным, а говорить он будет прямо, не пускаясь в увиливания. Весь мир, казалось, поработили навязчивые идеи и дилетантизм, и Рузвельт виделся тем самым «Человеком», который способен освободить наш вид от оков. Но говорить прямо он не стал.

Черпая мудрость из личной неудачи Вильсона, он не приехал в Лондон и не стал подвергать себя и свои речи слишком пристальному изучению. Он предпочел иметь дело с постоянно сменяющими друг друга кризисами в Лондоне с борта своей яхты *«Amberjack II»* в гавани Нантакета. Общался с участниками Конфереции через уполномоченных посредников. В истории

человечества *«Amberjack II»* стал почти таким же значимым кораблем, как и Корабль мира Генри Форда. Значимым в равной степени как в отношении намерений, так и несоответствий действительности.

По мере приближения Конференции люди всюду спрашивали об этом возможном новом лидере:

«Это ли Мессия, которого мы так долго искали, или следует поискать кого-то другого?»

Едва ли не в каждом европейском книжном магазине предлагалась недавно изданная книга высказываний Рузвельта под названием «Глядя вперед». То есть в какой-то степени имелась возможность оценить, с каким складом ума предстоит взаимодействовать. Между тем, чтение изрядно сбивало с толку беспокойные умы. Очевидно, этот человек был тверд, честен и весьма любезен. Об этом свидетельствовал портрет на обложке с ясными искренними глазами и крупным решительным лицом, но текст являлся стандартной политической пропагандой. Будучи пропитанным доброй волей, он, тем не менее, тяжело читался и требовал серьезной доработки.

«Этот человек хорош, — говорили люди, —

но достаточно ли этого?»

Всеобщая надежда на благоприятный исход упорно не желала сдаваться. На горизонте не было видно никакой другой личности, которая хотя бы могла пообещать изгнать чары, наложенные на экономическую жизнь. Да уж, это была конференция Рузвельта… ни более ни менее. И несмотря на то, что книга изрядно разочаровывала, хотелось надеяться на лучшее. В частности, утверждалось, что на президента можно положиться. Его соратниками были бесспорно очень способные и современно мыслящие люди; такие как профессора Тагвелл, Моли и Дикинсон, чья более поздняя работа сыграла наиважнейшую роль в реконструкции правовых и политических методов. В конечном итоге это стало большим вкладом Америки в общую идею Современного государства. Говорили, что Рузвельт обладал скромностью и величием, очень внимательно прислушивался к взвешенным и зрелым мнениям. На деле оказалось не совсем так. Возможно, если бы он прислушивался в той же степени, в какой о нем говорили, дело и вправду сдвинулось бы с мертвой точки. Но, так или иначе, он был на один пункт лучше всех остальных европейских политиков и глав государств. Пре-

жде всего потому, что, в отличие от них, иногда слушал не только банкиров и крупных бизнесменов.

Но как именно он слушал? Улавливал ли он тройственную природу рассматриваемой проблемы? Казалось, он понимал необходимость денежной инфляции для уменьшения долгового бремени и чрезмерной капитализации. Вроде бы понимал и необходимость постепенного расширения государственной службы. Вероятно, колебался между «общественностью» и «общественной взаимопомощью». Был ли он верен необходимости сделать эти меры всемирными? Да, он сделал некоторые неожиданные изменения. Но сегодня их следует воспринимать скорее непостоянными тактическими маневрами, за которыми отнюдь не таилась глубоко запрятанная, последовательная и решительная цель. Разумно ли было действовать тактично, когда весь мир нуждался в ясной речи и простых директивных идеях? Рузвельт зачастую действовал обескураживающе. Складывалось такое впечатление, что он своих советников и слушает, и нет. Он заигрывал с биметаллизмом. Между тем, все выглядело так, словно никто не желал лечиться.

Конференция открылась с твердым наме-

рением стать ярким и насыщенным новыми идеями событием. Гостиницы полны, улицы украшены флагами, программа развлечений восхитительна. Казалось, даже английская погода прилагала определенные усилия. Вступительные речи английского короля Георга V и его премьер-министра Рамсея Макдональда сегодня выглядят довольно любопытными. Выражалось острое осознание критического положения, в котором оказался весь мир. И король, и премьер-министр многословно заявляли, что провал конференции ускорит мировую катастрофу. Они настаивали на необходимости общемирового сотрудничества. Требовалось упростить денежное обращение и увеличить занятость населения. В этом они, безусловно, оказались правы, но не дали ни малейшего намека на то, каким именно образом следует достигать поставленных задач. Эти люди делали жесты, которые сегодня нам непонятны и которые вынуждают нас подозревать отсутствие представления об основных элементах сложившейся ситуации. Больше всего озадачивает смесь решимости и неспособности сделать что-нибудь по-настоящему полезное. Разные детали мировой проблемы не виделись как единое целое, и план действий не выстраи-

вался в единую линию.

Не менее значимой фигурой был глава американской делегации Корделл Хэлл. Произнесенные им в лучших американских традициях благочестивые слова навеки вписаны в свиток истории:

«Эгоизм должен быть изгнан. Если — не дай Бог! — какая-нибудь нация сорвет эту Конференцию, полагая, что местные интересы принесут больше пользы, то эта нация заслужит проклятие всего человечества!»

Премьер-министр Франции Эдуард Даладье начал с широких и здравых рассуждений. Он решительно настаивал на необходимости, которую две вступительные английские речи свели к минимуму; а именно: на необходимости, настоятельной необходимости развивать крупные общественные проекты во всем мире с тем, чтобы всех обеспечить работой и восстановить потребление. На второй неделе начало казаться, что американцы шагают в ногу с этими утверждениями. Однако, начав с предельной ясности, Конференция постепенно скатилась к второстепенным вопросам. По-видимому, она попросту не смогла долго поддерживать высокий уровень осознания реальности. Начало сказываться давление Избирателя и прессы на каждого

делегата. Национальные представители начали со все большей ясностью настаивать на том, что национальные интересы не должны приноситься в жертву некоему расплывчатому *общему благу*, и через какое-то время стало достаточно очевидно, что они понятия не имеют, что это такое — общее благо. Всемирная экономическая конференция незаметно превратилась в Мировой экономический конфликт точно так же, как Лига Наций превратилась в торговую площадку для дипломатических сделок. Замечательная прелюдия первых сцен увяла, скатившись в полное бесплодие, потому что мировому разуму еще только предстояло осознать огромные моральные и воспитательные усилия, которые требовались для великого политического объединения. Неспособность к самоотречению стала непреодолимой психологической преградой для представителей разных стран. Эти люди не имели возможности отречься от условий, которые сами же и создали. Как они могли, будучи назначенными на роль национальных представителей, согласиться на объединение национальных интересов? Да, они действительно были готовы изменить мировую ситуацию революционным путем. Но только так, чтобы не меняться

самим и не менять ничего существенного для себя. Ведущие идеи Конференции были в общем и целом верны, но разрушительные устремления личного, партийного и национального эгоизма оказались сильнее.

Чрезвычайно любопытно, что представители Советской России не предприняли ничего, чтобы пролить свет на мрак мировой загадки. Многие авторы до сих пор утверждают, что большевистский режим являлся непосредственным предшественником нашего Современного Мирового государства в том виде, в каком оно существует сегодня, но прямой преемственности между ними нет. Современное государство действительно возникло из тех же социальных императивов и тех же конструктивных импульсов, которые породили марксизм и ленинизм, но как независимая, более зрелая и более здравая революционная концепция. Советская система, безусловно, предвосхитила многие черты нашего нынешнего интернационального порядка в его самом реальном социализме, и особенно в присутствии преданной своему делу контролирующей организации, Коммунистической партии, которая стала прообразом нашего Современного государственного братства. Но в России

всегда существовало большое расхождение между теорией и практикой. От имени первого великого эксперимента по планированию выступал Народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов, который был слишком озабочен спорами между его молодой страной и западным миром. Например, торговыми эмбарго и кредитными трудностями. По этой причине он не очень-то стремился обращаться ко всему миру в целом. Он не стал применять руководящие принципы коммунизма к мировой ситуации. Острая необходимость в планировании не сподвигла его рассказать миру о Пятилетнем плане. Ситуация требовала коллективной занятости, но Литвинов даже не стал настаивать на тезисе о неизбежности мирового социализма. Очевидно, он забыл о мире, который следовало бы рассматривать целиком. Его взгляды мало чем отличались от взглядов капиталистических делегатов. Он думал о своей России, точно так же как и любой другой представитель того или иного государства. То есть, по сути, он превратился в самого обыкновенного патриота-капиталиста.

Претензии других делегаций оказались еще более недальновидными и бездуховными. Поскольку на выступления накладывались жест-

кие временные лимиты, порой упоминания об общей гуманитарной благожелательности сжимались до одной лишь фразы, а затем докладчики сразу же переходили к частным вопросам. Только сенатор Коннелли из Ирландии яростно протестовал против зашоренных взглядов своих коллег-ораторов и призывал тщательно рассматривать «любые теории, какими бы неортодоксальными они ни казались». При этом его собственная речь никаких конструктивных идей не содержала. Он был слишком одержим эмбарго, которое Англия наложила на ирландский экспорт. На этом Коннелли и зациклился.

Согласно мнению Мортона Кэнби, идея Современного Мирового государства прослеживается, хотя и в искаженной и стерилизованной форме, в идейных системах у американцев, британцев, французов и русских на Конференции. В американских заявлениях это окутано индивидуалистическими фразами о предосторожности. В британских — империалистическими мотивами. Русские все испортили ложной психологией и грубым марксистским жаргоном. В первом случае переодеваться отказался деловой человек, во втором — империалистический администратор, в третьем — партийный функционер.

Вопреки утверждениям об общих принципах всеми этими людьми на деле руководили туманные эмоции, обусловленные патриотизмом и партийными установками. Тем не менее, несомненно, что первый набросок Современного Мирового государства был сделан именно там и тогда: в Лондоне в 1933 году. Оно висело над миром подобно призраку из будущего. Его присутствие ощущал почти каждый, хотя худшие фазы Эпохи разочарования еще только предстояло пережить. Еще должны были пройти через череду ужасных мук несколько поколений, прежде чем появится живая реальность нормальной политической жизни.

По словам Кэнби, призрак и не мог материализоваться, потому что не существовало никакого материала. Каждая крупная страна нащупывала пути к основам постоянно прогрессирующего мирового государства, но ни одна из них не достигала реализации даже частично и локально. Усилия Рузвельта № 2 по реконструкции Америки показались Кэнби особенно интересными. Президент четко осознавал необходимость снижения долга путем инфляции, но не мог контролировать рассеивание высвобожденной энергии на спекуляции. Ему приходилось взаимодей-

ствовать с людьми, воспитанными в традициях *вечного покера*, для которых торжество коварства стало второй натурой. Он просил (в том числе и путем скрытых угроз) проявлять более открытую готовность помочь. У него не было под рукой надлежащей гражданской службы, способной контролировать крупные общественные работы. Не существовало возможности одним махом превратить американских технических специалистов в честных служащих за заработную плату. Он пытался побудить спекулянтов отказаться от прибыли и организовать промышленность по альтруистическим принципам с помощью угроз социализации. Однако для того, чтобы их выполнить, следовало располагать соответствующим руководящим классом, которого просто не было. Второй Рузвельт не понимал ни британский, ни европейский менталитет. В этом новый американский президент был схож с Вильсоном. Это было взаимное непонимание, но манеры Рузвельта оказались слишком самодовольными и провокационными. Он принялся ворчать и браниться задолго до того, как закончилась Конференция. К 1935 году все указывали на своего рода контрастный параллелизм между Америкой и Россией. И та, и другая страна

явно боролись за создание более научно организованного государства, и обе испытывали трудности в согласовании эффективности производства в общих интересах с политическим контролем. Техник и политик должны были каким-то образом свыкнуться друг с другом. Все великие диктатуры вынуждены были бороться с теми, кто наживался на ценовой разнице. Каждый диктатор исповедовал слабую надежду на космополитическое сотрудничество, но сосредотачивался при этом на установлении внутреннего процветания. То есть движение к общей цели осуществлялось с разных полюсов производственной эффективности и социальных предпосылок. Рузвельт отталкивался от демократического индивидуализма, а Сталин — от марксистского коммунизма. Британская система и другие страны, которые в каком-то смысле следовало бы назвать промежуточными, изо всех сил старались оставаться консервативными в хаосе финансового краха. В мире еще не существовало средства, способного синтезировать добрую волю.

Лондонская конференция не достигла такой драматической кульминации, как подписание Мирного договора в Версале. Мероприятие в бри-

танской столице привело к нулевому результату. Начавшись с наивысшей точки, оно неуклонно скатывалось куда-то вниз. Если Версаль породил чудовище, то Лондон — вообще ничего. Никогда еще столь многообещающее начало не разваливалось настолько сокрушительно.

В прессе того времени присутствовало множество намеков (см. «Ощущение катастрофы в 1930-е годы» Хэбрайта, краткое изложение цитат из серии «Исторические документы», 173–192) на то, что политическая и экономическая мораль попросту имитировались. Вместо политических деятелей Старого Света в Лондон можно было отправить кого угодно, и результат был бы тем же. Британский премьер, мистер Рамсей Макдональд, этот чудесный цветок профессиональной политики, обреченно обвел глазами участников Конференции. Казалось, он все еще питает какие-то надежды, что вот-вот какая-нибудь благоприятная случайность, возникнув волшебным образом из пустоты, спасет его и ему подобных от сурового приговора истории. Фотографы щелкали своими аппаратами, запечатлевая каждый жест, впоследствии тщательно изученный. И прекрасный голос с богатым акцентом тоже записывался. Секретари суетились, делегаты

внимали с чопорной серьезностью. Казалось, что американцы разделяют точку зрения британского политика. Возможно, последняя сублимация демократического государственного управления действительно верила, что под благоприятным руководством Макдональда действует некое благоприятное заклинание. Он, должно быть, чувствовал это восприятие среди собравшихся. В противном случае не смог бы остаться на месте и продолжать свою речь. Заклинания творили его самого. Голосом и энергичными жестами он ненадолго развеял тьму. Вполне возможно, что он не верил в заклинания, но сейчас ему больше не во что было верить. За убеждение, что еще можно что-то поправить, он цеплялся до самого конца. В те минуты он все еще держался. Но вряд ли у него имелись силы пережить критику на протяжении следующих нескольких месяцев. Предстояли долгие бессонные ночи в осознании того, что личные заклинания оказались тщетными.

Всемирная экономическая конференция утратила свой блеск примерно через неделю или около того. Город, который так загорелся всяческими надеждами, теперь походил на военное кладбище. Он снова впал в депрессию. Мировой кризис

не стал дожидаться окончания Конференции. Растянутый радужным предвкушением Лондон сжимался и сморщивался в предсмертном вопле отчаяния.

По словам Хэбрайта, к июлю 1933 года мыслящие люди заявляли следующее:

«Эти люди ничего для нас не делают. Точнее, они делают хуже, чем ничего. Они только усугубляют бедствие».

Другие, прозрев, возможно, даже неожиданно для самих себя, пошли еще дальше. Они вдруг начали задавать правильные вопросы:

«Почему историки, социологи и экономисты ничего нам не рассказывают? Чем объясняются постоянные неудачи политиков, если действуют они в демократических условиях? Неужели наши университеты вообще ничего не делают? Неужели о том, что сегодня происходит, нет никаких научных теорий? Нет никаких знаний? Неужели история ничего не знает о причинах сложившейся ситуации? И разве нет глубокого научного анализа тех социальных процессов, что ведут нас к погибели?»

Слишком занятые выставлением оценок по истории общественным и политическим наукам профессора не дали внятного ответа.

Еще до конца тридцатых годов всему миру стало ясно, что неотвратимо надвигается всемирная социальная катастрофа. Самое разумное, что оставалось сделать здравомыслящим людям, — это построить некий аналог Ноева ковчега и попытаться спасти все то, что пока еще подлежало спасению. Им предстояло сохранить остатки цивилизации с тем, чтобы начать все заново, когда иссякнет поток несчастий. Провидцы твердили об этом уже давно, но теперь одержимость спасением распространилась, как эпидемия. Это подготовило почву для движения Современного государства, на котором зиждется наш нынешний миропорядок. Однако в то время всеобщий пессимизм почти не смягчался реальной надеждой на выздоровление общества. Один писатель, которого цитирует Хэбрайт, сравнил человека с одомашненной обезьяной:

«Она обладает разумом и способностью подтаскивать соломенный матрас к огню, когда становится холодно, но не имеет ни ума, ни дальновидности, чтобы предотвратить пожар».

Краткое изложение Хэбрайтом финансовых операций по мере того, как нарастало ощущение приближающейся катастрофы, полностью оправдывает этот мрачный образ.

В указанное десятилетие уверенность в том, что парламентская демократия подошла к концу, распространилась повсеместно. Между колебаниями в международных делах после Версаля и войнами 40-х годов люди непрерывно обсуждали и размышляли, какую форму правления принять. Теперь эти усилия приобретали новую актуальность. Думы о смене правительств и чиновников приобрели форму истерии.

Возникшая тяга к решительным действиям привела к грубым результатам. По послевоенной Европе, от Польши до Испании, прокатилась волна кричаще безвкусных «диктатур». По большей части эти политические авантюры копировали воззвания маленьких южноамериканских республик. Случайные и непоследовательные примеры вряд ли достойны того, чтобы сегодня их пристально изучать. Но затем последовало всемирное развитие директивных или, по меньшей мере, кажущихся директивными политических ассоциаций, которые очень ясно предвосхитили организацию Современного государственного братства, на котором покоится наш нынешний мировой порядок.

Фашистская диктатура Муссолини в Италии подразумевала под собой нечто более прочное,

чем большинство других замен парламентских методов. Она возникла не как личная узурпация, а как организующее выражение с собственной целью и своего рода доктриной. Интеллектуальное содержание фашизма представлялось ограниченным, националистическим и романтическим. Его методы, особенно на начальной стадии, являлись грубыми и жестокими; но, по крайней мере, он настаивал на дисциплине и государственной службе для своих приверженцев. Он появился как противодействие хаотичному трудовому коммунизму, но его поддержка все еще существующих монархии и Церкви отличалась значительной смелостью в обращении с образованием и частной собственностью на благо общества. В самом деле, фашизм не являлся слишком уж плохим течением. По большому счету он не был ни хорош, ни плох. Да и Муссолини умудрился оставить свой след в истории.

В России нечто еще более основательное и широкомасштабное вошло в действие после 1917 года. Это была Коммунистическая партия. В какой-то степени ее можно назвать изобретением Ленина. Эту организацию и ее доктрину он продолжал модифицировать и адаптировать

под меняющуюся реальность вплоть до своей безвременной кончины в 1924 году. Пока он был жив, российский эксперимент казался по-настоящему способным привести мир к новому порядку сквозь тщетные отрицания и паралич парламентского правления. По-прежнему чрезвычайно интересно отметить современность многих аспектов раннего большевистского режима.

Ленину удалось достичь этой современности, несмотря на целый ряд трудностей, порожденных марксистской традицией. Согласно представлениям психологов середины XXI века, Маркс был «зашорено оригинален». Он не мог видеть дальше пестрой пелены из демократических сантиментов. Даже на заре современной демократической идеи существовала тенденция исключать привилегированные классы из Истинной демократии простых людей. Маркс и его последователи усилили и сделали стереотипом эту тенденцию в их особой версии обожествленной пролетарской демократии. Тем самым Пролетариат стал некой Чистой Массой; мистической сверх всякой меры.

Но в самом начале русская революция контролировалась чрезвычайно практичным Лениным. Великую социальную реконструкцию он смог защитить от паралича массовой инерции и па-

ники. Так называемое «демократическое» правительство Советов на самом деле представляло собой иерархическую пирамиду, которая сводила администрацию с тщательно отобранными опытными представителями. Более того, Ленин установил полный контроль за образованием и прессой и тем самым направлял мысли номинально независимых масс в строго определенное русло. А для того, чтобы как-то оживить управление всей машиной, он и выделил прослойку, названную Коммунистической партией.

Коммунистическая партия, как и итальянская *fascisti,* обязана своей общей концепцией зародышевой идее Современного государства, опробованного так называемыми Хранителями в Республике Платона. И здесь следует сказать о том, что если кого и следует назвать Отцом Современного государства, так это Платона. Члены Коммунистической партии были очень похожи на Хранителей. Еще в 1900 году критики демократических институтов обсуждали возможность создания культа, посвященного, в первую очередь, общественному и политическому служению, самоидентификации, самообучению и самодисциплине. Англоязычное социалистическое движение обсуждало такого рода проекты

в 1909 и 1910 годах (см. «Фабианские новости» в «Исторических документах» за 1909–1910 годы), но потребовались опасности и страдания послевоенной европейской ситуации, чтобы создать типы рабочего класса и молодежи, достаточно обособленных, отчаявшихся и многочисленных, чтобы те объединили свои усилия в деле постоянного революционного контроля.

С самого начала Коммунистическая партия являлась скорее политической, нежели технической по духу. Она напоминала наше собственное Современное государственное братство своей настойчивостью в непрерывном обучении и подготовке в течение всей жизни, свободной критикой в рамках партии, доступностью (при должных ограничениях) для всех, кто хотел ей служить, и правом отказаться от привилегий и строгостей для всех, кто пожелал бы вернуться к относительной безответственности. Но Российская Коммунистическая партия была обречена остаться заложником марксистских взглядов даже после тщательной ленинизации. Коммунизм — этот характерный конечный продукт радикализма XIX века — все еще сохранял многие из своих старых сентиментальностей, все больше и больше возвращаясь к ним после

смерти Ленина во время правления стойкого, но неоригинального, подозрительного и властного Сталина.

На спине российской системы лежал тяжелый груз демократии и уравниловки, как на итальянском фашизме — патриотизм и религиозность. Даже Конституция Соединенных Штатов не провозглашала демократическое равенство и не настаивала на вдохновенной мудрости необразованных более упрямо, чем новый российский режим. И хотя вряд ли кто-либо из правящей группы россиян был крестьянского или рабочего происхождения — между прочим, в общественной жизни Западной Европы и Америки было гораздо больше политиков этого социального уровня — в России существовала мощная претензия на универсальную общность. Они позволяли себе плеваться в общественных местах, ходили небритыми и без воротничков, выказывая притворное равнодушие к буржуазному комфорту. Предопределялось, что при словах «классовая борьба» каждое колено должно преклониться. В ссорах между коммунистическими лидерами наиболее частыми оскорблениями стали «буржуа» или «мелкий буржуа». Часто они несли на себе смертоносный заряд, поскольку почти все-

гда утверждение оказывалось правдой. Пройдут долгие годы, прежде чем какое-нибудь движение направится к Современной государственной системе и освободится от этого мерзкого наследия.

Одним из самых прискорбных аспектов запутавшегося нового эксперимента в России с его парадоксальной социальной смесью из зависти и ненависти к старому порядку явилась неспособность направить компетентных техников, организаторов и педагогов по правильному пути. В попытке усовершенствовать общество экспериментаторы отказывались от помощи наиболее перспективных его представителей. Поскольку они обладали специальным образованием и знали то, о чем не знало большинство, на них сложно было повесить пролетарский ярлык. Именно по этой причине, как в России, так и в Америке, красноречивый, но неискренний политик имел возможность вмешиваться и препятствовать намеченному движению. А иногда он и вовсе становился непреодолимым барьером для научного развития нового экономического и социального порядка.

Трудности с реализацией Пятилетнего плана Сталина многому научили. Он усвоил, что подчинение технических способностей поли-

тической конъюнктуре работает во зло. В июне 1931 года он произнес речь о «Старой и новой технической интеллигенции» («Исторические документы», «Сталинизм», ХМ 327 705). Советский лидер откровенно признался в первостепенной необходимости использовать в современном сообществе «беспартийного» человека в вопросах науки и специальных знаний. К несчастью, руку партийного политика вскоре стали жестко укреплять странные защитники марксистской власти, входившие в состав организации, которую сначала назвали ЧК, а затем переименовали в ГПУ. Начиная с 1928 года, даты начала Первой пятилетки, несмотря на огромную движущую силу восторженного энтузиазма, Россия шагала вяло, медленно и неуклюже. Тяжелая претенциозно-политическая диктатура пропагандировала, но не исполняла, разочаровывая своих доброжелателей за рубежом и отталкивая лучших представителей интеллигенции, которую сама же и породила. Когда планы пошли наперекосяк из-за отсутствия точного материального предвидения, она обвинила в этом инженеров и тому подобных технических работников. И затем либо пересажала их по тюрьмам, либо вовсе расстреляла.

Еще одним плохим результатом неискоренимой порчи советской системы стало растущее отчуждение российского процесса от западных творческих усилий. Вместо того, чтобы сделаться союзниками, они стали противниками. По мере того как проблема социальной дезинтеграции становилась все более актуальной в странах на западных и восточных берегах Атлантики, становилось все яснее, что надежда на спасение цивилизации от катастрофы заключается в скоординированных усилиях разумных, способных и энергичных людей каждой нации и каждого класса. Революция, безусловно, была необходима, но не революция по устаревшей формуле уличных сражений и баррикад, и уж тем более не путем классовой борьбы. Должна была произойти революция в самом характере революций. В повстанческой революции больше не было необходимости, поскольку теперь система разрушала саму себя. Наступила фаза смелой конструктивной революции, и в каждой точке, где предпринимались конструктивные усилия, появлялся назойливый антагонизм фанатика Классовой борьбы, препятствующий и разделяющий (в качестве примера см. книгу «Выход» Аптона Синклера, 1933, в серии переизданий,

«Исторические документы», подраздел «История мнений»).

Огромная и бессмысленная растрата творческой энергии наблюдалась не только в России, но и во всем мире. В каждом цивилизованном сообществе множество молодых мужчин и женщин истощили свою щедрую молодость и жизненную энергию на ожесточенные конфликты по чисто доктринерскому вопросу. Националистический яд ситуацию еще более усугублял. Дело дошло до того, что многие вообще отвернулись от прогресса и захотели вернуть мир в некий воображаемый потерянный век добродетели. Так они стали членами Ку-клукс-клана, националистами и нацистами. Этот процесс казался естественным импульсом к более энергичным и эффективным действиям. Кому-то это казалось правильным. Духовное объединение энтузиастов, хоть и страдающее от смешения языков. Долгое время во всеобщем воображении идея Современного государства никак не могла проясниться, прежде всего, из-за очевидных противоречий внутри России.

Казалось, Россия вела за собой. Но на самом деле она только пыталась это делать, воодушевляя собственным примером. Вот только пример

этот оказался липовым. Она попросту говорила неправду. Тем временем, выжившие в значительной степени из-за отвлечения творческих сил, старые методы парламентской демократии и старая националистическая дипломатия по-прежнему владели большей частью Западного мира, и социальный крах только усугублялся, потому что ни у кого не нашлось сил, чтобы его остановить.

Глава 2
Ослабление старой образовательной традиции

Фабер в своем интереснейшем и наводящем на размышления историческом анализе (2103) рассуждает, в какой степени войны, кризисы, мор, эпидемии, фазы полуголода и периоды фактического голода за сто лет с 1914-го по 2014-й являлись необходимыми и в каком степени человечество могло их избегать, применяя те или иные ресурсы. Автор придерживался мнения, что бремя традиций явилось настолько великим, что на протяжении всего этого периода мученичество нашего вида стало неизбежным. Он утверждал, что без страданий этих поколений

людские умы никогда не смогли бы в достаточной степени очиститься от упрямой склонности к зависти, страхам и суевериям. Людская воля никогда не пробуждалась от усилий, дисциплины и жертвенности, которые требовались для установления Современного государства.

Свою критику Фабер прикладывал более конкретно, применительно к так называемому образовательному упадку, который наметился после (приблизительно) 1930 года. Обычно упадок школьного строительства и школьного образования связывался с падением общего уровня жизни и ухудшением общественного здоровья, но этот автор выдвинул несколько веских аргументов в пользу версии, что голод и уничтожение старосветского учебного оснащения отнюдь не являлись общественным злом. Как раз наоборот, они стали необходимым предварительным условием для эффективного социального переустройства.

«Общая школа, — настаивал он, — должна родиться заново, будучи фундаментально переделанной. Но прежде ее следует разрушить до основания».

С явным презрением он отметал убежденность в том, что XIX век представлял собой образо-

вательную эпоху. Утверждал, что нас вводит в заблуждение простое сходство между школами и университетами прошлого и современности. Образовательные учреждения занимали время молодежи тогда и делают это сейчас, но сам процесс отличается от прежнего самым кардинальным образом. Наше образование — это введение в непрерывный и революционный жизненный прогресс. Между тем, образование до XXI века являлось, по сути, консервативным процессом, будучи строгим и полностью традиционным. Его обширная дезорганизация стала неизбежной предпосылкой для создания нового мира.

Слово «образование» стало охватывать практически всю интеллектуальную деятельность на протяжении всей жизни человека, за исключением научных исследований и художественного творчества. Это не являлось первоначальным назначением. Первоначально предполагалось подготовить молодежь ко взрослой жизни. Коренное отличие заключается в том, что мы ни в каком возрасте не подводим черту, как это делали наши предки. Обучение сегодня не прекращается по достижении того или иного возраста. Основная общественная информация, публичные

обсуждения и решения — все это входит в сферу деятельности нашего Образовательного Контроля. И все это оказывалось за пределами того, что считалось образованием в начале XX века.

В то время люди получали знания случайным образом. Частные газеты сообщали то, что хотел слышать читатель или что хотел донести до читателя владелец печатного органа. То же самое касалось кино и радио. Средства донесения информации полностью «коммерциализировались». В Америке они подстраивались под рекламу товаров. В Великобритании контролировались и направлялись в интересах наиболее влиятельных политиков. Книгоиздание и даже публикации научных работ превратились в спекулятивный и конкурентный оборот. В мире не существовало даже такого понятия, как Центр знаний.

Весьма показательным признаком является невероятно долгий период существования человечества в условиях отсутствия вообще какого-либо структурирования получаемых знаний. Никаких энциклопедий, даже энциклопедии книготорговца, не существовало до XVII века, поскольку так называемая Китайская энциклопедия представляла собой литературный сборник.

Соответственно не существовало системы учета записей даже после появления торгашеских энциклопедий. И более того, не спешила появляться концепция постоянного упорядочивания новых знаний. И так продолжалось вплоть до конца XX века. Для людей Эпохи разочарования наши взаимосвязанные исследовательские, комбинационные, дискуссионные, проверочные, уведомительные и ознакомляющие организации показались бы чем-то нереальным. Наша Система фундаментальных знаний со специальными региональными подразделениями, с центром в Барселоне, с семнадцатью миллионами активных работников, с пятью миллионами корреспондентов и резервных осведомителей не уложилась бы в рамки обычного человеческого воображения. Структура воспринималась бы невероятно огромной, несмотря на то, что совершенно непродуктивные армии и военные учреждения, которые поддерживались народом в условиях всеобщей нищеты, являлись почти такими же многочисленными.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы все еще расширяем Мозг человечества. Увеличиваем количество его клеток. Расширяем осведомленность и обеспечиваем более быстрое

и эффективное взаимодействие между клетками. Рядом с общественным Мозгом процветает обширная независимая литература. По сравнению с сегодняшним днем наш вид в Эпоху разочарования был безмозглым; коллективным беспозвоночным с несколькими беспорядочно разбросанными и плохо связанными ганглиями. Летаргически невежественный. Ему еще только предстояло развиться из грубых зачатков скоординированного знания.

Но дело заключалось не только в том, что знания являлись рудиментарными, случайными, ошибочными, да и просто плохими. Со старым образованием все обстояло еще хуже. Знания явно выходили за рамки образования, вообще за рамки формального школьного образования. Потребность в здравой общей идеологии — это своего рода посыл Современного государства. Старые, так называемые «начальные» школы, как показал Фабер, только притворялись, будто передают знания. Что касается директивных идей, то они отреклись от этого намерения. Автор процитировал обзор ситуации в Америке, проведенный доктором Г. С. Каунтсом («Американская дорога в культуре», 1930), где ярко показана полная идеологическая стерилизация

общеобразовательных школ. Стерилизацию следует считать преднамеренной.

«Что касается предоставления исчерпывающей информации, — продолжает Фабер, — то в этот период образовательного краха не было уничтожено абсолютно ничего ценного, потому что ничего ценного еще не было включено в учебные программы. В общеобразовательных школах преподавалась история, которая, по сути, являлась пагубной псевдопатриотической болтовней. Биология — либо несуществующая, либо ханжеская и детская. «Сексуальные факты», как их тогда называли, ПРЕПОДАВАЛИСЬ путем препарирования цветов. И никаких экономических инструкций. «Образование» XIX века никоим образом не являлось просвещением; это было антипросвещением. Родители, политические и религиозные организации ревностно следили за тем, чтобы все так и оставалось».

Фабер цитировал школьные расписания, общественные обсуждения и выдержки из школьных учебников.

Он настаивал, что упадок научных исследований того времени сильно преувеличен. В результате разрушения системы частных пожертвований и того, что называлось «экономикой»,

значительно сократилось количество фактических работников, но, несмотря на замедление темпов роста и международного обмена идеями, упорядоченная наука не переставала развиваться даже на худших этапах социального распада. Исследования показали, что она способна выживать и приспосабливаться к самым ужасающим условиям. Она перешла от покровительства миллионера к покровительству оружейного барона. Нашла убежище в России, Испании и Южной Америке. Отправилась в ангары для самолетов, чтобы в свое время возродиться и стать мировым гегемоном. Режим частного капитализма никогда ее не баловал. На протяжении всей Первой Эпохи процветания безупречные научные исследования передавались из рук в руки.

«Как только наука окупалась, — заявил Синклер Льюис в своем романе «Мартин Эроусмит», — ее объединяли с коммерцией. И наука вырождалась».

Когда наступили голодные времена, паразиты отпали от науки. Но подлинный научный работник, привыкший к скудным припасам, потуже затянул пояс и во всевозможных труднодоступных местах упорно продолжал свою работу.

Что действительно произошло между 1930

и 1950 годами, так это систематическое обучение масс по алгоритму, сформированному в течение XIX века. Помимо элементов чтения, речи и счета учителя с учениками упражнялись в традиции. Проводились какие-то реформы, в частности в методике, достигались какие-то ничего не значащие успехи, появлялись школы с тем или иным уклоном, но, по сути, мало что менялось. Вплоть до начала Великой войны число школ росло почти в каждой стране. Доля «грамотных», то есть тех, кто хотя бы умел читать, неуклонно росла. После этого темпы продвижения постепенно упали практически до нуля (за исключением России после 1917 года, где массовое преподавание только набирало силу). С детьми не столько занимались обучением, сколько прививали обязательные традиции старого общества.

История конфликта между религией и наукой — это и есть история XIX века. Стабильную структуру христианской веры подорвали открытия новых геологических и биологических горизонтов. До 1850 года более девяноста девяти процентов населения Европы и Америки безоговорочно верили, что Вселенная создана в 4004 году до н. э. Интеллект был подобен одной клетке

современного мозга. А вырваться за пределы клеточной мембраны было страшно. Человечество поддалось агорафобии. Сегодняшние студенты знают о трудностях, с которыми столкнулось христианское служение в те годы умственного высвобождения и расширения в «символизации» Грехопадения и Искупления, которые до сих пор преподносились как исторические факты. Из-за неизбежной двусмысленности утратились и доверие, и авторитет. Последовавшие за этим споры, разгоревшись, перешли в шепот и иронию, но последствия этих споров становились все более очевидными в грядущих поколениях. Проявилась универсальная моральная неопределенность. Возникла парадоксальная необходимость отменить и старое, и новое.

Общепринятое христианское мировоззрение, как предписанное Католической Церковью, так и различными инакомыслящими протестантскими сектами, несло на себе грубый, но довольно эффективный моральный императив. Ад являлся эталонным противопоставлением хорошему поведению. Церкви, хотя и сильно пострадали в споре, оставались хорошо обеспеченными и прочно закрепились в образовательной организации. Практическое сопротивление оказалось

на поверку более эффективным инструментом, нежели противоречивые моральные усилия. Люди привыкли принадлежать Церквям и вверять им своих детей. И это вполне объяснимо в условиях отсутствия школ и подготовленных учителей. Традиционные ортодоксии препятствовали развитию современной этики в гармонии с новыми представлениями о месте человека в пространстве и времени, несмотря на потерю значительной части прежней силы неоспоримого убеждения.

Постепенно в течение Первой Эпохи Всеобщего процветания относительная ценность религиозного мировоззрения уменьшалась, Церкви теряли интеллектуальный и моральный престиж. Но только с экономическими спадами послевоенного периода церковные материальные основы разрушились полностью. Какое-то время эти великие организации делили с народом несчастья в общей катастрофе. Когда же производство восстановилось, церковнослужители уже не смогли восстановить свою прежнюю значимость. Прежний вклад растворился без следа. В той же степени пострадали и помещики, когда их земельные участки стали заниматься представителями новых общин. К 1965 году

для обычного молодого человека уже не осталось никакой возможности зарабатывать на жизнь служением той или иной Церкви. Для амбициозного учителя в серьезное бремя превратились священные ордена, поскольку они подразумевали мировоззрение старого мира. Поразительно, с какой легкостью пастыри и паства сменили ошейники и растворились в толпе по мере того, как исчезала возможность кормиться с подаяния. Организованные христианские Церкви наконец исчезли из истории почти так же быстро, как и жрецы Ваала после персидского завоевания. В утверждении Фабера, что религиозные культы не могли исчезнуть никаким другим способом, присутствует немалая доля истины.

Масштабное разрушение общественной морали, характерное для того времени, обычно рассматривалось как следствие переходного периода между угасанием христианской этики и установлением морально-интеллектуальной манеры современного поведения. Фабер смело поставил это под сомнение. Он признавал, что моральный дух западной цивилизации в значительной степени создавался за счет христианских организаций, но отрицал, что они его поддерживали. Он испарялся, по мнению автора, потому,

что вследствие диких колебаний экономической безопасности и стоимости денег разрушалось социальное доверие. Люди перестали уважать общество, поскольку чувствовали, что оно их обманывает и предает.

Глава 3
Распад и кристаллизация в социальной магме; гангстеры и воинствующие политические организации

Нравственные перетасовки в умах всегда привлекали внимание социального философа. Простой человек терял веру в дружественного Бога, веру в социальную справедливость, в свои образовательные и социальные услуги. Будучи безработным, он страдал от неудовлетворенных аппетитов. Освященная веками, связанная с работой и семейными ценностями жизнь стала недостижимой потребностью для растущего бесправного большинства.

То, что сегодня мы называем социальным зарождением, терпело неудачу. В семьях и рабочих сообществах не происходило объединения. Люди теряли терпение. Социальная уверенность

и дисциплина преобладали на протяжении всего XIX века. В XX веке они быстро растеряли свои позиции. Социальная безопасность стремительно покатилась вниз.

В истории человечества бесчисленное количество раз происходили эпизоды неуверенности, запутанной мотивации и свертывания побуждений. Все это зачастую приводило к массовым миграциям населения. На протяжении веков периоды спокойной уверенности являлись скорее исключением, нежели правилом. Но в прошлом люди принимались плевать на законы из-за истощения продовольственных запасов, эпидемий или чьего-либо жестокого вторжения, которое разрушало социальную структуру. Новый распад отличался принципиально иным характером. Это обуславливалось в первую очередь увеличением, а не уменьшением материальных и энергетических затрат в социальной системе. Процесс расширения пошел как-то не так из-за несоответствия традиционного права и деятельности правительства.

Разрушительные силы стали заметными и ощутимыми уже в XVIII веке. Их выявили социальные и политические потрясения, последовавшие за Французской революцией. Но господствующее

положение они заняли только после Мировой войны.

В XVII веке, когда население оставалось немногочисленным и почти никто не перемещался на дальние расстояния, за порядком можно было следить с помощью деревенского констебля, судить злоумышленника местным судьей и присяжными, которые досконально его знали и понимали его позицию и мотивы. Соответственно все лежало на поверхности. Экономический рост XVIII века увеличил размеры городов и движение по недавно проложенным дорогам. А вот соразмерного увеличения сил порядка за этим не последовало. Новые условия породили разбойника с большой дороги. Местный констебль и местный судья перестали справляться с возросшими требованиями. Неудивительно, что преступность стремительно поползла вверх.

После эксцессов первой Французской революции жестокое наказание применялось с некоторой робостью. В каждой европейской столице творить суд пыталась толпа, но правительственная машина вскоре приспособилась к новым условиям. Более или менее модернизированные полицейские силы появились по всему миру и положили начало новому этапу обеспечения

порядка и безопасности, этапу, который достиг своего апогея накануне Великой войны. На какое-то время мир, во всяком случае, многие его места стали почти так же безопасны, как сегодня. Безоружный человек мог относительно безопасно перемещаться по большей части Европы, Индии, Китая и Америки. Случаи ограбления или прямого насилия стали редкими. Полицейские в англоязычных и европейских странах не носили никакого оружия, кроме дубинки.

Мировая война разрушила многие запреты на насилие и кровопролитие, выпестованные годами прогрессивного XIX века. Все больше интеллигентных и деятельных, но безработных мужчин в новом мире автомобилей, телефонов, витрин магазинов, загородных домов без решеток и доверчивых социальных привычек оказались перед лицом незаконных возможностей, куда более привлекательных, чем любая законная манера поведения. После мирового спада безумие государственной экономики стало вести себя, как болезнь, на протяжении всего XX века. Оно препятствовало любому расширению и модернизации существующих образовательных, юридических и полицейских структур. Престиж суда и полиции неуклонно падал по ме-

ре роста всеобщего стресса и недоумения.

Наступала стадия беззакония. По сути, преступник освобождался от эффективной системы местного самоуправления и слежения за общественным порядком. Криминал проникся силой этого освобождения. Он окреп и принялся двигаться вперед широкими шагами, а закон, запутавшись в традиционных одеяниях, за ним не поспевал.

Криминальные сводки производят странное впечатление. Ужасные события кажутся сегодня каким-то гротеском или живописным абсурдом. Они подобны средневековым пыткам, праздникам каннибалов, военным зверствам или человеческим жертвоприношениям. Мы изумляемся и не верим: этого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Нам никак не прочувствовать, что человеческие плоть и кровь изнывали от страданий всего какие-то полтора века назад.

Преступники из более благополучных стран европейской системы в Первую Эпоху Всеобщего процветания перед Мировой войной, как и в тех немногих случаях нетерпимого поведения, с которыми общество иногда имеет дело сегодня, составляли ненормальное, постоянно снижающееся по численности меньшинство умственно

отсталых низших типов. Большинство преступлений были грубыми и происходили на фоне эмоционального перевозбуждения. В бизнесе присутствовали и воровство, и устойчивая доля мошенничества, но в объемах, не способных серьезно нарушить общественный порядок. Все изменилось, когда рухнул моральный дух прежнего порядка. Умные и предприимчивые оказались в конфликте с обществом, потому что оно их обмануло. Патриотизм не дал им ничего, кроме нищеты и войны. И они отказались от общества, сколотив мелкие группировки.

«Подельник» всегда был под рукой. Если он «подводил», до него легко можно было добраться. Небольшие банды возникали везде, где унижение людей перехлестывало любые границы и где таланты страдали от безработицы и нужды.

В 1900 году европейское общество еще находилось под воздействием общепринятого поведенческого кодекса. В 1950 году люди сбивались в банды, группы или сообщества по интересам либо просто растворялись в толпе. Универсальные стандарты хорошего поведения попросту исчезли.

Грабеж — первое преступление в каталоге антиобщественных деяний. Каждое эффективное

правительство оставляло за собой исключительное право лишать собственности, и каждое разумное правительство осуществляло это право с крайней осмотрительностью. В условиях нерегулируемой частной собственности всегда происходили кражи мелких или плохо охраняемых предметов. В Первую Эпоху Всеобщего процветания в Великобритании были достигнуты наивысшие уровни социального порядка. Воровство (отнесем к нему также мошенничество и разного рода хищения) при этом оставалось главным преступлением в списке. Другие встречались гораздо реже. Но всякий раз, когда наблюдался спад общего благосостояния, появлялись более активные методы грабежа, дополняющие кражу. Похититель хватался за чужие сумки и часы. Взломщик становился более изворотливым. Затем последовали ограбление под угрозой или с нападением. В мире всеобщей уверенности безоружные и никем не сопровождаемые люди всюду надевали дорогие украшения и носили с собой значительные денежные суммы. Но атмосфера доверия быстро охладилась. Даже в Великобритании конца XIX века наблюдались эпидемии грабежей. Преступники работали либо в одиночку, либо парами. Вошло в обиход напа-

дать со спины и выхватывать часы или кошелек. Бывало, что жертве заклеивали рот пластырем, вымоченным в смоле. В отдельные периоды становились небезопасными целые пригородные районы Лондона и Парижа. В относительной безопасности могли себя чувствовать только жители центра города. Такие явления заметно усилились на всей Земле после Мировой войны.

У роста преступности были свои пределы. Она могла угасать сама по себе по мере того, как у окружающих ослабевало ощущение безопасности. Грабить людей становилось тяжелее. Волна грабежей — это острое, а не хроническое общественное заболевание. Люди перестали надевать на себя украшения и носить крупные суммы денег, избегали темных улиц и пустынных дорог, предпочитали гулять компаниями и вооружались. Эпидемия грабежей достигла пика и пошла на спад.

Преступно настроенные элементы вскоре осознали важность объединения и создания новых сфер противоправной деятельности. Жертва стала более бдительной, ее стало сложнее выловить одну, и теперь у нее было оружие. С той поры преступления стали тщательно планироваться. Повсеместно множащиеся преступные

очаги стали укреплять дисциплину. Теперь вызов закону бросали достаточно хорошо организованные и террористически настроенные бандитские группировки. В Европе усиливающиеся тарифные войны увеличивали ставку на предприимчивость контрабандистов, а те, в свою очередь, все охотнее развивали тайные контакты и новые подзаконные правила, которые оказались весьма эффективными в борьбе против более агрессивных усилий правоохранительных органов. В Америке антиалкогольные законы создали необходимые условия для того, чтобы бандитские группировки подняли уровень политической коррупции и терроризма. Экономический спад продолжался на протяжении тридцатых и сороковых годов XX века, а социальное обеспечение в Америке сокращалось еще быстрее, чем в Европе. Но и там, и там набравшая мощь преступность с новыми силами обрушилась на законопослушных граждан распадающегося порядка.

Силовые задержания становились все более решительными и частыми. История повторялась с вариациями. На место разбойника с большой дороги XVII и XVIII веков пришли автомобильный бандит и железнодорожный грабитель.

Поезда класса «люкс» сначала успешно задерживались вооруженными бандами в Восточной Европе и Америке, а затем и повсеместно. Группы по десять-двенадцать человек действовали согласованно, заранее прорабатывали пути отхода и заботились о способах сбыть добычу. Позднее стали подвергаться нападениям загородные дома и клубы, полные богатых гостей. У телефонов перерезали провода, и в результате жертвы оказывались не в состоянии позвать на помощь. Подвергались рейдам налетчиков рестораны, игорные клубы и другие места отдыха людей с набитыми карманами. Хранить деньги в банках тоже становилось небезопасно. До 1930-х годов городской банк представлял собой большой и открытый красивый офис с распашными дверями, низкими стойками и стеклянными перегородками. Десять лет спустя лицо банка изменилось до неузнаваемости. Вооруженные револьверами клерки под стальной защитой вели переговоры с клиентом через малюсенькие окошки, которые при необходимости можно было быстро захлопнуть пуленепробиваемой шторкой.

Изменение масштабов и качества агрессивной преступности нашло отражение в общественных манерах. Стало сложнее демонстрировать себя со-

стоятельным человеком. Дабы не подвергать себя риску быть ограбленным, модник дважды думал, прежде чем нацепить ювелирное украшение, золотую цепочку для часов или дорогие запонки. Костюм стал более «застегнутым» и сдержанным. Карманное оружие перекочевало из Америки в Европу. Социальная показуха сошла на нет. Дома стали строить с узкими наружными окнами, на которых устанавливались железные решетки и массивные ставни. В толстые двери врезались замки, на косяки крепились засовы. Магазины стали охранять куда тщательнее, чем раньше.

Страх и потребность в защите заметно отразились на дизайне автомобилей. В середине XX века среднестатистическое авто походило на угрюмого и воинственно настроенного хищного зверя. И пассажиры невольно вступали с ним в зловещую гармонию. До Мировой войны зрелище разбитого транспортного средства на обочине заставляло почти любого водителя проезжающей рядом машины остановиться и предложить помощь. В новых условиях люди опасались обмана. Они отказывались останавливаться где-либо с наступлением сумерек. Даже днем спешили по своим делам, даже в тех случаях, когда видели на обочине явно пострадавших в аварии.

Новые условия привели к тому, что люди стали реже путешествовать. Статистические сводки того времени нередко выдавали противоречивые данные. Тем не менее, с достаточной долей уверенности можно сказать, что в период с 1928 по 1938 год число туристов, передвигавшихся по шоссейным и железным дорогам континентальной Европы, сократилось более чем на восемьдесят процентов. Безусловно, еще одним немаловажным фактором в таком состоянии дел являлось всеобщее обнищание. И все-таки главным оставалась неуверенность в завтрашнем дне.

Дороги становились все менее посещаемыми по мере того, как их оставляла безопасность. До нынешних времен они не дожили. Дорожные знаки и бензоколонки стали достоянием школьных музеев.

Что касается криминальной деятельности, то модернизация коснулась не только грабежей. Гораздо более печальным аспектом явилась организация террористического шантажа, направленного сначала против отдельных лиц, а затем и против целых общественных классов. Человек перестал путешествовать, чтобы не быть ограбленным, и тогда грабитель при-

нялся преследовать его до самого дома. И снова американские изобретательность и предприимчивость преобразовали мир. Мало-помалу обычный преуспевающий гражданин обнаружил, что опутан угрозами и смутными тревогами. Ценные бумаги перестали быть надежными, а позиции — стабильными. Но теперь, помимо постоянно растущей нестабильности имущества и доходов, появлялась все более острая необходимость откупаться от дополнительных неприятностей. Преодолев весьма слабую защиту полиции, шантажист, похититель и террорист действовали все более нагло и открыто.

Особенно жестокой формой нападения на незащищенных частных лиц стали похищения маленьких детей. Это было своего рода логическим продолжением похищений с целью выкупа домашних животных. Многие сотни детей были украдены, спрятаны и возвращены за вознаграждение до того, как похищение и убийство ребенка полковника Линдберга по-настоящему всколыхнуло общественность. Однако никаких эффективных мер для предотвращения киднеппинга так и не было разработано, и вскоре эта форма преступности распространилась и по Старому Свету. Похищали уже и мужчин, и женщин,

пытали или угрожали пытками, длительное время держали взаперти. Если преследование становилось слишком интенсивным, жертвы исчезали, и больше о них ничего не было слышно. Убийства множились. Люди стали объединяться в группы под такими, например, названиями, как Общество защиты граждан или Ассоциация гражданского порядка. Тот, кто хотел, чтобы оставили в покое его самого и его домочадцев, должен был отдать дань уважения банде. Иначе его ожидали самые печальные последствия. Но даже если ты расплатился с одними бандитами, у тебя не возникало гарантии, что вслед за этими не явятся другие с тем же суровым предложением, от которого невозможно отказаться.

И не только богачи столкнулись с подобного рода неприятностями. Все больше мелких служащих и торговцев оказывались перед необходимостью делиться с бандитами своими доходами. «Неприятности» — стало характерным американским словом.

«Ты же не хочешь неприятностей?» — мягко, но настойчиво спрашивал шантажист.

Новое поколение выросло в мире тайных компромиссов и закулисной капитуляции. Простой человек осторожно пробирался сквозь джунгли

самых разнообразных неприятностей. Никто не осмеливался жить, не будучи членом (и покорным слугой) какого-либо Союза. Фактически это являлось возвращением к древнейшим условиям выживания. Например, такие преобладали в Китае, на Сицилии, в Южной Италии. Это был рецидив свободы и уверенности лучших дней конца XIX века посреди угасания повседневного человеческого счастья.

Людей, кстати говоря, похищали не только с целью получить выкуп. Еще их продавали и заставляли заниматься проституцией. Насилие высвобождалось в личных ссорах, множились преступления из мести. На фоне угасания уверенности и удовлетворенности никого больше не отпугивал трагический финал угнетающих событий. Люди брали закон в свои руки, они стали драться и убивать, за что их неизбежно настигал все тот же закон.

Оставшиеся богачи, финансовые авантюристы, видные политические деятели, временные «короли» преступного мира — все они окружили себя телохранителями. Громилы, предоставлявшие частные услуги состоятельным американцам, напоминали самураев японской знати. По мере развития экономического спада набор вассалов

стал универсальной практикой для тех, кто мог себе это позволить. Телохранители защищали и самого человека и его дом, тем самым в некотором роде дополняя полицию.

Соответственно стал неизбежным переход от защищающего к агрессивному телохранителю. В главных преступников, во врагов общества под номером один превратились американские бутлегеры, которые и подали пример остальным. «Потасовки» вассалов с Америки вскоре перекинулись на Германию и Ирландию. Эти драки обычно представляли собой небольшие уличные стычки; иногда такое происходило во время политических митингов и шествий. После 1938 года политики перестали появляться на людях без охраны. Более того, сотрудников расставляли даже на некотором удалении от хозяина на стратегически важных точках. Сам же хозяин начал носить под пиджаком бронежилет. В наших музеях таких средств защиты на сегодняшний день скопилась не одна сотня.

Ни один мужчина, женщина или ребенок, из тех, кто «имел значение», не оставались незамеченными. После середины XIX века женщины добились больших успехов на пути к личной свободе. Примерно до 1912 года хорошень-

кая девочка-подросток могла бы взять рюкзак и в одиночестве отправиться в путешествие по Европе или Америке в полной безопасности и без всяких помех. В эпоху незащищенности вся свобода разом исчезла. Женщины перестали ходить без сопровождения даже в больших городах. Только к 2014 году вернулись прежние свободы для тех, кто молод, хрупок и нежен. Как показывала прежняя художественная литература, женщины боялись выходить из дома в одиночку вплоть до середины XXI века.

После 1945 года в записях появился новый аспект неуверенности. Упоминались небезопасные придорожные гостиницы, улицы, целые районы и деревни, где «всякое бывало», — где бесследно пропадали люди, а приезжих почти не стало. Некоторые из этих криминально зараженных территорий не могли восстановить свою приличную репутацию почти целое столетие. ОПАСНЫЙ большой отель с таинственными лифтами, переходами, ловушками и зловещими отдельными номерами сегодня вызывает неописуемый восторг у любителей старой романистики. Все это безвозвратно осталось в прошлом и именно поэтому так потрясает наше привыкшее к спокойной жизни воображение.

Психология полицейского XX века стала предметом для целой серии исторических исследований. В те времена не существовало никакой связи между правоохранительной, образовательной и медицинской службой. Такое объединение, которое кажется нам сегодня чем-то самим собой разумеющимся, в XVIII и XIX веках показалось бы безумием. Полицейский должен был стать живой преградой и указателем, способным вступить в бой в случае нападения, кражи, ограбления или непристойного поведения. От полицейского не требовалось проявлять инициативу. Он брал под стражу людей, которые «поступали в его распоряжение». Над ним стояли офицеры, как правило, представители другого класса. С полицейским отрядом работала совместно группа экспертов по уголовным расследованиям. До повсеместного внедрения скоростного транспорта, энергетического машиностроения и массового производства такая структура вполне справлялась с большинством преступлений. Эта модель полицейских сил достаточно хорошо работала до начала XX века. За исключением, пожалуй, только тех районов, где распространилась проституция. Полицейский поддерживал довольно высокий уровень свободы, сохранности соб-

ственности и общественного порядка. Но потом на него возложили обязанность следить за моралью и политическим вмешательством, и он надорвался.

Когда огромное сообщество Мирового государства начало неуклюже и мучительно вырываться из традиционных форм, полицейский контроль вновь не справился с возложенными на него задачами.

«Почему же, — задается вопросом сегодняшний студент, — полицейская организация оказалась не в состоянии справиться с новыми нагрузками? Почему правители не приспособили ее к новым требованиям?»

Основные контуры вразумительного ответа мы уже обрисовали. Когда стала насущной потребность в коренной перестройке мировой полиции, обострились международные враждебные действия, активизировались спецслужбы и шпионы. Международное решение образовавшейся проблемы стало невозможным. Отчаянные и глупые жертвоприношения кредиторам ее лишь усугубили, что являлось закономерным результатом любой социальной системы, основанной на приобретении.

Заточенная на получение прибыли капи-

талистическая система сначала безобразно расплодила безработицу и воинственность, а потом оказалась не в состоянии их контролировать. Она боролась с инфляцией и налогообложением, захлебываясь в них. Убивала школы, где выковывалось молчаливое согласие. Беспристрастно ограничивала занятость и помощь безработным. Экономила даже на вопросах полицейской охраны. Лицемерно заявляла, будто невозможно выстроить новую полицию, поскольку денег не хватает даже на оплату той, что имеется.

Полицейская организация образца XIX века продолжала отчаянно бороться, недостаточно финансируемая и оснащенная, разделенная, контролируемая мелкомасштабными и устаревшими национальными и местническими властями. Нередко она еще и подвергалась коррупции. Многострадальный век ко всем остальным сложностям добавил гипертрофированную дезорганизацию общественного развития. Полиция и прокуратура чувствовали, что у них гораздо больше врагов, чем друзей или союзников. Война с преступностью начинала больше походить на войну между разными преступными группировками. Постоянные бандитские разборки вообще не оставляли места представлению, буд-

то со стороны закона что-то контролируется. Это привело к недобросовестности при сборе и обработке доказательств чьей-либо вины. Во многих случаях (см. «Естественную историю полицейской облавы» Обри Уилкинсона, 1991) полиция подтасовывала доказательства. Ей стало важнее не докопаться до истины, а посадить человека в тюрьму. Суды захлестнула волна ложных показаний. По данным Уилкинсона, в начале XX века сотни тысяч правонарушителей были «справедливо осуждены на основании сфальсифицированных доказательств»; никаким другим способом их было не осудить.

Но попытки Уилкинсона хоть как-то оправдать правоохранительные органы рушатся под весом других признаков вырождения. Мы все с ужасом читали об использовании пыток в средневековой практике, содрогались от того факта, что в те времена даже существовали специальные машины и инструменты для причинения нестерпимой боли: дыба, тиски для пальцев, «испанский сапожок» и так далее. Полиция XX века принялась возрождать пытки в отношении тех, кого считала общественно опасными элементами. Сегодня копаться в этом и сложно, и очень неприятно, но у нас имеется большое количество фактов,

подтверждающих, что жестокое обращение с арестованными с целью вымогательства признаний и обвинительных заявлений превратилось в систему.

Одни люди хаотично объединялись в банды и занимались откровенно преступной деятельностью, другие создавали защитные ассоциации для поддержания безопасности и порядка, но не совсем законными методами. Так появились националистические «соколы» в Австрии, «сечо» в Словакии, ирландские республиканские организации, Ку-клукс-клан в Америке, многочисленные тайные общества в Индии, Китае и Японии. Россию захватили коммунисты, Италию — фашисты, Германию — нацисты. И все эти движения преследовали смелые и революционные, но вместе с тем и ужасающие экономические и политические цели. Все это, по сути, не что иное, как более профессионально подготовленные и структурированные бандитские системы. Вместо конкретного и быстрого шантажа они искали большего удовлетворения. Вот и вся разница! Даже когда организатор имел солидные представления о своей руководящей функции, локально его сознание вырождалось в поведенческую модель главаря. Все эти разные

формы перекристаллизации внутри сообщества, будь то большого или малого, возникали из-за невежества и недостаточного объединения управленческих, экономических и образовательных программ. Поскольку еще не существовало аргументированного предвидения, обеспечивающего непрерывный рост институтов, возникали все эти непреднамеренные и часто весьма болезненные новообразования, свидетельствовавшие о накоплении недовольства и требовавшие более тесной, энергичной и плодотворной формы человеческого общения.

Парадоксально, но цивилизованное общество конца XIX и начала XX века распалось как раз из-за настоятельной потребности постоянно обмениваться мнениями. Новые способы взаимодействия буквально разорвали его на куски. До возникновения удовлетворительно организованного Мирового государства продолжение распада и повторной сборки социальной энергии было неизбежным. Это напоминало распад органов у гусеницы в коконе. Все происходило лишь с одной целью — сформировать новые структуры имаго.

Даже само Братство в Современном государстве в том, что касается многих его ядер, поначалу

развивалось тем же путем. Перед тем, как объединиться, специалисты различных технических областей осознали, что вскоре исчезнет занятость и все то, что они ценили, если социальные беспорядки и дальше продолжат распространяться. Первые объединения «технарей», с точки зрения существующего законодательства, представляли собой все те же преступные группировки. Но, осуществляя защиту и проявляя агрессию, они, в отличие от других банд, обладали невиданной прежде силой мирового сотрудничества. Слияние объединений, состоящих из технических специалистов, и стало прообразом нового мира.

Всеобщая деморализация жизни на море, благодаря сохранившимся остаткам военно-морской мощи, распространялась гораздо медленнее, чем беспорядок на суше. После серии морских мятежей в конце последней европейской войны возобновилась древняя пиратская практика. Тем не менее, даже одинокий непокорный корабль имел достаточно возможностей, чтобы эффективно отбиваться от нападения. В тридцатые годы нападавшим даже после удачных рейдов не удавалось далеко уйти вместе с награбленной добычей. В 1933 году китайский флот распался на группы искателей приключений. Новоявлен-

ные пираты прямо по радио предлагали свои услуги тем правительствам, которые ранее поделили между собой их страну. Но эти бродячие корабли, хоть и с оружием на борту, причинили мало вреда, прежде чем их купили, захватили или потопили японцы.

В 1939 году в открытом море пираты захватили канадский прогулочный лайнер «Король Атлантики» вместе с пассажирами и стали требовать выкуп. Негодяи обещали всех убить в случае, если требования не будут выполнены. На перехват совместно выдвинулись американские морские и военно-воздушные силы. Операция по обезвреживанию морских террористов прошла успешно, несмотря на то, что морякам и пилотам подолгу задерживали зарплату. Бандиты дрогнули и позорно сдались.

Никогда пираты не захватывали судно водоизмещением более 9000 тонн. Относительное поддержание порядка на морских коммуникациях обуславливалось особыми условиями, например, недавним открытием радиосвязи. Тем не менее, в сороковых годах судостроение практически полностью прекратилось. Соответственно сильно сократилось и мировое судоходство.

До окончания третьего Европейского кон-

фликта новые виды преступной деятельности не появлялись в воздухе. Данное поле человеческой деятельности было относительно легко контролировать. Какое-то время самолет являлся самым безопасным и быстрым средством передвижения. В течение нескольких лет после почти полного прекращения обычных наземных путешествий редкий летчик все еще летал по небу над пропитанным опасностями городом, пустынной дорогой, разрушенными загородными домами и заброшенными сельхозугодьями, напоминая о прежних дисциплинах и обещаниях упорядочить будущее.

Было слишком мало самолетов, мало кораблей. Общий упадок предприимчивости почти не менялся. Небо и море оставались практически вне зоны действия социальных бедствий вплоть до середины века. Отсутствовала потребность в аэродромах, ремонте и заправке топливом. В результате почти не осталось авиаторов. Небо долго не тревожили, но потом его рассек меч нового порядка.

Глава 4
Изменения в военной практике после Мировой войны

Наука и практика ведения войны в Эпоху разочарования, не имея соответствующих направляющих и контролирующих сил, развивались нелепо и ужасно.

В 1914 году, в начале Мировой войны, военная наука представляла собой претенциозный клубок отсталых от реальности знаний. Военные ведомства, как мы уже говорили, позволили военной промышленности создавать оружие и боеприпасы в огромном количестве, но не произвели никаких ментальных перемен, чтобы общество соответствовало изменившимся масштабам. Все командующие сухопутными войсками, за редким исключением, неуклюже сражались в традициях боевых действий образца XIX века. Тактическая мысль не могла выйти за пределы таких стандартных понятий, как фронтальная атака, фланговый обход или прорыв. Все это, разумеется, приводило к чудовищным потерям. Адмиралтейства, возможно, предупрежденные

инженерами, проявили больше осмотрительности и по большей части скрыли свои флоты в сильно укрепленных гаванях. Крупным эскадрам позволили появиться лишь однажды. Итоги битвы оказались настолько спорными, что точка в этой дискуссии не поставлена до сих пор. Подводная лодка, минное поле, самолет, примитивный «танк», организованная пропаганда, направленная на ослабление боевого духа, газовые атаки и замена многих старших командиров — все это, конечно же, внесло ощутимые изменения в наземные бои, но едва ли не до самого последнего дня, когда общий упадок привел к перемирию, профессиональные солдаты цеплялись за идею, что с методами их древней и почетной профессии не произошло ничего фундаментального.

Все изменилось после Версальского мира. Дух беспокойства проникал как в военные ведомства, так и в министерства иностранных дел. Наконец, пришло осознание грядущих великих перемен, потому что они слишком запоздали на фоне огромного количества накопившихся и нерешенных трудностей. Молодые генералы не могли выбросить из головы воспоминания о воздушных и газовых атаках, действиях танков

и, прежде всего, о не по-джентльменски грубых высказываниях временных офицеров, обладавших практическими навыками и невоенными умственными привычками. Молодежь со временем постарела и заняла руководящие должности. Придя к власти, эти люди не уставали повторять: «Мы должны шагать в ногу со временем».

На смену консерватизму старшего поколения пришли инновации. Повсюду военные ведомства изобиловали новыми концепциями странных изобретений и тайных систематических исследований. Часто туманные и путаные сообщения шпионов и разного рода осведомителей тщательно поддерживались заинтересованными торговцами оружием. Это, в свою очередь, стимулировало неуемную тягу к изобретательству.

Старая война погибала в нескончаемых траншейных линиях. «Война за прекращение войны» душила прежние представления. На смену умирающей концепции должна была прийти новая война, и как можно скорее. Этого требовали министерства иностранных дел, потому что по-другому не умели. Война была необходима для поддержания суверенитета. Традиционное государство представляло собой организацию, направленную против иностранцев, и опиралось

на высшую воинственную санкцию. Любой другой путь позволял усомниться в необходимости существования многочисленных правительств. Тридцатые и сороковые годы XX века изобиловали скрытыми и гротескно отвратительными исследованиями в области разработки методов Новой войны. Единственной альтернативой дальнейшему развязыванию войн мог стать отказ от государственного суверенитета, но человеческие умы оказались к этому совершенно не готовы.

Изменения в методах ведения войны между 1900 и 1950 годами можно сравнить разве что только с введением огнестрельного оружия между XII и XVI веками. Всегда главным конфликтом являлась «битва», то есть прямое столкновение пеших и конных воинов. Традиционным костяком армии была пехота (правда, гунны и монголы играли по своим правилам), кавалерия выполняла второстепенную функцию. Артиллерия же только «подготавливала» атаку. Рамзес, Александр, Цезарь и Наполеон выстраивали битву по схожим алгоритмам. Славные победы в войнах романтических веков достигались одинаковыми методами. Мощный центральный удар — пиками, мечами, штыка-

ми, булавами. Схватка продолжалась обычно не более нескольких часов и заканчивалась бегством одной из сторон. Кавалерия устремлялась в погоню и учиняла резню. Нередко, правда, эта «открытая война» чередовалась с длительными осадами, когда обороняющихся брали измором. Тогда свою роль начинали играть голод, эпидемии и разлагающаяся дисциплина. Гражданские лица подвергались изнасилованиям, грабежам, опустошениям с целью уничтожить припасы. Горожанина или крестьянина принуждали к тем или иным работам или пытались выявить среди них шпиона. Тем не менее, массовые опустошения случались не так часто. Так, например, монголы прекратили орошение Месопотамии, а Вильгельм во время завоевания Англии разорил Нортумбрию. Но эти меры являлись не столько военными, сколько политическими. Война должна была продолжаться несколько десятилетий, чтобы привести к такому разорению, как в Малой Азии во время затяжного конфликта между Византией и Персией. Исламские вторжения сопровождались дискриминационным налогообложением. Дальние походы римских, гуннских и монгольских армий широко распространили ранее локализованные

заразные болезни. Между тем влияние старой войны на человеческую судьбу чрезвычайно преувеличивали националистические историки прежнего режима. Миграция имела куда большее значение, чем боевые действия. Крестьянская жизнь неизменно оставалась тяжелой и убогой с той поры, когда появилось сельское хозяйство. «Решающие мировые битвы» и «драмы империй» будоражили фантазию педантов и затуманивали головы обычных людей, а крестьянский образ жизни уступал место нормальным и упорядоченным бытовым условиям.

Но с Наполеоновскими войнами нормальная жизнь изменилась. В ее структуру стал вторгаться солдат, чего раньше он никогда не делал. На военную службу стали призывать большое количество людей и одновременно беспрецедентно повысили денежные сборы. Это не могло не нарушить экономические процессы. Власть хотела поднять промышленное производство. И та же власть хотела с помощью журналистики манипулировать массами как на поле боя, так и в обычной жизни. Война, которая у наших предков больше напоминала поверхностное вспахивание, теперь, подобно ковшу экскаватора, уходила все глубже и глубже, начиная

отклонять подземные источники и провоцировать обширные оползни.

Генералы времен Мировой войны оказались в роли неопытных дилетантов, которые отвечали за работу огромных механизмов, но не умели ими управлять. Если раньше война фактически велась только в одной плоскости, то теперь смертоносный град мог обрушиться и с неба. В эпоху пулеметов и шрапнели стало опасно даже приподниматься со дна окопа. Новая война к 1918 году стала войной народов. Из нее стремительно исчезало всякое уважение к гражданским. Люди это активно обсуждали, а кое-кто даже пытался разобраться в деталях данного явления. И вот теперь по всему миру военные джентльмены, многие из которых все еще нацепляли на себя шпоры, эполеты, лягушачьи нашивки, ленты и всяческие медали — то есть разные побрякушки, символизирующие славу старых добрых времен, — самоотверженно взялись за разработку методов ведения Новой войны.

Мужество всегда было лучшей частью военной традиции, и ничто не могло превзойти мужества, с которым эти люди стремились обогнать развитие изобретательства, овладеть инженерией и инженерами, химией и химиками, военными

корреспондентами и редакторами газет, а также биологией, медициной и даже финансами. Ничто не могло поколебать идею сражающегося суверенного государства. Ее поддерживали школы, оружейная промышленность и даже старые религии. Но эти структуры действовали совершенно бездарно. Гротескный ужас ожидаемых побед, страдания и несчастья трех поколений были еще достаточно свежи, чтобы скрыть смехотворные результаты.

По военной науке того периода существует обширная литература. Возможно, лучшим обзором является книга «Идеи Новой войны в середине XX века» Фуллера-Метша (2001). В ней автор задает себе три интереснейших вопроса: «За что, по их мнению, они собирались сражаться?», «Как они собирались сражаться?» и «Что, по их мнению, могло бы стать окончательным завершением их борьбы?».

Автор преподносит нам комплексный ответ. Ни один человек, похоже, не смог осознать Новую войну в целом. С торжественной педантичностью и претенциозной скромностью каждый «эксперт» взаимодействовал с той или иной частичкой и предоставлял самому Провидению собирать разрозненные детали в единое целое.

То, о чем довольно туманно размышлял среднестатистический солдат образца 1935 года, по-видимому, сводилось к следующему. Мир представлялся разделенным на правительства или Державы. Это были суверенные государства по типу Вестфальского договора (1642). Все эти образования являлись конкурентноспособными и в той или иной степени враждебно друг к другу настроенными. Время активной вражды представляло собой войну, время восстановления сил и подготовки к новой войне — мир. Таким образом война, по сути своей, являлась прекращением перемирия между воюющими сторонами. Непримиримый спор и столкновение интересов ввиду сложившихся обстоятельств не прекращались никогда. Каждая держава стремилась навязать свою волю соседу. Перед наступлением XX века эта функция возлагалась на армию. Войска пересекали границу и наступали на резиденцию неприятельского правительства. Дальнейшие события обычно развивались по одному из двух сценариев. Либо столица атакованного государства захватывалась наступающими, либо захватчика отбрасывали обратно. В соответствии с волей победителя заключался мир и подписывался мирный договор. Победившая сторона

диктовала условия передела границ, передачи колоний, выплаты компенсаций. Победитель расширялся, побежденный усыхал. Подданные последнего чувствовали себя пристыженными, ущербными и обделенными. Эта формула практически без сбоев работала вплоть до конца XIX века.

Когда разразилась Мировая война, «фронт» начал расползаться или даже вовсе исчезать, что вызвало растерянность среди тех, кого прежде следовало безоговорочно считать гражданскими. Власть начала терять ориентиры, поскольку теперь законными целями становилось решительно все. Возникал резонный вопрос: а что представляет собой ответственное правительство, способное навязать волю или покориться ей? Относительно России сформулировать вопрос следовало несколько иначе: должен ли коммунистический режим взять на себя обязательства самодержавия? Должна ли Германия, или, точнее, должны ли *все немцы* нести ответственность за милитаризм Круппа и кайзера? На чью совесть следовало возложить раздел Османской империи — на опереточного султана в Константинополе или на Кемаля-пашу в Анкоре? США, едва ли не играючи, вступили в войну,

а затем отказались участвовать в инициативе, предложенной президентом Вильсоном. Иными словами, главу государства выставили не полномочным представителем. Неужели Власть может позволять себе вести дела подобным образом?

Еще больше недоумения возникало по поводу законов военного времени. Если фронт фактически упразднен, а мирных жителей бомбят с воздуха, то дает ли это право профессиональным солдатам стрелять в гражданских и разрушать их дома? Это все равно что выпустить на футбольное поле зрителей, которые будут пинать мяч, преследовать судью и отменят счет между изначальными сторонами в игре.

Военное руководство от решения этих ужасающих загадок нового века попросту самоустранилось. Оно решило, что такие вопросы не для него. В войне всегда присутствует та или иная сторона, и дело политиков эти стороны определять. Одна Власть по-прежнему «навязывала свою волю» другой Власти, совершая вторжение и поход на неприятельскую столицу. Но теперь применялись новые методы пропаганды, блокада и нападения в тылу, а также химические и воздушные устройства «подрыва боевого духа» и уничтожения вражеского населения. Все

с одной целью — заставить чужое правительство уступить. А если оно будет упорствовать до самого конца, значит, придется пройти парадным маршем по центральной улице поверженной столицы. Однако эта концепция отказывалась рассматривать ситуацию, когда правительство не уступает, а падает, не оставляя ответственного и жизнеспособного преемника. Военные не хотели разбираться с этим вопросом. Вероятно, предполагалось, что в таком случае война не закончится вовсе.

Работать с финансовыми аспектами военные тоже не желали. Они считали, что это не их дело — оценивать соотношение между затратами на новую войну и материальными преимуществами, какие можно будет извлечь за счет проигравшего. Делом военного было подготовить лучшую и самую тщательную из возможных войн, со всеми наисовременнейшими усовершенствованиями, нисколько не заботясь о стоимости, и положить соответствующий проект на стол правителю. В свою очередь, правительство должно было выяснить, где и как взять денег на войну и подготовиться к ней. Этот значительный отрыв военного ведомства от экономических и политических ресурсов не мог не привести в скором

времени к самым печальным последствиям.

Болезненно прогрессирующий милитаризированный разум пришел к поистине ужасающим открытиям. Солдата это сильно напугало. Он вдруг ясно осознал, насколько могучее зло отныне можно причинять на войне. Страх просочился в речи и книги. Но готовности с этим что-то делать все еще не проявлялось. Отчасти это объяснялось добросердечной традицией. Не хотелось впадать в уныние главным образом по той же причине, по которой священники и епископы продолжали служить Церкви. Это была единственная работа, с которой они могли справиться. В течение тридцати лет после Версальского конгресса тысячи интеллектуалов, профессиональных солдат, пилотов, инженеров, химиков, медиков и им подобных при согласии и одобрении своих потенциальных жертв умело, терпеливо и тщательно ковали самые отвратительные новинки: инструменты для уничтожения всего живого.

По-видимому, все так называемые эксперты на поверку оказались гнусными посредственностями. Никто так и не смог разработать новые методы ведения боевых действий в качестве некого единого и целостного инструмента. Ис-

следовательские группы работали втайне и по этой причине не были подвержены внешней критике. Они вступали в сговор не только против иностранца, но и друг против друга. Те, кто занимал высокие посты, продвигали по службе самых лояльных, а не самых умелых и опытных. Разумеется, это не могло не отразиться на качестве выпускаемых устройств. Оно серьезно хромало.

В Великобритании группа экспертов занималась так называемой механической войной. Англичане умудрились произвести на полях сражений настоящий бедлам, внедрив уникальное изобретение — сухопутный дредноут, или танк. Появление бронированных гусеничных машин несколько запоздало, но в конце войны их стали применять упрямо и массово. В условиях нарастающей скупости военное ведомство не жалело денег на танки. Для пехоты в траншеях это была очень болезненная оплеуха. Забавные наземные броненосцы всех размеров, от своего рода бронированного пулеметчика на гусеницах до целых мобильных фортов, по-прежнему являются одними из самых странных экспонатов Музея Олдершота. Они вполне достойны встать в один ряд с нефтяными дредноутами адмирала Фишера.

По Европе прокатилась британская мечта по-

кончить с войной за счет больших громыхающих железяк. Подразумевалось, что бронированные бревна преодолеют и траншеи, и пояса ядовитого газа, и пулеметные очереди. Разрабатывались танки, способные либо плавать, либо двигаться под водой. Хансен даже утверждал (см. «Последние военные приготовления», XXIV, 1076), что обнаружил проекты летающих танков, а также танка, способного ползать под землей, то есть рыть землю, как крот. Большинство этих так называемых изобретений так и остались на бумаге. Этой доли гениального абсурда, безусловно, не хватает в современных военных музеях.

Англичане и французы, а затем и немцы усердно работали над усовершенствованием боевого самолета. Наибольших успехов добились англичане и немцы. Почти одновременно с итальянцами и японцами они усовершенствовали воздушную торпеду, управляемую на огромных расстояниях. Французскому уму, при всем его врожденном блеске, мешало характерное нежелание отказываться от старого завода ради нового. В разработке новых возможностей химической атаки дальше всех остальных пошли немцы, американцы и русские. Разоружение Германии неизбежно вынуждало военное руко-

водство проводить научные разработки втайне от всего мира. Русские делали акцент на химии из-за своей относительной промышленной отсталости. Немцы первыми применили газ во время Великой войны, и они же долгое время оставались пионерами военного газа. Лидерами в изучении методов биологической войны, то есть распространения инфекционных заболеваний, стали Америка и страны Центральной Европы.

Еще до начала боевых действий в Центральной Европе в 1940 году и в последующие годы распространение различных болезнетворных микробов уже не воспринималось как чисто теоретическая возможность. На специальных фабриках изготавливались маленькие контейнеры, похожие на авторучки. Колпачки снимались, обнажая растворимые концы. Содержимое выливалось в колодцы, резервуары или ручьи. С самолетов в крупные реки сбрасывались стеклянные бомбы, которые разбивались при ударе о воду. В Музее Олдершота имеются соответствующие образцы. После 1932 года медицинские работники принялись массово вакцинировать население.

В отношении реального применения болезнетворных микробов имелись серьезные опасения.

Болезнь легко распространить, но чрезвычайно сложно ограничить ее ареал. Если армия наступает, она неизбежно берет пленных (будь то военные или гражданские лица), занимает города и территории. То есть, скажем, успешно запущенная чума отскочит со смертельным эффектом для тех, кто ее запустил. Бактериальная война рассматривалась скорее как метод отчаяния или мести со стороны терпящей поражение армии. Тем не менее, было сочтено разумным держать бактериологическое оружие, что называется, про запас, на самый крайний случай, как самый последний политический аргумент. В 1936 году японцы пытались утихомирить Северный Китай, «не прибегая к крайностям». Распространили злокачественный грипп в Кансу и Шенси. Другие случаи применения данного вида оружия официально никогда не признавались. Исследования Исторического бюро показали, что другие предполагаемые случаи его преднамеренного использования ответственными лицами были вызваны либо несанкционированным рвением подчиненных, либо деятельностью религиозных фанатиков, которых стало очень много в период неразберихи после 1945 года. К 1950 году произошла акклиматизация комаров,

передающих желтую лихорадку. В результате численность населения полуострова Индостан сократилось в разы. Тем не менее, считается, что антропогенный фактор здесь ни при чем.

Определенные «светлые» головы пытались объединить методы газовой и бактериологической войны. Это, несомненно, самое странное из человеческих безумий; его начало и конец — закрытая глава в истории человеческого разума и воли. Оно не могло не наложить свой отпечаток на одежду и городскую архитектуру той эпохи. История судебных пыток или ритуального каннибализма не затрагивает наших эмоций слишком сильно по причине временной отдаленности. Но бесчеловечность химических и биологических экспериментов особенно поразительна ввиду ее близости к нашему времени. В этих непотребствах звучали общие идеи, объединявшие человечество. Тысячи ясных и активных талантов, каждый из которых, бесспорно, в здравом уме, в атмосфере, одержимой правдоподобными, но ложными предположениями о патриотическом долге и чести, сотрудничали ради получения совместного результата, феноменально жестокого и безрассудного.

Занятые этим гнусным делом проявляли

исключительную серьезность, трудолюбие и бдительность. Если бы они могли сегодня вернуться в мир, каждого по отдельности мы бы сочли респектабельным, общительным и эрудированным человеком. В совокупности же они представляли собой сборище опасных безумцев. Они создавали страдания, искалеченные жизни и смерть для миллионов своих собратьев.

Большинство смертоносных веществ, приготовленных для целей газовой войны, вообще вышли за рамки общих знаний. Сегодня эти вещества либо полностью сняты с производства, либо выпускаются в крайне ограниченных количествах в научно-экспериментальных целях. Старые распыляющие устройства в настоящее время кажутся гротескным предвосхищением сегодняшних крупномасштабных сельскохозяйственных и гигиенических операций. Уничтожение саранчи с воздуха, опрыскивание лесополос с целью предотвратить заболевания деревьев, регулярное очищение и стимулирование зерновых культур и корнеплодов — все это продукт рационализации практик Эпохи разочарования.

Фабер, этот кальвинистский оптимист, с его доктриной, что все плохое к лучшему в самом безумном из мыслимых миров, считал, что мас-

штабные методы «чрезвычайно стимулированы» сумасшедшей изобретательностью военного периода. И он же предположил, что без военного стимулирования самолет не вошел бы во всеобщее употребление еще много лет. Тем не менее, мы склонны думать, что в своем учении о достижении мудрости через слабоумие автор, пожалуй, заходил чересчур далеко. На самом же деле это всего лишь модернизация истории Чарльза Лэма о том, как начали жарить поросят. В этом было что-то распутинское, некое возрождение древней ереси о том, что ради спасения следует сначала ОСНОВАТЕЛЬНО согрешить.

В какой-то степени газовая война послужила предтечей для кампаний против крыс и мышей (2033 и 2035). Мир, наконец, избавился от бубонной чумы. До 2060 года в разных районах разрешалось применять во время праздников «веселящий» газ. До 2080 года в качестве вспомогательного средства для подавления угнетающих кометных токсинов применялся так называемый доброкачественный газ. Насыщались кислородом фабрики, игровые поля, залы заседаний и другие подобные места, требующие повышенной активности. В гималайских долинах отдыха использовался газ Лотоса Паданата Тагора. Все это,

по мнению Фабера, также является отголоском газовой войны.

Единичные химически агрессивные средства, которые когда-то были произведены для военных нужд, сегодня используются для охраны особо важных объектов на промышленных предприятиях. Синтез кустарным способом является тяжким уголовным преступлением. Для получения смертоносных смесей использовались самые разнообразные химические возможности. Далеко не все вещества получались газообразными. Многие представляли собой летучие жидкости или даже мелкодисперсные твердые субстанции, которые распылялись с воздуха над вражескими позициями. В 1931 году доктор Гертруда Уокер, участвовавшая в Расследовании Межпарламентского союза, опубликовала полезное резюме сложившегося состояния дел. Совместно с коллегами («Какой будет Новая война?», «Исторические документы», 937 205) она сформировала достаточно полную оценку ситуации и сошлась во мнениях с ведущими военными экспертами. Ее список охватил все основные типы отравляющих газов, что побудило участников продолжать расследование вплоть до 1938 года. Позднее разработка химического оружия заметно пошла на спад.

После 1940 года даже военные разработки оказались ограничены растущим финансовым параличом. В 1960 году уже ни один завод не мог производить материалы для газовой войны в достаточно больших масштабах.

Из газов, фактически испытанных во время Мировой войны, главными, по-видимому, являлись хлор и различные его соединения (фосген, газ «зеленого креста», хлорпикрин и так далее). Они разрушали легочную ткань. Немцы использовали хлор на Ипре в апреле 1915 года. Тогда от этого газа погибли 6 000 человек. Вскоре от него отказались, потому что его присутствие быстро обнаруживалось, вследствие чего можно было незамедлительно принять меры предосторожности. Другие газы того же класса действовали более скрытно. Жертва начинала кашлять. По мере разрушения легочных бронхиол и альвеол она задыхалась, появлялась рвота, а при новых приступах кашля наружу устремлялись кровь и лоскутки обугленной ткани. Изо рта рвалась кровавая пена. Лицо синело и распухало, и наступала смерть. Если пострадавшему удавалось выжить, его поврежденные легкие становились элементарной добычей для туберкулеза и ему подобных заболеваний. Газы этой группы приво-

дили к характерным осложнениям. Со стороны нервной системы это проявлялось в виде дикого возбуждения, панической атаки, судорог, отчаянных криков и паралича. Тысячи людей умерли в агонии от газа «зеленый крест», и кое-кто из экспертов предложил учинять расправу над целыми народами таким способом в качестве карательной меры. Газ «зеленый крест» использовался при польской бомбардировке Берлина в мае 1940 года. Немцы в ответном налете на Варшаву использовали авиационные торпеды с тем же веществом, но с более сильной концентрацией. В 1935 году «зеленый крест» обрушился на Нанкин, китайцы ответили тем же веществом по Осаке.

Газ «желтый крест», он же горчичный газ или иприт, куда более коварен, жесток и смертоносен. На самом деле это не газ, а летучая жидкость. На холоде она тонкой пленкой незаметно растекалась по земле, попадала на ботинки и одежду, переносилась туда-сюда. Ее присутствие обнаруживалось медленно, по мере того, как она испарялась. Наступали дискомфорт и паника, а затем кашель и рвота. Мучения были жуткими и сопрягались с полной безнадежностью. Иприт убивал любую живую субстанцию,

с которой соприкасался. Сжигал, обугливал, покрывал волдырями. Одного объема иприта в пяти миллионах объемов воздуха было достаточно, чтобы негативно сказаться на легких. Горчичный газ въедался в кожу, воспалял глаза, разрушал мышцы. Он полз по всему организму, ослаблял все его функции и душил. Почти все пострадавшие умирали. Максимальный эффект — быстрые муки и смерть, минимальный — длительные страдания и укороченная жизнь. «Желтый крест» использовался во время боевых действий в Северном Китае в 1934–1937 годах и в китайских налетах на Японию. Эвакуация Берлина в 1946 году проводилась под угрозой сброса бомб, начиненных горчичным газом.

(Бомбы с ипритом на Берлин действительно были сброшены, но либо по счастливой случайности, либо из-за прямого неподчинения химиков, нанятых поляками, сброшенный смертоносный груз не разорвался при падении. Если верно второе, значит, речь шла о самом ярком примере саботажа пацифистов, который помог положить конец боевым действиям в Центральной Европе. Пятеро были расстреляны, еще семнадцать героев приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но ни один

из протоколов судебного разбирательства не сохранился.)

По данным доктора Уокера, вместе с «зеленым» и «желтым крестом» использовался еще и «синий крест», которому отводилась особая роль. Являясь почти неосязаемой пылью, это вещество представляло собой прямой нервный раздражитель. Оно могло проникать через фильтр любого противогаза и вызывало такую боль, что жертва, теряя самообладание, срывала с себя резиновую маску…

Все эти бесчеловечные инструменты широко и активно применялись уже во время Мировой войны, но после ее окончания секретная деятельность различных отделов по изготовлению отравляющих газов только возрастала и поддерживалась с удвоенной энергией. Потребовалось еще двадцать лет, чтобы раскрыть самые ужасные возможности этой отрасли. В конце 1918 года профессор Льюис открыл «люизит», вещество, которое уже было поздно применять на фронтах, но которое стало предметом жарких дискуссий. Это было некое соединение мышьяка. Человека выводил из строя один объем смертоносного вещества на десять миллионов объемов воздуха. Лишенное вкуса и запаха, оно действовало

не сразу, и его сложно было быстро распознать. Как и при действии горчичного газа, кожа покрывалась волдырями.

За этим изобретением последовали другие. Более смертоносные яды стали называть более милосердными, потому что они убивали мгновенно. Некоторые вызывали судороги и мышечный спазм, в несколько раз более сильный, чем при неизвестном сегодня столбняке. Однажды в экспериментальных целях отравили целое стало коз. Описание этого эксперимента наводит на вполне определенную мысль: «Газ подействовал на всех. Три козы разбили себе головы об ограждение». Отраве следовало помочь в ее задаче, которую доктор Уокер назвал «массовым убийством». Было проведено сопутствующее исследование зажигательных и взрывчатых веществ, способных разрушить либо выжечь изнутри любое убежище от газовой атаки. То есть испуганную толпу пытались лишить вообще каких-либо шансов на спасение.

Резюме доктора Уокера не включает в себя изобретение Ковоета в 1934 году. Речь пойдет о «перманентной смерти». Состав этого продукта держится в строжайшей тайне. Это соединение очень медленно разлагается. Само по себе оно

не является ядом, и это вовсе не газ. По консистенции, скорее, крупнозернистый порошок. Испаряясь, оно соединяется с кислородом, в результате чего и образуется страшнейший яд. Негативное воздействие начинается с одного объема на пятьдесят миллионов объемов воздуха. Действие в основном люизитного типа. Впервые «перманентную смерть» применили в Восточной Пруссии в Первую Польскую войну. Отраву распылили вдоль всей границы на глубину до трех миль. Население срочно эвакуировали. Восточная Пруссия превратилась в полуостров, доступный только из Литвы или по морю. Несмотря на тяжесть зерен, ветры в конце концов расширили полосу смерти до пятнадцати миль. Так химическая смерть достигла Данцига.

В этот отравленный район не заходили вплоть до 1960 года, за исключением специалистов, оснащенных противогазами и защитными комбинезонами. Территория была усеяна трупами людей, крупного рогатого скота, собак, мышей, крыс, птиц и более мелких существ. Червей убило на глубине до метра под землей. В «Картинах войны» приведены две фотографии: растительность погибла не вся — деревья остались, но без листьев на ветвях, трава сохранилась местами,

большие площади теперь занимал серый мох.

Любопытным побочным продуктом «перманентной смерти» явилось то, что сегодня известно как стерилизующая ингаляция. Изначально все оказалось следствием банальной случайности. Китайцы организовали воздушный налет на Осаку и Токио в 1935 году в качестве возмездия за бомбардировку Нанкина «зеленым крестом». Предполагалось использовать «перманентную смерть», но из-за спешки, сложностей приготовления и дефекта приемки что-то пошло не так. Все китайские самолеты были сбиты японцами на пути домой. Результатом рейда среди населения стали только временный подъем температуры тела, тошнота и диарея.

Но японцы рано радовались. В течение нескольких месяцев у всех беременных произошли выкидыши. Причем это касалось не только людей, но и практически всех животных. Исчезли мыши и крысы, и вскоре стало ясно, что эффект будет сохраняться годами. Не пострадали только птицы по причинам, которые позднее разъяснил Крейфорд-Хаксли. Воробьи чрезвычайно размножились, а куры торжествующе кудахтали в лишенных детей городах. При изучении состава отравляющего вещества китайские химики

наткнулись на компонент, способный воздействовать на гены. Такие компоненты сегодня называют кинетогенами Пабста. Благодаря работам этого ученого и его помощников биологи узнали о разных видах кинетогенов. В процессе научных экспериментов были получены новые типы аберрантных, то есть неполноценных животных. В сороковых годах XX века стерилизационную ингаляцию широко применяли на безлюдных территориях. Возможно, недалек тот день, когда она найдет важное евгеническое применение.

Японский опыт произвел неслыханную общемировую сенсацию. И не мудрено, поскольку его восприняли как новый эффективный способ массового геноцида. Но милитаристский класс, как в Японии, так и в Европе и США, очень рассчитывал на то, что люди будут умирать не просто так, а сперва отрабатывая функцию пушечного мяса. Патриоты пребывали в ужасе, пока не догадались, что китайцам неизвестна формула стерилизационного ингалятора. Мир содрогался от страшных слухов. Поговаривали («Проклятая евгеника», «Исторические документы», 5 752 890 и далее), что новое изобретение применялось с воздуха в Палестине, Аравии, Ир-

ландии, а также частично или целиком в Китае и на африканском континенте. Но человечеству была гарантирована безопасность от такого вида вооружений, потому что ингалятор получился случайно. Ученые буквально рыли землю голыми руками, пытаясь докопаться до точной формулы этой адской смеси, но все было тщетно. Ее разработали и поставили под контроль только после того, как безумный мир сурового человечества оказался во власти Воздушной диктатуры.

Но каким образом все эти отвратительные приемы Новой войны должны были окончательно сломить волю воюющей державы? По-видимому, этот вопрос так и не был разработан. А если и был, то держался в таком секрете, что исчез вместе с его создателями. После того, как задохнулись миллионы, после того, как города пропахли трупами, — что тогда?..

Возможно, прежняя власть в своих рассуждениях не заходила так далеко. Все, что мы можем сегодня распутать в работах химических экспертов, представляется какой-то глупейшей шалостью злобного озорника. Кажется, что все исследования в данной области проникнуты беспричинной деструктивностью человека с мозгом агрессивно настроенного шимпанзе.

Поразительно, что эти планы скрупулезно выстраивались ровно до того момента, когда наступала пора задавать главный вопрос «ЗАЧЕМ?». Например, в Морском военном музее в лагуне Торчелло находится шесть подводных лодок-рейдеров, построенных четырьмя разными великими державами. Все эти аппараты специально спроектированы как дальние базы для ведения газовой войны. У них не было ни оружия, ни обычного боевого снаряжения, и они имели практически неограниченную дальность действия. В чреве каждой — от пяти до девяти самолетов с солидным запасом газовых бомб. В чреве каждого — тридцать дальнобойных авиаторпед со всей необходимой аппаратурой наведения. В бомбах — четыре разных типа газовой смеси, но они мало отличались друг от друга по характеру и эффективности. Самые маленькие из этих рейдеров несли достаточно мощи, чтобы «подготовить» около восьмисот квадратных миль территории. Один такой рейдер мог полностью уничтожить население Лондона или Нью-Йорка. Эти подводные авианосцы делали Лондон уязвимым для японской атаки, а Токио, скажем, для ирландской. Они упразднили в мире последние уголки безопасности.

Шесть зловещих чудовищ сияют теперь в огромной галерее бок о бок. Ядовитые клыки обнажены, но миссия заброшена. Мрачные свидетельства и неопровержимые доказательства одного кошмара среди многих других кошмаров, порожденных ненавистью и злом. Человеческий мозг в Эпоху разочарования легко им поддавался. Эти чудовища теперь беспомощны, и они — там! Их изготавливали с тем же посылом, что и в Средние века — пыточные орудия. Даже среди счастливой уверенности в нашей теперешней жизни хорошо бы нам помнить, что при соответствующих условиях люди, технически столь же здравомыслящие, как и мы, могут проектировать и создавать ужасающие смертоносные аппараты.

Эти факты обладают отталкивающим действием, а мы уже уделили им внимания более чем достаточно. Не следует смаковать ужасы. История не предназначена для того, чтобы превращать ее в праздник непотребства. Газовая война унесла более миллиона жизней. Между тем суть нашего рассказа заключается в том, что после ускоренного унижения милитаризированного ума бездарными генералами воинственная наука не столько прогрессировала,

сколько путалась в собственных многочисленных изобретениях. Ученые изобретали один ужас за другим, постоянно пугали и мучили человечество, сеяли ненависть и болезни, занимались деморализацией и разрушали промышленность, делали целые страны непригодными для жизни и разрывали связи, посредством которых люди организовывали упорядоченные общества, но наука не приводила к решительному завершению той или иной войны. Без планов на будущее, вообще без видения мира в целом, тысячи специалистов, скрытых под грифом секретности, эти «проклятые гениальные патриоты», как называл их Исаак Бартоншоу (1913–2003), продолжали накапливать взрывчатку, болезнетворных микробов и фантастически смертоносный газ.

Никакой всеобъемлющий план не объединял ни один из этих центров зла в одно заранее спланированное целое, как, например, военные приготовления империи Гогенцоллернов были объединены четкой и продуманной схемой решительной войны. Под вульгарной монархистской болтовней о немецких усилиях 1914 года скрывалась реальная схема, как преобразить цивилизацию, основанную на тевтонском ядре в соответствии с тевтонскими идеалами. Воз-

можно, в этой схеме действительно имелись очевидные дефектные элементы, но в целом она была вполне логичной и внутренне завершенной. После 1914 года военное планирование так и не восстановило полноту идеи, не вернулось к логически обоснованному фундаменту, а воинственность окончательно потеряла остатки разума. Все остальное катилось уже просто по инерции, без малейшего представления о задуманном.

По миру разбросало множество бессвязных ментальных мин. Вспышка беспорядочного зла вполне могла привести их в действие. Требовалась только одновременная детонация безумных голов, наделенных властью. Такое развитие событий вполне могло бы уничтожить человечество. К счастью, единения безумства так и не произошло.

Угроза хаоса, состоящего из катастроф и бесцельных жестокостей, висела над неорганизованным и незащищенным миром три четверти века. Периодом Максимальной незащищенности историки называют интервал между 1935 и 1965 годами. Именно тогда происходили наиболее ужасающие события. Например, в Нанкине, Пекине, Осаке, Берлине и Варшаве.

Но именно неимоверный ужас воспитал и закалил лучших людей для того, чтобы они достигли мира во всем мире. Два фундаментальных зла традиционализма нейтрализовали друг друга во время длительного периода инкубации Современного государства. Жадный кредитор уравновесил жадного торговца оружием. По мере того как оружие дорожало, потенциальный покупатель беднел. Ослабевающая экономика в конце концов подкосила даже самых обеспеченных толстосумов. Производство химического оружия стало заваливаться в ту же экономическую яму, что и все другие типичные институты старого порядка. Всеобщая социальная ликвидация, наконец, затронула и частный капитализм, упорно не желавший видеть что-либо, кроме прибыли. Наступало тотальное банкротство.

Глава 5
Угасающее видение мирового порядка: Япония возвращается к войне

Мы уже показали, как парламентская демократия упразднила реальных лидеров в государственных делах и заменила их странным типом псевдопредводителей, которые, по сути,

являлись РЕЗУЛЬТАНТАМИ, то есть людьми, которые ничего не делали, не создавали каких-либо эффективных структур, не сталкивались с чрезвычайными ситуациями, а только маневрировали между проблемами, извлекая из этих маневров мелкие выгоды, вроде поднятия своего положения в обществе или престижа. Результанты просто наблюдали за разложением, не прилагая никаких усилий, чтобы его остановить. В самом деле, а зачем результанту было прилагать какие-либо усилия? Разве он не выражал народную волю?

Мы уже рассматривали поведение этих удивительно неэффективных групп перед лицом финансовых потрясений, которые душили экономическую жизнь. Похоже, что никто из них даже не стремился детально изучить развернувшийся деструктивный процесс. Неправильная адаптация Версаля только усугубляла проблемы, а демократия доверила людские судьбы обманщикам. Система настаивала, что те действуют из лучших побуждений, но на деле власть оказалась загадочным образом ни на что не способной. Вдоль границ Италии и Германии гноились открытые раны, и никто не проявлял стремления их исцелить. На Дальнем Востоке конфликт меж-

ду Японией и Китаем, не вызвав европейского протеста, перерос в открытую войну. Каждое мировое событие громче предыдущего взывало к коллективным действиям, но слова оставались только словами. Лига Наций назначала комиссии по расследованиям и проводила достойный восхищения анализ безнадежных ситуаций.

Но никто не имел ни малейшего понятия, как остановить мрачное развитие ситуации. Главы государств повторяли одни и те же традиционные жесты. Складывалось впечатление, что ничего другого от них попросту нельзя ожидать. Исторические закономерности больше не работали, и руководители вдруг обнаружили, что больше не могут жестикулировать. Их конечности словно превратились то ли в облака, то ли в камни.

В этих условиях решающим оказалось поведение Японии. В 1931 году внутренняя революция передала политическую власть в руки патриотической военной группировки, дипломатически беспринципной и крайне ортодоксальной в отношении традиций. С необычайной энергией и столь же необычайным отсутствием подлинного *видения* этот милитаристский кружок принялся в карикатурном виде копировать

европейский империализм образца XIX века. Коллективный разум правящей группы сверх всякой меры оказался романтически настроенным и одержимым идеей национального господства и славы, несмотря на то, что христианский мир уже прошел эту стадию с гигантскими потерями. Военные инициативы оказались квазинаполеоновскими, дипломатические претензии основывались на самых ярких европейских примерах. Настала «очередь Японии» испытывать судьбу на этом поприще.

Наш отдел исторических исследований скрупулезно изучал вопрос, как японские империалисты представляли себе собственные действия. Но на самом деле это лишь частный случай общей загадки, почему любая «Власть» того времени видела себя в искаженном свете. Прошло всего полтора столетия с той поры, когда японские солдаты маршировали по улицам поверженных китайских городов. Тем не менее наши психологи с горечью признаются, что не понимают, как с виду абсолютно нормальные люди умудрились докатиться до таких степеней безумия. Почему умные люди вели себя таким образом?

Разгадка кроется в необычайной легкости, с которой человеческий разум способен подавлять

неприятную реальность и погружаться в атмосферу гротескных, но лестных иллюзий. Точно так же, как западные банкиры, экономические эксперты и государственные деятели не видели тщетности своих финансовых методов, так и японские милитаристы не смогли разглядеть бесперспективность континентальной авантюры. Они не видели за собой жалких, нищих и голодных крестьян, деградировавший физически и морально городской пролетариат, бунтарское бормотание в пропахших потом промышленных центрах и протесты интеллигенции.

Даже неуклонное падение национального престижа за рубежом и растущая экономическая напряженность в стране не избавляли от радужных галлюцинаций. В своем губительном стремлении подражать Западу Япония старательно воспроизводила большинство его революционных условий. Тем не менее, японские лидеры ясно видели, что дезорганизованный Китай с большим трудом пытается найти новый метод коллективной жизни и тем самым найти замену своему древнему слабому империализму. По всем правилам международной игры это предоставляло Стране восходящего солнца неплохие шансы. В Токио помнили, как развал империи Великого

Могола обнажил Индию для европейских пиратов и тем самым позволил создать нестабильную и бесцельную английскую колонию. Теперь же сама судьба предоставляла Японии возможность господствовать над всей Азией или, по крайней мере, над большей ее частью. Кто мог сказать, где закончится имперская авантюра и когда ей наступит конец? Мираж безграничной власти и славы открывался перед японскими милитаристами, как это всегда бывало, когда кто-то начинал выстраивать свою империю.

Они полагали, что каким-то чудесным образом смогут обойти и Новую войну, и современную индустриализацию, и парадоксально склонное к саморазрушению частное капиталистическое предпринимательство, и Россию, и Америку с их превосходящей массой населения, и традиционное единство вместе с несгибаемым упрямством, присущим китайскому народу; рассуждали не то как подростки, не то как британские генералы, нежась в «теплой империалистической постельке» до 1914 года. Это была архаичная мания величия, которая привела к убийству около трех миллионов солдат и офицеров, полной социальной дезинтеграции в Китае и окончательному краху японской монархии.

Желающие получить соответствующие знания могут обратиться к специальным учебникам, где подробно изложена история японской агрессии, начиная с 1931 года. В них охвачены захват Шанхая, вторжение в Маньчжурию и создание марионеточного государства Маньчжоу-Го (1932), прорыв Великой стены, вторжение в континентальный Китай с севера и поход на Пекин. До начала тридцатых годов боевые действия происходили по образцу старой войны, то есть исходя из практики XIX века. Китайцы были плохо оснащены ввиду слабо развитой промышленности, поэтому японцы не сочли нужным прилагать слишком дорогостоящие усилия для достижения своих целей.

Все это происходило под аккомпанемент протестов совершенно бессильной Лиги Наций в Женеве. «Отчет Литтона», подготовленный комиссией по расследованию, можно найти в серии «Исторические документы» (2 067 111). Между тем, протестные настроения уравновешивались двусмысленными высказываниями министерства иностранных дел Великобритании, почти открытой поддержкой со стороны французской военной промышленности и американских банков, а также принадлежащих этим структурам

газет. Благодаря этим разногласиям японские милитаристы имели прекрасную возможность попросту игнорировать всякую западную критику.

В 1935 году японцы оккупировали Пекин и Тяньцзинь. Соответственно в китайской столице образовалась вторая марионеточная монархия. Однако оккупантам оказалось очень нелегко удержать в подчинении огромную страну. Особенно это касалось южных и западных районов. Маньчжурия, Внутренняя Монголия и Шаньси по-прежнему кишели бандитами и мятежниками, а все еще незанятая долина реки Янцзы продолжала сражаться под руководством реорганизованного Гоминьдана. Ни в одной части Китая или Маньчжурии японцы не могли чувствовать себя в безопасности. К тому же им сильно отравлял жизнь строгий экономический бойкот, поддерживаемый вездесущим терроризмом. Созданный великим китайским революционером Сунь Ятсеном, Гоминьдан неоднократно видоизменялся. Он имел грубое сходство с Коммунистической партией и различными формами европейского фашизма, и подобно этим объединениям поддерживал ядро сознательной цели во всем своем сообществе. У него отсутствовали

жизненный центр и формальный глава, а идея подпитывалась бесконечными военными операциями. Под сильным внешним давлением это политическое движение стало яростно патриотичным и ксенофобным.

К 1936 году в континентальной Азии Япония уже была вынуждена постоянно держать более полутора миллионов солдат, но власть над Китаем так и оставалась неполной. Бомбами, начиненными «желтым крестом», пришлось дважды бомбить Нанкин, Пекин до его капитуляции, а также Учан и Ханькоу. Погибли сотни тысяч человек, но остальных это не сломило. Общество «Защиты Китая» в качестве акта возмездия обрушила газовые смеси на Токио и Осаку, поразив мир внезапной СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ.

Никто не знал о китайских ВВС, пока те не показали себя в действии. Машины прибыли из Швеции через Россию. Другие западные страны также поставляли китайцам военную контрабанду. Неопознанные самолеты с неизвестными бомбами появились в небе и с громким гулом полетели над морем к японским берегам. В 1935 году японский транспорт подорвался на мине и затонул в заливе Пе-чи-ли. В 1936 году три японских корабля были уничтожены ми-

нами неизвестного происхождения в радиусе пятидесяти миль от порта. На севере военные поставки всех видов шли из Советской России, на юге — из французских и британских владений. Все активнее к военной помощи Китаю стала подключаться и Америка, поскольку имперские амбиции японских лидеров становились все очевиднее и наглее. Западные чувства разрывались между недоверием к Японии и желанием восстановить порядок на капиталистической основе, тем самым спасая Китай от коммунизма. По мере японского продвижения европейские и американские симпатии к Китаю увеличивались все ощутимее. Австралия и Новая Зеландия обратились к Вашингтону с предложением дополнить взаимные гарантии о разделе сфер влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе от 1937 года. То есть речь шла о взаимных гарантиях для всех европеизированных регионов Тихого океана. Какое-то время казалось, что западный мир может быть приведен к своего рода единству на фоне регулярно вспыхивающих агрессивных японских устремлений. Однако нанесенные Центральной Европе унижения все еще не были забыты и по-прежнему причиняли ощутимую боль. Потенциальное сотрудничество

сильно подавлялось этим обстоятельством.

Еще до начала завоевательного похода на Китай в Японии разразился сильнейший социально-экономический кризис. Предыдущие успехи, связанные с легким захватом Пекина и неспособностью китайской армии реорганизоваться в могучую силу, наполнили островную империю патриотическим энтузиазмом и надеждой. Война трижды завершалась победой и разгоралась вновь. Ни один захватчик никогда не завоевывал Россию, и никто никогда не завершал завоевание Китая. Всегда за пределами покоренных провинций появлялись другие, извергающие непримиримую враждебность. Сычуань и южные территории оказывали неиссякаемую поддержку и снабжали сопротивляющийся Гоминьдан. Становилось ясно, что в Китае больше не может быть мира до тех пор, пока захватчики не прорвутся в Тибет.

Японию охватила усталость от войны. Крестьяне видели, как их дети уходили на войну, чтобы никогда не вернуться. Нехватка самых необходимых продуктов привела к голоду. К 1935 году в Японии уже велась интенсивная агитация под общим лозунгом «Остановим войну!». В Нагое прошли массовые демонстрации.

Полиция разгоняла их, жертвы исчислялись сотнями. Вскоре начался неистовый сброс накопленных товаров за границу с целью оплатить не только боеприпасы, но и такие жизненно необходимые импортные товары, как австралийское мясо или канадская и американская кукуруза. Война истощала поля, разрушала производительность на бескрайних китайских территориях. Японская социальная структура оказалась слишком примитивной, чтобы повторить немецкие экономические чудеса во время Мировой войны. Доверие к Японии неуклонно падало. Соответственно ее перестали кредитовать. Токио не мог получить иностранный займ даже под 14–15 процентов, что являлось совершенно непомерной ставкой. И все равно конца этому безумию видно не было.

Японские милитаристы зашли слишком далеко, чтобы отступать. За ними стояло страдающее население, умеющее становиться мстительным. К тому же за ареной борьбы очень внимательно наблюдали Россия, Америка и Европа. В соответствии с лучшими традициями своей культуры национальные лидеры попытались одним решительным массированным ударом обрушиться на провинцию Хубэй. Подготовились очень ос-

новательно, призвали всех, кого только можно было призвать. Наступление должно было стать «проникающим в самое сердце ударом».

Токио запланировал сходящийся марш из Нанкина, Шаньдуна и Гуанчжоу. Таким образом, планировалось единовременно поразить жизненно важные центры. К Шаньдуну и Гуанчжоу проходили железнодорожные ветви, но их было сложно защищать на всем протяжении. Грунтовые дороги оказались почти непригодными для интенсивной эксплуатации. Проникнув в Хубэй, японцы оказались вынуждены треть своих сил оставить для охраны и налаживания транспортных коммуникаций. С величайшим трудом удавалось перемещать боеприпасы, а о тяжелых орудиях и говорить не приходится. Три великие армии соединились в районе Ухани, но замкнуть кольцо не смогли. Возникла тупиковая ситуация; иными словами, тупик взаимного истощения. Китайские войска так и не позволили себя полностью окружить. Весь 1938 год Япония ждала хороших новостей от вырытых в виде полумесяца траншей под Уханем, но ждала напрасно. Эпидемия вспыхнула в июле, камня на камне не оставив от всех санитарно-медицинских усилий захватчиков. В начале 1939 года

японцы начали всеобщее отступление в Нанкин. Все это сопровождалось катастрофической дезорганизацией транспорта, нарастанием мятежных настроений и восстанием в метрополии.

Об ужасах этого похода не принято было говорить. В начале наступления в трех японских армиях насчитывалось более двух миллионов человек; к концу отступления их осталось менее миллиона. Голод оказался куда более смертоносным, нежели действия китайских партизан. Измученные японские солдаты умирали прямо на дорогах. Китайцы редко брали пленных. И дело здесь вовсе не в отсутствии милосердия. Голодали все, не было никакой возможности предложить пленному хоть какую-нибудь еду. До Нанкина добрались меньше ста тысяч человек. Мелкие отряды пробивались на север и на юг. Тем временем в войну с Японией вступили Соединенные Штаты, а Осака и Нагоя оказались в руках коммунистических комитетов.

В течение нескольких недель разбитая японская армия бездействовала в лагерях к западу от Нанкина, а затем она взбунтовалась, перестреляла офицеров, провозгласила социальную революцию и объединилась с Китайской Красной армией, которая вышла из Ханчжоу и освободила

Нанкин.

Вступление Соединенных Штатов в Восточную войну не только завершило деморализацию милитаристской Японии, но и ответило на вопрос, кто минировал японские территориальные воды и поставлял китайцам подводные лодки.

Лишь относительно недавно удалось окончательно разобраться с историей морской войны против Японии. В то время фальсифицировали едва ли не каждую запись, едва ли не каждое событие скрывалось или тщательно маскировалось. Теперь совершенно очевидно, что не только частные фирмы производили мины и занимались постановкой подводных минных заграждений, но и различные европейские военно-морские ведомства под предлогом экономии продавали большую часть подводных судов для «взлома» агентам и дилерам, действующим от имени южноамериканских посредников. Подводные лодки либо целиком, либо в разобранном виде отправлялись в перуанские или чилийские порты, а оттуда через Тихий океан на Филиппины. В 1937 году Манильская декларация президента Рузвельта № 2 практически распространила на квази-независимые филиппинские острова Доктрину Монро, а у японцев не оказа-

лось достаточно энергии, чтобы бросить вызов неофициальному протекторату. Теперь архипелаг стал базой для постоянных нападений на японские морские коммуникации.

Военно-морская ситуация в Тихом океане оставалась сложной. К востоку от Филиппин лежат Ладроны, разрозненная группа вулканических островов, из которых самый большой — Гуам. Они были переданы Соединенным Штатам Америки по Версальскому договору и частично управлялись силами американского военно-морского флота, в то время как остальные находились в ведении Японии в соответствии с мандатом (после Испано-американской войны в 1899 году южную часть островов Испания уступила США, а северную продала Германской империи; соответственно после Великой войны Лига Наций германскую часть передала под управление Японии). Японцев связали обязательством не строить фортификационные сооружения в своих новых владениях, но по мере того, как ситуация становилась все более напряженной, Токио, похоже, начал игнорировать запрет, по крайней мере, в том, что касалось строительства баз для подводных лодок. На воде, под водой и над нею между Ладронами, Филиппинами и материковой Азией

становилось все мрачнее и опаснее. Концентрация американского флота угрожающе нарастала между Гуамом и Филиппинами. Вашингтон объяснял это необходимостью обеспечить нейтралитет последних. Соответственно усилилась патрулирующая концентрация японского флота вдоль китайского побережья. Подводные лодки и суда мелкого тоннажа, прикинувшись нейтралами, занимались контрабандой боеприпасов и совершали мелкие набеги на слабые места японских коммуникаций.

Над водой субмарина, как и любое другое судно, может поднимать флаг и требовать уважения согласно своей принадлежности к такому-то государству, но на минах флагов нет, а под водой можно распознать кодированные сигналы судна своей страны, но отличить нейтрала от врага не представлялось возможным. Ошибки и псевдоошибки были неизбежны. В 1936 году неподалеку от Ладронов исчезли две американские и несколько японских подводных лодок. Пока дипломаты занимались взаимными обвинениями, американский военно-морской флот взял дело в свои руки. Начиная с 1937 года в западной части Тихого океана развернулась неофициальная морская война.

Ни одна из держав не стала торопиться с фактическим объявлением войны. Америка, несмотря на смелые эксперименты Рузвельта № 2 или, возможно, из-за них, находилась в состоянии углубляющегося экономического и политического беспорядка. Япония бросила почти все без остатка на «удар в сердце» Китая. Тем не менее, наиболее консервативные круги в Соединенных Штатах видели в войне на Тихом океане спасительное отвлечение общественного внимания. Раздались голоса, требующие усиления военного присутствия на Филиппинах, а после японского провала под Уханем стремление к открытой войне стало неконтролируемым.

Подробности последовавшей за этим короткой, разрушительной и нерешительной морской войны не должны нас особенно занимать. Боевые флоты встретились в западной части Тихого океана и разошлись после двух дней перестрелки и тяжелых потерь. Похоже, у японской стороны быстрее закончились боеприпасы. Во всяком случае, именно японцы скрылись в сумерках под прикрытием дымовой завесы. Американцы заявили о своей победе, поскольку японцы отступили под прикрытие своих минных постановок и субмарин. Больше на море Япония

не бросала прямой вызов Америке. В обеих державах усиливался экономический кризис, но в техническом смысле война между ними никогда не заканчивалась. Какого-либо договора они так и не заключили, во многом благодаря тому, что обе фактически развалились. Развалились на части. Социальная революция смела конфликт со сцены.

(Это безрезультатный финал напоминает непрекращавшиеся бесполезные войны между Византией и Сасанидами, в результате чего Малую Азию опустошали три столетия. Военный конфликт не закончился как таковой, он просто стерся из истории по итогам распространения ислама.)

Социальная дезинтеграция в Японии, едва начавшись, принялась развиваться по нарастающей. Огромная масса населения, преимущественно крестьяне, почти не пострадала от процесса вестернизации, и они очень легко впали в тот не развивающийся вариант коммунизма, что поглотил Квантун, Чекян и Фуцзянь. Немногочисленная прозападная интеллигенция, отягощенная множеством внутренних распрей и доктринальных споров, боролась, впрочем не очень эффективно, в крупных городах за то,

чтобы переделать повстанческий коммунизм в конструктивную модель по московскому образцу. Фрагментация наступила быстро; милитаризм выродился в разбой и местечковый феодализм. То тут, то там какой-нибудь отпрыск старой знати в роли босса гангстеров объявлялся в сопровождении своих самураев.

Несколько лет вся Азия от Тихого океана до Персии, казалось, скатывалась обратно к политическому и социальному хаосу, к натуральному хозяйству, нищете и эпидемиям. Индия погружалась в варварство. Дух коммунизма пропитал разум огромного количества людей; другие европейские идеи оказались непопулярны. Но это был коммунизм без Пятилетнего плана и даже без какой-либо плановой концепции. Классовая война разразилась с невиданной жестокостью. Всюду убивали ростовщиков и сборщиков налогов. Имперская власть в Индии не была свергнута. Скорее, лишена реального престижа и отступила на большое расстояние. Князья формально оставались «лояльными», хотя в некоторых случаях по-тихому присоединяли «неспокойные районы», прилегающие к их собственным владениям. На местах в некотором роде импровизировали: поддерживали подобие социального порядка

на очень низком уровне и постоянно пренебрегали любой центральной властью.

Глава 6
Ослабление западной хватки в Азии

В Азии неуклонно продолжался спад директивного влияния наполовину модернизированных европейских «империализмов». Еще в 1929 году распространение крестьянского коммунизма в Китае вызвало сильную обеспокоенность у индийского правительства. Арест британских и индийских агитаторов Мератхе, а также чрезмерно суровые приговоры, вынесенные им в 1933 году, показали как серьезность опасений, так и неразумную неуклюжесть, с которой пытались сгладить ситуацию.

Британской империи не грозили те же упадок и крах, что произошли с Римом. Вместо этого она расслабилась, как мы сейчас и опишем.

К несчастью, прежде чем ослабить хватку в Индии, у нее была, как и в Ирландии, короткая судорожная фаза «твердости…

(Здесь, по-видимому, отсутствуют несколько листов из рукописи доктора Рейвена.)

Глава 7
Современное государство и Германия

Вопрос первостепенной важности в истории человечества заключается в следующем: почему уроки Великой войны и последовавших за ней экономических и социальных потрясений, уроки, которые сегодня кажутся нам совершенно очевидными, насколько это возможно, почему же эти уроки не отразились должным образом в умах великих мыслителей того времени? Сегодня складывается впечатление, что британская, французская, американская, русская, итальянская и немецкая мысль оказались во власти предрассудков и несусветной глупости. Почему начинание Вильсона на пути к объединению мира не было продолжено? Почему после 1932 года не хватало сил на реконструкцию Лиги Наций, когда весь мир взывал хоть к какой-нибудь центральной власти для объединения денег и экономической жизни? Почему Эпоха разочарования длилась так долго? Мы уже отмечали некоторые из основополагающих причин: корыстную прессу, обширные антисоциальные

частные интересы, тяжелый вес традиций, догматическое мышление школьных учителей, социальное разложение на фоне экономической деморализации. Но даже эти пагубные влияния, взятые все вместе, не кажутся достаточными для всеобщей интеллектуальной слепоты по отношению к очевидным признакам бедственного положения.

За всеми этими условиями, постоянно приводящими к неудачам, стояло что-то еще. В силах восстановления скрывалась внутренняя слабость, проявлялся фундаментальный недостаток. Мир не мог выбраться из-под груза накопившихся трудностей, потому что отсутствовало представление о том, куда двигаться. Какие-то идеи витали вокруг, но они фактически исключали друг друга. Каким бы хорошим ни был пловец, рано или поздно он утонет, если в конце концов не доберется до твердой земли. Дефицит не являлся ни моральным, ни материальным. «Чего-то» не хватало в головах! Имелись воля к спасению и материал для этого, но не существовало никакого плана. Мир окутала бесцельность. Ему еще только предстояло что-то расслышать, кто-то должен был ему что-то растолковать.

Для того, чтобы разобраться в вопросе, рас-

смотрим ментальную и эмоциональную фазы типичного культурного сообщества, имевшего центральное значение в то время, — немецкого. Истории, похожие по сути, хотя и сильно отличающиеся в деталях, можно рассказать о французских, англосаксонских, русских или испано-говорящих сообществах. Все они обладали одной общей чертой. Желали спастись поодиночке. Пытались сделать по отдельности, да еще и в условиях жесткой конкуренции, то, что можно было сделать только с величайшим трудом в унисон. Это означало для каждого из них парализующее влияние военной угрозы, чрезвычайную экономическую нестабильность, неспособность справиться с болезненными финансовыми условиями и, как следствие, состояние психического «беспокойства», которое делало каждый шаг неточным и несвоевременным.

Только когда мы осознаем истощение той агрессивной энергии, которая практически европеизировала весь мир перед Мировой войной, мы сможем понять столь странную продолжительность Эпохи разочарования. Необходимо подчеркнуть некоторые факты, имеющие фундаментальное значение для сохранения здоровья

нашего мирового сообщества. Европа не могла привести мир к единству, потому что сама была глубоко разобщена. Мировая война явилась всего лишь следствием накопившейся напряженности, которая скрывалась под поверхностью на протяжении всего Первого периода мирового процветания. К 1920 году европейские народы составляли четверть от всего человечества. Именно они играли центральную цивилизационную роль на протяжении двух столетий. Но теперь именно им предстояло в первую очередь излечиться от тяжелого психического заболевания, которое, казалось, вдруг резко обострилось. Имя этой болезни — ненависть.

В Тридцатые международная напряженность в Европе нарастала ежегодно. Тем не менее, настоящая война разразилась только в 1940 году. Целых десять лет вся Европа была «заминирована», но само осознание этого факта не только не сдерживало дрейф в сторону войны, но и, наоборот, ускоряло ее наступление. Это гениальное изобретение президента Вильсона, Польский коридор, «выход Польши к морю», был той самой миной, которая взорвалась первой. Последовавшая за этим серия детонаций разнесла в клочья скрипучую и неповоротливую Лигу Наций, да

и по большому счету все остатки уродливого Версальского договора, не поддающиеся нормальной человеческой адаптации.

Немцы в некотором роде обобщили мировую ситуацию. Историю Европы с 1900 по 1950 год можно рассказать, хорошенько изучив немецкий мозг, его страдания и реакции на происходящее вокруг. Это был мозг выдающейся энергии и жестокости, вызывающий у соседей восхищение, зависть и страх. Этот мозг достиг в области материального обеспечения блестящих успехов, реорганизовал промышленность так, как не смог никто другой. Еврейский разум, запутавшись в его сетях, возместил ему математическую и психологическую неумелость. Англосаксонскому мозгу немецкий уступал прежде всего ясностью политической мысли. Да и французскому тоже. У немецкого мозга не было итальянской смелости, испанской и русской поэтической мощи. Все эти признаки в своей недостаточности были довольно очевидны. Упрямая связь с глупым и высокомерным монархизмом и запутанным клубком нелепых расовых претензий стояла на пути сотрудничества с любой другой культурной системой. Немцы не смогли достойно ассимилировать вовлеченных в политическую

сеть подданных не-германского происхождения. Берлин усилил французский оборонительный национализм. Бестактный вызов на море вызвал раздражение у англичан. Даже в Америке проявилось сначала настороженное неодобрение, а затем и откровенная враждебность. Германии так и не довелось по-настоящему победить Россию, но на ее огромных дореволюционных просторах мало чем можно было поживиться (до советского режима в России действительно не было настоящего национального самосознания; только Достоевский и царь). Напористая нелюбезность являлась главным фактором изоляции Германии и причиной ее поражения в Мировой войне.

Однако после поражения уязвленная немецкая ментальность, хотя бы из прирожденной твердости и силы, превратилась в центральную проблему европейской системы. Война и бедствия не могли изменить того факта, что костяк Европы, наиболее квалифицированный, трудолюбивый, обучаемый и образованный блок ее населения, говорил и думал по-немецки. Каждый разумный государственный деятель обязан был думать над тем, что станется с таким могучим потенциалом. Если бы Германия все сделала

правильно, все и пошло бы правильно. В реальности же она запуталась между гордостью и манией величия, а достаточно разумного политика на этом пути так и не нашлось. Эта страна была безмерно разочарована, она сбросила свое блестящее империалистическое руководство и смирилась с военным поражением. Она даже прошла через фазу смирения. И более того, поначалу это не вызывало заметной ненавистнической тенденции. Несмотря на большие трудности, новая республика проявила творческое мужество, умеренность, зарождающееся чувство значимости мировой политики.

Творческие и дальновидные умы обратили свои надежды именно на Германию.

«Теперь посмотрим, что может сделать Германия, — сказали они. — Будьте терпеливы с Германией».

Весь мир ругал Францию за ее застарелое недоверие. При наличии мужества и великодушия за рубежом и полноценных лидеров у себя дома великая масса тевтонских мозгов могла бы взяться за создание Современного государства и начать сотрудничать с остальной частью разочарованного, но возрождающегося мира. Это могло бы даже привести к работе по восстанов-

лению, и 1918 год мог бы стать годом начала обновления мира.

Не сбылось. Миру предстояло собрать урожай раздробленности шестидесяти трагических лет. Достойный лидер в Германии так и не появился. Штреземан слишком медленно учился и слишком рано умер. Бреннинг поддался умственной деградации Гинденбурга. Немцам продолжало казаться, что по ту сторону границ — только мстительный враг, беспрестанно думающий о войне. Немцы искали друзей, но видели лишь враждебно настроенных иностранных дипломатов. Мы уже рассказывали, как «возмущенные святые» Версальской конференции возложили роль единственного грешника на поверженную Германию, которая должна была навсегда ослабеть и смириться со своим унижением. Ожидалось, что немецкие дети будут начинать каяться перед остальным миром еще в материнской утробе. Им предстояло делать первый вдох под укоризненными взглядами победителей, не способных и не желающих прощать.

Срыв всех позитивных инициатив Германии и сдерживание ее сетями подозрений — это очень длинная и чрезвычайно запутанная история. Проигравшие в Мировой войне стали

такими же неистовыми и жестокими, как выброшенные на сушу морские животные в своих отчаянных и безнадежных попытках не задохнуться. Попробуем поставить себя на их место. Казалось, что абсолютно все ведет к удушению Европы. Молодым и энергичным в побежденных странах не дозволялось принимать участие в восстановлении разрушенного пространства. Это был зарезервированный бонус для нового поколения завоевателей. А поверженные должны были жить в постоянной атмосфере наказания, трудиться, облагаться высокими налогами и чувствовать свою правовую незащищенность до конца своих дней. Если бы немцы смогли вернуть себе процветание или достигли бы великих свершений, победители восприняли бы это как личное оскорбление.

Естественно, жизнь, описанная таким образом, была очень горькой и легко скатывалась к пороку, апатии и слепому бунту. В серии «Исторические документы» присутствует замечательный роман («Фабиан» Эриха Кестнера), в котором очень ярко представлен индивидуальный аспект этой фазы немецкой жизни. Еще одно художественное произведение, столь же яркое — это «Маленький человек, что же дальше?» Ганса

Фаллады (1932).

Душевные метания и скованный взгляд на жизнь, следует признать, отнюдь не являлись исключительной прерогативой немецкоязычных народов. Умный и амбициозный молодой индиец, египтянин или негр, да что там говорить, любой представитель подчиненного и униженного народа — в те времена это практически две трети мировой молодежи — испытывал предопределенную неполноценность и бесполезность собственного существования. Но у немца была своя особенность. Он помнил о том, что совсем недавно стоял вровень с хозяевами мира. Он еще не успел привыкнуть к собственной неполноценности и традициям подчиненного приспособленчества.

К сожалению, не нашлось ни учителей, ни лидеров, которые указали бы немцу на его законное право принять участие в замене существующего беспорядка Современным мировым государством. Память о режиме Гогенцоллернов и ужасы войны мешали прийти к космополитизму англичанам и американцам. Новый германский республиканизм оказался поверхностным и половинчатым. В школах и университетах учителя и лидеры старого милитаристского режима

источали ауру реваншистской злобы. Пресса и агитационные организации стояли в сторонке от революции и проявили себя слишком нетерпеливыми и неумелыми в вопросах восстановления довоенной свирепости. Тщетность стала своего рода символом новой Германии.

«Так жить — это не по-немецки! — заявляли те, кто не желал мириться со сложившимися обстоятельствами. — Нужно вернуться к старому империализму! Мы обязаны повторить это снова!»

Женский дух нового поколения, как матерей, так и возлюбленных, по большей части наполнился страстным негодованием.

Проницательный британский историк Льюис Намьер указывал, что побежденная в войне страна возвращается к насильственному патриотизму через 12–15 лет. Намьер предположил, что это как раз то время, за которое вырастают дети, испытавшие горечь поражения и ненависть к победившему врагу. Эти дети стали самым энергичным слоем населения к 1933 году.

Именно на этом этапе европейской истории и произошел подъем гитлеризма. Адольф Гитлер — основополагающий продукт немецкого труда, одна из самых невероятных фигур в исто-

рии. Он, должно быть, поразил даже учителей и писателей, которые вызывали его к жизни в своих работах. У нас имеется возможность изучить его личное дело с разных точек зрения в томе № 30112 «Исторической портретной галереи». И что же мы там увидим? Совершенно заурядный человек, лишенный какого бы то ни было достоинства и благородства. Мы можем слышать его голос, слышать, как он убеждает, увещевает и пытается рассуждать, на магнитофонных записях. Голос хриплый, напряженный, яростный, но сама речь бессвязная. Это голос вульгарного, ограниченного, неграмотного человека, который доводит себя до бешенства, кричит, угрожает, размахивает кулаками и ломает мебель от растерянности и отчаяния. В этом своем качестве он был совершенно прост и в какой-то степени даже честен. Пожалуй, секрет его карьеры в том и заключался. Он дал выход немецкому перенапряжению, стал голосом Германии, теряющей над собой контроль.

Гитлер обличал иностранцев, евреев, космополитов, коммунистов, республиканцев, крупных собственников и финансистов с хриплой беспристрастностью, и ничто не доставляло большей радости растерянным и несчастным людям, чем

обвинения в адрес других. В бедах обездоленных нет их вины. Их предали. На вопрос Ганса Фаллады: «Маленький человек, что же дальше?» фюрер отвечал: «Уничтожать евреев, гнать иностранцев, вооружаться, быть немцем, немцем в полной степени, расти и размножаться».

Следует помнить, что Гитлер никогда не набирал среди немцев большинства голосов. Но люди позволили ему захватить власть и разрушить республику, задушить общественные дискуссии и уничтожить свободы. У немцев не оказалось сил ему сопротивляться. В измученных, изголодавшихся мозгах не осталось представления о более достойной роли, чем та, которую отводил им кричащий национализм и яростная кампания против коммунистов и воображаемых коммунистических заговоров, против евреев, спекулянтов и либералов. Измена дряхлого Гинденбурга, который доверил нацистам республику, неоценимо способствовала успеху политического авантюриста.

Захватив Германию, Гитлер принялся разворачивать ее по примеру Муссолини. Однако интеллектуально фюрер ощутимо уступал странноватому дуче. Нацистский лидер перенял все самое худшее от фашистского режима, но так и не

поднялся до реальных созидательных усилий и компетентного усердия своего идеологического прототипа. Принятие свастики, бегущего креста, в качестве эмблемы нацизма наглядно демонстрирует общее невежество и слабоумие Гитлера. Этот нелепый знак имеет очень древнее происхождение. Сопровождаемая коричневым и черным цветом неолитическая немецкая культура использовала свастику в декоративных целях. Очень мало известно о ее реальном использовании так называемыми «нордиками» или негритянскими народами. Тем более, она никоим образом не выражает «арийскую» культуру. Старые писатели заявляли, что это «символ» солнца, но, похоже, это не означало ничего, кроме разве что только бодрого духа. Свастика заняла место идеи в бестолковых головах нацистов, и они относились к ней с большой торжественностью, носили ее на знаменах и одежде, накладывали на воззвания и вообще совали везде где только можно. Гораздо позднее свастику стали называть «торговой маркой идиота». Безусловно, она имела фатальную привлекательность для многих второсортных людей с богатым воображением.

Германию оглушил ор неугомонных молодых

мерзавцев в коричневых рубашках со свастикой на рукавах. В то время, когда настойчивый и верный ум должен был обрести первостепенное значение в борьбе человечества с мировой проблемой, Германия выбыла из общечеловеческого интеллектуального содружества. Ее настоящий ум ушел в изгнание: в Америку, Англию или Швейцарию. Германия упустила свой шанс поучаствовать в объединении человечества в XX веке. Точно так же ею была упущена доля в европеизации мира в веках восемнадцатом и девятнадцатом. Дома национал-социализм стремился строить, разрушая; восстанавливать свой прежний научный престиж и промышленную эффективность, прибегая к хвастовству, увещеваниям, нетерпимости, возмущению и принуждению. Это была жалкая и трагическая фаза слабоумия великой нации. Немецкий народ в то время был очень шумным и очень несчастным. Фракционные столкновения и уличные столкновения, демонстрации и контрдемонстрации, тирания чиновников, занимавшихся вымогательством, и отвратительная организация бытовой сферы — все это противоречило врожденной упорядоченности тевтонских народов. Тайные пороки и вороватая нечестность

накапливали ощущение безнадежности и неотвратимо приближали трагический исход. С 1932 по 1936 год погибли или были серьезно ранены в уличных беспорядках, а также пострадали по политическим мотивам более тридцати тысяч человек.

Глава 8
Заметка о ненависти и жестокости

(Этот раздел находился в отдельной брошюре, но, кажется, его место здесь. — Ред.)

Изучающий историю обнаружит, что почти невозможно понять специфические трудности политической жизни в том виде, в каком она проходила около ста лет назад, и он не уловит существенных различий между тем, что называлось образованием в прошлые дни, и образовательными процессами, которыми мы занимаемся сегодня. Сначала нужно усвоить обширные факты, связанные с системой ненависти, которая господствовала в групповых отношениях человечества до утверждения Современного государства. Мы привели основные детали спора между немцами и поляками, но это только один

поразительный и исторически важный пример общего состояния дел. Таких глав можно написать не менее пятидесяти. Почти везде можно было обнаружить население, погруженное в массовую ненависть и движимое ею, — ненавистью, объем и упорство которой выходили за рамки нынешнего человеческого опыта.

Вся эта ненависть проистекала из уже указанных причин. Две или более группы населения, каждая со своей узкой и неприспособленной к компромиссам культурой и, как правило, с особым языком или диалектом, под извращенным влиянием склеивались и навязывались друг другу. То есть наблюдалось социальное слабоумие. В условиях отсутствия общей идеи цивилизованные мотивы уступали место инстинктивной враждебности и спазматическим импульсам.

Ненависть в обществе прослеживалась везде, где существовало смешанное население. В Стране Басков, Уэльсе и Лапландии она была выражена настолько сильно, что приобретала первостепенное политическое значение. К югу и востоку от Богемии казалось, что ненависть просто зашкаливает. Мадьяр ненавидел славянина, славянин — итальянца, румын — русского. Религиозные различия вкупе с лицемерием

священников подрывали даже расовую солидарность. Католический славянин ненавидел православного славянина. В Македонии разделились православные греки. Ненависть расширялась и по всем древним владениям султана, через Персию до Индии. Ислам раздирали две старые ненавистнические системы. С отчаянием массовая ненависть принималась даже самыми мудрыми людьми. Решительно отвергая политику государственных деятелей, они выходили за пределы человеческого контроля.

Сложно поверить, что разумное смягчение и подавление ненависти произошли относительно недавно. Наши предки не рассматривали это явление как контролируемое психическое заболевание. Они не знали, что можно прожить жизнь без ненависти, точно так же, как не знали, что большинства явлений старости можно совершенно спокойно избегать.

Не перестаешь удивляться, насколько покорно человеческое существо позволяло портить себе жизнь напастям, которые могло контролировать. Оно не прилагало усилий к тому, чтобы справиться со своими ненавистью и завистью. Разнесчастные нервы оставались обнаженными и незащищенными от бесконечного преследова-

ния со стороны техногенных недугов. До 2010 года города сходили с ума от никогда не стихающего шума. Никакого контроля над оскорбительными звуками не было, а визуальная реклама пошла на спад лишь с приходом к власти Воздушной диктатуры. Не прошло и ста лет с той поры, когда в городах и на шоссе разогнали ночную тьму и пасмурную погоду. В северном климате зимой до XX века люди жили между ночной тьмой и мрачным серым полумраком, который они называли дневным светом. Часто солнца не видели неделями.

И вплоть до XIX века любому, кто умел читать между строк, становилось ясно, что человечество СМЕРДИТ. Планировка домов и городов, помещений для стирки, скудных гардеробных при отсутствии доступных прачечных и утилизаторов устаревших предметов сегодня не может вызвать ничего, кроме отвращения и тошноты. Плохая еда вкупе с недоеданием делала людей глухими, слепыми и слабыми, усталыми и постоянно раздраженными по отношению друг к другу.

Эти жизненные условия накладывались одно на другое почти незаметно. Немногие из нас понимают, насколько по-другому приходилось

быть человеком всего несколько сотен лет назад. Только когда мы берем свое воображение с собой в прошлое, мы осознаем, каким злом для носа, глаз, ушей и души может представляться толпа. Неверно истолкованные протесты тела и разума неизбежно приводили к ненависти. В «Путешествиях Гулливера» Джонатана Свифта мы слышим крик умного человека, который оказался в заточении XVIII века и не смог найти выход. Вонь псарни средневекового города — ничто по сравнению с вонью ненависти в прессе XX века. Обычная газета того времени — это не столько простой газетный лист, сколько ядовитая тряпка. Каждое утро человек просыпался и воспринимал новые подозрения и намеки, предположения и обиды и удовлетворял свою злобу скверными новостями и гнусными сплетнями.

Нам хорошо известно, что ненависть — это предотвратимое состояние, к которому склонен мозг млекопитающих и особенно мозг социального типа. То есть речь, по сути, идет о потере рационального контроля. Обычно это вызывается слабым, но постоянно повторяющимся раздражением коры головного мозга. Поражение может произойти в любой фазе созревания. Острые приступы предрасполагают мозг к рецидиву и могут,

наконец, привести к хроническому состоянию мстительного неодобрения.

Как только ненависть закреплялась на таком уровне, она начинала казаться неискоренимой. Пациент нащупывал, часто с величайшей изобретательностью, повод для обиды и находил удовлетворение в том, чтобы лелеять ее и искать способ осуществить возмездие. И это называлось «истинной гордостью». К своим ближним он испытывал неприязнь и желал им всяческих несчастий. Наше нынешнее образование создавалось для того, чтобы предвидеть и предотвращать эту заразу, но газеты того времени существовали за счет ее распространения в интересах реакционных сил. Сегодня мы очень трепетно относимся к чистоте как нашей физической, так и ментальной атмосферы. Контраст между нынешней людской массой и толпами, изображенными на картинах Уильяма Хогарта или Рафаэля Санти, заключается не просто в достойно одетых, великолепно физически развитых, упитанных и хорошо тренированных телах, отсутствии лохмотьев и калек, но и в искренних заинтересованных лицах, которые отменили интровертное, подозрительное и настороженное выражение тех несчастливых времен. Только в свете этой

всеобщей ментальной малярии человеческая история может стать понятной.

Великий немецкий разум, сотканный из семидесяти миллионов мозгов, оказался неспособен к аутотерапии и позволил болезни себя сломить. Он упорно не желал признаваться, что его заставляет страдать что-то, помимо благородного негодования. Именно немецкий народ менее всех остальных сохранял способность поддерживать те идеи всемирного сотрудничества в рамках Мирового государства, которые все еще находились в поиске надлежащих инструмента и формы. Это была более глубокая ненависть, чем порожденная страхом ненависть французов. В обеих антагонистических странах космополитическое здравомыслие пошло на убыль, но в Германии особенно сильно.

Колебания немецкой ненависти в 30-е годы, как ни странно, вызывались подсознательными потоками осторожности. Яростно воинственная по духу Германия все еще отставала в области вооружения от своих соседей. Гитлеровцы рычали и угрожали, но скорее Польше, чем Франции. Когда напряженность возросла слишком сильно, оскорбления посыпались в адрес коммунистов, пацифистов и интеллектуалов. И особенно рьяно

взялись за мальчиков для битья всей западной цивилизации — евреев. В 1933 году Гитлер вступил на пост канцлера рейха, и с этой поры грабежи, массовые убийства и узаконенное насилие стали постоянной угрозой для каждого немецкого еврея.

Исследуя политическую психологию, Фабер говорил о мировой «карте ненависти». Интенсивность окраски такой карты варьировалась в широких пределах. Англоязычные государства (за исключением Ирландии, этого бывшего «острова вечнозеленой злобы», который сейчас является самым восхитительным и гостеприимным из летних курортов) и испаноязычные общины испытывали менее выраженную ненависть по сравнению с народами лоскутного одеяла континентальной Европы. Менее перегружены, более свободны от острого иноземного влияния, больше пространства для передвижения — все эти факторы снизили вирулентность ментальной инфекции. В течение двух десятилетий Испания и испанская Южная Америка (после Перуанского урегулирования) действительно поддерживали либеральный и творческий менталитет в гораздо большей степени, чем где бы то ни было. Вклад Испании, начиная с Мигеля Унамуно и Хосе Орте-

га-и-Гассета и далее по длинному списку великих имен, оказывал возрастающее влияние на строительство Современного мирового государства.

В ментальном отношении Россия всегда была менее конструктивной, чем Испания. Русские не так свободно мыслили и не так много писали. В них не чувствовалось переизбытка умственной энергии, способной переродиться в стройную философию. Россия восторгалась, пророчествовала и погружалась в догму. Дисциплина русского мозга израсходовалась в растянутых технических усилиях. Но это не сделало Россию озлобленной страной. Омоложенную Россию действительно учили ненавидеть, но ненавидеть исчезающего врага, злющего империалиста. И даже в этой ненависти присутствовал юмористический, карикатурный элемент. Нечестивый империалист съежился до размеров детского Бармалея, и этот Бармалей забрал с собой значительную часть общественной ненависти. За исключением коротких ярких всплесков, это чувство в русском темпераменте не прижилось.

В 1940 году мало кто понимал, что общественная ненависть является куда большей проблемой, чем денежный кризис. И почти никто не брал на себя смелость подумать о радикальной чист-

ке и разрушении зараженных социальных институтов, экономических интересов и финансовых накоплений, которые были необходимы для полного искоренения опасной болезни. Вдоль путанных границ Центральной и Восточной Европы нагноились язвы, усилилось воспаление.

Среди наиболее частых методов разжигания ненависти в наиболее проблемных сообществах были агрессивные демонстрации, призывающие к насилию или включающие насилие, нападения на посольства и консульства, осквернение флагов, статуй и других символов (в Индии убийство священных животных, таких, как коровы или свиньи, в святых местах), побоища в кафе и ресторанах, избиения, убийства, взрывы бомб на собраниях неугодных представителей, в судах и религиозных зданиях, стрельба по чужим пограничникам со своей территории. Вдоль Адриатического побережья, по-видимому, существовала сильная склонность оскорблять характерное для итальянцев уважение к статуям и картинам.

Проблема имела недавнее происхождение. На Версальском конгрессе англо-французские союзники украли у Италии значительную часть береговой линии Далмации, на которую, впро-

чем, ни она, ни они не имели никакого права, но которая, тем не менее, была ими тайно ей обещана. Собственно говоря, эти обещания и побудили Италию выступить против Австро-Венгрии в Мировой войне. Итальянские патриоты не переставали возмущаться нарушенным обещанием, а югославские народы, владевшие желанными районами, опасались насильственной аннексии. Пропаганда вокруг этого спора работала на всю катушку. Одним из важных аргументов итальянской стороны было то, что Венецианская республика (естественная наследница Древнего Рима) ранее господствовала на этом побережье, и в доказательство подавались апелляции к общественным структурам в городах спорных регионов, которые повсюду несли знаки отличия их итальянских основателей и особенно характерного венецианского льва, ибо это была фашистская фантазия: везде, где он устроил себе логово или римские орлы отбрасывали тени, от стены Адриана в Англии до Месопотамии, фашисты претендовали на господство.

Предмет спора, довольно прохладно принятый англичанами, французами, испанцами, турками и другими эмансипированными наро-

дами, вызвал резкое негодование у населения, находившегося в непосредственной опасности, и особенно на побережье Далмации. Для молодого и легко возбудимого славянина скульптурные львы и дряхлые орлы, эти архаичные пережитки, лишились своего художественного и исторического очарования; они приобрели высокомерный современный вид и, казалось, требовали ответа на свой вызов. Ответом стала порча памятников.

Ожесточенные взаимные обвинения между Римом и Белградом возникли в 1932 году. Затем они остро рецидивировали в 1935-м и 1937-м. Позднее памятники стали не только портить, но и раскрашивать, выражая к ним глубочайшее презрение. И безобразия не ограничивались геральдическими животными. Досталось портретам Муссолини. Подрисовывались усы, грозные бакенбарды, красный нос и другие художества, так забавно подходившие этой энергичной личности.

Такие неприятные способы выражения постоянно наблюдались во всех воспаленных областях. Нам они кажутся тривиальными, глупыми и нелепыми, но в то время их подпитывало ощущение надвигающейся грозы.

Читателю следует представить себе, как в

неокрепшей голове какого-нибудь подростка в одном из этих регионов ненависти зреет недовольство постоянными ограничениями. Мальчуган хотел сделать что-то яркое и выразительное, но вместо этого лишь горько и безутешно издевался над изображением угнетателя. Вероятно, юнец испытывал легкое волнение, доставая банку с краской и наблюдая за удаляющимся полицейским патрулем, а потом — мимолетное удовольствие, пачкая ненавистный предмет. Неокрепшему мозгу такой проступок мог показаться венцом собственных устремлений. Рано или поздно заканчивалось все печально. Сигнал тревоги, облава, бегство, выстрел, рана, солома и грязь в тюремной камере, побои с целью усилить наказание. Кто-то морально ломался, а у кого-то, наоборот, прибавлялось решимости продолжать сопротивление. В таком случае мысль поворачивалась в сторону следующего акта неповиновения или даже бунта. Впрочем, положительного результата это все равно не приносило. Новые раны, новые сроки заключения, и в конечном итоге бездыханное тело на тротуаре, застреленное или затоптанное, а все дары и силы мозга рассеивались бездарно и бесполезно. И никакая другая судьба не была уготована

для пропитанной ненавистью нервной системы. Это были цветы, которым суждено распуститься под проливным дождем грязи и помоев, распуститься, чтобы тут же и погибнуть.

Недавно опубликована «Естественная история жестокости» Отто Ясперса (2085), который приходится прямым потомком профессору Карлу Ясперсу из Гейдельбергского университета. У Карла Ясперса учился Де Виндт, чья «Интеллектуальная ситуация настоящего» не вышла бы без крепкой поддержки опытного учителя. Жестокость XX века рассматривается довольно подробно, и по этой причине читать материал очень тяжело. Он буквально пробирает до костей. К счастью, всеобщее образование не подразумевает тщательного изучения кошмарных процессов человеческого разума, которые, причиняя ужасные боль и травмы, приводили к тяжелым психическим расстройствам. Между тем, психолог по роду своей деятельности обязан ознакомиться со всеми этими фактами, потому что без них он не сможет разобраться во всех особенностях нашей интеллектуальной деятельности. Преднамеренная жестокость практически исчезла из нашего мира. Это превращает литературу ужасов времен Мировой войны и Мирового спада в кладезь

необходимого материала для исследований. Для студента мы оставляем всего пару примеров. Если у него есть хоть капля воображения, он сможет расширить эти намеки до полной картины увечий, пыток и бессмысленного насилия.

Прежние психологи классифицировали жестокость как форму сексуального отклонения — в обычной речи мы все еще используем старое слово «садистский», — но современная наука больше не уважает это определение. Жестокость выходит далеко за пределы сексуальной сферы. Точно так же, как ненависть теперь понимается как боевая эмоциональная смесь на основе страха, — жесткий, но нерешительный вызов, который при определенных обстоятельствах способен стать заразным, так и жестокость рассматривается как естественное развитие усилий против сопротивления, когда опасение разочароваться превышает определенный предел. Это своего рода трансформация попыток подчинить живое существо нашей воле под гнетом действительного и ожидаемого упрямства.

Такая интерпретация проясняет, почему за крахом экономической и политической системы частного капитала и последовавшей за этим мировой неопределенностью, тревогой и нуждой

беспрецедентная жестокость обернулась идеальным штормом. До 1900 года люди еще имели возможность с грехом пополам называть себя добрыми, милосердными и щедрыми, причем как в Европе, так и в Америке. К 1940-му они стали исчадиями ада. Надо отметить, что это одни и те же человеческие существа, но пребывающие в условиях эмоционального стресса разной степени выраженности.

Между 1930 и 1940 годами значительно возросло количество самоубийств. Люди с низким уровнем сопротивляемости больше не могли выносить ужасную низость и жестокость окружающих. Тем не менее, в отчетах о возрождающемся мире 1980 года почти не встречались данные о проявлениях жестокости не только по отношению к людям, но и животным. Это не было изменением человеческой натуры; это была смена фазы. Миллионы людей, которые в молодости мучили, пытали и убивали, все еще были живы, и они вели себя вполне добропорядочно, попросту забыв о своих прежних злодеяниях. К людям вернулась надежда. Безумные годы остались в прошлом.

Глава 9
Ураган последней войны, 1940–1950 гг

Когда у США и Японии отпала возможность вмешиваться в международные дела, новая война стала приближаться гораздо быстрее. Британия с растущей озабоченностью наблюдала за беспорядками в Индии и восстанием чернокожих в Южной Африке. Рухнули последние ограничения на континентальную ненависть. Решение вопросов сильно упростилось.

Война началась в 1940 году. Повлиял на раздувание конфликта польский коммивояжер еврейского происхождения. Во время остановки поезда в Данциге у него из зуба вылетела пломба. От боли он широко раскрыл рот и, проявив уважение к попутчикам, отвернулся к окну. Чернобородого мужчину с длинным носом крепко перекосило, и это привело к неожиданному эффекту. Он и подумать не мог, что проблемы с его зубами выпустят псов войны от Пиренеев до Сибири.

Всему виной, по-видимому, была апельсиновая косточка или осколок грецкого ореха.

На платформе стоял молодой нацист. Мимика боли показалась ему оскорбительным комментарием по поводу униформы. Как мы уже отмечали, нервы в те времена у многих были на взводе. В нацистском сердце вспыхнуло пламя патриотического негодования. Нацист позвал трех товарищей и двух полицейских — подобно итальянским фашистам молодые «герои» редко действовали поодиночке — и вошел в вагон во взвинченном состоянии. Поляк почти не знал немецкого языка, в результате чего развернулась яростная перепалка. В конце концов, к человеку с зубной болью поспешили на выручку попутчики и вышвырнули нацистов из поезда.

Молодой человек, из-за которого, собственно, и начались все неприятности, разгоряченный и растрепанный, заглянул в окно купе с перрона. Поляк продолжал махать руками и, как показалось немцу, «корчить рожи». Нацист выхватил револьвер и застрелил его. Снаружи раздались другие выстрелы, и машинист поспешил увести поезд со станции. Ситуация в политическом смысле оказалась весьма непростой. Точный статус полиции Данцига все еще не был урегулирован. Соответственно нацисты не имели законной власти на данцигской платформе.

Разумеется, печальное происшествие можно было урегулировать, не развязывая новую европейскую войну. Можно было призвать умирающую Лигу Наций или даже оживить мумифицированный Гаагский трибунал. В конце концов, можно было выставить козлом отпущения польского дантиста. Но для этого требовалась добрая воля вовлеченных государств, а ее не наблюдалось и не предвиделось ее появление.

Вот уже восемь лет немецкий разум готовился к борьбе за Коридор. Германия активно перевооружалась, и тайно, и явно. С возрастающим опасением Франция и Польша наблюдали, как немцы восстанавливают свою военную мощь. Военные власти обеих стран указывали, что нужно самим нанести первый удар, пока Берлин еще слаб. Раз за разом казалось, что чаша терпения переполнена, и раз за разом не происходило ничего, кроме очередного биржевого торнадо. Но теперь исчезли последние причины, чтобы продолжать терпеть. Напряженность возросла до такой степени, что катастрофа виделась облегчением. Европа готовилась потратить свою свободу на самоликвидацию.

Такая ситуация являлась неизбежной кульминацией любого «вооруженного перемирия»

в старом военизированном мире. Работала непреодолимая логика: «Ударить сегодня, потому что завтра враг станет сильнее». Это было основополагающим мотивом первостепенной силы в готовности британцев к войне в 1914 году. Они стремились нанести удар до того, как постоянно растущий немецкий флот сравняется с их собственным. Так они положили конец невыносимому напряжению. По их словам, немцы «сами напросились»: «Лучше сейчас, чем завтра».

Теперь же выходило так, что Германия снова «напрашивалась», и Польша с готовностью воспользовалась предоставившимся случаем. Военные ведомства нажали на курки. Пока Париж, Лондон и Нью-Йорк обменивались дипломатическими нотами в отношении убитого польского коммивояжера, польские и немецкие воздушные патрули перестреливались вдоль границы. Зубная пломба начала чувствовать себя неуютно около 13:00 в пятницу, 4 января 1940 года. На следующий день около 15:00 польский ас Михаил Кореновский после блестяще проведенного боя с тремя немецкими самолетами, пылая, рухнул на переполненную улицу Данцига. Загорелась городская ратуша.

Затем последовал первый налет польской авиа-

ции на Берлин, а двести французских эскадрилий совершили «демонстрационный полет» над Баварией и Западной Пруссией. Немцев, вероятно, застигло врасплох такое проявление огромной и немедленной готовности воевать. От французов они такого никак не ожидали, но французские самолеты атаковать не осмелились и повернули домой. А на польско-германской границе столкновения продолжались.

Власти в Париже сами не знали, радоваться им или горевать по поводу того, что старый враг не бросается в бой сломя голову. Сокрушительная воздушная победа над Германией пришлась бы как нельзя кстати, но самолеты требовались дома для подавления постоянно нарастающего внутреннего недовольства. Нерешительная битва — а таковая могла возникнуть в воздухе в любой момент — могла серьезно осложнить социальное напряжение.

В течение семи лет мировые дипломатические центры молча наблюдали за перевооружением Германии, но ничего не делали, чтобы предотвратить восстановление германской военной мощи. Теперь Лондон, Вашингтон, Мадрид и Женева стали истерически активными. Послы и министры иностранных дел лихорадочно сновали

туда-сюда.

«Разразившийся конфликт нужно приостановить», — заявила Женева, хотя его приостанавливали уже двадцать лет, вместо того, чтобы предотвратить.

«Локализовать конфликт!» — эта фраза резко выделялась на фоне других.

Ее поддержали не только в нейтральных странах. Она показалась интересной и Парижу, и Берлину. По сути, «локализовать конфликт» означало, что Париж откажется от своих обязательств перед Польшей и предоставит полякам самим разбираться, какие соглашения им заключать, извиваясь между Германией и Россией. Для последней загадочное молчание в сочетании с быстрой мобилизацией Красной армии почти сразу стало важной частью развивающейся международной игры.

Так у Парижа появились весьма веские причины не доводить конфликт с Берлином до крайностей. Первый французский солдат в Новой войне уже погиб, но убили его не немцы. Он был сражен в Альпах пулей итальянского патруля.

В ночь на воскресенье, 6 января, в то время, когда польские самолеты сбрасывали газовые бомбы на Берлин, итальянцы тем же способом

«лечили» Белград. Рим разослал ведущим державам письмо с объяснением причин такого шага. Итальянцы попытались выстроить версию, будто между вечером пятницы и утром воскресенья произошел рецидив югославской непочтительности. Фашистские агенты явно перестарались с подачей материала. В субботу все итальянское население грубо выдернули из повседневной озабоченности, вызванной нехваткой финансовых средств. Какой ужас! Мерзавцы снова испачкали краской изображение Муссолини, венецианских львов и римских орлов! Красноречивые молодые фашисты, обливаясь горючими слезами, буквально на каждом углу протестовали против невыносимых унижений и призывали к войне. Дескать, Югославия переполнила чашу итальянского терпения. Только позднее ситуация полностью прояснилась: ради оправдания фашистского вторжения сами фашисты, замаскировавшись под славян, занимались вандализмом.

Когда польские войска пересекли немецкую границу, а итальянские — югославскую, другие государства Восточной Европы начали свое наступление, не дожидаясь чужих оскорблений и даже не особо пытаясь изображать уязвленную гордость. Безумное лоскутное одеяло Версаля

расползалось с головокружительной скоростью. Пропагандисты даже не стали что-либо объяснять. Слепых, переполненных ненавистью и страхом людей просто бросили убивать друг друга без какой-либо глубокой, далеко идущей цели. В течение двух напряженных лет теория локализации конфликта удерживала Россию и Францию от вступления в активную фазу боевого противостояния. Была найдена «формула», по которой французы отказывались защищать своих союзников при условии, что Россия в качестве компенсации воздержится от военных действий. Кроме того, торговлю боеприпасами следовало осуществлять «беспристрастно». Все это являлось хлипким сговором для оправдания дипломатического дефолта, но такое положение вещей удерживало войну вдали от Западного фронта Германии целых два года. Периодические итальянские обстрелы французской приграничной полосы было сложно объяснить: во всяком случае, они наносили настолько незначительный урон, что французы их попросту игнорировали. Французские воздушные флоты продолжали курсировать туда-сюда, никого не бомбя. Соседей эти полеты раздражали, но вместе с тем и сдерживали от непродуманной агрессии. Демонстрация

военно-воздушной мощи охлаждала иностранца и горячие головы дома.

У населения вовлеченных стран эта «локализованная» европейская война вызвала куда меньше энтузиазма, чем в 1914 году. Между тем фашисты, нацисты и скауты настойчиво призывали воевать в тяжелой, угрюмой и тревожной атмосфере. Но ни одна нация не торопилась «бросаться куда-либо с оружием». Дезертиров стало так много, особенно в крестьянских армиях Восточной Европы, что их даже перестали наказывать, не говоря уже о расстрелах. Так, например, под Лодзью в бой вступил батальон в составе тридцати девяти офицеров и пятидесяти семи солдат.

«Экономика» вяло плелась позади войск. С самого начала боевые части испытывали дефицит боеприпасов и настаивали на «сдержанном их использовании».

Однако, с точки зрения науки и техники, европейская война являлась куда более совершенной, нежели японо-китайская. Военные в Европе располагали неплохими дорогами, автомобилями, грузовиками, железными дорогами, подвижными составами, электропроводами, самыми разными видами артиллерии и стрелкового оружия и многочисленными ВВС. В тылу эффек-

тивно работали химические и другие военные заводы. Пока простаивала пехота, разворачивались блестящие сражения между техническими службами. Наиболее высокотехнологичной операцией явилось быстрое отсечение Восточной Пруссии от остальной Германии путем применения газа «перманентная смерть». Стратегически глупая, но технически весьма успешная затея.

При планировании первого наступления на Берлин предполагалось в полном объеме использовать новейшие достижения науки и техники. Речь шла о еще одном «ударе в самое сердце». Польский Генеральный штаб верил во взятие Берлина так же твердо, как немцы в 1914 году — во взятие Парижа. К несчастью для поляков, при подготовке этого наступления пришлось консультироваться с целым рядом «экспертов». Соответственно пошли информационные утечки через Францию, Россию, чешских и шведских производителей боеприпасов. Не обошлось без измены и в самой Польше.

В результате общие контуры польского плана в Берлине рассматривались едва ли не в том же объеме, что и в Варшаве. Великий газовый налет на Берлин оказался по-настоящему опустошительным, но натиск танков, огромных орудий

на гусеничном ходу и войск на автотранспорте немцы остановили в шестидесяти милях от своей столицы. Свою роль сыграли хитроумная система заграждений с применением ядовитого газа — главным образом, использовался люизит и «синий крест» — мины, которые приводились в действие импульсом по электропроводу, и так называемые «шламовые рвы». Все это применялось как на дорогах, так и в открытых полях. Кавалерийский рейд на севере между Берлином и Балтийским морем потерпел катастрофическую неудачу из-за колючей проволоки, газа и пулеметов. Около сорока тысяч человек были убиты, ранены или попали в плен. Более того, поляки допустили существенные ошибки при изготовлении противогазов. В результате среди солдат распространился слух, что их продали и предали. Основные силы противников так и не соприкоснулись. Только огромное численное превосходство в авиации спасло поляков от полного поражения.

Польские армии сплотились и, согласно плану «Б», подготовленному на случай такой неудачи, растянулись и окопались вдоль линии между Штеттином и чешской границей. Находясь за системой оборонительных сооружений, Польша

принялась оказывать давление на Силезию. Каждую ночь над Берлином и Варшавой бушевал воздушный бой. Часто это была очень вялая, нерешительная битва. Поляки имели численное превосходство, но немецкие пилоты лучше управляли своими машинами. А еще у поляков имелось гораздо больше новых воздушных торпед, которые летели до назначенной цели двести миль, сбрасывали большую бомбу и возвращались обратно.

Богемия, как и Франция, мобилизовалась, но в войну вступила не сразу. Одни чехословацкие армии стояли в своем горном четырехугольнике, другие выстроились вдоль венгерской границы, ожидая следующего поворота в большой политической игре.

Австрия взволновалась, но осталась нейтральной.

Южная война, открывшись для Италии радужными перспективами, в течение нескольких недель формально не имела никакой привязки к польскому конфликту. Болгария, Албания и Венгрия также объявили войну Югославии. Итальянские военно-воздушные силы «закрыли собою небо»; лишь немногие города Хорватии и Сербии не подверглись бомбардировкам. Ита-

льянский флот намеревался захватить порты и острова Далмации, но сухопутные части среди холмов Словении и Хорватии продвигались не так быстро, как ожидалось. Только через шесть недель им удалось пробиться к Загребу.

В плане ведения боевых действий Югославия — сложная страна. Фактически там негде применять газ или механизированные подразделения, поскольку не существовало центральной точки, куда можно наносить решающий удар, а население имело давние традиции ведения войны в горах. На крепких крестьян не очень-то влияло психологически, бомбят горожан или нет. Партизаны не вступали в открытый бой и старались не скапливаться, держась преимущественно мелкими группами, но пули в итальянские лагеря летели днем и ночью. Многие из югославских бойцов постоянно курсировали между своими полями и тем, что, так или иначе, являлось фронтом. Боеприпасы партизанам в Югославию доставлялись через Румынию, которая также вынуждена была вести себя очень осторожно из-за непокорных крестьян и многочисленной Красной армии на бессарабской границе. Венгры осмелились пересечь югославскую границу и даже угрожать Белграду, однако основная часть

венгерской армии продолжала оставаться на границе с Чехословакией и ожидать дальнейших событий.

Любопытная пауза в боевых действиях наступила в конце года. Отчаянные усилия Праги, Лондона и Парижа, направленные на мирное урегулирование, временно увенчались успехом. Польские оккупанты оставались на территории Германии, а итальянские — в Югославии, но на нейтральных полосах боевые действия прекратились. Соответственно предпринимались попытки остановить войну путем переговоров и уж тем более не допустить слияния двух конфликтов. В течение нескольких недель это казалось возможным. Германия и Польша оставались при двояком мнении относительно продолжения войны, поскольку польское наступление захлебнулось. Италия надеялась удержаться в Далмации и не продолжать утомительную кампанию по дальнейшему захвату балканских территорий. Казалось, дух цивилизации высвободился из цепкого дурмана и спросил: «А почему это с нами происходит?»

Британский кабинет счел сложившуюся ситуацию подходящим поводом для созыва конференции в швейцарском городе Веве и «окон-

чательного» пересмотра условий Версальского договора. С призывом к миру выступили Альфред Дафф-Купер, Лесли Хор-Белиша, Эллен Уилкинсон и Рэндольф Черчилль. Этих британских политиков услышали по всей Европе. Их горячо поддержали Бенито Карузо и Корлисс Ламонт в Америке. Римский папа, архиепископ Кентерберийский, Церкви нонконформистов, президент Швейцарии и президент Чехословакии Эдвард Бенеш подняли протестный хор. Франция неуклонно становилась все более пацифистской после социальных конфликтов 1934–1935 годов и нашла способных представителей для мирной конференции. Нелишним будет в этой связи еще раз вспомнить об импульсах Генри Форда и президента Вудро Вильсона. Снова концепция Мирового порядка промелькнула в человеческом воображении и исчезла. На сей раз это был более полный, более явный и более единодушный хор, чем тот, что громко взывал в 1916–1917 годах. Вот только эффективность его оставалась прежней. Веве обеспечил перемирие вплоть до июня 1941 года, но это, по сути, ничего не решило, потому что военные власти, получив передышку, стали проявлять нетерпение. Взаимно разрушительная злоба возобновила боевые

действия «до сбора миротворческого урожая».

Веве потерпел неудачу, потому что представитель конструктивной концепции Современного государства так и не появился. Дипломаты от национальных правительств заявляли, что стремятся к миру, но взялись за дело с устаревшими представлениями о суверенитете. Ничем, кроме возобновления военного конфликта, это закончиться не могло. Фантазия о «балансе сил» приближалась к идее мира, но такое равновесие было обречено сильно колебаться из года в год, изо дня в день. Теперь одни хотели мира, а другие войны до победного конца. «Немцев разбили в недостаточной степени» — эта фраза показалась чрезвычайно заманчивой для торговцев оружием и журналистов во Франции и Скандинавии. «У итальянцев полно дел в Югославии» — из той же оперы.

Британцы и американцы, которые рассчитывали остаться вне конфликта до самого конца, пережили волнующее оживление экспорта и обнаружили, что их счета в адрес воюющих сторон растут весьма обнадеживающе. Все громче раздавался сладостный рев станков. Акции горнодобывающих и химических компаний взлетели до небес, а металлургическая промышленность,

подобно беззубому старому тигру, поднялась на единственную доступную добычу, — людоедство. Паршивый хищник давно перестал мечтать о новых пассажирских судах, мостах, железных дорогах или о домах со стальным каркасом, но он все еще мог производить оружие и убивать. Он не мог заглядывать достаточно далеко вперед и предусмотреть, что таким путем на человеческих костях совсем не останется мяса. Только Чехословакия и Австрия действительно страстно желали прочного мира, потому что их со всех сторон окружали две воюющие системы. Человеческая воля к миру по-прежнему оставалась крайне запутанной и неэффективной.

Боевые действия возобновились почти одновременно на польской Украине, где крестьяне восстали против советской администрации, и на германских землях, занятых польскими оккупантами. Во время перемирия немцы не теряли времени даром. Они начали выпуск более быстрых самолетов и улучшили пулеметы. Несколько недель между поляками и немцами шли такие интенсивные воздушные бои, каких еще не видывала человеческая цивилизация.

Постепенно немцы смогли перехватить господство в воздухе. Это позволило им пустить

в ход авиационные бомбы с газом. Воздушным ударам подверглись Лодзь и Варшава. Население из этих городов было эвакуировано. Немцы прорвали польскую оборону и восстановили связь с Силезией.

А потом конфликт расширился!

При поддержке России Литва захватила Вильно. Австрия объединила борьбу Севера и Юга, вступив в обе войны в качестве союзника Германии и Италии. Германия объявила о своем окончательном союзе с Австрией. С этого момента остальные европейские государства с поразительным безрассудством принялись бросаться в котел войны. Венгрия привлекла на свою сторону румынские подразделения и без объявления войны напала на Чехословакию, объяснив свои действия необходимостью «восстановить законные границы». Вслед за этим Россия объявила о невозможности сохранения взаимопонимания с Францией, и Красная армия двинулась на Лемберг. Македония превратилась в бурлящую кашу сражений, деревня против деревни; Болгария вошла в «Южнославянский» альянс и напала на Албанию, а Греция захватила итальянский Родос.

Таким образом, Франция увидела, что ее древ-

няя политика «безопасности», направленная на установление баланса сил между союзническими и антагонистическими державами, подошла к своему логическому завершению. Французский народ мог бы чувствовать себя неуязвимым за чрезвычайно укрепленными границами, а бизнесмены с превеликим удовольствием делили бы барыши от продажи боеприпасов с англичанами и американцами, но договорные обязательства оказались слишком крепкими.

После последней неоднозначной попытки Лондона, Вашингтона и Женевы предотвратить катастрофу Франция в 1943 году объявила войну Центрально-Европейскому альянсу.

На первый взгляд, новая война в Европе напоминала Мировую войну 1914–1918 годов. Казалось, это попытка то ли отменить, то ли подтвердить условия Версальского договора. Создавалось превратное впечатление, будто это — осада Центральной Европы. Но теперь Италия находилась в тесном союзе с немецкоязычными державами; Бельгия в состоянии крайнего промышленного бедствия оставалась вне войны; стояла в сторонке и Британия. Франции пришлось помогать — а не получать

помощь — расположенным на берегах Черного моря и на Балканах государствам, которые набережная Орсе объединила в антигерманский союз. Россия являлась весьма сомнительным союзником Центральных держав; она не действовала с ними заодно, предпочитая просто удерживать за собой Восточную Польшу и Бессарабию. На этом Красная армия и остановилась. Русское воображение утратило былой энтузиазм, связанный с мировой революцией. Марксизм настолько русифицировался, что теперь боялся принять слишком много западных приверженцев. Кремль остался доволен консолидацией родственных славянских Советов и почивал на лаврах. Япония, Китай и Америка держались в стороне от общей суеты, сосредоточившись на собственных социальных трудностях.

Невнимательный исследователь увидит в этих событиях только перестановку знакомых фигур в политике того или иного суверенного государства. На самом же деле силы военного и политического антагонизма представляли собой нечто совершенно иное. Несмотря на внутренний социальный распад, Франция оставалась капиталистическим сообществом, которое функционировало по образцу XIX века,

с демократическим парламентаризмом и безответственным финансово-промышленным аппаратом. Молодых французов воспитывали в духе сентиментального патриотизма, но их не удавалось эффективно организовать с ментальной точки зрения. Союзниками Франции являлись крестьянские государства со старомодной королевской или парламентской формой правления, а все Центральные державы придерживались фашистского подхода. Им удалось более тесно сплотиться. В них господствовала организация молодого духа, претендовавшего на звание элиты.

За исключением того фундаментально важного факта, что фашисты являлись ярыми националистами, контроль со стороны самозваной и самодисциплинированной элиты в какой-то степени представлял собой шаг в сторону организации нашего Современного государства. Фашисты в разных странах отличались друг от друга, но всем им было суждено разрушить свои государства и исчезнуть по причине извращенного менталитета. Молодые люди оказались неспособны выйти за пределы националистических традиций и объединиться. Между ними и нашей современной системой образования

и управления не существует прямой преемственности, но следует отметить, что ничего подобного не наблюдалось в период между 1914 и 1918 годами. Что же касается Российской коммунистической партии, то она частично продвигала демократические институты. Среди всеобщего хаоса организованная «преданность молодежи», на которой зиждется наше Современное государство, формировалась в условиях, которые ковал Центрально-Европейский альянс. Идея дисциплинированного личного участия в управлении людьми внедрялась в менталитет нового поколения.

Пока не появилось что-то более убедительное, новая мысль должна была выкристаллизоваться в катастрофическом воплощении и пройти сквозь такие странные ядра, как театральный Муссолини и истеричный Гитлер. Она должна была стать патриотической, потому что никакой другой приемлемой формы государство себе не представляло. Первые кристаллизации разрушились и растворились в военных бедствиях, но идея объединенного сотрудничества уцелела, и теперь она направлялась к достижению более высоких целей. Молодежь перестала быть безответственной во всех фашистских странах.

Новая война отличалась от предыдущих. Это было ясно всем, но Центральные державы видели в ней не очередную схватку между демократически настроенными массами, а идейное противостояние. К тому же иным стало качество боевых действий. В первом всплеске конфликта существовал некий «фронт» между Польшей и Германией, но после 1943 года само понятие фронта сильно размылось.

С помощью «перманентной смерти» поляки попытались прочертить своего рода линию через Восточный Бранденбург и отступить в Позен. Затея очень быстро потерпела полный крах. Были отравлены три небольших района, не имевших большого стратегического значения. После 1943 года война в основном велась в воздухе, все чаще применялся газ. В Средиземном море Франция ожесточенно сражалась за сохранность коммуникаций с Северной Африкой. При этом атлантические транспортные потоки во французскую метрополию пострадали незначительно.

Не случилось ни воздушного Трафальгара, ни воздушного Экномуса. Война в трех измерениях не позволяет в достаточной степени привлекать к решающей битве сухопутные подразделения. Соответственно ни та, ни дру-

гая сторона не могла полностью перехватить господство в воздухе. Это была война набегов и карательных рейдов. Никаких генеральных сражений! Крупное немецкое наступление на Позен поляки остановили газом, а французское вторжение в Италию не продвинулось дальше Турина.

Единственно возможным путем к победе стало полное истощение противника, материальное и моральное. Измученное население в очередной раз призвали стойко держаться до самого конца.

«Победит тот, кто продержится на полчаса дольше другого!» — этот лозунг перевели на все европейские языки.

По мере того, как невозможность какого-либо военного решения становилась все более очевидной, усиливались атаки на социальный порядок. Поджигались леса и посевы, затоплялись низменные районы, разрушались насыпи, прекращалось водоснабжение. Авиаторы для бомбежки выискивали толпу. Они стали похожими на охотников, которые выманивают хорьков из нор.

Несмотря на целое десятилетие финансовых неурядиц и промышленной депрессии, в Европе еще оставалось немало искусно замаскированных и надежно защищенных от воздушных

атак военных заводов. Более того, все главные воюющие стороны активно импортировали оружие и боеприпасы, выжимая из собственного населения последние соки с помощью налогов и всяческих сборов. Товары пересекали границу по ночам, грузы доставлялись в неосвещенные гавани. Каждый трудоспособный взрослый, незадействованный в боевых действиях, либо строил бомбоубежища, либо восстанавливал здания после бомбежек. Кстати, делалось это тоже преимущественно по ночам. Уклонистов карали лишением продовольственных пайков. Сохранилось мрачное художественное полотно Эглона Калле под названием «Наконец-то безопасность». Читатель, вероятно, видел одну из многочисленных репродукций. Изможденные и оборванные французы в кандалах роют тоннель под ударами кнута. На переднем плане упавшему в обморок вкалывают стимулятор; другой умирает, лежа в грязи, но к нему никто не подходит.

По сравнению с обильной литературой о личном опыте во время Мировой войны, по крайней мере, в том, что касалось Западного фронта, существует удивительно мало записей о боевых или небоевых событиях во время сражений сороковых годов. Итоги больших воздушных налетов

выглядели совершенно ужасно. Это не шло ни в какое сравнение с итогами бомбежек в Мировую войну. Вой сирен, пронзительные свистки велосипедистов-разведчиков, толпы обезумевших людей, потерявших гордость и достоинство, мечутся в поисках убежища и помощи. Большинство либо погибали, либо получали тяжелейшие ранения.

Мы уже давали общее представление о характере тех мучительных смертей. В большинстве случаев убежища и противогазы оказывались неэффективными. Для предотвращения «преждевременной» паники и «поддержания морального духа народа» часто использовались бутафорские убежища и такие же бутафорские щиты, которые якобы уберегали от осколков. О крупных налетах газеты умалчивали. Даже в Америке публикация подобных сведений рассматривалась как «пацифистская пропаганда, направленная против вербовки добровольцев на европейский фронт».

Сохранилось письмо из Берлина после воздушного налета без даты и подписи. По мнению большинства компетентных критиков, оно написано романистом Синклером Льюисом (1885–1990).

Процитируем отрывок:

Мы спустились по Унтер-ден-Линден и пошли по Зигес-аллее. Всюду лежали тела мужчин, женщин и детей. Не равномерно, а странными группками, как будто последним усилием перед смертью было обратиться друг к другу за помощью. Стремление к кому-то приблизиться характерно для газовой атаки определенного типа. В головах происходила какая-то трансформация. Все принимали практически одинаковые позы, лежа на земле, и всех рвало кровью. Вонь стояла страшная, хотя с момента смерти не успевало пройти и суток. Тела разлагались с необычайной скоростью.

Вот так погибали горожане всего полтора века назад!

В последующие десятилетия у творцов просто отсутствовал стимул писать. Резко снизилась доля грамотных людей по сравнению с тем, сколько их было в западных армиях во время Великой войны. Стало куда больше дезертирства, апатии, пьянства, изнасилований, грабежей и немотивированной жестокости. Люди о таких вещах предпочитали молчать, а не оставлять записей. Весь мир стал куда более черствым, чем еще тридцать лет назад. Усиливаясь, страдания приводили к толстокожести. В 1914–1915 годах многие бри-

танские и немецкие солдаты ежедневно вели дневники. Это свидетельствует о личной чувствительности и восприимчивости к событиям, что не связывалось с угрюмым фатализмом, примитивной экзальтацией или яростью. Последние три состояния стали преобладать в армейских мозгах сороковых годов.

В «Исторических документах» имеется дневник японского офицера, убитого при отступлении под Уханью. Не имея европейских материалов того же рода, процитируем этот образец и покажем, каково это — сражаться в последних войнах цивилизации. Между тем, с точки зрения информационной насыщенности, это довольно скучный документ. Данный конкретный японец оказался интеллектуалом и социалистом, твердо верившим в Лигу Наций. Его послужной список состоял из серии завуалированной критики в адрес вышестоящего командования. Во второй половине текста содержание меняется коренным образом. Автор описывал еду и воду, которые удавалось найти, а еще как ему приходилось бороться с гриппом и дизентерией. С ним рядом были какие-то люди. Пару раз он отметил, как ему удалось раздобыть для них еду. И он записывал их имена, когда тех убивали или они пропадали

без вести. В тексте также присутствуют цифры, которые свидетельствуют о сокращении количества боеприпасов. Перед тем, как его убили, он сильно голодал. По мере того, как он слабел, критические замечания становились все более ясными, без осторожных намеков. Сначала японец перешел на плохой английский, а потом плюнул и писал уже все, что думает на привычном для него японском. В самом конце дневника приведено стихотворение. Процитируем отрывок из него:

Цветущий миндаль в лучах весеннего солнца,

Милостивая госпожа Фудзи-яма,

Островное сокровище прекрасных вещей,

Неужели я больше никогда тебя не увижу?..

Наивное поэтическое произведение осталось незаконченным. Возможно, виной тому смерть автора. Наиболее вероятно, что он и его отряд были схвачены и убиты под Кайфыном.

Во втором десятилетии XX века солдаты писали о том, как они уходят из надежного дома, чтобы вернуться и жить там долго и счастливо.

В поздних военных мемуарах ничего подобного не встретишь. Прежде люди дышали энтузиазмом. В период последнего военного урагана повсеместно распространялось уныние и неверие в то, что доведется увидеть дом. Солдат был несчастен и знал, что впереди у него одно сплошное несчастье. В его голове присутствовало понимание, что война, если и не убьет, так тем или иным образом искалечит навсегда. Воспоминания летчиков, причинивших столько разрушений, удивительно пусты. Встречаются фразы «уложить парочку поляков» или «зачистить место». Складывается впечатление, что летчики не имели представления о том воздействии, какое бомбы оказывают на живую плоть внизу. Кое-кто из них дожил до 1965 года и поступил на службу в Воздушный Морской Контроль. Эти люди достаточно подробно описали свой более поздний опыт, но никто не оставил полезных документов для истории военного времени. Историк обращается к датам и картам, подводит итоги скудному конгломерату надежд, страхов и страданий миллионов людей и сомневается: жалеть ли ему или быть благодарным, что большая часть этого беспорядка исчезла навсегда.

После 1945 года признаки истощения значи-

тельно усилились. Людскими душами овладело такое отчаяние, что даже начал улетучиваться инстинкт самосохранения. Бомбы падали вокруг, но люди уже не бросались в панике к убежищам, просто лежали на кроватях у себя в лачугах. Пугал только газ, да и тот гораздо меньше, чем прежде. Вспышки гриппа после 1942 года повторялись снова и снова, а в 1945 году пришла холера. Это были предвестники великой «микробной атаки». Казалось, что микроскопические организмы прощупывают оборонительные порядки человечества.

Британия и нейтральные страны Северной Европы страдали почти так же остро, как если бы они находились в состоянии войны, несмотря на то, что их не касались воздушные бомбардировки. Лондон и Стокгольм поставляли Европе боеприпасы в долг под проценты, тем самым превращаясь в могучих кредиторов. Такое положение дел привело к кратковременному экономическому подъему в британской метрополии. Когда-то Великобритания была пионером свободной торговли и космополитической мысли. Теперь же английский экспорт сократился до минимума. Бывший мировой кредитор не мог взыскать причитающиеся долги и соответствен-

но оплатить поставки продовольствия в голодающую Европу, чье чрезмерное население еще недостаточно сократилось. Под воздействием безжалостно неэффективного спасения прежние санитарные условия трансформировались в непролазную грязь. Неприятный климат все это многократно усугублял. Первая эпидемия холеры застала Англию в муках голода и гражданских беспорядков. Правда, высокомеханизированная армия жестко и результативно их подавляла. К тому же сказывались сильные народные традиции, связанные с уважением к субординации и общественной стабильности. Никогда, со времен Черной смерти XV века, Британские острова не сталкивались со столь убийственной эпидемией. Все пребывали в убеждении, что чума навсегда ушла из нашего мира. Между тем холера явилась только началом периода повсеместного инфекционного разгула.

Медленно, но верно по Европе распространялся мятежный дух. Растущее отчаянное неповиновение, которое в 1918 году фактически и завершило Мировую войну, проявилось в новых формах. Но если раньше война была, в первую очередь, уделом пехоты, то и соответственно массовые мятежи смогли нанести непоправимый ущерб

французским наступательным действиям после 1917 года, вывести из войны Россию и привести Германию к окончательному краху. Теперь же бунт не приводил к настолько разрушительному эффекту. Не осталось слишком больших людских скоплений, подчиненных невыносимой дисциплине и способных широко реализовать «подрывные» предложения. Власть перешла к специальным силам — авиаторам и военным техникам. С помощью несмертоносных бомб и легких газов они могли «справляться с ситуацией» и разгонять массовые митинги, а также «умиротворять» повстанческие районы, используя методы, немыслимые для революционеров на уличных баррикадах конца XVIII века.

Свою эффективность утратили даже забастовки на заводах по производству боеприпасов, потому что автоматизация вытеснила большое количество низкоквалифицированных рабочих. По той же причине загнулась основанная на классовой борьбе пропаганда коммунизма. Ее еще поддерживали девять десятых европейских рабочих и крестьян, но она уже не могла преодолевать естественные препятствия и захватывать контроль над общественной жизнью. Русскую социальную революцию было уже не по-

вторить, потому что условия изменились самым кардинальным образом. Успех большевиков стал возможен благодаря технической отсталости России и отсутствию образованного слоя. Непокорность простых людей в Центральной и Западной Европе могла вызвать и вызывала огромное пассивное сопротивление и местные революционные движения, но им противостояла целая система авиаторов, техников и научных работников, которые узнали от Красной России, какого планирования следует ожидать от пролетариата и руководящих партийных работников. Ученые и техники нового типа могли думать о своих правительствах все что угодно. Важнее другое — эти люди начинали в принципе поиному мыслить. И они уже не принимали идею демократического коммунизма.

Не без помощи организаторов из России протесты против продолжения войны временно приняли форму прокоммунистических восстаний. В 1947 году в Марселе, Сент-Этьене, Париже, Барселоне, Милане, Неаполе, Гамбурге, Лодзи и Глазго в войсках произошли вооруженные мятежи, достаточно грозные, чтобы поддерживать Советы от недели до нескольких месяцев. Хорошо организованные Советы Гамбурга и Глаз-

го продержались дольше остальных и пали только после значительного кровопролития. Во многих местах разворачивались инциденты такого же характера, но более мелкого масштаба. Формальное приостановление войны стало следствием страха правительств перед всеобщим восстанием. Материальная организация системы разрушалась, а поведение технического персонала становилось все более непредсказуемым. Угрожающий лик классово мстительного пролетария неумолимо приближался к биржевому маклеру, банкиру и традиционному правителю.

Потребовалось еще три года, чтобы закончить последнюю войну. Лондонская конференция 1947 года сделала все возможное для выработки стабильного урегулирования в Европе в соответствии с Версальским договором, но политики и дипломаты все еще были неспособны проявить необходимые откровенность и великодушие. Сохранить лицо для этих существ было важнее сохранения тысяч человеческих жизней. В 1948 году эти безумцы позволили бессмысленной бойне возобновиться.

Весной 1949 года в Праге президент Бенеш добился того, что казалось невозможным: положил войне долгожданный конец. Вместо

утомительных переговоров и выработки некоего промежуточного решения он просто предложил «приостановить военные действия без всяких предварительных условий». Каждая держава оставалась на занятых позициях и отказывалась от дальнейшего ведения боевых действий до созыва неуказанной Конференции, которую планировалось созвать позднее. Грипп, холера и желтая лихорадка, прогрессирующее ослабление экономической жизни и новые изменения в отношениях между людьми помешали созыву этой Конференции. Временная приостановка Бенеша превратилась в постоянную приостановку. Формально она продолжается и по сей день.

Глава 10
Бродячая смерть

Тот же недостаток подробного описания, который искажает историю последних войн, становится еще более очевидным в записях об эпидемиях, сделавших невозможным любое возобновление боевых действий. Дневники, письма и другие подобного рода записи вышли из моды. В мозгах иссякла энергия. Казалось, микробы выдернули листы из книг в министерствах

иностранных дел и в замешательстве человечества нашли способ восстановить свою давно утраченную империю.

В лучших людских традициях атака началась без объявления войны. Первая наступательная линия состояла из различных видов гриппа, вызывающего лихорадку. Они стали очень заразны, их невозможно было взять под контроль в условиях продолжающихся боевых действий. У воюющего населения снизился коллективный иммунитет.

Сокращенное и неорганизованное питание, а также крах санитарных служб позволили этим инфекциям приобрести невиданный доселе размах. Они убили несколько миллионов человек, а у остальных уменьшили продолжительность жизни. Это уменьшение приобрело даже большую важность, чем показатели смертности. Потом пришли холера и бубонная чума. Еще через пять лет, когда начало казаться, что худшее позади, ударила бродячая лихорадка.

Чрезвычайно неясная болезнь, до сих пор известная как лихорадка павианов в неволе. Вероятно, микроорганизм приспособился к родственной среде обитания в человеческом организме. Возможно, существовал какой-то

промежуточный хозяин, который подготовил бациллы к нападению на человечество. Нельзя исключить и другой вариант: предыдущие эпидемии могли нарушить тот или иной защитный элемент в человеческой крови. Мы практически ничего об этом не знаем, потому что врачи и биологи перестали записывать свои наблюдения. Научные работы нигде не публиковались.

Впервые болезнь появилась в окрестностях Лондонского зоологического сада и оттуда распространилась с невероятной быстротой.

Она обесцвечивала лицо и кожу, вызывала сильнейшую лихорадку, кожный зуд, психическое возбуждение и неконтролируемое желание ходить без остановки туда-сюда. По мере того, как жизненная энергия покидала больного, в конце концов, он ложился и умирал. Лихорадка передавалась через воду и через струпья, которые страдалец с невыносимым зудом с себя соскребал. Больные бродили повсюду, а ветер и вода разносили заразу. Восприимчивой оказалась половина человечества. Все восприимчивые заболели, и все заболевшие умерли.

Мощнейший всплеск новой инфекции продолжался восемнадцать месяцев, с мая 1955 по ноябрь 1956 года. Никакого эффективного

лечения, равно как и методов профилактики, так и не было разработано. Болезнь исчезла так же внезапно, как и появилась, оставшись неразгаданной загадкой для патологоанатомов. Павианы тоже больше не болеют. В результате сегодня невозможно воссоздать микробную культуру и проводить с ней какие-либо научные эксперименты. Не осталось никакого материала. Похоже, выработались какие-то неизвестные антитела, которые и перебили всех микробов данного вида. Доктор Маккензен считает, что микроорганизм так и не привел к выработке стойкого иммунитета. Болезнь просто тотально уничтожила всех восприимчивых и вовсе не затронула остальных. По мнению данного специалиста, восприимчивость сформировалась в военные сороковые. То есть эпидемия не явилась следствием возникновения каких-либо новых качеств у микроорганизма; микроб набросился на сверх всякой меры ослабленное человечество.

История подобна индивидуальной памяти в том, что стремится стереть негативный опыт. Высказывание, что счастлива та страна, у которой нет истории, является полнейшей бессмыслицей. Между тем, именно периоды процветания

и безопасности оставляют после себя наибольшее количество материала для исторической реконструкции. Мы знаем о веках изобилия в Египте, о величии и завоеваниях Ассирии, придворной жизни в Аджанте и Центральной Азии. Но дни военных катастроф не оставляли ничего, кроме пепла, а годы чумы в этом отношении вообще побили все рекорды. Существует неплохой отчет о Лондонской чуме (1665), написанный Даниелем Дефо (1659–1731). Неосторожного читателя следует предупредить, что изложенные события попросту сфабрикованы гениальным писателем, который не являлся им прямым очевидцем. Существует также картина Рафаэля, изображающая чуму в Риме. Здесь приходится говорить о том же самом. Большинство великих исторических бедствий забирали своих мертвецов и уходили не запечатленными. Что же касается истории, то за эпидемиями всегда следовали социальные и экономические потрясения. На этом этапе Клио снова оживала. То, что происходило снова, имело для нее значение, а то, что мертво, то мертво.

Беззаботное процветание XIX и начала XX века оставило нам безбрежную массу записей о людях, которые ничего не знали, — разве что понаслышке, — о страшном опыте человечества.

Мы располагаем миллионами романов, писем, дневников, мемуаров, картин и фотографий. Но почти не сохранилось писем, фотографий, книг и газет, которые могли бы пролить свет на 1955 и 1956 годы, которые, безусловно, являлись самыми ужасными в истории человеческой цивилизации. Все записи словно сожрала сама инфекция. Все осталось на откуп нового поколения Дефо и Стивена Крейна.

Описания Кейбла, Ната Дасса, Бодеско и Мартини представляются вполне оправданными. К этим домыслам мы читателя и отсылаем. В деревнях и городах лежали непогребенными мертвые мужчины и женщины. Собаки и кошки их обгладывали. В Индии мертвецов пожирали тигры, в Африке — львы, в Бразилии чрезмерно размножившиеся дикие свиньи. И все кругом кишело крысами.

Не хотелось бы упустить и еще один аспект — хождение инфицированных. Ничто не могло удержать их в постелях или на больничных койках. Больные проникали всюду. Тысячи умирающих странников были расстреляны. Охваченные паникой люди убивали их прямо на улицах. Эта мрачная необходимость сегодня нас ужасает. Так, например, в 1912 году пароход «Титаник» столк-

нулся с айсбергом и затонул. Те, кто находился в шлюпках, в целях самозащиты били веслами по руках тех, кто, находясь в воде, пытался схватиться за борта. Ужасно! Но в противном случае утонули бы все. В условиях жесточайшего стресса человек переставал подчиняться импульсам социального животного. Невосприимчивые возненавидели грязь и страдания вокруг себя. Лишь немногие медики, военные, священники и полицейские пытались навести хоть какое-то подобие общественного порядка. Кругом свирепствовали мародеры. Среди них были не только мужчины, но и женщины, что, конечно, еще ужаснее.

Но этот кошмар пришел и ушел.

В январе 1957 года последние заболевшие по-прежнему бродили по опустевшим городам. Несчастные вламывались в дома, топтали обглоданные кости или полностью одетые скелеты. Никто еще не мог осознать, что гнев природы закончился и жизнь продолжается.

Бродячая лихорадка завершила газовую войну. Мировое население сократилось вдвое.

Глава 11

Европа в 1960 году

Имеет смысл более детально разобраться в причинах, по которым лоскутное одеяло империй и националистических государств, созданное в эпоху европейского господства, утратило определяющие черты и выработанные традиции, а затем и вовсе отказалось от преданности людей доброй воли. Пустая оболочка прежней формации еще колыхалась в 1933 году; в 1966-м она исчезла. Сначала скомкалась, а потом распалась; осколки растворились без остатка.

Занимаясь общим образованием, сложное взаимодействие личностей и происшествий можно опустить, как мы равнодушно проходим мимо подробностей Великой войны или различных военных кампаний Наполеона, и как Эдуард Гиббон, автор книги «История упадка и разрушения Римской империи» (опубликованной между 1776 и 1788), прошел мимо тысячелетней истории византийской придворной жизни. В наши дни такого рода история стала миной для тех замечательных биографических исследований, которые вытеснили старые романтические произведения из развлечений нашего досуга, как только наше воображение вышло за рамки возвышенной

мысли. Все, что нам необходимо для нынешней цели, — это понимание могучих сил, действующих в густых джунглях человеческой реакции.

Человечество живет в ускоряющемся темпе, и основное отличие между упадком римской системы и упадком мирового господства частнособственнического капитализма в XX веке заключается в гораздо более быстром наступлении окончательного краха. Вторым важным отличием является гораздо более живое понимание происходящего со стороны вовлеченных масс. Обе депрессии являлись прежде всего имущественными и финансовыми. Кроме того, сказывалось отставание политической и образовательной адаптации, в результате вся система оставалась без руководства. Но если римский кризис брел в темпе лошади по мощеной дороге, то новое падение по всему земному шару пронеслось со скоростью автомобиля. Таким образом, налицо сильно сжатый и скомканный параллелизм. От опустошенной великими бедствиями Римской империи в конце второго века христианской эры до возрождения торговли, производства, искусства и благопристойного поведения прошло более тысячи беспокойных лет; от немецкого вторжения в Бельгию в 1914 го-

ду до возвращения к общему материальному процветанию при Воздушной диктатуре после 2010 года прошло всего лишь столетие.

Именно по этой причине мыслительный процесс стал гораздо более интенсивным. Мозг сумел прийти к правильным выводам, находясь в тесном контакте с предпосылками. Первый мировой крах распространялся несколько поколений, каждое из которых не обращало внимания на опыт предшественника; второй — пришелся на одну долгую жизнь. Те, кто помнил относительно стабильное третье десятилетие XX века, в 1960 году были еще далеко не самыми старыми людьми. Тот, кто был ребенком в начале гуверовского кризиса, принимал участие в становлении первой международной полиции. Тем самым он улавливал в происходящем объединяющую смысловую основу. Сомнительно, что римский гражданин во времена Империи мог вообще что-либо понимать.

Тем не менее, в обоих случаях происходило параллельное уничтожение старых идей. Стирались границы, разрушались освященные веками традиции, списывались долги и обязательства, исчезали религиозные и образовательные организации, разорялись привилегированные

классы, менялась законодательная база и происходило очищение от иллюзий. Обанкротившаяся цивилизация готовилась к радикальной реконструкции.

А теперь выполним своего рода срез мира через 1960 год и рассмотрим состояние населения и результаты его усилий. В свете последующих событий мы можем понять, что уже в середине XX века наблюдалось существенное сближение необходимых условий, но вместе с тем и усомниться, что в то время это казалось свершившимся фактом. Цель, к которой стремились фундаментальные биономические силы, везде была одинакова, но особенности широко варьировались в зависимости от географических, этнических и традиционных обстоятельств. Кроме того, интерпретации оказались чрезвычайно разнообразными.

События Эпохи европейского господства мы рассматривали как закономерный результат неконтролируемого и неравномерного роста на фоне политической и культурной атрофии. У людей в значительной мере выросла внутренняя энергия, что выразилось в увеличении численности населения (по данным Вернера Зомбарта, в Европе со 180 до 420 миллионов между

1800 и 1914 годами, несмотря на выраженную эмиграцию). Частично это было обусловлено военными действиями и полнотой индивидуальной жизни. Тем не менее, силы консерватизма и функционального сопротивления, воплощенные в кредиторской и правовой системах, приостановили высвобождение свежей энергии. Во второй раз в истории человечества неадаптируемое качество финансовой и частной организации привело к удушению общественной жизни.

Денежно-кредитная организация достатка в XIX веке во многих отношениях отличалась от римской, прежде всего своей сложностью, но развивалась фактически в том же режиме. Сначала происходило накопление частного капитала, затем разрушительное налогообложение. История повторялась. Европейская система, как и предшествовавшая ей римская, обеднела благодаря насильственному расходованию неожиданной энергии. Потери происходили, несмотря на новые возможности, которые предоставляла наука. Средства расходовались без отдачи. Наибольший объем расходов пришелся на период с 1914 по 1950 год. Потом темпы замедлились.

Новая война оказалась несостоятельной даже в плане разрушительного потенциала. Она

свернулась, как только на нее более или менее серьезно надавили. Она не убивала в той степени, в какой могла; именно поэтому читатель жив и скользит глазами по этим строкам. Сражения европейских войн сороковых годов — то есть чисто военные операции — со всеми их последствиями стоили человечеству едва ли четверти боевых потерь 1914–1918 годов. При этом научное противостояние достигло более ощутимых высот. В Азии разрушения оказались более основательными по причине варварского уровня противостояния, но даже там боевые потери оцениваются менее чем в девять миллионов. Из них почти пять миллионов приписывались последнему наступлению Японии в 1938 году, тупиковому положению в Центральной Азии и отчаянным боям с гоминьдановскими войсками к западу от Ханькоу с последующим отступлением.

Человек потерпел вполне ожидаемое поражение. Война не поднялась до своего предельного технического уровня. Социальные и политические потрясения, последовавшие за европейским и тихоокеанским конфликтами, значительно превзошли беспорядки 1917–1919 годов, но боевые действия являлись скорее прелюдией, нежели причиной. Новая война, которая,

как говорили пророки, закончится массовым убийством человечества техническими новшествами, незаметно переродилась в нищету, грязь политических решений, невыплаченные долги, списанные машины, восстания, партизанские и бандитские конфликты, всеобщий голод и великие эпидемии. Газовая и Воздушная война исчезли с переднего края человеческого опыта. Их затмили голод и болезни. Окончательным победителем в середине XX века стал микроб бродячей лихорадки. В 1930 году численность населения на нашей планете составляла два миллиарда человек. К 1960-му погиб миллиард. Причинами тому стали голод, болезни и полный экономический крах. Война унесла миллионы жизней; главным образом, в нескольких крупных сражениях. Мор забрал сотни миллионов, безжалостно пожирая своих жертв днем и ночью на протяжении двух невероятно ужасных лет.

По словам Имхоффа, не существует единой европейской истории Эпидемических и Голодных Пятидесятых годов; существует десять миллионов историй. Различные правительства, созданные в соответствии с Версальским договором, по большей части все еще юридически продолжали существовать в течение

всего этого века, но с прекращением денежной политики они стали настолько блеклыми и неэффективными, что перестали влиять на повседневную жизнь. Англичане и французы сами себя ограничили — сосредоточились на сборе налогов, но получалось из рук вон плохо; ситуация несколько напоминала взимание дани доэллино-латинского периода. Правители периодически вмешивались в местные дела, но по большей части пускали их на самотек. Активное сопротивление либо игнорировали, либо пытались найти с ним некий разумный компромисс. К 1952 году британское правительство все еще продолжало выплачивать долги международным кредиторам; во всяком случае, тем из них, которые еще как-то себя проявляли. Сегодня с трудом удается разобраться с записями тех лет. По-видимому, платежи осуществлялись в специальной бумажной валюте, не имеющей реальной покупательской способности. Итальянское и испанское правительства вели себя как настоящие административные органы в зонах ограниченного доступа. Рим сохранял довольно эффективный контроль над треугольником, обозначенным Генуей, Флоренцией и побережьем Средиземного моря, а Барселона и Мадрид поддерживали

порядок на большей части Пиренейского полуострова, за исключением советской Испанской Ривьеры, Португалии и Андалусии.

Что-то подобное происходило и в Америке. Благодаря большим расстояниям между населенными пунктами стало легче отделяться. Владельцы железных дорог обанкротились, и это создало прекрасные возможности для создания местных автономий. На этом пути американцы стали первопроходцами. После эпидемии железные дороги свою работу так и не возобновили. Власть Федерального правительства Соединенных Штатов сократилась до Вашингтона, почти так же, как Восточная империя сократилась до Константинополя, но Вашингтон не обладал жизненной силой города на Босфоре и стал просто историческим центром задолго до того, как к 2000 году возродился туризм. Германия, как единое целое, не пережила Польских войн, а Берлин быстро превратился в группу деревень посреди руин, оставленных польскими воздушными бомбардировками.

Таким образом, получается, что мировые политические системы рухнули за какие-то несколько лет. Встал транспорт, нарастал денежный кризис, вырождались военные организации. В этих

условиях задача поддерживать социальный порядок автоматически ложилась на плечи региональных лидеров, а те, в свою очередь, вдруг с удивлением обнаружили, что к ним прислушиваются. В Европе, как и во всем остальном мире на протяжении этого необыкновенного десятилетия, города и поселки оказались вынуждены «жить сами по себе». Инфекционные болезни усилили эту насущную потребность. Муниципальные власти организовали медицинскую службу и органы экстренной помощи. Когда мор отступил, органы управления оказались в роли потерпевших кораблекрушение моряков на необитаемом острове; пришлось восстанавливать разрушенную экономическую жизнь. Использовался старый авторитет для новых нужд и старые термины для новых вещей. То тут, то там появлялся энергичный лидер, называющий себя мэром или герцогом, или маленькая, но решительная группа под названием Городской совет или Союз граждан.

Необычные изменения в политической структуре выявили явное противоречие между фактическим и «законным» контролем. В Южной Германии, Польше и Северной Франции преобладало впечатление социальной революции.

Соответственно преобладали Советы. Но по структуре они сильно отличались от первоначальных русских Советов. Можно было отыскать коммунистический район, смутно соотносящийся с московской идеологией; и он мог лежать бок о бок с другим, чья местная власть заявляла, что поддерживает национальное правительство в столице. И эти в теории антагонистические системы умудрялись мирно сосуществовать. Люди, называющие себя депутатами, претендовали на власть в Вестминстере, Париже или Риме, подобно варварским вождям раннего Средневековья, которые ссылались на Византию или Рим. В таких условиях было не избежать локальных конфликтов или даже революций, но в столицах их неизменно признавали местными муниципальными перестройками.

По всей разобщенной Европе были разбросаны остатки старого милитаризма: разбитые недоукомплектованные подразделения неоплачиваемых армий с приходящим в негодность оружием и боеприпасами, чей запас неуклонно истощался. Эти формирования состояли из офицеров, которые были солдатами по профессии, и призывников, которых не демобилизовали и которые отказывались от демобилизации, по-

тому что не могли найти никакой другой работы. Офицеров в таких частях было относительно несложно контролировать ввиду постоянной угрозы массового дезертирства. В некоторых случаях эти сморщенные вооруженные силы тесно контактировали со старым законным правительством и с разной степенью успеха проводили налоговые сборы; в других случаях помогали поддерживать общественный порядок или занимались разбоем. Немало было и тех, кто попросту вливался в ряды местной полиции, которая подчинялась мэрам или Советам. В начале шестидесятых даже происходили небольшие завоевательные войны. Старые империи и суверенные государства внезапно появлялись и снова исчезали или становились чем-то другим. После 1960 года появились квазивоенные структуры, которые заключали договора с местными властями на поддержание порядка и даже заявляли о себе как о ядрах Современного государства. Они занимали старые казармы, а иногда и целые гарнизонные городки.

В сороковые годы эти солдаты были еще неопытными новобранцами. В последующие десятилетия те, кто остался в своих старых формированиях, превратились в отъявленных

негодяев средних лет в залатанной, потрепанной и дополненной новыми нашивками униформе. Над аэродромами и заводами по производству боеприпасов получали контроль военные коменданты, которые постепенно начинали понимать важность технических работников, потому что только наука и грамотный персонал могли сделать эти приобретения по-настоящему полезными. Офицеры деградировали до уровня пехотинца XIX века и теперь отчаянно нуждались в тех, кто способен поднять цивилизацию.

Иными словами, в это время люди начали пытаться делать то, что спустя столетие делает за них Мировое правительство. В конце Мировой войны и после нее французские торговые палаты восполнили дефицит наличности местными монетами. Эта практика широко распространилась. Сегодня в наших музеях хранятся сотни тысяч образцов импровизированных европейских монет из свинца, никеля, олова и всевозможных сплавов, жетонов или даже деревянных чеков, а также тонны подписанных бумажных купюр, приемлемых для погашения долгов и уплаты налогов на местном уровне, но совершенно бесполезных на расстоянии всего в несколько десятков миль. Местный банковский

служащий соответственно пытался эффективно организовать свою местную кредитную систему, сотрудничая с юрисконсультом. В большинстве крупных населенных пунктов все еще существовали типографии, и в течение многих лет местные периодические издания, выходившие ежемесячно или даже еженедельно, печатались на грубой и самой разнообразной бумаге. Правда, зарубежные новости в большинстве случаев являлись не более чем слухами. Крупнейшие агентства прессы обанкротились и умерли. Вышла из строя телеграфная организация.

Радиопередачи вели всего несколько сохранившихся точек. Между тем основная проблема заключалась в прекращении производства радиоприемников. С 1930 по 1970 год «эфир» кое-как сохранялся. В «Исторических записях» есть исследование превратностей почтовых, телеграфных и телефонных сообщений между 1950 и 1980 годами. Телефонная связь между Лондоном, Парижем и Римом, по-видимому, никогда не прерывалась или, во всяком случае, не прерывалась надолго. Известие о великом лондонском оползне в 1968 году передали по телефону в Мадрид, а оттуда по радио в Буэнос-Айрес, хотя, возможно, это объясняется возобновлением кон-

троля над морями и воздухом.

После краха мировой торговли быстро исчезли не только радиоприемники. В полной мере это относится и к фотографии. Стал редкостью даже велосипед. Старую надувную шину стали заменять на тонкую твердую резину, которую часто «переделывали» из других видов низкокачественной резины. Исчезло электрическое освещение. Трамвайные системы либо полностью вышли из употребления, либо перешли на конную тягу.

Повседневная жизнь неуклонно понижала собственные стандарты. В британских и французских провинциях остановилось жилищное строительство. Между тем в Берлине и Вене, наоборот, после войны наблюдалось интенсивное строительство. Поскольку население после эпидемии сильно уменьшилось, жилья хватало с избытком. В плане нищеты и грязи европейцы не опустились до уровня китайских или индийских городов. После 1933 года газеты отмечали, что на городских улицах стало гораздо грязнее. Соответствующие службы стали гораздо хуже ремонтировать дороги.

Стало хуже и с одеждой. В течение сорока лет ее количество на душу населения неуклонно сокра-

щалось. Городские массы все чаще облачались в униформу (до 1950 года), которая постепенно утрачивала яркость и элегантность. Люди латали свою старую одежду за неимением новой; лохмотья превращались в обычное явление. Не лучше дело обстояло и с обувью. В довоенной Европе массовое производство согнуло спину старомодного сапожника, и впоследствии он так и не смог полностью разогнуться. Если испанцы еще были кое-как обуты, то французы и англичане либо перешли на сандалии, либо вовсе начали ходить босиком. Зимой это приводило к обморожениям. Обувное производство было худо-бедно налажено где-то в Богемии, но где именно, сегодня не представляется возможным установить. Повсюду наблюдался дефицит головных уборов.

Всеобщий упадок коснулся всех маленьких радостей жизни. Исчез табак. Точнее, он оставался только в нескольких привилегированных районах, где он, собственно, и выращивался. Вымерло массовое производство сигарет. Настоящий чай стал большой редкостью, не хватало сахара. Возросло количество заболеваний, связанных с недостаточным питанием.

Во время Великой войны хитроумные европейцы научились делать нужные вещи само-

стоятельно. Теперь же им предстояло провести целое десятилетие в условиях трудностей внутреннего управления. Немцы уже были знакомы с понятием «эрзац». В Германии имелись соответствующие технические знания и способные специалисты. В мрачный период всеобщего дефицита это позволяло поддерживать чуть более комфортный уровень жизни, чем в остальном мире. Немцы изобрели заменитель кожи, заменитель хлопка, заменитель кофе и чая, заменитель табака, заменитель опиумных анальгетиков и очень многих лекарств.

На другой чаше весов находились бездельники-ирландцы. До возвращения производства их физические страдания превосходили средние мировые показатели. Сторонние наблюдатели сомневались, что Ирландии удалось выпустить миллион ярдов новой ткани с 1950 по 1960 год.

«Они живут, — писал один из этих наблюдателей, — на картошке и виски и периодически выказывают свое недовольство. Носят одежду из плетеной соломы, живописно свои одеяния раскрашивают и даже хвастаются ими, называя это убожество «возвращением к корням». Согреваются с помощью костров из торфа и навоза, а также жаром взаимной брани».

Все это звучит ужасно по-варварски. Тем не менее, именно этому периоду мы обязаны появлением элегантной — хотя, согласно отчету, недавно обнаруженному в «Исторических документах», и несколько шаткой — Церкви Искупления, построенной на месте Дублинского Королевского научного колледжа, закрытого цензурой в 1939 году за «преподавание биологии в свете, разрушающем Святую Троицу».

Студент должен быть более или менее знаком с изображениями этого периода в чрезвычайно полезном сборнике «Исторические сцены» в ста томах. Вполне возможно, что начитанному студенту попадались на глаза какие-нибудь романы или рассказы, написанные в то время, но что касается промежутка между концом пятидесятых и началом шестидесятых годов, фотографий сохранилось очень мало. После 1955 года у населения оставались фотоаппараты и кинокамеры, но, похоже, совсем не сохранилось пленки. У нас в наличии всего несколько десятков снимков — в предыдущие десятилетия их было в изобилии, — а кинематографических фильмов нет вовсе. Еще сохранились наброски, которые, как правило, выполнялись карандашом. Позднее появились сфотографированные

реконструкции этих рисунков.

Имеются шесть интересных снимков, сделанных в Лионе в 1959 году. Похоже, кто-то нашел катушку пленки и смог ее проявить. Одно фото изображает площадь Белькур в базарный день. На других мы можем видеть бронзовую конную фигуру Людовика XIV. До наших дней она не сохранилась. Наиболее вероятно, что ее расплавили, чтобы сдать металл. Мы также можем видеть окна больших зданий, бывших гостиниц и больниц. На заднем плане — выпотрошенные дома. Но само место довольно оживленное. Вероятно, это была ежемесячная ярмарка. Торговали крупным рогатым скотом, лошадьми, овцами, козами и свиньями преимущественно крестьяне, в соломенных шляпах и очень старых пальто либо вообще завернутые в какую-то непонятную материю. Горожане все еще носили одежду тридцатых годов, потрепанную и залатанную. Трое в старомодных цилиндрах, видимо, важные рыночные служащие. На переднем плане бородатый мужчина ведет пару волов, запряженных в автомобиль. На переднем пассажирском кресле сидит полная женщина. У нее в руках клетка с утятами. На заднем сиденье теленок в сетке. Дама широко улыбается в камеру, не подозревая,

что по сути общается с потомками.

На другом снимке — соревнование по игре в шары на пустынном железнодорожном вокзале. Это явно праздничное событие; проводятся сразу несколько партий с участием разных игроков. С путей, которые используются для игры, убраны рельсы. С разных помещений сняты двери, но остались надписи *«Chef de Gare», «Salle d`Attente», «Restaurant».* На одной из средних платформ накрыты два длинных стола, подают простые закуски. На третьем снимке изображена толпа, которая уставилась на руины. Несколько домов только что рухнули вдоль крутого склона в районе, известном как Фурвир. Двое бородатых мужчин в безошибочно узнаваемой униформе старых «Альпини» следят за порядком. Нам известно, что лионский муниципалитет в то время располагал тремя полками, расквартированными в казармах. Солдаты носили сандалии, дополненные тканевыми полосками, скрученными вокруг ног. Плащи на вид в хорошем состоянии.

Три другие фотографии дают нам представление о положении дел на заброшенной фабрике по производству шелка. До экономического краха лионский шелк все еще был натурального происхождения, то есть делался шелкопрядом,

но поставки сырья в долине Роны, похоже, прекратились. Соответственно сократилась торговля. Война также сократила импорт намотанной нити. Но от шелка не собирались отказываться, и, вероятно, прилагались особые усилия, чтобы поддерживать привоз. Это конкретное учреждение, похоже, продолжало кое-как работать вплоть до появления лионской коммуны в 1951 году. Тогда все было окончательно остановлено. На еще одной фотографии изображена огромная куча бумажного мусора среди ткацких станков и несколько канистр, возможно, наполненных бензином. То есть речь могла идти о попытке поджога. Другая фотография показывает намоточные машины в паутине и пыли. На последней машине среди механизмов XX века видим дикую кошку и порхающих мотыльков.

Фотографии ценны своей подлинностью. Также имеются две фотографии *«Cafe Royal»*, большого ресторана в заброшенном гранд-отеле Стокгольма. Они странно напоминают фотографии руин бань римского императора Каракаллы. Отметим также фото обеденного зала отеля *«Metropole»* в английском Брайтоне до того, как строение было полностью разрушено. Все остальные снимки расставлены в хронологическом порядке в «Исто-

рических сценах» между 1955 и 1963 годами. Сложное производство фотоаппаратуры и пленки возобновилось уже после того, когда стал ходить транспорт и в воздух поднялись десятки восстановленных самолетов.

В Лондоне остались музейные экспозиции, изображающие пустые улицы и такие же пустые полуразрушенные склады после эпидемии. Фотографии коридоров в отелях на Стрэнде, превращенных в больничные палаты, по-настоящему впечатляют. То же касается и наброска большой битвы между скотоводами и земледельцами, которые выращивали картофель, за владение Гайд-парком и Кенсингтонскими садами. Тогда погибли триста человек. Между тем, следует отметить, что картины, изображающие множество тел жертв эпидемии, плывущих по Темзе, все-таки являются художественным преувеличением.

В ценнейших документах мы находим свидетельства тревоги, потери, недоверия и вынужденного смирения. Через все это день за днем проходили сотни миллионов европейцев. Из общего комфорта двадцатых годов через потрясения, страх, ужас, ярость и возбуждение военного шторма человечество погрузилось во всеобщее

бессилие и нищету. Бедняки, возможно, в меньшей степени предчувствовали беду, чем богачи. Даже во времена Всеобщего процветания, как это тогда называлось, человеческая жизнь была очень скучной, однообразной и утомительной. У людей хватало еды, но еды очень низкого качества. Далеко не все могли себе позволить достойное жилье. Да и вообще качество жизни имело тенденцию постоянно ухудшаться. За тяжелым трудом следовала безработица. Средний класс перешел от хорошего к плохому, от более или менее сносной жизни к безнадежной нужде.

Самые большие несчастья переживал класс пожилых и «пенсионеров», а также людей с «независимыми средствами» (и без обязанностей), которых стало очень много в первую эпоху Всеобщего процветания. Этот избыток процветающего человечества не без удовольствия для себя распространился по всему миру, не обращая внимания на усилия по обеспечению социальной дисциплины и безопасности. Незаметно эта прослойка заняла место старой административной и управленческой знати и сельского дворянства. Инвестиционная система в период своей устойчивой стабильности избавила этот социальный пласт от большинства неприятностей. Состоя-

тельное общество занимало обширные районы весьма приятной местности. Восхитительные сады, поля для гольфа, ипподромы, горные спортивные центры, парки, загородные клубы, пляжи, дорогие отели. Оно немного поникло в годы Мировой войны, но с большими надеждами возродилось в последующее десятилетие лихорадочной и неопределенной экспансии. По мере того, как развивался Великий спад, праздная жизнь уходила.

Экономическая фаза — не вполне верное определение. На самом деле речь шла не столько об экономике, сколько об удушении и бездействии вследствие сокращения расходов. Никто — за исключением разве что только ловкого спекулянта на стагнирующем рынке — не стал богаче или даже относительно богаче. Прибыль появлялась только в банковских ведомостях. Предприятия вымирали, заимствующие государства и корпорации приостанавливали платежи. Просроченные задолженности приводили к дефолтам. Воды отречения поднимались, затопляя безопасность. Сброс материальных активов не приводил к сохранению капитала, особенно на фоне колебаний обменного курса.

«Что ни упади, бессонных ночей все больше», —

отметила финансовая газета в 1933 году.

На роскошной вилле, на смятой бессонницей подушке металась голова несчастного капиталиста, а толпы безработных приходили в отчаяние в душном холоде трущоб.

Сохранился дневник некоего Титуса Коббетта, который в 1958 году проехал на велосипеде из Рима по Ривьере до Бордо. Этот человек начинал в качестве торговца произведениями искусства, а затем несколько лет прослужил в британском налоговом управлении, оценивая мебель, картины и тому подобное. Свое путешествие он предпринял, похоже, из чистого любопытства. Горько жаловался на трудности с денежным обменом между Генуей и Бордо. Похоже, на него возложили какие-то малопонятные дипломатические или консульские функции, но сам он предпочел об этом не распространяться. Возможно, его отправили сделать какой-то доклад, но никаких написанных инструкций нет.

До сих пор очень интересно читать это описание пораженного бедствиями побережья. Будучи молодым человеком с хорошими связями, он неплохо знал Монте-Карло в двадцатые годы; частенько там гостил. Он написал о сотнях заброшенных шато с заколоченными окнами,

непригодными для продажи. Какие-то из них оставались на сомнительном попечении прислуги, другие — просто разграблены. Восхитительные сады, множество роз, олеандров, гранатов, апельсиновых деревьев, кипарисов, пальм, агав, кактусов — все это приходило в упадок. В отели никто не заезжал, и они тихо разрушались. Вышедшие из строя водопроводы размывали дороги, а бунгало заняли крестьяне. Такое же опустошение обрушилось и на берега Неаполитанского залива. Дорожные знаки и придорожная реклама безмолвно взывали к исчезнувшему движению. Коббетт крутил педали, размышляя, найдется ли по пути достаточно чистое и гостеприимное убежище на ночь. И вдруг, когда стемнело, в свете своей масляной лампы он увидел надпись:

H TEL S LEN ID
CU SINE RENOM
T TLE C NFOR M RNE

Куда ушли хозяин и гости? Куда подевались владельцы и арендаторы этих вилл и садов, яркая клиентура этих развлекательных оазисов? Многие из них, без сомнения, уже были мертвы, так как владельцы Ривьеры являлись преимущественно людьми среднего и преклонного

возраста. Остальные вернулись в свои страны, в нищету, полную утомительных воспоминаний.

Коббетт посетил развалины старого казино в Монте-Карло и спортивного клуба. Потолок американского бара обрушился за несколько дней до его прибытия.

«Они выглядели убогими, — написал он, — а когда я был молод, казались потрясающими местами».

Знаменитый сад, где азартные игроки заканчивали свои неприятности самым кардинальным из способов, зарос мезембриантемумом.

Как это ни удивительно, но на фоне общего упадка все еще продолжалось воздушное сообщение. Между Римом и Марселем Титус видел тринадцать самолетов, направлявшихся либо на восток, либо на запад.

«Сомневаюсь, что увидел бы их так много еще четверть века назад», — написал он и продолжил распространяться, весьма поучительно, о возрождении торговли и возможном возрождении общественного порядка, которое предвещали эти пульсирующие механизмы. Он также отметил, что между Ниццей и Марселем курсировали морские суда.

«Не просто рыболовецкие лодки, но корабли водоизмещением в тысячу тонн или даже более, — такую восторженную оценку дал путешественник на велосипеде. — В Ницце строили судно водоизмещением не меньше чем три тысячи тонн».

У нас не сохранилось других записей о судостроении между 1947 и 1962 годами. Задолго до 1940 года строительство очень больших кораблей перестало быть «выгодным предложением», и совершенно очевидно, что никакие морские суда вообще, большие или малые, не строились нигде в мире в начале пятидесятых годов. Год за годом транспортная система обанкротившейся планеты приходила в негодность. В наши дни студенты исторических факультетов разрабатывают статистические диаграммы стремительного упадка.

Коббетт также с удивлением обнаружил функционирующий участок железной дороги (использовались дрезины на рычажной тяге или с бензиновыми двигателями) между портом Марселя и несколькими карьерами. У велосипедиста явно сложилось впечатление, что других железных дорог в мире не существует. Как только трафик упал ниже возможности выплачивать

прожиточный минимум, поддерживать постоянное движение и покрывать текущие расходы не могли даже спекулятивные покупатели. А ведь когда-то железные дороги являлись ценнейшими объектами недвижимости. Они превратились в старый хлам. Порванные и ржавые рельсы утопали в агавах и полевых цветах. Коббетт упоминал о красоте старой *«Sud de France»* и рассказывал, как ехал на велосипеде по объездной дороге Париж — Лион — Средиземное море. Объездная оказалась в лучшем состоянии. Крестьяне разобрали железнодорожный путь на металлолом. Рельсов почти не осталось, а шпалы распилили на бруски и топили ими печи.

Во Франции сохранился аэродром. Здесь наш велосипедист повстречался с испано-американским летчиком, который во время последней войны служил сначала полякам, потом немцам и, наконец, французам. На Коббетта произвели большое впечатление явные признаки оживления торговли. Оказалось, что с Востока по воздуху поступают резина, специи, ртуть и жесть, а на Восток — часы, наручные часы, компасы, ножи, иглы, пуговицы и закаленное стекло. Таким образом большая часть торговли являлась бартерной, однако она была настолько интенсивной, что

речь могла заходить уже о неуклонном расширении сферы обслуживания.

Похоже, путешественник впервые узнал о том, что основным двигателем торговли являются авиаторы, выжившие после войны. Они организовали свободный мировой союз и следили, чтобы воздушные пути сообщения поддерживались в полнейшем порядке.

Коббетт поделился с авиаторами, что наблюдал оживление судоходства на море.

— Нам предстоит присматривать и за этим тоже, — многозначительно заявил один из них.

— Берете пассажиров?

— Если они платежеспособны.

— Цивилизация возвращается! — воодушевленно воскликнул Коббетт.

— Нет, не так! Это — начало новой цивилизации!

По-видимому, этот авиатор впервые открыл глаза Коббетту на некоторые идеи, которые уже формировались в наиболее продвинутых мозгах.

— Мировая империя! — сказал повелитель воздуха. — Это старая идея. Владеешь транспортом и воздухом, владеешь миром. Зачем нам другие империи, если мы создадим эту?

Этот разговор произвел на Коббетта неизгла-

димое впечатление. Он отправился в Бордо, где, вероятно, планировал подзаработать, много думал и записывал. Он проводил довольно убедительную и интересную параллель между Всемирной транспортной организацией и ганзейскими купцами, которые сыграли важную роль в возрождении цивилизации в Прибалтике и Северной Европе после падения Рима.

«В конце концов, — продолжил свои размышления Коббетт, — мы никогда не придавали должного значения организованному транспорту и торговле».

В Бордо любознательный путешественник, продав велосипед, получил возможность приобрести билет на самолет до Ле-Бурже (старый аэродром недалеко от руин Парижа), а уже оттуда улетел в Хендон. В Ле-Мане самолет приземлился для обмена товарами. Радость от того, что удалось, наконец, покинуть разбитые дороги, так и хлестала в его записках через край.

Титус писал, что французы начали восстанавливать свои загубленные леса. Глядя вниз из салона самолета, он отмечал, что крестьяне селятся группами вокруг старых городов. На аэродромах бывший велосипедист новыми глазами смотрел на авиаторов и механиков; он узнавал,

как мировой транспорт восстанавливает металлургические и электротехнические предприятия. Снова довелось увидеть красивый собор Ле-Мана. Титус восхищался им еще в студенческие годы и был несказанно рад увидеть его неповрежденным. Рядом с собором построили памятник пионерам авиации. Он сохранился до наших дней. Амьенский собор также не пострадал.

Дневник заканчивается на меланхолической ноте. Вернувшись в Англию спустя много лет, Коббетт был потрясен запустением в пригородах Лондона. В детстве автор жил в Лондоне и очень его любил. Часть Гайд-парка, несмотря на противодействие земледельцев, была превращена в аэродром. Перестройка центрального района показалась Коббетту бессистемной и неприятной. Он возражал против скученности тяжелых зданий с бетонными противовоздушными панцирями, хотя она и объяснялась нехваткой пригородных транспортных средств.

«Они выглядят, как больные грибы, — сурово написал Титус. — Когда уже мы, англичане, научимся что-то планировать?»

Пророчествуя, он сомневался, сможет ли северный склон впадины Темзы, так плохо осушенный и столь мягкий в недрах, выдержать комковатую

массу несостоятельных новых зданий.

Спустя десять лет его опасения полностью подтвердились. Русло Темзы изогнулось, и весь Стрэнд, Флит-стрит, Корнхилл и, что самое прискорбное, прекрасный собор Святого Павла, детище сэра Кристофера Рена, столь знакомый нам по картинам и фотографиям того времени, превратились в руины и погибли в огне. Читатель, которому попадались на глаза «Исторические сцены» в ста томах, — а у кого их нет? — вспомнит странный вид старого моста Ватерлоо, смятого до формы пентхауса, и гротескный наклон египетского обелиска, когда-то известного, как Игла Клеопатры, этой почтенной плиты с иероглифами, потрескавшейся и расколотой шрапнелью воздушного налета. Обелиск упал в воду озера Ламбет-Челси.

Глава 12
Ликвидация Америки

В предыдущих разделах мы получили общее представление о ходе истории в Старом Свете в середине XX века. И как мы уже отмечали, даже в Европе некоторые регионы стояли в сторонке от основной драмы, следуя собственной линии

развития, менее трагичной и напряженной, чем у ведущих мировых держав. Например, новая Испания, родившись в 1931 году, озаботилась преимущественно своими собственными делами. Еще более заметным следует признать неучастие обоих американских континентов в жесточайших европейских и азиатских событиях. Латиноязычная и англоязычная Америки испытывали параллельные экономические, политические и социальные трудности, но в своих пределах. Финансовые потрясения начала тридцатых годов, вызванные европейскими проблемами, затронули американских жителей в наименьшей степени. Частный капитализм за океаном разваливался по-своему.

Между тем сам факт упадка наглядно демонстрировал, что его причиной являются отнюдь не войны. На самом деле главную роль играли неприспособленность денежной системы, дезорганизация общества из-за перепроизводства и эпидемии. Повседневная жизнь человека в гораздо большей степени связана с экономикой, нежели с войной. Экономику душила не война; это делал кредитор. Если бы в 1900 году мир уже был единым государством и если бы он все еще жил с экономикой частного накопления,

результат оказался бы тем же. Если бы воевали сотни государств, но оставались при этом с денежной системой, которая сдерживает кредиторов и развивает промышленность, то такая система высвободила бы достаточно энергии, чтобы продолжать войну до полного взаимного уничтожения еще сотню лет или даже более. Валютный крах стал самым непосредственным фактором мирового ослабления и голода. Иными словами, человек мог пройти гораздо более долгий и мучительный путь. То есть это даже хорошо, что в тридцатые годы прогресс обрушился на финансы.

Тщетность всех ранних антивоенных движений становится понятной только тогда, когда мы осознаем существенную важность денежной взаимосвязи. Сцепка между кредитором и традиционным антагонизмом становится особенно очевидной в свете параллелизма американского и европейского опыта.

Со времен первого политического отделения от европейской системы американские общины прошли свой собственный путь развития, независимый и не совпадающий с ходом событий в Старом Свете. Независимый — и все же не вполне независимый, потому что и Европа, и Америка

находятся на одной планете. На протяжении всего XIX века американский ум, как на севере, так и на юге, пропитывался идеей ИЗОЛЯЦИИ. В школах, в прессе, в каждом политическом высказывании общего значения преподносилось, что Новый мир действительно является новым миром, бегством от тирании древних традиций к миру, свободе, возможностям и новой жизни для человечества. Новый Свет должен был избежать «запутанных союзов» с государствами и политикой Старого Света, забыть застарелые ссоры и ненависть Европы даже ценой забвения родства и разрыва с общей культурой, а также выработать и подать пример более щедрого образа жизни. Со времен Джорджа Вашингтона и до времен Вудро Вильсона, несмотря на Гражданскую войну и серьезные экономические проблемы, американский разум никогда не отказывался от своей веры в собственное образцовое качество и свою концепцию, что к остальному миру, мол, следует относиться по-миссионерски и филантропически. Он понимал, что много знает, но сомневался, что знает достаточно.

На протяжении XIX века Америка и Европа расширялись в необъятных масштабах как с экономической, так и с биологической точек зрения.

Впечатлившись своим собственным ростом, Америка склонилась к тому, чтобы проигнорировать равные темпы европейского прогресса. За сто лет, благодаря огромной иммиграции из Европы, население Соединенных Штатов увеличилось на восемьдесят миллионов человек. Но, несмотря на такой мощнейший поток эмиграции, сама Европа продемонстрировала прирост на двести сорок миллионов за тот же период. Американец пребывал в иллюзии, что «обскакал» Европу. Ему казалось, что новые идеи и изобретения появляются у него дома благодаря оттоку человеческой энергии из устаревающих центров. На континенте с малым количеством препятствий научно-техническая экспансия должна была на порядок превосходить соответствующий европейский процесс. Казалось бы, система прогрессировала, но вместе с тем она не соответствовала трансатлантическим событиям.

На протяжении этого столетия изобретения в области транспорта и связи «устраняли расстояние». Если раньше между точками пролегали месяцы, то теперь — несколько часов или даже мгновений.

Возникающие в результате этого изменения близости и отдаленности по обе стороны

Атлантики составили выдающийся аспект в истории XX века. Это было подобно вращающимся и растущим вершинам, которые располагались практически бок о бок. Они приближались, соприкасались и отталкивались, шатались и разлетались по сторонам. Или это подобно двум комплексам механизмов, которым в конечном итоге суждено объединиться в один мировой механизм, чьи вращающиеся колеса пытаются сцепиться, но не сцепляются. Под дождем искр и осколков они, сотрясаясь, разделялись. С конца XIX века объединяющие жизненные силы стремились объединить Америку с Европой. К середине XX века любому стороннему наблюдателю можно было простить вывод о том, что взаимодействие потерпело неудачу.

В этой истории мы уже уделяли много внимания Генри Форду, Вудро Вильсону и второму Рузвельту, Франклину Рузвельту. Рассказали об их великолепном наступлении на Европу и последующем отступлении от нее. Короткая, но толковая книга американского публициста Фрэнка Х. Саймондса «Может ли Америка оставаться дома?» (1933) очень красноречиво рассматривает вопрос изоляции в том виде, в каком он возник в первые годы великого экономическо-

го спада, который навсегда закрыл дикие свободы стяжательского частного капитализма. Автор показал, как фазы сближения и отталкивания сменяли друг друга, начиная с первых империалистических предприятий Рузвельта № 1 (то есть Теодора Рузвельта, 1901–1909) и далее; насколько невозможным казалось Америке ни оставаться в стороне от дел Старого Света, ни откровенно участвовать в них. Америка выражала свои преисполненные добродетели мнения, но не поддерживала их; настаивала на тех или иных моральных суждениях, но не брала за них ответственность на себя.

Для того, чтобы понять, как это виделось европейцам, процитируем любопытный отрывок из сочинения Саймондса:

«Забота Америки о мире представлялась прозрачным стремлением объединить миссию Иоанна Крестителя с методами Понтия Пилата».

Иными словами, американцы пытались объединить либерализм с наивной грубостью.

С самого начала Американская республика шла в отрыве от истории, от чего-то нового, гораздо более нового, с учетом длительности своего периода, чем Советская республика Ленина, и с самого начала Америка не смогла сохранить свою новиз-

ну, не смогла развить и усилить свои идеи. Она развивала систему высших школ, но мужчины изменили свою структуру мышления не ранее, чем через сто лет после обретения независимости. В то же самое время она предоставила всеобщее образование низкооплачиваемым учителям и скучным женщинам. И она безмерно выросла в телесах, питаясь импортной пищей для мозга. Результатом стало появление сырой и необработанной идеи о собственной миссии. Глупые и одновременно насыщенные мировой мудростью проповеди Вильсона стали, пожалуй, наивысшим выражением американского ума того времени.

Даже в XIX веке американский ум не был невежественным умом. Но вместе с тем это был чрезвычайно необразованный ум. Неуклюжий, но свободный. Его религиозное «возрождение» происходило параллельно политическим колебаниям. В истории подлинной американской жизни мы находим такие черты, как, например, организация митингов с призывом к покаянию. А еще факельные шествия, суровые проповеди и страстные песнопения. В волнах народных чувств, собраниях, часто в лесу, пении гимнов, увещеваниях, покаянных криках, ликующей

вере, бессмысленной экзальтации и дефляции американской духовной жизни отражались бумы и спады американской мировой миссии. И только после потрясения, вызванного мировой экономической катастрофой, реальное, а не мнимое американское социальное и политическое мышление обрело полную силу. Отступление Соединенных Штатов от запутанности европейских дел по мере того, как усиливалась Великая депрессия, ознаменовалось новой, более энергичной решимостью охватить основные аспекты социальной жизни.

Внутренняя ситуация располагала всем необходимым, чтобы стимулировать мышление, потому что камни в обрыв посыпались еще стремительнее, чем в Европе. Промышленное сооружение поднялось до головокружительных высот массового производства; соответственно и падать пришлось больнее. В 1928 году Соединенные Штаты Америки все еще считали себя самой процветающей страной в мире; в 1933-м ее безработица стала более безнадежной, а ее безработные — более опасными, чем на любом другом континенте. Но они не предпринимали никаких организованных усилий для восстания; у них не существовало объединяющей революционной

формулы. Они восставали, как индивидуальные лица; уходили в банды и становились преступниками. Общество не было свергнуто, но оно быстро рассыпалось в пыль и беспорядок. Волна преступности, финансовый стресс, неистовые усилия по экономии и все последующее удушение всеобщего образования с разрушением доверия, порядка и взаимосвязей — вот та последовательность, которую мы уже проследили в общих чертах и которая проявилась наиболее сильно и типично именно в этой обширной и сравнительно несвойственной для общей истории территориальной зоне. Рузвельт № 2 храбро боролся за идею, но пришел слишком поздно, чтобы остановить гниение.

В Америке, как и в Европе, начался этап фрагментации. Это не был разгром, которому можно было бы присвоить определенную дату, но каждый день привносил новый элемент распада. Как и в Европе, правительство в Америке превращалось в неплатежеспособного фантома. Усилия по сбору налогов становились все менее эффективными. Федеральная власть в Вашингтоне умирала вместе с Лигой Наций за океаном. На обоих берегах Атлантики происходили схожие процессы. Муниципалитеты становились

автономными, органы управления — временными. Всюду начинали действовать Союзы граждан, Общества охраны правопорядка, Ассоциации защиты трудящихся, а в Нью-Мексико и Аризоне — рабочие Советы. В районе Синих гор и на Тихоокеанском побережье небольшие республики изолировались в 1945 году и проводили странную смесь методизма, «технократии» и плана Дугласа, а Юта стала практически автономным штатом с единым налогом и восстановила мормонизм первоначального типа в качестве государственной религии. Но формально отделяться от Федерального союза никто не стал.

У нас имеется описание Вашингтона в 1958 году, сделанное бывшим атташе британского посольства (все послы Британской империи были заменены «сводными консулами» в 1946 году). Он описал свой визит в Белый дом, где его принимал за обедом президент Бенито Карузо. Срок его полномочий истек, но избранный преемник исчез по пути в столицу в Аллеганских горах. В связи с последними выборами возникла значительная путаница. Два президента-сепаратиста оспаривали владение штатом Нью-Йорк после конфликта из-за урн для голосования. Это полностью прервало связь с Новой Англией.

Президент радушно принял своего гостя и задал множество вопросов о ситуации в Европе. С большой надеждой отзывался об американском мировоззрении.

«Возвращение к нормальной жизни, — сказал он, — наконец-то стало возможным».

Восстановилось пароходное движение по реке Миссисипи, хлопок снова шел на север, несмотря на политические волнения. В 1956 году в Южную Америку отправились сто сорок автомобилей вместо семидесяти двух в прошлом году. Новая бартерная система работала неплохо. Взамен в Соединенные Штаты шел кофе. Теперь президент надеялся на устойчивое восходящее движение в области бизнеса. Он признал, что гуверовский кризис длился намного дольше, чем ожидалось. Многие были измотаны до предела, но встретили тяжкие испытания с достоинством отцов республики. В заключение он произнес обычные для того времени комплименты между двумя большими группами англоязычных народов.

Обед оказался простым, но сытным. Подали превосходную свинину и разнообразные овощи, которыми президент хвастался с искренней демократической откровенностью. Карузо утверждал, что свинью вырастил в собственном свинарни-

ке, сразу за Белым домом. Там же находились и огороды с овощами. Помогал главе государства в этом нелегком деле негритянский «секретариат», в чьи обязанности входило вести домашнее хозяйство, а не работать в офисе. Оставалось неясным, по каким причинам нанимали данных работников; некоторые из них даже не умели читать. Миссис Карузо, очень приятная дама ирландского происхождения, подробно рассказывала о трудностях ведения домашнего хозяйства в Вашингтоне ввиду возрастающей неточности в сборе федеральных доходов, но президент остановил ее, очевидно, считая домашние дела отражением платежеспособности нации.

В Ассамблее в то время были представлены конгрессмены только из трети штатов от общего их числа. Остальные сочли, что посылать делегатов слишком дорого или вовсе не нужно. Оборванный владелец захолустного дома излагал жалобу; никакой прессы не осталось и в помине, и соответственно его, по сути, никто не слушал. По-видимому, кто-то пытался «оговорить» какое-то законодательное предложение, но посетитель не нашел никого, кто мог бы прояснить ситуацию.

На следующий день английский гость обедал

с красноречивым, жизнерадостным и почтенным сенатором Бора от Айдахо (1865–1970). Он пребывал в отличной форме и безостановочно говорил на протяжении всей трапезы, так и не позволив задать себе целый ряд заранее подготовленных вопросов. Как и президент, он очень надеялся, что в его стране все будет хорошо. Тем не менее, признал, что при его жизни в Америке заметно снизилось общее благосостояние. Со статистикой не поспоришь! В тоннах угля и стали, в милях железнодорожных путей, в массовом производстве автомобилей и товаров наблюдались очевидно досадные сравнения с прошлым.

«Не хлебом единым жив человек! — объявил великий американский старик. — Давайте смотреть так, чтобы быть ближе к сути вещей!»

Между тем суть заключалась в том, что американское сердце крепло. Прошедший эпидемический мор, как и все, что исходит от Бога, оказался «благотворным».

«Жизненный стандарт стал лучше, — утверждал Бора, — потому что у вещей стало больше благородных аспектов. Возможно, в домах стало меньше ванных комнат, — по крайней мере, в рабочем состоянии, — но прибавилось чистоты ума».

В дни его молодости свободные жители Соединенных Штатов совершили прискорбную ошибку: погрязли в роскоши. Но все это осталось в прошлом. Теперь Америка приблизилась к старой колониальной простоте, чистоте и честности.

Несколько непоследовательно сенатор продолжил осуждать нечестность Европы и неискренность европейской и особенно британской дипломатии. Какое-то время казалось, что он повторяет давно запомнившиеся речи и забыл о существенных провалах британских дипломатов. По-видимому, слово «прикрепить» он услышал первым в своей жизни, и теперь это постоянно возвращало его мысли к старым временам. Наконец, он вернулся к нынешней ситуации.

«В своей ранней истории Соединенные Штаты проходили через гораздо более мрачные времена, — настаивал он. — Сто пятьдесят четыре года назад Вашингтон был сожжен победоносной британской армией. Ничего подобного не происходило во время нынешней депрессии; если это вообще правомочно — называть ее депрессией. Даже в самый темный час этого великого гуверовского кризиса никому и в голову не приходило

сжигать Вашингтон».

Позднее этот же путешественник посетил Чикагский и Колумбийский университеты, Гарвард и ряд других центров интеллектуальной деятельности. Его комментарии проницательны и умны и согласуются с нашими исследованиями психических реакций. Среди руин старой распущенности пестовалось более крепкое американское сознание.

Эти институты, естественно, находились в самом разнообразном состоянии адаптации к новым условиям. Не все являлись прогрессивными. Гарвард напомнил ему о древних ламаистских монастырях Тибета. Бумаги практически не осталось, поэтому все преподавание велось устно, а учащиеся всю информацию зазубривали. Библиотеки тщательно охранялись от разграбления, наиболее важные книги хранились в запертых стеклянных шкафах. Но страницы при этом переворачивались ежедневно. Преподаватели отличались и по престижу, и по количеству последователей. Одни учителя сидели в классах или в тени деревьев, другие отправлялись на длительные прогулки, беседуя с толпой учеников. Наставников также отличало друг от друга физическое благополучие, потому что студенты

выращивали для них овощи и готовили еду, а также шили одежду и обувь в технических и «художественных» зданиях. Тем не менее учебный процесс еще и сопровождался литературной деятельностью. Самым одаренным позволялось писать стихи на грифельных досках. В особенных случаях преподавательский состав выдавал разрешение на роспись гениальными текстами стен и потолков. Студенческая жизнь протекала в атмосфере простоты и неспешности.

Гостя встретил президент университета Элиот; высокий, пожилой, представительного вида, в тоге. Он унаследовал свое положение от деда. В комнате находился большой камин, горели свечи. Элиот красиво говорил, угощаясь простым супом, своим любимым красным вином из Мэриленда, фруктами и орехами. Беседа продолжалась до позднего часа.

У посетителя по фамилии Николсон сложилось впечатление элегантной непрактичности. Он не мог отрицать простого милосердия жизни, но не видел в нем особенного смысла. Однако он, похоже, скрыл это мнение от окружающих и позволил рассказать о том, как Гарвард достиг очищения англиканской культуры, этой смеси классицизма и утонченного христианства

с изящной преданностью монархии.

— Вы почитаете короля? — спросил посетитель.

— На самом деле он не король, — с горечью ответил президент университета. — Мы решили, что Декларация независимости не действует, но не смогли найти законного короля Англии, и поэтому нам нечем подтвердить свое отношение. Но мы лояльны. И дорожим этим.

Вероятно, главными предметами изучения стали геоцентрическая система мира по Птолемею, поэмы Гомера, пьесы Шекспира и теология. Скудный досуг студентов не позволял им заниматься гимнастикой на высоком уровне, и они даже отказались от таких типичных для американских колледжей видов спорта, как бейсбол и футбол. Эти игры назывались «поздними инновациями». Одним из главных занятий на открытом воздухе стала вырубка леса и заготовка дров.

Этот проблеск изящного идеалистического педантизма интересен прежде всего тем, что оставил немного следов для более поздних времен. После суровых зим 1981 и 1983 годов этот древний фундамент опустел и пришел в упадок.

Колумбийский и Чикагский университеты резко отличались от Гарварда. Здесь царило влияние

новой школы мысли Густава Де Виндта, здесь прижились традиции Дьюи, Робинсона, Гарри Элмера Барнса и Раймонда Фосдика. Заброшенный Нью-Йорк с огромными незанятыми небоскребами казался опасным, но на реке Гудзон все еще велась значительная торговля и некоторая производственная деятельность. По большим железным мостам передвигались вьючные лошади и мулы; так осуществлялась торговая связь между Севером и Югом. В Чикаго промышленные рабочие находились в тесном контакте с сотрудниками колледжей. И те, и другие с большим воодушевлением работали над тем, что называлось «Общей проблемой восстановления».

«Они, — написал Николсон, — не признают, что цивилизация разрушена. Как и в Вашингтоне, они говорят о гуверовском кризисе. Я никогда не встречал людей, настолько уверенных в том, что однажды все наладится. Дома нет ничего подобного. Однажды ночью произошло землетрясение, и огромный «Радио-сити» рухнул. Утром толчки все еще продолжались, и клубы пыли не успевали оседать. Люди высыпали на разрушенные улицы, но выглядели ли они подавленными? Вовсе нет!

«Еще немного ликвидации, — меланхолично

подытожил какой-то мужчина, стоявший рядом со мной. — Надо же как-то избавляться от вещей, которые стали ненужными».

Николсон составил довольно полный отчет об учебных планах как Колумбийского, так и Чикагского университета. Его поразили оснащение научных лабораторий и по-настоящему серьезный подход к экспериментальным работам.

«Я чувствовал себя так, словно вернулся в 1930 год, — сообщил он, — когда посетил химическую лабораторию Рокфеллера».

Но еще больше его поразило продвинутое состояние социологических работ.

«Они выпускают своего рода юристов, — написал он, — но тем не предстоит становиться участниками судебных процессов. Я думаю, что новый закон, разработкой которого они занимаются — самый интересный элемент этого места. Это совсем не то, что, скажем, мой отец мог бы признать законом. Это физиология и патология общества; и это, безусловно, социальная терапия. Хупер Гамильтон и Рин Кей говорили о либеральном образовании. Они слышать не желают ту чепуху, какую мы распространяем у себя дома о закате человечества».

У нас имеются все основания для того, чтобы

назвать это ключевым наблюдением. Нельзя не отметить, что базовый английский язык редуцировался до практически приемлемого уровня. Испанский и английский пошли по одному пути, чтобы стать взаимозаменяемыми. Так и вышло в XXI веке. Сильно сократилось преподавание французского, а старые классические занятия (греческий и латынь), судя по полному молчанию об этих дисциплинах, и вовсе сошли на нет.

Наш турист прилетел из Чикаго на аэродром Генри Форда в Дирборне, увидел руины основных заводов и реконструированное поселение, а также провел несколько дней в Технологической школе и в Музее американской жизни. Несколько квадратных миль тщательно обработанной земли вокруг открытого пространства аэродрома убедительно доказывали, что старая идея Форда о разделении времени персонала между сельскохозяйственным и механическим производством эффективно работает. В Детройте начала успешно функционировать ассоциация текстильных и обувных фабрик. В год производилось несколько тысяч автомобилей и «несколько сотен» (!) самолетов. А еще появился департамент радио.

«Да, мы поддерживаем связь, — сообщил его директор. — Мы не вмешиваемся в чужие дела,

и нам никто не мешает. Мы запускаем все, что осталось от дистанционной рассылки, включая Мексику и Канаду. Никто не создает нам препятствий в связи с пересечением государственных границ. Когда торговля находилась в наихудшем состоянии, мы обрабатывали наши фермы и проводили научные эксперименты».

Корабль мира Генри Форда совершил решительный поворот в мировой истории, а вышеупомянутым директором, по-видимому, являлся единственный сын этого «великого оригинала», Эдсел Форд, который продолжил начинания своего тонко мыслившего родителя.

То, что это место смогло «сидеть тихо, продолжая свою работу», не было пустым бахвальством. Гость из неряшливого мира остановился в царстве «аккуратности». Под блестящим руководством Эдсела Форда удалось сохранить мастерскую Томаса Алва Эдисона, которую изначально восстановил Генри Форд. В музее Николсону показали первый фонограф и первый в мире телефон, а также самые ранние экспериментальные автомобили и самолеты.

— Все это происходило и происходит прямо на наших глазах, — гордо произнес Николсон. — Мы видели начало, триумф и крах величайшей

цивилизации. Мы охватили всю историю массового механического производства.

— Ничего подобного! — решительно возразил директор. — Это только самое начало!

Затем последовал длинный разговор, суть которого визитер позднее тщательнейшим образом записал. Благодаря этому у нас сегодня имеется возможность убедиться в том, что посреди всемирного хаоса, нищеты, социального беспорядка и бессвязной крестьянской жизни механическая транспортная система сохраняла свою жизнеспособность. И мы можем поставить слова директора в Дирборне в один ряд со словами европейского авиатора, о которых сообщил Титус Коббетт. В обоих диалогах ощущалось ясное осознание окончательной смерти старого мирового порядка.

— Короли и конгрессы мертвы, — важно произнес директор в Дирборне. — А банковский бизнес еще мертвее.

— И что же засим грядет? — заинтригованно спросил Николсон.

— ЭТО! — сказал директор и указал на самолет, который бесшумно оторвался от взлетной полосы и растворился в густой небесной синеве.

Часть третья
Мировое восстановление: рождение Современного государства
Глава 1
План Современного государства разработан

В предыдущих главах мы рассказали о крахе частнокапиталистической цивилизации. Это была хроника бедствий, в которой страдания и разочарования миллиардов людей затмевались ужасающей общей бесцельностью. Мы видели стремление объединиться и установить порядок, приемлемый для всех. Оно появлялось и исчезало, терпя полное поражение и оставляя после себя одно разочарование. И вот, наконец, это стремление, в очередной раз появившись, смогло победить. Человечество разрешило свою проблему!

Оно не смогло объединиться до 1950 года по очень простой причине: отсутствовал всеобъемлющий план объединения. Во второй половине XX века у мира это получилось, потому что проблему внятно сформулировали и прояс-

нили условия целей и задач, а непосредственно заинтересованная социальная прослойка правильно дифференцировалась. Из смутного представления о Современном мировом государстве выделился определенный и осуществимый план.

Моральный импульс, который обладал бы способностью остановить неуклонную деградацию, так и не родился. Зато возник интеллектуальный подъем. По сути, произошло следующее: социальная и политическая наука обогнала марш к катастрофе.

Малоизвестные, но настойчивые работники в эти десятилетия бедствий собирали головоломку воедино. Существовала фантастическая диспропорция между масштабом усилий и высвобожденными последствиями. Ассоциативная психология образовала единый сплав с социальной биологией. При этом люди все еще имели лишь самое поверхностное представление о происхождении правильной социальной структуры. Они принимали простейшие объяснения накопленной сети взаимоотношений и не обращали внимания даже на самые фундаментальные изменения в этой сети. За этим неизбежно следовали безумные надежды, заблуждения и ка-

тастрофы.

Если бы вы спросили у среднестатистического европейца образца 1925 года о мотивах его политической деятельности и общем социальном поведении, он, вероятно, ответил бы, что вы не отличаетесь деликатностью. Если бы вы преодолели это возражение, он бы понес какую-нибудь чушь о семье, как о ядре социальной организации, своего рода расширения взаимоотношений между родственниками, о Создателе всей системы, либо пошел бы в совершенно ином направлении и познакомил вас с грубой версией Общественного договора Жан-Жака Руссо, в котором тот вместе со своими последователями объединил правила взаимной защиты и помощи. Какое из этих категорически противоречивых объяснений он бы выдал, как вы думаете? Пятьдесят на пятьдесят!

В 1925 году он бы ничего не сказал о религиозных связях, хотя пятьюдесятью годами ранее мог бы обосновать свое описание Божественной волей. И он не смог бы изложить денежную связь с механизмом отношений. Подобно своему бессознательному римскому предшественнику, он не разбирался в первостепенной социальной важности правильно отрегулированных денег.

Среднестатистический европеец подумал бы, что деньги — это просто вещь, которую зарабатываешь, отдаешь или получаешь в обмен на другие вещи. Еще он мог неуместно добавить, что это «корень всех зол». Несомненно, сослался бы на семейную идею, когда речь зашла бы о патриотизме, чтобы оправдать клубок ненависти и страхов, проистекающих из подчиненных привязанностей. И говорил бы о «родной стране» или «отечестве». Будь он ремесленником, организовал бы свой ум в соответствии с профессией или профсоюзом, но между этой сцепкой и патриотизмом не было бы никакой меры, либо все остальное превзошел бы суеверный или сексуальный комплекс.

В каждом слабом месте, как грибы, росли зависть, подозрительность и недоверие. Повсюду распространялась хроническая ненависть. Из странных суждений и не менее странных импульсов происходили разрозненные ассоциации, кажущиеся такими же естественными, как, скажем, форма ушей. Никто особенно не осознавал, что школьное образование провоцирует создание обстоятельств.

Миллионы фрагментарно оснащенных сознаний, неосведомленных и дезинформированных,

и без внутренней связи, плавали в океане мировых институтов вплоть до середины XX века. Но теперь человек пытался грести, а не просто плыл по течению. Люди могли называть себя социалистами, но у них не было даже зачатка идеи о том, что индивид может быть связан с обществом; они называли себя националистами и патриотами, но никто из них не мог сказать, что такое нация. Разные учреждения начали биться друг о друга, текли и пятились, и всячески демонстрировали склонность к тому, чтобы опуститься еще ниже. Стало ясно, насколько бессистемными и неискренними являются ответы на важнейший вопрос: «Что держит нас вместе и поддерживает наше сотрудничество?»

Преобладающая поверхностность и невежество в отношении социализирующихся сил явились необходимым отражением отсталости и недостатка энергии в академических кругах и интеллектуальном мире. Занятый своими мелкими заботами простой человек знать не знал и не думал о коллективных делах, потому что в то время не существовало никаких знаний или упорядоченных мыслей в усвояемой форме, чтобы как-то дотянуться до мозга и его простимулировать. Социальное тело представляло собой лишь

семя, слабый зародыш. Как можно было продемонстрировать полную систему социальных реакций, а также изложить идею Современного государства в убедительных и практически применимых терминах, если ей еще только предстояло проникнуть в умы не только политиков и государственных деятелей, но и психологов, историков и так называемых «экономистов»?

В 1932 году групповая психология находилась примерно на том же уровне развития, что и физическая наука во времена Столетия изобретений маркиза Вустера (1663). Новые идеи попросту «отбрасывались». Групповая психология была способна создать новый мировой порядок не в большей степени, чем физика 1663 года могла бы извлечь из небытия самолет или паровую турбину. Обычный человек, ищущий ориентиры в смятении Великого кризиса (см. «Общественные идеи в хаосе краха» Эмиля Десагулье, 2017 год), сталкивался с чем-то вроде интеллектуальной распродажи. Он догадывался, что кто-то что-то знал, но всякий раз обнаруживал, что никто не озаботился тем, чтобы что-то узнать по-настоящему. Дюжина видных авторитетов с предельной вежливостью раздавала всевозможные советы. Кому-то они

даже могли показаться толковыми; вот только эти руководства к действию противоречили друг другу по всем принципиальным компонентам. Те, кто хотел казаться мудрецами, плавали на независимых и произвольных предположениях без какой-либо логической и структурной привязки к человеческой экологии.

Тем не менее, основные вопросы стали гораздо быстрее анализироваться. Особенно это касалось понимания основной роли денег. Десагюлье отмечал около ста восьмидесяти имен, в том числе не слишком почитаемого, но довольно интересного дилетанта-холерика, майора К. Х. Дугласа (работы в «Исторических документах», экономический раздел «Б», 178 200»), который занимался устранением концепции металлического стандарта как денежной основы. Все эти люди ясно давали понять, что единственно возможные деньги для прогрессивного мира должны идти в ногу с постоянно растущим богатством этого мира. Они неустанно вбивали это в общее сознание как вопрос первостепенной важности.

Но при этом предлагались разные способы реализации этой концепции. «План Дугласа» апеллировал к общему социальному кредиту, но ограничивался узким политическим кругозо-

ром достойного майора, который мог представить себе банкиров, но не границы. В Америке привлекало к себе внимание довольно любопытное движение, известное как «Технократия». По сути, это была обоснованная научная попытка переформулировать экономику на чисто физической основе. Но это использовалось в журналистской манере и представлялось для удивительно восприимчивой публики в качестве упрощенной схемы нового социального порядка. Социальную и экономическую жизнь следовало рассматривать как энергетическую систему, которую контролируют некие «эксперты». В данном случае весьма примечателен явный отказ технологов от демократического контроля. Фундаментом новой валюты должна была стать некая энергетическая единица. Таким образом, каждая электростанция становилась монетным двором, а каждый водопад — потенциальной «золотой жилой». Деньги и энергия вставали на один уровень. Еще одна важная школа, представленная такими экономистами, как Ирвинг, Фишер и Дж. М. Кейнс, продвигала идею индекса цен, который контролировал бы выпуск валюты.

Это был период бессвязного умственного брожения. Такие наиболее осведомленные в мо-

нетарных процессах личности, как, например, Дуглас и Кейнс, все еще пребывали в недоумении относительно национальных и имперских границ. Этим людям хотелось закрыть существующую политическую систему всевозможными искусственными барьерами и развить свою собственную. При этом почему-то не учитывалась растущая хрупкость традиционной политической структуры. Денежные реформаторы, как правило, не являлись космополитами, а космополиты проявляли нетерпение к денежным реформаторам, не проявляя должного интереса к первостепенной важности денег.

Третий класс разумных людей подчеркивал настоятельную необходимость для крупных государственных предприятий исправить парадоксальный рост безработицы, вызванный повышением производительности. Это застало врасплох неприспособленный к серьезным вызовам, бездеятельный мир. Но и мыслители третьей школы не торопились исправлять денежный оборот. Что касается контроля за мировыми деньгами, то здесь существовало огромное разнообразие мнений и даже сформировался конфликт ментальных ограничений.

В резюме Десагулье написал:

«Люди не могли выбраться из тонущих социальных судов, потому не видели ничего, кроме призрачного спасательного корабля, у которого даже отсутствовал штурвал».

Только самые прозорливые могли предсказать, насколько близок к концу период распространения ярких, но бессвязных идей и как скоро начнется консолидация социальной и образовательной науки в применимой на практике форме. Поток взаимосвязанных социальных открытий, направленных на спасение человечества, оказался даже более быстрым и выдающимся, чем высвобождение пара и электроэнергии в XIX веке.

Это продолжалось в трудных условиях. Возможно, именно эти трудности оживили и очистили великий путь для счастливого человека.

Блестящая работа Густава Де Виндта «Социальное зарождение» (1942) стала первым исчерпывающим исследованием психологических законов, лежащих в основе командной игры, дисциплины внутри мафиозных групп, заводского духа, морального настроя экипажей самолетов или солдат в полку, политических партий, церквей, профессионалов в определенной области, аристократов, патриотов, исследователей

классового сознания и конструктивного сотрудничества. Это замечательное творение впервые эффективно соотнесло растущее понимание индивидуальной психологии с новыми методами обучения и новыми концепциями политической жизни. Несмотря на малопривлекательное название и очевидную занудность экспозиции, книга приобрела черты стержня, куда нанизались конструктивные усилия нового времени.

Де Виндт работал, проявляя все недостатки интеллектуального работника в не самое благоприятное время. Многие его работы, как и работы Маркса и Ленина, выполнялись в Британском музее в Лондоне, но автора выслали из Англии во время фазы ксенофобии в 1939 году, и ему не разрешали вернуться из Голландии в свой «любимый Блумсбери» до 1941 года. Во время девятого польского воздушного налета он отравился газом в легкой степени, однако отравление привело к серьезным отсроченным осложнениям. Из-за ослабления защитных функций организма Де Виндт заразился туберкулезом и смог закончить свою книгу, находясь в Блумсбери, в тяжелейшем состоянии уже перед самой смертью.

Идеи великого пророка последователи более

тщательно разработали, немного подправили и широко обобщили. Имя Де Виндта стоит в одном ряду с именами Платона, Галилея, Ньютона, Дарвина и Роберта Оуэна, отмечая гигантский шаг вперед в выражении и расширении гуманистических идей. Все эти люди в своих разных измерениях являются чем-то большим, нежели они сами, подобно указательным камням. После 1950 года доктрины и формулы Де Виндта распространились по планете с невиданной ранее скоростью, несмотря на неспокойное состояние мира. С другой же стороны, можно сказать, что именно оно и способствовало быстрому распространению.

В наши дни мало кто читает Де Виндта, равно как и мало кто читает Платона, Бэкона, Дарвина, Адама Смита или Маркса, но то, о чем думал Де Виндт, встроено в нынешнее общее мировоззрение человечества. То, что он когда-то изобретал в муках, сегодня воспринимается банальностью, но в его время эти умозаключения считались наглой ересью и глупой фантазией. Свои тезисы этот великий человек выстраивал с воистину дарвиновским терпением.

Разберем же наиболее важные черты нового учения. С неопровержимой жесткостью автор

настаивал на совершенно искусственной природе социальной стороны. Людьми рождаются, но гражданами становятся. Ребенок забирает то, что ему приносят. Он перенимает примеры, обычаи, традиции и общие идеи. Социальные реакции и большинство эмоциональных интерпретаций обеспечиваются образованием.

«Ну так это же очевидно!» — воскликнет читатель.

Верно, но для понимания истории важно осознать, что до Де Виндта это не считалось очевидным. Моральные ценности, предвзятость, предубеждения и ненависть должны были выйти из «самой природы». Поколение вырастало из загустевшей массы устаревших объяснений, метафор, мифологии и вводящих в заблуждение стимулов, а деформированные умы отражали и потворствовали деформированному социальному порядку. Роль Де Виндта в интеллектуальной истории сводилась к сильной руке, которая сгребла смердящий мусор в совок обременения и заменила раскисшую грязь ясно выстроенной структурой. Де Виндт восстановил доверие к словам Платона: как бы ни было трудно, можно начать все сначала с незапятнанных умов. Расчистив поле для познания, Де Виндт принялся

создавать именно те императивы разумного и прогрессивного образования, что сегодня открываются перед нами.

Он ясно дал понять, что денежный метод взаимоотношений необходим для любого сложного производительного общества, поскольку это единственно возможная форма личного выбора и свободы в обмен на служение. Это освободило экономические отношения. Но деньги не являлись вещью в себе. Они являлись средством для достижения цели, и о том, как с ними обращались, можно было судить исключительно по достижении этой цели. Они и в самом деле выросли из менового товара и поначалу являлись вещью в себе, серебром, золотом или другим металлом, а затем разрисованной бумагой, но таковыми они быть перестали. Переход денег от первого к последнему статусу осуществлялся с большим трудом. Повылазили болезни экономической системы, которые последовательно разрушили сначала римский империализм, а затем европейские суверенные государства. Рано или поздно кто-то должен был выдумать деньги, такие же абстрактные и свободные от связи с любой материальной субстанцией, как *вес* или *мера*. Иначе человеческое общество не смог-

ло бы спастись от хаоса. И от них требовалось ясно показать свою годность во всем мире. Жетоны и банкноты должны были выпускаться, чтобы поддерживать относительно постоянный ценовой индекс, защищенный самыми строгими законами от любых форм манипулирования прибылью. Финансовые ресурсы продемонстрировали, что не только подделка, но и любая форма азартных игр и спекуляции должны классифицироваться как серьезные преступления по уголовному кодексу, а ростовщичество вообще совершенно излишне. Де Виндт распутал старый клубок, из-за которого новое производство всегда обременялось долгами за продвижение и эксперименты. Он создал предпосылки для того, чтобы устранить все предлоги для извлечения прибыли. Банковское дело стало полностью государственной функцией, а распределение кредитов превратилось в жизненно важную часть деятельности единого правительства.

Новое банковское дело XXI века выросло в полном соответствии с принципами, выработанными Густавом Де Виндтом. Сегодня это наша система общественного учета, часть нашей государственной статистической организации, механизм расчетов по обязательствам и денеж-

ный учет накопленного избытка энергии. Все это Мировой Контроль распределяет между постоянно расширяющимися предприятиями. Он полностью публичный и совершенно безвозмездный. Трудно представить, чтобы ему когда-либо позволили стать источником частной и тайной прибыли. Мы регистрируем доходы и расходы человека в той же степени, как регистрируются рождение и смерть. Все наши деньги и любые транзакции легко проверить на общедоступных частных счетах.

Стремление определить постоянное количество неизменных денег являлось «фундаментальной потребностью», основой для установления жизненно важных отношений или, по терминологии Де Виндта, для «социального зарождения». Как только деньги были приведены в порядок, отпала необходимость беспокоиться о деньгах, так же как нет необходимости думать о свете и воздухе в правильно освещенной и проветриваемой комнате.

За пару столетий до Де Виндта семья — общая социальная ячейка — на протяжении всей сельскохозяйственной эпохи человечества теряла самобытность, растворялась в более крупных системах взаимоотношений, особенно в север-

ных и западных общинах. Одновременно она теряла свою экономическую, умственную и эмоциональную автономию. В XIX веке распад семьи заметно ускорился. Приручение женщин и их сосредоточенность на детях и доме значительно уменьшились.

По общему мнению, инстинктивный фактор объединения семьи всегда переоценивался. По сути, инстинктивная связь распадается задолго до того, как детям исполняется тринадцать или четырнадцать лет. После этого возраста связь между родителем и ребенком уже не является инстинктом. Это — привязанность, удобство, привычка и традиция. И все они тоже пришли в упадок. Не выдержав испытание внешней привлекательностью, семейная солидарность ослабла не только на Западе, но и, по мере вестернизации Азии, в Турции, Индии, Китае и Японии. Тенденция оказалась даже более существенной, чем изначально могло показаться. Семейный дом, как правило, оставался местом встреч и общим местом проживания для родителей и детей, но он перестал служить проводником традиций, перестал обучать и дисциплинировать. Он перестал это делать по той простой причине, что теперь эти функции выполнялись с гораздо

большим вниманием, хотя и с меньшей интенсивностью, внешними агентствами. Граждане рождались в семье, но СОЗДАВАЛА их гражданами не семья.

В качестве наглядного примера Де Виндт привел яркий контраст между домашней жизнью центральноевропейской семьи в конце XVIII века, когда отец читал Библию своим собравшимся отпрыскам, ежедневно молился, присматривал, осуждал и наказывал своих сыновей и дочерей до шестнадцати или семнадцати лет и даже контролировал их брак, и слабо связанной семейной структурой в начале XX века.

Это структурное разложение признавалось задолго до Де Виндта, но ему удалось подчеркнуть необходимость запланированного «перерождения» в социальной магме, возникшей в результате этого распада. Народная школа, ежедневная газета, опыт и связи промышленного производства выбили силу из умственного и нравственного воспитания в семье и ничего не поставили на место этой силы. Подрыв не преобразовался в «органику». Умы скатывались к грубому и низкому эгоизму.

По мнению Де Виндта, эмоциональные внушения и бессистемные идеологии недостаточно хо-

роши для превращения человека в более или менее сносную социальную единицу. Социальная ткань не должна создаваться и координироваться в таких направлениях. Звезды указывали нам путь к организованному мировому сообществу, Современному государству, и если цель не разрушится, не выродится и не погибнет на обочине, тогда индивидуальный разум всего мира преобразуется, станет дисциплинированным и в достаточной степени оснастится для достижения этой цели. Это не заложено в природе и, следовательно, с нею не придет. Социальная сторона личности должна ориентироваться сознательно. «Общество — образовательный продукт!»

Для образования Современного государства нужно было, чтобы миллиарды человеческих существ, каждый индивидуально, осознали общую цель и пути ее достижения. Современное государство не могло возникнуть, как пустая форма при условии, что все человечество осталось позади. Каждый учитель, каждый писатель, каждый говорящий, каждая пара приятелей, ведущие беседу, составляли потенциальное первичное ядро зарождающейся социальной системы. Этим ядрам предстояло организоваться. Их существование предстояло осознать и приве-

сти в эффективное сотрудничество. В наши дни сложно себе представить, что когда-то общие места, как эти, не воспринимались обычными местами. Когда Де Виндт о них писал, множество людей с благими намерениями пытались сотворить «движения» за социальную реконструкцию в мировом масштабе из сырой неподготовленной толпы. С крайней неохотой нетерпеливые реформаторы переключили свои умы с тщетных заявлений, антиправительственных переворотов и антивоенных забастовок на предварительную перестройку мира. Ближайшая задача казалась слишком узкой, а цель — слишком далекой.

«Нельзя спрашивать у людей, чего они хотят, — писал Де Виндт. — Это ошибка демократии. Сначала вы должны придумать, чего они должны хотеть, если хотят спасти общество. Затем вы должны сказать им, чего они хотят, и проследить, чтобы они это получили».

«И далее, — продолжал убеждать он, — если вы не можете начать зарождение повсюду, то, по крайней мере, начните его у себя под рукой. Активнее запускайте ядра! Будьте сами этими ядрами!»

С самого начала жизни ядра порождали ядра. Семечко к семечку. Современное государство

нужно было вызывать повсюду, и оно могло появиться где угодно.

Еще одним новшеством, с точки зрения западной цивилизации, являлось то, что Де Виндт настойчиво требовал воспитывать подростков вне семьи и отрицал казавшееся неотъемлемым право родителей формировать свое потомство в соответствии с собственными фантазиями. «Ренуклеацию» общества следовало сделать полной и всеобъемлющей. «Ядра» — это уникальные образовательные и дисциплинарные единицы новорожденного общества, учебные кружки и ассоциации морально-физической подготовки. На первом месте — умственная, моральная и физическая подготовка, на втором — социальная и политическая деятельность. Мудрый мыслитель выискивал в окружающем его социальном беспорядке благоприятные условия для зарождения первопроходцев. Он обращался к фабрикам, лабораториям, техническим школам, общественным службам, больничному персоналу, мужчинам и женщинам всех социальных слоев в поисках материала для зарождения. Он настаивал, что импульс к созданию социального порядка возникнет инстинктивно. Везде, где возникала социальная неразбериха, появлялись

грубые попытки объединиться в новый директивный порядок.

Де Виндт указал на нацистов, фашистов, коммунистов и гоминьдановцев как на первые примитивные намеки на грядущую великую организацию. В этих политических движениях присутствовал дух элитарного класса, хотя они в большей или меньшей степени растрачивали его на лояльность и предрассудки прошлого.

«Они не руководят молодежью, — утверждал мыслитель. — Они пользуются людскими инстинктивными потребностями. Попытайтесь осознать, что они ищут вслепую».

А еще он процитировал отрывок из обращения к афинянам основателя христианства, святого Павла: «Тот Неизвестный Бог, которому вы поклоняетесь по неведению, его провозглашаю Я вам».

Де Виндт провозглашал еще неизвестное людям Современное государство!

Учение Де Виндта стало теорией образования, в широком смысле, утверждение Современного государства. Фактически это — неразделимые аспекты одного и того же.

«Сообщество — это образование в действии!» — заявил он.

Не останавливаясь на этих тезисах, провидец

развивал схему социальной структуры через все виды производственной организации, контроля и предпринимательства. Люди должны «подчиниться и служить этой цели».

Позаимствовав слово у Ортеги-и-Гассета, но смело выйдя за рамки представлений оригинального мыслителя, Де Виндт заявил, что «полноты» жизни можно достичь, только пребывая в соответствии с Современным государством. Вся остальная жизнь могла представлять собой только «расточительство, недовольство и печаль». Становилось невозможным сохранить самоуважение, стать счастливым внутри себя, если человека не «всецело поглощало» единственно разумная цель. Старая преданность флагу, нации, классу износилась и дискредитировала саму себя. Все эти сферы стали нереальными. Они больше не взывали к лучшим сторонам человека, потому что мы видели их ограниченность. И они не могли больше поддерживать «счастливую жизнерадостность». «Уверенная и безмятежная душа» отныне перестала их обслуживать. Если бы все оставалось по-прежнему, флаг, нация и класс рано или поздно низвергли бы человека в «опустошение бесцельного самосознания». В прошлом люди могли жить и даже испытывать

удовольствие от своих «патриотизмов» и деловых предприятий, потому что не знали ничего лучшего. Но теперь они узнали!

Ну и наконец, Де Виндт диаметрально противопоставил себя одной из самых страшных концепций парламентской демократии, концепции, которая все еще имела громадное значение в его время, и это была концепция «Оппозиции».

«Критикуйте, — писал он, — но не мешайте».

«Если руководящая организация в корне плоха, — учил он, — сломайте ее и выбросьте, но полностью избавьте свой разум от концепции «смотреть — видеть» и «давать — брать», как от якобы надлежащего метода урегулировать споры. Преступные парламентские правительства, которые тогда находились на последней стадии дилетантства, прогнили под грузом постоянных поправок, бесконечных вето на проекты, компромиссных сделок и шантажирующих уступок. Против каждого руководящего органа, каждой партии власти сидела другая, посвятившая себя искажению, срыву, задержке и порче, часто без всякой причины или по самым надуманным причинам, просто ради искажения, срыва, задержки и порчи того, что пытался сделать руководящий орган, в надежде унизить чужие усилия

до такой степени тщетности, чтобы спровоцировать смену правительства, которая привела бы оппозицию к власти. Неискренний карьерист в такой ментальной атмосфере обретал практически безграничные возможности для получения прибыли и продвижения по службе.

Весь этот клубок идей пришлось отбросить.

«О большинстве начинаний не может быть двух уважаемых и противоположных мнений, — безапелляционно сообщил нам Де Виндт. — Глупо притворяться, что это возможно. Существует один-единственный правильный путь, и бесконечное множество неправильных. Правительство пытается идти правильным путем, все остальное — преступление. Саботаж должен прекратиться. Это всегда было одним из самых уродливых пороков передовых движений. Это фундаментальный социальный порок».

Его рассуждения о различии между критикой и оппозицией — это классика, которую мало кто читает. Жаль, потому что это очень хороший образец английской прозы XX века. Право на критику и обязанность излагать хорошо продуманную критику являются основополагающими для современного гражданства. Де Виндт размышлял над тем, как право и долг

игнорировались поверхностным менталитетом итальянского фашизма и как фатально они переплелись с подавлением инакомыслия в России. Писатель проанализировал глупейшую безответственность цензуры в западных общинах, где не существовало закона, запрещающего сговор религиозных, политических или деловых кругов с целью пресечь те или иные публикации. Подобно общему революционному проекту Де Виндта, его предостережения против зажима общественного мнения начали по-настоящему влиять на общественность далеко не сразу. Многие не понимали, куда он клонит. На практике конфликт мирового порядка с оппозиционным духом во время борьбы за сохранение Воздушной диктатуры должен был снова и снова переходить в подавление честной критики. Критика и внушение незаметно переходили в подстрекательство и повстанческую пропаганду.

Эта четкая революционная схема Де Виндта стала яркой и тонизирующей для энергичных молодых людей середины XX века. Мы резюмируем здесь его основные конструктивные концепции, несмотря на то, что сегодня они кажутся банальными. Нет никакой необходимости подробно рассказывать о его дальновидных планах по объ-

единению ядер в мировую пропаганду, потому что организация незаметно переросла в систему образования нашего нынешнего мира. Эта история, да и вообще все учебники, которыми пользуются в мире, вполне могли бы быть посвящены этому человеку. Сложные и необычайно подробные предвидения процесса мировой революции не должны нас задерживать (его книга V, "Новый мир в теле старого", содержит все, что нужно), потому что теперь у нас появилась возможность рассказать о самой этой обширной реконструкции.

В некоторых отношениях Де Виндт оказался удивительно прозорливым, в других — человеческие реакции оценивал не совсем точно или даже вовсе неправильно. Реконструкция человеческих отношений включала в себя очень грубую работу, от которой автор бы отшатнулся. Тем не менее он так ясно и убедительно изложил все основные структурные факторы для создания Современного государства перед своими последователями, что вскоре тысячи, а затем и миллионы людей стали жить ради воплощения его идей в реальность. Де Виндт смог изобразить их так, чтобы они показались нашей судьбой, а когда мы их такими представили, они ею стали.

Несколько лет взгляды Де Виндта распространялись очень медленно. О них узнавало все больше людей, но поначалу очень немногие предпринимали попытки хоть как-то что-то реализовать на практике.

Они говорили:

«Да, пожалуй, оно верно, — а потом, немного поразмыслив, добавляли, — но неосуществимо».

Де Виндт скончался до того, как его школа мышления превратилась в настоящую силу и покорила мир. Подобно Карлу Марксу, он так и не узнал, какой урожай посеял.

В нашем описании провала Лиги Наций мы отмечали, насколько обреченным являлся этот эксперимент, потому что ни среди влиятельных людей того времени, ни среди масс не ощущалось никакого чувства целесообразности и необходимой формы для нового мирового порядка. Государственные деятели, дипломаты и политики того времени производят на нас впечатление слепцов. Невероятно, но они не видели того, что сегодня представляется нам ясным как день. Трудно поверить, что эта слепота не была преднамеренной. Но это именно так! Они не могли этого видеть. Мы читали их выступления на конференции за конференцией, пока их голоса,

наконец, не затихли в поднимающейся волне катастрофы, и мы почти кричим через года, взывая и вопрошая:

«Вы — идиоты! Разве контроль над миром не был прямо у вас под носом? И было ли возможно что-нибудь еще, кроме катастрофы?»

Между тем ответ заключался в том, что не все лежало прямо под носом. Медленно, кропотливо, с постоянными повторениями и мягкими вариациями Очевидное усваивалось и распространялось в человеческом сознании. Своеобразная претензия Де Виндта на благодарность заключается не в том, что он открыл что-то новое, а в том, что он так развил и укрепил Очевидное, что отныне стало невозможно сбегать от неумолимых императивов.

Глава 2
Мысль и действие: новая революционная модель

Теперь поговорим о благотворной проверке индивидуальной гордости. Ни один человек и, по сути, ни один тип людей не способен одновременно постигать и осуществлять простейшую из наших социальных операций. Даже человек,

который возделывает землю и выращивает зерновые, ограничен в методах повышения урожая. Диковинная история Даниеля Дефо о Робинзоне Крузо — это невероятно обнадеживающая оценка того, что один человек с небольшим количеством обломков и фактически отходов внешнего мира в необычайно благоприятных климатических условиях на необитаемом острове способен соорудить для себя полнейший комфорт и безопасность. Взаимозависимость людей и различных обстоятельств еще в большей степени применима к сложным процессам Эпохи максимальной незащищенности. Новому поколению предстояло вырваться из экономических и институциональных обломков, среди которых оно оказалось, и построить социальный порядок, в котором мы сегодня живем.

Сначала появились интеллектуалы — люди, живущие в стороне от ответственности, часто лишенные лидерских и организаторских качеств. Как и Де Виндт, они все распланировали, но достигли не более чем плана. Такие люди важны, как надежные диагносты происходящих событий. Они ясно и повелительно прокладывают ментальный путь. Кладут на это свои жизни и сами себя этим оправдывают. Это ин-

теллектуальный, исполнительный тип человека, способный сосредоточиться на сложной идее и ее усвоить. Между тем реальность всякий раз сопротивляется идейной непоследовательности. Ограниченность воображения у данного типа людей — необходимая добродетель для выполняемой задачи. Никто не сможет успешно управлять провинцией, если все время путешествует за ее границами. Лишенный воображения, но кажущийся убедительным тип является необходимым исполнителем революции, но польза от нее полностью зависит от того, насколько обоснованной получилась идеология.

Благодаря этой необходимости в дополнительных типах революционеров, история не создает никаких нынешних эквивалентов таким легендарным фигурам, как Солон, Моисей или Конфуций. Современное государство пришло без них. Де Виндт являлся не столько создателем, сколько «обобщителем», концентратором, линзой, которая собирала в разжигающий фокус накопленное ментальное освещение своего дня.

Свет понимания, который зажег огни последней революции, исходил не из одного мозга. Нет! Он выплескивался из десяти тысяч активных и преданных умов. Минуя порядок или прио-

ритет, они воздействовали друг на друга. Этому свету как будто предшествовал рост физики и биологии. Что-то произошло в целом. Что-то произошло не в одном каком-то сознании, а в объединяющем сознании десятков тысяч.

Мы уже отмечали, как далеко можно проследить за прорастанием идеи Мирового государства. И показали, как силы экономической жизни двигались к ней в XIX веке. Разъяснили, как это работало в квазиинстинктивном стремлении Генри Форда и Вудро Вильсона. Социальное зарождение Де Виндта сопровождалось появлением основных структур, необходимых условий и практически осуществимых предложений. Из туманного устремления Мировое государство трансформировалось в конкретно спроектированный и подробный замысел. Те, кто обладал сильной волей, уже могли начинать его усваивать.

Явное качественное изменение в мозгах, продвигающих идею Современного государства, наметилось еще до начала урагана последней войны сороковых годов. Теперь оно стало достаточно «продумано» для людей с решительным характером. Они включили его в свою повседневную жизнь. Рефлексивный тип переходил к энер-

гетическому. Первые пропагандисты мирового порядка являлись нерешительными и пассивными личностями. Фактически они представляли собой сборище пацифистов, чей страх и отвращение перед войной стали непреодолимыми. И у них хватило ума понять, что ее можно избежать, только установив в мире единую власть. Кем были эти люди? Писатели, «чистые» научные работники, молодые социологи, экономисты, а также «интеллектуалы» из рабочей среды. Инженеры, архитекторы, квалифицированные мастера и промышленные организаторы, всевозможные техники и бизнесмены начали «говорить о Современном государстве» и уделяли все больше времени и внимания тому, чтобы его пропагандировать.

Этот переход легко объясним. Усиливающийся социальный беспорядок лишал людей энергичного практического склада удовлетворяющей занятости. В Первую эпоху процветания и во время мнимого восстановления после Мировой войны такие люди могли найти достаточно работы, соответствующей их темпераменту — позволяли условия мощного промышленного развития. Эти люди организовали большой бизнес, обширное производство; они использовали

непрерывный поток изобретений; открыли природные ресурсы ранее отсталых регионов. Эти люди перенесли производство далеко за пределы потребляемой мощности человеческого общества. Пока предприятие развивалось, никому не приходило в голову, что нужно как-то беспокоиться о политических и денежных методах своего мира. Время от времени проявлялась определенная настороженность по поводу деятельности банковской сети. Так, например, типичный промышленник с оригинальным мышлением дважды пытался энергично бороться с банкирами. Но, так или иначе, явления политического и финансового удушения начали привлекать серьезное внимание только после того, как разразился великий гуверовский кризис (кризис тридцатых годов).

Таланты начали думать, говорить и писать о социальном порядке с энергией людей, привыкших справляться с большими делами и работать на ощутимый результат. Широчайший эксперимент Советской России вызвал за ее пределами и зависть, и недоумение. Хотелось разобраться, почему возможности уперлись в неспособность. Молодежь, выходящая из многочисленных технических школ, взволнованная

книгами и разговорами, вездесущими надеждами и воспоминаниями о недавнем прошлом, ищущая приключений и достижений в материале предприятия, очень быстро поняла, что огни возможностей раздражающе гаснут самым таинственным образом.

Революционное движение XIX века казалось ей скучным сборищем ленивых рабочих, которым помогали и которых поощряли такие критики, как Раскин, такие художники, как Уильям Моррис, такие драматурги, как Бернард Шоу, и тому подобные непрактичные и неубедительные люди. В ее сознании это ассоциировалось с фальшивой готикой, желто-зелеными драпировками, длинными волосами, антививисекцией и вегетарианством. Кто из выдающихся людей в области науки и техники вставал на сторону революционеров до 1900 года? Да, пожалуй, никто. К третьему десятилетию XX века две трети техников, научных работников и способных организаторов в бизнесе говорили об активной революции. Это больше не могло оставаться классовым восстанием одних только рабочих рук; это становилось делом компетентных людей. Лучшие умы принялись нащупывать идею. В книге Де Виндта они нашли, что хотели, но к созданию

Современного мирового государства приступили не совсем обычным способом.

Произошел переворот в самих революционных идеях. Изменчивый дух Революции постригся, надел комбинезон и, создавая новую модель, приступил к систематической работе.

Глава 3
Технический революционер

В чем разница между первым и вторым упадком? Во втором случае многочисленные научные и технические работники западных сообществ восприняли крах быстро и живо.

Никакого реального эквивалента в римской истории нам не найти. Погруженные в традицию ремесленники не располагали какой-либо общественной наукой. Синтез христианства подавил спекуляции немногочисленных и малоэффективных философов. Ремесленник и философ жили в разных мирах. Философ презирал ремесленника. Вероятно, в той же степени ремесленник презирал философа; правда, не оставлял об этом записей. Ни тот, ни другой, похоже, не имели никакого представления о широких социальных силах, которые разрушали общую безопасность

и позволяли варварам вторгаться в империю.

Сомнительно, что когда-либо императорский двор или имперская гражданская служба имели внятное представление об устойчивом упадке. Историки XIX и XX веков, как указывали Огилви и Фреуд в своей работе «Римская история» (выпущена в 2003 году и пересмотрена Пан Чоу Ляном в 2047-м), приписывали интеллект своего времени таким императорам, как Юлий Цезарь, Октавиан Август, Марк Аврелий или Домициан. Интриги и планирование представлялись почти в современном стиле. Но в записях на латыни не встречается доказательств такой осведомленности. Если бы она присутствовала, это не могло бы не отразиться на строительной индустрии. Древний Рим, действительно, умудрился каким-то образом сильно растянуть во времени свои упадок и крах, но сознательно он ничего не делал для этого с точки зрения взвешенных политических решений.

До сих пор студенты тщательнейшим образом изучают искусство и тайны средневековых каменотесов. Знания терялись в гигантских объемах, но что-то оставалось. Средневековые вольные каменщики строили красивые, но часто хлипкие готические соборы, которые сегодня так сложно

сохранить для потомства. При этом использовалась технология, которую нерушимо соблюдали еще строители пирамид. Разумеется, ни о каком политическом чувстве речи тогда не заходило и не могло зайти. Купеческие гильдии, чем-то похожие на капиталистические профсоюзы, вмешивались в те или иные общественные дела ради создания рабочих мест, но мы не находим никаких признаков того, что они когда-либо заботились о порядке и стабильности сообщества в целом. Этого попросту не позволял сделать низкий уровень тогдашнего интеллекта.

Опытный и целеустремленный представитель рушащегося порядка XX века обладал куда более оживленным качеством. Само обучение стало не традиционным, а прогрессивным, гораздо более прогрессивным, чем у любого другого класса. Новых людей обучили фундаментальным изменениям. Они перестали мириться с политической и финансовой жизнью вокруг себя, как только обнаружили, что их деятельность серьезно затруднена. Одновременно с появлением выразительного многозначительного слова «технократия» в мировой прессе (1932–1933) мы находим, например, инженера, профессора Майлза Уокера на собрании Британской

ассоциации содействия развитию науки, который смело обвинял весь устоявшийся мировой порядок, пользуясь терминами инженерной эффективности. В сумерках общественного порядка инженеры, промышленники и физики обсуждали конструктивную политику. И тем самым они в нее вторгались. Одним из первых ученых, кто перестал «лезть не в свое дело» и занялся деловой психологией, стал профессор Содди.

Поначалу техники и бизнесмены слишком много говорили. К действиям же они приступили далеко не сразу. Им казалось, что политики и финансисты являются специалистами в своих областях и обладают глубокими знаниями. Техники и бизнесмены полагали, что политики и финансисты способны адаптироваться и что-то изобретать, как и они сами, поэтому требовали от тех решительных действий, не понимая, что условия, в которых живет банкир, делают его неспособным менять свои методы фундаментальным образом. Но это становилось очевидным по мере того, как катастрофа следовала за катастрофой. Новый тип должен был взять власть в свои руки. Только так у новых методов мог бы появиться шанс. Новые методы управления должны были вытеснить старые. Все большее

число молодых людей, отказываясь от любых идей лояльности или сотрудничества со старыми административными институтами и все яснее осознавая свою цель, ставили перед собой задачу организовать ядра или ячейки по образцу, предложенному Де Виндтом, и связать их с другими ячейками.

Движение распространялось от мастерской к мастерской и от лаборатории к лаборатории с возрастающей скоростью, по всему миру. Аль Харан подсчитал, что уже к 1960 году семь восьмых авиаторов являлись членами Современного государства, а большинство остальных, по его же словам, оказались «по крайней мере, заражены теми же идеями». Такая инфекция зашла далеко и глубоко.

Там, где власть нечасто прибегала к репрессиям или не прибегала к ним вовсе, движение за спасение цивилизации развивалось открыто. Но поначалу оно столкнулось с серьезными противоречиями. Военные смотрели на ученых и техников, как на людей низшего сорта. Военные приказывали, а ученые и техники исполняли приказы. Так было заведено. Поведение обоих типов людей во время Мировой войны отражало рабскую покорность, а Версальский мир

наступил еще до того, как человек окончательно разочаровался. Ученый XIX века представлял собой брюзжащего сноба, который мало что понимал за пределами своих конкретных исследований.

«Науки, — как однажды заметил Саймон Азар, — появились раньше, чем Наука!»

Научное мировоззрение стало поздним результатом, а не основной причиной систематического стремления к знаниям. Это было открытие, а не отправная точка. Наука учила людей, которые ей служили, и ученик узнавал больше, чем знал учитель. В научном мире существовал и существует непрекращающийся конфликт между достижениями и новыми исследованиями, и в XIX, и в начале XX века он оставался острым. Старшие сотрудники подозревали младших, мыслящих более широко, в нелояльности и препятствовали их продвижению. Старшие хотели, чтобы младшие оставались слепцами. Но после Мировой войны ученые были вынуждены начать рассуждать по-другому. Великий экономический спад продолжался, и научный мир крепко призадумался. Технические специалисты, благодаря более близкому подходу к практическим вопросам, значительно опередили «чистых» научных

исследователей, особенно в отношении того, как применить конструктивное мышление к политической и социальной организации.

Даже во время военных действий в Китае существовали намеки на то, что химики, инженеры и врачи могут иметь иные представления, чем военные. После газовой стерилизации Токио и еще более после того, как одиннадцатая газовая атака на Ухань не привела к адекватным результатам, японские военные власти провели расследование возможности «экспертного саботажа», и конечный результат оказал определенное влияние на отношения между «научными» военными и гражданскими научно-техническими экспертами в Европе. Чаще всего именно последние оказывались по-настоящему гениальными и изобретательными людьми. Обнаружилось, что некритическая лояльность часто сочетается с общей тупостью. Власть оказалась перед сложной дилеммой: с одной стороны она имела тех, кто хотел, но не мог, а с другой, кто мог, но не хотел.

Кампания против пацифистских, подрывных и революционных идей набирала силу в тридцатые годы. В сороковые — превратилась в запутанное и утомительное преследование.

Но бессвязность усилий порождала неэффективность. Попытки отсеять нелояльных сотрудников и студентов в технических вузах и свести преподавательскую профессию к тотальному послушанию провалились, потому что не нашлось способа отличать то, что должно считаться основной наукой, от того, что следовало считать предательством. Стремление уничтожить свободу в одной части человеческого мозга и вместе с тем деликатно обойти другие его участки, где мысль двигалась свободно и творчески, с самого начала было обречено на полный провал.

Глава 4
Пророки, пионеры, фанатики и мертвецы

История, и в особенности общая история, склонна слишком много внимания уделять массе и контурам. Мы пишем, что «вся Германия возмутилась» или «надежды Азии рухнули». Но живые факты истории — это изменения в мышлении, эмоциях и реакциях миллиардов умов.

В предыдущих разделах мы в общих чертах поговорили о развитии «концепций сочетания»; идеология растворялась и уступала место другой

идеологии, подобно облаку, которое собирается, тает и проходит по ментальному небу человечества. В книгах, предшествующих этим разделам, мы проследили растущее осознание возможного Мирового государства в мыслях разных людей на протяжении двух тысяч лет медленного пробуждения. Но изложение будет неполным до тех пор, пока мы не отвлечемся, по крайней мере, на одну главу, от широкого круга мнений. Пусть изменения в решимости коллективной воли отразятся на структуре индивидуальных переживаний, а мозговой шторм сформирует массивное структурное развитие.

Нужно опираться на наивный опыт собственного детства, чтобы уловить, хотя бы отдаленно, душевное состояние первооткрывателя, который обратил взор на всеобщее братство. Нужно рассмотреть жизнь какого-нибудь животного, скажем, своей собаки или пони, чтобы уяснить ограниченное существование человека в ранних цивилизациях. В своем окружении человеческая жизнь была так же устроена, как и жизнь любого животного. Город, река, поля, далекие холмы, храм, близкие друзья и странные далекие враги составляли полное и удовлетворяющее ВСЁ. Боги заслуживали доверия и несли ответственность,

снимая таковую с ваших плеч. У животных имелись такие же души, как и у вас. Темноту и тени преследовали духи. В такой обстановке жили, любили, ненавидели и умирали бесчисленные поколения. Все становилось знакомым и понятным благодаря трюку персонификации. Ты привел незнакомца в свою семью — ты сделал его членом своего племени. Земля стала матерью, а солнце — великим отцом славы, марширующим по небу.

Эта удивительно запутанная история показывает, как человеческий разум начал сомневаться, допытываться, проникать под завесу уверенности и воображаемой окружающей безопасности. Возможно, его лишили этой уверенности. Скорее всего, сам он не стремился вырваться наружу или, во всяком случае, не видел в этом большой срочности.

Христианство сохранило для нас еврейскую Библию — драгоценную летопись беспокойных душ среди ограниченных условий давно ушедших веков, предшествовавших сложным механизмам, дальним путешествиям и логическому анализу. Она рассказывает, как человек вышел из Рая беспрекословного принятия, и его обуяло недоумение. Это позволяет нам сегодня мысленно

приблизиться к состоянию давно ушедших сотен тысяч борющихся умов. Мозг начал замечать сорняки и колючки, тяжкий труд и ненадежность жизни. И он приложил огромные усилия, чтобы начать как-то объяснять самому себе растущее ощущение, что все не в ладу с этим миром. Историю пришлось драматизировать. До сих пор имелась только «персонификация», как средство постичь отношения и причины. Не существовало никакого иного способа заполучить общую идею, кроме как вообразить ее как личность. Странные мысли пугали. Казались потусторонними. Наши предки даже не осмеливались сказать: «Я думаю»; они должны были говорить «Я слышал голос» или «Слово Господне пришло ко мне». Потребовались огромные усилия, чтобы перейти от мысли о патриархальном племенном боге к более могущественному господствующему Богу. Люди не объединяли общества, люди идентифицировали богов. Монотеизм являлся первой формой Мирового государства во всеобщем сознании.

Каким отчаянным поступком стало для какого-нибудь внутренне испуганного человека поднять голос против местных старейшин и местного идола, провозгласив: «Нет Бога, кроме Бога!». Реакцией его соплеменников, все еще живущих

в рамках общепринятых убеждений, на эту попытку выйти на широкие отношения могли быть презрение, веселье, раздражение, неприязнь или ужас и суеверный страх. Мы располагаем записанной историей Мухаммеда и его битвы с богами Мекки. Это более поздний и сложный пример того, что происходило в бесчисленном количестве мест и времен. Вдохновленный своей новой идеей человек бросал вызов социальному ментальному гнезду, из которого стремился вырваться.

Тот, кто видел свет и говорил просто и ясно, являлся лишь отдельным видом более крупного рода человеческих существ. Его разум работал иначе, чем у обычного человека, или просто был более лихорадочно активным. Другие оставались чудаками или просто идиотами. Дурака от просветленной личности было сложно отличить, потому что оба говорили о невероятных вещах.

Письменность появилась за тысячу лет до Рождества Христова, и она показала, что уже тогда сложилась давняя традиция обращения со странными и тревожащими исключениями. Насколько возможно заглянуть в прошлое, мы обнаруживаем, что повседневное спокойствие древнего сообщества регулярно нарушалось беспокойными

личностями, которые странно ходили, странно жили, говорили необычно и сбивали с толку, побуждали окружающих странно себя вести и угрожали божественным гневом, предчувствуя зло. От них предпочитали откупаться. Кто-то это делал, проявляя почтение, кто-то — с пренебрежением. Неполноценные и несчастные находили утешение в странных речах. Правителям же, напротив, беспокойные личности не нравились. Богачи их не любили и боялись. Беспокойные личности раздражали и пугали того, кто мог себе позволить наслаждаться жизнью. Они казались какими-то извращенными, и, по сути, таковыми являлись. Если они заходили слишком далеко, племя выступало против них. С ними дурно обращались, окружали толпой и высмеивали. А если они и после этого не останавливались, тогда их бросали в тюрьмы, колотили и убивали.

По нашим нынешним стандартам, выдающейся личности всегда есть что сказать. Это важно, но применительно к давним временам в этом мало правды. Загадочные высказывания учителя предстояло растолковывать ученикам, чье количество зачастую оказывалось немалым. Когда учитель умирал или когда его убивали, люди оставались с вопросами: «Что именно он сказал?»

или «Что именно он имел в виду?». Вдохновенное слово легко становилось загадкой для интерпретатора. Оно формулировалось то так, то этак, применялось правильно или неправильно, его катали на языке, «пробуя» всеми возможными и невозможными способами.

В наши дни мы находим общее качество для всех этих безумцев, пророков, учителей и нарушителей душевного покоя. Эти люди учились говорить и использовать язык. Пытались что-то придумать, сказать что-то новое и расширить свой разум. И они делали это вопреки огромному сопротивлению. Интеллектуальная предприимчивость играла против инстинктивного страха перед новизной. Многие из этих учителей умерли ужасной смертью. С них живьем сдирали кожу, жгли на кострах и пытали до смерти.

Один из них висел на кресте и умер от физического истощения за несколько часов. Два преступника, которые оказались более стойкими его товарищами по несчастью, оставили учение, составленное из таких милых и прекрасных поведенческих идей, такой мистической непостижимости, такой вводящей в заблуждение непоследовательности, что оно оставалось моральным стимулом и интеллектуальным

недоумением, джунглями для ереси и открытий, в миллионах душ на протяжении двух тысяч лет.

Тщетно в наши дни кто-то пытается проникнуть в сознание идущего на казнь пророка. Мы осознаем ценность сделанного. Да, это — правда! Но понимал ли он сам то, что делал? Секрет таких настойчиво ищущих мозгов, видимо, скрыт от нас навсегда.

В более оживленные и процветающие социальные периоды истории возмутители спокойствия менее заметны. Во времена перемен, и особенно когда высвобождалась социальная энергия, когда смешивались конфликтующие традиции, беспокойные умы умножались. Нестабильный римский империализм изобиловал попытками сказать о жизни что-то новое и глубокое. Повсюду появлялось новое поклонение, потому что оно представлялось единственной формой, благодаря которой новая идея и образ жизни могли передаваться из разума в разум. Озадаченный новыми вызовами разросшийся человеческий тип пытался что-то сказать, какое-то волшебное слово, и тем самым разрешить собственное недоумение и привести себя к миру.

Неся за собой организованную науку, эпоха

Возрождения значительно увеличила число пытливых и новаторских умов. Разум овладевал условиями своего существования. Но теперь возмутители спокойствия больше не казались пророками с дикими глазами, потому что перестали утверждать, будто им доверено Слово Господа. В сознание масс проникла абстрактная и логическая мысль, поэтому персонификация больше не требовалась. Отныне богов не осуждали; их анализировали. Более того, приближаясь к современности и сталкиваясь с более подробно описанными событиями, мы начинаем с живым пониманием и сочувствием осознавать, что происходило в новаторских умах, и ощущать соприкосновение с неизмеримым героизмом и бесчисленными трагедиями более поздних пионеров, бунтарей, критиков, революционеров, которые более или менее разумно выступали против принятия и инертности, среди которых они жили, в направлении более здравой, более всеобъемлющей и более четко сформулированной идеи для всего человечества.

До сих пор не собран толковый сборник многих миллионов биографий и многих тонн другого материала, который поведал бы об умственном бурлении в мире, начиная с XVII века. Если

пророки старого мира слишком редки и далеки от нашего понимания, то более поздние революционеры настолько близки, что нам приходится отступать на шаг, чтобы получше их рассмотреть. В этой области проводились обширные исследования. Роджер Каддингтон и его коллеги изучали протестантскую мысль в Голландии, Рейнланде, Швейцарии и Великобритании с XVII по XIX век. Брожение религиозной формы во многом объяснялось противостоянием еврея и не-еврея. Ранние формы анархизма и социализма Маргрима стали успешной попыткой реализовать идею, из которой проистекает современная критика правления и собственности. С помощью таких работ и отдельных, наиболее удачных биографий мы приближаемся к творческому участию в тех индивидуальных реакциях, которые в совокупности привели человеческое сообщество в нынешнюю форму.

Каждую из этих личностных историй, будь она рассказана полностью, следовало бы начинать с ребенка, принимающего мир как должное, верящего, что его дом — самый лучший, а мама и папа всегда правы и они вечны. Малыш сталкивался с фиксированным и устоявшимся миром, который не имел стандартов для сравнения

ни в прошлом, ни в будущем. По мере превращения в подростка ему объясняли его место в жизни и то, что он должен делать. Невезение, дискомфорт, какая-то встряска или врожденное беспокойство были необходимы, чтобы посеять сомнение относительно устоявшейся определенности. Тогда у тех, кого сама судьба наметила для беспокойства, возникало подозрение: «Мне говорят неправду». А затем еще тревожнее: «То, что они делают, и хотят, чтобы я делал, неправильно». И, наконец, происходил эмоциональный взрыв: «Все можно сделать гораздо лучше!» Так инфицированный индивид покинул легкую вульгарную жизнь со своими собратьями, вышел из естественного животного приятия устоявшихся вещей и присоединился к растущему меньшинству бродячих беспокойных умов, создающих проблемы.

Он начинал разговаривать со своими товарищами или втайне делал пометки о своих мнениях. Задавал неудобные вопросы и в ироническом стиле комментировал чужие высказывания. Мы могли бы вызвать в воображении сотни тысяч картин с такими сомневающимися, которые начинали высказывать свое мнение в мире XVIII века, в маленьких мастерских, в убогих до-

мишках, на рынках, в деревенских гостиницах, осмеливаясь сказать, или точнее, едва решаясь что-то произнести. У них не получалось объединять смутные возражения в упорядоченную критику, но в библиотеках сидели другие люди, корпели над книгами и украдкой что-то писали, а гордая жизнь ревела и бурлила на мостовой за окном.

«Людям говорят неправду! Все можно сделать гораздо лучше!»

На университетских занятиях студенты отваживались на странные заявления и выдвигали поразительно неортодоксальные тезисы.

Неудобных вопросов становилось все больше, и власть принялась искать ересь и подстрекательство к мятежу, прихватив с собой пыточные инструменты. Когда мы читаем книги и брошюры этого периода пробуждения, нам начинает казаться, что авторы почти ничего не сообщают, а только извиняются чуть ли не на каждой странице. Так мы получаем представление о разумной робости того времени. Проявляя неосмотрительность, можно было запросто лишиться здоровья или даже жизни, при этом почти ничего не сказав.

Поначалу затрагивалась не столько суть, сколь-

ко форма. В XVI веке обнаруживались разные виды ереси, но в них ничего не указывало хотя бы на самые общие контуры Современного государства. За исключением эха некоторых ученых в адрес Республики и Законов Платона, до XVII века никто вообще не читал и не сравнивал области социальной и политической структуры. XVIII век, по сравнению со своим предшественником, стал веком обширной революционной мысли. С момента возникновения христианства фундаментальные идеи и политические институты никогда не подвергались сомнению. Соответственно возникла необходимость новшества как-то называть. Но это было не так-то легко сделать. Носителей новых идей отправляли в ссылку, книги сжигались, для подавления новых идей устанавливалась цензура. И все же они распространялись и множились. Недоверие по каплям подтачивало прежнюю систему. Притязания аристократии и божественность монархии потускнели, уменьшились и потеряли свою эффективность. Появились республики и первые зародышевые намеки на социализм.

В нашем рассказе о первой Французской революции и революционных потрясениях XVIII века

нам пришлось проводить различие между экономическими и социальными силами, которые, с одной стороны, способствовали политической перестройке, а с другой, влияли на рождение новых идей. Изменения почти не планировались, а творческое намерение и психические процессы оказывали очень слабое влияние на ход событий. Тем не менее, когда задаваемые вопросы стали вплотную приближаться к реальности, масштаб планирования сократил отставание. Мы больше не будем говорить о глубоких изменениях в представлениях людей, о частной собственности, частной свободе и денежных отношениях, которые начали находить выражение в социалистических и коммунистических движениях. Здесь и сейчас наша задача состоит в том, чтобы подчеркнуть миллиарды мелких споров, которые меняли коллективную мысль и подготавливали почву для революции; вспомнить эльфийский шум заглушенных временем голосов, не самых здравомыслящих уличных пропагандистов, ораторов на мелких собраниях под крышей и на открытом пространстве, и во время рабочих перерывов; упомянуть шорох странных газет, которые не были обычными газетами, и книги, написанные от руки, которые повсюду боролись

с традиционным и инстинктивным сопротивлением. Везде закваска Современного государства происходила путано и даже нелепо.

Да, новая концепция единого мирового общества не пришла в человеческий разум одним махом, совершенным и эффективным. До Де Виндта ее не удавалось обозначить даже в общих чертах. Она представляла собой путаницу из разрозненных неполных фрагментов, а также нелогичных или даже вводящих в заблуждение выростов, отходящих от того или иного фрагмента. Но именно так это и должно было начинаться, фрагментарно и торопливо. Всегда проявлялась жестокая склонность применять новые незавершенные идеи стремглав и яростно. Чем больше чувство недостаточности гложет тайное сознание человека, чем больше он находится в конфликте как с внутренним, так и с внешним антагонистом, тем более решительным и окончательно догматичным он склонен становиться. Стремление доводить новые идеи до проверки реальностью и утверждать их экспериментальным путем являлось главным источником неприятностей для возрастающей массы новаторских умов. Устоявшийся авторитет или обычай не спорит с идеей как таковой; конфликт начинается, когда

идея становится подстрекательством, когда она ищет воплощения в объективной реальности.

Во всем мире на протяжении всего XIX века появлялся кто-то, кто создавал трудности для власти, изобретал нарушения и применял их на практике. Свет мировой реконструкции освещал души, часто просачиваясь сквозь пелену заблуждений и приобретая окраску эпидемической ненависти. Новые люди мечтали о восстаниях, о захвате власти, об организованном терроре. На практике их усилия часто сводились к глупым мелким убийствам, — часто совершенно неуместным и бессмысленным — крикам толпы на улицах, к дракам и битью окон, к взрывам у парадных дверей правительственных зданий и посольств, к бросанию взрывчатки среди безобидных зрителей на публичных церемониях.

До Французской революции такого спорадического насилия было не так много, как впоследствии. Конечно, случались эпизодические убийства, совершенные религиозными или расовыми фанатиками, но обычно более старый тип политических преступлений определенно сводился к заговору с целью свержения правящей верхушки, а не к характеру режима. Неуклюжие «анархистские» безобразия стали, по сути, новой

формой социальной критики. За ними, пусть и смутными, искаженными и преувеличенными, стояла надежда на новый мировой порядок.

С преждевременным желанием новой жизни неразрывно связывалась деятельность более обширных революционных систем. Печатные станки в подвалах, скрытное распространение листовок, тайные встречи, строжайшая дисциплина в обществах, поддерживаемых страхом, «хождение в народ» узколобых эмиссаров, которым нечего терять. Обиженные на власть сохраняли удивительную преданность тем, кто выступал против нее. И те, и другие вызывали правильное брожение на пути новой мысли.

Растущие революционные волнения назывались крайне левыми. Раньше в мире никогда не случалось ничего подобного. Новых людей перемолол политический и социальный порядок своего времени наряду с религиозными убеждениями. Между 1788 и 1965 годами сотни тысяч мужчин и тысячи женщин, намного более смелые, чем мусульманские фанатики, без надежды на загробную жизнь и искупление умирали, едва ли улавливая ясное видение полной и упорядоченной социальной жизни, за которую стоило бы умереть. Сотни раз они терпели из-

гнание, тюрьму, остракизм, избиения, унижения и ужасающую нищету, все еще смутно осознавая, каким именно образом станет освобождаться человек.

У них не было единодушия во мнениях и даже уверенности, что оно необходимо. Все они убедили себя в том, что мир должен стать лучше, но у них не оказалось ни знаний, ни возможностей для свободного и открытого обсуждения, как прояснить и выработать неизбежные очертания общей потребности. Новые люди формулировали свои идеи тупо и неуклюже, проходя, тем не менее, определенный путь к истине, а затем резко останавливались, называя ошибочными любые формулы, кроме тех, какие выдумали сами. Они бесконечно и с крайней ожесточенностью ссорились между собой. Порой дело доходило и до убийств. И почти все участвовавшие в этом бурлящем процессе рано или поздно заражались ненавистью. Часто случалось, что два человека, каждый из которых обладал приблизительно половиной достоверной информации, убивали друг друга, когда на самом деле им следовало всего лишь объединить свои изыскания воедино и получить полный план полноценной реконструкции.

Да Силва назвал всех, кто совершил или попытался совершить революцию между 1788 и 1948 годами, «революционерами полумрака». Основная заслуга автора заключается в том, что он многое разъяснил и упростил. Его исследования запутанной истории новых социальных концепций стали предметом открытого общественного обсуждения только после установления советского режима в России в 1917 году. Это история умирающих сумерек на рассвете. В двадцатые и тридцатые годы рядовой обыватель свободно обсуждал идеи, возможности и направления действий, о которых никто не осмелился бы даже просто шепнуть на ухо своему приятелю еще сотню лет назад; а двумя сотнями ранее — такое и в голову бы никому не пришло. Едва ли тот рядовой обыватель знал хотя бы несколько имен первопроходцев, фанатиков и сорвиголов, которые завоевали эту свободу для его разума.

Характер конфликта менялся. К 1940 году это стало совершенно очевидным. Помимо первопроходцев появлялись систематические исследователи и изыскатели. Среди тех, кто был готов пожертвовать собой, полумрак становился дневным светом, а упорядоченный анализ та-

ких, как Де Виндт, делал возможным понимание и сотрудничество, что трудно себе представить в XIX веке. Какой была революция того столетия? Подозрительная, запретная, темная, преступная, истеричная и отчаянная. В XX она стала откровенной и сочувствующей. По сути, разница между революциями XIX и XX века заключена в уровне интеллекта; после длительного периода бурных споров революционная идея, наконец, прояснилась. Сквозь густые и тяжелые черные тучи прорвалось солнце Современного государства.

Революция по-прежнему нуждалась в мучениках, но отныне мученичество носило иной характер. Биографии революционеров перед Великой войной продолжались во тьме закоулков, подвалов и тюрем среди недоверия и предательства, а в последней битве за установление Современного государства — при свете дня. Сама человеческая реакция обратилась к тьме, заговорам и убийствам. Пропагандист Современного государства все меньше и меньше походил на чуждого мятежного одиночку, потому что становился миссионером в дикой стороне, плохо вооруженным или вовсе невооруженным, находящимся в невыгодном положении, но с отдаленным престижем грядущей власти за спи-

ной.

В более позднем списке смертей революционеров все меньше казней и все больше рассказов об убийствах в общественных конфликтах. Все чаще революционера убивали либо толпа, либо «честный поединок». Вскоре идея Современного государства стала настолько популярной и распространенной, что за нее или против нее перестали биться. Остались лишь недоразумения между наиболее нетерпеливыми фанатиками, имеющими общую цель. Во многих конфликтах историк все еще затрудняется определить, какая сторона, если таковая имелась, могла считаться борцом за Современное государство.

Анализ Де Виндта позволил многое понять. Творчески мыслящий человек, хотя и ожесточился на лжеца и мошенника, терял волю к борьбе против ребячливого приверженца и честного фанатика. Ему не хотелось прибегать к утомительным формулам.

Он просто сообщал:

«Нам — туда. Но шагать придется вместе с заблуждениями и небезнадежной одержимостью».

Так он ставил себе задачу обращаться с любым риском и любой потерей. Здесь можно провести параллели с итальянским фашизмом,

который захватил древнюю мафию на Сицилии, состоящую из террористов и шантажистов; частично присоединил ее к себе, частично изменил и тем самым вытеснил с острова. Для того, чтобы переделать Германию, нацистское движение включало в себя крупные фрагменты Коммунистической партии. Так и Современное государственное братство повсеместно боролось с многочисленными организациями, которые, заменив демократические институты, пытались захватить воображение своих приверженцев и направить их по кривой дорожке. Благодаря ясности целей перед людскими умами и громадной ассимилирующей силе, движение Современного государства разительно отличалось от всех предыдущих революционных концепций.

Разница между революционером до Великой войны и революционером после озаряющего кризиса тесно связана с различием между средневековым алхимиком и современным ученым. Разум алхимика преследовали демоны, гоблины и духи, искажали символические навязчивые идеи, каббалистические слова и числа. Этот человек чувствовал себя ужасно одиноким, был одержим религиозными страхами, страхом перед инквизитором, страхом перед правителем

наверху и толпой внизу, постоянно сбит с толку в своих попытках получить великие вещества, полон опасными знаниями о ядах и вредных приспособлениях. Зато современный ученый обладает разумом, освобожденным веками анализа и упрощения, успокоенным рассказами о непрекращающихся научных победах, стоически равнодушным к распространенному искажению и одинаково уверенным в своей Вселенной и в себе.

Глава 5
Первая конференция в Басре: 1965 год

Конференция научно-технических работников в Басре в 1965 году рассматривается историками как кардинальная дата в становлении Современного государства. Ее организовал Транспортный союз, который зарождался как свободная ассоциация выживших сотрудников технического персонала по обслуживанию самолетов и морских судов с целью взаимной помощи и защиты. Далеко не все идеи конференции были сформулированы в полном объеме; некоторые из них еще набирали силу и определенность после ее завершения. Тем не менее, эта конференция впервые

позволила составить план общего человеческого мировоззрения и создать организацию, способную его осуществить. Это ознаменовало переход от размышлений к действиям.

Идея использования воздушного транспорта в качестве объединяющей и направляющей силы для нового синтеза цивилизации являлась старой и давно знакомой. Во всяком случае, в головах она обитала не менее тридцати лет. К слову, популярный роман «Человеческая смертность», опубликованный в 1933 году (английский романтик Майкл Арлен, 1895–1990), представляет собой забавную фантазию о мире, где доминирует синдикат воздушного транспорта. Эту книгу до сих пор читают с большим интересом. Она наглядно демонстрирует ограниченность образованного воображения в то время. Вера в изобретательские способности, напротив, оставалась безграничной. Воздушные бои на запредельных скоростях даже сегодня кажутся абсурдно преувеличенными. С другой стороны, раздутая купля-продажа акций, выросшая за полтора века, изображается как сфера, которая не подвергается изменениям. Диктаторы воздушного мира нечестно играют на бирже, «проигрываются в пух и прах» и спасаются бегством, то есть ведут себя, как политики

старой формации и мелкие мошенники, а не властители воздушных масс. В мире невероятных химических веществ, энергоносителей и скоростей сохранилась фондовая биржа. А еще — Державы и Внешняя политика! Ничто не могло лучше проиллюстрировать человеческую неспособность того времени осознать экономические и политические изменения, которые уже тогда фактически обрушились на людей со всей своей несокрушимой мощью. По какой-то неясной причине умственный и моральный прогресс и институциональные изобретения казались абсолютно невозможными.

Недавно для аспирантов-историков переизданы лондонские *«Essential News»*. Четвертый выпуск (от 4 февраля 1933 года) содержит краткое изложение мыслей того времени о мировом контроле за воздушным движением. В выпуске приводится полная схема «Международного» контроля авиаторов, разработанная небольшой французской группой по предложению М. Анри де Жуваналя и под председательством М. Пьера Дени. Предлагалось объединению *«Aeronautique International»* придать статус космополитической компании воздушного транспорта. Связанные с хиреющей Лигой Наций «Военно-воздушные

силы взаимной помощи» должны были взять на себя контроль над атмосферой. Эти предложения являлись настолько утопичными и невыполнимыми перед лицом системы суверенных государств, что сегодня они кажутся неискренними. Только тридцать лет спустя, после всеобщего самоубийства независимых европейских держав, собравшиеся в Басре технические специалисты смогли оживить широкую концепцию этого начинания.

Первая конференция в Басре отличалась от своих предшественников сначала своей универсальностью, а затем чрезвычайно смелыми и всеобъемлющими предложениями о совместных действиях. По сути, если не по форме, речь шла о проекте Современного мирового государства. Впервые помимо европейских представителей в значительном количестве присутствовали американские, китайские, японские и российские технические специалисты. Более того, чувствуя в себе небывалую силу, они неожиданно объединились и перестали зависеть от своих национальных политических надзирателей. Вновь заявила о себе в мировых делах Новая Зеландия. Прилетели даже два представителя (школьные учителя, которые одновременно являлись доста-

точно компетентными специалистами в области социальной психологии) из Исландии, которая на пять лет фактически оказалась отрезанной от внешнего мира. Достаточно сравнить повестку дня этой и предыдущих ассамблей, чтобы сразу ощутить гигантский шаг вперед по масштабу и смелости научно-технической мысли.

Фактически речь шла о собрании молодежи. По оценке Амена Рихани, средний возраст участников составлял около тридцати трех лет. Присутствовали пять или шесть женщин. Еще одной важной особенностью стало широкое использование простого и удобного языка авиаторов — базового английского. Даже присутствующие носители английского языка делали все возможное, чтобы их речи не выходили за рамки гениальной идиомы.

На вершине по-прежнему оставался Общий транспорт. Как уже отмечалось, организатором собрания стал Транспортный союз, первоначально чисто деловой орган, но вдохновителем являлось движение Современного государства, и присутствовали специалисты в области медицины, образования, сельского хозяйства и всех видов промышленного производства. Развернулись многочисленные дискуссии о содержании

мировых маршрутов и о связанных с ними административных задачах. Ничто не может преподнести более яркого представления о заброшенном состоянии мира в то время, чем смелость, с какой Контроль взялся за дело и подтолкнул свою деятельность к новым областям. Например, было решено, что все существующие аэродромы и осветительные ориентиры должны находиться непосредственно под его управлением. О приобретении за оплату не могло быть и речи; он *просто взял*. Каждый самолет в мире следовало зарегистрировать и присвоить ему отличительный номер; соответственно Контроль принимал оплату общего тарифного и регистрационного сбора. Оба, разумеется, являлись обязательными к исполнению. Незарегистрированные дирижабли и самолеты предлагалось рассматривать как пиратские. Им следовало запретить пользоваться аэродромами и заправочными станциями. Более того, незарегистрированные надлежало «изгонять из воздуха». Этим, по идее, должна была заниматься «воздушная полиция», которую планировал организовать Контроль. Аэродромы и прилегающие к ним районы, укрывающие непокорных, подлежали бойкоту.

Такие серьезные рекомендации не принима-

лись без обсуждения, но какого-то особенного протеста почти не последовало, хотя, с точки зрения старшего поколения, они, несомненно, являлись незаконной узурпацией власти. Наибольшее сопротивление оказали политизированные члены русского контингента. Другое противодействие возникло не со стороны авиаторов, инженеров, химиков, биологов или людей подобного типа, а со стороны социологов и экономистов менее передовых школ.

Основное возражение приняло форму вопроса:

— А что на это скажут правительства?

Что касается жителей Запада и китайцев, то они попросту проигнорировали возможность политического вмешательства.

— Ждите, пока они что-нибудь родят, — весело ответили они.

Но Советская Россия и Советская Япония были в то время гораздо более политизированными, чем остальной мир, и, по крайней мере, на этом собрании присутствовали как политики, так и люди науки. Длинную речь с угрозами грядущих неприятностей произнес комиссар Владимир Пешков, осудив планируемый Контроль как коварную попытку восстановить в мире доверие к капитализму, притом что сама его

психология оставалась, по сути, и буржуазной, и капиталистической.

— Москва никогда не согласится, — решительно заявил он, — с движением самолетов Контроля над обширными советскими территориями и не допустит эксплуатацию российских нефти и других полезных ископаемых какой-либо сторонней организацией.

— И как Москва этому воспрепятствует? — выкрикнул русский летчик и авиаконструктор Иван Энглхарт. — Не этот ли национализм должен положить конец Третьему Интернационалу?

Пешков ответил ему по-русски, брызнув слюной от негодования:

— В Москве поговорим.

— Я не планирую туда возвращаться в ближайшее время, — гордо произнес Энглхарт. — Я — гражданин мира, и я вернусь в Россию в свое время и по-своему.

— Это измена! И ты за нее ответишь! Можешь не сомневаться, Москва об этом позаботится.

— А когда она об этом узнает?

— Очень скоро.

Находясь всего в нескольких ярдах от Пешкова, Энглхарт покачал головой со скептической ухмылкой. Он говорил мягко, как человек, который

много лет готовился к такому случаю.

— Ты прилетел сюда, товарищ Пешков, с моей эскадрильей. Как собираешься возвращаться?

Комиссар огляделся и, не находя поддержки среди участников собрания, не на шутку испугался.

Энглхарт выждал с минуту, а потом заверил собравшихся в том, что русские техники присоединятся к планируемому Контролю.

— Этот ваш призрачный пролетарий меркнет перед всеми другими империями и царствами, — сказал он политическим делегатам. — Мы пока что только формируем новый мировой порядок, но, поверьте, он уже зародился!

Его речь стала ключом к большей части последующих дебатов.

Установление Контроля стало основой обсуждения, но не основой плана, которому предстояло охватить всю будущую организацию общества. Была сформулирована целая система структурных предложений. Центральный отдел занимался не только воздушной сетью, но и организацией всех видов связи. Маяки, морские указатели, каналы и гавани сильно пострадали как во время войны, так и во время экономического хаоса и упадка. Перестали работать метеослужбы. Все

это нужно было восстанавливать. Временно пришлось отказаться от железнодорожного сообщения. В Басре железную дорогу похоронили навсегда. А дальше следовало реконструировать производство в сотне важнейших отраслей.

Чем больше читатель изучает повестку дня, тем больше на него производит впечатление мягкость официального названия собрания: «Конференция по научным и коммерческим коммуникациям и связанным с ними вопросам». Ясно, что организаторы продвигались в реорганизации мира настолько, насколько это возможно, не вызывая острого вмешательства со стороны умирающих политических организаций прошлого. При всем бесстрашии проектов язык оставался сдержанным. Комитет экспертов подготовил блестящий обзор планетарных природных ресурсов, включая таковые в охваченной паранойей России. Конференция без колебаний приступила к решению проблем возобновления добычи в целом, невзирая на претензии касательно нарушения права на собственность, а таковые, безусловно, могли возникнуть и помешать реализации восхитительных планов. Все провокации моментально пресекались. Контроль над морскими и воздушными путями означал захват всех

заброшенных ныне портов, аэродромов, угольных шахт, нефтяных скважин и электростанций. Те из них, где еще сохранялась та или иная жизнеспособность, следовало поглотить либо путем убеждения, либо путем давления. Иными словами, в добровольно-принудительном порядке. Солидарность с квалифицированными работниками на экспроприируемых предприятиях была абсолютной! Невозможно себе представить, чтобы она проявилась всего тридцатью годами ранее. Из умов нового поколения техников полностью выветрились всякие думы о финансовых авантюрах. Теперь эти люди хотели «снова налаживать отношения». Идею личного обогащения поглотила всеобщая убежденность, что их класс должен либо работать вместе и покорять мир, либо его покинуть.

Таким образом, скромно сохраняя видимость логической необходимости побуждения, а не управления, Конференция распространила свое планирование далеко за пределы материала и механизма для мирового взаимодействия.

Но что именно представлял собой реконструированный транспорт? Как это подкармливать — и за что платить? Вокруг аэродромов простирались регионы, где крестьяне возвращались

к первобытному земледелию, что фактически являлось фундаментом для всех варварских цивилизаций прошлого. Вопрос о крестьянской экспроприации и модернизации сельскохозяйственного производства поднялся в Басре в довольно щекотливый момент. Дело заключалось в том, что еще совсем недавно подобного рода действия со стороны Ленина и Сталина в коммунистической России потерпели полное фиаско. Участники Конференции четко осознавали, что на одной планете нет места и летчику, и вечно голодному крестьянину, который обречен бесконечно трудиться, не вылезая из долгов. Кому-то из них предстояло исчезнуть, и основной целью Конференции стало сделать мир безопасным для первого. Исчезновение последнего стало не желанной целью, а закономерным и необходимым следствием. За исчезновением этой формы земледельца потянулся распад связанных с ним устаревших институтов.

Таким образом, техники в Басре формировали систему отношений, которую в XIX веке назвали бы социалистической. Она и была настолько социалистической, что вопрос о социализме даже не поднимался. Сомнительно, что это слово тогда широко использовалось. Считалось само

собой разумеющимся, что Контроль станет фактическим владельцем и эксплуататором всех самолетов, маршрутов, промышленных поселков, заводов, шахт и полей.

Возможность приобретения фабрики или шахты новым Фордом или новым Рокфеллером казалась столь же противоестественной, как попытка украсть океан или воздух. Вода, почва и небо предназначены для общего блага; значит, и промышленные предприятия должны служить общему благу.

Следует помнить, что все техники, почти без исключения, являлись людьми с наемным типом мышления. Они родились и воспитывались в традициях, согласно которым деньги представляли собой элемент второстепенного значения. С самого начала механической эпохи ученые, технические эксперты, изобретатели и первооткрыватели, мастера, менеджеры и организаторы, по сути, принадлежали к салариату. Некоторые из них занимались финансами и разбогатели, но таковые являлись исключениями из общего правила. До Мировой войны таких людей привычно воспринимали, как жадных и азартных, могущественных и богатых, как неизбежное зло. Теперь же они стали явно совершенно

ненужным злом, и без малейшей мстительности или враждебности были составлены планы обойтись без них и предотвратить их возвращение. Конференция в Басре с тем же успехом могла бы рассмотреть вопрос о возвращении министерств иностранных дел, королей или какого-нибудь стародавнего божества.

Вместе с тем следовало решить, как распределять мировое богатство. В данном вопросе исключительную активность проявляли американцы. Окончательное решение должно было сочетаться с личными свободами и творческими инициативами. Его озаглавили как «Раздел о заработной плате, расходах и снабжении».

По-видимому, установилось полное согласие с тем, что единственный способ совместить служение с личной свободой — это использовать деньги. Без них неизбежно появится диктат потребления и диктат рабочему — категорические указания, что ему надлежит делать. Ему будут постоянно указывать, что «для него хорошо». Деньги обобщали притязания рабочего, как работника, и притязания гражданина, как акционера общественного блага, удовольствия, удобства и свободы. С деньгами вы покупаете то или это, идете туда или сюда и делаете все, что

вам заблагорассудится. Но тут таилась и опасность. Дважды в истории деньги подводили человечество. Выстроенный на деньгах порядок терпел крах. Хотелось думать, что на этот раз оно усвоило урок. Требовалось изобрести новые деньги, надежные и защищенные от подлых негодяев. Вот как много всего закладывалось в «Раздел о заработной плате, расходах и снабжении».

В этом разделе денежный вопрос затрагивался в областях, которые еще тридцать лет назад казались неимоверно далекими от сферы его охвата. В двадцатые и тридцатые года XX века, а также во время военных беспорядков сороковых годов разворачивалось множество дискуссий о роли денег. Люди осознали связанные с ними опасности и с энергией, порожденной ощущением кризиса, взялись за развитие и изобретение новых методов, которые должны были предотвратить грубое накопление собственности, коварные манипуляции с кредитом, обнищание рабочих и удушение предприятий, то есть все то, что и привело к краху второй денежной цивилизации. Постепенно стало понятно, что жизнеспособную денежную теорию возможно создать только в рамках полноценной теории социальной организации. Прежде чем ставить перед собой конкретную задачу,

Конференция ее тщательно упростила.

Взаимозависимость денежной теории и теории собственности и социальной структуры, о чем наши предки едва ли подозревали, теперь получила всеобщее признание. На Конференции присутствовал значительный контингент молодых юристов. Предыдущее поколение безмерно поразилось бы, обнаружив их среди технологов и ученых. В ходе очень содержательных дебатов именно юристы стряхнули с идеи собственности пласт вековой пыли. Мы уже упоминали об удивлении Николсона по поводу нового типа юридических школ, которые он обнаружил в Америке. В Басре продукты этих образовательных учреждений были весьма заметны вместе с несколькими старшими учителями из Лондонской школы экономики, которая процветала до Великого оползня 1968 года. Эти новые юристы с фундаментально научным складом ума оказались удивительно непохожи на своих профессиональных предшественников — упрямых и хитрых старых грешников, которые сыграли немалую роль в экономическом удушении Соединенных Штатов и тем самым похоронили надежды Отцов-основателей. Новое поколение отказалось от гнусного притворства, будто закон обязан

защищать частную собственность, взыскивать долги и поддерживать видимость равенства между людьми. Оно знало, что справедливость без уравнивания статуса и возможностей не может быть не чем иным, как симуляцией. Идеи нового поколения юристов уже полностью основывались на нашей нынешней концепции права как регулирующей системы в сети отношений между обществом и подчиненными ему корпорациями, а также отдельными лицами. Молодые юристы нового типа с презрением относились к любым требованиям, контрактам, правилам и прецедентам, которые препятствовали свободному расширению человеческого благосостояния. В тесном контакте с новыми экономистами и общественными психологами вдохновленные самым смелым политическим конструктивизмом передовые знатоки обновленного закона представляли собой совершенно замечательный конгломерат.

Именно этим людям на Конференции в Басре мы обязаны твердым убеждением, что в современном обществе не может быть никакой частной собственности ни на что, кроме личных вещей и денег. Это было настолько очевидно, что даже не обсуждалось. Отныне дома и зем-

ли могли сдаваться в аренду на короткий срок, приветствовалось и пожизненное владение. Все другие материальные ценности, как полагали молодые юристы, неотчуждаемо принадлежат мировому содружеству — как узуфрукт, при котором каждый человек напрямую является акционером. Таким образом, смысл денег сводился к чеку на потребляемые товары и услуги. Его выдавали отдельному лицу, в случае несовершеннолетних и нетрудоспособных, опекуну, либо как часть наследства, либо как заработную плату при нахождении индивидуума на общей службе. Миру предстояло возродиться без ростовщичества и финансовых спекуляций.

Мировая финансовая система в то время находилась в состоянии настолько выраженного хаоса, что не имела никакой возможности сопротивляться новым идеям. Едва ли не в каждом районе действовала своя собственная, очень произвольная и примитивная система жетонов и чеков. Но коммуникации потихоньку возрождались, и Басра усилила популярность того, что стало называться «воздушным долларом». О металлической монете речь в данном случае не заходила вовсе. Это была своего рода ценная бумага с запечатленными на ней расстоянием,

весом, объемом и скоростью. Иными словами, килограммы накладывались на расстояние, а километры — на темп. Таким образом, один кубический метр весом десять килограммов, преодолевший двести километров со скоростью сто километров в час, стоил один *воздушный доллар*.

То есть это уже была единица энергии, а не вещества, принятого по стандартам Старого Света. Это совершенно определенно свидетельствовало о том, что старые статистические представления об ограниченных ресурсах уступают место постоянному расширению. Воздушный доллар стал единицей энергии с транспортной точки зрения, и его превращение в энергетический доллар нашей нынешней повседневной жизни четко очертили эксперты в Басре, хотя фактическое изменение произошло только десять лет спустя.

Это простое, хотя и не в полной мере сформулированное намерение Воздушного и Морского Контроля завладеть всеми доступными мировыми энергетическими источниками позволяло в последующем заявить о своих активах и начать управлять человечеством, основываясь на доверительных отношениях. Если бы угроза Пешкова материализовалась и российская советская система (или любая другая группа собственников)

смогла бы сохранить контроль над своими территориальными богатствами, энергетический доллар обеспечил бы справедливую и равноправную среду для любой торговли, необходимой между администрациями.

Планирование новой политической, промышленной и валютной мировой схемы все еще не в полной мере отражало достижения Первой конференции в Басре. Существовал также сильный и энергичный образовательный Отдел (Отдел обучения и рекламы), работавший в тесном контакте с техническими специалистами и социальными психологами. Он не только строил планы по координации деятельности сохранившихся в мире колледжей и технических школ и по возрождению прекративших свое существование, но и поставил перед собой задачу пропагандировать идею Современного государства, которая сегодня является базовым содержанием нашего фундаментального образования. Базовый английский закладывал основы мирового языка. Везде, где распространялось влияние Воздушного и Морского Контроля, появлялись новая пропаганда, новая пресса и новые общеобразовательные школы. Не может быть никаких сомнений, что большинство учителей в Басре уже

совершенно ясно видели перед собой мировой ментальный и социальный порядок, в котором мы живем и поныне. Они знали, что делали. Они вернулись с конференции, наполненные бодростью и уверенностью, чтобы целиком броситься в объятия потрясающего и возвышающего приключения, ожидающего впереди, к пробуждению изо дня в день идеи за идеей о новой цивилизации среди удручающих и неряшливых, но все еще не разложившихся обломков старой.

После завершения Конференции по планете принялись расползаться две новые реальности. Надо сказать, что человечество не сразу распознало их появление. Одной из них стало формирование Центрального органа, которым стал Воздушный и Морской Контроль. Проведя консолидацию Транспортного союза, он связал и остальные управленческие органы и отделы, а также оставил свои постоянные представительства в Басре. Другой реальностью обернулась Полиция воздушных и морских путей сообщения; поначалу довольно скромная организация, которая насчитывала около трех тысяч самолетов, несколько гидросамолетов, сотню патрульных кораблей и порядка двадцати пяти тысяч человек в качестве персонала. Насколько можно судить

по стандартам как предыдущих, так и последующих времен, это было совсем небольшое войско, но на тот период оно, безусловно, являлось самой мощной вооруженной силой в мире.

Глава 6
Как росло сопротивление контролю на морских и воздушных коммуникациях

В течение десяти лет Воздушный и Морской Контроль имел возможность расти и расширять свое влияние, не провоцируя каких-либо серьезных конфликтов. Легкий сквозняк между российской политической властью и международными техниками не перерос в шторм; более того, он вовсе затих. Россия наконец-таки принялась учиться мудрости и слабела в своей решимости подчинить современный научный тип человека старомодному демагогическому сопернику. Эта страна очень сильно пострадала от просчетов и судорожного руководства своих партийных руководителей. Отстав в техническом плане, она воспитала мало авиаторов. В конце концов, морально устаревшая советская

диктатура отшатнулась от борьбы с передовыми научными специалистами. Следует отметить, что несмотря на тотальную слежку за гражданами, российские авиаторы, инженеры и ученые уже переметнулись к Современному государству, оставив за бортом истории Диктатуру пролетариата. Правители в Москве начали это понимать.

Таким образом, Воздушный и Морской Контроль, поддерживаемый множеством ядер по схеме Де Виндта, подобно тому, как это в свое время пыталась делать, правда, с гораздо меньшим успехом, Коммунистическая партия, появился и распространил свою постоянно растущую сеть по всей планете, не прибегая к активной борьбе. Тем не менее, далеко не все понимали его революционную природу, несмотря на блестящую работу пропагандистов. Да, Контроль быстро разрастался, но, как гласит эстонская пословица: «Нужно родиться, чтобы начались неприятности».

Восстановление благосостояния людей между 1965 и 1975 годами шло быстрыми темпами. И развивалось оно бок о бок с расширением транспортной системы. К 1970 году Транспортный Контроль, возглавлявший дочерние компании главного Воздушного и Морского Контроля,

управлял службами по всему миру, где одновременно находилось до 25 000 самолетов. Он владел верфями Ньюкасла, Белфаста, Гамбурга и ряда других прибрежных районов и строил из стали десятки грузовых судов, а также возводил систему скоростных дорог, используя старые железнодорожные ветки. Поднимались гидроэлектростанции, заменяя ручную добычу угля с химической обработкой каменноугольных пластов. Вскоре появился Поставочный Контроль, который со временем стал более крупной организацией, чем материнская. Это было связано с производством и закупкой железа и стали, резины, металлов, хлопка, шерсти и материалов растительного происхождения, а также с восстановлением массового выпуска одежды всех видов, электрических материалов, механизмов и огромного разнообразия химических веществ. Все это простаивало и бездействовало более двадцати лет.

В рамках Поставочного Контроля функционировал Продовольственный Контроль, который не только занимался обменом разных видов продуктов питания, но и следил, чтобы не было избытков в одних областях мира при дефиците в других. К 1970 году в вышеуказанных струк-

турах работало около двух миллионов человек. Заработная плата выплачивалась в энергетических долларах. За эту валюту оплачивался транспорт, жилье и все имеющиеся в наличии товары. Ценообразованием занимался Контроль.

А кому же принадлежала собственность Контроля? Ею наделялось Современное государственное Братство, состоявшее из четверти миллиона Собратьев. Техническая эффективность этих людей специально поднималась до определенного уровня. Они подчинялись Общественным дисциплинам и получали официальную заработную плату примерно на 200 процентов выше средней. Точнее, четверть из общего числа сотрудников приходилась на претендентов, стремящихся стать Собратьями; постепенно пропорция между Собратьями и претендентами по количеству неизменно смещалась в сторону последних. Так Братство создало организацию, которую ему предстояло хранить на протяжении столетия. Собратья разделялись по факультетам для технических целей; голосовали за кандидатов в Центральный совет Братства, который изначально заседал в Басре и примыкал к центральным офисам трех органов Контроля. Отношение Братства к органам Контроля мало чем отличалось

от отношения Коммунистической партии к Московскому правительству в первые дни Советской системы; то есть это была сопутствующая деятельность одних и тех же людей.

Именно само Братство, в первую очередь, направляло образовательную деятельность движения Современного государства. Везде, где появлялись собственные «ядра», либо сотрудники органов Контроля, обеспечивалось начальное образование по новому образцу, которое подразумевало очень четкое понимание истории и целей современной государственной идеи, и везде, где имелись собственные заводы и фабрики и достаточное количество студентов, Братство основывало и оснащало научные и технические школы, в которых изучались психология, групповая психология, медицина и административное управление. Постепенно специальный Отдел обучения и воспитания, работая в рамках Воздушного и Морского Контроля, перерос в отдельный Образовательный Контроль. Но его деятельность никогда не отличалась от устремлений Современного государственного Братства. Все организации Контроля действовали в полном соответствии с общей идеей и не противоречили друг другу. Всю эту мировую систему можно

представить как огромного деловитого осьминога; Воздушный и Морской Контроль — голова, другие органы Контроля — щупальца. Учетно-отчетная документация сосредоточилась в Басре, а затем стали быстро развиваться вспомогательные учетные и статистические бюро. Бок о бок росли исследовательские центры. Так, например, к 1970 году Всемирная метеорологическая служба намного опередила все, что когда-либо существовало раньше.

Восстановление коммуникаций приводило к эффектам, выходящим далеко за рамки Братства и возможностей применения соответствующих средств Контроля. Прилив жизненной силы человечества уже достиг своего максимума, и теперь повсюду началось восстановление активности. Новое движение в разрушенных городах, новое оживление в сельской местности, да и вообще пробуждение инициативы, начинали противостоять стремительно растущей связи Современного государства с вызовами, трудностями и угрозами, которые быстро выросли до огромных масштабов.

Не представляло большой сложности распространить по планете-банкроту новую систему воздушно-морского сообщения и торговли. Мир

слишком истощили война, голод, нищета и эпидемии, чтобы у него оставались силы поддерживать крупные и агрессивные политические организации. Это была проблема совершенно иного толка, даже с распространением «ядер», новых школ и пропаганды, для контроля и ассимиляции населения, которое теперь, больше не живя в нужде и неуверенности, начало чувствовать свежую силу и новую энергию желания.

Давайте пристальнее рассмотрим ситуацию в мире в 1975 году. Транспортный Контроль узурпировал монополию воздушного и морского сообщения, а также монополизировал использование новых широкополосных дорог. Это давало практическое право собственности на торговлю основными продуктами во всем мире. После выплаты фиксированной ставки работникам, Транспортный Контроль забирал себе все излишки выпущенной продукции и тем самым укреплял свою власть над мировой экономикой. К 1975 году Современное государственное Братство насчитывало чуть более миллиона Собратьев. Оно нанимало и обучало два миллиона кандидатов, а позже еще три миллиона. В новых специализированных школах Современного государственного Братства училось

от семи до восьми миллионов детей. Мы можем отметить, что все они были не только хорошо обучены физическим наукам и биологии, но и изучали мировую историю и таким образом приобретали *мировоззрение* вместо ограниченных *взглядов,* какие обычно формировали искаженное политическое воображение. А еще учеников в этих школах обучали базовому английскому как международному языку. За десять замечательных лет Транспортный Контроль превзошел все предшествовавшие тресты и органы управления. Он создал мировую валюту, но все еще был далек от того, чтобы «владеть землей». Его собственная продукция не превышала и восьмой части всех внешних товаров, которые он продавал и покупал. Производил в основном топливо и механизмы, занимался добычей металлов, а покупал продукты питания, древесину, растительные масла и резину. Сотни миллионов людей все еще существовали самостоятельно, полностью выходя из схемы Контроля. Но он с ними торговал. Другие сотни миллионов быстро развивались, восстанавливая сопутствующую производительность.

Как это ни парадоксально, главные трудности движения Современного государства происте-

кали из собственного же быстрого успеха. Оно вызывало к существованию массу внешнего процветания, намного превосходящую способность к ассимиляции. Пропагандисты, учителя и компетентные торговые агенты создаются не за один день. Лояльность и полное понимание достигались туго, напряжение на этом пути стало ощущаться как раз где-то к 1970 году. В 1972 году вышло распоряжение о «проверке квалификации», принимались новые правила исключения из организации некомпетентных Собратьев. Контрольный персонал приходилось постоянно расширять, но запас людей с необходимым характером, знаниями групповой психологии и пониманием конструктивной теории оставался довольно ограниченным.

Федор Галланд, символ одухотворяющей жизненной энергии Всемирного совета, в 1973 году сказал:

«Давайте же служить! Давайте не будем разделяться на фракции, а, наоборот, объединимся. Мы не можем позволить себе ссориться. Мы не должны мешать друг другу и растрачивать друг друга попусту. Пока мы сделали не более, чем приступили к проблеме. Не забывайте, как Сталин задушил Россию. Вспомните прекрасные главы

Де Виндта, направленные против духа оппозиции. Борьба за Современное государство только началась!»

Здесь мы имеем самое четкое указание на то, что штаммы роста уже проявились в структуре все еще инфантильного Современного государства.

Движение столкнулось с трудностями в поддержании внутреннего единодушия, но за его пределами не существовало единой общемировой структуры, которая могла бы сконцентрировать антагонизм. Старая международная банковская система умерла и исчезла, а новый порядок выпустил свои новые деньги и располагал свободой создавать вещи и доминировать над их финансовой организацией. Все старые интересы, связанные с вооружением, были мертвы и похоронены. О старой национальной системе печати вообще уже успели позабыть. Это тем более удивительно, что до 1940 года последний аспект социальной жизни являлся основным средством коллективной мысли и мнения. Сегодня экземпляр газеты, выпущенный между 1890 и 1970 годами, является редкой и драгоценной вещью, которую необходимо защищать от порчи в воздухонепроницаемой обертке. Центральное

правление контролировало основную часть поставок бумаги, а также быстрое восстановление системы телеграфной, телефонной и воздушной связи.

Сопротивление и антагонизм, с которыми приходилось сталкиваться как внутри организации, так и за ее пределами, были мощными и разнообразными как по форме, так и по содержанию. Однако разнообразные опасности никогда не объединялись в одну, не достигали одновременного максимума и не приводили к наивысшему кризису. Да, в какой-то степени Современное государство оставалось уязвимым. Его удавалось придержать или даже остановить на какое-то время. Но поскольку оно сосредоточило в своих руках торговлю, деньги и постоянно расширяющиеся эффективные общеобразовательные школы, время всегда работало на него.

— Если не сегодня, так завтра, — объявил Эрден Эссенден.

— Лучше сегодня, — добавил Федор Галланд.

Скорость, с которой Транспортный Контроль 1965 года расширился до Современного государственного осьминога 1975 года, обусловлена трудностями набора персонала, способного шагать в ногу с поставленными задачами. Еще

не успели умереть старый порядок, старые идеи, старые методы и привычка им следовать. Ослабленный и ослепленный, старый мир пошатнулся под грузом глупых ошибок и упал в тридцатых и сороковых годах, а в пятидесятых пролежал в коме. В шестидесятых создавался новый мир. Но мозги у тех, кто был старше сорока лет, оставались прежними; и эти люди в прежнем режиме воспитывали своих детей. Тем самым возрождение жизненной силы в семидесятые тесно переплеталось с перестройкой. Старые мысли, обычаи и привычки возвращались, но обнаруживали, что их дома заняты другими жильцами, пусть и тоже несовершенными, но уже по-новому сформированными.

Давайте же теперь рассмотрим, какую форму приняла оппозиция и какие более серьезные пережитки старого порядка — точнее, старого «положения дел», — все еще активно существовали около 1975 года. Так у нас появится ключ к событиям следующих семидесяти пяти лет.

Перед Воздушным и Морским Контролем стояла задача привести весь мир к собственному образцу. Широко раскинутыми щупальцами осьминог стремился охватить миллиарды человеческих существ и передать им природу,

концепции и методы взаимного служения. Но вся эта людская масса все еще находилась под воздействием инерции тысяч предыдущих поколений. Моровиц подсчитал, что в 1976 году около шестидесяти процентов этой массы жило за счет сезонной обработки почвы, и что две трети, проживая в умеренной зоне, производили продукты в основном для собственного потребления, а не для торговли. Он считает это рецидивом положения дел в 1910–1920 годах. Упразднение крестьянства продолжалось более века! Крупномасштабное производство с обильным использованием машин настолько увеличило выпуск продукции на душу населения, что высвободило (если это можно назвать освобождением) растущую долю рабочих рук для промышленного труда и безработицы. Но этот процесс обратился вспять после 1940 года. Рабочие вернулись к обработке земли и жили очень несчастливо.

Уничтожение самодостаточного крестьянина являлось сознательной целью Ленина и Сталина в России. Земледелец с возрастающей легкостью должен был производить основные продукты питания в количестве, намного превосходящем его собственные потребности, и получать за избыток растущие в своем разнообразии помощь,

комфорт и удобства. Миллионы земледельцев в 1910 году все, что выращивали, отправляли на рынок; они производили хлопок и многое другое, и были зависимы от продовольственного магазина, как и любой горожанин. Социальная катастрофа положила всему этому конец.

«В голодные пятидесятые, — сообщает Моровиц, — каждый искал пищу на собственном участке».

В шестидесятые годы обычным образом жизни во всем мире снова стало немедленное производство и потребление. Только под руководством и стимулированием Транспортного Контроля работники на земле начали восстанавливать уверенность и мужество, необходимые для животноводства и сбора урожая, предназначенного исключительно на продажу.

Цель Современного государственного Братства состояла в том, чтобы стать земледельцем планетарного масштаба, и либо непосредственно заниматься добычей полезных ископаемых, лесозаготовками, выпасом скота и обработкой почвы, либо поручить выполнение этих задач ответственным арендаторам или группам и ассоциациям арендаторов под его общим контролем. Но в начале славных дел оно не располагало

ни достаточным персоналом, ни полномочиями для проведения столь фундаментальной человеческой реконструкции. Относительный провал двух пятилетних планов в России являлся полезным предупреждением против экстравагантных предложений.

Современное государство исходило из старой пословицы, что «не следует откусывать больше, чем сможешь прожевать». Главными миссионерами стали торговцы. В таком же объеме подготовки, как школьные учителя и пропагандисты, они не нуждались, поэтому их запускали в большем количестве. Они стали предлагать заключать взаимовыгодные контракты производителям продуктов питания, хлопководам, а также владельцам все еще функционировавших каучуковых заводов и угледобывающих шахт. Контроль делал все возможное, чтобы гарантировать сбыт продукции.

В XVI веке Месопотамия (ныне Ирак) вошла в состав Османской империи. В ноябре 1914 года англичане заняли Басру, в марте 1917-го — Багдад, а в 1921-м Лига Наций выдала Великобритании десятилетний мандат на территорию Месопотамии. В 1932 году Ирак объявил о своей независимости, но по факту реальная власть

оставалась за англичанами. Английские военные базы в Ираке были ликвидированы в 1961 году, что, по сути, явилось последним гвоздем в крышку гроба Британской империи.

Поначалу Контроль мало интересовался правом собственности на товары, доставляемые на его склады. Он платил наличными и соблюдал условия контрактов, не делая различий между людьми, пока те доставляли товары и торговали честно. Ядра и школы в 1975 году оставались пропагандистскими образовательными учреждениями и почти не зависели от спонсоров — торговых, транспортных и промышленных организаций. Но это был только первый этап в начинании Современного государства. Следующему этапу предстояло стать куда более трудным.

Тот, кто изучает историю, должен всегда помнить о важности жизненных периодов в социальных и политических изменениях. Между 1935 и 1975 годами прошло всего сорок лет. Повсюду старые идейные системы все еще доминировали в людских мозгах и передавались молодежи. Старый образ мышления, нравственные ценности и модели поведения люди припрятали подальше, как бриллианты и изысканную одежду в дни разбойничьих налетов и погромов. С избавле-

нием от страха и возвращением самоуважения люди стали возвращаться к когда-то привычным атрибутам. В Голодные пятидесятые креативная схема Современного государства завоевала свое место в десятках тысяч умов с соответствующим научно-техническим образованием. Пропаганда становилась все более энергичной, но даже после Конференции в Басре 1965 года количество просветленных мозгов, которые на законном основании, можно было бы назвать мозгами первых создателей Современного государства, составляло, вероятно, менее двухсот тысяч.

Последующая пропаганда слишком ускорилась, в результате чего на фоне увеличения количества ухудшилось качество новых членов. Общество нуждалось в услугах каждого мужчины или женщины, которых оно могло включить в Братство, но эта структура не хотела наплыва *полуготовых* приверженцев, беженцев от морального замешательства и амбициозных карьеристов. Каждой новой религии, каждой церкви, каждому организованному движению знаком этот конфликт между желанием расширения и страхом размывания. С одной стороны, Современное государство напомнило о стремительных массовых обращениях в христианство и ислам, которые

превратили эти великие религии в простую суеверную оболочку варварства, а с другой стороны, у всех перед глазами стоял совсем недавний пример Советской России, которую морально и интеллектуально стерилизовали вечная слежка, цензура и «чистки» ГПУ. Центральный мозг Современного государственного осьминога должен был направлять организационную систему между крайностями необдуманной восприимчивости и черной подозрительности. Это следовало делать стойко, незаметно и без промедления. Вначале Братство освободилось от традиционных слабостей и чувств, но позднее те стали возвращаться. Тем не менее, ведущие идеи в силу материального успеха и неизменно ясных формулировок распространялись за пределы ядер и организованного учения.

В экономической сфере, даже с самого начала, появились явные намеки на возрождение процветания, но случился ряд событий, которые Братство легко бы пресекло в зародыше при условии наличия необходимых ресурсов. Оно хотело взаимодействовать непосредственно с каждым производителем. Именно так обстоят дела сегодня. Как только появился новый спрос на хлопок, свинину, пшеницу, рис и тому подобное, воз-

никло и множество услужливых посредников между американскими и суданскими производителями хлопка. Фермеры и свинопасы собирали и обрабатывали продукцию для покупателей Контроля, а взамен распространяли товары Контроля в розницу. Бывшие деловые люди выдвинулись из трущоб разрушающихся городов, из муниципальных учреждений, из собственных неохотно обрабатываемых земельных участков, из грязных убежищ хитрых банд, из мелких местных торговых заведений, полные чувства, что торговля возрождается. Они организовывали ссуды крестьянам, выдавали авансы материалами, давали проницательные советы и обращались к агентам Контроля за инструкциями.

Такого рода вмешательство не ограничивалось отдельными людьми, советами и обещаниями. Во многих частях света, в городах, округах и небольших штатах, где власть принадлежала городскому совету или Совету рабочих, мэру или лорду поместья, или где лежали заброшенными шахты и плантации, оживляющий покупательский ветер вызывал в людских умах неистовое желание получать прибыль. В 1969 году в Америке проводились праздники «Снова на работу» для «стимулирования местной дело-

вой активности».

К 1975 году от Маньчжурии до Капской колонии и от Ванкувера до Явы восстанавливалось старое положение дел. Крестьяне, отягощенные долгами, работающие, чтобы выплачивать арендную плату, а также рыбаки, шахтеры, фабричные рабочие, сборщики долгов и охотники. Старая экономическая жизнь человечества восстанавливала силы. Всюду возвращались долговое рабство и арендная плата. Прибавочный продукт перехватывался в соответствии с проверенными временем схемами. Да и само по себе рабство вновь появлялось в плохо замаскированных формах.

При старом порядке всегда прослеживалась настойчивая тенденция использовать труд осужденных преступников. Принудительный труд казался настолько справедливым и разумным наказанием, что всякий раз, когда появлялась возможность использовать его с пользой, власти начинали множить преступления, за которые можно предъявить обвинение, и заставлять несчастных работать бесплатно. В «классическую» эпоху галеру приводили в движение заключенные, и они же работали в шахтах. В позднем Средневековье средиземноморское су-

доходство зависело от судьи, и если нарушители закона не появлялись в достаточном количестве, их приходилось выискивать под надуманными предлогами. Из мрака пятидесятых и шестидесятых годов поднимались местные боссы, вожди и политические банды, которые подстрекали и подталкивали людей к производству товаров, пригодных для продажи. В отчете о контроле за поставками за 1976 год «Условия труда тех, кто поставляет нам товары» отмечалось существование каторжного труда в Северной и Южной Америках, на западном побережье Африки, в Советской России, Центральной Индии, Северном Китае, Японии, на Яве и в других местах. Отмечалось, что во многих районах с целью обращения в рабство людей попросту похищают.

«Дешевизна человеческих существ, — говорилось в отчете, — снова препятствует эффективной организации механического производства. За пределами сферы нашего влияния находятся огромные людские массы с крайне низким уровнем жизни.

Неослабевающее нервное напряжение не позволяет им начать понимать цели Современного государства. Выходит так, что человек извлекает средства к существованию из собственной де-

градации. Снова возникает запутанный клубок эксплуататорских классов: предприниматели, оптовики, розничные торговцы, ростовщики (выдающие в виде ссуд местные монеты и обменивающие их на наши банкноты), политики, частные и корпоративные юристы, инвесторы и земледельцы. Все они имеют одну общую черту: ставят прибыль выше служения. Они будут отчаянно сопротивляться расширению нашей организации. Старый порядок возвращается с той же скоростью, с какой мы растем».

В отчете Транспортного Контроля за тот же год отмечалась еще одна система возникающих проблем. В данном случае атака на развитие Современного государства оказалась более прямой.

«Для того, чтобы сделать транспортные потоки более интенсивными, мы расширяем нашу дорожную сеть. Однако на этом пути нам приходится сталкиваться со значительными трудностями. С каждым днем нам все настойчивее говорят, что мир нам не принадлежит и мы не можем поступать с ним так, как нам нравится. Повсюду появляются некие *заявители,* возрождающиеся корпорации, местные власти или частные лица, которые кричат о своей собственности на землю и требуют от нас

арендную плату или денежную компенсацию. Иногда нашей организации удается поглотить местную власть или достичь с ней соглашения, что та будет прокладывать и обслуживать маршрут в пределах своей предполагаемой юрисдикции, но в большинстве случаев нам просто мешают. Исследования наших социальных психологов показывают широко распространенное стремление к простому или замаскированному подкупу со стороны обструктивистов, хотя следует признать, что имеется множество подлинных случаев совершенно бескорыстной глупости. Далеко не все ясно осознают, что требуют взяток и прибегают к шантажу. Они одержимы старомодной идеей собственности. Почти все, что они воображают, может быть присвоено как «свое», и тогда у человека появляется абсолютное право делать со своим «своим» все, что ему нравится, отказывать в использовании для общего блага, уничтожать, сдавать в аренду или удерживать, объявляя непомерную цену.

Редко за этими препятствиями стоит искренняя поддержка своих сообществ. Все-таки следует признать, что пропаганда Современного государства эффективна и приносит плоды. Мы готовим график определенных мероприятий. Вариа-

тивность их — от единичного занудного судьи со старомодным умом через широкий спектр ассоциаций, городов и провинциальных советов, до оживших суверенных правительств военного периода. В немецкоязычной части Европы внезапно «ожили» две королевские семьи. Поговаривают, что это только начало. На различных наших маршрутах, особенно на дороге Бордо — Черное море, вновь появилось старое китайское притязание на «симпатию». Наши грузовики задерживают в Вентимилье, поскольку фашистское правительство в Риме установило «догану». Поперек трассы установили барьер и от имени итальянского короля требуют выплаты. Более того, даже отдельные французские и итальянские города стали требовать таможенных сборов.

Юридический комитет Современного государственного факультета социальной психологии рассматривает вопрос о новых препятствиях на пути к мировому возрождению и объединению, и в течение месяца он подготовит план действий. Эта попытка возродить собственническое удушение, которое положило конец старому порядку, вызывает раздражение и может перерасти в очень серьезное препятствие. Прежняя мировая система собственности и управления

находилась в состоянии клинической смерти вплоть до 1960 года, и мы не намерены выкупать ее по ценам, превышающим цены на металлолом. Мы отрицаем абсолютно любые претензии на завышение цен и введение новых выплат, порой под совершенно надуманным предлогом. Мы восстанавливаем производство и торговлю, и не позволим глупцам все испортить».

Глава 7
Интеллектуальный антагонизм к Современному государству

Самые ранние известные истории — династические. Это не более чем списки верховных жрецов, царей, племен и их достижений. С Геродотом история стала политической. Экономические процессы начали проникать в историю только в XVIII веке, а их практическую значимость признали лишь после времен Карла Маркса. Еще позднее климатические, биологические и географические изменения принялись вплетаться в исторический гобелен. И только последние сто лет образованию, культурным влияниям и психологическим последовательностям, как правило, уделяется должное внимание в структуре чело-

веческой драмы.

Самое трудное в нашем понимании прошлого — это осознать, даже в самой элементарной форме, психические состояния наших предков, которые обманчиво кажутся нам похожими на нас самих. У них были такие же тела, что и у нас, хотя и не столь хорошо тренированные. Наши предки относительно неплохо питались и обладали неплохим здоровьем. У них был такой же способный и сложный мозг, как у нас. Но только когда мы сравниваем их поведение с нашим, нам становится понятно, что, судя по содержанию и привычкам реагировать, те мозги как будто принадлежали совсем другому виду существ.

Мы с недоверием читаем о публичном сожжении религиозных еретиков, о пытках преступников для принуждения к признанию, об убийствах и надругательствах, об изнасилованиях, об охоте и издевательствах над животными ради «спортивного интереса», о тех, кто платил деньги за удовольствие бросать палки в привязанного петуха, пока тот не умирал, и трудно устоять перед убеждением, что наши предки были душевнобольными. Большинство из нас, окажись мы в Лондоне во времена правления Генриха

VIII, ужасно испугались бы, как если бы нас поместили в палату к буйным психам без всякого присмотра санитаров. Но мозги у тех людей были не более больны, чем наши. Система ментальных привычек выстраивалась на иной основе; вот и вся разница.

Это были совершенно здравомыслящие люди, которые развязали Мировую войну, которые позволили частной капиталистической системе разбиться вдребезги, несмотря на неоднократные предупреждения, и которые были необычайно близки к уничтожению человечества. Если читателя отправить на сто семьдесят лет назад, он все равно ощущал бы сильное беспокойство в отношении того, что могут или не могут делать окружающие его люди. Тем не менее, подавив тревогу, он обнаружил бы, что они так же полностью удовлетворены здравомыслием собственных ментальных форм, как и он сам.

А впрочем, вскоре он обнаружил бы, что пытается приспособиться к этим ментальным формам. В конце концов он мог бы прийти к пониманию того, что его вера и дела, которые достаточно неплохо выполняли свои функции в его собственное время, являются не более окончательными в схеме вещей, чем идеология,

определяющая мотивы и поступки римского императора или шумерского раба.

Трудности в сравнении и понимании прошлых ментальных состояний с нашими собственными скорее возрастут, чем уменьшатся по мере приближения к настоящему, потому что различия становятся боле тонкими и все больше переплетаются со знакомыми фразами и ценностями, которые мы готовы принять. Мы не можем подразумевать под этим, что значения постоянно расширяются или уменьшаются. Полная безопасность, изобилие и живительная активность сегодняшнего дня в нашем мировом сообществе затрудняют понимание, как же это было возможно, что еще совсем недавно лучшие умы могли ставить под сомнение фундаментальные концепции нынешнего порядка. Даже в середине XX века идеи, кажущиеся нам естественными и необходимыми настолько, что мы не можем себе представить, чтобы их оспаривали, представлялись экстравагантными, невозможными и оскорбительными для мозгов, которые по своим основным характеристикам не уступали лучшим из ныне существующих.

В первой половине XX века подавляющее большинство мужчин и женщин совершенно

не верили в Современное государство. Они его ненавидели, боялись и выступали против него, и сомнительно, что равновесие полностью восстановилось до начала XXI века.

Современное государство построили относительно посредственные люди, на которых нужные идеи обрушились с непреодолимой силой. Как утверждал Х. Леви в своей книге «Вселенная науки» еще в 1932 году («Исторические документы», серия «Общие идеи», 192301), наука — это «социальное предприятие», а не накопление индивидуальных триумфов. Как научная идея, так и идея человеческого сообщества являлись не индивидуальными, а социальными продуктами. И Современное государство одерживало верх, потому что его логика неуклонно побеждала не в этом или вон в том человеке в частности, а в ощущении пригодности общего человеческого интеллекта.

Максвелл Браун в своих монументальных исследованиях роста идеи Современного государства сделал исчерпывающий обзор искусства и литературы начала XX века. В работах нескольких таких социологов, как Дж. А. Ходсон, Гарри Элмер Барнс, Джеймс Харви Робинсон, К. А. и Мэри Берд, Рэймонд Б. Фосдик и нескольких американ-

ских и английских журналистов, а также в таких панических фантазиях, как «О, дивный новый мир!» Олдоса Хаксли, утверждалось, что нет никакого смысла в огромных революционных изменениях, которые происходили в социальной структуре. Скажем, Бернард Шоу, хотя и считался писателем-революционером, никогда, за исключением своего нелепого «Назад к Мафусаилу», этого не предвидел. Основная масса его работ представляла собой остроумный и разрушительный комментарий к сложившемуся положению дел и заканчивалась заявлением о банкротстве, Слишком Правдивым, чтобы стать Хорошим. У старика Шоу в высшей степени проявился оппозиционный ирландский менталитет.

Отчуждение литературы от движения Современного государства стало более заметным на протяжении двадцатых и тридцатых годов XIX века. По мере того как реальность становилась насущной, по мере того, как война и банкротство обрушивались на общественную жизнь, литература, искусство и критика отступали в кабинеты и студии, в свою горькую и своеобразную Богему; они приобретали неповторимый стиль и «редкость», блестящую и жестокую непристойность.

По словам Максвелла Брауна, этот упадок литературы явился неизбежным выражением экономического упадка тридцатых и сороковых. Автор привел яркий контраст между двумя типами ума: один направлен на эстетику, другой — на науку.

«Эстетический» творец, настаивал Браун, находится во власти принятия; он пишет для ответа. Научный работник стремится к знаниям, и ему совершенно безразлично, нравятся или не нравятся людям те знания, которые он производит. Следовательно, эстетическая жизнь обусловлена временем, а наука обуславливает время.

Литература и искусство служат времени либо униженно, либо агрессивно и претенциозно. Они отражают реальные настроения или размышляют о возможных настроениях в сообществе. Не надо писать книги, которые люди не станут читать, и не надо рисовать картины, от которых они просто отвернутся. Недостаточно развитая психология не позволяла провести достойный научный анализ творческой работы. Критика, если она не являлась простым выплескиванием злобы, по сути, либо убеждала, либо запугивала, тем самым заставляя человека купить книгу или слушать музыку, какие нравились тому, кто

критиковал. То есть речь шла о пристрастном и пропагандистском выступлении, а не о политической дискуссии.

В экспансивном периоде конца XIX века общая уверенность преуспевающих классов отражалась в большой, полной надежд и устремленной в будущее самодовольной литературе. Каждый критик видел себя вольготно сидящим у камина преуспевающим дядей, но в XX веке ощущение надвигающейся опасности беспокоило покровителей литературы и искусства и вынуждало накидывать какую-то защиту на интеллектуальный мир за пределами сферы науки и изобретательства. Прогрессивные замечания утратили свою популярность. Предлагаемое чтение было пронизано изводящей враждебностью к новому и жалобами на воображаемую утраченную преданность и исчезнувшие добродетели.

Писатели того времени не столько желали возвращения к истокам цивилизации, сколько хотели, чтобы больше не предпринималось никаких шагов. Они хотели, чтобы все прекратилось. О, как же они хотели, чтобы все прекратилось! Они тянулись к консолидации, прежде, чем потерять еще больше. В принятых возражениях практически отсутствовала последовательная

система. Это были возражения *в целом*. Массовое производство осуждалось. Наука редко слышала доброе слово в свой адрес. Война — с применением модернизированного оружия — тоже осуждалась, но при этом как много красивых речей произносилось о «рыцарских» войнах прошлого! Предлагалось «упразднить» самолеты и закрыть все лаборатории в мире. Предполагалось, что гигиена, и особенно сексуальная гигиена, «лишила жизнь романтики». Упадок хороших манер со времен Хогарта, сэра Чарльза Грандисона и Тони Лампкина вызывал горькое сожаление. Практически исчезло все, что можно было бы назвать Стилем.

Один американский писатель XIX века на вполне архаичном английском сокрушался:

«Как обесценилась жизнь и как ныне пуст Мир! Словно Болото, где давным-давно утонули приснопамятные джентльмены Старри. С тех пор, как Марстон Мур и Ньюбери выпили короля Карла, его же джентльмены».

Эти строки знаменуют собой доминирующие в то время настроения.

Максвелл Браун ссылался на фрагменты («Литература отстает», «Исторические документы», серия «Общие идеи», 311 002) из порядка четырех

тысяч книг и статей.

Когда мир снова возник из полного запустения Голодных пятидесятых и Великой эпидемии, оппозиционный менталитет возродился в сотнях тысяч пожилых грамотных людей, чьи мозги приспособились и повернулись в определенную сторону. Мир возродился, потому что в людях было что возрождать. Он встретил слишком быстрое и естественное признание среди бесконечного количества умных и активных людей, которые теперь пытались запустить частное дело и частные системы извлечения прибыли. Но было уже поздно! Транспортный Контроль расширялся, вовлекая все больше сторонников. Многие не понимали, как возрождение процветания связано с новой организацией. Это входило в противоречие с духом того времени — хотеть объяснять, почему возрождается процветание. Людям хотелось просто воспользоваться «поворотом судьбы». Транспортный Контроль казался грозным конкурентом, суровым по духу и еще более суровым по применяемым им методам воздействия. Людям чудилось, что он хочет помешать им заготавливать сено при свете солнца. Они слишком хотели видеть в нем огромную и отвратительную угрозу для любой прибыли,

награды или гарантии. Они говорили, что ради послушания он предлагает слугам хитроумные механические приспособления, безразличные и опасные силовые машины.

«Разве мы недостаточно мудры и добродетельны, — спрашивали они, — сами по себе, чтобы этот Мировой Контроль пришел «прибрать нас»?»

Очевидно, что новый порядок наполнился решимостью «включить» (ненавистное слово!), если бы мог, всех этих потенциально привилегированных и потенциально безответственных людей. Его суровое лицо обратилось к ним. Его гигиеническая и образовательная деятельность угрожала их жизненному укладу. Он предлагал лишить их естественных волнений, связанных с азартными играми и спекуляциями; забрать законные преимущества, связанные с деловой хваткой. Это угрожало им службой.

«Это невыносимо «скучно»!» — настаивали они.

Они хотели по своему усмотрению быть то хорошими, то плохими. «Бездушное единообразие» стало пугалом для этих непокорных умов.

Рабочие часто возмущались методами Современного государства. И непосредственные

работодатели, кстати, тоже. Люди трудно поддавались обучению и очень неохотно подчинялись дисциплине. У школьного учителя оказалось весьма любопытное предположение о членах ядра Современного государства. Неприязнь к тому, что под рукой, вызывала страх перед тем, что могло лежать за пределами. Если исчезнет свобода вести бизнес, какие правила и предписания понадобятся, чтобы заставить своенравного индивидуалиста подчиниться мировому работодателю? Центры Современного государства заговорили о контроле за населением. В этом легко усматривалось отвратительное вторжение в личную жизнь. Весовые категории и деньги — сегодня, жены и родители — завтра.

Эти широко распространенные отвращение, страх и антагонизм вставали на пути у аспирантов Современного государственного Братства, претендующих на ответственные должности в службе Контроля. Работа оказалась по зубам отнюдь не каждому. Отвергнутые кандидаты в члены Братства становились одними из самых непримиримых антагонистов Современного государства. К 1970 году по всему миру, везде, где находились остатки старых процветающих и образованных классов «независимых» и дело-

вых людей, появлялись ассоциации для борьбы с деятельностью ядер Современного государства. Невероятно расплодились Клубы Свободы и Ассоциации свободной торговли, Гражданские Лиги, палаты защиты торговли и общества вроде «Возвращение к законности», а также самые разнообразные общества религиозного и патриотического пробуждения. Школы Современного государства были признаны аморальными, непатриотичными и антирелигиозными. Поразительно, как менялы поспешили в опустевшие храмы и требовали возвращения Христа.

В каждом городе или поселке отыскивался тот или иной человек — чаще всего какой-нибудь пожилой юрист или политик из старых времен, — стремившийся возродить и защитить свои привилегии. Мир в очередной раз услышал о правах народов и наций на свободу, самоопределение и суверенитет в пределах своих границ. Сотни различных флагов с каждым днем все ярче развевались над возрождающейся землей во имя священного имени свободы. Даже увязшие в долгах батраки в американских хлопковых районах, на плантациях и фабриках Индии, Китая и Южной Италии превратились в ярых сторонников индивидуальной свободы.

Поведение низших масс демонстрировало широкое расхождение восприятия и реакций. Невероятно распространившаяся коммунистическая пропаганда военных лет и Голодных пятидесятых усилила естественную враждебность к буржуазии с ее неуемным стремлением наживаться. У возрождавшихся предпринимателей имелось мало шансов объединиться с коммунистами, но Современное государство, перед которым лежали наглядные российские уроки, не стремилось обострять классовую войну в своих целях. Оно совершенно ясно осознавало, что апеллировать к простому мятежному порыву угнетенных означало бы приглашать специалиста-демагога, который подтянул бы за собой банду приспешников и шпионов, а те, в свою очередь, обернулись бы тайной полицией. И все только с одной целью — занять кресло в зале совета.

Де Виндт довел эту мысль до логического завершения:

«Творческая революция не может сотрудничать с повстанческой революцией!»

Следовало безжалостно отбросить самообольщение невежеством и неполноценностью, будто бы это ключи к инстинктивной мудрости,

а также подстрекательство к зависти и ревности к знаниям и способностям. Современное государство намеревалось отменить тяжелый труд, а это, в свою очередь, означало ликвидацию любого класса трудящихся, пролетариата, трудовой массы, крепостного или раба, как бы это ни называлось. Современное государство не собиралось использовать дурацкие умственные и физические ограничения. От них планировалось освободиться. Оно пошло на большой риск. Силы реакции организовывали забастовки и массовое сопротивление правилам Современного государства, его экономике занятости, его механизации, его способам перемещения населения. Современному государству предстояло преодолеть немало трудностей на своем нелегком пути.

Таким образом, мировую сцену подготовили к трехсторонней драме конца XX и начала XXI века, где реакция в тысяче форм и организация Современного государства в одной-единственной форме боролись друг с другом ради подчинения или ассимиляции более или менее пассивного человеческого большинства.

Здесь мы ведем рассказ, описывая происходившее в общих чертах. В элементарной истории возможно преподнести читателю только основ-

ные строки. Когда мы увеличиваем масштаб наблюдений, широкие деления на карте исчезают, становясь холмами, долинами, зданиями, лесами и дорогами. Ступая на землю, мы уже можем разглядеть камни, гальку, цветы и травинки. Так и это грубое распределение человечества на три смешанных и интенсивно взаимодействующих множества на самом деле квалифицировалось миллиардами индивидуальных сложностей.

В целом содержание человеческих умов тогда было гораздо более замысловатым, чем сейчас. Об этом никогда не следует забывать тому, кто изучает историю. Интеллектуальный прогресс представлял собой непрерывное распутывание и упрощение на пути к расширению возможностей. Эти последние десятилетия Эпохи разочарования все еще оставались, по сравнению с нашим сегодня, временем неопределенности, неточностей, смешанных мотивов, иррациональных сюрпризов и горького позднего осознания. Едва ли в мире нашелся бы хоть один неквалифицированный труженик, который действительно был бы кем-то большим, чем пассивный комок в руках эксплуататоров. Едва ли нашелся бы реакционер, который в какой-то мере не стремился бы к опрятности и эффективности. И,

наоборот, едва ли нашелся бы Собрат в организации Современного государства, мужчина или женщина, у которого не обнаружилось бы спазмов острого эгоизма и тщеславия и который не мог бы стать доктринером, нетерпимым и мстительным. Это могло бы произойти, если бы в душе Собрата взыграли сентиментальные и эстетические ценности старого порядка. Среди Собратьев встречались такие, кто не только не любил, но и не реагировал на множество людей, неизлечимо сформированных по образцу вечного недовольства.

Новая художественная литература восьмидесятых и девяностых годов чрезвычайно озабочена универсальной битвой идей и ментальных привычек. И более простые прежние романы, и более утонченные современные повествуют об индивидуальном характере в решающей битве между добром и злом в мире неоспоримых стандартов, но в давних произведениях о социальном конфликте повествование касается дикой путаницы между двумя видами хорошего и двумя видами плохого, а также врожденного характера, искаженного тысячью способов. Это был трудный возраст. В жизни все еще присутствуют двусмысленность и бесконечная ирония, но они ничто

по сравнению с тем, то приходилось испытывать человеку в 1970 году.

Глава 8
Вторая конференция в Басре, 1978 год

На Вторую конференцию в Басре съехались многие из тех, кто побывал там в 1965 году. Тем не менее, ассамблея сильно отличалась от предшественницы и по масштабу, и по духу. Оказалось, что это — собрание пожилых людей. По словам Амена Рихани, средний возраст поднял планку на целых десять лет! Молодые люди по-прежнему в изобилии вступали в Братство, но также случались и так называемые приращения, — к сожалению, не всегда полезные. Речь шла о престарелых радикальных и революционно настроенных лидерах военного периода. Жизненный опыт сформировал в них саморазрушительную тягу к безответственному сопротивлению. Психика оставалась деструктивной, критически настроенной и непокорной. К тому же у многих отсутствовал технический опыт, и они склонялись к тому, чтобы придавать школам и пропаганде анархистский оттенок.

Более того, великий план Современного госу-

дарства утратил к тому времени свою первоначальную убедительную свежесть. У «молодежи за 65» накопилось более десяти лет ответственной административной работы. Реальность в деталях оказалась очень суровой. Многие обобщения Де Виндта пришлось изменить, поэтому грандиозное великолепие проекта слегка потускнело. Ослабели профессиональный дух и доверие другу к другу, а ведь именно с этого начиналось великое приключение Современного государства. Многие из управленческого аппарата женились на женщинах старой социальной традиции и сформировали новую систему удовлетворения и дружбы. Они перестали быть восторженными молодыми людьми и превратились в отпрысков окружающего мира. Последовавшая за этим утрата четкого подхода к основным вопросам проявилась особенно очевидно на первых заседаниях.

Более того, атмосфера собрания 1965 года была наполнена духом Современного государства. Проявляли антагонизм только российские политические представители. Большинство собравшихся являлись членами Братства и горячо приветствовали его цели. Спустя тринадцать лет возрождающийся национализм, возрожда-

ющиеся социальные и коммерческие интересы умирающей системы Старого Света остро осознали огромное значение событий в Басре, и туда отправились орды репортеров, искателей приключений, друзей и последователей орденов всех мастей, намного превышающие по численности истинных Собратьев. Оппортунисты заполонили гостиницы Контроля, расположенные вокруг аэродрома, вторглись в принадлежащие Контролю офисы и резиденции. В окрестностях среди финиковых пальм и рисовых полей выросла сеть частных отелей и ресторанов. Загруженность и оживленность оказались беспрецедентными. Кого-то даже пришлось размещать в палатках, плавучих домах и корпусах пассажирских авиалайнеров тридцатилетней давности. Наблюдателям вспомнился туристический период Эпохи всеобщего процветания, когда незваные гости привлекли к сборищу торговцев багдадскими коврами и арабских кочевников.

Вероятно, в Басру потянулось бы гораздо больше людей, если бы Транспортный Контроль вовремя не осознал социальную и гигиеническую опасность слишком большого скопления народа. Он стал отказывать в проезде и ограничивать бронирование. Перестали пускать к месту

сбора как одиноких путников, так и целые группы пеших пилигримов.

Самыми агрессивными среди прибывших являлись следственные делегации, направленные разбуженными суверенными правительствами старого порядка. Это были своего рода дипломатические экспертные группы с объявленным намерением бросить вызов деятельности органов Контроля на нескольких территориях. Оппортунисты предложили узаконить и урегулировать Контроль, но у них отсутствовал официальный статус на Конференции. Они пригласили самих себя и уведомили организаторов о своем прибытии.

«Лучше сейчас, чем позже», — объявили представители Современного государства.

Они приняли заявку и предоставили прибывшим жилье.

«Нам следует с ними разобраться», — написал Уильям Капек в адрес Изабель Гарден (Письма Капека — Гарден, серия «Исторические документы», Басра II, 9376).

Помимо «старых правительственных» агентств существовал ряд партий, претендовавших на то, чтобы представлять различные новые бизнес-объединения, которые вступали в открытую

конкуренцию с монополиями Контроля. Старые юристы резко контрастировали и были враждебно настроены по отношению к молодым законникам новой американской школы. Капек подробнейшим образом описал различия двух типов: старший — пышность и уловки, а младший — искренность и наука.

Для всех посетителей, которые могли бы претендовать на тот или иной представительский статус, было опубликовано печатное уведомление следующего содержания:

«Эта Конференция является собранием по научным и коммерческим коммуникациям. Обсуждаемые на ней вопросы схожи с теми, что обсуждались здесь же в 1965 году. Обсуждения открыты только для Собратьев факультетов Современного государственного Братства. Дискуссии не являются публичными, доклады предназначены исключительно для Собратьев. Но с нашей стороны было бы неискренним отрицать, что принятые решения могут серьезно повлиять на общее благосостояние человечества, и поскольку вы пришли, чтобы выступить с критикой, высказать претензии и выдвинуть предложения, комитет по организации Конференции сделает все возможное, чтобы провести встречи между вашими

группами и затронутыми факультетами. К сожалению, условия для проведения заседаний в Басре будут сильно ограничены потребностями самой Конференции, и комитет мало что может сделать для организации конференций между огромным разнообразием аккредитованных органов; тем более для организации развлечений и удобств в период проведения ассамблеи. Комитет сожалеет, что не рассматривает предложение комитета граждан Багдада, утверждающего, что представляет правительство Ирака, о проведении этой неожиданной Всемирной выставки с участием трехсот арабских полицейских, верблюжьего корпуса из семидесяти девяти человек, вооруженных шестью пулеметами, как нечто практически осуществимое. Он совершенно безболезненно сможет перенести это интересное мероприятие в удобные помещения на острове Ормуз, а Полиция Воздушных и Морских путей будет в одиночку нести ответственность за поддержание порядка в древней провинции Бассора».

Далее следует подробная информация об информационных бюро, госпитальной организации, снабжении и доступном жилье.

Трудно представить, как иначе Центральный

Контроль мог бы справиться с этим неожиданно обильным извержением старой системы, но различные делегации заявили, что крайне возмущены таким приемом. Они располагали настолько разными и непохожими ценностными представлениями, что им казалось невозможным быть включенными в какую-либо комбинированную схему действий. Поскольку их теория сводилась к тому, что Контроль и Современное государство — это не более чем своего рода всемирное кооперативное общество, никто из них не мог вести себя как дипломатическая миссия суверенной власти. И, следовательно, они не могли рассматривать друг друга как дипломатические миссии. Полномочия оказались слишком размытыми и неопределенными. Вежливый отказ властей Конференции предоставить посторонним места для встреч и выражения своей позиции, кроме весьма ограниченного права пользоваться телефонной и радиосвязью, чрезвычайно их оскорбил.

«Я встретил на улице сэра Горацио Портеуса, представителя Британской империи, — пишет Уильямс Капек. — Он очень хотел получить мой совет по вопросам этикета. Похоже, что мы захватили провинцию Бассора у правительства Ирака

и взяли в плен предполагаемую местную полицию — те пятьдесят паршивых верблюдов и все остальное, о чем я вам уже рассказывал, — а ведь Ирак находится под протекторатом Великобритании. Он хотел где-нибудь выразить протест.

— Но только где? — спросил он.

Я принял сочувственный тон, но ответил уклончиво.

— Видите ли, — продолжил сэр Горацио, — этот ваш Центральный Контроль вообще ничего не значит! Если бы это было временное правительство или что-то в этом роде…

Я предложил позвонить в Воздушную и морскую полицию.

— Но они ведь действуют по приказу. Кто же отдает приказы? Все это какая-то нелепица!..»

Между делегациями происходили перебранка звонков, несколько «серьезных переговоров» и бесконечные составления более или менее бесполезных протоколов, докладов и протестов. Погода стояла исключительно жаркая и сухая. Все пространство и оборудование, доступные для физических упражнений и отдыха, монополизировали более энергичные Собратья, принимавшие участие в работе Конференции. Было трудно сохранять хладнокровие; еще труд-

нее — оставаться здоровым и полным надежд. Назойливые делегаты и комиссары стали искать отдушину в алкоголе, но тот быстро сделался дефицитом. Полиция разогнала торговцев «развлечениями». С другой стороны, Транспортный Контроль, проявив жест доброй воли, запустил специальную службу прогулочных пароходов до острова Бубиян. Поскольку руки полиции были слишком коротки, чтобы дотянуться до всех злачных местечек, на острове быстро возник и разросся небольшой городок, состоящий из шумных кафе, ресторанов, домов удовольствий, музыкальных залов и всевозможных шоу. Все это служило одной цели — снизить переполнение Конференции.

«Бубиян приятно истощает, — писал Уильямс Капек. — Поговаривают, что в Вавилоне и Багдаде наблюдается настоящий бум развлечений. Старый британский институт долгих выходных процветает. Поистине Вавилон становится все более и более *вавилонским*».

Но в Басре все еще оставалось слишком много посторонних. Так что факультетам было чем заняться.

Тем временем Конференция проходила за закрытыми дверями. Достаточно быстро стало

очевидно, что все это сборище любопытных агентов, делегатов и должностных лиц, не входящих в организацию, является первым тонким намеком на запутанный антагонизм, сплотившийся против нового порядка. Политика экспансии и тихого пренебрежения длилась достаточно долго. Конференции пришлось лишить оппортунистов возможности пользоваться аппаратурой связи. Пришло время Современному государству определиться и прояснить свои отношения с прошлым, из которого оно возникло, и ко всему этому миру традиций, который теперь отчаянно стучался в его двери.

«Прежде чем мы разойдемся, — торжественно произнес Арден Эссенден, председательствовавший на первом пленарном заседании, — мы должны принять хотя бы какие-то из этих делегаций, выслушать их и ответить на вопросы. И пусть везут наши ответы к себе домой. Но сначала мы должны с предельной ясностью познать свой собственный ум. Что мы делаем сейчас и что мы намереваемся делать впредь? Дни накануне этого знаменательного события открыли новую главу в истории человечества. Теперь же именно нам предстоит выбрать заголовок и спланировать саму главу».

Глава 9
«Три курса действий»

На Второй конференции в Басре не было доминирующей личности с характером и качествами Де Виндта. В ходе обсуждений не образовалось никакого пророческого направления. Вместе с тем не наблюдалось недостатка в том, что раньше именовалось «лидерством». Появились яркие интересные личности. Политик Хупер Гамильтон, откровенный и решительный Уильям Райан, загадочный Ши-лунг-танг, биолог из Восточной Африки Эм-Бангой, социальный психолог — возможно, лучший ум на собрании, Мохини Л. Тагор, гуманист мистического толка Моровиц, и Арден Эссенден, горячий приверженец активных действий, определили направление и обозначили главную причину расхождений во мнениях.

Они были скорее интересными, чем выдающимися людьми. Уровень их интеллекта был необычайно высок. Настороженные, превосходно информированные, тщательно взвешивающие каждое соображение, готовые разговаривать и действовать решительно. Конференцию про-

должали осаждать многочисленные делегации и комиссии, и это требовало безотлагательных и решительных действий.

«Я ощущаю себя одним из тех присяжных Старого Света, — писал Уильямс Капек, — которых раньше запирали вместе, пока они не выносили вердикт. Вы даже представить себе не можете, насколько сухой и жаркой может быть Басра».

Де Виндт и его писательская школа спланировали рамки нового мира и показали, к каким социальным элементам нужно стремиться, но предложения, как избавиться от неповоротливой туши старого мироустройства, оказались очень скудными. К 1965 году у членов Современного государства появилось довольно четкое видение нашего нынешнего порядка. Но мало кто из них предвидел рассеянную жесткость старого корпуса и его способность к контрреволюционным действиям. К 1975 году это стало угнетающе очевидным.

Доклады об общей ситуации готовились с особенной тщательностью. Они касались различных центров, где формировался дух оппозиции. Наибольшую опасность представляли бывшие суверенные правительства и правовые системы, которые казались умирающими или вовсе

исчезнувшими в сотрясаемые бродячей смертью Голодные пятидесятые. К 1965 году активно противостояло Контролю только Советское правительство в России. Как ни странно, этот антагонизм стал не так велик, как вначале. Техники советизированных регионов вытесняли политиков. Теперь действительно существовало рабочее сотрудничество российского транспорта, коммуникаций и производства с мировой системой, находящейся под Контролем, и, казалось, существовала разумная перспектива окончательной ассимиляции. Не возникало принципиальных возражений против тех, кто, номинально являясь коммунистом, становился Собратом Современного государства. Многие российские ученые и технические работники превращались в Собратьев, не будучи членами Коммунистической партии. В докладах с надеждой и должным анализом обсуждалась возможность аналогичного процесса в Америке и на Дальнем Востоке, где политические и правовые структуры также не создавали непреодолимых препятствий для ассимиляции. Возрождение разума в Америке выявило фундаментальную конструктивную энергию для великого синтеза западных народов. Да и в других местах появлялось все больше

свидетельств того, что системы суверенного государства и частной собственности принципиально несовместимы с новыми концепциями.

В докладах содержалась информация, которая для большинства Собратьев стала полнейшей неожиданностью. Выяснилось, что возрождающиеся национальные правительства Германии, Франции, Италии и Великобритании напряженно пытаются возобновить производство боевых самолетов и бомб. Сомнительно, что новоявленные правители действовали сообща, но намерение разместить военно-воздушные силы на недавно построенных аэродромах, игнорировать общие правила и отказываться от услуг Воздушного и Морского Контроля становилось совершенно очевидным. Столицы столкнулись с большими трудностями в деле привлечения услуг компетентных специалистов, будь то инженеры, механики или авиаторы, но, так или иначе, колесо милитаризации закрутилось. Едва ли не каждый студент в технических школах Контроля, который провалил экзамен или был исключен из Братства за недостойное поведение, становился экспертом национального правительства. На фоне такой нелицеприятной тенденции правительства принялись создавать собственные

национальные технические школы и пытались объединить школы и лаборатории Контроля в «национальную» образовательную организацию, переманивая персонал. Ярко проявилось устремление создать конкурирующую систему по соседству с системой Контроля, а также «отжать» организации, дороги, заводы, фабрики, шахты, аэродромы, школы, колледжи, лаборатории вместе с работающими там специалистами Контроля. То есть суверенное правительство накладывало руку на все, что находилось в пределах границ ранее существовавших суверенных государственных образований. Новое баварское правительство, виндзорский парламент и право в Риме — все они «договаривались захватить» любое имущество на своей территории. И с каждым годом в своих желаниях они становились все более откровенными, упорно рассматривая взаимосвязанные механизмы Контроля, как международную опасность.

Это было бремя национальных миссий по наблюдению и расследованию. Они жарились на солнце перед закрытыми дверями Конференции, как выразился Уильямс Капек, «в состоянии предварительной угрозы».

Собственники предложили возобновить владе-

ние имуществом, тем более что они и так уже им завладели, и ввести для Контроля обременительные сборы. Держатели движимого и недвижимого имущества, как обитатели зоологического сада, различались по масштабам и силе, но у них было одно общее качество: страсть к деструктивному сутяжничеству.

За закрытыми дверями Конференция провела обследование надвигавшегося антагонизма и разработала пути лечения этой болезни.

— Существуют только три возможных способа вылечить ее, — резко заявил Райан. — Вести переговоры, подкупать или управлять. Я — за третий вариант.

— Существует и четвертый, — добавил Хупер Гамильтон. — Комбинировать ингредиенты.

Метод ведения переговоров и *modus vivendi* уже действовали в отношении России. Пока происходила так называемая ассимиляция, трудно было сказать, кто реально правит этой огромной страной: то ли пока еще Коммунистическая партия, то ли уже Современное государство. Новый дух в старых Соединенных Штатах стал настолько «Современным», что протесты Вашингтона и губернаторов различных штатов воспринимались не более чем веселым розыгрышем. Самолеты

из Дирборна кружили над столицей и Белым домом, разбрасывая листовки, где говорилось о распоряжении президента распустить Авиационный и продовольственный трест Америки. На этом континенте Контроль попросту принялся игнорировать политические формальности. В Европе ситуация оказалась сложнее.

«Большинство европейских суверенных правительств — не более чем пугала! — громко заявил Уильям Райан. — За ними больше никого нет. По крайней мере, нет тех, кто имеет хоть какую-то значимость. Назовите их блефом, и вы больше о них не услышите».

Против прямого столкновения выступил Ши-лунг-танг и привел доводы в пользу взяточничества.

В его учтивом изложении, взяточничество в сочетании с договорами и тактом, может стать высоконравственным улучшением прямого воздействия. Он попросил Конференцию обратить внимание, насколько специализированной и редкой пока является ее новая привычка думать на перспективу. После аналитической обработки отчетных данных пропаганды и школ стало весьма сомнительно, что хотя бы двадцатая часть человечества приняла или хотя бы десятая часть

поняла, даже в самых общих чертах, разницу между умами, приученным к творческим концепциям, и умами, воспитанными в атмосфере оборонительного стяжательства и накопления собственности. Потребуется три или четыре поколения, чтобы обратить мир к дальновидному отношению. Вставал очень принципиальный вопрос: что должно предпринять Современное государство? Открыто захватить власть и установить тиранию, которая продлится столько, сколько потребуется, чтобы повернуть подавляющее количество умов в новое русло, либо умиротворять, идти на компромисс и пытаться убедить массы — ДВИГАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ПУТЕМ.

«Эти люди никогда не увидят вещи такими, какими их видим мы, — настаивал Ши, причудливо жестикулируя и повторяя одни и те же слова, подчеркивая их важность. — Они должны жить и умирать ПО СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ. Не надо навязывать им слишком много. Только когда они окончательно вымрут, форма мышления, присущая членам Современного государства, сможет завоевать доминирующее большинство. Нынешние ментальные пороки неизлечимы. Встречайте их на полпути, облегчайте им жизнь.

Вы спасете мир от трех поколений страданий и ожесточенных конфликтов!»

Так он развернул свой макиавеллиевский проект. Жадное стяжательство являлось частью характера едва ли не каждого энергичного человека Старого Света. Такие люди были неизлечимо прожорливы, но это не мешало им приобретать многочисленных друзей и помощников. Эта лояльность практически не отличалась от лояльности, присущей членам преступной группировки по отношению к главарю. Они были не менее жадны, чем он сам, и они охотились стаей. Тем не менее, они не испытывали фундаментальную инстинктивную враждебность к Современному государству. Рычать и бояться они стали только после того, как оно нарушило их устоявшиеся привычки. Выступить против единым фронтом было невозможно. Собратья имели возможность легко нейтрализовать противников, стравив их друг с другом. Суровые репрессии против буржуазии и профессиональных классов в России в двадцатые и тридцатые годы послужили хорошим уроком и грозным предупреждением о страданиях и социальном ущербе от слишком внезапной и насильственной попытки изменить поведенческие идеалы. Пусть Современное го-

сударство, в отличие от русских коммунистов, будет более мягким и добрым!

Ши принялся более подробно излагать свои предложения. В России, Испании и Америке взяточничество должно играть второстепенную роль. Господствующий менталитет в этих странах таков, что нынешние рабочие соглашения через некоторое время естественным образом перейдут в ассимиляцию. В других районах старые притязания на суверенитет и собственность не причиняли существенного вреда. Соответственно, чтобы местная власть держала руки подальше от пропаганды и образования Современного государства, удельных князьков следовало обеспечить постоянным субсидированием со стороны Контроля за счет промышленности. Это дешевле, чем война!

«Это тем более сработает, если время от времени они будут понемножку воевать между собой».

Ши-лунг-танг улыбался, но кругом слышалось неодобрение.

Его доводы в пользу такта и скрытой коррупции разбил Рин Кей:

«Если бы мы представляли собой общество высоконравственных сверхлюдей, то мы могли бы, пожалуй, рискнуть и позволить себе стать

настолько неискренними. Но господин Ши-лунг-танг забывает, что у каждого Собрата в обществе Современного государства живут два врага: стяжатель снаружи и стяжатель внутри. Наш китайский друг упускает из виду, что гораздо естественнее принять старую модель поведения, чем приобретать новую. Старые наклонности — это то, что было и к чему можно было успеть привыкнуть, а новые наклонности — это то, чему только предстоит появиться, что предстоит поддерживать и чему предстоит служить. Это займет время. Мы не можем позволить себе запутаться и встать на путь политика. Перед нами стоит трудная задача делать то, что необходимо, прямо и честно. Мы не можем позволить себе говорить ОДНО, а подразумевать ДРУГОЕ!»

Кея энергично поддержал Уильям Райан, Хупер Гамильтон — китайского товарища, но остальные Собратья явно придерживались позиции, что заниматься двурушничеством не следует.

Экономический ботаник М. Л. Тагор внес в дискуссию новое направление или, скорее, возродил присущую XIX веку ментальную линию мистического либерализма. Он сказал, что в равной степени против взяточничества, неискренних договоров и любого применения

силы. Будучи старомодным демократом, он верил во врожденную мудрость неискушенного человека, а также в высшую ценность истины и миролюбия. И он высказал мнение, что чувство справедливости в человеке нельзя оскорблять, даже рискуя отказаться от важных целей. Его пришлось уговаривать передумать, потому что остальные члены не согласились с его видением правильного поведения. Решено было позволить Современному государству продолжить научную организацию мира и пропаганду своих доктрин во всех странах. Но пусть только оно не избегает принуждения, когда возникает необходимость противостоять злу! Тагор сослался на миссионерские успехи раннего буддизма и христианства как на свидетельство практической успешности духовной настойчивости и физической пассивности. Он закончил речь в пылу религиозного энтузиазма, который не избавил его от презрительной критики со стороны социальных психологов.

Содержание этих дискуссий можно в полном объеме найти в Отчетах о Второй Конференции в Басре, тома 371 и 372. Эта информация интересна, прежде всего, тем, что в ней отражены три основных мнения. Подавляющее большинство

выступало за активную линию, за откровенность и четкие правила. Немалое меньшинство во главе с Хупером Гамильтоном колебалось. Оно нуждалось в уточнениях, которые не нашли отражения в более агрессивных речах, что применение силы может быть смягчено тактом и что ясность в отношении цели совместима с добротой и уступкой.

В ряде выступлений выражалась едва уловимая концепция компромисса. Далеко не все оказались искусны в качестве ораторов. Они заходили слишком далеко и вели к более жесткой напористости. Особенно горячо обсуждалась проблема российской и американской систем. Россию теперь представляли техники, репрессивное влияние ОГПУ заметно ослабло. Ведущей фигурой снова стал Иван Энглхарт.

«Никаких неприятностей со стороны Москвы не будет, — заверил он участников Конференции. — Россия готова к ассимиляции и стремится ассимилироваться!»

Позднее в общую дискуссию вступил Арден Эссенден. С суровым энтузиазмом и страстной верой он перетянул на свою сторону всю молодежь и большинство делегатов от старшего поколения. Он был именно тем человеком, которому

предстояло принимать окончательные решения.

Его речи мгновенно уходили в народ.

Вот одна из них:

«Мировое государство — вовсе не сказка о будущем. Оно здесь и сейчас. И оно всегда было здесь и сейчас, с той самой поры, когда люди заявили, что над ними существует общий Бог, а потом, уже тише и очень робко сказали, что еще ведь есть и человеческое братство… Человек, который служит определенному государству или определенной собственности вопреки человеческому обществу, является предателем. Люди, которые так поступали, всегда были предателями, а те, кто их терпел, лелеяли измену в своих сердцах. В прошлом Мировое государство разрывалось между тремя десятками анархий и бесчисленным множеством собственников и кредиторов, а социалистов и космополитов, истинных служителей человеческого рода преследовали, как преступников, наказывали, изгоняли, убивали.

Теперь, из-за полной неспособности этих проходимцев и грабителей даже поддерживать свой собственный социальный порядок и сохранить мир между собой, мир упал к нам в руки. Власть покинула тех, кто оказался не в состоянии ею

распорядиться, и потому мы здесь, и мы обладаем властью. Если мы не возьмем ее, или если не сумеем воспользоваться ею в полной мере, то, в свою очередь, окажемся предателями. Должны ли мы мириться даже с временным возрождением старой системы? Во имя разума или, может быть, во имя чего-то еще? Если у кого-то туго с мозгами, — не беда, мы поможем ему с этим справиться, потому что у нас — мозги свежие. Должны ли мы потакать и потворствовать этому сброду, что ждет за дверями? Выйдите и посмотрите на них. Посмотрите на эти лица, полные притворства и лицемерия. И взвесьте все, что они вам предложат».

Сегодня эта пламенная речь может показаться банальной и излишне вычурной, но она ярко передала общий смысл Конференции и привела к судьбоносным решениям, которыми завершились ее заседания. Наиболее значимым стало увеличение численности личного состава Воздушной и Морской полиции до миллиона сотрудников, для которых выделили повышенное количество энергии и улучшили их оснащение. Кроме того, улучшились методы образования и пропаганды. Для усиленного поддержания порядка Транспортный Контроль привлекал

дополнительные вспомогательные структуры. Органы управления реорганизовались. Центральный комитет перевоплотился во Всемирный совет и взял на себя функции руководителя всей системы. Собратья решительно отказывались от идеи заключать договора с внешними администрациями, а также от любых дипломатических отношений с инакомыслящими. Столь же решительно было заявлено, что Всемирный совет должен открыто обозначить себя единственным правительством в мире и приступить к формированию административной организации планеты.

Соответствующая прокламация быстро распространилась по всем континентам. Ее печатали и копировали на бумаге, передавали по радио. «Накладывали на эфир» повсюду, заглушая любые другие радиотрансляции. Теперь беспроводная связь развилась в той же степени, как и в начале тридцатых годов. Важнейшую информацию вся планета получила чуть ли не одновременно. В Басре словно бросили в одну емкость несколько ингредиентов, и теперь шипящую смесь принялись интенсивно взбалтывать. По всему миру толпы на улицах или рабочие в цехах внимали каждому слову с раскрытыми

ртами. Ошеломление было полнейшим. Как-то высказываться по поводу услышанного люди смогли только на следующий день.

Мы приводим этот потрясающий доклад в том виде, в каком он был издан. Этот на редкость бедный, с точки зрения художественного воплощения, прозаический текст с лихвой компенсируется великолепием его содержания. По-видимому, черновой вариант составлен Арденом Эссенденом при самом непосредственном участии Гамильтона. Некоторые детали затем изменены по решению Совета.

Итак…

«Совет по мировым делам, образованный Воздушным и Морским Контролем и его партнерами, заявляет:

Между 1950 и 1965 годами эта планета стала заброшенной из-за неспособности ее правителей и владельцев собственности поддерживать мир, регулировать производство и распределение, а также сохранять и направлять общую жизнь человечества.

Последовал хаос.

Возникла срочнейшая необходимость создать новую мировую администрацию посреди руин.

Это сделал Воздушный и Морской Контроль!

Эта администрация в настоящее время организована вокруг Центрального совета по мировым делам. Именно он доносит до вас это заявление по праву единственного государя на этой планете.

Отныне нет другой высшей власти от края и до края земли. Весь остальной суверенитет и все имущественные права, вне зависимости от того, приносят ли они пользу человечеству или нет, прекращают свое существование и не могут быть возрождены.

Совет располагает своими собственными воздушными и морскими путями, аэропортами, верфями, заводами, фабриками, шахтами, плантациями, лабораториями, колледжами и школами по всему миру. Они находятся в ведении его должностных лиц и охраняются его собственной полицией, которой поручено защищать эти организации всякий раз, когда и где это необходимо, от агрессии со стороны посторонних лиц.

В каждом населенном пункте в настоящее время существуют ядра Современного государства. Агенты Контроля, проводя образовательную работу Совета, находятся в разумном контакте с местной экономической жизнью, с местными предприятиями, органами власти и частными

лицами, еще не связанными с организованным Современным государством. Пришло время для всех квазинезависимых деловых органов и администраций наладить упорядоченные отношения с новым правительством всего мира. Мы создаем Бюро переходного периода для упрощения и модернизации деловой деятельности, образовательных и гигиенических услуг производства, распределения и сохранения порядка и безопасности во всем нашем огромном доме, нашей зоне отдыха и источнике всех наших богатств — на земле, нашей матери-Земле, земле равно нашей и вашей.

Без спешки или несправедливости, но и без промедления, с должным учетом вашего комфорта, вашего благополучия и ваших пожеланий Бюро приложит все усилия, чтобы привести вашу жизнь в правильное и постоянное соответствие с единым человеческим благом!»

— Это — узурпация! — раздался чей-то голос, когда декларацию поставили на голосование.

— Теперь вам предстоит действовать Силой! — сокрушенно произнес Ши-лунг-танг. — Я сделал все, что мог…

— Но это же война! — воскликнул Тагор.

— Нет, — спокойно ответил Арден Эссенден. —

Никакой войны. Это — не война и не революция. Это — признание революции и правительства.

Глава 10
План на всю жизнь

До сих пор остается спорным вопрос, не являлась ли эта жесткая и решительная декларация социалистического мирового государства в Басре преждевременной. Одни считают это наиболее своевременным действием, другие склонны полагать, что декларация должна была появиться еще на первой Конференции в 1965 году. Дискуссия связывается с интеллектуальными и моральными конфликтами при Воздушной диктатуре. Это смешивается с противоречиями сегодняшнего дня. Начиная с 1978 года, движение Современного государства утратило что-то от своей первозданной ментальной свежести. Стало меньше открытости. И еще меньше безоглядного авантюризма, который очень быстро распространился по всей Земле через сеть транспортного и торгового контроля.

«Мы проглотили весь мир, — сказал Арден Эссенден, — но теперь нам нужно его переварить».

На смену старому вызывающему отрицанию

прошлого пришло твердое, а иногда и довольно настойчивое требование порядка будущего.

Нигде не последовало решительного противодействия в ответ на провозглашение Мирового правительства. Несмотря на то, что оно назревало в течение нескольких лет, его боялись и против него роптали, массовое сопротивление так и не организовалось. Тринадцать лет привели к глубоким изменениям в Советской России и на обширных просторах Китая. Ассимиляцию советского транспорта и дорог народ принял с молчаливой покорностью. Слияние поручили комитетам, летающим между Москвой и Басрой. Во всем мире, везде, где существовал какой-либо управляющий орган, еще не связанный с Современной государственной системой, начались споры о том, как и в какой степени он может быть инкорпорирован или как он может противостоять инкорпорации. Полностью подготовленные и проинформированные ядра Современного государства имели возможность по первому зову явиться в любое место и проконсультировать по любому региональному вопросу. Необходимость систематической «ренуклеации» мира стала очевидной. «Отдел обучения и рекламы» разработал широкие линии *modus vivendi* между

старым и новым.

Этот *modus vivendi* называли по-разному: планом на всю жизнь или — с памятью о пионерной попытке планирования, Пятилетним планом Российской диктатуры — Тридцатилетним планом. Относительно независимым предприятиям, соблюдающим определенные стандарты обращения с работниками и допускающим определенную степень внешнего контроля, технического и финансового, а также поддерживающим определенный уровень эффективности, должна была предоставляться не просто терпимость, но и защита в разумных пределах. Пусть работают! Во всяком случае, не было никакой необходимости в том, чтобы вытеснять их сразу. При том условии, разумеется, если их продукты попадают под неусыпный Контроль. Во всяком случае, это стало лучшим отношением, особенно если сравнивать его с погромами и рейдерскими захватами при конкурентной системе. Точно так же, когда предоставлялась такая возможность, мелкий землевладелец или сельскохозяйственный арендатор не подвергался лишению собственности. Ему назначали фиксированную цену за его продукцию, консультировали или направляли в вопросах улучшения

работы. В приемлемой степени его объединяли с классом сельскохозяйственных рабочих.

Как выразился Руперт Бординеско (Краткое пояснение: серия «Исторические документы, 1969»):

«Дайте им время на вымирание!»

Воспитывая новое поколение, План на всю жизнь переделывал менталитет собственности в менталитет службы. К 1980 году не должно было остаться независимых торговцев и земледельцев моложе двадцати лет, к 1990-му — никого моложе тридцати, к 2000-му — моложе сорока. С одной стороны, это давало старому порядку время для вымирания, а с другой, позволило новому порядку разработать более сложную систему управления, механизма и доставки. Так новый порядок получал возможность стать в наибольшей степени здоровым и полноценным. Урок ментального разлада и трагических диспропорций в стремительном развитии первой российской пятилетки — диспропорций столь же чудовищных и мучительных, как гипертрофии и атрофии бесплановой «Капиталистической системы» XIX века — был отмечен и усвоен.

Всемирный совет не беспокоил тот факт, что сохранение миллионов малых предприятий

и десятков миллионов мелких земледельцев по всему миру в течение столь длительного времени означало гораздо более низкую эффективность производства.

«Пожилых нужно кормить и нанимать на работу, — писал Бординеско, — и теперь они никогда не научатся или не смогут приспособиться к новой жизненной рутине. Помогите им немного лучше выполнять свою работу. Спасите их от умников, которые на них охотятся — ростовщиков, держателей ломбардов, вымогателей и шантажистов, религиозных или светских; а в остальном — оставьте их в покое».

Краткое пояснение черпало мораль из «Периода перенасыщения» двадцатых годов перед крахом тридцатых, когда весь мир переполнился непотребными товарами и безработными. Бординеско указал, что это являлось неизбежным следствием нерегулируемой прогрессивной системы частного предпринимательства.

«Нет смысла увольнять человека с работы, какой бы старомодной она ни была, если для него нет новой работы. Нет смысла приводить детей в мир, если для них нет образования, подготовки и полезной работы. Мы должны видеть, что каждое новое поколение численно организовано

в разных категориях обучения и целей, отличающихся от своих предшественников».

Русские поняли эту необходимость в своем великом эксперименте. По мере того как мы продвигаемся к научному производству первичной продукции, фактическая доля сельскохозяйственных рабочих, шахтеров, лесничих, рыбаков и так далее в сообществе должна уменьшаться. Точно так же должна упасть и доля обычных промышленных рабочих. Так тяжелая промышленность поднялась на принципиально иной уровень. Определенная компенсация будет вызвана постоянным повышением уровня жизни и, в частности, тем, что Де Виндт назвал «восстановлением мира», новыми городами, новыми дорогами, повсюду постоянно обновляемыми домами. (В определенной степени этот проект предвосхищен французским планом *«Outillage National»* и немецкими жилищными схемами, действовавшими еще в конце двадцатых годов, а также планами, в конечном счете задушенными фанатиками сбалансированности бюджета.) Но даже такого отвлечения энергии от производства основных материалов и мелких товаров на крупные структурные предприятия было бы недостаточно для использования постоянно вы-

свобождаемой человеческой энергии в сообществе. В этот момент появилось то, что Бордиеско назвал «расширяющимися категориями». Потенциальная опасность заключалась в том, что они должны были потреблять больше, чем давали. Должно было образовываться все большее число людей, занятых образованием, развитием и упорядочением знаний, экспериментальной наукой, художественным производством, чтобы сделать жизнь более обильной и насыщенной. Для этого расширения не могло устанавливаться никаких ограничений.

«Мы, люди, арендуем эту планету, — гласит краткое пояснение, — на несколько миллионов лет. Глупо не стремиться к лучшей жизни, но еще глупее спешить отчаянно и безрассудно. История последних двух столетий является одним из постоянных предостережений против безработицы среди мужчин и женщин, которым нет другого применения. Прежде чем мы будем учить, наши учителя должны учиться; прежде чем мы будем всесторонне руководить, мы должны получить опыт в руководстве. Мы всегда должны стараться сделать немного больше, чем можем, но мы не должны пытаться сделать невозможное. Мы должны продвигаться вперед без ненужных за-

держек, но без потерь, спешки или жестокости. Не бойтесь и не ревнуйте к появлению новых условий. Ни одному честному рабочему, мужчине или женщине, нечего бояться прихода Современного государства».

Глава 11
Как началась настоящая борьба за власть

Широкое распространение манифеста Воздушной и Морской полицией ясно показало, что правители Мирового государства не питали иллюзий относительно того, что новый порядок в мире можно установить путем деклараций и «кратких пояснений». Пришлось организовывать местные подразделения полицейских сил и вырабатывать правила, согласно которым местная власть, промышленные предприятия и частные лица могли поддерживать связь с Центральным Контролем только через реорганизованные ядра. Почти в каждой части земного шара они подготовили вспомогательные подразделения из сочувствующих. Как по мановению волшебной палочки, по всему миру разлетелась знакомая нам сегодня униформа цвета хаки. Символ крылатого диска

засиял на самолетах, почтовых отделениях, телефонных будках, дорожных знаках, транспортных средствах и общественных зданиях. Разногласий с Россией не возникло. Крылатый герб превосходно ужился с серпом и молотом.

Сначала нигде не возникало вооруженного повстанческого движения. Из этого обстоятельства мы хорошо понимаем, насколько полным оказался крах патриотических государств периода Мировой войны. У них не стало ни национальных газет, ни дипломатов, ни министерств иностранных дел. Для первых кончилась бумага, для вторых — жалование. Отсутствие информационных и выборных органов заставило национализм замолчать. Тем не менее, местная самопровозглашенная власть продолжала сопротивляться, не желая исполнять предъявляемые требования. Рев моторов Воздушной полиции охлаждал горячие головы, и неповиновение не переходило из пассивной формы в активную, но рано или поздно с этим нужно было что-то делать.

Разумеется, все прекрасно понимали, что фаза молчаливого согласия представляет собой временное явление. Элементов антагонизма было хоть отбавляй. На роль итальянского правитель-

ства претендовал фашистский гарнизон в Риме. Фашисты первыми бросили вызов новому мировому порядку. Несколько фашистских летчиков по разным причинам не получили лицензию Транспортного Контроля, поэтому отряд чернорубашечников захватил новый авиационный завод под Турином, а также — аэродром и склад запчастей в Остии. Крылатый диск заменили фашистской символикой. Из уст в уста передавался призыв снова организовать Лигу Наций и возродить пожелание президента Вильсона о «самоопределении народов». Короля отыскали в Пьемонте, где тот безобидно копался в огороде. Открыли и обжили давно заброшенный Квиринальский дворец.

К подобного рода провокациям Воздушная полиция оказалась готова. Ее оснастили газовыми бомбами нового типа. Газ под названием «пацификин» лишал жертву сознания на сутки с небольшим. Утверждалось, что вредных отдаленных последствий он не вызывает, и воздушные полицейские с энтузиазмом принялись «лечить» таможню в Вентимилье, а также спорные аэродром и завод.

В Остии полицейские самолеты столкнулись с определенными сложностями.

На аэродроме шла внеочередная церемония. Туда только что привезли три новых самолета с завода в Турине, и они благословлялись папой (папа Альбан III).

Все еще трепыхавшаяся Католическая церковь по-прежнему благословляла все что угодно: магазины, корабли, мосты, автомобили, флаги, пушки, линкоры, новые здания и тому подобное. Это была церемония, которая рекламировала саму Церковь, доставляла удовольствие верующим и не наносила заметного вреда благословляемым предметам. Этот конкретный случай являлся чем-то вроде демонстрации против Мирового совета. Присутствовали папа, король и правящий дуче. Звуковой фильм запечатлел действо за несколько минут до прибытия Воздушной полиции. Все очень напоминало довоенные времена. Пели хористы в рясах и прелестных кружевных воротничках, прислужники вовсю размахивали кадилами, а преподобный святой отец восседал на троне под балдахином, на большом задрапированном малиновом помосте. Собралось не менее трех тысяч чернорубашечников.

Действия назначенного советом командующего Луиджи Роселли оказались поспешными.

Последующее расследование ясно показало, что

он проявил антиклерикальную предвзятость. Его выбрали для выполнения этой задачи, потому что он был итальянцем. Считалось, что благодаря этой причине латентные националистические чувства не вспыхнут (интересно отметить, что фашистским комендантом являлся старший сводный брат командующего, Марко Роселли). Общие инструкции заключались в том, что следовало захватить аэродром и самолеты, по возможности, без применения насилия. Пацификин можно было использовать только в случае вооруженного сопротивления. Но вид ряс, балдахина, украшений и мантий, звуки торжественного пения и общая церковная атмосфера оказались слишком велики для предубеждений молодого человека. Эскадрилья строем кружила над аэродромом. Между тем, церемония не прерывалась, несмотря на рев моторов. Казалось невероятным, что кто-то осмелится применить газ против папы.

«Сбросить!» — прокричал Луиджи Роселли, плохо сознавая, что превышает полномочия.

Газовые бомбы посыпались на площадь.

«На мгновение, — написал авиатор в известном письме, — пение стало громче. Они проявили мужество, эти священники. Попадали на колени.

Странно было видеть, как газ растекается среди них. Это было похоже на умирающую цветочную клумбу. Старичок на троне даже не дернулся. Только сцепил руки и медленно склонил голову. Трудно сказать, когда именно он окочурился. Фашисты вели себя по-другому. Бегали, жестикулировали, кричали. Наш подарок их успокоил.

Они думали, что их убивают. Никто ничего не знал об этом газе. Нам самим рассказали только накануне.

У меня в самолете отсутствовали противогазы, поэтому я не высаживался и в захвате самолетов не участвовал.

Последний раз, когда я видел этот аэродром, он был похож на местами потертый турецкий ковер. Прекрасный сад во сне. Надеюсь, никто этих бедолаг не ограбил, пока те пребывали в отключке. Наверняка, Роселли передал Риму надлежащие инструкции на сей счет».

К сожалению, налет не оказался бескровным, как предположил этот молодой человек. Одна из бомб угодила прямо в голову юному послушнику Одету Буанаротти, и он погиб на месте. Впоследствии его канонизировали. Он стал последним мучеником за веру, внесенным в латинское жизнеописание святых.

(На этом месте записи доктора Рейвена внезапно обрываются.)

Часть четвертая
Воинство Современного государства
Глава 1
Пробел в тексте

До сих пор я переписывал, с очень небольшими исправлениями и без каких-либо изменений, текст Книги сновидений доктора Рейвена в том виде, в каком он его оставил. В этот самый момент история обрывается. Летопись следующих семидесяти или восьмидесяти лет представлена ворохом плохо сочетающихся друг с другом заметок, да к тому же еще и выполненных почти неразборчивым почерком. Затем следует заключительная глава, полностью переписанная заново.

Я не могу с уверенностью сказать, почему доктор Рейвен оставил эту очень важную часть своей истории неясной и запутанной и сразу перешел к последней. Но у меня имеются кое-какие соображение относительно того, что могло произойти в его мозгу. Вероятно, там возник порыв осознать дело мировой революции. И, наверное, так было легче и более привлекательно — сначала опи-

сать более поздние события. С промежуточными дело явно обстояло куда сложнее. Это приходило, если мне позволено использовать выражение «пришло ему в голову», с трудом и вопреки сопротивлению. Его общие идеи подготавливались для новых войн, послевоенного распада и мирового господства, основанного на воздушной мощи, а также для заключительной фазы неуклонно прогрессирующего Мирового государства. Но Ворон, предвещавший будущее, оказался не готов к глубокой и сложной духовной борьбе трех четвертей века, которая положила начало новому мировому порядку. Охватить это оказалось не под силу.

Было ли это на самом деле даром ясновидения, предсказания о реальном учебнике истории будущего? Или речь должна идти об извержении подсознания? Во всяком случае, достаточно очевидно, что эта часть повествования вошла в противоречие с его духом. Одним из сильнейших аргументов в пользу того, что этот План будущего разработан рассудком доктора Рейвена, представляется тот факт, что в нескольких отрывках, где он, кажется, спорит сам с собой, спокойная неторопливая уверенность в более ранних и более поздних повествованиях не под-

держивается в средних частях.

Не думаю, что произошла простая случайность, которая вытащила доктора именно в тот момент, когда он добрался до отравления римского папы газом и мученической смерти Одета Остийского. Полагаю, это происшествие показалось Рейвену кардинальным, ознаменовавшим чрезвычайно важный поворот в истории человечества. Это было то, что должно было произойти, и это было то, на чем не должен был зацикливаться разум. Это положило конец практическому перемирию, которое длилось почти три столетия в вопросе нравственного воспитания, организации мотивов и того, что понималось как религия. В новом религиозном конфликте произошло первое, хоть и непреднамеренное, но все-таки убийство. Новому правительству предстояло управлять не только планетой, но и человеческой волей. Одно неизбежно означало другое. Пришедшее осознание немало удивило. Доктор Рейвен понял, что так и должно быть.

Почти годом ранее в Басре было провозглашено Единое Мировое государство. Утверждалось со всей прямотой, что новый мировой порядок должен настаивать на своем собственном специфическом образовании и что он не может

терпеть никаких иных форм обучения, кроме той, которую предлагает. Но произнести вслух что-либо подобное, означало бы не осознать смысла. Об этом говорилось и ранее, и оно неявно откладывалось в людских умах, подобно смутно знакомой мелодии. Новое правительство не осознавало полноты своих собственных намерений до тех пор, пока этот непреднамеренный акт высшего святотатства не вынудил принять окончательное решение. Но теперь свершилось нападение на главу католического христианства, и погиб священник, исполняя службу. Так католическая церковь умолкла на веки вечные. Теперь настало время пробуждаться для своей собственной цели. Что теперь? Отступить, пойти на компромисс или продолжить в прежнем ключе?

Десять дней спустя воздушные полицейские обрушились на Мекку и закрыли главные святыни. В Индии запретили ряд религиозных обрядов. По всему миру закрылись скотобойни, где кошерная пища готовилась устаревшим и неприятным для ортодоксальных евреев способом. Повсюду вступил в действие Акт единообразия. Теперь в мире должна была установиться только одна вера, моральное выражение мирового сообщества.

Как и мир 1978 года, доктор Рейвен был застигнут врасплох этим быстрым превращением транспортной монополии в правительство, общественный порядок и всеобщую веру. Эксперимент Советской России и практическое подавление любой другой религии, кроме так называемого коммунизма, вполне могли подготовить разум к тому, что для любого нового общественного порядка необходимо новое образование для всех, кто должен жить при этом порядке добровольно и с пользой, и что образовательным ядром является религия. Очевидно, доктор Рейвен не полностью прочувствовал это утверждение. Как и почти все либерально настроенные люди нашего времени, он не верил ни в одну из религиозных форм, но терпел их все. Ему казалось вполне разумным, что разные мозги интерпретируют жизнь как им заблагорассудится и что это не оказывает на социальную и политическую реакцию никакого влияния. Поразительно, как такие противоречивые жизненные концепции все еще существуют бок о бок в нашем современном мире с небольшим взаимным пристрастным отношением. Но совершенно очевидно, что грядущие поколения этого не примут. В будущем они осознают, что может быть

только один правильный взгляд на мир для нормального человека и только одна концепция правильной схемы социальных реакций, и что все остальные должны быть признаны неправильными и вводящими в заблуждение, включая деструктивное поведенческое искажение.

Книга сновидений, раскрыв перед доктором Рейвеном историю последней великой революции, разрушила в его сознании весь уклончивый оптимизм, всю доброжелательную терпимость и доброе товарищество нашего времени. Если по всей Земле воцарится мир и благополучие, если будет положен конец войнам, грабежам, бедности и горькому всеобщему разочарованию, тогда наряду с коллективной организацией должно произойти нравственное становление личности. С формальной точки зрения произошедшая революция послужила лишь прелюдией к более совершенной революции. Та первая лишь создала Временное правительство, которому теперь предстояло заняться самым важным делом — ментальной реконструкцией.

Это захватившее Землю первое мировое правительство с его несколькими миллионами несовершенно ассимилированных сторонников должно было обездвижить или уничтожить каж-

дую, но не слишком сложную, систему ошибок, неверных толкований, компенсаций и самоутешений, призванных смущать людские умы. Оно должно было сражаться со страхом, ленью, жадностью и ревностью в каждой душе во всем мире. И больше всего в душах своих собственных людей. И побеждать! В противном случае все бы прекратилось, потому что иначе неизбежно возникли бы разногласия и рецидивы, и к долгой истории мученичества пришлось бы добавить еще одно столетие тщетных проб. Этот новый режим должен был либо очистить коллективный разум, либо сгинуть. В случае неудачи человек вернется к животному индивидуализму, через хаос к вымиранию. Неудачи в прошлом не приводили к глобальной катастрофе, потому что имели частичный и локальный характер, но это мировое усилие оказалось решающим.

Глава 2
Мелодраматическая интерлюдия

Я уже отмечал, насколько безлична эта школьная история 2006 года по сравнению с историями нашего времени. Политики и государственные деятели проходят, как тени, члены королев-

ских семей выглядывают и исчезают, как мыши за плинтусом. Наконец они исчезают вовсе — незаметно. Время от времени эта история отбирает отдельных людей. Например, Генри Форда или Де Виндта, Уинстона Черчилля или Вудро Вильсона. Не как героев и лидеров, а как типажей и свидетелей. В точке максимальной эффективности коллективного социального мозга они проявляли правильные потоки идейных систем.

Но затем, внезапно, история превращается в нечто вроде мелодрамы. В мировых делах доминируют личности. Цезарь и Клеопатра, Мирабо и Мария-Антуанетта. Не думаю, что существует великая необходимость подробнейшим образом излагать мотивы Воздушной диктатуры, но позвольте мне кое-что прояснить в том виде, в каком оно дошло до меня.

Воздушный и Морской Контроль и связанные с ним вспомогательные органы управления состояли из увлеченных молодых людей, которых побуждали к действию растущий мировой беспорядок и школа Де Виндта. Они были полны великодушия, энтузиазма и уверенности. В первый Мировой совет избрали преимущественно возрастных лидеров. Большинству было крепко за 65 лет, несколько мужчин среднего возраста

и только двое из числа молодежи. Со своей энергичной инициативой Арден Эссенден являлся не столько председателем, сколько естественным лидером. По личностной силе с ним мог сравниться только Иван Энглхарт. Остальные обладали утонченными и благородными умами, но не очень-то подходили для грубого использования в общественном восхищении.

Миру захотелось узнать об Эссендене побольше. Он стал гораздо известнее всех остальных своих коллег. Когда газеты снова широко вошли в обиход, его изображения, с его молчаливого согласия, заполонили собою все окружающее пространство. Однако у этого культа личности была своя особенность. В мировом правительстве появился новый способ вести дела. Под публичными заявлениями никто не подписывался. Просто указывалось, что Контроль или Совет предложил, объявил, решил, подытожил. Документ удостоверяла печать Мирового государства с крылатым диском. Подразумевалось, что она олицетворяет собой имя Эссендена. Такова была *идея*. Его престиж вырос до заоблачных высот, и он, разумеется, об этом знал. Осознание большой внешней поддержки не могло не повлиять на отношение популярного лидера и к коллегам,

и к общей задаче.

Авторы нашего учебника, насколько можно расшифровать наиболее сложные фрагменты, внимательно взвешивали хорошие и не очень хорошие последствия роста естественно нетерпеливой решительности Эссендена. Они приводили разные примеры и сравнивали его с другими диктаторами. Бесспорно, бывают кризисы настолько неотложные, что многие достойные соображения лучше игнорировать и отвергать, чем откладывать принятие мер. Критики нашего времени изучали Муссолини, Сталина, Кемаля, Гитлера и разных других диктаторов времен экономического краха Запада, пытаясь как-то оправдать их действия. Я нахожу эти суждения потомков очень несогласованными с моими собственными глубоко либеральными англосаксонскими предрассудками. Наши правнуки подчеркнут безнадежную неопределенность парламентского режима даже в большей степени, чем это сегодня могу сделать я.

По их мнению, Эссенден явно стоит особняком. Этот лидер сыграл роль сильного человека с опозданием на полвека. Спустя много лет они решат, что модель развития была полностью представлена Де Виндтом и его теоретическими

последователями. И будут настаивать, что Арден не столько «вел», сколько «говорил первым». Он неоправданно спешил, когда общее решение представлялось неминуемым. Он убедил комитет слишком рано и слишком резко нанести удар по старым религиозным и политическим традициям. Ему казалось, что те стоят на пути Современного государства. Он обнаружил, что коллеги слишком медленно ориентируются в необходимости принятия тех решений, что ему казались очевидными. Он оказался не только слишком нетерпеливым, но и чересчур властным.

Практически сразу же после провозглашения мирового суверенитета на комитетских заседаниях начались стычки между Арденом Эссенденом и группой во главе с Уильямом Райаном и Хупером Гамильтоном. Труднообъяснимой занозой в боку Эссендена стал Ши-лунг-танг. Лидера он принялся коварно обесценивать и всячески ослаблять его влияние. Рин Кей вмешивался в споры с деликатной твердостью, а Иван Энглхарт клеймил разногласия с открытым забралом.

Надо понимать, что новое мировое правительство действовало в условиях, перенасыщенных

эмоциями. В перспективе еще оставалось слишком много неопределенности. Возможно, именно это и способствовало некоторой склонности к авантюризму. Фактически Мировой совет получил в свои руки мировую власть, но так думали далеко не все. Даже к 2000 году лишь каждый двадцатый житель Земли оказался ассимилированным в организацию. Мир и был, и одновременно не был мятежным. В оппозиции находилось немало бдительных и умных, отчужденных, а также тех, кто полностью подчинился мыслительным формам, противоречащим выстраиванию нормальных человеческих взаимоотношений в условиях Современного государства.

Разногласия между ведущими фигурами в центре событий нарушили солидарность Братства и тысячей путаных полос и пятен слабости привели к образованию странных отголосков и неверных толкований в большом мире за пределами рабочей машины. Великое пространство сохранило готовность встречать героев и злодеев, слепые пристрастия и шквальные подозрения. Оно хотело драмы в своем правительстве. Родилась легенда, что Эссенден беспощаден к проявлениям «самовлюбленности» и «мелоч-

ной тирании» со стороны различных органов управления. Его хотели видеть благородным. Ему приписывали намерение взять все в свои руки и править миром в духе благости и великодушия.

В истории сказано следующее:

«Автократ всегда был воображаемым убежищем толпы от жесткой аристократии».

Не существует никаких доказательств тому, что Арден Эссенден действительно замышлял осуществить эти мечты. Не найти ни единого слова, а тем более поступка, свидетельствующего о его неверности Современному государству. Но не может быть никаких сомнений в том, что он чувствовал свою исключительность и незаменимость. Он твердо верил, что Мировой республике без него не обойтись. Он чувствовал, как и Сталин до него, что люди без него окажутся полностью беспомощными.

А потом в историю внезапно вернулись женщины. Мы находим любовную интригу, брошенную через исторический поток. Я как-то не замечал, пока не добрался до этой части всемирной истории, насколько малую роль играли женщины, начиная с Мировой войны. В большинстве стран до катастрофы они были эмансипированы

и получили равные с мужчинами политические права. Добившись своего, прекрасный пол исчез из поля зрения на четыре десятилетия непревзойденного насилия. На ранних этапах Русскую революцию продвигали в том числе и женщины-лидеры, но ни одна из них ключевые позиции так и не заняла. Между двадцатыми и восьмидесятыми годами женщинам по большей части отводилось место на кухне, в детской, в больнице или в гареме. Они потеряли то малое политическое значение, что имели, когда королевы вышли из моды. В Братстве Современного государства женщины занимали значительную долю, но ни одна из них так и не получила знаковую должность в этой системе. В Мировом совете женщины отсутствовали. Они выполняли жизненно важную работу, образовательную, секретарскую, исполнительную и тому подобные, но это была вспомогательная работа, которая не приводила к индивидуальной значимости.

В этот самый момент историк 2106 года нарушил непреднамеренное табу. На сцене появились два женских имени, Элизабет Хорти и Джин Эссенден. Нити человеческой судьбы пересеклись в истории страстной любви и скверного поведения.

Элизабет Хорти, ставшая причиной падения и казни Ардена Эссендена, была, очевидно, женщиной с великолепной внешностью и безупречным поведением. Она служила летчицей и, похоже, любила носить форму даже в тех случаях, когда большинство женщин предпочитали робу. Согласно данным, приведенным в истории, наша новая героиня хорошо знала, чего хочет. Высокая и, очевидно, превосходно сложена. «Вздернутый подбородок», «широкий лоб», «безмятежное лицо». На это указывают обращенные к ней письма Эссендена. Эти послания недвусмысленно указывают, что писал их человек, неискушенный в любовных делах. Кроме того, из них не узнать, была ли эта женщина брюнеткой или блондинкой, какого цвета глаза смотрели из-под «широкого лба», и каким голосом она говорила. Ее любовные письма, по-видимому, были куда более содержательными и необычайно смелыми. Не может быть никаких сомнений в ее обаянии и яркой исключительности. Она была одной из тех женщин, в каких мужчины обычно видят необъяснимое сияние. В ней сверкал «солнечный свет», играла «волнительная музыка». Она делала мужчин своими преданными друзьями. И только Хупер Гамильтон испытывал к ней скрытую

неприязнь.

Насколько можно судить, эта молодая женщина, с ее очевидной «храбростью» и сильной склонностью к романтике, приехала в Басру в сопровождении Уильяма Райана. Возможно, но маловероятно, что она была его любовницей. Допустимо предположить и то, что мало или совсем не интересовалась грандиозными задачами мировой революции, кроме как в качестве подходящего фона для захватывающего личного приключения. Она, похоже, влюбилась в Эссендена с первого взгляда, а он в нее, хотя, не исключено, что она и ехала в Басру именно с этим намерением. В нем было мало от актера, в то время как в ней, судя по всему, актриса жила неусыпно. Ей нравилось быть в центре внимания, нравилось великолепие, и, возможно, ее вкус к великолепию оказывался куда сильнее аналитических способностей.

Вероятно, она отдалась ему без колебаний, оговорок и без малейшего желания это скрыть. Любовь между этим мужчиной и этой женщиной — тут я снова вынужден цитировать бесхитростные строки из писем мирового властелина — «выставляла себя напоказ, как развевающееся на ветру знамя».

Теперь настало время сообщить читателю о самом главном нюансе этой, по большому счету, довольно примитивной драмы. Несвободными являлись оба. Да-да, хозяин мира к тому времени был женат. Супруга Ардена Эссендена представляла собой женщину, в которой всего было слишком много. Слишком много энергии, слишком много желания владеть и слишком много навязчивой услужливости. Неуемное тщеславие реализовывалось через тягу постоянно «вдохновлять» самого главного в мире мужчину. Актерский состав также включал в себя Райана, который громко возмущался по поводу того, что Эссенден «украл» у него «воздушную девушку», и злобно настроенного Хупера Гамильтона. Нам остается только гадать о деталях этого заурядного театрального представления, которое привлекает к себе лишь по одной причине: у него — мировой масштаб. В кульминации Жанна Эссенден выступила перед Мировым советом с обвинениями в адрес собственного мужа, утверждая, что он замешан в реакционном заговоре против Современного государства. Абсурдность такого заявления никого особенно не смутила. Ведь выходило так, что мировой глава готовил бунт против самого себя. Жанна

заявила, что перехватывала соответствующие письма, но ни одно из них на общий суд так и не предъявила. Рассматривая подробности этого дела, историк 2106 года обратил внимание, что никаких реальных доказательств вины Элизабет Хорти и Ардена Эссендена так и не было найдено. Обвинение просто *показалось правдоподобным*. А когда кто-то из особо рьяных следователей нашел в письме Элизабет строку, где она называла возлюбленного «Мой Король», чаша весов окончательно склонилась не в пользу узурпатора.

Более того, Жанна заявила, что муж неоднократно хвастался будущей славой, высказывал угрозы в адрес коллег и весьма странно отвечал на ее увещевания. Ну и, наконец, она назвала себя несгибаемой сторонницей Современной республики. Гораздо позднее, в порыве раскаяния, она отказалась от всех своих показаний. Правда, было уже слишком поздно. Вполне возможно, что какая-то доля из них все-таки соответствовала действительности, равно как и то, что реальность подверглась преломлению в воспаленном мозгу, истерзанном муками ревности.

Так или иначе, именно Гамильтон решил судьбу Эссендена. Для рассмотрения дела создали Специальный суд. Гамильтона назначили его

председателем.

«Нам не нужны доказательства, потому что очевидны мотивы, — ледяным голосом произнес он, с удовольствием наблюдая, как бледнеет лицо обвиняющей супруги. — На самом деле, совершенно не важно, следует ли считать Эссендена участником заговора. Истинное преступление этого человека заключается в том, что он позволил ситуации развиваться именно в таком ключе. Вместо того, чтобы служить Республике, он переключился на личные удовольствия. Стало быть, повинен в эгоизме. Он пожертвовал собой и интересами окружающего мира ради сугубо личной драмы. Вопрос его вины никого не волнует. Перед нами не стоит вопрос «Что сделал Эссенден?», перед нами стоит вопрос «Что мы собираемся делать с Эссенденом?». Наступает нужда в репрессивных действиях. Иначе грянут гражданская война и кровопролитие. Сейчас не время для великих любовников. Эссенден становится слишком мутной фигурой. Он больше не может нас вести за собой. А отсюда возникает самый главный вопрос: сможем ли мы обходиться без него?.. Арден, ты становишься для нас ПОМЕХОЙ. Ты даже не можешь разобраться со своими женщинами, и потому мы обязаны

честно и открыто сказать тебе прямо в лицо: ТЫ СТОИШЬ У НАС НА ПУТИ!»

Эти слова цитируются в примечаниях к грамофонным записям судебного процесса. Скорее всего, историк 2106 года, сидя за столом, прослушивал записи на стальной ленте, записывал речи и анализировал интонации голосов.

После паузы слово взял сам Эссенден:

— Да, я вижу, что стою у вас на пути…

Собравшиеся члены решили, что не должно быть ни открытого суда, ни тем более публичного осуждения. Это спровоцирует восстание. Мировому властелину предстояло получить таблетку и сделать выводы наедине с собой в укромном месте. К тому же его никто не торопил. Ему предоставили возможность «посидеть на весеннем солнце среди цветов и зеленых деревьев», и он мог покончить с этим в любое удобное для него время.

Все согласились, и только Жанна принялась кричать, что эти последние полчаса влюбленным нельзя позволить провести вместе.

На долгие годы стальные ленты сохранят пронзительные интонации этого мучительного эпизода.

— Это останется со мной до конца моих дней! —

голосила Жанна. — Я ЭТОГО не вынесу!

— Это не так, — приводятся далее слова Элизабет. — У тебя больше нет нужды страдать. Больше нет поводов для ревности. Все кончено. Кончено навсегда. А теперь я ухожу. Прочь отсюда! Я никогда не желала причинить боль Ардену таким способом. Откуда мне было знать? Конечно же, мы не станем с тобой прощаться. Нам нечего сказать друг другу. Ты не смогла справиться со своей ревностью и сделала то, что сделала. Но знай, я никогда не хотела причинять тебе боль. И ему тоже.

Таковы ее слова в том виде, в каком они приведены в стенограммах, но мы никогда не услышим их звучания. Человек, который записал их спустя столетие после того, как они были произнесены, слышал их, когда выводил буквы на бумаге, слышал, как голос Элизабет слабеет, если он слабел. Говорила ли она от души или произносила заученную отрепетированную речь? Нам остается только догадываться, насколько эти слова передавали жестокую драму и действительно ли в них заключалось простое великодушие.

Не сохранилось описания последних мгновений Ардена Эссендена, человека, составившего прокламацию об основании Мирового государ-

ства. Вполне вероятно, что он посидел какое-то время в каком-нибудь залитом солнцем саду, а потом тихо и безмятежно проглотил любезно предоставленную таблетку. Возможно, он думал о своей жизни, прошедшей в борьбе, о своих первых днях в годы опустошения и о долгой битве за Мировое государство, за которое он так упорно боролся. А впрочем, по всем законам романтики он мог думать только об Элизабет. Как бы то ни было, гораздо более вероятно, что этот человек был слишком утомлен и сбит с толку, чтобы мыслить связно, и тупо сидел на солнышке, глядя на цветы, составлявшие концовку его рассказа. Эта книга для него закрылась на последней странице. Он умер где-то на севере Франции, но где именно, в записях не сказано.

Сохранившейся информации о судьбе Элизабет Хорти, которая покончила с собой в тот же день, гораздо больше. Для нее таблеток не нашлось. Эта женщина выбрала один из самых доступных для ее профессии путей. Подняла машину на предельную высоту и вышла из кабины. Вверх летчица шла практически вертикально, словно пыталась улететь с планеты, простившейся с романтикой.

«Самолет перестал набирать высоту, повис

неподвижно в небе дрожащей пылинкой. Начал колебаться и падать как сорвавшийся с дерева пожелтевший листик. Среди ветвей небольшой дубовой рощицы недалеко от замка Шантийи был найден клочок человеческой плоти».

Всего через пару недель Хупер Гамильтон также поддался «эгоизму» и принял смертельную дозу снотворного в своем летнем домике на Аландских островах.

Мелодраматическая интерлюдия, больше похожая на не самую оригинальную новеллу, на том и закончилась. Надо отметить, что в своей элементарной грубости она не вяжется ни с тем, что ей предшествовало, ни с тем, что за ней последовало. Нам говорят, что были и другие подобные «истории» о людях Первого совета, но все остальное, кроме этого единственного образца, оставлено на волю нашего воображения. Он выглядит слишком неуместным в нашей общей истории и по этой причине безжалостно разрывает саму ткань повествования. Тем не менее, сквозь эту узкую щель мы видим жалкие фантазии человечества, которое устремлялось к наивысшему накалу личной страсти.

Что чувствовала эта молодая женщина, когда ступила в пустоту над перистыми облаками?

Считала ли она, что ее жизнь того стоила? Так или иначе, но история называет ее «последним романтиком».

Глава 3
Бесполезное восстание

Насколько можно судить по тексту, историки 2106 года убеждены, что Элизабет Хорти не являлась тайным агентом федеративных националистов. Тем не менее, они воспользовались ее смертью как поводом для начала открытого мятежа. В качестве основного аргумента в пользу непричастности любовницы Эссендена к революционной деятельности приводится как раз тот факт, что она не полетела на своем самолете к повстанцам в Германию. Этой женщине явно было наплевать на монархический заговор. Возможно, она даже не знала о его существовании. И она, и Арден Эссенден, вне всяких сомнений, жили и умерли верными, по крайней мере в намерениях, Современному государству.

Бунтовщики с упоением ухватились за эту трагедию и использовали ее как символ своей борьбы. Долгое время считалось, что Эссенден отрекся от социалистического космополитизма

Басрской конференции в пользу федеративного национализма. Весьма любопытно будет отметить, что легенда о старой бедной Лиге Наций стала куда мощнее, чем ее живая реальность. И в этом, безусловно, присутствует своя изуверская ирония, что именно хиленькая структура межвоенного периода породила формулу для попытки снова разделить мир на «суверенные фрагменты». Декларация так называемого принца Манфреда Баварского поставила Лигу в центр своих обещаний. Принц говорил о Лиге, как о Всемирной федерации свободных народов и обещал свободу мысли, преподавания, торговли, предпринимательства, религиозного исповедания, базового английского, а также свободу от чужеродного влияния. Для того, чтобы подчеркнуть свое отношение к происхождению Собратьев, Манфред устроил небольшой и очень аккуратный еврейский погром в одном из районов Франкфурта.

(От этого места и до другого, которое укажу, когда до него доберусь, могу с достаточной достоверностью растолковать суть записей. — Ред.)

В этот период беспорядков так и не случилось ничего такого, что хотя бы отдаленно можно бы-

ло бы назвать генеральным сражением. Мировой совет имел огромное преимущество, так как держал в своих руках все средства связи. Военные и военно-морские эксперты могли бы объяснить глуповатым повстанцам, что без эффективной дистанционной связи войны не выигрывают. Перед тем как принять свою таблетку, принц Манфред успел издать несколько смелых прокламаций «ко всему миру», но поскольку базовый английский был отвергнут его движением, они были переведены только на несколько местных языков, напечатаны на ворованной бумаге и оказались востребованы, по большому счету, только коллекционерами. Попытки глушить общественное радио следует воспринимать не более чем мелкой пакостью, нежели серьезной акцией с далеко идущими последствиями. На начальных этапах произошло некоторое оживление производства боеприпасов на заводах, захваченных повстанческими бандами, но, как правило, производственные мощности сворачивались самое большее через несколько недель под усыпляющим влиянием пацификина. К националистам улетели несколько дезертиров из Воздушной полиции и небольшое количество предателей на частных самолетах, но это, по сути, ни на что

не повлияло. Бдительные полицейские патрули при почти полном отсутствии независимых аэродромов смели восстание с лица земли.

Оставались бомба, запрещенный пистолет, кинжал и засада. Именно они сделали восстание грозным. Мировому Контролю пришлось прибегать к шпионажу, поисковым рейдам, ограничению частного передвижения и противодействовать насилию путем карательных экспедиций. Последние этапы борьбы превратились в мрачную и даже ужасную главу в истории человечества. На узких улочках, в толпе и на совещаниях, в административных бюро и на обочинах новых дорог прятался смертоносный патриот. Постепенно и незаметно он слился с преступными группировками.

Именно эта кампания убийств, «Война молчащих и разоруженных», как выразился принц Манфред, на полвека ожесточила сердце Современного государства. Предпринимались «превентивные» меры. Пришлось стать подозрительным и недоверчивым. Это ужасное существо, агент-провокатор, снова оказалось при деле еще до наступления XXI века. Этот род деятельности, безусловно, не исчез до Межевской декларации 2059 года, но о нем нигде не упоминается после

2030-го. Правительство, пришедшее к ликвидации через Ардена Эссендена и принца Манфреда, осознало чрезвычайную решительность и легкость смертоносной таблетки. Грубые формы казни уступили место более вежливому методу. Каждый осужденный имел возможность повторить смерть Сократа, собрать друзей, если хотел, посетить какое-нибудь прекрасное место и удалиться в свое бюро. Напрасно ветеран Рин Кей протестовал в комитете, утверждая, что люди недостаточно хороши, чтобы быть макиавеллистами. Также он заявил, что они недостаточно хороши, чтобы наделяться полномочиями на жизнь или смерть, заключение в тюрьму или облегчение совести перед Собратьями.

«Убивая, вы убиваете себя!» — провозгласил он.

Между тем, повстанцы продолжали убивать с неиссякаемой энергией и настойчивостью. А вот у их жертв отсутствовали спокойствие и изящество в последние минуты. Кого-то зарезали, кого-то застрелили, кого-то подстерегли и забили до смерти.

«Для террора, — написал Крамер, — смерть должна быть ужасной!»

«За убийство, — сказал Антуан Айала, — смерть

должна стать неизбежной!»

В конце концов, Уголовный кодекс достиг своего апогея. В 2005 году совершено 5703 политических убийства, а в 2007-м — 1114. Последний зарегистрированный случай произошел в 2034 году. Общее число составило 120000 человек. Но за эти двадцать девять лет проведено 47 066 политических казней! По оценкам Рихани, более семи процентов выполнены на основе анонимных, косвенных или иных неудовлетворительных улик. Большинство приговорены военным трибуналом. Третье тысячелетие наступило как угодно, но отнюдь не тысячелетним образом.

Глава 4
Обучение человечества

И вот в рукописных заметках снова появился тревожный оттенок. Они почти нечитаемы. Сопротивление доктора Рейвена усиливается и смешивается с оригинальным текстом.

О, этот вековой вопрос между верой в принуждение и верой в добрую волю… Это влияет на меня даже сейчас, когда я пишу эти строки. Не понимаю, как это может не влиять на любого моего современника, писателя или читателя.

Я снова ощущаю странный привкус, легкий, но будоражащий — какое имя дать ему, кроме БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ? Людям, о которых мы ведем речь, присущи разные фундаментальные идеи. Этот короткий переход за сто семьдесят лет отмечен незначительными изменениями в человеческом сердце. Я задаюсь вопросом, неужели такие различия возникли бы, если бы светлый ум XVIII века вошел в беспрепятственный контакт с нашими сегодняшними мыслями? Разве такой разум не счел бы нас жесткими и скептически настроенными в отношении уважаемых понятий, чересчур откровенными в отношении физиологии и уродливыми в чувствах?

Это старая забава — оживлять таких литературных персонажей, как доктор Джонсон или Эддисон, и заставлять их обсуждать нынешнее время. Как правило, веселье не идет дальше облачения современных реакций в старомодные фразы и костюмы. Но в свете моего собственного ответа на неожиданно ясную, холодную и несколько презрительную критику нашего нынешнего сопротивления со стороны автора или авторов этого документа от 2106 года я обнаружил, что пересматриваю старые сопоставления. Если бы Джонсон и в самом деле ожил, он

показался бы нам невоспитанным, отвратительным, неприспособленным и занудным старым джентльменом, дурно пахнущим и притом обладающим скверными манерами. Его суждения о жизни и событиях оказались бы далеки от истины и окрашены отзвуками устаревших споров. Тем не менее, мы бы обнаружили, что его контакт с нами пронизан неизлечимым страданием из-за нашего темпа, наших странно отличающихся ценностей, нашего бесчеловечного гуманизма, как ему бы показалось, и нашей жестокой рациональности. Тот, кто так стойко придерживался устоявшихся институтов, обычаев и интерпретаций, обнаружил бы, что фон исчез, а он сам стал похож на бедного мученика, и множество глаз обращены на него со всех сторон. Конечно, его отправили бы на встречу с мистером Честертоном, и это могло бы оказаться самой болезненной из всех его встреч. Для мистера Честертона, которого часто изображают аватаром старого доктора, это относится к его собственному времени, как к самому футуристическому для любого из нас.

Я — враждебно настроенный критик нынешних условий и революционер по сути; тем не менее, я могу ладить с окружающими меня людьми. Пусть я пою песню о восстании, но если бы меня

перенесло в бесконечно более счастливый и просторный мир, как показывает история доктора Рейвена, я бы постоянно и непоправимо, как в мелочах, так и в больших начинаниях, проявлял *несоответствие*. Если бы я принялся излагать свои наблюдения, кажущиеся мне разумными, меня никто не понял бы. Сам же я не смог бы уловить, что именно доставляет удовольствие более широким и энергичным людям. Вся жизнь пронеслась бы мимо, словно пуля. Все, на что я надеялся и что предсказывал, могло быть *там* — но каким-то существенным образом *иным* и для меня чуждым.

Это — один из важнейших нюансов, которому меня научили заметки доктора Рейвена, что человеческий разум, во всяком случае, разум взрослого человека, гораздо труднее перенести в другое время и другую атмосферу, чем я привык думать. Мне кажется, что история смелого лидерства Ардена Эссендена, его острого самосознания и неуправляемой любви к Элизабет Хорти имеет значение применительно к какой-нибудь другой истории. Скажем, к содержанию романа Джорджа Мередита «Трагические комедианты». Историк 2106 года находит Ардена и Элизабет единственным материалом, откуда можно выде-

лить предательский эгоизм неуемной страсти. Что-то во мне восстает против этого, как и против утверждения, будто Мировая война являлась пустой тратой времени, героизм и жертвы — слепыми и ошибочными, а значение ее — куда меньшим, чем вызвавшие войну социальные и экономические потрясения.

И вот теперь, когда я перехожу к этим разрозненным записям о сурово рациональном воспитании человеческих мотивов в условиях Воздушной диктатуры, записям, при воспроизведении которых даже сам доктор Рейвен не испытывал никакого удовольствия, мое отвращение столь же неистребимо, сколь и не разумно. Я чувствую, что, если бы не «причуды пространства и времени», я стал бы одним из активно протестующих духов, чьи сущности корчились в безжалостно благожелательной хватке Воздушной диктатуры. Не важно, насколько эта история соответствует или не соответствует моему моральному настрою и моим умозаключениям. Гораздо важнее другое. Она дошла до меня через доктора Рейвена, а потому я обязан ее рассказать.

Совершившие великую революцию и объединившие мир между 1965 и 1978 годами представ-

ляли собой людей почти такого же ментального склада, что и мы. Они находились в прямой умственной и нравственной преемственности с нашими современниками. Пока читатель переворачивает эту страницу, если в этой истории присутствует хоть капля правды, Де Виндт, до сих пор совершенно неизвестный, должно быть, работает либо в Берлине, либо в Лондоне над Теорией зародышевого Современного государства, планом окончательной консолидации. Издатели, должно быть, уже прочитали и отвергли предварительную схему великого творения. Через год или два некая миссис Эссенден выберет имя Арден для своего мальчика. Члены первого Мирового совета видели обе стороны дела и колебались между нашими традициями и новым порядком. Последующее поколение, составлявшее костяк Воздушной диктатуры, с самого начала формировалось в агрессивно ярких новых школах ядер Современного государства. Ученики читали новую литературу, смотрели на свежие горизонты. Социальные психологи и «новые юристы» американской школы доносили до учеников определенную идеологию. Учебный процесс оказался поразительно конструктивным, хотя нюанс заключался в относительной неясности

и компромиссной слабости.

Первый Мировой совет со своей политикой и внутренним соперничеством оказался менее эффективен, чем ненавязчивый Образовательный Контроль, который, действуя под его руководством, постепенно объединил полицию, гигиену, школу и литературу в одну мощную управленческую систему. В то время как Мировой совет боролся за единое Мировое государство, руководил им и осуществлял его, Образовательный Контроль переделывал человечество. С начала XXI века бывшие революционные лидеры отступили на второй план или вовсе исчезли. На первый план вышли более простые и решительные правители.

(Ниже я снова цитирую записи доктора.)

«Мир достаточно разнообразен и без искусственного разнообразия», — ведущая максима Образовательного Контроля, создающего людей Воздушной диктатуры.

Более развернутый вариант этой максимы:

«Не дело для человеческого сообщества страдать от психических отклонений и недостатков, если их можно избежать».

Группа учителей взялась оберегать новые жизни, начиная с внутриутробного развития,

от физического и морального искажения. На этот счет у Образовательного Контроля не возникало и тени сомнения. Отныне все возможные человеческие существа должны быть причастны — каждый должен подвергнуться заразе современности. С каждым годом мощь Братства увеличивалась. К 2000 году насчитывалось пять миллионов Собратьев, к 2010-му — тринадцать. Образовательный Контроль все глубже погружал пытливые пальцы в недра человеческой жизни. Гигантскими темпами росло число как преобразованных по новому образцу учеников, так и учителей вместе с инспекторами, чьему мнению можно было доверять.

Превосходство новых методов невозможно было отрицать. «Исторические сцены» в ста томах свидетельствуют, что с 1990 года не только возобновился прогресс в технике изобразительного искусства, но и наметилось восстановление физического благополучия. Когда внимательный студент переворачивает страницы, он видит, как человек выпрямлялся, рос физически и становился более бдительным. Сутулые, еле волочащие ноги мужчины и женщины, апатичные лица, толстые и неуклюжие фигуры тех, кто неправильно питался, заплатанная одежда и по-

стыдное самодельное снаряжение Второго упадка и крушения исчезли. После 1990 года одежда свежа и проста, а после 2010-го безусловно красива.

Это достигалось за счет того, что либеральная мысль XIX века, несомненно, назвала бы «принуждением». Ранний Мировой совет имел склонность оставлять в покое большие районы планеты, если те не «доставляли хлопот». Новый Мировой совет, также известный, как Воздушная диктатура, действовал принципиально иначе. Началась систематическая атака на «отсталые регионы», как их называли с 2006 года, когда Мировое правительство взяло на себя задачу «привести в порядок» все еще полуварварское крестьянское население Гаити, Ирландии, Западной и Центральной Африки, Южной Италии, Джорджии в Америке и Грузии на Кавказе, и Восточной Бенгалии. То есть речь шла о регионах, где с упрямой настойчивостью отстаивались традиционные суеверия, тайные общества, магические культы и даже жертвоприношения. Открылась охота на знахарей, колдунов, священников, религиозных учителей и подстрекателей к мятежу. Родителей штрафовали за «препятствия» к обучению их детей в космополитических школах.

Многие критики Воздушной диктатуры придерживались мнения, что не следовало гоняться за умирающими обычаями и верованиями. Дескать, они исчезли бы сами по себе и без внешнего вмешательства, превратившись в простые фантазии и притворства. Однако новое поколение правителей к данному вопросу отнеслось со всей серьезностью. История не знает сослагательного наклонения. Мы можем знать только то, что произошло на самом деле.

Старая католическая церковь, по-видимому, все еще существовала. Последняя сохранившаяся христианская организация, сильно обнищав, страдала от расколов. Один папа находился в Дублине, другой — в Риме, и еще один — цветной — в Пернамбуку. С юридической точки зрения, самым легитимным преемником святого Петра являлся ирландский папа. Конклав избрал его должным образом, но фашистская организация возразила, что он — неитальянского происхождения, так как настоящая его фамилия — О'Дауд. По-итальянски говорил с акцентом. В общем, кардиналов запугали перспективой новых выборов. Похоже, свою лепту в этот раскол внесла вражда между конкурировавшими преступными группировками в Америке, но детали

остаются неясными, и они не должны занимать прилежного студента. В результате произошло разделение американского католического мира между дублинской и римской общинами. Это, в свою очередь, привело к серии братоубийственных междоусобиц, беспорядков и мелких локальных войн.

«Долой папу римского!» — провозгласил ирландец.

Это сильно напоминало более ранний раскол Церкви благодаря соперничеству французской монархии и центральноевропейской имперской системы. Результатом стал альтернативный папа в Авиньоне.

Ирландия оказалась последним оплотом христианства. Католическая религия оставалась государственной с 1944 по 1980 год. Кроме того, ирландский гэльский язык сохранял свои позиции, хотя и был в значительной степени подпорчен неизбежными английскими словами и оборотами. В Ирландии запретили агитационную деятельность Контроля за рождаемостью. Да и вообще ядра Современного государства в этой стране бойкотировались особенно яростно. Диктатура обнаружила, что борется с одним из самых упрямых народов. Ирландцы восставали по все-

му миру. После эпидемии бродячей лихорадки население Ирландии не превышало двух миллионов, но в англоязычном мире существовала сильная и широко распространенная ирландская традиция. Кое-кто из наиболее блестящих и грозных противников обучения и воспитания нашего вида, например, Пейдрик Линд, Артур Фитцджеральд и Бернард О'Дуайер, прибыли именно из Ирландии. Как ни странно, ни один из этих троих не был католиком, а Фитцджеральд даже получил тюремный срок за богохульство, но дух противостояния оказался либо врожденным, либо каким-то образом укоренился в их природе.

Позвольте пытливому студенту отметить открытую альтернативу в конце предыдущего абзаца, где поднимается нерешенный по сей день вопрос. Это ключ к решению нашей моральной проблемы. Воздушная диктатура, имея в своем распоряжении недостаточно разработанную науку — социальную психологию, столкнулась с неясной и спорной образовательной сложностью: с изменчивостью психического сопротивления руководству и с ограничениями, установленными природой для идеала покорного и ориентированного на сотрудничество мира. Де Виндт, поглощенный своими гигантски-

ми схемами мировой организации, относился к «оппозиционному духу» как к абсолютному злу, как к пороку, которого следует остерегаться, как к неполадкам в механизме, которые необходимо свести к минимуму настолько, насколько возможно. Воздушная диктатура осуществляла мировые расчеты, опираясь на утверждения непревзойденного мозга. Крайне сомнительно, что мир можно было объединить в крепкий и нерушимый *Pax Mundi* каким-то иным способом. И все-таки эти теоретические разработки следует назвать ошибочными. В конце концов, от них пришлось отказаться в пользу более тонких и совершенных концепций социального взаимодействия.

Каждому практикующему учителю известно, что сопротивление является необходимым фактором в обучении. Мягкий нестойкий материал легко оставляет след, но и быстро его теряет. «Легкие» ученики делают обучение небрежным. Сложность, а вместе с ней и обоснованность преподавания возрастает по мере того, как ученик реагирует. Кажущийся парадокс — сопротивление включает в себя определенный элемент сотрудничества. Усвоенное поглощает привнесенные в борьбу элементы. Вырезать сыр легче,

чем хороший кусок дерева, потому что последний имеет предубеждение. С каждым деревянным куском следует разбираться индивидуально, им нужно управлять, ему нужно потакать, но при этом нет никакой разницы по интересу и качеству между нарезанным сыром и резьбой по дереву. Это общие места наших педагогов. Свою работу Образовательный Контроль защищает репрессивными мерами, направленными не на внутреннее, а на искусственное сопротивление, доставшееся нам от дореволюционной эпохи.

В Старом Свете начала XX века существовало огромное количество грубых обобщений о так называемых «расовых» характеристиках. Встречались обобщения о произвольно выбранных агломерациях смешанного населения — например, испанцев, «Запада», «России» или евреев. Такие обобщения всегда являлись несправедливыми и неточными и часто чрезвычайно вредными. В настоящее время мы больше не пишем о расах, но признаем группы характеристик, очевидно, передаваемых, как правило, блоком ассоциированных генов, и антропологи неуклонно развивают научную классификацию человеческих типов. Лишь в немногих аспектах человеческие существа различаются более широ-

ко, чем в непокорности. Это отнюдь не простой случай, когда одни более устойчивы, а другие менее. В этом отношении жизненный цикл сильно различается. Непокорность зависит от возраста и пола, а также от потребляемых продуктов питания. Кто-то упрям в детстве, но впоследствии становится более разумным. Кто-то достигает максимума неповиновения в подростковом возрасте. Вообще говоря, пассивное сопротивление, неучтивость и упрямство, но не мятежная энергия, подрастают с возрастом. У ирландцев стремление не подчиняться крепко проявляется в любом возрасте. Порой до уровня абсолютной огнеупорности.

Апологеты «гонений» со стороны Воздушной диктатуры утверждают, что ее учителя уже достаточно подготовлены, со всем возможным сочувствием и деликатностью, необходимыми для обучения любого типа людей. Апологеты приветствовали сопротивление, но лишь до тех пор, пока оно происходило между учителем и учеником. По крайней мере, они так говорили. Но как не позволить сформировать в молодом человеке равнодушный ум? Ведь именно так и образуется массовое сопротивление и подрывная оппозиция мировому порядку. Таким

образом, получается, что Образовательный Контроль совершенно оправданно препятствовал распространению книг и подавлял собрания, учения и всяческую контрпродуктивную агитацию. Если в руке — кнут, таким преимуществом грех не воспользоваться.

Бескомпромиссный меморандум, выпущенный Образовательным советом в 2017 году, гласил:

«Мы не подавляем индивидуальность и не уничтожаем свободу. Мы уничтожаем навязчивые идеи и устраняем искушения. Мир все еще полон вводящих в заблуждение доктрин, опасных имитаций и коварных предложений. Правительство обязано их стереть!»

«Мы должны выработать общий взгляд на существование, — говорится в том же меморандуме, — общую идею о добре и зле. Наша задача — сложить это в умах мирового населения, и КАК МОЖНО СКОРЕЕ. Естественный инстинкт не поможет в лабиринте губительных артефактов. Идею следует дополнять обучением и дисциплиной. Чем больше мы учимся, тем меньше потребность в угнетении. Чем тщательнее мы искореняем ложные представления, тем свободнее и безопаснее смогут жить люди. Все стремительно возвращается к процветанию, и мы не можем

противостоять изобилию при нынешнем моральном состоянии. Требуется его постоянно укреплять, чтобы сохранить сплоченность наших рядов».

В 1955 году человечество страдало по всему миру от беспорядков, голода и эпидемий. Его численность неуклонно сокращалась, и вполне можно было предположить, что оно движется к вымиранию. Судьба человечества менялась с головокружительной быстротой. У нас имеется четкое указание на то, что правители не без ужаса размышляли над переизбытком свободного времени у населения.

Примечание редактора

Думаю, для читателя станет понятнее, если я приведу краткое изложение политических форм, принятых развивающимся мировым правительством в период с 1965 по 2106 год. Автор этой истории, попавшей на глаза доктору Рейвену, писал для своих современников. Соответственно, он полагал, что используемые термины и реалии хорошо им знакомы. Нынешний же читатель окажется к ним совершенно не готов. К счастью, отношения коммунистических и фашистских

партий со своими правительствами преподносят нам полезную параллель в отношениях с Мировым советом, то есть действующим мировым правительством после 1965 года. Это называлось движением Современного государства, а двигали им мощнейший стимул и незапятнанная совесть.

Политическая структура мира развивалась следующим образом:

После военного хаоса (1940–1950) и последующей эпидемии с «социальной фрагментацией» (1950–1960), среди других попыток воссоздать крупное общество, возник союз выживших авиаторов и специалистов в области торговли и транспорта. Это объединение назвали Транспортным союзом. Вопреки прогнозам Де Виндта, свои потенциальные возможности он не реализовал.

Но зато он инициировал целый ряд различных конференций для технических специалистов. В том числе и ту самую, в Басре, в 1965 году. Его вскоре преобразовали в Воздушный и Морской Контроль, и тогда он создал вспомогательные органы: Поставочный Контроль, Транспортный (и Торговый) Контроль, Образовательный и Рекламный Контроль и другие виды контроля, а затем время от времени их перестраивал.

В 1978 году на Второй конференции в Басре Воздушный и Морской Контроль побудил Собратьев выстроить Мировой совет. Это было первое официально объявленное Верховное мировое правительство. Позднее Воздушный и Мировой Контроль самоликвидировался, но подчиненные ему органы управления под верховным руководством Мирового совета остались, объединились и размножились.

Между 1978 и 2059 годами в основной политической структуре принципиальных изменений не произошло, зато изменились дух и методы высшего правительства — Мирового совета. Явился новый тип администратора, куда более жесткий, куда более требовательный и куда более решительный, чем у любого из делегатов на обеих конференциях в Басре. Этих молодых людей наш неизвестный историк назвал Вторым советом, хотя правильнее было бы назвать его продолжением Первого. Сложилась борьба за власть, обусловленная смертью нескольких престарелых Собратьев, но сам режим формально не изменился. Мировой совет по-прежнему составлял высшее мировое правительство. Второй совет в первые годы существования назывался Воздушной диктатурой, позднее его

стали именовать Пуританской тиранией. Это сложно назвать точными терминами, скорее, свободными описательными прозвищами. Состав Мирового совета менялся с приходом и уходом отдельных лиц, но характер его оставался исключительно единообразным в течение более сорока лет. Правда, важный орган снова принялся стареть, несмотря на регулярные вливания молодой крови. В 2045 году средний возраст членов достиг шестидесяти одного года.

Второй Мировой совет просуществовал до 2059 года, когда Межевская конференция в Савое восстановила мировое правительство в соответствии с принципами, которые достаточно четко изложены в следующих главах.

А теперь поговорим об отношении руководящих органов к движению Мирового государства.

Идеологические разработки были инициированы группой писателей, самой выдающейся фигурой из которых являлся Густав Де Виндт. Основные черты Мирового государства он набросал в книге «Социальное зарождение», опубликованной в 1942 году. Внутреннее качество наложило тяжелый отпечаток на бесспорную важность этого труда как отправной точки будущего. Это медленная, кропотливо добирающаяся до сути

книга.

Являясь зародышем движения Современного государства, она предвосхитила планирование Воздушного и Морского Контроля. Современное государство никогда не представляло собой формально организованное правительство или что-то вроде административного аппарата. Напротив, оно являлось пропагандой и развитием идейной системы, которая сама по себе создает свои собственные управленческие формы. Сначала «движение» работало как пропаганда и исследование, а затем как пропагандистская, исследовательская и образовательная организация. Его активные полноправные члены назывались Собратьями. В разных условиях и в разные периоды они меняли свой статус от дремлющего к активному, и обратно. Имелся класс неофитов и учеников, столь же многочисленный или даже более многочисленный, чем у активных Собратьев. По истечении срока обучения Братство получало нового полноценного члена, будь то мужчину или женщину.

Братство никогда не разделялось на региональные ветви. По этой причине Собратьев везде воспринимали одинаково. Локализованные ядра использовались лишь в целях пропаганды и обуче-

ния. Для более эффективного функционирования Собратья распределялись по ФАКУЛЬТЕТАМ, а те, в свою очередь, делились на секции и отделы. Перво-наперво, конечно же, стоит упомянуть факультет научных исследований, затем интерпретационный и образовательный факультет, факультет здравоохранения, факультет социального порядка, факультет снабжения и торговли, ряд производственных факультетов, а также сельскохозяйственные, минерально-сырьевые и так далее. По мере необходимости разные факультеты могли временно сращиваться. При этом как сращивания, так и разъединения применялись для более эффективной работы разнонаправленных управленческих элементов.

Факультеты, секции и отделы располагали центральными советами, чей персональный состав определялся на выборной основе, но, похоже, в движении Современного государства не существовало генерального директората, начиная с того времени, когда структура представляла собой простую систему ядер пропаганды и научных исследований. Ядра естественным образом дифференцировались на факультеты, каждый из которых рассматривал работу под определенным углом. В целом же движение

не требовало постоянного директивного совета. Когда возникали пожелания согласовать действия, созывались конференции.

Пожалуй, не возникало трудностей на пути мужчины или женщины, принадлежащих к двум или даже более факультетам одновременно. Тем самым это значительно облегчало переход одного факультета в другой. Движение Современного государства представляло собой атаку «открытого порядка» на социальные структуры. То есть речь могла идти не о форме, а о растворителе. Формами являлись тот или иной Контроль.

Факультеты, секции и отделы развивались очень неравномерно. Одни сокращались до полнейшей незначительности, другие, непредвиденно разрастаясь, создавали свою собственную особую организацию и механизм. Так, например, отдел социальной психологии, входящий в состав научного факультета, не только подмял под себя материнскую структуру, но и впоследствии поглотил факультет рекламы. В итоге именно на социальных психологов возложили ответственность за управление Образовательным Контролем.

Так социальные психологи превратились в мощнейший дисциплинирующий организм, который

сначала встал на одну ступеньку с Мировым советом, а затем и вовсе его вытеснил. Об этом будет рассказано в следующих главах.

Складывается впечатление, что с этого момента в мире вообще перестало существовать какое-либо одно постоянное правительство. При этом его самого непрерывно опекали и пристально следили за его деятельностью. Такую функцию возложили на себя следующие структуры: Транспортный Контроль, Продовольственный Контроль, Контроль за основными продуктами производства, Контроль за населением (точнее, за ростом его численности и обеспеченностью жильем), Контроль за социальной санитарией (полиция и медицина), Образовательный Контроль (последние два позднее объединились в Поведенческий Контроль) и Контроль за постоянно расширяющейся деятельностью в области научных исследований и творческой работы. Таким образом, мир, который когда-то разделялся между территориальными Великими державами, стал разделяться между функциональными Великими державами.

Спустя весьма непродолжительное время Бюро по примирению и сотрудничеству заявило о необходимости создать интер-Контроль, то есть

такой орган, который будет контролировать взаимодействие всех остальных управляющих органов. Это было чем-то вроде Верховного суда, но не правящего совета. Оставалось только придумать, кто будет контролировать интер-Контроль и всю эту образовавшуюся управленческую карусель.

Сложившаяся система в скором времени привела к тому, что абсолютное большинство старых факультетов распались на мелкие технические организации. Единственным исключением стал бывший отдел социальной психологии при научном факультете, который к 2106 году сделался, так сказать, литературой, философией и общей мировой мыслью. Проявив феноменальную живучесть, он превратился в мудрую душу общечеловеческого тела.

Отныне социальную психологию можно было на вполне законных основаниях сравнивать с тем, что в начале XIX века называлось общественным мнением; иными словами, консенсусом между активной мыслью и фантазиями всего мира. К 2106 году грандиозный успех этого всепроникающего разума уже ни у кого не вызывал никаких сомнений. На Земле появилась структура, которая вобрала в себя Короля, Президента

и Верховное правительство.

Надеюсь, я не слишком утомил тех читателей, кто уже разобрался, что я здесь резюмировал, но мне показалось важным собрать и пояснить хаотично разбросанные по тексту утверждения. Теперь вернусь к самой истории.

Глава 5
Текст возобновился: тирания Второго совета

Некоторыми историками Воздушная диктатура также называется Пуританской тиранией. Наверное, мы могли бы уделить этой точке зрения особое внимание.

«Пуританин» — неправильно употребленное слово. Изначально этот термин использовали для передачи доктринальной скрупулезности протестантизма. Представители этого религиозного течения «протестовали» против римской версии католической веры. Протестанты стали ассоциироваться со строгим аскетизмом и страхом перед праздностью и распущенностью.

В своих лучших проявлениях протестантизм воплощал следующее благородное осознание:

«Я не сделаю ничего стоящего и ничего стояще-

го не будет сделано, если я не возьму себя в руки и не укреплю ценность своего поведения».

Если бы Воздушная диктатура строже воспитывала мир, то и сама стала бы более аскетичной.

Кодекс первых строителей Мирового государства был предельно простым.

«Говорите правду! — настаивали они. — Поддерживайте самые высокие технические стандарты! Не копите деньги! Не торопитесь расставаться со своими полномочиями в угоду Мировому государству!»

Последнее особенно позволяло потакать своим низменным желаниям и не брать на себя лишней ответственности. Строители нового мира вдоволь кушали, вдоволь напивались, не отказывали себе и в плотских утехах, завидовали друг другу и боролись друг с другом за власть и знаки отличия. И они не проявляли должной осмотрительности в отношении соперничества и накопления обид. Мы окинули взором трагедию Ардена Эссендена, но это всего лишь один эпизод в долгой и сложной истории частной жизни первого всемирного комитета. Постепенно студенты исторического факультета находят все новые и новые интересные подробности. Жертвы мертвы и не могут слышать, что о них говорят, но результаты так же

безжалостны, как и в старой христианской фантазии о воскресшем мученике.

Сегодня эти люди представляются очень жалкими. Грехи и пороки поглотили их едва ли не целиком. Их часто заставали врасплох лестью и обожанием. Женщин привлекал их престиж. Прекрасный пол предлагал любовное утешение в минуты слабости. Часто моральное падение вызывалось безграничной преданностью, с которой Собратья отдавались мировой задаче. Работали они без отдыха и в какой-то момент внезапно обнаруживали, что истощились, а моральная энергия бесследно утекла в никуда. В этих условиях не удавалось установить должный баланс между общественной задачей и внутренним желанием. Более вспыльчивый принимался извергать зло, более ленивый погружался в роскошь. Братство оказалось в замешательстве, когда во внешнем мире разразился скандал.

«Эти Собратья, — заголосили снаружи, — ничем не лучше обманщиков и негодяев, представляющих старые режимы. Мудрый Рин Кей сгорает от страсти к смазливому ученику. Ардашер, чтобы угодить девушке, заставляет летчиков-испытателей на экспериментальных самолетах выполнять опасные трюки. Моровиц совершен-

но бессовестно коллекционирует персидские миниатюры, а Федор Галланд половину своего времени проводит в Вавилонском саду».

Амбициозные молодые люди, которые были детьми во время Первой Конференции в Басре, воспитывались достаточно хорошо, потому что учителя ревностно выполняли относительно незаметную работу, были чужды содомии, не собирали дорогие коллекции и не развлекались в роскошных садах. Они живо ощущали недостатки своих лидеров и собственное скромное, но неоспоримое превосходство. Ученики наполнялись конструктивным энтузиазмом. Они учились судить и осуждать слабости предшественников. А еще они узнали, что созданный для них яркий новый мир оказался в опасности из-за тех, кто его создал. Технически более искусное и более интенсивное обучение делало учащихся более скромными и осторожными в поведении. У них появлялась истинная способность управлять. Они были просты в общем и сложны в деталях. И они были мудры в том, как усмирять свои страсти. Отсутствие должной физической формы уже считалось преступлением!

На «Исторических изображениях» разница очевидна. Старшее поколение одето либо небрежно,

либо чересчур живописно. Либо застенчиво, либо изящно позирует. Молодежь одевалась куда проще. Но даже не это — главное. Все молодые атлетично выглядели, потому что придерживались соответствующего образа жизни. Жесткая экономия стала для них второй натурой. Преданность и самопожертвование они довели до такой степени, что у них считалось неприличным фотографироваться. По этой же причине после их руководства Центральным комитетом не сохранилось записей об именах председателей и инициаторов предложений. Потребовалось специальное расследование, чтобы некоторые имена все-таки спасти от забвения. Таким оно было — второе поколение мировых правителей! Пуританская тирания обеспечила безопасность Социалистического Мирового государства. Наиболее выдающимися фигурами, безусловно, являлись Хан Хсу и Антуан Айала.

Они свергли своих предшественников без какого-либо государственного переворота, одного за другим, благодаря явному превосходству в энергии и рабочей силе. Великая революция завершилась; Мировое государство крепко стояло на ногах, но это было еще не все. Это было время как раз для такой непрерывной детальной рабо-

ты, на которую мог претендовать только самый одаренный и энергичный выпускник с мощнейшей подготовкой. Представители очередного поколения Собратьев не выбирались ни голосованием, ни политикой. Совет наполнялся ими по мере приобретения опыта и движущей силы. Более мягкие и утонченные не выдерживали стремительного темпа и опускались на менее авторитетные позиции. Влияние учителей стало весьма значительным. Три школы, Фонд Унамуно в португальской Коимбре, Колумбийский университет Нью-Йорка и Токийский социальный колледж, составили более трети Мирового совета в 2017 году.

Регулярно обновляясь, новый Совет проработал сорок лет. Как и предсказывал Олдос Хаксли (1894–2004), один из самых блестящих реакционных писателей, «они в мире немного прибрались».

Нельзя не обратить внимания на любопытный факт, что во время их правления человечество не только очистилось, но и заметно поредело. В самом Братстве дисциплина существенно ужесточилась. Численное соотношение между Собратьями и остальными людьми неуклонно смещалось в сторону первых. Ментальные при-

вычки и манера поведения, принятые в Братстве, быстро распространялись среди всего населения. По словам Вордина, Тирания навсегда изменила человеческое лицо. Она не только закрыла рты, но и плотнее сомкнула губы. Чуть приподняв брови, сделала глаза более искренними. Выпрямилась спина. По мере того, как слабела привычка сокращать мимические мышцы, с лица уходили морщины. Это нельзя не заметить, сравнивая портреты более раннего и более позднего времени. Разного рода чудаки начали исчезать из человеческой трагикомедии. Негодяи и непокорные строптивцы старели, сидя на солнышке с протестующим видом, и тоже исчезали. С собой в небытие они забирали неприятные и даже причудливые выражения на лицах. Когда не стало проституток, прекратилось характерное пренебрежение к женскому облику. Продавец вдруг обнаружил, что ему нечем торговать, и поступил на службу в Снабженческий Контроль. Выходили из моды азартные игры. Эти странные продолговатые кусочки из картона, «игральные карты», отправлялись в музеи, чтобы никогда больше не появляться. Исчезающие виды деятельности и развлечений забирали с собой и соответствующие виды людей. Лица перестава-

ли быть масками.

Для искренних людей мир становился все более безопасным. Потребность в хитрости и осторожной сдержанности уменьшалась с каждым днем. Человечество повсеместно становилось экстравертным. Пробуждался живой самозабвенный интерес к окружающему миру. Человек освободился от «обеспокоенного» взгляда.

«Каждый должен четко знать, — объявили новые правители, — никого нельзя сбить с толку!»

Старые религии не могли сравниться с популярностью нового культа. Их преследовали, они возмущались, но, в конце концов, их лишили последних обрывков воспитательного воздействия. Почти сорок лет продолжалось это правило новых святых. Это решительное упрощение и сглаживание человеческой жизни.

История превратилась в летопись все более обширных инженерных разработок и все более глубоких скважин, откуда извлекались полезные ископаемые. Новые механизмы появлялись и множились, а затем сметались более совершенными. Лицо Земли изменилось до неузнаваемости. В научных целях население принялось перераспределяться. И, тем не менее, мир *тогда* сильно отличался от мира *теперь* — каким мы

его знаем. Ни одна историческая эпоха не оставляла настолько странных и необычных картин.

Костюм чрезвычайно упростился, а человек, в него одетый, стал исключительно толерантным. Между тем, Научные пуритане создали самую безобразную и неуклюжую архитектуру, возвели самые мрачные и безликие жилые строения, самые отвратительные плотины и электростанции, мосты и трубопроводы из всех, какие когда-либо появлялись на нашей планете. Но, по крайней мере, они перепахали Сахару сетью каналов, наполнили их живительной водой и превратили пустыню в оазис. Производительность шагала семимильными шагами, несмотря на суровые ограничения. Научные пуритане были охвачены лютым непреодолимым страхом перед досугом, причем как для себя, так и для других. Они сочли жизненно необходимым беспрестанно идти вперед и поддерживать в этом всех остальных. Работу, как для Братства, так и для всего мира, они ИЗОБРЕТАЛИ. Счастье — в труде! Под их владычеством Земля превратилась в муравейник, чистый и упорядоченный, но чрезмерно «занятый». Они так резко и сурово отреагировали на слабости предшественников, потому что безумно боялись повторения ошибок и по

этой причине оказались неспособны смягчить излишне суровые требования.

Существенно улучшившись, человечество склонно сгущать краски при анализе этого странного периода суровости и мрачного подавления. Несмотря на легкий садомазохистский привкус тех лет, добро по всем статьям одолело зло.

Уничтожение устаревших нравственных ценностей (фраза принадлежит Антуану Айале) и полное установление кодекса строгого и критического самоконтроля, постоянного служения, творческой деятельности, сотрудничества, общественных и личных хороших манер, а также неизменной честности достигнуты на все времена! Мир стал свободным, изобильным и счастливым. Сегодня мы даже не осознаем, что еще в 2000 году требовалось прикладывать усилия, чтобы жизнь текла именно в том направлении, какое представляется нам наиболее естественным и простым. Мы находим почти невозможным представить себе искушение расслабиться на работе, бездельничать, ничего не делать, «искать приключений» или даже «развлекаться», скучать и заниматься тривиальными «убивающими время» занятиями, которые до 2000 года преследовали плохо обученного,

недостаточно энергичного и немотивированного рядового гражданина. Еще труднее понять, насколько тонко соблазны проявлялись. Они рассеивались по людской массе, мешая ей упорядочивать жизнь. В данном вопросе мы должны довериться экспертам-психологам.

Новые Пуритане «продезинфицировали» старую литературу. Сейчас это трудно воспринимать как насущную необходимость. Старые истории, пьесы и поэмы, по нашему общепризнанному мнению, передают самую причудливую и необъяснимую мотивационную систему. Сегодня сложно себе представить, что она может человека каким-то образом смутить, дезорганизовать или дестабилизировать. Это все равно что заподозрить во вредоносном воздействии Великую китайскую стену или античные статуи. Тем не менее, цензор называл книгу «грязной тряпкой». Он выступал за «реальную жизнь». Цензоры определяли модель общественного поведения. Оскорбления и едкие остроты, неискренне сочувственное высмеивание подчиненных и очернение начальства составляли так называемый «юмор», который сегодня выглядит не иначе как глупым либо злонамеренным. Нам сложно понять ту искреннюю радость, какую

испытывали наши предки, обнаруживая у окружающих ошибочные суждения или вовсе полную невежественность. Смеялись даже над калеками. Столь же неприятна и откровенно лицемерная «романтика», неизменно сопровождаемая фальшивыми трагедиями, ненужными жертвами и напыщенным отчаянием.

«Романтика, — объявил Пол Хеннесси, — по своей извращенной сути является не более чем жестокой и жалкой реакцией слабых духом на запрет, который они не способны преодолеть».

Мы находим книги, прославляющие войну и массовые убийства, а также сеющие враждебность к другим расам. Человеконенавистнические теории выстраивались на совершенно неубедительной основе. Трудно поверить, что они вообще могли захватить чье-то воображение. И, тем не менее, они побуждали совершать неблагопристойные поступки. Толкали бесчисленное множество людей на кровавые убийства и жесточайшие пытки. Облекали самые гнусные преступления в героические тона. Необходимо было порвать с этими традициями, прежде чем их можно было бы увидеть такими, какими мы видим их сейчас. Для этого потребовалась герои-

ческая «педантичность» Воздушной диктатуры. Собратья отбросили старую литературу, подавили систему внушения старых религий и суеверий и рассовали по тюрьмам «разжигателей ненависти». Кроме того, из жизни незрелых безжалостно устранялось сексуальное подстрекательство. Собратья настаивали на универсальной и честной сексуальной гигиене. Общечеловеческий разум следовало навсегда очистить и открыть перед ним свободную цивилизацию сегодняшнего дня.

Джозеф Кореновский назвал Пуританскую тиранию «холодным душем для человечества». По его мнению, человек в начале XXI века пребывал в «полубессознательном» состоянии, а его разум только начинал «оттаивать». В этих крайне опасных обстоятельствах важно было не допустить рецидива запутанной и кошмарной жизни по типу Эпохи разочарования. Конечно, вы можете назвать это тиранией, но на самом деле речь шла о высвобождении. Подавлялись не люди, а навязчивые идеи. Никто из нас в должной мере не может осознать всю ценность этого «отречения от традиции», потому что ныне мы все отречены.

Рядом с безжалостной «умственной дезинфек-

цией» мы обязаны поставить в заслугу Воздушной диктатуре физическую дезинфекцию. Все жилые дома в период между 2000 и 2040 годом были либо разрушены, либо полностью перестроены. Сильно пострадала «живописность». В наши дни мы содрогаемся при виде белых голых улиц, передвижных жилых блоков и унылых общежитий, а также простых холодных интерьеров с металлической мебелью. Не стало хижин, лачуг, коттеджей, гостевых домиков, старых обветшалых ратуш с каменной или кирпичной облицовкой, рыночных сооружений, церквей, мечетей, фабрик, заводов и железнодорожных вокзалов, где наши суровые, плохо сложенные и низкорослые предки собирались для решения своих никчемных архаичных дел.

В тот же период стали исчезать болезни, суть которых сегодня весьма сложно объяснить, хотя, казалось бы, еще совсем недавно они терзали человечество повсеместно. Катар, грипп, коклюш, холера, сыпной и брюшной тиф, бубонная чума, корь и множество других инфекций (Только желтая лихорадка после 2050 года продолжала представлять собой серьезную опасность. Эту болезнь удалось полностью искоренить лишь после 2079 года). Сифилис и другие венерические

заболевания исчезли в течение жизни двух поколений. Эти бедствия были настолько ужасными и отвратительными, что мы даже не станем описывать их для широкого читателя. Настолько же успешную атаку провели и в отношении болезней растений. Студенту предстоит узнать об этом из курса Ботанической истории.

У историков и социальных психологов до сих пор остается множество нерешенных вопросов в отношении того, как формировался и закаливался управленческий аппарат. Вышеуказанные специалисты признают, что Тирания, по сути, привела к освобождению, но настаивают на том, что она оставляла неудовлетворенными жизненно важные человеческие желания. Между тем, основная проблема заключалась в том, что в этих желаниях тесно переплетались старые традиции и навязчивые идеи. В результате наполненные энтузиазмом правители принялись искоренять решительно все, включая сами желания. В топку полетели сорняки вместе с плодородной почвой. Кипучая деятельность со временем сама превратилась в одержимость и, как следствие, стала не только бессмысленной, но и даже вредной.

Переутомление и постоянное неослабевающее напряжение являлись основной характеристи-

кой большинства правителей прошлого. Это хорошо заметно, например, в Указах Ашоки и особенно в Указе VI («Ашока», Д.Р. Бхандаркар, 1932, «Классические исторические исследования», 21–118).

«Я никогда не бываю полностью удовлетворен, — говорится в Указе. — Благополучие всего мира является для меня почетным долгом. И корень сего — в запредельном напряжении!»

Подавляющее большинство успешных цезарей и автократов от Цинь Шихуанди до Гитлера проявили себя в тех же степенях напряжения. В качестве исключения можно привести разве что только Александра Великого, но за него основную работу проделал отец. Воплотивший итальянский фашизм Муссолини в «Беседах с Эмилем Людвигом» («Исторические документы» 100, 319) всячески демонстрировал склонность достигать успеха в одиночку и не уклоняться от ответственности.

Все главные личности Воздушной диктатуры стремились сделать слишком много и даже больше. Они проявляли черты коллективного истощения, еле-еле плетущегося, но неспособного остановиться, подумать и приспособиться. Продолжали бороться даже после того, как победа

уже была одержана. Наведя порядок, продолжали его наводить. После первых ощутимых успехов проявили упорное нежелание привносить новую кровь в административную задачу. Они пришли к власти, потому что прежний управленческий аппарат стал от них зависеть. Сначала они служили основателям Мирового государства, а затем, осознав свою силу, тех смели.

Тремя добродетелями правителя, согласно Хану Хсу, являлись пунктуальность, точность и настойчивость. На самом же деле Хан попросту перефразировал Пайдрика Линда, который говорил о том, что «Лень — мать организации». У новых властителей благословенного дара праздности под рукой не оказалось. Когда оставленное первой мировой революцией трудовое наследие исчерпалось, наступила необходимость окончательной революции из-за неспособности Пуритан организовать прямую преемственность внутри собственной структуры или изобрести новые начинания.

Последняя революция оказалась самым тонким и изящным государственным переворотом. И других больше не предвидится. Диктатура могла подавлять сопротивление и навязывать правила, но ей было не под силу подавить

развитие общей психологии или проникнуть в свою собственную законодательную и административную деятельность путем исследования и критики.

Быстро развиваясь, Отдел общей психологии стал самой активной системой в Научном факультете. На предварительных этапах социальные психологи разработали различные учебные программы по «искусству» и праву старого образца, что привело к тотальной модернизации «гуманитарных наук». Более того, основатели Мирового государства поручили Отделу контролировать Образовательный и Правовой Контроль. Так продолжается и по сей день. Социальных психологов официально признали ответственными хранителями теории, посвященной формированию Современного государства, что, в свою очередь, целиком и полностью соответствовало благим намерениям Густава Де Виндта. Это стало мыслью, как Мировой совет стал волей человечества, действующего, как единое целое. И поскольку общегосударственное образование и правовое регулирование находились под руководством постоянно развивающегося исследовательского отдела, они диаметрально отличались по своему характеру от образования и преподавания старо-

го мирового порядка.

Это различие сложно себе представить, поскольку оно представляет собой плоский контраст. Но иначе невозможно понять суть исторического процесса. Старое образование существовало ради сохранения традиций и институтов. Прогрессивные силы возникли в результате несогласия и действовали вне принятых образовательных механизмов. В XVIII, XIX и начале XX века образование всегда на поколение или около того отставало от передовых идей. Школьный учитель был обузой для человечества. Новое образование, основанное на стремительно растущей науке взаимоотношений, больше не сохраняло традиции. Вместо этого оно объясняло творческие усилия в свете самой пронзительной критики. Новый учитель показал путь, и новое образование неуклонно шло впереди социального факта. Старое и новое уже не могли пересечься. Если бы человеку 1900 года рассказали о прогрессивной революции, возглавляемой юристами и школьными учителями, которых вдохновляли научные идеи, он воспринял бы это не самым удачным розыгрышем. Мы же сегодня спрашиваем:

«А как иначе поддержать непрерывность прогрессивной революции?»

Провал немецких революционных событий 1918 года и погружение Германии в социальное детство вместе с грубыми глупостями гитлеризма объяснялись небрежным отношением к элементарному принципу, согласно которому никакая революция не может реализоваться до тех пор, пока полностью не изменит в обществе систему образования. Каждая эффективная революция Старого Света являлась мятежом против устоявшегося образования и устоявшихся законов.

Образовательный Контроль на пути исправления человечества сместил с ключевых постов в Мировом совете ведущих деятелей Басрской конференции и внедрил туда своих людей, воплотивших впоследствии Воздушную диктатуру. Теперь эти люди, в свою очередь, обнаружили, что инструменты управления в их руках часто оказываются неэффективными. Дорвавшимся до власти новым Собратьям отказывались подчиняться, и, более того, сами они часто покорялись незнакомым идеям. Диктаторский клан расчищал себе место, пока социальная наука готовила идею новой структуры. И вот теперь он столкнулся с импульсом созидать и обогащаться, что полностью противоречило его административным методам.

Подчиненные принялись отсылать обратно выданные начальством инструкции как «недостаточные и не соответствующие психологии рабочих» и других обеспокоенных. Планы оценивались как излишне трудоемкие или даже вовсе бесполезные. Рабочие брали дело в свои руки и требовали более внятных и осмысленных распоряжений. Поначалу комитет настаивал на беспрекословном повиновении, однако Образовательный Контроль решительно заявил, что таковое социально вредно.

Наиболее ярко проявился контраст между старыми революционными кризисами и более поздним конфликтом воли. Безумные, истошно вопящие и сентиментальные старые революции обрастали уличными баррикадами и громили собственность. Людей расстреливали обильно и небрежно. Вышло так, что новый режим неуклюже споткнулся об ответственность за руины, оставленные предшественниками. Недовольные восставали против закостенелых структур.

Последняя революция стала хладнокровным и действенным обвинением мира в его недееспособной образовательной системе. Это ни в коей степени нельзя назвать бунтом или восстанием. Скорее, окольным вмешательством. Новый поря-

док возник рядом с тем, кто не справился, забрал у него дела и выпроводил за дверь.

Потребность в нетерпимой воинственности для Мирового государства отпала сама собой. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но сама победа Пуританской тирании сделала строгую дисциплину неактуальной или даже ненужной. Последними, кто это понял, были старики, сидящие в бюро Мирового совета. Теперь они ошарашенно и поспешно искали, чем бы таким занять человечество, чтобы уберечь его от беды.

Глава 6
Эстетическое разочарование: записные книжки Аристона Теотокопулоса

Мы часто свободно следуем за обычаем историков подкреплять свои общие утверждения цитатами из произведений писателей-современников. По мере того, как история избавлялась от примитивной одержимости правителями и политикой, она все более широко использовала частные мемуары, дневники, романы, пьесы, письма, наброски, картины и тому подобное. Когда-то считалось недостойным для историка рыться в счетах и записных книжках. Теперь же

мы ценим их гораздо выше парламентских актов или дипломатических меморандумов. И конечно же, нет более удобного информационного источника о текущих идеях и чувствах в условиях Воздушной диктатуры, чем зашифрованные записные книжки Аристона Теотокопулоса (1997–2062). В течение тридцати семи лет, вплоть до самой смерти, он писал почти ежедневно, проницательно комментируя текущие события, часто весьма странные и даже курьезные, особо отмечая свои собственные эмоциональные реакции и причудливо украшая их множеством набросков, карикатур и тому подобного. Полное собрание этих работ доставит немало удовольствия каждому книголюбу. Следует отметить, что основная часть приведенного материала вообще никак не касается вопросов общей истории. Тем не менее, именно из него можно извлечь куда больше полезной информации, чем из множества абстрактных описаний.

Более ранние тома окрашены раздражением писателя тремя конкретными позициями: ограничениями на частные полеты, трудностями в реализации своего таланта и нехваткой в жизни изящной красоты. В то время не существовало частных самолетов, и никто не мог выступить

в качестве вольнонаемного пилота, поскольку каждый летчик являлся активным Собратом и соответственно состоял в организации Современного государства. И, разумеется, он обязан был подчиняться ее правилам и требованиям. Душа Теотокопулоса переполнялась анархизмом. Он отчаянно стремился свободно бродить по горам выше облаков, отправляться туда, куда заблагорассудится, по своей собственной доброй воле, не будучи стесненным никакими мыслями о необходимости перманентного «служения». Художник стал одержим этими желаниями!

«Если бы меня оставили в покое, — настрочил этот безумец, — я бы дал миру хоть что-нибудь. Но что хорошего в том, что эти проклятые старцы, Мастера-Декораторы, велят мне делать то или это? Неужели я пришел в этот мир только для того, чтобы бесконечно подражать и повторять?»

«Какой-то проклятый чиновник пролетел у меня над головой. Видимо, отправился что-то предотвращать. Это испортило мне весь день. Я не могу ДУМАТЬ».

Затем раздается крик агонии:

«Весь макет отвратителен! Меня заставляют рисовать фриз со слонами на стене, но я ведь

вижу, что из-за дефектов конструкции стена долго не простоит! От меня не требуется вносить коррективы. Я должен скрупулезно выполнить каждый пункт своего задания, ничего не меняя. Если я исправлю макет, стена простоит столетия, но мне нельзя этого делать. И это неправильно. Это неправильно! Это неправильно!!!»

На нескольких последующих страницах одно слово торчит в одиночестве:

«СЛОНЫ!»

Затем следует череда карикатур на этих животных, что Ли охарактеризовал, как острую биологическую критику. Теотокопулос живо интересовался слонами, но теперь они ему надоели. Он представлял их просвечивающими или даже вовсе прозрачными, тем самым раскрывая спрятанные внутри страдания. Одна страница полностью посвящена невероятно злобным слоновьим взглядам.

Он работал над довольно продуманным оформлением системы магистральных дорог, которая должна была пройти от мыса Финистерре на атлантическом побережье Испании через Северную Италию и вдоль Северной черноморской дамбы до Крыма и Кавказа. Трассу планировали вести вдоль лигурийского побережья до Генуи, а за-

тем между гор по долине реки По через виадук Кьоджа. Проект единого мирового транспортного конгломерата был не очень хорошо продуман и неоднократно корректировался уже по ходу строительства. Многочисленные доделывания и переделывания прямо указывали на неспособность Мирового совета осознать, что Изменения все еще идут полным ходом. Дороги, похоже, планировались на все времена, но при закладке обнаружилась ментальная коагуляция. Проще говоря, у Собратьев наступил мозговой «затык».

Теотокопулос был задействован на участке между Ниццей и Генуей. Здесь будущая дорога продвигалась по кривой траектории, местами выпрямляясь или даже вовсе вытягиваясь в струнку, грубо прогрызая тоннели в горной породе или перепрыгивая заливы посредством длиннейших мостов. Выше и ниже дороги вдоль склонов устанавливались террасы из натурального или искусственного мрамора, где планировалось выращивать апельсины, лимоны, виноград, розы, оливки и агавы. Эти террасы, как отмечает Теотокопулос, «неустанно» поднимались к старой дороге Ла-Корниш, где сохранилось лишь несколько участков с вечнозелеными деревьями. Развалины вилл и садов капиталистической

эпохи и большинства прибрежных городов, которые Титус Коббетт посетил и описал больше семидесяти лет назад, теперь были расчищены. Лишь кое-где встречались жилые здания. Вычурные лестницы рядом с давно неработающими лифтами вели вниз к пляжам и гаваням, где рыбаки в лодках занимались своим нелегким промыслом. Малоэтажная архитектура тех мест доводила Теотокопулоса до исступления. Он выполнил те низенькие домики в карикатурном стиле и снабдил рисунки пояснениями из непристойных слов. Просто поразительно, насколько правдиво он нарисовал неказистые строения и насколько изобретательно затем их исказил. Он представил их вжавшимися в землю, как и большинство строительных объектов поздних военных лет, от которых они, несомненно, унаследовали свою приземистость.

«Мы все еще мечтаем о бомбардировках и воздушных баталиях», — написал он.

В другом фрагменте он рассуждает об «обитателях этих укреплений»:

«Ах, если бы раздобыть самолет или бомбу! Наверное, имеет смысл держать таких умников, как я, подальше от неба, когда вокруг расползлась такая гадость».

Сама поставленная задача, к несчастью, держала его в тесном контакте со всем этим приземистым архитектурным волшебством. Он получил известность в необычайно юном возрасте благодаря великолепным рисункам людей и животных. У него имелся поразительный талант заглядывать в тела и передавать свое ощущение внутренней деятельности. Единственной анатомией, известной художникам, была анатомия мышц, и Аристону поручили «украсить» неприглядный участок стены рядом с Алассио фризом со слонами. Необходимо пояснить, что в те времена в сознании людей существовал полнейший разлад между эстетическим и механическим соображением.

«Сначала ты что-то делаешь, — думали они, — и только после этого его украшаешь».

Сейчас это кажется почти невероятным, но инженеры Воздушной диктатуры полностью игнорировали мысли о красоте. Когда до каменщика, наконец, доходило, что его руки ваяют ужас, он звал художника. Беспокойный и чувствительный ум Теотокопулоса предвосхитил идеи сегодняшнего дня.

«Инженеры должны быть художниками, — заявил он, — а художники — инженерами.

По-другому нельзя! В противном случае оставьте в покое конструкторскую работу!»

Его стена сохранилась, равно как и декор, каким он его предвидел. Урок — студентам, памятник — его несравненному таланту.

«Взял отпуск, — отметил он однажды, — проплыл на веслах в море около пяти миль. Диспропорции усугубляются по мере того, как наблюдатель отдаляется от них. Никогда раньше я не видел ничего более уродливого. Оно реально становится еще хуже на расстоянии. Все побережье такое. Дорога слишком широкая. Там никогда не будет настолько интенсивного движения. Мировое население не увеличивается. Как раз наоборот, уменьшается. Сто двадцать метров в ширину! Бог мой! Это сколько же будет полос? Откуда взяться такому потоку? И ведь все это понимают. Столько автомобилей никогда не будет. Неужели все это только ради того, чтобы чем-то занять кучу рабочих? Маленькие ящерицы теряются на этой зеркальной поверхности, умирают и высыхают. На нее выползают бесхитростные дождевые черви и погибают. После дождя их можно видеть тысячами. На мили вокруг ни единой тени. Террасы плохо выглядят. Да и поддерживающие их стены, откровенно говоря,

тоже. И те, и другие не вписываются в гармонию с холмами, что позади. Холмы ЖИВУТ! А наши постройки умирают. Прямо с самого рождения. И что за ересь, строить такие низенькие домишки? Разве мы строим не затем, чтобы оторваться от земли?»

А потом вдруг во всю страницу одно слово:

«ПРОПОРЦИЯ!»

Аристон медитировал с карандашом в руке:

«Ключ к жизни. Не просто красота. Нет никакого зла, кроме ОТСУТСТВИЯ ПРОПОРЦИЙ! Боль? Боль возникает из-за диспропорции между ощущениями. Лицемерие? Жестокость? Все дело в отсутствии пропорции между импульсом и контролем…»

Интересно проследить, как он перебирает идеи, которые теперь знакомы каждому школьнику. Он мечется между идеями пропорции и гармонии. Затем приходит к открытию, что вся история — это записи о пропорциональных колебаниях. Сейчас это ясно каждому. Мы рассказали об экономической и политической истории XX века. Но о чем шла речь по сути? Подверглись освещению нерегулярный рост жизненных элементов, гипертрофия экономического материала, происходившая наряду с прекращением образо-

вательной, правовой и политической адаптации. Первым, весьма тусклым осознанием этой дисгармонии явилось «планирование», точнее, грубые попытки оценить величину общественной жизни. Изначально подобным занимались в России, достаточно вспомнить Пятилетний план. После 1930 года мир планами попросту переполнился, но большинство из них были удивительно слабыми.

Из записных книжек Теотокопулоса мы узнаем, насколько несовершенно идея количественной подготовки деятельности нашего вида воспринималась даже в начале XXI века. Точно так же, как военно-промышленный комплекс в свое время унес за собой людские умы, так и политическое единообразие при жизни великого художника, объединившись с зацикленностью на производственной эффективности, вышло за пределы разумных рамок. Эти записные книжки интересны прежде всего тем, что не являются трудами научного работника — социального психолога. Человек, их написавший, представлял собой гения в области изобразительного искусства и архитектуры, но, с точки зрения прикладной науки, оставался самым обыкновенным пользователем. Они рассказывают нам, как про-

стые люди проводили время, как недоумевали, ломали головы и задавались вопросом, почему, отменив войну, восстановив порядок, обеспечив изобилие, победив страхи и реализовав самые смелые надежды мучеников, они по-прежнему несчастны и озабочены тревогами о завтрашнем дне.

«Нарастающие боли, — вдруг появляется взбудораженная запись. — Так говорил Ленин незадолго до смерти. Является ли недостаточность в пропорциях неизбежной?»

После этой вспышки, похожей на манифестацию безумия, записи превращаются в подобие диссертации на тему «О значимости любовных уровней», что уже, разумеется, не имеет никакого отношения к нашему исследованию. Но, как оказалось, сама идея «нарастающих болей» подспудно работала с самого начала.

Внезапно появляются страницы с набросками странных эмбрионов, младенцев, котят и щенков; во всех случаях с явными признаками патологической гипертрофии.

«Всегда ли недостаток пропорции сопровождает *любой* рост? Похоже, так задумано природой, хотя она во все времена работала неуклюже. Она принимается делать ногу, а получается

крыло. И тогда она говорит: «Эврика! Да, именно это я и НАМЕРЕВАЛАСЬ сделать, но путем ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. Я действую, как инженер с богатым воображением!»

Мысли художника все дальше уносились к литейному производству, металлической стружке и проблемам, возникающим при сборке токарного станка.

«Природа исправляет диспропорции роста, внося изменения в эндокринную систему, — продолжал он свои размышления. — Так и мы, когда установлены каркасы и возведены стены, увольняем каменщиков и нанимаем маляров. Так вот, что означает, по сути, смена мирового режима! Новые гормоны! Новые ремесленники!»

Выше обозначенная запись датирована 7 апреля 2027 года. Это одно из самых ранних проявлений того, что в настоящее время принято именовать модным выражением «режимная ротация».

Озабоченность Теотокопулоса физическими и психическими аспектами любви, а также его необычайная способность связывать физиологические процессы с высшими эмоциональными проявлениями не должны нас интересовать, какими бы важными она ни казались в истории

эстетического анализа. На целый год он сосредоточился на своем великом «Фризе желаний» в Трапезной Библиотеки искусств в Барселоне и больше не думал о политике. Ему нравились коллеги. Он одобрял разработки. И ему была предоставлена полная свобода действий.

«Собратья делают то, что считают нужным, — заметил он. — Налицо великие перемены. Несладко придется всем этим комитетам, которые сначала «санкционируют», а потом «пересматривают».

Затем Аристон попал под влияние очень оригинальной молодой женщины из Аргентины, тоже по-своему великой художницы, Хуаниты Маккайл. Мы видим ее в его набросках. Разные позы, разные жесты.

Вскоре он не без удивления отметил:

«Это существо умеет думать!»

До сих пор он ни разу не назвал ее по имени. Затем она стала появляться в его записях как «Джей». Еще спустя какое-то время этой женщины в его записях становилось все больше.

«Умная женщина меня пугает! Кто это был? По или Де Квинси? Должно быть, Де Квинси. Это ему приснилась женщина с грудями, которые внезапно раскрылись и превратились в глаза.

Ужас! Обнаружить, что на тебя вот так смотрят».

Следующую страницу художник вырвал, единственную страницу, которую он когда-либо вырывал. Нам остается только гадать, какие помыслы она запечатлела.

А потом он вдруг резко вернулся к политическим спекуляциям. Многие записи начинаются словами: «Джей говорит, что» или заканчиваются — «Это идея Джей».

Через несколько страниц он повторил:

«Это существо умеет думать!»

А затем продолжил уже в несколько ином ключе:

«А я? Разве что только пальцами. Язык для меня слишком абстрактен. Или это правда, как она говорит, что я умственно ленив. Как же это возможно? Она называет меня УМСТВЕННО ЛЕНИВЫМ после того, как я проговорил с ней, не прерываясь, больше трех часов».

«Кажется, все мои маленькие блестящие мысли ничего не стоят по сравнению с тем, что делают наши социальные психологи. Мне нужно многому научиться. Полагаю, Джей могла бы стать превосходным педагогом для кого угодно».

И по сей день эти записные книжки сохраняют хрупкую грацию и душевную энергию Хуаниты

Маккайл. Она, несомненно, была из тех женщин, кто мог бы стать социалисткой-революционеркой в XIX веке, комиссаром в ранней Советской России или труженицей Современного государства в середине XX века. Теперь она с упоением отдавалась ярко выраженной декоративной идиосинкразии, свободной для специфической политики своего времени. Очевидно, что еще до встречи с Теотокопулосом Хуанита была политически настроенной и политически мотивированной. У нее зародилось чувство, что мир движется куда-то не туда, но ясное понимание, что именно с этим нужно делать, пришло к решительной женщине только после знакомства с гениальным художником. Записные книжки со всей своей бесстрашной откровенностью показывают не только исключительную историю любви, но и то, что, возможно, неотделимо от любой стоящей истории любви, — взаимное обучение. Теотокопулос был ее первым и единственным любовником. Вначале он обращался с ней столь же небрежно, как и со многими другими женщинами. По мере того, как он ее узнавал, его преданность по отношению к ней становилась столь же огромной, как и ее — по отношению к нему.

Он ее изучал. Он делал бесконечные заметки о ней. И мы знаем, как она на него повлияла. Как он повлиял на нее, нам остается только гадать, но совершенно очевидно, что для нее одновременно существовали великолепие его даров и привлекательность его своенравного ребячества. Он в некотором роде умудрялся ее подавлять, что явно звучит в ее сохранившихся работах. Лучшей из них является самая ранняя.

Он дважды задавался одним и тем же вопросом:

«Я что, топлю Джей? Из-за меня ее творения теряют характер. Она заимствует мое видение. Та последняя карикатура… Разве я виноват? Такая чудесная штука. Давным-давно».

И дальше его настроение кардинально меняется:

«Материнская специализация! Подлейшая природная уловка, обкатанная на женщинах. Если они не собираются становиться матерями, если они НЕ МОГУТ ими стать, зачем они *насыщаются* материнством? Почему Джей думает о том, как дать мне больше свободы в ущерб себе самой? Она ушла в это с головой. Я ее об этом никогда не просил. Или..? Или каким-то неосознанным образом все-таки попросил? Нет, это просто ее

врожденная порочная материнская забота. Я — ее любовник, и я же — ее любимый сын, а окружающий мир — мой брат, и с каждым днем ее работа, прежде замечательная, ухудшается. Моя возлюбленная становится все более политичной и социально-психологической. Из-за нас обоих!»

С этого момента политика в записях проходит очень мощным лейтмотивом. Более ранние выражают негодование изолированного человека, обладающего чрезвычайно мощной творческой энергией. Он оказывается одиноким и беспомощным в несимпатично упорядоченном мире. Поздние записи показывают, что та же самая индивидуальность расширяется до концепции всего мира, как пластичного материала, который поддерживается чувством понимания и движется совместно с родственными умами. Иными словами, Теотокопулос начал мыслить, как пробуждающееся эстетическое сознание мирового сообщества.

«Изменение режима должно походить на то, как цыпленок вылупляется из яйца. Скорлупу надо разбить. НО ЧТОБЫ ЭТО СДЕЛАТЬ, ОНА ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ! Да, это справедливо, поскольку существует пропорция, как во времени, так и в пространстве. Если скорлупа

разбивается слишком рано, ничего не остается. Можно разве что приготовить скверный омлет. А упустишь время, цыпленок внутри умрет».

Сорок седьмая записная книжка почти полностью посвящена критике архитектуры Лигурийского побережья. Эти страницы настолько содержательны, что сегодня некоторые из набросков кажутся реальными рисунками нынешних условий. Так, например, подробно отображены обработка мыса Монако и сокращение террас. Но вот мечты об апельсиновых рощах уже кажутся причудливыми, поскольку Аристон ничего не знал о сюрпризе, который готовили экспериментальные ботаники.

Сорок девятая книжка тоже посвящена планированию.

«Планы на мир, — написал он на первой странице. — Взносы».

Похоже, он попросту развлекался таким образом через разные промежутки времени. При этом в нем проявлялись как блестящие пророческие ожидания, так и невероятные фантазии. Иногда, как и большинство пророков, он находил детали слишком сложными для себя и впадал в бурлеск.

Сохранилась длиннейшая запись очень современного оживленного спора об индивидуаль-

ности между ним и Хуанитой. В то время они, по-видимому, жили в Монтсеррате. По сути, заметки явились запоздалым анализом после окончания разговора, «выстрелом в убеждение», как это можно было бы назвать. Они уносят внимательного читателя на шестьдесят лет назад, когда влюбленная пара прогуливалась среди обвалившихся скал и ароматных кустарников под искривленными соснами. Оба остро реагировали на поток идей, свершивших окончательную революцию. Хуанита выглядела целеустремленной и критически настроенной. Аристона же болтало, как воздушного змея на сильном ветру.

«Индивидуум существует для вида. Это — бесспорно. Ну так и вид ведь тоже существует для индивидуума.

Человек живет для государства, чтобы жить за его счет — и вопреки — государству.

Жизнь — это маятник, который раскачивается между служением и утверждением. Сопротивляйся и повинуйся, сопротивляйся и повинуйся.

Порядок, дисциплина и здоровье делают мир безопасным и эстетически насыщенным.

Мы — стоики. А можем стать эпикурейцами.

Физические упражнения и дисциплина — это кухня, но не пища.

Здесь, как всегда — ПРОПОРЦИЯ. Но каким образом ее определить, кроме как эстетически?

Своеволие — суть жизни».

Так думали эти люди в 2046 году. Неужели мы действительно продвинулись намного дальше?

Глава 7
Межевская декларация

Теотокопулос и Хуанита присутствовали на конференции в Межеве, которая положила конец второму Мировому совету. Оба, по-видимому, занимались украшением временного городка, возведенного для этой цели на горных лугах. На нескольких страницах мы можем наблюдать красивые металлические конструкции в главном павильоне. Сохранился эскиз картины, которую впоследствии написал Теотокопулос. Во всех наших иллюстрированных книгах по истории фигурирует это творение. Престарелый Антуан Айала стоит рядом с самолетом, на котором ему предстоит улететь в выбранное им же убежище в Сьерра-Неваде. На сцену своей отставки он оглядывается с выражением задумчивого недоверия.

На его лице словно застыли две немые фразы:

«Кто бы мог подумать?» и «Да будет так».

Заходящее солнце светит ему в глаза. Он щурится, но, кажется, не обращает ни на что внимания.

В той же степени хорошо известен рисунок девяти членов Мирового совета, внимательно слушающих заявление секретаря Образовательного факультета Эмиля Донадье.

Это была самая мягкая из всех революций. Казалось, со времен боев на баррикадах, погонь, перестрелок и заказных убийств до нынешних революционных изменений прошло целое тысячелетие. Нельзя сказать, что Совет потерпел поражение. Скорее, он достиг своего апофеоза. Созидание окончательно утвердилось над формальным строительством и сохранением. Десять лет мнением Центрального совета пренебрегал то один, то другой Контроль. Разные виды Контроля предпочитали взаимодействовать друг с другом напрямую, без внешнего вмешательства. В конце концов, Образовательный факультет, находящийся под Контролем за здоровьем и поведением, инициировал созыв экстренного собрания. Тридцать лет назад Совет ввел «общие правила поведения». Согласно положениям этой инициативы, запрещался обнаженный атлетизм.

Образовательный факультет единоличным решением данный запрет отменил. Вопрос, при его кажущейся пустяковости, привлек пристальное внимание Совета. Было принято решение подыскать повод и, воспользовавшись им, утвердить свой авторитет.

Ветеранскому руководящему органу поставили прямой вопрос:

Существует ли еще в мире Верховное правительство?

Вероятно, кому-то казалось, что существование высшего руководящего органа совершенно необходимо. Деликатный доклад Эмиля Донадье это предположение развеял. На Собратьев спустилось озаряющее откровение об идеях времен юношеского пыла и кипучей энергии. Теперь же вдруг обнаружилось, что Мировое государство по-прежнему представляет собой воинствующий орган.

В те дни потребность в сосредоточенном руководстве преобладала над всеми другими соображениями. Необходимо было продолжать бороться и навсегда уничтожить обширные системы привязанностей и убеждений, которые разделяли, вводили в заблуждение и растрачивали энергию человечества. Хаос производства

и распределения индивидуальной прибыли следовало заменить упорядоченной мировой экономической системой. Но как только масштабное изменение осуществилось, а его постоянство принялась обеспечивать реконструкция образования на основе всемирной истории и социальной науки, воинствующему Мировому государству пришел конец. Точнее, задача Мирового совета подошла к концу.

— А кто тогда будет править миром? — спросил самый молодой и амбициозный член Совета Эрик Гуннарссон.

— Отпала необходимость им править, — уверенно ответил Донадье. — Мы сделали войну невозможной. Мы освободились от великих антиобщественных традиций, которые настраивают человека против человека. Мы сделали невозможной способность одного человека превращать другого в раба через нищету. Факультеты здоровья, образования и поведения сделают так, что теперь все люди станут правильно себя вести. Продовольственный, Жилищный, Транспортный, Одежный, Снабженческий, Инициативный, Дизайнерский и Исследовательский Контроль выполнят всю остальную работу. Верховному правительству больше нечего делать.

В нем отпала нужда. За исключением разве что только того, чтобы наслаждаться созданным миром и видеть, как он хорош. И да будет так!

— Да, — сказал Эрик Гуннарссон. — Но…

Эти слова отражены в фонографической записи дебатов. И с этими двумя словами Эрик Гуннарссон, амбициозный молодой человек, который, возможно, когда-то мечтал стать мировым президентом, исчез из истории.

Вкратце Донадье рассказал о том, как у человечества складывались управленческие дела. Сначала человек мог мыслить только в персонификациях и должен был постоянно представлять себе племенного Бога и племенного Вождя, потому что не мог представить себе организованного сотрудничества каким-либо другим путем. Вожди, а затем цари оказывались слишком эгоистичными и недостаточно общественными личностями. Они могли достигать только самых узких племенных и национальных идей, поэтому возникла необходимость контролировать этих людей. С этой целью появились парламенты, ассамблеи и конгрессы, но и они со временем стали ненужным хламом. Правящие органы сковывали людей сквозь века разногласий. И вот, наконец, человечество сплотилось в гарантированном

постоянстве благодаря цементу универсального всеобщего образования.

Суть дальнейшего обсуждения отобразилась в «Межевской декларации»:

«Мировое государство поглотило и уничтожило все остальные. Верховное правительство, уничтожив все другие, исчерпало себя. Наши долгие, часто слепые и неправильно направленные усилия в борьбе за мир и безопасность, наконец, увенчались успехом благодаря этому великому Совету, который теперь уходит в отставку. Он удаляется под аплодисменты и изъявления благодарности всего человечества. В спокойствии и безопасности мы смотрим на то, чего достигли. Перед нами планета с ее неисчерпаемыми возможностями, наши собственные пока еще не совсем развитые способности и вся полнота изобильной жизни. Это великий день, и это великий час для навеки объединенного человечества. Мученичество человека подошло к концу! От полюса до полюса не осталось ни одного человека без справедливой перспективы самореализации, здоровья, интереса и свободы. Больше нет рабов, нет нищих, нет тех, кто по своему рождению обречен на низший статус, нет узников, приговоренных к длительным срокам

тюремного заключения, нет людей, страдающих умом и телом, которым не помогала бы наука и соответствующие службы. Перед нами весь мир, и мы вольны поступать с ним так, как нам заблагорассудится, по мере своих сил и воображения. Окончена борьба за материальное существование. Мы победили. Отпала необходимость в репрессивных и дисциплинарных мерах. Теперь начинается борьба за истину и красоту, не стесненная никакими низменными императивами. Отныне никто не будет жить меньше, чем может. И никто не станет меньше, чем он есть.

Мы должны уважать всех и каждого. Это легко благодаря нашему воспитанию. Мы должны хранить верность денежному обращению, открытости и ответственности за общественный мир, здоровью и порядочности. Это общие обязательства гражданина, с помощью которых достигается всеобщее благо. Каждый должен внести свой скромный вклад в удовлетворение мировых потребностей. Отныне МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ! Ни в какой части мира, ни в какой работе в мире, ни в каком удовольствии, если оно не причиняет вред окружающим, нам не отказывают. От всего сердца мы говорим спасибо Героическому Совету! Мы

благодарны тебе безмерно!»

Часть пятая
Современное государство контролирует все
Глава 1
Утро понедельника в сотворении нового мира

Межевская декларация была опубликована в 2059 году. На этом закончился начальный период Эпохи Современного государства. Давайте подытожим эту историю в самых общих чертах. Мировое государство появилось смутно и уклончиво, как стремление, как отдаленная возможность, как предложение Лиги Наций, во время Мировой войны 1914–1918 годов. В течение нескольких десятилетий краха и катастроф оно набиралось опыта и определений. В 1965 году официально вторглось в мировую политику на Конференции в Басре как явно единственно возможное решение всех человеческих проблем. И вот теперь оно завершило завоевание человечества.

Систематическое закрепление этого завоевания приняло по-настоящему серьезный характер

после Второй конференции в Басре в 1978 году. Мировой совет поставил перед собой настолько немыслимые задачи, что даже самые смелые социологи не отваживались встретиться с ними лицом к лицу. Эти специалисты довольствовались благочестивыми устремлениями и пребывали в трусливой надежде, что, если задачами пренебрегать, они каким-нибудь волшебным способом разрешатся сами собой. Это были не просто задачи! Это были задачи глубочайшей ментальной реконструкции! Их планировалось погрузить как можно дальше в субстрат индивидуальной жизни, то есть сделать то, чего никто не делал раньше. Национальные традиции навсегда отменялись, а расовые предрассудки предстояло заменить на расовое понимание. То есть речь шла о позитивной работе в условиях огромного сопротивления. Язык должен был стать универсальным. Тот или иной из великих литературных языков следовало сделать доступным для всех. Этого опять-таки нельзя было добиться посредством простого «хочу!». Ну и, наконец, следовало как-то решать вопрос с различными квазивселенскими религиозными и культурными системами, такими как христианство, иудаизм, ислам, буддизм и так далее, которые вплоть до конца XX

века еще активно боролись с движением Современного государства за человеческие души. Эти конкурирующие между собой опасные культы, все еще сохраняя свою целостность и становясь убежищами для оппозиционных сил, намеревались не только нанести ощутимый ущерб, но и при возникновении такой возможности разрушить новый мировой порядок.

Мы уже рассказывали, как разрешился данный вопрос, и показали, насколько необходимо было привести всю моральную и интеллектуальную подготовку нашего вида в прямые и простые отношения с организацией Современного государства. После 2020 года в мире не зарегистрировано ни одной открытой школы, кроме школ Современного государства. Христианство там, где оно оставалось священным и неподатливым, Собратья подавили, но на большей части мира они не стали применять против этой религии слишком суровых мер. Ее попросту растворили в современности довольно деликатным способом. Дары христианства исчезали во всеобщем упадке. Оно больше не могло находить образованных людей, желающих ему служить. Церкви стояли заброшенными и пустыми. Когда началось великое переустройство мира, большинство

из них исчезли вместе со всеми другими старыми зданиями, которым не хватало красоты и общественного интереса. Их убрали, как опавшие листья.

История ислама развивалась приблизительно в том же ключе. Он уходил с мировой арены даже более охотно, чем христианство, по причине слабой образовательной базы, что оказалось тесно связано с обучением арабскому языку. Упадок этой сферы разрушил сплоченность верующих точно так же, как это случилось с западным христианством из-за неупотребления латыни. Вера мусульман оставила несколько десятков красивых мечетей, как христианство оставило несколько десятков красивых часовен, церквей и соборов. В изобилии остались легенды и предания, куда более милостивые и прекрасные, чем религия, откуда их извлекли.

Вместе с тем широко распространилась вера в стойкость и солидарность иудаизма. Евреи держались особняком, питаясь особой пищей и следуя особым религиозным обычаям. Нация в нации — в каждом государстве мира. Всюду, где только можно, нарушая коллективную солидарность, они вызывали хроническую головную боль у большинства государственных деятелей.

Им была свойственна специфическая социальная игра под названием «туда-сюда». Никто никогда не мог сказать с точностью, является ли еврей гражданином или он только еврей. Эти люди занимались преимущественно торговлей. Еврейские стандарты поведения часто раздражали представителей иных течений.

Можно было бы предположить, что у столь рассеянного народа сформируются и космополитический менталитет, и удобная связующая организация для многих мировых целей, но особая культура изоляции стала настолько сильной, что евреи этого не делали и, казалось, не стремились пытаться. После Мировой войны ортодоксальные евреи играли слабую роль в первых попытках сформулировать идею Мирового государства. Куда больше их интересовала мечта, которую принято называть Сионизмом: мечта о фантастическом независимом государстве в Палестине, которая, согласно Вавилонской легенде, являлось первоначальным домом для семитоязычных народов. Только психоаналитик мог бы рассказать, зачем евреям понадобилось сионистское государство. Само это желание ярко подчеркивало традиционную волю к отделению от основной массы человечества, что не могло ее не раздра-

жать.

В начале XX века непопулярность Израиля заметно усилилась. Это объяснялось явно денежной сутью экономического спада. Что-то глубоко разладилось благодаря деньгам и кредитам. Евреи всегда имели и поддерживали репутацию непревзойденного понимания денежных процессов. Тем не менее, в трудных условиях от евреев не исходило никакого авторитетного руководства. Почти все ведущие умы, занимавшиеся монетарной реконструкцией, евреями не были. У обычного человека в связи с этим возникал естественный вопрос: «А где же евреи?» Начали возникать нелепые подозрения, которыми отдельные неблагопристойные личности принялись ненавязчиво спекулировать.

«Если евреи гордятся и страдают, — поговаривали лукавые подстрекатели, — из-за своей упрямой решимости оставаться «особенным народом», значит, в этом что-то кроется».

Тем не менее, между 1940 и 2059 годами эта устаревшая упрямая культура исчезла. Сионистское государство, кошерная пища, Закон и все остальные атрибуты полностью слились с человеческим сообществом. Евреев не подавляли и уж тем более не истребляли. Погромы случа-

лись в Голодные пятидесятые. Специфического преследования при Тирании не было вовсе. Евреев просто перевоспитали за три поколения. Их отвлекли от Заповедей Моисея, Авраамова Завета и глубокого заблуждения о некой богоизбранности; научили истине о них самих. Мир, как и прежде, полон мужчин и женщин семитского происхождения, но «Израилю» они больше не принадлежат.

Этот успех — люди XIX века сочли бы его чудом — объясним двумя вещами. Первая из них заключается в том, что революция Современного государства была, прежде всего, образовательной и лишь во вторую очередь политической. Она проникла в общество куда глубже, чем любая предыдущая. Кроме того, происходило это при новых и более благоприятных условиях. В XIX веке семейная группа перестала быть эффективным ядром как экономической, так и культурной жизни. Оказалось, что вся исключительность еврея объясняется закрытостью и охраняемостью плодовитого дома. Существует огромная коллекция художественной литературы, написанной евреями для евреев в начале XX века, где описывается слабость извечного домашнего обучения и конфликт между старым и обновленным поко-

лением. Распад Израиля начинался уже тогда.

Общий разум следующего поколения формировался уже не столько евреем или не-евреем, сколько газетой и школой. После 1940 года образование повсеместно перешло в домашнюю форму; теперь же все вставало обратно с головы на ноги. Движение Современного государства захватывало учителей и воссоздавало народное образование, пресекая любые попытки возродить конкурирующие школы. Даже если бы еврей того пожелал, у него уже не оставалось возможности оставаться особенным ни едой, ни умом, ни телом.

Полной солидарности человечества удалось достигнуть к 2060 году. Исчезли последние тени неприязни и недоверия между различными культами, расами и языковыми группами. Фалез, один из редакторов Де Виндта, назвал этот процесс «ментальной исторической концепцией». Эпоха разочарования являлась, по сути, эпохой борьбы за достижимые цели, несмотря на сопротивление путаного человеческого разума. Межевская декларация оказалась не только утверждением победы и свободы нашего вида, но и демонстрацией достигнутой ясности.

Итак, завеса сепаратистских мечтаний, ра-

совых фантазий и человеконенавистнических кошмаров исчезла без следа. Всеобщий мозг пробудился. И что же он увидел? Маленькую залитую солнцем планету с крайне скудной флорой и фауной. Хрупкий шарик с неожиданно великими и неиспользованными ресурсами. Перед серым мозговым веществом открылись почти безграничные возможности умственных достижений. Все, что сделал человек до сих пор, казалось каракулями маленького ребенка, прежде чем глаза и руки научились достаточной координации, чтобы рисовать по-настоящему. Это напоминало движения слепого котенка. Теперь же глаза человека широко раскрылись.

Эта маленькая планета, которой он в своих мечтаниях беззаботно овладел, выглядела недоразвитой и опустошенной. Ее изуродовали слепая ненависть и долгие безрассудные войны. Вплоть до шестидесятых годов XXI века земные пейзажи все еще свидетельствовали о затяжных боевых действиях. Исчезло большинство линий раздела, барьеров и собственно границ между суверенными государствами; не осталось фортификационных сооружений и стратегических укрепрайонов. Тем не менее, у человека все еще сохранялась неуверенность как в эффективности

внешнего контроля, так и в собственном достойном поведении. Для того, чтобы полностью ликвидировать саму возможность свободных частных полетов, которые все еще допускались после 2040 года, Собратья разработали широкую систему аэродромов. Дороги отнюдь не случайно строились очень широкими, поскольку в таком виде их также можно было использовать в качестве взлетно-посадочных полос, что, в свою очередь, позволяло практически мгновенно реагировать на любую угрозу мятежа. С воздуха или по карте сложно было не заметить, что мир по-прежнему «управляется». Дорожная система выглядела прочной сетью, накинутой на опасного зверя.

И столь же заметным выглядело качество недавних завоеваний в социальной и экономической областях. Как и предсказывал Аристон Теотокопулос, Второй совет сильно переусердствовал с набережными. Более того, казалось, что он недоверчиво относится даже к самой воде. Водохранилища и реки, по словам художника, приобрели «задиристый вид». Все смотрелось очень уродливо — фермы, шахты, свалки, фабрики, сами рабочие, а также трущобы и лачуги, где им приходилось ютиться. XXI век ставил жир-

ную точку на ужасном убожестве конкурентной эксплуатации. В середине предыдущего столетия вырубка лесов и лесные пожары подвергли мир опустошению. И вот теперь лесной массив практически самостоятельно интенсивно восстанавливался. Деревья росли везде, где только возможно.

«Да будет рост! — громогласно объявил Совет. — И не надо ему мешать!»

Растительный покров принялся отвоевывать прежнее пространство. Тем не менее, повсюду все еще ощущалась скрытая угроза потенциального неповиновения. Человек отчаянно боролся и победил. Но только теперь он нашел время рассмотреть любые, а не только самые непосредственные и поверхностные возможности своей планеты.

Зрелище из летающей машины, каким его увидели межевские делегаты сорок семь лет назад, действительно резко контрастировало с мировым садом, где нам довелось жить сегодня. Неуклюжая рациональность и страх перед эстетизмом преследовали членов Совета до самого конца. Искусственный ландшафт, как его ни планировали, неизменно получался неэлегантным и невыразительным.

«Мосты и дороги, — однажды заметил Теотокопулос, — проектировались бегемотами или носорогами».

Справедливости ради следует отметить, что пришедшая из эпохи воздушных налетов склонность к приземистым формам постепенно уходила. Появилась новая общая тенденция — строить здания очень прочными и большими. Иногда в них ощущалась определенная грандиозная смелость, но чаще в нагромождении нелепых деталей присутствовала какая-то милитаризованная глупость. Дома словно выстраивались по стойке «смирно». Обилие пилонов выглядело явно излишним; так проявлялась неодолимая страсть к безупречной прочности.

Обогащение Земли растительностью шло очень медленно и далеко не везде. По-прежнему было слишком мало лесов и пахотных земель. Планета сильно пострадала полтора столетия назад. Но леса и степи восстанавливались не просто так. Из них тщательно изымались сорняки и разного рода бесполезная флора. Несмотря на недостаточно грамотное руководство со стороны Отдела лесного хозяйства, многие искалеченные болезнями деревья все-таки удалось вылечить. Правда, в то время они были

куда ниже, чем теперь. Сегодняшним молодым глазам мир наших отцов и дедов, изображенный в книжках с картинками, кажется не только упорядоченным, но и бесплодным. Облагородить его оказалось делом весьма трудоемким.

И, тем не менее, по сравнению с пейзажем двухвековой давности этот мир выглядел куда более процветающим, просторным и упорядоченным. Присутствовало что-то очень трогательное в свободно выраженной реакции народа XIX века как на городской и сельский ландшафт, так и на природные пейзажи. Люди того времени вряд ли могли подумать о том, что их потомки окажутся столь сдержанными в эмоциях при виде открывающихся красот. Во всяком случае, и тогда, и сейчас в небесах проплывали одинаково прекрасные облака, так же восхитительно вставало и садилось солнце. Да и побережье Западной Шотландии не переставало удивлять и до, и после установления Современного государства. Наши предки переносили утомительные путешествия только ради того, чтобы насладиться видом заснеженной горной вершины или заглянуть в полузатопленный грот. Они любили воду, леса и далекие поля на широком горизонте, и города, которые воспринимались нагромождениями

геометрических фигур. А еще те, кто жил до нас, радовались цветам, зеленому мху и каждой малой букашке. Сегодня мы понимаем, насколько тщательно они подбирали для эстетической оценки все эти знаки и вкладывали их в свою живопись и литературу. И это позволяет нам ясно осознать, насколько скучными и унылыми на самом деле представали перед ними все эти бесконечные дороги, однообразные домишки и всеобщее запустение.

Преобладающей нотой XIX века стала слабенькая безвкусица, которая легко вырождалась в удручающую подлую нескладность. Америка замерзала на севере, неопрятно одевалась на юге и везде выглядела нечистоплотной. В те времена люди жили мало, часто болели и по этой причине располагали скудной внутренней энергетикой. Не видя ничего другого перед собой, они не могли сравнивать и соответственно не проявляли недовольство несовершенством природы и пейзажей. Едва ли кто-нибудь в литературе девятнадцатого столетия отваживался признаться, что мир изможден, неудовлетворителен и совершенно несимпатичен. Писатели и поэты не признавались в этом, потому что не имели ни сил, ни надежды изменить что-то к лучшему. Они

не видели, как это можно подчинить элементарному закону психики.

При Втором совете всеобъемлющей критике подверглись как человеческий успех, так и естественная недостаточность, потому что ни то, ни другое больше не считались окончательными. Делегаты озаботились не только слишком тяжелой техникой, слишком массивными зданиями и откровенно, чересчур, широкими дорогами. Другой проблемой стала незаселенность огромных территорий. Болота и кустарники, дикие голые скалы, районы, где месяцами не выпадает ни капли дождя, лавиноопасные склоны. Это был *мир обещаний,* которые только предстояло выполнить.

«Теперь мы можем начать, — отважно заявили новые люди. — Для этого самое время!»

Глава 2
Управление планетой

Известно с незапамятных времен, что растительность земли и моря, от которой зависит объем и сила всей остальной жизни, несоизмеримо превосходит доступную влагу и солнечный свет. Еще в тридцатых годах XIX века английский

ботаник-экономист Фредерик Кибл (1870–1975, Коллективные работы в Научном отделе переизданий) отмечал, что в размножении диатомовых водорослей, сезонных трав и овощных культур наблюдались существенные задержки роста и развития из-за того, что при самых благоприятных условиях слишком медленно усваивался азот. Ученый отличался тем, что сельским хозяйством и навозом мерил практически все стороны человеческой жизни и настаивал на том, что мы живем в «мире, страдающем от недостатка азота». В самом деле, этот химический элемент крайне неохотно отдается органической материи. Для большинства людей это наблюдение Кибла пролило новый свет на предполагаемую щедрость природы. Коллеги провели опыты с другими элементами. Карлос Метом (1927–2014) в одном из отрывков своей поразительной работы сравнил жизнь на нашей планете с «жеребенком, который умирает от голода на бесплодном участке, потому что так и не научился находить зеленые пастбища».

Эта фундаментальная бедность земного существования прослеживается на протяжении большей части геологических летописей. Жизнь всячески проявляла свою скудность. Мы можем

отметить несколько периодов относительного изобилия; например, Угольный, когда казалось, будто что-то начинает налаживаться. Однако значительную часть зарегистрированного времени искатели обгладывали внешнюю сторону земного шара. К безграничным минеральным богатствам у них не было ключа. Ни один отдельный разум не смог бы проникнуть в эти кладовые невиданной природной щедрости. Это стало возможно только тогда, когда родился и вырос коллективный научный менталитет. Став бессмертным, он разъяснял, что гораздо более богатая растительная основа для животного и человеческого существования вполне достижима. И только теперь, когда безумная трата человеческой энергии на войну, несогласованную торговлю и извлечение прибыли навсегда подошла к концу, можно начинать пытаться все это реализовать. Сотни тысяч мозгов загорелись надеждой добиться на нашей планете такого жизненного изобилия и богатства, о каких вся Вселенная не могла даже и помыслить.

Второй совет в начале своего долгого правления не обладал достаточными знаниями о скрытых возможностях прикладной биологии, чтобы предвидеть фундаментальное обогащение. Он видел

свою роль в том, чтобы так или иначе развивать и разрабатывать технические изобретения XIX и XX века. Величайшим следствием такого подхода стали фактическая отмена расстояний за счет запредельных скоростей и тяжелого труда за счет силовых машин. Главная цель Совета состояла в том, чтобы навсегда установить человеческое единство и создать рамки прогрессивной общественной деятельности, которая обеспечит всеобщую занятость и универсальную покупательскую способность в условиях постоянно растущей промышленной эффективности. Собратья защищали мир от любой реакции на частную монополизацию, романтический национализм, религиозную эксцентричность и социальный раскол. Успех был достигнут там, где мировое сообщество никак не ожидало его увидеть. И тогда Совет столкнулся с куда более серьезной проблемой: Что делать с возросшим досугом?

Казалось бы, естественным выходом для избытка человеческой энергии следует считать развитие научных исследований в области глубоких минеральных ресурсов земной коры. На деле же вышло так, что Совет не использовал и трети доступных возможностей. Научная деятельность продвигалась очень медленно. Мировые

правители были слишком заняты подавлением вредных и устаревших сепаратистских доктрин. Общечеловеческий мозг никак не мог уловить и проанализировать, что исчезновение болезней растений и животных существенно поднимет общее благосостояние. Это оказалось за пределами воображения. Сложно было себе представить, насколько изменит жизнь поток биологических изобретений по сравнению с изобретениями техническими. Биологическим знаниям, так же, как и эстетической чувствительности, еще только предстояло достучаться до всеобщего сознания.

Начиная с тридцатых годов XXI века консерватизм Второго совета сдерживал все большее количество научных открытий, не позволяя им воплощаться на практике. Мир полностью объединился. Он поддерживал свое население (численность которого была значительно ниже скромной черты безопасности в два миллиарда человек) с ненавязчивой легкостью. Здоровье находилось на более высоком уровне, чем когда-либо знала природа, и никакие силы бытия не могли это состояние поколебать. Человечество стало похожим на подростка, но обращались с ним все еще как с малым ребенком.

Не раскрывались даже новые возможности того, как увеличить на планете растительный покров. Еще до 2050 года районы, которые требовалось снабжать продовольствием, могли бы сократиться вдвое. Тем не менее, Собратья решили, что если и в дальнейшем перемещать население, это может привести к нарушению социального порядка. Четыре или пять миллионов человек удерживались на здоровой, но не очень интересной работе в области сельскохозяйственного производства. При этом власть поощряла запросы о «промышленном использовании продовольственных излишков». В 2050 году производство и распространение основных продуктов осуществлялось строго по правилам, принятым тридцатью годами ранее. Регулярно появлялись обновленные сдерживающие разработки в области воспитания и жилищного строительства, что, в свою очередь, приводило к еще большей безопасности человечества.

В 2047 году Гомер Ли Пабст опубликовал свои выдающиеся исследования о влиянии некоторых газов на хромосомы. Ученый использовал опыт стерилизующего воздействия химических субстанций, полученных на основе газа «перманентная смерть». Сегодня они известны

как кинетогены Пабста. Была разработана целая серия этих веществ, чей общий эффект состоит в том, чтобы вызывать мутации различных типов. То, что раньше относительно редко делала космическая радиация, теперь ученые могли делать обильно и под своим собственным контролем. К 2050 году биологический мир столкнулся с десятками абсолютно новых видов растений. Появились и новые животные. Правда, здесь тоже не обошлось без некоторых нюансов. Так, например, вывелись два крайне прожорливых вида грызунов. Тем не менее, искусственная эволюция стала для человечества доступной.

Перед человеческим воображением открывались воистину безграничные возможности, и Совет поддался панике. Он вдруг обнаружил, что окружающим миром, который с таким трудом удавалось приводить в порядок, на самом деле правят монструозные растения и животные. Кошмар нашествия злых сорняков и странных зверей напугал не на шутку. Начало казаться, что угрозе подвергается сам человек. В результате появились законы, запрещающие эксперименты на животных. Всех генно-модифицированных тварей доктора Пабста следовало ликвидировать. При этом к растениям-мутантам отнеслись более

терпимо. Однако Пабст проигнорировал запреты и продолжал опыты в своих лабораториях, и научный факультет получил множество ценных знаний в области экспериментальной генетики. Когда Верховный совет лишили возможности вмешиваться, Контроль за транспортом и общим распределением совместно с недавно разработанной секцией Контроля за поведением и службой здравоохранения, рассмотрев результаты доктора Пабста, созвали научную конференцию (2060) для их рационального использования. Ее участники составили общий план направленной эволюции жизни на планете; план, который с различными поправками действует и поныне.

Большинство «диких зверей» наших предков сегодня контролируются в специальных вольерах и резервациях. Построено пятнадцать крупных парков общей площадью более пятисот квадратных миль, где различные представители особо интересной флоры и фауны живут в комфортных условиях без какого-либо человеческого вмешательства. Лишь изредка туда проникают высококвалифицированные наблюдатели, да время от времени над их головами пролетают исследовательские самолеты. Искатели приключений не допускаются. Существа в этих районах

меньше подвержены влиянию человека, чем их предшественники. Животные формируют ценный генетический резерв, на основе которого совершенствуются родственные виды. Самым поразительным результатом этих экспериментов стало утверждение Дюморика о том, что с помощью тщательно выверенного скрещивания и культивирования атавистических признаков он восстановил вымершего оленя.

Второй совет не зря занимался проблемой занятости для праздных умов и рук не при деле. Результатом стали грандиозные успехи в минералогии и области прогноза погоды. Правда, далеко не у всех сформировалось понимание, что систематическое наблюдение за ветрами и дождями само по себе способно нарушить стройную мировую упорядоченность. В самом деле, перспектива запретить ветру дуть там, где это подразумевается, полностью соответствовала духу Совета. В той же степени ему крайне импонировала возможность затыкать извергающиеся вулканы или предотвращать землетрясения. До 2000 года человек имел очень поверхностное представление как о земной коре в целом, так и о залегающих в ее недрах минеральных ресурсах. В своих изысканиях геологи практически

полностью полагались на особенности земной поверхности, случайные выбросы и разработки карьерным способом. Но количество доступных для исследования полезных ископаемых постоянно увеличивалось. Тем самым становилось возможным систематически зондировать более глубокие слои. В любом современном учебнике по геологии пытливый студент обнаружит такие потрясающие изобретения, как глубокоземельный бур Шанси, «прорицатель» Халла-Уоткинса и петрограф Ногучи. Благодаря этим инструментам скрытые объекты обнаруживаются на глубине до двадцати пяти миль. В том же учебнике рассказывается о множестве хитроумных устройств, позволяющих извлекать интересующий ингредиент в чистом виде, то есть без примесей и не повреждая окружающую породу. Всего сто лет назад такое даже сложно было себе представить. При доставке всего необходимого на поверхность не использовалась энергия, заключенная под землей. Скудный продукт из шахт Старого Света ВЫВОЛАКИВАЛСЯ наверх, а руды, уголь и соль фактически вырубались полчищами потных низкооплачиваемых рабочих.

Стоило Второму совету призадуматься над тем, что неплохо бы иметь более точный прогноз по-

годы, как метеорология тут же принялась шагать семимильными шагами. Здесь следует сказать, что эта наука получила свое практическое приложение совсем недавно. За исключением отдельных скромных опытов с барометром 1643 года, прогнозирование началось в XIX веке и не предпринималось систематически вплоть до 1850 года. Едва значимое изменение состава воздуха началось в первые годы XX века. Позднее человек обнаружил, что может извлекать из воздушных масс азот. Это делалось для дополнительного насыщения удобрений, но существенного воздействия на атмосферу при этом не оказывалось. До последней войны газ «перманентная смерть» не применялся в настолько крупных масштабах, чтобы он мог ощутимо изменить состав атмосферного воздуха над отравленным регионом. В тридцатых годах XXI века газ широко и повсеместно использовался для уничтожения саранчи, грызунов и различных вредных насекомых. Поначалу на этом направлении наметился ярко выраженный энтузиазм, но несколько несчастных случаев со смертельным исходом быстро охладили юношеский задор немолодого совета. Постепенно пришло осознание, что забрасывать в воздушные массы те или иные добавки, кроме

разве что очищающих, без внятного понимания, куда подует ветер, чревато самыми печальными последствиями. Разработанные газовые смеси закупорили в цистерны и спрятали подальше, что называется, до лучших времен.

Объединенная комиссия по перепланировке мира обнаружила, что три взаимосвязанные группы возможностей бросают вызов духу приключений. Новая флора, насчитывавшая несколько тысяч видов, ожидала выхода с экспериментальных площадок. Тем не менее, экспериментальная биология останавливаться на достигнутом не собиралась. Огромное и доселе неизведанное богатство минеральных веществ было готово выйти из глубочайших пород и освежить истощенную почву. Однако распоряжаться перемещением атмосферных фронтов по своему усмотрению было еще не под силу, несмотря на устранение частной собственности и локальных правительств. Второй совет, бесспорно, одержал победу, но полной она не была. Энергия, высвобожденная Советом, расчистила себе путь и, обернувшись беспрецедентной изобретательностью, устремилась к перемене лица и самой сути жизни.

Комиссия по перепланировке приступила к вы-

полнению своей задачи с неторопливой энергией плоти, в которой нет необходимости испытывать неуверенность или нервозность.

«Жизнь и так хороша, — говорится во Введении к проекту Плана. — Но частью фундаментального жизненного блага является то, что в нашем распоряжении имеется столько постоянной новизны, сколько мы пожелаем. Но мы должны постоянно заботиться о должной пропорции. Именно отсутствие соразмерности в развитии новых вещей являлось главной причиной огромного количества мук и разочарований в течение последних пяти столетий. Теперь у нас есть организация контроля, способная сдержать любой конгломерат спазмолитических предприятий, напичканных наемниками. А ведь это именно они, такие промышленные конгломераты, и привели в итоге к катастрофе весь XX век. Перед нашими глазами все те последствия, что являются делом наших же рук.

В конце концов, мы сможем обнаружить, что Верховный совет все сделал правильно. Он не одобрил немедленное применение недавних изобретений. В особенности это касается нашего биологического успеха в области генетики. Поступи он иначе, фундаментальные диспропорции

привели бы к катастрофе. Мы бы вернули мир туда, откуда он и пришел: в капиталистическую цивилизацию образца XIX века.

Особая область, в которой мы предлагаем сохранять предельную сдержанность, заключается в применении быстро развивающейся науки генетики к увеличению изменчивости в том, что касается людей и, возможно, некоторых других высших млекопитающих. Мы считаем, что сегодня выразим мнение всего нашего вида, выступив категорически против любых подобных экспериментов. Принят закон, согласно которому безболезненно уничтожаются разного рода монстры и дефектные особи, а относительно безобидные экземпляры подвергаются газовой стерилизации, дабы не допустить оставления потомства с явно нежелательными признаками. Мы полагаем, что человечество должно обращаться со своей наследственностью предельно осторожно до тех пор, пока наши знания об источниках нашего поведения не окажутся достаточными. В течение века или около того мы можем быть довольны человечеством, каким оно является сейчас: человечеством, которое больше не страдает и не доведено до жестокости перенаселенностью, недостаточным питанием,

инфекциями, психической и физической отравой любого рода. В человеческом мозге остается еще целая кладезь явно недоразвитых способностей. Нам предстоит с радостью исследовать их посредством творческих усилий, по меньшей мере, несколько следующих поколений. Нормальную человеческую жизнь вполне возможно очистить, продлить и усилить. Этим мы и предлагаем довольствоваться. У нас впереди миллионы лет, прежде чем в нашей окружающей среде произойдут какие-либо фундаментальные изменения.

Как только мы переходим от человечества к другим формам жизни, становится очевидным, что перед нами открывается самая привлекательная область. У нас могут быть новые прекрасные леса, травянистые растения; мы можем заменить сорную или скудную зелень прошлого более тонкой и более живой текстурой. В наших силах вызвать из небытия невиданные прежде плоды и цветы. Можно сотворить насекомых, от которых так много зависит, более полезными по отношению к человеку. Мелкую живность уже сейчас можно разнообразить в том ключе, чтобы она переходила в состояние сносного дружественного сосуществования как внутри своего вида, так и между разными видами. По мере того,

как наши руки становятся все более умелыми, мы приобретаем возможность все более и более уверенно нарушать жизненный баланс. Теперь, когда человек в здравом уме, страха перед изобилием больше нет.

Планирование человеческой деятельности на ближайшие несколько поколений не повлечет за собой никаких фундаментальных изменений для нашего биологического вида. Это будет продолжением той жизни, к какой всегда стремилось человеческое создание, какой бы мрачной, запутанной и безуспешной она ни была. В настоящее время преднамеренное управление погодой является для нас слишком сложной задачей, но мы твердо знаем, что отныне способны устанавливать точный календарь погоды на год или даже более того. Следует понимать, что глобальное переустройство почвы, флоры и фауны потребует полной перестройки шахт, глубоких карьеров, дорожной сети и даже морского транспорта. Все это совсем не обязательно должно становиться уродливым и отталкивающим, даже в процессе строительства. Все это можно сделать очень удобным и чрезвычайно интересным. Инженерное сооружение, которое еще совсем недавно выглядело неуклюжим и чудовищным, теперь

становится грациозным, как пантера. Раньше заводы густо дымили, извергая золу и сажу, из цехов вывозили тонны промышленного мусора. Теперь же промышленные предприятия в своих привычках больше походят на хорошо обученную кошку. Мировое планирование Второго совета предназначалось, видимо, для статичного общества, поэтому в дальнейшем устаревшие положения следует отвергать. Не приходится сомневаться, что и наши с вами достижения, спустя какое-то время, уступят место еще более смелым и красивым предприятиям».

Так закрутилось начинание, ставшее известным под названием План ввода-вывода от 2060 года. Сегодня большинство из нас все еще погружены в его реализацию. Он дал миру занятие без рабства и досуг без скуки. Когда на какое-то время нам надоест заниматься своими делами, мы улетим — или зайдем за угол — посмотреть, что делают другие люди. Мир полон интереса и восторга, от джунглей Амазонки с ленивцами, пумами, обезьянами и аллигаторами до заснеженных гималайских гор. У нас имеется возможность отправиться на экскурсию в самые верхние слои атмосферы или самые глубоководные галереи, где мы сможем понаблюдать

за огромными головоногими моллюсками, спешащими на кормежку, или за стремительным ростом гигантской жемчужины.

Мы уже настолько привыкли к изяществу, красоте и разнообразию во всех деталях и общих формах, что, просматривая фотографии или слушая аудиозаписи семидесятилетней давности, нам сложно уловить, насколько хрупким представлялось спокойствие первых десятилетий человеческого единства. Поначалу казалось, что измученный братоубийственной бойней, болезнями, экономическими кризисами и общей тщетностью бытия человек настолько напуган мыслью о любом возвращении к старым беспорядкам, конфликтам и экономическому каннибализму, что способен только слушаться, и ничего более. Но он набирался храбрости. Это происходило не только в окружающем мире, но и в нем самом.

Глава 3
Геогоническое планирование

В основе нашей текущей деятельности лежат так называемые «отсроченные проекты». Перво-наперво это, конечно же, стимулирова-

ние изменчивости человека. Вторым вопросом на повестке дня стоит коррекция земных контуров. Здесь также присутствует нечто такое, что кажется нам слишком великим и слишком опасным для нашего теперешнего состояния мудрости. Тем не менее, это представляется нам неизбежной перспективой. Так или иначе, рано или поздно, наш вид в конечном счете начнет пытаться это делать.

В настоящее время и в течение многих поколений мы все еще остаемся созданиями и субъектами географии. Океаны и горные цепи определяют нашу жизнь. И не только. Еще они определяют места обитания и тип человека, который приспосабливается жить в той или иной местности. У каждого из нас, вне зависимости от предпочтений, телосложения или, скажем, цвета волос, имеется свое особое лучшее место для воспитания собственных детей, работы и отдыха. Человек может сколько угодно долго скитаться, где ему заблагорассудится, но только в определенном месте он почувствует себя как дома. Нет таких, у кого дом везде. Не бывает универсального человека. Только на плоской и однородной земле такое существо могло бы появиться. На нашей планете процветает необходимое разнообразие,

и никто не собирается его умалять.

Но современный географ все равно ставит перед нами животрепещущие вопросы. Возможна ли классификация мест обитания на желательные, нежелательные и враждебные? Не происходит ли в связи с восстановлением лесов изменение планетарных уровней? Не приведет ли прогресс к значительному увеличению желательных мест обитания за счет перераспределения осадков, изменения стока поверхностных вод, защиты от ветра и так далее? Например, небольшой подъем Апеннин привел бы их к круглогодичному снежному покрову. Это изменило бы характер всего итальянского полуострова. А само по себе увеличение желаемых мест обитания могло бы привести к увеличению разнообразия желаемых типов людей.

Еще вчера подобные вещи казались «химерическими». Сегодня они осуществимы, но не нужны, поскольку способны спровоцировать повышенную вулканическую активность. Так что пока геогонист, как и генетик, должен довольствоваться мечтами — в его случае мечтами о том, чтобы приблизить огнедышащую планету к растущим потребностям человека. Черед переделывать мир наступит, возможно, через тысячу лет или около

того. То есть у нас еще полным-полно времени.

Глава 4
Изменения в контроле за поведением

За последние сорок восемь лет произошли очень серьезные изменения в социальном контроле за индивидуальным поведением. Во всем мире наблюдается весьма значительный рост науки, квалификации и профессионального мастерства учителей, но, помимо этого, глубоко изменился характер целей не только в образовании, но и в полицейском надзоре.

Образование, каким мы его понимаем сегодня, зародилось примерно в середине XX века. Оно имело лишь самую тонкую связь с образованием предшествующей эпохи, так же как образование христианского мира имело лишь самую тонкую связь с образованием языческого мира. Чтению, письму и счету обучали во всех трех системах, но помимо этого сами цели разительно отличались. После обнародования гениальных идей Густава Де Виндта образование превратилось в пропаганду Современного государства. Оно стремилось установить новую законченную идеологию и воодушевить человека, побудить

его к тому, чтобы он направил всю свою деятельность на одну определенную цель — достигнуть и затем поддерживать прогрессивный мировой социализм, используя эффективную денежную систему в нормальной среде отношений.

Это казалось, да и было гигантским предприятием, но оно столкнулось с колоссальными препятствиями. Для продолжения цивилизации это являлось насущной необходимостью. Альтернативой мог стать только возврат через хаотическое варварство к беспечности животных и окончательное вымирание. Следовательно, модель мышления и поведения должна сформироваться так, чтобы не отвлекаться ни на что другое. Современное государство стало неотъемлемой обязанностью человека. Пропаганда неизбежно переходила как в подготовку к государственной службе, так и во всеобщее государственное образование. Всемирное Братство обязалось навязать свой собственный тип обучения всему миру. Предстояло сотворить Новое человечество, не признающее никаких компромиссов. Это сделало всю образовательную систему воинствующей. Пресекались любые попытки создать иной тип школы или иную образовательную систему. Никогда еще человек

не был настолько нацеленным на конкретное направление и дисциплинированным.

Деятели образования периода Первого совета и Воздушной диктатуры проявляли особенное усердие в сдерживании того, что они называли «отклоняющимися мотивами». Какие же образовательные идеалы отличали этих людей, которые намеревались изменить мир? Строгость в еде и питье, выносливость в физических упражнениях, ревность к досугу и глубокое недоверие к эстетическим и чувственным наслаждениям, в особенности к сексуальному возбуждению. На ранних этапах прогрессивной и революционной мысли XIX века в частном поведении отмечалась определенная распущенность. Это был бунт против того, что называлось «христианской моралью». Так проявилась склонность не только потворствовать, но и поощрять потворство в формах, которые ранее запрещались. Большая часть этого «либерализма» в поведении исчезла из революционных кругов ко второму или третьему десятилетию XX века. По мере своего развития Современное государство проникалось неодобрением ко всякого рода эмоциональным привязанностям, которые мешали общему делу, попусту растрачивали время и энергию. В них

было слишком много интриги, и они подрывали дисциплину, снижали в массах уровень лояльности. Даже христианство на самых воинственных стадиях не настраивалось настолько решительно против рассеивания энергии именно в этом направлении. Новый сексуальный пуританизм отличался от старого терпимостью к контролю за рождаемостью, пренебрежением к формальному браку и определенным милосердием к первым эксцессам молодости, но он с еще большей энергией настаивал на общественной порядочности и желательности сексуального глубокомыслия, а также длительных половых связей и полной верности между любовниками. В результате мир стал гораздо более моногамным, благопристойным и порядочным. Пожалуй, настолько, как никогда прежде.

Сегодня многие критики склонны считать репрессии того времени чрезмерными. Мы находимся в другом временном отрезке. Воинствующая эпоха ушла в прошлое. Существует мнение, согласно которому в те годы строжайшей дисциплины под морозной поверхностью моральных установок скрывалось огромное количество тайных пороков и ментальных искажений, и что бесспорная суровость и упрямство

Второго совета стали прямым следствием его негибкого пуританизма. Второй совет, не стесняясь, называют сборищем садомазохистов. Но это ни в коем случае не единодушное мнение. В наше время достаточно сложно со стопроцентной объективностью оценить, насколько были распространены подавленные желания и мотивы, скрывавшиеся под упорядоченной и здоровой деятельностью созидательного времени. Это самая сложная психологическая проблема — подвергнуть качественному и количественному анализу как сексуальное влечение само по себе, так и стремление его в разумных пределах обуздать.

Наши исследователи денно и нощно корпят над литературой, биографиями, дневниками, живописью, полицейскими отчетами, пытаясь восстановить исчезнувшие психические состояния ушедших поколений. Кажется, в этой сфере присутствует какой-то ритм. Сопоставим два контраста: один — между сегодняшним днем и условиями семидесятилетней давности, а второй — между общественной жизнью в Англии в 1855 и 1925 годах. Там также образовался период крайней сдержанности и приличия, позднее уступивший место периоду удивительной свободы. Мы можем проследить каждый из них, поскольку

все они подробнейшим образом задокументированы. Нет оснований полагать, что предыдущий период заключал в себе сильное напряжение и страдания. Отсутствие яркого возбуждения приводило к упорядоченному течению сексуальной жизни. Это не коснулось политики и деловой активности, но зато проявилось в пьесах и романах, подобно тихому домашнему животному, о котором не принято слишком много говорить. Оно выходило из комнаты всякий раз, когда это необходимо. К 1920 году Англия оказалась готова к тому, чтобы стать исключительно возбужденной в сексуальном плане. Новым веянием заразилась молодежь. По мере того, как серьезность экономических и политических проблем возрастала, а структурная неустойчивость мира становилась все более очевидной, сексуальные увлечения, похоже, стали своего рода убежищем от умственного напряжения, которого требовала борьба. Тем самым люди отвлекали себя от огромных требований ситуации, поднимая большой шум по поводу любых обострений и отклонений в личной жизни. Среди самой продвинутой молодежи велась настоящая пропаганда наркотиков и гомосексуализма. Будучи крайне отзывчивой к пристрастиям аудитории, литература вдруг

встала с ног на голову и беззастенчиво продемонстрировала свои интимные места. Это в изобилии породило как высокопарную, так и шутливую порнографию, причем часто с элементами садистского подстрекательства. Ресексуализировалась религиозность, и в речи с богатой эффектностью стали использоваться непристойные слова. Сегодня все это доступно для тех, кто хочет более тщательно изучить вопрос. Читатель не найдет это чтиво ни шокирующим, ни отвратительным, ни захватывающим, ни интересным. Скорее, комично претенциозным и прискорбно глупым.

Неудивительно, что, героически борясь с огромными социальными потрясениями и пытаясь наладить реконструкцию общества, Современное государство с откровенной антипатией отнеслось к эстетическим и сексуальным занятиям подобного рода. Скольких подающих надежды молодых людей оно потеряло из-за этой моральной заразы! Надо сказать, что Братство с самого начала склонялось к пуританским взглядам. Но в первое время они были, скорее, ненавязчивыми, а после романтических провалов Первого Мирового совета стали угнетать.

Этот прецедент морального разложения проявился в начале XX века. Спустя сто двадцать

лет к проблеме обратился Образовательный Контроль. Началось интенсивное регулирование частной морали и подавление стимуляции. Но развращенный мир эти усилия смог оценить по достоинству далеко не сразу. Грубая сексуальность являлась естественным следствием постоянного разочарования. Повсюду перед лицом слишком серьезных проблем, с которыми невозможно справиться, богатые и бедные одинаково оказывались незащищенными, бесполезными и незанятыми. Неизбежно возрастало плохое самочувствие. Наркотики, алкоголь и секс были в достаточной степени доступны, чтобы и возбудить, и успокоить расстроенные нервы. Молодежь, которая не могла продать свои мозги или труд, находила иной рынок сбыта. В каждом, без исключения, ядре несправедливо приобретенного богатства или деморализованной власти процветали проституция и паразитизм. А что еще оставалось делать в этом уродливом, несчастном и опасном мире? Но в 2040 году мир оживился и выздоровел.

В данном исследовании у нас нет возможности подробно останавливаться на общем обзоре снятия запретов. Скажем лишь, что со стороны власти оно шло с затруднениями и весьма

неохотно. Теперь мы можем ходить голышом, любить, как нам нравится, есть, пить и развлекаться, как нам заблагорассудится, при условии, разумеется, надлежащего уважения к несформированным умам. И еще, конечно же, нам вменяется в обязанность следить, чтобы наша деятельность никому не причиняла вреда. Когда установилась Пуританская тирания, ее руководители сразу почувствовали, что посадили в тюрьму тигра, который в противном случае поглотил бы все богатство и безопасность, какие удалось достичь. В самом деле, очень неохотно, постепенно и после бесконечных споров запреты ослаблялись. Выйдя из клетки, тигр бушевать не стал. Люди правильно питались и не скатывались в чревоугодие, выстроили правильные интересы и не предавались безудержному сексу. Вместо тигра появилась кошечка-душка, безобидная, тихая, не доставляющая неприятностей. Более того, она полностью отказалась от того, чтобы быть хоть сколько-нибудь заметной.

Человечество менялось. Не произошло ни угрожающей вспышки порнографии, ни извращений, ни даже просто подскока сексуального возбуждения. Любой, кто изучит художественную литературу и драму последних пятидесяти лет

и сравнит ее с аналогичной литературой Старого Света, поймет, что сегодня существует гораздо больше личной любви и гораздо больше счастливых любовников, чем когда-либо прежде. Плотская любовь демонстрирует верность, обогащает общение и скрепляет дружбу. Никогда раньше не было ничего прямее и прекраснее. Ревность еще встречается, но редко — злая. Встречается и желание, но редко — порочное. Прогресс означал упрощение. Что нас больше всего поражает, когда мы читаем о душах двухвековой давности? Они гротескно путаны, измучены и отвратительны. С желаниями нередко смешивались корысть и ненависть. Ложе осквернялось похотью. Наши предки спаривались нечестно и неискренне.

Воинствующий период завершался освобождением от жестокой сексуальной морали, но в другой области расслабления не последовало. Новый порядок не потерпит никакого вмешательства в объединяющую всех нас систему денежной собственности. Наша полиция не только постоянно предупреждает о намечающихся планах грабежей или мошенничества, как это понимал Старый Свет, но и пресекает многие прибыльные практики, которые прежде могли бы показаться вполне допустимыми или даже

вовсе заслуживающими восхищения. И, судя по всему, любые попытки нажиться самостоятельно будут незамедлительно и жестко караться всегда и повсеместно. Азартные игры — этот подлейший способ извлекать заработок из чужих карманов — наказываются в той же степени, что и подделка финансовых документов. Вся та спекулятивная деятельность, какая, казалось, являлась самой структурой социального порядка XIX века, сегодня вообще не смеет реализовываться ни под какой личиной. Деньги — это только чек на личные нужды или вручение подарка. Не должно быть никакого злоупотребления деньгами, чтобы получить преимущество одного человека над другим, даже при условии попустительства со стороны того другого. В этом отношении мы очень сильно связаны друг с другом. И мы больше не допустим этого проявления общественного каннибализма. Благодаря нашим гигантским усилиям, свобода увеличивается с каждым днем.

Мы обнаружили, что при правильном воспитании ума и тела, а также строгой и точной защите собственности и денег от бесчестных побуждений каждому человеку можно предоставить такую свободу передвижения и общего поведения, какая показалась бы невероятной

воинствующим социалистам начала прошлого века. Но именно благодаря суровому и тщательному очищению человеческой жизни мы теперь имеем возможность жить спокойно и свободно. Сегодня мы можем отправиться в любую точку мира и делать там практически все, что только пожелаем.

Глава 5
Организация изобилия

Точно так же, как учителю истории становилось все труднее доносить до каждого нового поколения, какими были человеческие чувства и мотивы в мире инфекций и вредных привычек или в излишне сентиментальной атмосфере всеобщего недоверия и неуверенности, так и ему приходилось прилагать самые энергичные усилия воображения, чтобы восстановить хотя бы слабейшую тень всепроникающей досады, унижений и напряженного беспокойства, вызванных тотальным дефицитом. В достатке жило лишь малюсенькое меньшинство, но так продолжалось недолго, до конца XX века. К тому же даже богачам приходилось постоянно держать ухо востро, пытаясь удовлетворить свои

прихоти и дорогостоящие желания. Упрощенный порядок нашего сегодняшнего мира работает так гладко, что мы почти не задумываемся о том, что нам нужно в тот или иной момент. Куда бы мы ни отправились, нас ждут кров, еда и одежда. Это все делается настолько просто, что мы даже не в состоянии осознать то громаднейшее очищение от множества трудноодолимых препятствий, которое должно было произойти, прежде чем стало так легко.

Одним из результатов изобилия, который наши предки сочли бы парадоксальным, явилась отмена обременения. В прошлом выходило так, что чем меньше имеешь, тем больше следовало иметь и удерживать. Людям приходилось присваивать вещи, потому что их постоянно не хватало. Ваш дом не был просто местом для уединения или интимной близости; это был настоящий склад! В XVI и XVII веках его даже специально укрепляли от воров и грабителей решетками, замками и засовами. Заработанное тяжким трудом следовало охранять. Успешный человек тех дней походил на узника в собственном доме, потому что ни днем, ни ночью не осмеливался ослабить бдительность и хватку. Эти качества превращались в определяющие и незаменимые.

К ним нельзя было относиться с прохладцей, тем более открыто игнорировать. Это вынуждало вещи в большей степени хранить, нежели использовать их по прямому назначению. Если преуспевающий человек хотел разнообразить свою городскую жизнь, то при наличии соответствующей возможности он приобретал загородный дом, где начинало функционировать нечто похожее на миниатюрную социальную экономику. Пища готовилась в личном хозяйстве на частном имуществе. Всем этим следовало управлять и следить, чтобы не возникало расточительства, небрежности и обмана. Всю одежду требовалось хранить в шкафах. В подвале — разную утварь на случай тех или иных непредвиденных обстоятельств. Особое внимание уделялось накоплениям, поскольку именно они интересовали грабителей больше всего. В те дни всеобщей недостаточности богачу жилось почти столь же тревожно и утомительно, как и бедняку. К тому же, богатый мог обеднеть в любое время по целому ряду причин. И если богач отправлялся в путешествие, то делал это непременно в своей собственной карете с надежными сопровождающими, прихватив с собой большую ношу из одежды и общего багажа.

При относительно благополучном завершении XIX века, когда многие признаки предвещали процветание, наметилось некоторое облегчение бремени собственности. Временное достижение ограниченного космополитизма в области денег и кредита, умножение буржуазии, ликвидация собственности акционерными предприятиями, расширение возможностей для общения и передвижения сделали успешных людей менее склонными сидеть сиднем возле своего имущества. Предпринимались постоянные общие усилия, которые мы сегодня, безусловно, найдем гротескными и даже бессмысленными, чтобы сохранить собственность и в то же время перестать о ней беспокоиться. Идеалом успеха становилась не собственность сама по себе, а покупательная способность. Дома, мебель и прочее с повышенной готовностью переходили из рук в руки.

Вместо того, чтобы жить в больших домах и обедать у себя, люди стали жить в домах поменьше или даже в квартирах и обедать в ресторанах. Они отказались от собственных загородных домов и путешествовали свободно и разнообразно, вызвав огромную индустрию отелей и арендованных вилл. По сравнению с предыдущими столетиями путешествовать стало легче. По ме-

ре организации розничной торговли отпадала потребность хранить все в частном порядке. Отныне можно было купить все что угодно, когда и где угодно. В больших магазинах начала XX века имелся огромный и весьма разнообразный ассортимент.

Во времена Шекспира новая одежда, новая мебель, новые дома и всевозможные новые вещи были редкостью; в начале же XX века появились первые намеки на общую свежесть новизны нашего времени. Возможности для демонтажа и утилизации все еще были развиты недостаточно. Это, в свою очередь, приводило к избыточному количеству отходов. Тем не менее, за счет высокой покупательной способности обновление и замена шли с высокой скоростью. Если бы не социальная катастрофа, вызванная невежеством, индивидуализмом, денежной инфляцией и национализмом, то мировая распределительная организация, вполне вероятно, могла бы развиваться прямо от системы связанных магазинов, каковая процветала в Америке в 1925 году, до наших нынешних условий. И точно так же произошло расширение гостиничной жизни и запоздалое начало строительства переносных загородных домов, что явно предвещало

наши нынешние договоренности.

После катастроф и новых начинаний средних десятилетий XX века, в конце Первой эпохи Изобилия Транспортный союз обратился к моделям крупного бизнеса. Мы уже рассказывали, как легко и необратимо эта структура монополизировала глобальный рынок и как Воздушный и Морской Контроль фактически превратился в правительство возрождающегося мира. Новый орган неумолимо замкнул на себя вообще все. Его расчетные дома, став, по сути, новым банковским учреждением, выпускали и получали обратно в обмен на товары энергетические банкноты, его Торговый совет стал осуществлять новую розничную торговлю, его Поставочный Контроль поглотил, наконец, всю мировую продуктивную деятельность. С самого начала новые силы проникли идеей высокой мобильности. Не осталось и следа от скупых традиций эры дефицита. Постоянно растущее производство на планете позволяло начать, прежде всего, с обеспечения просторным и разнообразным жильем всех и каждого.

Громадные распределительные базы предыдущей эпохи обеспечили модели, на основе которых в эпоху восстановления развивались

новые механизмы эффективного снабжения. Реконструировались старые города и поселки, а рядом с ними архитекторы Воздушного и Морского Контроля возводили грандиозные сооружения, сначала по старинке большие и красивые, а затем более тщательно спланированные. Изначально вещи продавались по старому методу. Позднее организовали систему обмена изношенной одежды на свежие модернизированные образцы. Обувь или костюм шили и подгоняли индивидуально под каждого клиента. Старье забирали и утилизировали. В наши дни ничего не мостят булыжником, ничего не латают и не ремонтируют. Сломалось — в мусор! Испачкалось — туда же. Постепенно этот метод полностью отменил целый древнейший институт — прачечную. Заплатанная и изодранная одежда, столь характерная для деревенского пейзажа Старого Света, исчезла с лица земли. Новые быстрые методы измерения и подгонки пришли на смену ножницам и ручному шитью прежних времен. Во времена гуверовского кризиса американцы носили одно и то же нижнее белье годами. Стирали, сушили, гладили, и так еженедельно. Верхняя одежда представляла собой чересчур усложненные конструкции, со всеми этими бес-

численными застежками, пуговицами, ремнями, пряжками и так далее. Носили ее также годами. Шили из темной ткани с разными узорами, чтобы хоть как-то приукрасить мрачность фасона. Одежда Средневременья была еще более гадкой. В настоящее время средний срок службы нашей гораздо более простой и яркой верхней одежды с удобными застежками-молниями составляет не более недели, а легкого нижнего белья — не более трех дней. Фактически мы не нуждаемся в шкафах; наши шкафы — это наши магазины. Если изменится погода, они мгновенно отреагируют сменой ассортимента. В том, чтобы создавать запас одежды, нуждается разве что только длительная экспедиция в необжитые места. Мы носим меньше одежды, чем наши предки, отчасти из-за нашего более здорового состояния, отчасти потому, что нам не нравится прятать под тряпками великолепные тела. В прошлом люди часто укутывались просто *на всякий случай*. Они носили шляпы всякий раз, когда не были под крышей, носки в ботинках, пуговицы на манжетах рукавов, воротники и галстуки. Похоже, все эти разработки создавались только для того, чтобы подчеркнуть свой престиж в условиях всеобщей бедноты и дефицита. В нищий век это

свидетельствовало о том, каких трудов стоит полностью и хорошо одеться. В XIX веке отдельные зажиточные личности носили золотые цепочки для часов, а перчатки — даже в жаркую погоду, тем самым всячески выделяя значительность накопленных средств.

Воздушный и Морской Контроль помимо всего прочего взялся за переделку жилья. Больше не возводились мелкие дома на одну-две семьи. К тому же требовалось обеспечить выполнение всех без исключения санитарных норм. Всюду таилась инфекция. Четыре десятилетия социальных беспорядков превратили едва ли не каждое здание в рассадник болезнетворных микробов. Жилищный Контроль восстановил жилые кварталы прогнивших старых городов. Появились новые дома — чистые, просторные и удобные. Правда, на наш взгляд, недостаточно высокие и слишком уж невзрачные. Обычно десять-двенадцать этажей, сделаны очень основательно. Везде — водопровод, канализация, электрическое освещение. В холодном климате — обязательное отопление. Дома сельского типа повсеместно заменили на однотипные концентрированные жилые кварталы. Стиль и материал варьировались в той или иной степени в зависимости

от климатических условий. Деревни были буквально сметены; там, где все еще продолжалось небольшое частное земледелие, крестьяне выезжали к своим владениям на велосипедах. В каждом квартале имелись ясли, школа, магазин и залы для общих собраний.

Когда мы оглядываемся назад, нам кажется, что хижины и лачуги без удобств ушли со сцены очень быстро, но на самом деле потребовался период с 1980 по 2030 год. Иными словами, у молодого человека, который все это начинал, ушла целая жизнь на то, чтобы закончить начатое. И, тем не менее, уже в пожилом возрасте он увидел повсюду вокруг себя восхитительную красоту и умиротворяющий комфорт.

«Исторические картины» показывают нам весь этот процесс. Мы видим беспорядочные заросли ранней фазы XX века; высокие многоквартирные дома и отели поднимаются высоко над церквями, мечетями, общественными зданиями и безобразными нагромождениями трущоб. Потом всему этому пришел конец. Картины начинают напоминать мрачные рисунки Альбрехта Дюрера: руины, сараи, картонные коробки. Среди них появляются бомбоубежища с «жучиными» крышками, столбы первой помощи и зенитные

форты. Дальнейшие разрушения множились. И все — жизнь полностью дезорганизована Великой чумой.

И вдруг на сцену вышли крепкие, приземистые кварталы, и потрепанное прошлое исчезло. Началась новая Эра. Города стали больше, красивее и разнообразнее. Жилые кварталы группировались с постоянно расширяющимися магазинами, общественными клубами, отелями, парками и садами. Вскоре рядом появлялся аэродром. Постепенно подтягивались разные отрасли, которые придавали агломерации особое значение. После 2000 года общественный клуб стал заметным явлением как в архитектурном, так и социальном плане. В некотором роде это являлось возрождением двух старых идей: английского или американского клуба и римской бани. В клубе находились гимнастический и спортивный залы, танцполы, конференц-залы, кинотеатр, библиотеки, читальные залы и так далее. В общем, это было средоточие оживающей общественной жизни.

XXI век заново открыл для себя опыт девятнадцатого и первых веков христианской эры, — открытие, которое сделал еще Александр Македонский. Оно заключалось в том, что гораздо проще

настроить большие современные города в новых местах, чем перестраивать старые центры. И чем более важными оставались старые центры, тем труднее было их реконструировать, поскольку это означало прекращение и перенос важных видов деятельности в новые кварталы. Такое отставание в восстановлении было очень характерно, например, для Нью-Йорка. До недавнего времени он оставался одним из самых низких городов, поистине уникальным в своей мрачной древности. Последний из древних небоскребов, Эмпайр стейт билдинг, все еще находится в процессе сноса. До сих пор! А ведь на дворе 2106 год.

Это произошло не потому, что Нью-Йорк выпал из общей концепции, а как раз наоборот, потому что находился в авангарде нового движения. Мы уже цитировали отчет Николсона 1960 года. Там он упоминал и о важности правильной реконструкции американских городов. В 1961 году в Нью-Йорке открылась штаб-квартира американского отделения Морского и Воздушного Контроля. По сути, это был западный эквивалент Басры. Деятельность нового правительства быстро расширялась. Это требовало немедленного размещения в самых разных местах, и уцелевшие коробки Нижнего Нью-Йорка подошли

наилучшим образом. Они поддерживали сами себя некоторое время, выполняя соответствующую функцию, а потом между конкурирующими школами планирования реконструкции этого странно важного города возник длительный спор. Верно не только то, что чем беднее мир, тем он больше обременен собственностью, но и то, что чем энергичнее используется какое-то место или здание, тем его сложнее поддерживать в рабочем состоянии.

С середины XXI века во всем мире вновь появился так называемый индивидуальный дом. Особенно хорошо он смотрится в сельской местности, на берегу моря, среди лесов и горных пейзажей. Но появился он в новой форме. На самом деле это вовсе не то же самое, что старый коттедж и загородный дом.

Идея дома из легких материалов, который можно легко собрать и разобрать и так же легко переместить в какой-нибудь удобный промышленный центр, приходила в головы многим неугомонным новаторам еще до краха прежней цивилизации. Например, Генри Форду. Загородный коттедж или загородный дом — это отдушина для воображения. Для немалого числа мужчин и женщин однажды наступает этап, ко-

гда желание этого маленького необычного места с тщательно выбранным участком, с отличительными, давно желанными удобствами, видом на лес, горы или море становится непреодолимым. Там можно жить, мечтать, работать и быть счастливым. Немногие из тех, у кого была эта мечта, могли удовлетворить ее в прежние времена. Некоторые редкие счастливцы, богатые люди, могли покупать землю, искусно строить по своему желанию, разбивать сады. Когда они умирали или становились банкротами, другие, те, кто не располагал свободным временем строить собственное жилье, покупали опустевший дом. Они предпочли бы создать место для себя, но желание предшественника было уже заключено в кирпиче или камне, прочном и неустранимом. И они переделывали то, что могли переделать, избавляясь от чужого вкуса.

По мере увеличения изобилия и роста механической мощности новая дорожная система делала землю все более доступной. По мере распространения водопровода и электросетей стало гораздо легче избавляться от старых домов. Индивидуальный загородный дом приобретал ощутимый покупательский спрос. Современное общество отличается от всех своих предшественников,

прежде всего, высочайшей производительностью. В наши дни мужчина или женщина попросту приезжает на незанятое место, проводит там несколько приятных недель, планирует, составляет и пересматривает проекты, а затем делает заказ. Через месяц его дом готов в том или ином производственном цеху, еще через пару дней новенькое жилье доставляют на место. В течение суток закладывают фундамент. Вуаля! Дом стоит там, где того пожелал заказчик. Подключен к электросети, снабжен водой, обставлен по вкусу хозяина. Все это едва ли более сложная задача, чем заказать самолет или автомобиль.

На более ранних стадиях возведение предварительно построенного дома происходило не так быстро, но с самого начала это было намного быстрее, чем трудоемкая работа строителя Старого Света.

И с такой же легкостью дом теперь расчищается. Мы больше не считаем уместным «носить» чужой дом, как не считаем уместным надевать одежду мертвеца.

«Расчистка, — заявил Майкл Кемаль, — характерная черта современной эпохи».

Эпоха разочарования являлась, по сути, эпохой, которая не могла избавиться ни от долгов,

ни от суверенитета, ни от патриотизма, ни от старых классов, ни от старых границ, ни от старых зданий, ни от старых обид. Только в прошлом столетии человек усвоил настоящий урок изобилия. Гораздо важнее, чем получить что-то, — это избавиться от чего-то. Мы богаты универсально, потому что больше не богаты лично.

Мы упомянули путешествующего богача XVII века, поскольку в то время аристократы могли свободно, без помех, передвигаться где и куда хотели. Нам представилась возможность осмотреть громоздкие препятствия на его пути. Сравните его сегодня с любым обычным человеком, который решает взять отпуск и отправляется на край света. В туристическом бюро договариваешься о ночлеге и летишь, куда хочешь, вообще без всякого багажа и почти без одежды, потому что все, что потребуется, можно будет получить на месте. Все, что нужно взять с собой, это бумажник, документ, удостоверяющий личность, и, возможно, записную книжку. Кто-то вешает на себя какую-нибудь побрякушку в качестве украшения, другой берет книжку, чтобы не скучать в дороге. Причем и то, и другое можно приобрести прямо в пути. Никакие другие вещи с собой не нужны, потому что они продаются

повсюду. И они универсальны. Мы решили проблему социализации собственности — проблему, которую в начале XX века решить оказалось никому не под силу. У нас есть величайшее из благ — мы научились потреблять материальные блага, не обременяя себя собственностью.

Глава 6
Обычный человек становится старше и мудрее

Численность и качество человеческой популяции очень сильно изменились за последние два столетия. Один признак слабо зависел от другого. Каждый вид животных и растений постоянно колеблется в количестве и качестве особей, но только с недавних пор данные процессы тщательно регистрируются и изучаются. В начале XX века антипрогрессионисты утверждали, что «человеческая природа» никогда не менялась; воображали, будто люди каменного века, разводя костер в пещере, чувствовали и думали, как банковские клерки. Кроме того, даже утверждалось, что идеи Конфуция и Будды легко взаимозаменяемы с идеями Руссо, Карла Маркса или Де Виндта. Эти так называемые знатоки были не просто

невежественны, но и дезинформированы почти обо всех существенных фактах как прошлого опыта, так и складывавшейся ситуации. Только в XXI веке появилось более или менее верное понимание первичных действующих сил в биологии человека.

В 1800 году общая численность населения земного шара составляла 900 миллионов человек, средний возраст — около 22 лет. В 1900 году население удвоилось, а средний возраст вырос на десятилетие. В 1935 году был достигнут максимум в два миллиарда человек, а средний возраст подрос до 40 лет. За век возможности для общения и физического реагирования возросли сверх всякой меры, но государственные деятели, педагоги и юристы той эпохи, как мы очень ясно показали в этой истории, сути процесса не понимали и не хотели разрабатывать методы его изучения. Реакция следовала только на следствия, но не на причины, поэтому, по сути, мало что менялось. Мы рассказали о самых главных составляющих катастрофы, которая началась с массовых убийств во время войны 1914–1918 годов и завершилась циклом эпидемий до 1957 года. За тридцать лет население Земли сократилось примерно до миллиарда или даже

меньше, а средний возраст снизился до 23 лет. Это был колоссальный спад не только в цифрах, но и в зрелости среднего ума.

С появлением Воздушного и Морского Контроля, а также Первого и Второго совета гигиенические условия начали восстанавливаться. И, более того, их начали научно планировать. В течение столетия за ростом населения наблюдали, по мере возможности и по необходимости его сдерживали. В настоящее время средний возраст составляет 62 года, и он все еще продолжает расти. В 2060 году численность населения достигла полутора миллиардов; планка в два миллиарда преодолена в 2085-м. Наша популяция более не является громоздкой. Благодаря научному образованию и Поведенческому Контролю можно безо всякой тревоги ожидать значительного увеличения и в дальнейшем.

В настоящее время население Земли составляет два миллиарда пятьсот миллионов человек, и, вероятно, оно вскоре увеличится до четырех миллиардов, как только мир настроится на полную поддержку и счастье. Вероятность того, что оно опасно разрастется или впадет в панику, психические расстройства, начнет создавать антисанитарные заторы, становится все меньше

и меньше. По мнению современных властей, четыре миллиарда — это оптимальный вариант. Через несколько десятилетий абсолютное большинство людей, по причине того, что родились они в активном и счастливом обществе, будут доживать до 90 лет. Тем не менее, вопрос о возможности и целесообразности продлевать потолок продолжительности жизни на три или четыре десятилетия после «ста двадцати» библейского варвара все еще остается открытым. Вполне возможно, что существует некий предел для воспоминаний, которые способен накопить мозг. Возможно и то, что ограничены его способности проявлять новый интерес к свежим событиям. Для большинства людей в будущем естественная смерть будет наступать в возрасте ста лет с небольшим, такая же безболезненная и приемлемая, как лечь в кровать и уснуть после долгого и интересного дня.

Эти количественные биологические изменения связаны с глубочайшими различиями в качестве каждой отдельной жизни. Дело не просто в том, что теперь у каждого человека присутствует обоснованная вера в долгую собственную жизнь, но и в том, что условия, в которых он живет, вызывают совершенно иную систему

реакций, чем в прошлом. До Средневременья люди думали о своих бабушках и дедушках, как о более старших и, следовательно, более могущественных представителях человеческого рода, но мы о своих предках думаем, как о людях более молодых и слабых. Те ранние поколения напоминали пресноводных рыб, живущих в мелкой, соленой и быстро пересыхающей воде, по сравнению с другими представителями того же вида, живущими в глубоком, изобильном, хорошо аэрируемом, да и в целом очень благоприятном озере. Они постоянно испытывали неудобства, постоянно оказывались в затруднительном положении из-за суровых обстоятельств; панически метались туда-сюда и рано умирали. Хотя они были одинаковы по сути, их поведение и даже сами движения выдавали в них существ другого вида.

Представим себе молодого человека времен Шекспира. Если он не умирал молодым, то быстро старел. В сорок он уже грузный, старый и напыщенный. Целый рой недугов подчеркивал и ускорял разложение его тела и духа. Молодость длилась совсем недолго. Красота и жизненная сила женщин были еще более эфемерными. И люди ошалело хватались за любовь и приключения. Мир был полон Ромео и Джульетт на пике их

страстной жизни в подростковом возрасте. В настоящее время они еще дети, учатся в колледже, и до какой-либо возможной драмы у них еще остается несколько десятилетий. Литература того времени вопиет о быстротечности. Простая история стремительной любви, ревности, безудержной мести и так далее создавала основу для драмы или романтической поэмы. Часто все это сопровождалось захватом несметных сокровищ. Карьера делалась и портилась недельной глупостью, а времени, чтобы что-то поправить, совсем не оставалось. Особенно интересно в этом смысле следить за перипетиями в литературе елизаветинской эпохи.

Изменение биологических условий между 1840 и 1940 годами наиболее точно отобразилось именно в литературе и искусстве. Роман, который поначалу пронизан веселым приветствием, который принимает все окружающее так же радостно, как игривый жеребенок, далее становился рефлексивным, аналитическим и целеустремленным. Жизнь больше не заканчивалась на первом порыве. Доля романов по сравнению с другими книгами неизменно уменьшалась. Индивидуальное сознание все глубже проникало в социальные и экономические процессы. Когда

в конце XX века литература возродилась, это была литература для взрослых, выражающая менталитет читателей и писателей, которые были достаточно взрослыми мужчинами и женщинами. Жить им довелось в мире, который, во-первых, планировался, а, во-вторых, перестал быть случайным и непоследовательным. В преобразованном новом романе больше говорится о личной любви и взаимодействии характеров и меньше (эта доля продолжает уменьшаться) о главном любовном приключении.

Это уменьшение поспешности и жадности, быстрого эгоизма и быстрых некритических суждений молодежи все еще продолжается. В обычной жизни непрерывно ширились здравомыслие, спокойствие и широта взглядов. Раньше годы от тридцати до семидесяти фактически представляли собой свалку из последствий первых трех десятилетий. Теперь это основная часть жизни: годы работы, самовыражения и полного самопознания, к которым ранние этапы являются яркой и восхитительной прелюдией. Было время, когда мужчина или женщина старше сорока чувствовали себя в некотором роде выжившими. И они действительно пытались в некотором роде «выживать», а мир вокруг них

кипел молодостью, скоростями и соперничеством. Победитель быстро устаревал, его быстро сменяли более молодые. Беда плохо защищенного тела усугублялась увядающей физической формой. А тем бедолагам, кому «за пятьдесят», ловить и вовсе было ничего. Сегодня в безопасности себя ощущает и стар, и млад. Время, когда старики стремились подражать молодым, закончилось Мировой войной и экономическим крахом. Затем последовала борьба, сначала бессознательная, а позднее и открыто декларируемая, между молодостью и умственной зрелостью.

В худые годы после Мировой войны в течение нескольких поколений наблюдался печальный рецидив в сторону преобладания в обществе молодежи. Старики не смогли предотвратить крах, для нового периода они оказались мертвы, сломлены и морально дезорганизованы. В последовавшем бурном высвобождении ребячества заключалась своего рода поэтическая справедливость. Италию бичевали прихрамывающие парни в черных рубашках, Россией правила молодежь, называвшая себя синими подбородками, Ирландию опустошили патриотически настроенные хулиганы. Судорожный рецидив безумного мальчишества случился и у нацистов

в Германии после десятилетнего размышления над причинами своего провала. Родственную незрелость проявил индийский патриотизм. Нежные годы многих молодых революционеров, казненных англичанами, возмущают наши стандарты терпимости. Повсюду царило юношеское невежество со смертоносным оружием в руках, тщеславное, самодовольное, возвышенное, проявляющее абсолютную слепоту к любым разговорам о последствиях. Молодежь всегда отличалась склонностью к разрушению, но скоро ей предстояло проникнуться созиданием. Либерализм и Средневременье переживали фазу беспрецедентной неэффективности. В какой-то момент даже начинало казаться, что в мире не осталось ни слова осуждения для молодых налетчиков. В масках на украденных автомобилях по ночам они совершали карательные набеги; избивали, грабили, пытали, сеяли панику и были близки к тому, чтобы разрушить цивилизацию.

Это весьма интересная задача — проследить за постепенным взрослением этих подростков-организаторов, которые захватили значительную часть контроля над миром в переходную эпоху расстройства общества. Существуют достаточно объемные талмуды, где сравнивается фашизм об-

разца 1920, 1930 и 1940 года. После нетерпимости и сентиментальности, низменного патриотизма и реакционного невежества мы вдруг обнаруживаем, что эти молодежные движения ненавязчиво подкрались к планированию, дисциплине и научным методам. Миллионы молодых людей, кто начинал, как фашист, нацист, коммунист, слепой националист или бестолковый партизан, достигнув среднего возраста, начали преданно служить Современному государству. Наконец-то они стали орудиями для реализации планов тех самых людей, на которых охотились и которых убивали в грубом рвении своих первых начинаний.

Отныне молодость навсегда в наших руках! Когда мы говорим о человеке нынешнего дня, то подразумеваем существо, отличное от человека девятнадцатого столетия. Физически новый человек здоров, практически не подвержен никаким заболеваниям, умственно ясен и чист и образован до уровня, о котором нельзя было даже мечтать еще двести лет назад. Ему преимущественно за пятьдесят, а не меньше тридцати. Он менее привязан к своим инстинктам и менее внушаем, потому что существенно отдален от менталитета «дома и мусора», но он гораздо

более социален и бескорыстен в своей идеологии и ментальных привычках. Он, по сути, при всей идентичности своей наследственности, представляет собой *другое животное*. Он больше и сильнее, у него более ясная голова, он куда лучше контролирует себя и более определенно относится к своим сородичам.

Это проявляется повсюду, но особенно заметно в таких регионах, как Бенгалия и Центральный Китай. Там мы находим прямых потомков визгливых, несчастных, недоедающих, малообразованных, недоразвитых и маложивущих особей среди самых прекрасных, долгоживущих и способных представителей современного человечества. Это было достигнуто без применения методик позитивной евгеники. Это стало результатом честного применения Очевидного в здравоохранении, образовании и экономической организации в течение немногим более ста лет. Эти народы ужасно истощили свой потенциал из-за эпидемий эпохи беспорядка, и Тирании пришлось обе популяции жестко дисциплинировать. Теперь, после некоторой обрезки и обучения, они выпускают такие же прекрасные цветы литературных и научных достижений, как и любые другие расовые массы.

Глава 7
Язык и умственный рост

(*Я воспроизвожу этот раздел в точности так, как его записал доктор Рейвен. Читатель, конечно же, заметит, что это самый обычный английский язык XX века. И все же ясно, что если это часть учебника всеобщей истории XXII века, то он не мог быть написан* изначально *на нашем современном языке. Подразумевается какое-то языковое уточнение и расширение. Кажется, как будто они уже произошли, но никакого уточнения или расширения не видно. Должно быть, доктор Рейвен старательно переводил текст будущего времени в ясную прозу сегодняшнего дня. Если он вообще видел эту свою волшебную Книгу, то не глазами, а разумом. На настоящей странице ведь не могло быть ни наших букв, ни нашей орфографии, ни наших фраз, ни нашего словаря.*)

Одним из непредвиденных достижений XXI века стало быстрое распространение базового английского в качестве общего мирового языка. При этом, быстро распространяясь по миру, он стал стремительно видоизменяться. Язык,

на котором большинство из нас говорит и пишет сегодня, сильно отличается от английского языка Шекспира, Аддисона, Баньяна или Шоу. Он избавился от последних следов таких архаичных изощрений, как сослагательное наклонение. Он упростил правописание, стандартизировал произношение, перенял многие иностранные обороты и тысячи иностранных слов. Не предпринималось каких-либо преднамеренных усилий для того, чтобы установить английский в качестве мирового языка. Тем не менее, у него имелся ряд естественных преимуществ перед его главными конкурентами — испанским, французским, русским, немецким и итальянским. Он проще, тоньше, гибче и более широко распространен. Базовый английский является изобретением гениального ученого из Кембриджа в Англии Чарльза Кея Огдена (1889–1990). Упрощению выражений он и посвятил свою долгую жизнь. Интересно отметить, что он был современником Джеймса Джойса (1882–1955), который также посвятил себя задаче создать новый вид английского языка. Но в то время как Огден стремился к научному упрощению, Джойс работал над эстетикой. Он пытался разработать некое *обогащенное предложение,* но кончилось

все разочарованием читателей, которые запутались в прозе, почти неотличимой от бормотания сумасшедшего. Тем не менее, он добавил к языку около двадцати пяти слов, которые используются до сих пор. Огден после долгих и усердных экспериментов в обратном направлении получил английский язык из 850 слов и нескольких правил построения, которые позволяли любому иностранцу выразить практически любую обычную идею просто и ясно. Стало возможным научиться разговаривать и переписываться на понятном английском всего за несколько недель. В целом было труднее научить носителей английского ограничиваться выбранными формами и словами, чем обучать других базовому. Учитель Рудольф Бойль (1910–1959) разработал метод, с помощью которого носители английского обходились лишь самым необходимым.

Это удобство распространилось, как лесной пожар, сразу после Первой конференции в Басре. Оно превратилось в официальное средство связи во всем мире с помощью Воздушного и Морского Контроля, и к 2020 году вряд ли в мире нашелся бы кто-нибудь, кто не мог бы говорить на базовом английском или понимать его.

Именно из фонетически написанного базового

английского, как новой отправной точки, развился язык, на котором мы пишем и говорим сегодня, главным образом за счет постепенного возобновления глаголов и идиом с материнского языка и усвоения иностранных терминов и фраз. В настоящее время мы говорим на языке, состоящем почти из двух миллионов слов, фактически синтетическом языке, в который влились корни, слова и идиомы из каждой речи в мире. К. Вонг в недавнем эссе показал, что все еще существуют специализации словарного запаса. Так, например, писатели итальянского происхождения тяготеют к словам, взятым из латыни, а писатели из Юго-Восточной Азии испытывают пристрастие к китайским словам и, как это ни странно, к американизмам. Тем не менее, все они понимают друг друга, пребывая в едином и неделимом культурном поле.

В современном английском мало избыточных форм. В будущем их станет еще меньше. Чаще употребляются синонимы и то, что раньше классифицировалось как «редкие» или «устаревшие» термины. С их помощью передаются тончайшие оттенки значения. Прежде чем допустить то или иное дополнение, Словарное бюро его тщательно изучает. В наши дни точность того

или иного выражения на порядок выше, чем в английской классике XVIII или XIX века. Ранний английский представляется нам неумелым, ограниченным и неуклюжим.

Чем полнее терминология, тем тоньше ум. Человеческий мозг XX века по сравнению с нынешним мозгом, хотя и не уступал по сути, был гораздо хуже отшлифован и отлажен. К тому же он был искажен вредными привычками, обременен клубком нездоровых ассоциаций, забит неразрешенными комплексами; он был похож на прекрасную машину, утонувшую в грязи. Современный мозг гораздо более аккуратно упакован и лучше устроен, лучше начищен и куда лучше смазан. Современный простой читатель склонен находить философов и «мыслителей» двухвековой давности скучными и косноязычными. Дело не столько в том, что он находит их неясными, сколько в том, что, когда он, наконец, из дремучих джунглей высказывания извлекает какой-то смысл, то вдруг обнаруживает, что ему не сказали вообще ничего нового.

Интересная и весьма ценная группа исследователей, чья работа продолжается по сей день, впервые появилась в зачаточной форме в XIX веке. Лидером этой группы являлась некая леди

Уэлби (1837–1912), которую большинство ее современников считали глупой занудой. Она обильно переписывалась со всеми, кто уделял ей внимание, постоянно твердя о том, что язык может быть более точно выражен и что должна существовать «наука о значении». Чарльз Кей Огден и один из его коллег по колледжу Магдалины Айвор Армстронг Ричардс (1893–1977) были одними из немногих, кто принял ее всерьез. В 1923 году эти двое выпустили книгу «Значение смысла», которая считается одной из первых попыток улучшить языковой механизм. Базовый английский стал побочным продуктом этих изысканий. Новая наука оказалась заброшенной, едва родившись. Она не привлекла сторонников, и о ней забыли на десятилетия ужасных бедствий. Возродилась она только в начале XXI века.

Группу энтузиастов, вдохновленных идеей сделать английский более понятным, всеобъемлющим и по-настоящему универсальным языком, возглавил Карл Ратан. Постепенно его работа расширялась, и в результате возникла новая обширная организация. Сегодня она известна под именем Языкового бюро. Работу этой структуры сравнивали с деятельностью монетарных экспертов, которые, в конце концов, смогли

сотворить единую денежную систему. Произошло это, кстати, ровно сто пятьдесят лет назад. На протяжении нескольких столетий развитие цивилизации сдерживалось именно несовершенством денежной системы. Сегодня, как мы начинаем понимать, наш интеллектуальный прогресс отнюдь не так быстр, как хотелось бы, прежде всего из-за бесконечных недостатков и слабости языковой связи.

Помимо всего прочего у нас на руках имеется интереснейшая подборка, которая обещает стать настоящей историей философии и знаний. Речь пойдет об Отказе от языка. Проект принялась разрабатывать Секция словарей Языкового бюро. Изначально он задумывался как простой отчет об устаревших терминах или о терминах, которые сильно изменились по сравнению с первоначальным значением; но исследование причин этих изменений привело к исчерпывающему анализу первичных процессов человеческого мышления. К примеру, серия слов «душа, дух, материя, сущность» встраивались в арийскую и семитскую мысль с момента их зарождения, и только совсем недавно Юань Шань с коллегами установил, что китайское и негритянское мышление пересекались. Перевод с языка на язык,

кроме вопросов материального изложения, практически всегда получается слишком вольным. Что же касается литературы Восточной Азии и попыток африканцев себя выразить, то мы можем явственно увидеть общие черты, когда грубость приближается к насилию. Это видение столкновения, вероятно, приведет к обширным нововведениям в нашей философской (общенаучной) и технической номенклатуре. Сегодня мы говорим и пишем на *предварительном* языке. Наши правнуки будут относиться к нашим привычным терминам и оборотам так, как мы сегодня относимся к «паровозу», «пароходу» или «телеграфу».

Сейчас происходит гигантская перестройка ассоциативных систем человеческого мозга. Сложно себе представить, насколько широко разовьются умственные способности человека. Будут решаться вопросы, которые в настоящее время находятся вне нашего понимания. Давным-давно рука была подобна копыту. Ею нельзя было рисовать или продеть нитку в иголку. Но потом большой и указательный палец противопоставились друг другу. Так появилась *хватка,* за которой последовали *ремесло* и *искусство*. Стали появляться механизмы, один сложнее другого.

Точно так же и мы можем ожидать огромного расширения исследований и гораздо более глубокого проникновения в реальность по мере того, как язык, наша интеллектуальная рука, будет выведен на новый уровень эффективности.

Происходит не только обострение способностей и совершенствование мозга, но и то, что наши прадеды посчитали бы необъятным увеличением количества, качества и доступности знаний. По мере того как индивидуальный мозг ускоряется и становится более умелым, появляется также Коллективный Мозг, система фундаментальных знаний, которая накапливает, сортирует, поддерживает в порядке и делает доступным все, что известно. Энциклопедическая организация, центр которой находится в Барселоне, с семнадцатью миллионами активных работников — это живая Память человечества. Ее щупальца тянутся не только к исследователям, контролерам и корреспондентам, но и к живому контакту с умственным развитием. Она быстро растет по мере того, как постоянное повышение эффективности производства высвобождает новые массы работников для новых услуг. Между тем, ментальный механизм человечества находится еще только в зачаточном состоянии.

Возможно, это не младенчество, а уже все-таки подростковый возраст. Именно потому, что разум человека взрослеет, он впервые осознает, что молод.

Глава 8
Сублимация интереса

Современный средний человек не только старше и серьезнее своего предка, каким тот был три столетия назад, но и работает он сегодня совсем по-другому. Его интерес сильно отвлекается от насущных жизненных потребностей.

Три столетия назад более девяноста процентов населения Земли было поглощено либо непосредственным производством предметов первой необходимости, либо борьбой за их получение от первоначального производителя. Прямые производители, крестьяне и рабочие, предприниматели и управленцы, а также прямые распространители составляли более восьмидесяти процентов от общего числа людей. Помимо них на теле человечества паразитировали миллионы посредников, ростовщиков, лиц, предъявлявших претензии, земледельцев, адвокатов, спекулянтов, грабителей и воров.

Причем грабители и воры, наравне с остальными, считались необходимой защитой ускорения экономического процесса. Силы правопорядка и образования, исключая временную воинскую повинность и сборы в военных целях, занимали пять или шесть процентов. Совсем небольшое меньшинство, менее пяти процентов, обеспечивало художественные усилия, научные исследования, общественную и политическую мысль; иными словами, живую душу всего общественного организма.

Система интересов большинства людей почти полностью ограничивалась работой и борьбой за обладание. Им приходилось постоянно думать о работе, которую они выполняли либо для собственной выгоды, либо для личной выгоды, комфорта или фантазии какого-либо работодателя, а еще о том, чтобы сохранить работу или получить новую. Во время гуверовского кризиса, когда занятость резко сократилась, страх потерять рабочее место превратился в чудовищную навязчивую идею. То, что зарабатывалось, приходилось тратить с величайшей осторожностью, а остаток тщательнейшим образом охранять, потому что кругом свирепствовало мошенничество. Всюду ловчилы стремились за-

брать накопленные денежные средства и ничего не дать взамен. Иногда, устав от узости жизни, человек бросался в азартные игры в отчаянной надежде на судорожный фарт. Все заканчивалось разочарованием и раскаянием. Добавьте к этим тревогам капельку любви, изрядную долю ненависти, отчаянную жажду похвалы и борьбу за то, чтобы увидеть все это в обнадеживающем и достойном свете, и вы получите содержание девяноста девяти процентов человеческих мозгов, которые ваяли мир в 1930 году. Невозможно было сбежать из этого ограниченного круга неотложно шумных интересов, едва ли более широких, чем у животного в диком лесу.

Этот круг разорвало Современное государство. Мы все еще существа с мозгами, как у наших предков. Нервный ганглий — к нервному ганглию, нервное волокно — к нервному волокну. Но и существенное отличие между нами тоже имеется. МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТИ МОЗГИ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ ГЛУПЫХ ЦЕЛЕЙ! Современное государство, обеспечивая изобилие и контролируя рост населения, отстранило от деятельности индивидуального мозга все интересы, связанные с борьбой за пропитание и вытеснение конкурентов. Контроль за данной сферой обес-

печивает относительно небольшой контингент специализированных работников. Мы больше не беспокоимся о еде, питье, одежде, здоровье и личной свободе. Работа, которую мы ДОЛЖНЫ выполнить, не обременительна по объему. Наши воспитательные опекуны нагружают нас ровно настолько, насколько это необходимо. Делая свою работу, мы точно знаем, что сделаем ее хорошо. Нас не обманут, не задержат жалованье и выплатят его в полном объеме. Мы все еще соперничаем, возможно, даже больше, чем когда-либо. Ревность все еще борется в нас с великодушием. Наша работа — это мастерский, а не движимый интерес. Наше соперничество направлено на самоутверждение, но отнюдь не во вред ближнему. Умственная энергия нормального человека высвободилась от прежних неизбежных забот.

Неуклонное стирание первичных мотивов наиболее ярко проявилось в статистике того, что раньше называлось «Преступлением и наказанием», в цифрах противоправных действий, нарушениях субординации и преднамеренных нарушений общественного порядка, а также в последующих исправительных процедурах, которые назначаются дисциплинарной орга-

низацией при Поведенческом Контроле. Мы не располагаем статистическими данными периода упадка, но имеется обильное количество материала, относящегося к сравнительно упорядоченному периоду между 1890 и 1930 годами. Великобритания тогда представляла собой самое здоровое и законопослушное сообщество в мире, но криминальные цифры, которые открываются перед историком, производят совершенно ужасающее впечатление. Воровство, всевозможные виды мошенничества, подделки документов, кражи со взломом, грабежи с применением насилия, отравления и другие формы убийств происходили ежедневно. Казалось, эти гнусные деяния в отношении собственности никогда не прекратятся. Бесконечные заботы, связанные с деньгами, приводили к бесчисленным самоубийствам. Все эти преступления возникали в результате борьбы за деньги и собственность в эпоху недостаточности. Тюрьмы были переполнены. Человечество разуверилось, что этому можно положить конец, но вот все это закончилось. В отчете Поведенческого Контроля за 2104 год (отчет за 2105 год пока еще недоступен) зарегистрировано 715 случаев воровства по всему миру. Почти в каждом случае украденным предметом являлось произведение

искусства, маленькая драгоценность, лоскуток вышивки или домашнее животное. Кроме того, злоумышленники похитили нескольких детей и — в одном случае — луковицу нового сорта лилии, которая, вероятно, пробудила чей-то инстинкт обладания и заботы. Крайне сомнительно, что какая-либо из краж осталась незарегистрированной.

Статистика по остальным видам преступлений не столь радужная, хотя они и уменьшились. Если количество противоправных действий, касающихся имущества, сократилось до одной десятимиллионной по сравнению с прежними временами, то другие виды снижаются более плавно. Приходится с горечью констатировать, что наше население все еще нередко склоняется к сексуальному беззаконию. Красивые и привлекательные индивидуумы, и в особенности красивые и привлекательные дети, еще не полностью защищены от нежелательных домогательств и даже нападений. Ревность попрежнему остается опасной страстью, особенно в возрасте до сорока лет. На этой почве Поведенческий Контроль насчитал 520000 преступлений. Причем они сопровождались побоями различной степени тяжести, а в 67 случаях дело даже

заканчивалось смертью потерпевшего. Нельзя не обратить внимания и на достаточно высокие цифры самоубийств — 2192. Они показывают лишь незначительное улучшение по сравнению со среднегодовым показателем за предыдущее десятилетие.

Еще одним сложным классом преступлений, который не находит точного аналога в уголовной статистике прежних времен, если только к этой группе не следует отнести британское преступление «злостного вреда», являются акты раздражения, вызванные завистью. Такого рода действия варьируются от черной ненависти и ярости неконтролируемого эгоизма до того, что в некоторых случаях граничит с оправданной критикой глупого самодовольства. Четыре убийства, несколько сотен нападений и актов бессмысленного вандализма в этой категории свидетельствуют о том, что этот мир все еще не является раем для всех и каждого. Всякий раз нам приходится сталкиваться с кем-то, чей внутренний мир переполняется злобой. Тем не менее, мы не можем не отметить обнадеживающую тенденцию. В прошлом году общее количество преступлений, включая самые незначительные проступки, составило 750 000. И это в мире

с населением в 2,5 миллиарда человек! На лицо стойкий прогресс и уверенность в стремительно улучшающемся человеческом мировоззрении. В воображении человека больше не доминирует перманентное зло. Места для него осталось совсем немного, и практическая задача наших социальных психологов как раз в том и состоит, чтобы злу больше не было, куда приткнуться.

Вследствие материального изобилия образовалось изобилие ментальное. И теперь оно направляется в новые каналы. Те жалкие пол-процента или даже меньше творческих работников старого режима, несколько любопытных людей, которые забавлялись новыми идеями, любители странного досуга, которые собирали «редкости» и изобретения, превратились в мощную группу исследований, экспериментов, верификации и записей, которая в настоящее время становится большей частью мирового населения.

Теперь мы точно знаем то, о чем три столетия назад люди даже не догадывались. Человеческий мозг, освобожденный от голода, страха и других первичных стрессов, легко поддается не только творческим и руководящим желаниям, но также добрым и полезным импульсам. Те, кто поддерживает наши производственные, распре-

делительные и транспортные услуги, находят свою работу очень интересной, потому что им нравится быть полезными и помогать друг другу. Они испытывают громадное удовлетворение от способности искусно сделать для других то, что они вряд ли сделают с тем же мастерством для самих себя. Парикмахеры, сапожники, портные, шляпники, торговцы одеждой и так далее в больших магазинах сегодня очень сильно отличаются от тех подобострастных и почтительно «униженных», кто делал презентабельными наших прапрадедов. Основной интерес работников сферы услуг в далеком прошлом заключался в том, чтобы клиент чувствовал себя максимально комфортно, а также в том, чтобы положить себе в карман побольше в ущерб работодателю. Старая литература вся насквозь пропахла презрением к парикмахеру, портному и сапожнику; порой презрением вперемежку с глубоким негодованием. Если простой человек презирал сапожника, тот платил ему тем же. Парикмахер только стриг волосы, а портной только шил одежду. Сегодня все иначе. В парикмахерской непременно оценят не только ваши волосы, но и зубы, а также общее состояние здоровья, проведут тщательнейшую диагностику и при необходимо-

сти перенаправят к профильному специалисту. Пока все это крутится да вертится, зайдет портной, снимет мерку и предложит ряд подходящих вариантов для обновления гардероба.

Сильно изменились консультанты. Во многом потому, что они поддерживают постоянную связь со стражами развития, которые заменили школьных учителей, медсестер, гувернанток и воспитателей. Общие советники взяли на себя функцию семейного адвоката, духовника и врача общей практики. Количество специалистов консультативных и направляющих профессий, по меньшей мере, в три раза превышает количество юристов, педагогов и врачей XIX века вместе взятых. Постепенно формируются новые профессии. Например, учителя-специалисты, которые занимаются развитием и передачей навыков, а также формированием и поддержанием общей идеологии. Этот класс незаметно переходит в мир технической работы, искусства, литературы и научных исследований.

Первичные производители и разработчики материалов, агрономы, инженеры, химики, транспортники и промышленные директора выполняют свою работу, потому что им это нравится. Это их удовлетворяет. Им нравятся ма-

териалы, которые они разрабатывают, трудности, которые приходится преодолевать, и распорядок дня. Несмотря на увеличение производства и разнообразия инновационных вещей, доля этой части населения остается неизменной. Эффективность по-прежнему опережает потребность и желание. Два с половиной года обязательной государственной службы, которая является неотъемлемой частью нашего образования, обеспечивают достаточным уровнем труда; зачастую весьма тяжелого.

Высвобождение человеческой энергии из первичных потребностей — процесс, который, по-видимому, будет продолжаться бесконечно. Создавшие и поддерживающие нашу всемирную социальную жизнь могучие силы направляют высвободившуюся энергию на достижение новых знаний, накопление и передачу свежего опыта. Происходит постоянная сублимация интереса. С каждым годом человек становится все более любопытным, все более целеустремленным, все более смелым, умелым и приятно занятым. Чем больше мы узнаем о возможностях нашего мира и о своих собственных возможностях, тем богаче наше наследие. Эта планета, которая когда-то казалась суровой мачехой, те-

перь предстает неисчерпаемой в своей щедрости матерью. Величайшим открытием, какое сделал человек, является открытие самого себя. Леонардо да Винчи с его необъятной широтой видения, творческим пылом и способностью к интенсивной работе был предшественником обычного человека, каким его сейчас создает мир.

Глава 9
Новый исторический этап

С точки зрения эколога, создание Современного государства знаменует собой эпоху в биологической истории. Произошла слишком быстрая адаптация нашего вида к меняющимся условиям, которые в противном случае его бы уничтожили. Огромные бедствия XIX и XX веков показали нам, что человечество едва избежало непоправимой катастрофы.

Бесконечный труд миллионов измученных мозгов настойчиво придавал форму и четкую цель тому, что поначалу представлялось простым бесцельным блужданием и стремлением к безопасности. Вид, которому угрожала острейшая опасность, не скатился в пропасть вымирания, где погибло так много смелых экспериментов.

В боли и неуверенности он преодолел самую опасную фазу и теперь боролся за такой уровень стабильности, понимания и защищенности, каких никогда не достигало ни одно живое существо.

Посредством образования и социальной дисциплины нормальный человеческий индивид сегодня приобретает характеристики, без которых его дальнейшее существование стало бы невозможным. В будущем, по мере того как более скрытые процессы отбора будут ускоряться и направляться евгеническими усилиями, приобретенные характеристики будут включаться во врожденную природу. Образовательная энергия высвободится для дальнейшей адаптации. Человек будет поколение за поколением становиться новым видом, все более отличающимся от того заросшего сорняками, трагичного, жалкого, жестокого, фантастического, абсурдного, а иногда и откровенно ужасного существа, которое в порыве идиотского высокомерия умудрились окрестить *Homo Sapiens.*

Отличия грядущего человека от человека прошлого будут многочисленными и запутанными, но уже сейчас появляются первые широкие линии сравнения. Мы уже отмечали разницу

в возрастном цикле между нами и нашими предками. Значительно удлинилась фаза юности, а период от тридцати пяти до восьмидесяти лет становится куда более полноценным. Обусловленное высвобождением жизненной энергии полное физическое развитие позволяет успешно противостоять различным инфекциям, ядам и болезням роста. Мы, вероятно, находимся лишь в самом начале очень значительной физической модификации. Скорее всего, сами эстетические идеалы прошлого определят направление, по которому прекрасные изменения нас поведут. И тем не менее следует отметить, что физическая перестройка все же не так важна, как ментальная. Краткое рассмотрение этого вопроса позволит нам сделать правильный вывод из общей исторической выжимки.

По сути, речь пойдет о приспособляемости индивида к общевидовой жизни. Когда мы возвращаемся назад во времени на миллион лет или около того, то обнаруживаем, что наш вид — предок находился в фазе почти фундаментального индивидуализма. За исключением тех случаев, когда включались половой инстинкт или инстинкт сохранения потомства, *подчеловек* находился в состоянии зацикленности на самом

себе. У него не было сообщников в охоте за пищей, не было никаких союзников для защиты. Он представлял собой такого же одинокого зверя, как тигр. Позднее он прошел через стадии возрастающей коммуникабельности. Наступление этих стадий стало возможным благодаря сохранению незрелых характеристик вступления во взрослую жизнь. То же самое происходит сегодня со львами, которые остаются дружелюбными не только будучи детенышами, но и гораздо позднее, чего не наблюдалось в стародавние времена. Человек миновал стадию, когда был таким же общительным, как современный лев, и перескочил на новую ступень, где оказался вровень с волком или охотничьей собакой.

Но на этом он не успокоился. Все условия его жизни благоприятствовали формированию еще более крупных сообществ и еще более тесной взаимозависимости. Он стал земледельцем, хозяйственным животным, и его общины расширились до тысяч и десятков тысяч людей, объединенных взаимным служением. Он создал язык и религию, чтобы связать волю и деятельность этих объединений в эффективную общую политику. История человечества, как мы ее раскрываем современному студенту, — это

история все возрастающей коммуникации и взаимозависимости. Незаметно для самой себя материальная сторона индивидуальной свободы перевоплотилась в неизбежное сотрудничество с сообществом.

Ударение здесь следует делать на слове «материал». Физическое подчинение и социализация человеческого животного намного превосходили его моральное подчинение. История человечества — это также история воспитания и принуждения. Это запись отдачи и взятия. Человек почти до наших дней оставался в глубине души недоразвитым дикарем, который заботился только о себе, о своей сексуальной жизни и о своих детях, пока те не могли сами о себе позаботиться. Он проявлял готовность объединиться для агрессии или для защиты, но очень неохотно для общего счастья. Когда у него появилась возможность обменять свою свободу на преимущества коллективных действий, он сделал это вопреки здравому смыслу, нуждаясь в убеждении, давлении и полезных заблуждениях.

История человечества должна была в значительной степени стать историей череды религиозных и эмоциональных изобретений и реконструкций с тем, чтобы преодолеть врож-

денное отвращение индивида к подчинению и самопожертвованию. При каждой возможности индивид стремился восстановить свои личные инициативы. Его эгоизм инстинктивно боролся с необходимостью извлечь максимальную выгоду от сделки и получать как можно больше, как можно меньше отдавая.

Естественное «я» человека борется за это сейчас так же сильно, как и раньше. Но сейчас он борется более разумно. Он понимает, что полная реализация его желаний никогда не наступит. Именно поэтому длительный конфликт индивидуализма с обществом, в конце концов, привел к рациональному компромиссу. Мы научились ловить и приручать эго на ранней стадии и тренировать его для целей, больших, чем оно само.

То, что произошло за последние три с половиной столетия с человеческим сознанием, по сути, является сублимацией индивидуальности. Эта фаза — квинтэссенция современной истории. Основная часть обыденной жизни человека — охота за пищей, охота за убежищем, охота за безопасностью — выведена из индивидуальной сферы и навсегда социализирована. На это человеческий эгоизм волей-неволей дал свое согласие. Он отказался от азартных игр, погони за прибылью

и всех остальных диких притязаний на собственность. Он совершенно перестал хватать, бороться и вытеснять. Простой человек лишился всякого оружия, с помощью которого можно было бы стремиться к свободе и освобождаться от сдерживающих социальных механизмов. В наши дни дело дошло до того, что даже дети перестали драться между собой. Мягкость в различиях стала нашей второй натурой.

Сама жизнь и интересы человека социализировались поперек естественного положения дел. Весь наш вид слился воедино. Он становится таким же колониальным организмом, как ветвящийся коралл или полип. Связывающие нас узы не плотской природы. Они бесконечно эластичные, невидимые и очень тонкие. В ряде глав этой всемирной истории мы рассмотрели и показали, с особым вниманием из-за ее кульминационного характера, существенный индивидуализм процесса мировой войны и рассказали вам, как, с какими трудностями и после каких немыслимых бедствий наш вид достиг нынешнего уровня организованного самоконтроля. Творческая сила победила, действуя через индивидуальности в более разумном меньшинстве. Воспользовавшись всеобщим замешательством большинства,

они прямо у него на глазах установили нынешний порядок. Это своевольное меньшинство открыло врата к мощи и изобилию, которые превзошли все прежние мечты. Но наше Современное государство не поглотило и не разрушило индивидуальность, которая теперь, принимая необходимые ограничения на материальную агрессивность, возобновляет при каждой возможности свою свободу и предприимчивость на более высоком жизненном уровне.

Индивидуальность, лишенная или освобожденная, если хотите, от своей основной инстинктивной озабоченности приобретением и сохранением, разочаровавшаяся в приоритете, личной демонстрации и подобном варварском тщеславии, постоянно и быстро растущая в мудрости и знаниях, теперь должна пойти дальше, чтобы найти себя. Не будучи больше самодостаточным существом, находящимся в состоянии войны со всем своим видом, она стала ответственной частью своего вида. Это стало важным экспериментом по ощущению, знанию, принятию решений и реагированию.

Общечеловеческое тело в настоящее время представляет собой единый организм, состоящий из двух с половиной миллиардов человек. Ин-

дивидуальные различия каждого из этих людей подобны исследующему щупальцу, протянутому, чтобы проверить и изучить, насладиться жизнью во всей ее полноте и привнести новый опыт для общего запаса. Мы все члены одного тела. Только в самой смутной аналогии что-либо подобное происходило во Вселенной, какой мы ее знали раньше. Чувство индивидуального различия делает наше осознание общего бытия более острым. Мы работаем, думаем, исследуем, спорим, рискуем и страдаем — ибо кажется, что нет конца трудным и опасным приключениям, которые могут попытаться совершить отдельные мужчины и женщины; и нам становится все более ясно, что не наши маленькие *я,* а *Человек Бессмертный* достигает этого через нас.

По мере того, как более медленные процессы наследственности захватывают и подтверждают эти социальные адаптации, по мере того, как слияние воли вытесняет индивидуальные мотивы и теряет свои нынешние факторы искусственности, история жизни перейдет в новую фазу, фазу с общим сознанием и общей волей. Мы в наше время все еще поднимаемся к вершине этого перехода. И когда этот гребень будет достигнут, сложно даже себе представить, какое жизненное

величие откроется перед Человеком! Глаз не видел, и ухо не слышало; и не приходило в голову человеку постичь… Но пока мы видим, как темно в зеркале…

На этом переписанная рукопись доктора Рейвена подошла к концу. Мне кажется, что это несколько неожиданно. Но это и в самом деле конец; доктор Рейвен написал здесь слово ***Finis****. Добавлю совсем немного от себя в качестве комментария. Я назвал эту рукопись Книгой сновидений. Является ли она ею в самом деле? Он утверждал и, судя по всему, искренне верил в то, что видит облик грядущего. А впрочем, наверняка существует и третья возможность. Как сон, Книга слишком последовательна, а как видение, заставляет сомневаться. Не был ли доктор Рейвен слишком занят и чересчур одержим чувством неотложности, чтобы приступить к детальному анализу развития мира, пытался ли он, тем не менее, набросать общий тезис о закономерностях течения грядущих событий? Если это не Книга сновидений и не сивиллинская история, то это теория мировой революции. Ясно, что тезис состоит в том, что история теперь должна оставаться чередой случайностей со все более катастрофической тенденцией,*

пока всеобъемлющая вера в модернизированное Мировое государство, социалистическое, космополитическое и творческое, окончательно не овладеет человеческим воображением. Когда существующие правительства и правящие теории жизни, разлагающиеся религиозные и загнивающие политические формы сегодняшнего дня в достаточной степени утратят престиж из-за неудач и катастроф, тогда и только тогда станет возможно всемирное восстановление. И это должна быть работа, прежде всего, агрессивного ордена религиозно преданных мужчин и женщин, которые будут пробовать, устанавливать и навязывать нашему виду новый образ жизни!